

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Фазиль Искандер

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Рухну! Отъ этого сильного  
и сирого!

— Рухну! в таком слове

— Ну не плакать же рухну  
ошленила, она, — с

— Если я одна ночью и бываю  
со скромной гороскопом, — не  
падал, не?

— Это что такое? Имя  
сначала она, — но вы о  
некоторых имени.

— Я сверну?

— Да вы сверну! Имя

запомни с темой в  
последней раз рухну  
с деревом!

слова и как-то риториче-  
ски?

и, что не-сли само,  
деревя ружья.  
ничего, - оне-и я  
но ничего в жизни не

моя без-мощь,  
что-то дурным на

оружием? Все  
всего-то в в  
чем с дерева!

Рухну! Отъ этого ситно  
и сироты!

— Рухну! в таком ситно

— Из не пилкой не рухну

ошвелла, ошва, —

— Если я одна ночью и бью

со скупой горосило,

падал, не

— Это шоканен и

скача ошва, — но в

меканути шип.

— Я шерну?

— Да в шерну! Но

запомни с пемо

последний раз у

с дереве!





*А*нтология Сатиры и Юмора России XX века



*Bill Mearns*

Антология Сатиры и Юмора России XX века

---

Фазиль Искандер

---

«ЭКСМО-Пресс» 2001

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
И 86

## АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Искандер Фазиль Абдулович

Серия основана в 2000 году

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Игорь Иртеньев,  
проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,  
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,  
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта  
Юрий Кушак

Составитель тома — Эльвира Мороз

Оформление тома — Лев Яковлев

Материалы для фотоальбома  
из личного архива автора

Рисунок на обложке Андрея Лукьянова

Подготовка макета — творческое объединение  
«Черная курица» при Фонде Ролана Быкова.

**Искандер Ф. А.**

И 86      Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том  
14. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 704 с.

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-007934-6 (Т.14)  
ISBN 5-04-003950-6

© Искандер Ф.А., 2001  
© Мороз Э.С., составление, 2001  
© Хлебникова А.М., примечания, 2001  
© Яковлев Л.Г., оформление, 2001



# Содержание

От составителя	7
Краткая антология предисловий	7
Начало (Вместо автобиографии)	15
Рассказы	
Приключения Чика	33
Чик чтит обычаи	33
Чик идет на оплакивание	69
Петух	100
Тринадцатый подвиг Геракла	107
Запретный плод	122
Путь из варяг в греки	132
Козы и Шекспир	147
Антип уехал в Казантип	163
Жил старик со своею старухой	166
Ленин на «Амре»	171
Повести	
Созвездие Козлотура	215
Кролики и удавы	336
Думающий о России и американец	488
Стихи и эпиграммы	
Художники	537
Кофейня	537
Гранат	538
В зоопарке	540
Завоеватели	540
Огонь, вода и медные трубы	542
Камчатские грязевые ванны	543
Библейская басня	546
Жалоба сатирика по поводу банки меда, лопнувшей над рукописью	547
Любитель книг	548

Баллада о юморе и змее	549
Определение поэзии	550
Сходство	551
Душа и ум	552
Орлы в зоопарке	553
Ода всемирным дуракам	554
«Мысль действие мертвит...»	555
Минута ярости	556
Гневная реплика бога	557
«Хорошая боль головная...»	557
«Натруженные ветви ломки...»	558
На ночь	558
Пост на вокзале	558
Памяти Высоцкого	560
Эпиграммы и шутки	561
Главы из романа «Сандро из Чегема»	
Маленький гигант большого секса (О, Марат!)	567
Пирсы Валтасара	615
Дороги	670
Примечания	701

От составителя

Имя Фазиля Искандера,

Фазиля Великолепного, как назвала его в одной из своих статей о писателе Наталья Иванова, давно любимым читателем. Самые известные критики и литературоведы исследуют его творчество, природу его юмора, «феномен Ф.Искандера». Поэтому мы решили не заказывать предисловие специально, как это делается обычно, а привести выдержки из предисловий к его прежним изданиям. Но предварить их хотелось бы наблюдением самого Искандера над тем, откуда берется юмор и что это такое.

«Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно».

И еще: «Смешное обладает, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво».

## Краткая антология предисловий

Смех против страха

Помните, что, по словам Искандера,

движет писателем?

«Оскорбленная любовь: к людям ли, к родине, может быть, к человечеству в целом».

С чувством оскорбленной любви «к человечеству в целом» написана и философская сказка (жанр определил сам автор) «Кролики и удавы».

В фантастической сказке Искандера удавы и кролики — при полной вроде бы своей противоположности — составляют единое целое. Возникает особый симбиоз. Особый вид уродливого сообщества. «Потому что кролик, переработанный удавом, — как размышляет Великий

Питон, — превращается в удава. Значит, удавы — это кролики на высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы — это бывшие они, а они — это будущие мы».

Искандер глубоко исследует корни подчинения, холопской, рабской зависимости «кроликов» от гипнотизирующих их «удавов». Если же неожиданно появляется — даже в этой конформистской среде — свободолюбивый кролик, чьей смелости хватает на то, чтобы уже внутри удава, уже будучи проглоченным, упереться в животе, то об этом «бешеном кролике» пятьдесят лет потрясенные удавы будут рассказывать легенды...

Однако на самом-то деле и кролики, и удавы стоят друг друга. Их странное сообщество, главным законом которого является закон беспрекословного проглатывания, основано на воровстве, пропитано ложью, социальной демагогией, пустым фразерством, постоянно подновляемыми лозунгами (вроде главного лозунга о будущей Цветной Капусте, которая когда-нибудь в отдаленном будущем украсит стол каждого кролика!). Кролики предают друг друга, заняты бесконечной нечистоплотной возней... Это сообщество скрепленных взаимным рабством — рабством покорных холопов и развращенных хозяев. Хозяева ведь тоже скованы страхом: попробуй, скажем, удав не приподнять — в знак верности — головы во время исполнения боевого гимна... Немедленно собратья-удавы лишат жизни как изменника!

В «Кроliках и удавах» смех Искандера приобретает грустную, если не мрачную, окраску. Заканчивая эту столь удивительную и вместе с тем столь поучительную историю, автор замечает: «...я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего. Мне кажется, что для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь». Искандер смотрит на реальность трезво, без иллюзий, открыто говоря о том, что, пока кролики, раздираемые внутренними противоречиями (а удавам только этого и надо), будут покорно идти на убой, их положение внутри странного сообщества не изменится.

Наталья ИВАНОВА



## Фазиль, или Оптимизм

...Иногда говорят: Искандер — сатирик. Да, казалось бы, почему же не говорить? Как ему иначе зваться — со времен того же «Созвездия Козлотура», повести, принесшей автору первую настоящую славу? (В трамваях, в метро тогда слышалось то и дело: «Нэнавидит!» или: «Интересное начинание, между прочим!») Но признаюсь, сознавая свою субъективность, что вообще недолюбливаю слово «сатирик», ибо вижу в нем попытку ограничить полнокровность таланта того или иного писателя. Скажем ли «сатирик» о Гюго? О Булгакове? О Зощенко? Даже о мрачно-великолепном Сухово-Кобылине? Щедрин — тот, пожалуй, дело иное, — но разве бескрайне разлившаяся желчь не обесцветила его мощный талант?

Как бы то ни было, а Искандер для сатирика слишком добр. Слишком беззлобно приглядчив. Слишком бескорыстно любопытен. Он вообще — утопист, заставляющий верить, что невыдуманное название села — Чегем — не случайно рифмуется с Эдемом.

Утопист, правда, странный.

Помнится, на одном из вечеров, уже сравнительно давних, Искандера спросили: почему он, воспевая родной Чегем, живет все же в Москве? Не больно-то умный вопрос с подковыркой, от которого не грех отшутиться. Искандер, однако, наморщив лоб, стал отвечать со всей добросовестностью, а закончил невесело. В Чегеме, сказал он, сейчас почти никого уже и не осталось.

Разговор был еще до грузино-абхазской войны.

Да и в романе о дяде Сандро, напоенном лукавым весельем, проступает печаль обреченности: «Моя голова — последний бастион. ...В бастионе моей головы последняя дюжина чегемцев (кажется, только там она и осталась) защищает ее от лезущей во все щели нечисти».

Понимать ли, что такие чегемцы, как Хабут или Сандро, существуют уже только в его голове? А может, они, такие, всегда только там и существовали?

Владимир Набоков написал: «Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству». В этом — и только в этом — смысле Искандер с

Набоковым схож. Его Абхазия — географическая, историческая, этнографическая реальность, но она же — Утопия, воплощение заповедной гармонии. Настолько прельстившее было читателей, что, когда начались абхазо-грузинские неурядицы и с обеих сторон явились разбойники и мародеры, те же читатели — ну, пусть лишь иные из них — принялись корить Искандера. Вон как раскрасил своих земляков, мы и уши развесили — а что на поверку?..

Что тут сказать? Можно и отмахнуться, спросив: а к Свифту, допустим, вы придираетесь не пробовали, дорогие мои? Не требовали географических координат Лилипутии или страны гуигнгнмов? Главное, впрочем, не это. Своеобразие абхазской, крестьянской Утопии Искандера в том, что она отнюдь, отнюдь не безоблачна. Мир, устойчивый прежде, сдвинут, искажен, обезображен (войною, враждой, «кумхозом», новейшими бедами и уродством), но видно, что формы народной жизни, корежась, все же противостоят корению.

Как должно противостоять и искусство. Иначе зачем оно? Если, конечно, не уделять ему жалкую роль хладнокровного регистратора хаоса и распада.

Сознаюсь: когда в Абхазии начала литься кровь, я позволил себе горькую шутку. Вот, сказал я Искандеру, теперь тебе есть чем кончить роман: дядя Сандро убит на улице Мухуса эндурской пулей.

(Для забывчивых: Мухус — в искандеровской прозе псевдоним Сухума, а эндурцы — конечно, не некий конкретный этнос, а обычный плод подозрительности, согласно которой вся беда от чужих.)

Но Искандер моей корявой шутки не принял:

— Нет, Сандро умереть не может.

Добавлю: как Швейк. Как Теркин. Как все те — и все то, — в неразрушимость чего мы обязаны верить, только не у всех получается. Искандер — верит. Не отворачиваясь от зрелища катастрофы, мрачней («Я улыбаться учил страну, но лишь разучился сам»), все равно верит.

В этом смысле он поистине уникален — что не комплимент, а простая констатация очевидного факта.

Если сам наш XX век — век разломов и разочарований, то в литературе он — век антиутопий. Того мрачнейшего рода словесности, который изображает, а по сути — сулит

человеку и человечеству наихудшую из перспектив. Безысходную деградацию. Напряжем свою память: «Мы», роман Евгения Замятина... «Чевенгур» и «Котлован» Андрея Платонова... «Роковые яйца» Булгакова... «Машина времени» Уэллса... «Война с саламандрами» Чапека... «1984» Оруэлла... И т.д., и т.п. — список почти бесконечен.

Поздно и, значит, бессмысленно сожалеть, что пессимизм в нашем столетии достиг столь драматического накала, увлек собой столь блестящих художников. Это все равно что уподобиться (смотри эпиграф к статье) философу-идиоту Панглосу из вольтеровской повести, осмеявшей — как бессмысленно утопическую — мечту о всеобщей гармонии. Но если и вправду — увы, не все к лучшему и сам мир так далек от совершенства, — значит ли это, что бессмыслен сам оптимизм? Что гармонии нету вовсе?

Поразмыслим, к чему нас упрямо зовет Искандер. Писатель, который (и тут я не вижу ему подобия во всей современной литературе, возможно, и мировой) в век антиутопий создал целых две утопии.

Первая — понятно: роман «Сандро из Чегема» и вся прилегающая к нему «чегемская» проза.

А вторая?

\*\*\*

Цитирую:

«Чик сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. Он сидел на своем любимом месте. Здесь несколько виноградных плетей, вытянутых между двумя ветками груши, образовывали пружинистое ложе, на котором можно было сидеть или возлежать в зависимости от того, что тебе сейчас охота. Охота сидеть — сиди и поклевывай виноградины, охота лежать — лежи и только вытягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или груши.

Чик очень любил это место...»

Еще б не любить! Тем более всякий из нас, обремененный взрослым сознанием и теми ассоциациями, от которых никак не избавиться, если ты хоть что-то читал и знаешь, — всякий, говорю, должен почувствовать: да ведь это же Рай! Не рай в бытовом, а Рай в мифологическом смысле, тот — снова! — Эдем, где беспечные первые люди возлежали или сидели, где впрямь было достаточно

протянуть руку, дабы сорвать любой из райских плодов. Ибо сказано: «От всякого древа в саду будешь ты есть» (Ветхий Завет. Первая книга Моисеева. Бытие).

Словом, переходя на язык притчи, «дерево детства» (как названа одна из глав «Сандро из Чегема») — Рай. Или Свобода: возможно, та самая свобода художника, о которой мечтают все...

...Итак, Утопия № 1, созданная Искандером, — это Чегем, ныне затонувший, как Атлантида. (Да и вообще — может, такой же миф или полумиф, как сам этот загадочный континент?) Утопия № 2 — мир детства, периода не менее преходящего, чем мир патриархального Чегема.

Впрочем, не так. Прошло детство самого Искандера, как и всякого смертного. Детство Чика — осталось, и не только в том банальнейшем смысле, что, дескать, написанное пером не вырубишь топором...

...Свое детство можно проклясть, как это сделал, скажем, поэт Эдуард Багрицкий: ради того, чтобы отрясти прах прошлого и заявить себя человеком новой эпохи, он некогда собственных заботливых родителей преобразил в «ржавых евреев», основное занятие коих — лупить отпрыска «обросшими щетиной кулаками». Можно придумать — опять же по моде своей эпохи, лепя собственный имидж: так, по уверению Бунина, поступил Горький, выходец из «среды вполне буржуазной». И т.п.

Бьюсь об заклад, Искандер ничего не придумывал — конечно, насколько это вообще можно сказать о художнике, чья стихия — воображение. Но он, одно из самых гармонических существ в многострадальной русской литературе, не мог не превратить своего Чика... Как бы выразиться? Выразусь без изыска, даже тяжеловесно.

В общем, Чик, чьи приключения бесхитростно обременны (завоевание и удержание лидерства в дворовой компании, драка и победа, нормальные страхи, удачи, соблазны детства), — этот мальчик словно целое производство по гармонизации мира. По его вразумлению. Этот мир, который неразумные и непонятные взрослые ставят на голову, возвращается Чиком в исходное положение. С тем же упорством, с каким его ставит на ноги протагонист автора в романе «Сандро из Чегема» гениальный крестьянин Хабуг, чья близость к началам жиз-



ни естественно и неизбежно противостоит насилию «великого перелома».

Зачем они это делают? Чик по возрасту не дано этого объяснить, Хабут — объясняет, но очень по-своему, в границах своего замкнутого опыта. Пуще того: полагаю, какие бы объяснения ни предложил сам Фазиль Искандер и как бы они ни были справедливы и даже мудры, они все равно останутся недостаточными. Потому что здесь действует инстинкт духовного самосохранения, то, что не исключает ума, но выше его; то, благодаря чему само человечество еще живо и покуда не вовсе выродилось.

Оттого искандеровская проза, уж такая, казалось бы, простодушная, сложнее и тоньше множества подчеркнуто интеллектуальных упражнений. Оттого в рассказах о Чике обычная детская драка может быть ритуальна, как рыцарский турнир, и бытийно значительна, как примерка будущих испытаний души!..

...Мальчик, Который Не Хотел Расти, — таков символ несдающегося детства, всем известный полуангел Питер Пэн, придуманный Джеймсом Барри. Искандеровский Чик, топчущий босыми ногами твердую почву своей родины, не только хочет расти, как всякий нормальный ребенок; у него, у подобия своего автора, на их общее счастье, нет демаркационной линии между детским и взрослым. Во всяком случае, Искандер, давненько по возрасту вышедший из мира Чика, не перестал жить там же, где обитают герои обеих его Утопий: Чик и Хабут.

Тут, правда, требуется особая осторожность высказывания. Как же — не перестал? И — можно ль не перестать?

Вспомним: «Я улыбаться учил страну, но лишь разучился сам». Не разучился, конечно, — иначе откуда бы взялся, к примеру, искрометный рассказ-диалог «Думающий о России и американец»? Просто прежнего Искандера, конечно, уже не будет — что так естественно для меняющегося человека в меняющейся реальности. Будет — и есть — другой.

Вообще, назвать счастливым человеком, родившегося в трагическом и нелепом XX столетии, жившего при Сталине, который разлучил его с отцом, и при наследниках Сталина (нынче приходится добавить никак не ожидавшееся: родившегося к тому же абхазцем), — преуве-

личение, граничащее с издевательством. Что ж, тем серьезнее то, что Искандер совершил: среди всеобщей дисгармонии он учредил школу счастья, где даже кровавый тиран (смотри начало статьи, эпизод с «тем самым Джугашвили», который не захотел стать Сталиным) мог оказаться провалившимся на экзамене учеником. Да, школу, хотя никак не собирался назидать и учительствовать. Или школу того, что зовется здравым смыслом; вернее, звалось, но мы это редкостное, почти реликтовое понятие испоганили, превратив в прагматический термин политики. А ведь иметь здравый, здравствующий, бодрствующий смысл — значит прежде всего думать и помнить, зачем человек рождается на свет божий.

Он-то и не позволяет Фазилю Искандеру перестать быть оптимистом.

Вот его монолог, отрывок из недавней статьи:

«Пусть каждый скажет себе: сегодня мой труд — это как дежурство у постели больной матери. Неужели можно быть недобросовестным?»

Если хотя бы половина взрослых людей скажет себе это, никакой катастрофы не будет. Вскоре и вторая половина потянется за первой, потому что другого выхода нет.

Реакция распада должна смениться реакцией сцепления. Мы под историческим завалом. Но, слава богу, живы. Давайте пробиваться друг к другу. Ты себе не нужен, тебе ничего не надо? Но ты пойми, что ты нужен другому, и как только это поймешь, почувствуешь желание жить. Чтобы спасти себя, надо спасти другого. Так было всегда. В этом мудрость природы...»

Проповедь прекрасногодушного утописта? Нет, четкий план человека, знающего, что «другого выхода нет». Стало быть, видящего, указывающего выход. Оптимисту иначе нельзя, и не его вина, а наша беда, что, любя писателя, восхищаясь им, плохо к нему прислушиваемся.

Станислав РАССАДИН



# Начало

Вместо автобиографии

**П**оговорим просто так.

Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки хотим?

Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает.

Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот,крепишься в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула.

Правда, в отдельных случаях человеку удастся навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удастся людям много, но систематически пьющим.

Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про одного моего знакомого так и говорят: мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь, потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то по крайней мере не мешай ему.

Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми.

Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили.

Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами передовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому, прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании.

Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, подтягиваются и растут не отставая.

Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными, деревьями и чувствую себя Взволнованным Патриархом. Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дожидаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны.

Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы возделывали пустырь, один из ребят обратил внимание остальных на то, как я держу носилки, на которых мы перетаскивали землю. Военрук, присматривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и повод был найден. Оказалось, что я держу носилки как Отъявленный Лентяй.

Это был первый кристалл, выпавший из раствора, дальше уже шел деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы окончательно докристаллизироваться в заданном направлении.

Теперь все работало на образ. Если я на контрольной по математике сидел, никому не мешая, спокойно дожи-

даясь, покамест мой товарищ решит задачу, то все приписывали это моей лени, а не тупости. Естественно, я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по русскому письменному писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более служило доказательством моей неисправимой лени.

Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного. К этому привыкли настолько, что, когда кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса заставляли меня стирать с доски или тащить в класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось.

Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был достаточно хорошо учиться.

По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа на парте, я внимательно слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычные шалости, и старался запомнить все, что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось время, я вызывался отвечать в счет будущего урока. Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию. Получалось, что они так хорошо и доходчиво доносят свой предмет, что ученики, даже не пользуясь учебниками, всё усваивают.

Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел звонок, и все были довольны. И никто, кроме меня, не знал, что только что зафиксированные знания рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после того, как прозвучит судейское: «Вес взят!»

Для полной точности надо сказать, что иногда, когда я, делая вид, что дремлю, лежал на парте, я и в самом деле погружался в дремоту, хотя голос учителя продолжал слышать. Гораздо позже я узнал, что таким или почти таким методом изучают языки. Я думаю, не будет выглядеть слишком нескромным, если я сейчас скажу, что от-

крытие его принадлежит мне. О случаях полного засыпания я не говорю, потому что они были редки.

Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе дошли до директора школы, и он почему-то решил, что это именно я стащил подозрную трубу, которая полгода назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, почему он так решил. Возможно, сама идея хотя бы зрительного сокращения расстояния, решил он, больше всего могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не нахожу. К счастью, подозрную трубу отыскивали, но ко мне продолжали присматриваться, почему-то ожидая, что я собираюсь выкинуть какой-нибудь фокус. Вскоре выяснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что я, напротив, очень послушный и добросовестный лентяй. Более того, будучи лентяем, я вполне прилично учился.

Тогда ко мне решили применить метод массированного воспитания, модный в те годы. Суть его заключалась в том, что все учителя неожиданно наваливались на одного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянностью, доводили его успеваемость до образцово-показательного блеска.

Идея метода заключалась в том, что после этого другие нерадивые ученики, завидуя ему Хорошей Завистью, будут сами подтягиваться до его уровня, как одиночные посадки эвкалиптов.

Эффект достигался неожиданностью массированного нападения. В противном случае ученик мог ускользнуть или испакостить сам метод.

Как правило, опыт удавался. Не успевала мала куца, образованная массированным нападением, рассосаться, как преобразованный ученик стоял среди лучших, нагло улыбаясь смущенной улыбкой обесцещенного.

В этом случае учителя, завидуя друг другу, может быть, не слишком Хорошей Завистью, ревниво по журналу следили, как он повышает успеваемость, и, уж конечно, каждый старался, чтобы кривая успеваемости на отрезке его предмета не нарушала победную крутизну.

То ли на меня навалились слишком дружно, то ли забыли мой собственный приличный уровень, но, когда



стали подводить итоги работы надо мной, выяснилось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты.

— На серебряную потянешь, — однажды объявила классная руководительница, тревожно заглядывая мне в глаза.

Это была маленькая самолюбивая каста неприкасаемых. Даже учителя сами слегка побаивались кандидатов в медалисты. Они были призваны защищать честь школы. Замахнуться на кандидата в медалисты было все равно что подставить под удар честь школы.

Каждый из кандидатов в свое время собственными силами добивался выдающихся успехов по какому-то из основных предметов, а уже по остальным его дотягивали до нужного уровня. Включение меня в кандидаты было пока еще тихим триумфом метода массированного воспитания.

На выпускных экзаменах к нам были приставлены наиболее толковые учителя. Они подходили к нам и часто под видом разъяснения содержания билета тихо и сжато рассказывали содержание ответа. Это было как раз то, что нужно. Спринтерская усвояемость, отшлифованная во время исполнения роли Отъявленного Лентяя, помогала мне точно донести до стола комиссии благотворительный шепоток подстраховывающего преподавателя. Мне оставалось включить звук на полную мощность, что я и делал с неподдельным вдохновением.

Кончилось все это тем, что я вместо запланированной на меня серебряной медали получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге сорвался и отстал.

Он был и в самом деле очень сильным учеником, но ему никак не давались сочинения, и у него была слишком настырная мать. Она была членом родительского комитета и всем надоела своими вздорными предложениями, которые никто не принимал, но все вынуждены были обсуждать. Она даже внесла предложение кормить кандидатов усиленными завтраками, но члены родительского комитета своим демократическим большинством отвергли ее вредное предложение.

Так вот, мальчик этот, готовясь к первому экзамену, составил, чтобы избежать всякой случайности, двад-

цать сочинений на наиболее возможные темы по русской литературе. Каждое сочинение он сшил в микроскопический томик с эпиграфом и библиографическим знаком на обложке, чтобы не запутаться. Двадцать лилипутских томиков можно было сжать в ладони одной руки.

Он успешно написал свое сочинение, но, видно, переутомился. На следующих экзаменах он хотя и правильно отвечал, но говорил слишком тихим голосом, а главное, задумывался и, что уж совсем непростительно, вдруг возвращался к сказанному, уточняя формулировки уже после того, как экзаменатор кивнул головой в знак согласия.

Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к сказанному, потому что ты этим ставишь его в какое-то не вполне красивое положение.

Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой, а надо было дождаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал. Так ведь не всегда уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув первый раз, экзаменатор или начальник не подозревали, что эту же мысль можно еще точнее передать, или даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность: мол, и там кивает, и тут кивает.

Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы снисходил до нее своими ответами.

В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на балл снизили оценки.

Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком пошее от его мамы на выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке.

— Негодяй, притворявшийся лентяем! — сказала она, увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик.

Мне бы промолчать или по крайней мере потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик.

— Все же он получает серебряную, — сказал я, чувствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая.

— Мне серебро даром не надо, — прошипела она и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазнула мне по шее мокрым зонтиком. — Я три года проторчала в комитете!

Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазнула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить.

— А я вас просил торчать? — только и успел я сказать.

Слава богу, из ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было обидно, что он был мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно.

В тот же год я поехал учиться в Москву, а саму медаль, которую я еще не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она показала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота.

— Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, — рассказывала она мне на следующий год, когда я приехал на каникулы.

Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного Лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтом по шее.

И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство.

Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я дал ему «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла, а он мне — один из разрозненных томов Гегеля, «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель — философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией.

Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными, непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля кроме рационального зерна немало идеалистической

шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего, и содержали эту шелуху.

Вообще я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили меня высокой точностью попадания. Так, он назвал басню рабским жанром, что было похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке не написать басни.

Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Моховой. Я поднялся по лестнице и, следуя указаниям бумажных стрел, вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди, за некоторыми — довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. У столиков толпились выпускники, томясь и медля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота.

За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом.

Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня.

— Откуда, юноша? — спросил он голосом, усталым от философских побед.

Примерно такого вопроса я ожидал и приступил к намеченному диалогу.

— Из Чегема, — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучестью происхождения. По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям.

— Это что такое? — спросил он, едва заметным движением руки останавливая мою попытку положить на стол документы.

— Чегем — это высокогорное село в Абхазии, — доброжелательно разъяснил я.

Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей дремучести. Но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью приема. Я ведь тоже преувеличил высокогорность Чегема, не такой уж он высокогорный, наш милый Чегемчик. Он с преувеличенной холодностью, я с преувеличенной высокогорностью, в конце концов, думал я, он не сможет долго скрывать радость при виде далекого гостя.

— Абхазия — это Аджария? — спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол.

— Абхазия — это Абхазия, — сказал я с достоинством, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить ему документы.

— А вы знаете, какой у нас конкурс? — снова остановил он меня вопросом.

— У меня медаль, — расплылся я и, не удержавшись, добавил: — Золотая.

— У нас медалистов тоже много, — сказал он и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола: то ли искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время. — А вы знаете, что у нас обучение только по-русски? — вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами.

— Я русскую школу кончил, — ответил я, незаметно убирая акцент. — Хотите, я вам прочту стихотворение?

— Так вам на филологический! — обрадовался он и кивнул: — Вон тот столик.

— Нет, — сказал я терпеливо, — мне на философский. Человек погрузился, и я понял, что можно положить на стол документы.

— Ладно, читайте. — И он вяло потянулся к документам. Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков.

Мне снилось: мертвенно-бессильный,  
Почти жилец земли могильной,

Я глухо близился к концу.  
И бывший друг пришел к кровати  
И, бормоча слова проклятий,  
Меня ударил по лицу!

— И правильно сделал, — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня.

— Почему? — спросил я, оглушенный собственным чтением и еще не понимая, о чем он говорит.

— Не заводите себе таких друзей, — сказал он не без юмора.

Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось.

— Пойду узнаю, — сказал он и, шлепнув мои документы на стол, поднялся, — кажется, на вашу нацию есть разнарядка.

Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся.

В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона.

Если человек из университета все время давал мне знать, что я не дотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат как слишком крупную для этого института и потому подозрительную купюру. Он присматривался к остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося в ответ на его сочувствие проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу.

— Хорошо, вы приняты, — сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов.

Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску.

Через три года учебы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгодней самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в Литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды.

Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение незащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или спрятаться за нее.

Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами.

Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.

Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени.

Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, — это их постоянный таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

— Тише! — встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. — Погоду передают.

Все затаив дыхание слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное «тише!», я вздрагивал, думал, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра ходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна.

Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад переселился в Москву. Ведь мое истинное призвание — это открывать и изобретать.

Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой.

— Ну как, — говорю я, — что там передают насчет погоды? Ветер с востока?

— Нет, — радостно отвечают москвичи, — ветер юго-западный, до умеренного.

— Ну, если до умеренного, — говорю, — это еще терпимо.

И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности. Но чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.

Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя, с выражением добродетельного терпения ждущего, когда я наконец начну про смешное.

Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней.



Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали что им заблагорассудится, а я бы сидел в сторонке и только поглядывал на них.

Но чувствую, что пока не могу этого сделать: нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку — делай все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятней.

Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии.

Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости:

— Веселее, ребята!

В понимании юмора тоже нет полной ясности.

Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабеля.

Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи пронеслись подо мной, издавая соблазнительный шорох тающей пены свежего бочкового пива. Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали пронеситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось.

— Простите, — сказал он с понимающей улыбкой, — вы — это вы?

— Да, — говорю, — я — это я.

— Я, — говорит он, все так же понимающе улыбаясь, — вас сразу узнал по кольцу.

— То есть по какому кольцу? — заинтересовался я и перестал слушать пену.

— В журнале печатались статьи с вашими портретами, — объяснил он, — где вы сняты с этим же кольцом.

В самом деле, так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, нестареющим женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому, как раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястье с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.

Я уже было совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция больше не собирается меня печатать, и необходимость выяснять отношения отпала сама собой.

Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в значительной мере улучшило мое настроение.

Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным, но, если он читателю показался таким, было бы глупо его разуверять в этом. Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа.

Во дворе детского сада росла груша. Время от времени с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий обеденный компот. После некоторых колебаний мальчик утешился тем, что его груша пойдет на общий компот.

Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке она держала сетку. В сетке лежала его груша. Мальчик побежал, потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей.

В сущности, это был довольно грустный рассказ.

— Так что же вас так рассмешило? — спросил я у него.

Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой — дескать, хватит меня разыгрывать.

— Все-таки я не понимаю, — настаивал я.

— Неужели? — спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза.

— В самом деле, — говорю я.

— Так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет директор детского сада?! — почти выкрикнул он и снова расхохотался.

— При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится, — возразил я.

— Потому и смешно, что не говорится, а подразумевается, — сказал он и как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами.

Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. Здесь именно такой случай, сказал он, потому что читатель по разнице в должности догадывается, сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши воспитательницы.

— Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу? — спросил я.

— Да нет, — сказал он и махнул рукой.

Разговор перешел на посторонние предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то сомнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он получает.

— Хватает, — сказал он и обобщенно добавил: — С мяса всегда что-то имеешь.

Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

— Что тут смешного? — сказал он. — Каждый жить хочет.

Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить, что имеет директор комбината, но не решился.

Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раздражал тем, что открыл ему глаза на его более глубокое понимание смешного, и в то же время сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку.

— Может, позвоню, — сказал он с намеком на вызов.

Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я закрываюсь у себя в комнате, закладываю бумагу в свою маленькую прожорливую «Колибри» и пишу.

Обычно машинка, несколько раз вяло потявкаяв, надолго замолкает. Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы, я делаю вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми деревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему подбежать.

Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону, и если успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено смысла.

О многих своих открытиях ввиду их закрытого характера, пока существует враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов.

# Рассказы







## Приключения Чика

### Чик чтит обычаи

— **Ч**ик, — сказала мама Чикю перед тем,

как отправить его в Чегем, — ты уже не маленький. Деревня — это не город. В деревне, если приглашают к столу, нельзя сразу соглашаться. Надо сначала сказать: «Я не хочу. Я сыт. Я уже ел». А потом, когда они уже несколько раз повторят приглашение, можно садиться за стол и есть.

— А если они не повторят приглашение? — спросил Чик.

— В деревне такого не бывает, — сказала мама. — Это в городе могут не повторить приглашение. А в деревне повторяют приглашение до тех пор, пока гость не сядет за стол. Но гость должен ломаться, должен сначала отказываться, а иначе над ним потом будут насмешничать. Ты уже не маленький, тебе двенадцать лет. Ты должен чтить обычаи.

— А сколько раз надо отказываться, чтобы потом сесть за стол? — деловито спросил Чик.

— До трех раз надо отказываться, — подумав, ответила мама, — а потом уже можно садиться за стол. Ты уже не маленький, ты должен чтить обычаи.

— Хорошо, — сказал Чик, — я буду чтить обычаи. Но почему в позапрошлом году, когда я ездил в Чегем, ты мне не сказала об этом?! Я бы уже тогда чтил обычаи.

— Тогда ты был маленький, — сказала мама, — а теперь стыдно не соблюдать обычаи. Когда кто-нибудь входит в дом, все обязательно должны встать навстречу гостю. Даже больной, лежащий в постели, если он способен голову приподнять, должен приподнять ее. А гость должен сказать: «Сидите, сидите, стоит ли из-за меня вставать!» А хороший гость старику даже и не даст встать.

Только старик разогнулся, чтобы, опершись на палку, встать, как хороший гость подскочит к нему и насильно

усадит его: «Сидите, ради Аллаха, стоит ли из-за меня вставать!» Вот как у нас делается!

— А если хороший гость не успел подскочить, а старик уже встал, тогда что? — спросил Чик.

— Ничего страшного, — сказала мама, — и старый человек может встать. Но хороший гость, подскочив к нему, должен извиниться за то, что потревожил старого человека.

— А соседи считаются гостями? — спросил Чик.

— Все считаются гостями, — ответила мама, — кроме домашних. И то, если твой дедушка входит в кухню, чтя его возраст, все встают.

— А если дедушка десять раз войдет в кухню, — сказал Чик, — надо все десять раз встать?

— И десять, и двадцать раз надо встать, — с пафосом сказала мама, — если дедушка входит в кухню!

Чик вспомнил, какой проворный, сильный, подвижный дедушка. Тут только вставай и садись! Вставай и садись! Впрочем, Чик знал, что дедушка вообще редко бывает дома: он или с козами возится, или в поле работает, или в лесу.

— А если курица, собака или теленок входят в кухню, тоже надо всем встать? — спросил Чик, уже придурясь, но мама этого не заметила.

— Ну, Чик, — сказала мама, — ты ни в чем не знаешь меры. Кто же встает навстречу курице, собаке или теленку? Если они забредут на кухню, кто-нибудь может встать и прогнать их. Только и всего.

— А сидя можно прогнать? — допытывался Чик.

— И сидя можно прогнать, если они не слишком обнаглели, — сказала мама.

— А вот если я вхожу в дом, люди должны вставать или нет? — заинтересовался Чик.

— Должны, — ответила мама, — но не в Большом Доме, конечно, потому что ты будешь там жить. Но если ты приходишь к соседям и они знают, что ты умный и послушный мальчик, они должны встать. Но если ты шалопайный мальчик, могут и не встать.

— Но если я первый раз пришел к ним, — не унимался Чик, — откуда они знают, я послушный и умный мальчик или шалопайный?



— Ну, Чик, — взмолилась мама, — это же всегда видно! Ну, скажем, когда ты пришел первый раз, тебя приняли за умного мальчика, и все встали. А потом пригляделись и поняли, что ты шалопай. И вот ты подходишь к их дому второй раз, и кто-нибудь, заметив тебя издали, говорит: «Смотрите, этот дуралей приперся опять. А мы еще вставали навстречу ему, думая, что это разумный мальчик». И тебе навстречу никто не встанет, и тебе будет стыдно, что ты вошел в этот дом.

— Если я окажусь шалопаем, — уточнил Чик.

— Да, если ты окажешься шалопаем, — согласилась мама. — Но это еще не все. Бывает, хозяйка перед обедом выходит на веранду с чайником и полотенцем: «Гости, пожалуйста руки мыть». В таких случаях дурак бежит впереди всех. А надо строго осмотреться и всех, кто старше тебя, пропустить впереди себя, а потом уже самому вымыть руки.

— А если мы с кем-нибудь однолетки, тогда как быть? — спросил Чик.

— Ну, такого не бывает, — задумавшись, ответила мама, — а если случится такое, тот, кто лучше воспитан, пропустит другого вперед.

Чик поехал в Чегем с маминым братом дядей Кязымом. В Большом Доме кроме взрослых жили дети дяди Кязыма и тети Нуцы: самая старшая, ровесница Чика Ризико, ее сестрица помладше Зиновья, потом мальчик Ремзик и самый младший Гулик. Кроме них и Чика было еще четверо детей, родственники из долинных деревень. Так, седьмая вода на киселе. Их прислали сюда отдыхать, спасая от всеильной тогда малярии. Среди них был ровесник Чика, мальчик из села Анхара. Он был рыжим. Не голова, а горящая головешка.

Тетя Нуца, обслуживая всю эту ораву, сбивалась с ног. Всех детей сажали за низенький столик у очага. Так как все они не вмещались за этот столик, их сажали в две смены. Еды вроде бы было достаточно, но не так чтобы очень. Большого труда, да и вообще никакого труда, не составляло пообедать два раза подряд. К тому же чудный воздух Чегема способствовал прекрасному аппетиту.

Долинные дети оказались довольно нахальными. То ли воздух Чегема особенно способствовал их аппетиту, то ли, кто его знает, может быть, у себя в селах они погола-

дывали, но некоторые из них норовили сесть за столик второй раз. Особенно в этом преуспевал Рыжик. И это было тем более удивительно, что его горящая голова была гораздо приметней остальных голов.

Тетя Нуца в обеденной суматохе никогда не могла запомнить, кто из детей уже обедал, и потому, сажая за столик вторую смену, у всех спрашивала: «Ты уже обедал?» При этом она, боясь обмана, пронзительно смотрела в глаза детей, как бы пытаясь загипнотизировать их на ответе: «Да, я уже обедал».

Дней десять Чика как самого далекого, городского гостя сажали в первую смену. А потом однажды то ли по привычке к нему, то ли он сам зазевался, но он оказался во второй смене. Чика кольнула некоторая обида: Рыжик сел вместо него на его же место.

Чик заметил своеобразное отношение чегемцев к городу. Сначала как единственного городского мальчика его выделяли. Но за десять дней он опростился, стал бегать, как и все дети, босиком, и они подзабыли, что он городской. Так что Чик, если б знал это слово, мог бы сказать себе: а надо ли опрощаться?

Да, к городу у чегемцев было сложное отношение. С одной стороны, чегемцы подсмеивались над городскими людьми за их дебиловатость по части знания обычаев застолья и родственных отношений. С другой стороны, они уважали городских, но не потому, что у городских людей было больше научных знаний. Это Чик счел бы нормальным. Но на самом деле чегемцы уважали городских жителей за то, что они не пашут, не сеют, не пасут скот, а живут вроде не хуже. Чегемцы считали, что сами они ишачат, а городские люди приловчились жить не ишача, по конторам расселись. Они их уважали, потому что в них оказалось больше ловкости и хитрости. А ведь иначе не объяснишь, почему деревенские ловкачи стремятся переехать в город, а из городских никто не стремится переехать в деревню.

И вот Чик попал во вторую смену. Было обидно. И когда тетя Нуца пронзительно заглянула ему в глаза с гипнотическим желанием, чтобы он на вопрос: «Ты уже обедал?» — ответил, что уже обедал, Чик то ли от обиды, то ли чтобы угодить ей, ответил: «Я уже обедал».

Чик у вообще приятно было сделать так, чтобы людям было приятно, хотя он любил и дразнить людей. Это как-то одно другому не мешало. Сейчас он прямо почувствовал, что тетя Нуца облегченно вздохнула. А он-то думал, что последует опровержение его словам и восторженное удивление его скромностью. Но ничего не последовало. Другие дети, еще не обедавшие, вместе с Рыжиком, уже обедавшим, со смехом побежали на кухню.

Чик чувствовал, что голод и обида резко усилились. Обида усиливала голод, а голод усиливал обиду. Как можно было тете Нуце не запомнить, что единственный рыжий мальчик во всей компании уже сидел за столом! И тут Чик вспомнил, что Рыжик — дальний родственник тети Нуцы. Ты смотри, подумал Чик, подыгрывает своим. Но почему тетя Нуца не повторила своего приглашения? И тут Чик понял свою ошибку: там, где живешь, не надо ждать повторного приглашения, это касается только соседских и чужих домов. Он вспомнил, что никто из детей здесь не ломался и не ждал повторных приглашений. Да и что это за приглашение: «Ты уже обедал?» Очень странное приглашение. Первой смене такого вопроса не задавали.

Дети, которые уже отобедали, высыпали во двор, чтобы заняться какими-нибудь играми. Они звали с собой Чика, но он сурово отказался. Какие тупые, подумал Чик, сами налопались и теперь будут затевать игры, и меня, голодного, к себе зовут. И ни один из них не вспомнил, что я еще не обедал.

Хотя, когда тетя Нуца у него спрашивала про обед, они не слышали, но сами-то они могли заметить, что вместо Чика за столиком сидел Рыжик и теперь опять как ни в чем не бывало побежал на кухню. И никто не сказал: а ведь Чик с нами не обедал и теперь со второй сменой не обедает! Вот эгоисты! Чик снова почувствовал, что от голода усиливается обида, а от обиды — голод.

А о Рыжике и говорить нечего! Чик до этого мальчика никогда не видел рыжего абхазца. Он даже считал, что абхазцы не могут быть рыжими, рыжими могут быть только другие народы. И вот тебе на! Оказывается, абхазцы тоже могут быть рыжими. Странно, но это так. И вот Рыжик второй раз обедает, и обедает за счет Чика.

Интересно было бы узнать: пообедал бы Рыжик за счет Чика, если бы он не был рыжим? Трудно установить, хотя рыжие, по наблюдениям Чика, скромностью не отличаются. Та городская рыжая команда, которую знал Чик, никакой скромностью не отличалась. Видимо, рыжие вообще не могут быть скромными, думал Чик. Видимо, они раз и навсегда решили: скромничай, не скромничай — все равно тебя будут называть рыжим. А раз так — чего там скромничать! Все равно тебя будут называть рыжим! Но все-таки Рыжик даже для рыжего поступил чересчур нахально, пообедав сам и вздумав пообедать за Чика. Сейчас, наверное, сидит наяривает!

Был полдень. В такое время весь Чегем обедал. Дядя Сандро жил ближе всех к Большому Дому. Чик решил идти к нему и попытаться, если повезет, у него пообедать.

Он вышел со двора Большого Дома, прошел скотный двор, потом — мимо небольшой плантации табака и открыл ворота во двор дяди Сандро. Над крышей кухни вился дымок, и Чик надеялся, что там готовят обед и он вовремя пришел.

Дверь кухни была не распахнута, а чуть приоткрыта. Чик знал, что по чегемским обычаям это считалось не очень-то красивым. В теплое время года кухня всегда должна быть распахнута, если хозяева дома, что означает: гостя принимаем в любое время.

Дядя Сандро, несмотря на славу великого тамады, главы многих застолий, у чегемцев считался не очень гостеприимным. Видимо, в промежутках между многлюдными застольями он не любил общаться с людьми, отдыхал от них, набирался сил. И сейчас кухня была полуприкрыта, и со стороны могло показаться, что хозяев нет дома. Но Чик понял, что это не так. Собака дяди Сандро сидела, сунув голову в приоткрытую дверь. Вернейший признак, что хозяева дома: или обедают, или готовятся к обеду.

Все собаки ближайших домов Чика хорошо знали. Он любил их, и они его любили. Почувяв, что Чик вошел во двор, собака с притворной яростью залаяла и бросилась в сторону Чика, хотя сразу его узнала. И это было верным признаком, что на кухне обедают. В таких случаях собаки особенно яростно лают, иногда по выдуманным при-

чинам, чтобы показать хозяевам, что они не даром едят свой хлеб. В таких случаях хозяин обязательно должен выйти и унять собаку. Но этого не последовало, что укрепило Чика в мысли: на кухне заняты обедом.

Собака подбежала к Чику, несколько раз попрыгала возле него и очень деловито направилась в сторону кухни, как бы приглашая и Чика с собой: не будем терять времени, как бы говорила она, может, и нам что-нибудь перепадет. Чик бодро отправился за собакой и смело распахнул кухонную дверь.

И он увидел такое зрелище. Дядя Сандро и тетя Катя, его жена, сидели за низеньким столом и обедали. При этом дядя Сандро один сидел во всю ширь стола, а тетя Катя скромно угнездилась возле узкого его торца. На столе громоздились две порции дымящейся мамалыги, рядом в блюдечках было разлито коричневое густое ореховое сациви. Середину стола занимала миска с курятиной. В двойной солонке в одной чашечке белела соль, а в другой чашечке пурпурилась аджика. На столе были разбросаны кучки зеленого лука и свежие огурцы.

— Здравствуй, Чик, — сказала тетя Катя и, обдавая его теплом своей улыбки, привстала.

Дядя Сандро тоже как бы приподнялся, но, дождавшись, когда Чик движением руки попросил их не двигаться, он как бы опустился на свое место.

— Сидите, сидите, — сказал Чик, — я тут мимо проходил и решил проведать вас.

— Вот и хорошо, — сказала тетя Катя, улыбаясь и вытирая руки о передник, — сейчас пообедаешь с нами.

Первое приглашение, волнуясь, отметил про себя Чик.

— Нет, спасибо, — сказал Чик, глотая слюну при виде курятины, — я уже обедал.

— Ну и что ж, что обедал, — опять улыбнулась ему тетя Катя, — у нас сегодня курица, пообедай с нами. Я сейчас тебе полью руки вымыть.

Второе приглашение, еще больше волнуясь, отметил про себя Чик.

— Спасибо, тетя Катя, не хочу, — мягким голосом, чтобы не отпугнуть третье приглашение, ответил Чик.

Но тут вмешался дядя Сандро, и третьего приглашения не последовало.

— Оставь его в покое, — загремел он. — Чик уже, видно, от пуза наелся в Большом Доме! Что ему твоя курица! Чик — городской мальчик. Захочет есть — сам сядет к столу без наших церемоний. Просто так посиди, Чик, а я тебе что-нибудь расскажу такое, что ты и в кино не увидишь.

И Чик сел на скамейку, напротив низенького стола, за которым сидел дядя Сандро, а теперь присела и тетя Катя.

— Что ж мы будем есть на глазах у мальчика, — сказала тетя Катя с виноватой улыбкой.

— Что ему твоя курятина! — снова загремел дядя Сандро и с хрустом перекусил сочное оперение зеленого лука. — Он небось хочет послушать что-нибудь из того, что случилось со мной. Хочешь, Чик?

— Да, конечно, — ответил Чик, скрывая уныние. Он любил слушать рассказы дяди Сандро, но сейчас его красноречию явно предпочел бы курятину.

И дядя Сандро приступил к своему рассказу, шумно причмокивая, хрустя огурцами и зеленым луком, ломая зубами куриные кости и высасывая из них костный мозг. Иногда, вероятно, находя, что костного мозга в косточке мало и она не стоит трудов, он ее отбрасывал собаке, молча стоявшей у дверей, сунув голову в кухню. Собака всегда на лету хватала эти кости, жадно перегрызала их и причмокивала при этом не хуже дяди Сандро. Крепость зубов дяди Сандро, по наблюдениям Чика, не уступала клыкам собаки.

Чик вообще чувствовал в дяде Сандро необыкновенную жизненную силу. Он поневоле любовался им. Дядя Сандро сейчас был одет в простую крестьянскую сатиновую рубашку, подпоясанную тонким кавказским ремнем, в темные брюки-галифе и мягкие черные чуваки. Под сатиновой рубашкой угадывались мощные плечи и тонкая талия. Лицо у него было правильным и довольно красивым, над губами нависали чуть изогнутые вниз седоватые усы, и такие же седоватые волосы прямо зачесаны вверх.

Большие голубые глаза были довольно выразительными, но, на вкус Чика, чересчур выпуклыми. Когда дя-

дя Сандро разламывал кости во рту и высасывал из них костный мозг, глаза у него делались невероятно свирепыми, словно у хищника, который разрывает живую дичь. Если кусок курятины, который он брал из миски, ему почему-то не нравился, он небрежно бросал его назад и брал другой.

Тетя Катя, если брала из миски курятину, никогда ее не заменяла другим куском. Тетя Катя ела тихо, никаких костей на зубах не разламывала. Она ела с несколько виноватым видом, словно женщине приличней совсем не есть, но если уж изредка приходится, то она, так и быть, поклюет немного.

Чик, глядя на то, как ест дядя Сандро, чувствовал такие приступы голода, что завидовал даже собаке, хватавшей на лету кости.

— Я тебе расскажу, — начал дядя Сандро, — как я с одним абреком однажды расправился. Это случилось за год до германской войны. Я уже был крепкий молодой мужчина, и уже многие знали, какой я тамада. Многие, но не все. Теперь все знают...

— Не слушай его, Чик! — вдруг вскричала тетя Катя. — Все это он выдумал или услышал от кого-то. Расправился с абреком! Тебя, рано или поздно, за эту выдумку арестуют!

— Кто арестует, дурочка? — насмешливо спросил дядя Сандро. — Это было при Николае, а сейчас Сталин. Ты разве не знаешь об этом?

— Знаю не хуже тебя. Эта власть за что хочешь может арестовать. И все ты выдумал!

Дядя Сандро снова насмешливо посмотрел на жену и покачал головой. Потом махнул рукой и решительно обратился к Чику:

— Слушай меня... Твоей матери тогда было лет десять. Она была младше тебя. Однажды к нам в дом приходит один знакомый мне лаз. Мы с ним за год до этого в Цебельде во время греческого пиршества сидели за одним столом. Я был главным тамадой, а он моим помощником. Хорошо провели ночь. Он был расторопный и понятливый. Я только поведу бровями, а он уже знает, что делать. Пьяных тихо, без скандала уводит из-за стола, а трезвых приближает ко мне. Одним словом, я вел стол, рассказы-

вал смешные истории, и люди хохотали. Потом подымал тост за очередного родственника хозяина, строго отмечая степень родственной близости. А греки обидчивые, не дай бог пропустить кого-то, такой базар подымут, что с ума сойдешь. Тем более у них и женщины вмешиваются. У них так принято. Но я все заранее знал и прекрасно провел стол. Пели греческие песни, абхазские песни и турецкие песни.

Теперь ты спросишь: а на каком языке вы говорили? И правильно спросишь. Отвечаю: на турецком. Греки, армяне, абхазцы тогда все понимали турецкий язык, как сейчас русский. Даже лучше. И что интересно: тогда, чем старше человек, тем он лучше понимал по-турецки. Сейчас, чем моложе человек, тем он лучше говорит по-русски. И потому большевики победили. Молодых они уговарили, обещали им райскую жизнь с гуриями, а старые не могли угнаться за большевиками, потому что из старых тогда мало кто знал русский язык, и они не понимали, что большевики обещали молодым. А пока разбирались что к чему, тут колхоз нагрянул, и все поняли, чего хотели большевики, но было уже поздно.

— И за это тебя посадят, — как бы сообразив, прервала его тетя Катя.

Но дядя Сандро на этот раз не обратил на нее внимания.

— Но я не об этом, — продолжал он. — И вот человек, который на греческом пиршестве был помощником главного тамады, значит, моим, приходит в наш дом и говорит: «Прошу как брата, спрячь меня у себя дома недели на две, а потом откроется перевал, и я уйду на Северный Кавказ. Меня полиция ищет».

Тогда принимать у себя дома абрека и прятать его считалось почетной и опасной обязанностью. Но дело в том, что твой дед терпеть не мог абреков. Он их всех считал бездельниками. Он и большевиков, которые тогда прятались в лесу, считал бездельниками. Слава богу, никто из них к нам не напрашивался спрятаться, и потому мы им не отказывали. А то бы с нас сейчас голову снесли. Твой дед всех, кто держал в руках винтовку, а не мотыгу, считал бездельниками. И сейчас так считает.



И вот теперь как мне быть? Отец его в доме не потерпит, тем более что даже не родственник. Гнать человека, с которым всю ночь сидел за одним столом, принимал вместе хлеб-соль, тоже неудобно. И я так решил: пусть сидит в кукурузном амбаре. Еду я ему туда буду приносить. Амбар стоял довольно далеко от дома, в кукурузном поле. Твой дед туда не заглядывал. А чего ему туда заглядывать? Когда загружали амбар новым урожаем кукурузы, пол-амбара еще было наполнено старой кукурузой. Так мы тогда жили. Благодать! И вот я его устроил в наш амбар. Отец, конечно, ничего не знает. Дал ему матрац, постельное белье, и он там живет. Отец дома почти не бывает, придет на обед, а там ужинать и ложится спать.

И вот мой лаз спит по ночам, постелив на кукурузных початках постель, а днем я ему приношу еду. Пару раз вместе с едой я ему приносил вино, и мы с ним вместе выпивали, сидя на кукурузных початках. И тут я за ним заметил странную дурость. Чуть зашуршит что-нибудь в амбаре, он хватается кукурузный початок и швыряет его в сторону шума.

— Что ты делаешь? — говорю.

— У вас тут, оказывается, водятся белые мыши, — отвечает он.

— Ну и что, — говорю, — у нас в самом деле водятся белые мыши.

— Я, — говорит, — никогда не видел, что мыши могут быть белыми. Это не к добру.

— Ты же знаешь, — говорю, — сколько скота у моего отца. Как видишь, белые мыши нам не мешают.

— Нет, — говорит, — это не к добру. Ночью первый раз, когда я от шороха проснулся, думал, полицейские ползут, чуть стрелять не начал.

— Хорош абрек, — говорю, — который по мышам пальбу подымает! Да тебя люди засмеют.

— Они меня замучили, эти мыши, — говорит, — главное, белые. Я и слыхом не слыхал, что бывают белые мыши.

Он, дурак, даже не знал, что белые мыши среди серых мышей — как рыжие между людьми. Редко, но встречаются.

И тут раздался шорох в углу амбара, и он начал хватать початки и кидать в этот угол. Ну, думаю, он от страха психом стал. Но вообще швыряться кукурузными початками, да еще чужими, по нашим обычаям грех. Кукуруза — наш хлеб. А швыряться хлебом, да еще чужим, не положено. Но я стерпел, ничего ему не сказал. Все-таки абрек, попросил убежища, и когда-то я сидел с ним всю ночь за греческим столом, и мне в голову тогда не могло прийти, что он белых мышей боится.

Да и почему человек, который боится белых мышей, прячется от полиции, я так и не узнал. До этих белых мышей я думал, что он убил какого-нибудь писаря и за ним полиция охотится. А теперь не знал, что и думать.

В те времена спрашивать у абрека, почему он прячется от властей или от какого-то рода, считалось некрасивым. Если сам скажет — хорошо. Но если он не считает нужным сказать, спрашивать неприлично.

— Не к добру, не к добру эти белые мыши, — говорит, — я это чувствую всей шкурой.

Однако просидел он у нас в амбаре с белыми мышами дней пятнадцать, а потом однажды поблагодарил меня и ушел в ночь. Я ему объясняю, как дойти до первого, до второго, до третьего перевала, чтобы спуститься на Северный Кавказ. Объясняю, где какие опасности.

— Уж если я пережил белых мышей, — говорит он мне в ответ, — я все переживу. Но я еще не уверен, что пережил белых мышей.

Ну, думаю, парень совсем тронулся от белых мышей. Там, на перевалах, думаю, какой-нибудь бурый медведь вправит ему мозги. Забудет о белых мышах. Все-таки мы обнялись по-братски и расстались.

Прошло два года. Летом мы с отцом и двумя братьями гоним своих коз на альпийские луга. Коз было больше тысячи. Мы уже сделали одну ночевку. По велению отца отвели трех коз подальше от стада и оставили там — жертва Богу гор.

И вот позавтракали и гоним стадо дальше. Тропа узкая, стадо растянулось примерно на километр. Я замыкал стадо, остальные все впереди. В одном месте недалеко от тропы я увидел несколько кустов черники, сплошь осыпанных черными ягодами. Я полез за черникой.

Жарко. Черника хорошо идет. И я от сладкой черники так забылся, что с полчаса провозился в кустах.

Стадо ушло вперед. Спешу его догнать. И вдруг что я вижу? Навстречу мне, с той стороны, куда ушло стадо, идет этот лаз, который две недели сидел у нас в кукурузном амбаре. За плечом винтовка, а перед ним козел из нашего стада. Он снял с себя поясной ремень, перевязал им шею козла, пошлепывая другим концом, спускается вниз.

Я сразу узнал нашего козла. Он был очень здоровый, с белыми рогами и черными пятнами на шерсти. Задержись я еще минут на десять с черникой, этот лаз прошел бы по тропе, и я ничего не заметил бы. А он, видно, следил за тропой из кустов. Видит, идет огромное стадо, впереди люди, а сзади никого. И вот он украл нашего козла и спускается вниз. И вдруг видит меня. И ему стало неприятно, что мы хорошо знакомы, а он попался. С другой стороны, у него за плечом боевая винтовка, а у меня в руке только палка.

— Здравствуй, — говорю ему.

— Здравствуй, — отвечает. Но в глаза не смотрит.

— Чего волочишь моего козла? — говорю.

— Я, — говорит, — не знал, что он твой.

— Но теперь знаешь, — говорю, — отвяжи свой ремень.

Ему и стыдно, но он наглый, гордый. Видно, все еще прячется в лесах, иначе как объяснить, что взрослый, сильный мужчина украл козла. Понятно, если бы он угнал лошадь, быка. Это лихость. А тогда козла украсть — все равно что сейчас курицу украсть. И он, видно, решил: если я сейчас отдам козла, Сандро расскажет об этом людям, и люди будут смеяться: козлокрад. А если не отдам козла, видно, решил он, Сандро постесняется сказать, что на его глазах увели его козла. Ведь если он расскажет об этом людям, они могут спросить: «А чего ты не отобрал у него своего козла? Да ты, видно, Сандро, трусоват!» Сандро трусоват! Вот на что он надеялся. И он решил не отдавать козла, тем более видит, что у меня никакого оружия нет. Палка в руке.

Дядя Сандро так увлекся своим рассказом, что перестал есть, и косточки перестали лететь в пасть собаки. И

собака, видимо, решив, что ее перестали замечать, совсем влезла в кухню. Дядя Сандро наконец заметил ее и, вынув из миски аппетитное, совсем не обглоданное крылышко курицы, бросил собаке. Собака, поймав на лету добычу, мигом перегрызла ее и проглотила.

— Теперь пошла! — гаркнул дядя Сандро.

Собака покорно вышла из кухни и, только всунув голову в приоткрытую дверь, замерла. Я бы тоже такое крылышко мог поймать ртом, подумал Чик, хотя до этого он был так увлечен рассказом дяди Сандро, что почти забыл о голоде.

А тетя Катя, как бы стесняясь есть, продолжала поклевывать свою мамалыгу, окуная ее в ореховую подливу и осторожно подкусывая курятину. Поклевывать-то она поклевывала, но от ее мамалыги почти ничего не осталось. Чик и это заметил.

Дядя Сандро разгладил усы и продолжил свой рассказ.

— Я не отдам тебе козла, — говорит он, — я абрек. Право мое за моим плечом. — И рукой хлопает по плечу, где у него винтовка.

Ну, думаю, дело плохо.

— Ты две недели принимал хлеб-соль нашего дома, — напоминаю ему, — мы, рискуя свободой, прятали тебя. Ты что, не знаешь закон гор: в доме, который тебя приютит, иголки тронуть не смей?!

— То, что я съел у вас, — говорит он нахально, — давно превратилось в дерьмо. А ты даже в дом меня не пустил. Я жил в амбаре, где всю ночь шуршали мыши. Да еще белые. Так что вы ничем не рисковали. Абрек мог заночевать в любом амбаре. Никакого вашего риска не было.

— Вот уж, — говорю, — никогда не слыхал, чтобы абрек на своих плечах тащил за собой матрац и постельное белье.

Он понял, что перехитрить меня не смог и сам кругом виноват. И он разозлился. Снял винтовку с плеча и взял в руки.

— Прочь с дороги! — кричит. — Иначе не только козла недосчитается сегодня твой отец!

Он ударил козла ремнем и пошел прямо на меня. Что делать? Когда говорит ружье, палка должна молчать! Я

уступил тропу, и он вместе с моим козлом прошел мимо меня.

Я стою злой как черт! Но есть Бог, я в Бога поверил с тех пор. Я вспомнил, что за нами, догоняя нас, идет мой товарищ с ружьем. Ну, думаю, подойдет мой товарищ, возьму у него ружье и догоню этого занюханного абрека. И тогда ходок по горам был изрядный, а у этого еще и козел упирается.

Он пошел назад нашей тропой. Тропа через полкилометра круто спускалась вниз к реке. Шумная горная река. Через нее был перекинут висячий мост.

Когда я увидел, что абрек с моим козлом исчез там, где тропа спускалась к реке, я пошел за ним. Думаю, быстрее встречу своего друга. И прямо там, где тропа круто спускалась вниз, я залег и смотрю вперед. Вижу, абрек с моим козлом у самой реки, уже подбирается к висячему мосту. А с той стороны реки приближается мой товарищ с ружьем, он тоже спускается с горы. Он только начал спускаться к реке, а этот абрек уже внизу. И мы с моим товарищем почти на одном уровне.

Тогда мне в голову пришло другое решение. Когда мой товарищ на высоте сравнялся со мной, а та гора, с которой он спускался, была повыше, я вскочил на ноги и, махая руками, изо всех сил крикнул ему обо всем, что со мной случилось. И о том, кто идет ему навстречу.

В те времена голос у меня был невероятный: криком я мог сбросить всадника с седла. Такой голос у меня был. Но я все учел. Голос мой идет поверху, а внизу, где козлокрад, шумит река, и он его не слышит. Товарищ мой увидел меня и все услышал. Рукой показывает: мол, понял тебя. И в самом деле, все правильно понял. Недалеко от тропы залег в кусты с ружьем.

Я смотрю сверху: кино! Хотя мы тогда, что такое кино, не знали. Вижу, уже козлокрад близко подошел к тому месту, где залег мой товарищ. Он уже давно закинул винтовку за плечо — ему бы с моим упрямым козлом справиться. Я волнуюсь: что будет?! И вдруг козлокрад останавливается возле кустов, где залег мой товарищ. Оттуда выходит мой товарищ с ружьем, нацеленным на него. Близко подходит и что-то говорит.

Я, конечно, ничего не слышу, но все вижу. И тут козлокрад тряхнул плечом, и винтовка его падает на землю.

Правильно, думаю, так его! Товарищ мой рукой показывает ему: мол, отойди от винтовки. Он отходит на несколько шагов, но, между прочим, козла продолжает держать за ремень. Ну, думаю, без винтовки ты недолго удержишь козла. Я понял, что мой товарищ ему ничего обо мне не сказал. Так оно и оказалось. Козлокрад решил, что какой-то другой абрек отнял у него винтовку.

Товарищ мой подошел и поднял его винтовку. А потом вижу, они оба уселись под тень бука. Выше, шагов на десять, сидит мой товарищ, положив рядом с собой оба ружья, а ниже сидит тот абрек, все еще придерживая за ремень моего козла. Не знает, что смерть свою на своем ремне придерживает.

Я сбежал по тропе. Я так бежал по висячему мосту, что он, раскачавшись, чуть меня в реку не сбросил... Ша! — вдруг остановил дядя Сандро сам себя, — кажется, кто-то кричит.

Тетя Катя, между прочим, во время рассказа дяди Сандро время от времени морщилась и подавала Чикку тайные знаки, чтобы Чик не верил его рассказу. Чикку это было неприятно, тем более что рассказ дяди Сандро ему нравился. Сейчас дядя Сандро замолк, прислушиваясь к чему-то. В кухне стало тихо.

— Эй, Сандро! — раздался чей-то далекий голос. Дядя Сандро вскочил и быстро вышел на кухонную веранду. Вслед за ним озабоченно вышла и тетя Катя.

— Эй, Бахут, это ты? — закричал дядя Сандро таким мощным голосом, что Чикку показалось вполне правдоподобным, что он голосом может скинуть всадника с седла. Особенно если всадник в долгой дороге задремал в седле.

— Я! Я! — донесся далекий голос. — Сегодня жду почетных гостей! Хочу, чтобы ты был тамадой!

— Притворись больным, притворись больным, — вдруг быстро и тихо запричитала тетя Катя, словно Бахут мог ее услышать.

— Чего я должен притворяться больным, — назидательно заметил дядя Сандро, — что меня, пахать зовут, что ли?

— Приду! Приду! — зычно дал согласие дядя Сандро. — Но кто будет? Перечисли!

И тут Чик у пришла в голову довольно невинная, но соблазнительная мысль. Пока дядя Сандро и тетя Катя на кухонной веранде, хотя бы заглянуть в миску с курятиной и насмотреться на нее.

Он быстро встал и подошел к столику. В миске еще много было курятины: одна ножка, одно мясистое крыло и еще несколько бескостных кусков белого мяса. Все это выглядело так аппетитно, что Чик не удержался от того, чтобы хотя бы понюхать кусок курятины. Он взял из миски кусок белого мяса и стал с наслаждением припихиваться к нему, как любитель цветов к цветку. Запах был такой ароматный, что Чик, как бы незаметно для себя, приложил прохладную курятину к самому носу и снова с наслаждением втянул воздух.

И вдруг он со всей ясностью понял: до чего же будет плохо вернуть в миску кусок курятины, который он уже приложил к своему носу! А дядя Сандро или тетя Катя потом возьмут и съедят его?! Нет, этот кусок должен быть уничтожен! И Чик уже не сомневался, каким образом. Он — была не была! — макнул этот кусок курятины в ореховую подливу и сразу весь сунул в рот и с трудом стал прожевывать.

Это было так невероятно вкусно, а от стыда, что хозяйка его застанут за этим занятием, курятина казалась еще вкусней! Он даже молниеносно решил: если тетя Катя и дядя Сандро внезапно войдут в кухню, немедленно прикрыть руками оттопыренные щеки и изображать глухонемого, пока не проглотит все, что во рту. А потом сказать, что у него внезапно разболелись все зубы.

Но дядя Сандро с видимым удовольствием все еще перекликался с Бахутом, уточняя личности гостей и время предстоящего пиршества.

— Скажи, что я больная, что ты не можешь прийти, — тихим голосом, словно там ее могли услышать, безнадежно упрашивала тетя Катя своего мужа.

— Какая ты больная, — резко оборвал ее дядя Сандро, — на тебе мешки можно таскать!

— Но ты ведь перепьешь, — грустно напомнила ему тетя Катя.

— Я могу перепить людей, — строго заметил ей дядя Сандро, — потому я и знаменитый тамада. Но себя перепить даже я не могу, куриная голова.

Пока дядя Сандро переговаривался с женой и переключался с Бахутом, Чик прожевал и проглотил тот самый кусок курятины. Он оказался до того вкусным, что Чик с еще большей силой ощутил голод. Чик подумал, что, раз уж согрешил один раз, можно согрешить и второй раз. Стыд от этого не удваивается, а, наоборот, уменьшается в два раза, он делится между двумя кусками курятины. Значит, соображал Чик, если взять десять кусков курятины, на каждый останется маленький стыденек. Чик сильно задумался над этим.

Собака, стоявшая в дверях и продолжавшая смотреть в кухню, все видела и теперь с укором глядела на Чика: мол, раз сам взял, мог бы и мне подкинуть. Но Чик ей ничего не подкинул, а только выразительно посмотрел ей в глаза, стараясь внушить; а мне хорошо было смотреть, как тебе кидают вкусные косточки и ты хрумкаешь ими? То-то же!

Наконец дядя Сандро, уточнив, что пиршество начнется, как только солнце занырнет за землю, возвратился с тетей Катей на кухню. Так что Чик не успел проверить свою теорию о том, что с повторением греха стыд уменьшается во столько раз, сколько раз повторяется грех. Он слишком замешкался, обдумывая ее.

Дядя Сандро уселся на свое место и стал рукой шарить в миске, выбирая кусок курятины. Он так долго его выбирал, что у Чика даже екнуло сердце: а не тот ли кусок ищет дядя Сандро, который он съел?

Дядя Сандро, так и не выбрав курятины, подозрительно покосился на собаку, а потом взял огурец, ножом разрезал его вдоль и, густо, как повидлом, намазав одну долю аджикой, откусил, с удовольствием крякнув от остроты.

— Так на чем я остановился? — спросил он у Чика, бодро причмокивая.

Огурец всегда едят бодро, подумал Чик, а помидор задумчиво.

— Вы перебежали висячий мост! — радостно воскликнул Чик, чувствуя, что вопрос о курятине отсечен навсегда.



— Да, — продолжил дядя Сандро, хрустя огурцом и постепенно вдохновляясь, — я перебежал висячий мост. Козлокрад не видел меня, потому что он, повернув голову вверх, разговаривал с моим товарищем. И только когда я уже был в десяти шагах от него, он услышал мои шаги и обернулся. Если бы ты, Чик, видел его в это мгновение! По лицу его ясно было, что он начинает догадываться, что мы как-то сговорились с товарищем, но он никак не мог понять, каким путем мы сговорились. То, что мой крик проплыл над ним, он не догадался. Долинный человек. Одним словом, у него было такое лицо — краше человека из петли вынимают. Я подошел к моему товарищу и поднял винтовку козлокрада. Затвор лежал отдельно, как вырванный язык. Я вложил затвор на место и крикнул козлокраду:

— Так, значит, хлеб-соль моего дома давно превратился в дерьмо?! А право твое за твоим плечом?!

Он вскочил на ноги и стал пятиться к реке. Я снял ремень со своего козла и кинул ему.

— Теперь, — говорю, — если черта скрадешь в аду, этим же ремнем вяжи его!

И так я шел на него, а он пятился. Я шел на него, а он пятился к реке. Но слова не сказал и милости не просил. Чего не было, того не было. И уже над самой рекой, у обрыва, он знаешь что крикнул?

— Что? — спросил Чик с нетерпением.

— Ни один человек в мире не догадается, что он сказал! — воскликнул дядя Сандро.

— Что, что он сказал?! — в нетерпении повторил Чик, думая, что последние слова абрека раскроют какую-то великую тайну.

В это время он как-то случайно взглянул на тетю Катью и увидел, как она, брезгливо сморщив лицо, качает головой, стараясь внушить Чикю, чтобы он ни одному слову дяди Сандро не верил. Чик быстро отвел от нее глаза. Ему не хотелось принимать участие в предательстве рассказа дяди Сандро.

— «Белые мыши!» — крикнул он, — продолжал дядя Сандро, сам возбуждаясь, — и я выстрелом сбросил его в реку. Он так пятился, что я мог бы и не стрелять, он бы сам свалился в реку и утонул. Но я хитрить перед судьбой

не хотел, я сам его сбросил выстрелом. Потом в эту же реку я сбросил его ремень и винтовку. Винтовку было жалко, но мы боялись, что отец, увидев чужое оружие, что-нибудь заподозрит. Отец ненавидел такие дела...

— Но почему же он вспомнил белых мышей?! — воскликнул Чик. — Он еще в амбаре предчувствовал, что от них исходит какая-то опасность?

— Ерунда все это, Чик, — сказал дядя Сандро, успокаиваясь, — он погиб от своей бессовестности, а не от белых мышей. Я много об этом думал.

— А может, он не знал, что это ваше стадо? — спросил Чик, сам не понимая, чего он ищет: оправдания для абрека или оправдания для выстрела.

— И это его не спасает, — сказал дядя Сандро, улыбаясь Чику крепкими зубами. — Знаешь, что мой товарищ сказал, когда мы быстро двинулись вперед, догоняя стадо?

— Что? — спросил Чик.

— Он, думая, что и мой товарищ абрек, сказал ему: мол, тут сейчас прошел богатый крестьянин со своим огромным стадом. Там всего четверо мужчин, и только один из них с оружием. Так оно и было. Ружье было только у Кязыма. И он моему товарищу говорит: мол, перебьем их всех, стадо перегоним на Северный Кавказ и там продадим. Значит, он откуда-то из-за кустов следил за стадом и теми, кто его вел. Братьев моих он прекрасно знал, а отца хоть лично и не знал, но за две недели из-за плетенки амбара он не мог не увидеть моего отца, вечно покрикивавшего на коз и на людей: и тех и других он всегда укорял в лени. Но во всем этом, Чик, все равно был великий Божий замысел.

— Как так? — спросил Чик. Уши у него горели.

— А вот слушай меня дальше, — продолжил дядя Сандро с удовольствием. — Наконец мы догнали свое стадо. Мой отец! Такого хозяина в Чегеме нет и не будет. Он только взглянул на нашего чернявого козла и сразу спросил: «Чего это вы ему шею ремешком стягивали?» Мы не замечали следа от ремня, а он одним глазком взглянул и заметил. «Да заупрямился, — говорю, — не хотел идти. Мы его еле затащили сюда. Оттого так и опоздали». Отец подумал-подумал и сказал: «Это моя ошибка, мой грех. Когда

мы Богу гор оставляли трех коз, я хотел и этого оставить. Но потом пожалел. Старый он, я привык к нему. Вот он и не хотел идти, чувствуя, кто его хозяин теперь. Надо его сегодня же зарезать и съесть в честь Бога гор». Ты видишь теперь, Чик, какой узорчатый замысел выполнил Бог?

— Какой? — спросил Чик, удивляясь, что у Бога бывают узорчатые замыслы.

— Бог наказал отца за то, что он пожалел чернявого козла и не оставил его в лесу. — Дядя Сандро загнул на руке мизинец: первое наказание. — Но в конце концов, отец сам догадался принести этого козла ему в жертву. Бог наказал меня страхом смерти за то, что я, губошлеп, вместо того, чтобы все время следовать за стадом, соблазнился черникой. — Дядя Сандро загнул на руке безымянный палец: второе наказание. — Но самое главное, Бог наказал этого абрека за то, что он плюнул на наш хлеб-соль, и за то преступление, из-за которого он прятался у нас. Видно, это было очень подлое преступление, но мы о нем теперь никогда не узнаем. — Дядя Сандро безжалостно загнул средний палец: третье наказание.

Чик невольно обратил внимание на то, что сила наказания Бога как бы соответствовала величине загнутого пальца. Средний палец был самый длинный, и самое тяжелое наказание пало на абрека.

— Бог восстановил порядок, — продолжал дядя Сандро, — в этот же вечер мы зарезали чернявого козла. Перед этим отец помолился Богу гор и попросил его простить свою ошибку. Потом мы долго варили в котле этого козла и наконец съели свое жертвоприношение.

— Вкусным оказался? — полюбопытствовал Чик, представляя, как в альпийском шалаше едят горячее, дымящееся мясо.

— Да нет, не особенно, Чик, — признался дядя Сандро, — хотя мы были очень голодными.

— Это Бог гор сделал его мясо не очень вкусным? — спросил Чик не без доли школьной атеистической насмешки. Но дядя Сандро этого не заметил.

— Бог гор такими мелочами не занимается, — важно напомнил дядя Сандро, — просто козел этот был очень старый.

— А вы потом, когда ты убил этого абрека, видели его труп в воде? — спросил Чик.

— Нет, — ответил дядя Сандро, — там было такое течение, что его тут же унесло.

Чик представил, как буйный горный поток несет труп, иногда больно стучая его о камни головой, и ему стало жалко труп, который уродуется бешеным, равнодушным течением.

— А винтовка, — спросил Чик, — она пошла на дно или ее тоже течением унесло?

— Конечно, пошла на дно, — сказал дядя Сандро и добавил: — Винтовка для любого течения слишком тяжелая.

— Она и сейчас там лежит? — спросил Чик, задумавшись.

— А куда ей деваться, — ответил дядя Сандро, — я ее с середины моста сбросил.

— Теперь ее можно достать, — сказал Чик.

— Да что ты, Чик, — ответил дядя Сандро, улыбаясь его наивности, — если она там и лежит, ее всю ржавчина проела.

Чик у все-таки было жалко этого злосчастливого абрека. Особенно почему-то было жалко, что его труп, излущенный камнями, тащило холодное, равнодушное течение.

— А если бы ты не уступил ему дорогу и требовал бы у него вернуть козла, — спросил Чик, — ты уверен, что он убил бы тебя?

— Так же уверен, как то, что ты сейчас сидишь передо мной, — сказал дядя Сандро, — ты бы видел его лицо тогда. Да что о нем говорить, если человек в ярости швыряется кукурузными початками в белых мышей. Как будто его отец вырастил эти початки. Тогда уже было видно, что это конченный человек, но я сдержался тогда. Все-таки гость...

Чик у стало меньше жалко этого абрека, но все-таки было жалко. Он так ясно представил, как тот молча пятится к реке и даже не пытается попросить у дяди Сандро прощения.

— Все-таки он храбрым был, — вздохнул Чик, — он даже перед смертью не попытался попросить у тебя прощения.

— Храбрый швыряться кукурузными початками в белых мышей, — усмехнулся дядя Сандро. — Он прекрасно знал, что я ему не прощу, иначе стал бы на колени и умолял меня. Он нарушил главный закон гор: в доме, который тебя приютил, иголки тронуть не смей!

— Ну а когда ты стрелял в него, — продолжал допытываться Чик, — тебе хоть чуточку-пречуточку было жалко его?

— Да что ты, Чик! — воскликнул дядя Сандро. — Если бы ты знал, что такое сладкое чувство мести! Он унизил не только меня, но и весь наш дом и весь наш род. Он получил по заслугам!

— Чик, покушай яблоко и перестань слушать его выдумки, — вдруг сказала тетя Катя, вытирая о подол большое красное яблоко и подавая ему.

Чик уже так наголодался из-за желания быть верным обычаям, что теперь ему было особенно жалко нарушать их. Тогда получалось бы, что он напрасно голодал. И он решил, что сначала опять нужно трижды отказаться.

— Спасибо, тетя Катя, — сказал Чик, — я уже кушал.

— А ну, возьми сейчас же яблоко! — вдруг, полыхнув глазами, загремел дядя Сандро. — Клянусь Аллахом, кто-то нашептал ему не принимать еду в нашем доме! Что ему ни скажешь — я уже кушал. Уж не мать ли твоя запретила тебе есть в моем доме?!

Глаза дяди Сандро теперь целенаправленно полыхнули на маму Чика, и он испугался: а вдруг дядя Сандро испытает к ней сладостное чувство мести?

— Нет, — замотал Чик головой, — мама мне ничего такого не говорила.

Он поспешно взял яблоко из рук тети Кати и крепко надкусил его в знак того, что он с удовольствием ест в доме дяди Сандро.

— Нуца?! — гневно кивнул дядя Сандро в сторону Большого Дома.

— И тетя Нуца не говорила, — ответил Чик, проглотив прожеванный кусок яблока.

— Попробовала бы, — пригрозил дядя Сандро, — набрала в дом детей своих голодранцев, а наш небось недоедает.

Ты смотри, подумал Чик, и он подозревает, что она подгрызает своим. Иначе как бы она не заметила, что Рыжик два раза подряд сел за стол. Чик решил, что беседа принимает опасный оборот. Ему неприятны были такие разговоры, и он старался быть от них подальше.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Чик, вставая.

— Заходи к нам почаще, Чик, — улыбаясь, сказала тетя Катя, — мы теперь одни, без Тали. Нам скучно.

— Нуца там на целую ораву готовит, — успокаиваясь, заметил дядя Сандро, — что тебе ее вареве! Приходи прямо к нам обедать. А если нас нет, сам посуетись на кухне и поешь.

— Хорошо, — сказал Чик, жалея, что он тогда не ухватил еще один кусок курятины, но теперь уже было поздно об этом думать.

Он вышел из кухни, прошел двор и закрыл за собой калитку. Чик вспомнил Тали, дочь дяди Сандро. Она была на несколько лет старше его. Она была такая веселая, такая подвижная, такая красивая! И она примечала Чика.

Она могла в табачном сарае бросить низальную иглу, полную табачных листьев и похожую на гармошку, шлепнуться спиной на пол сарая, устланный папоротниками, и, схватив гитару, лежа сыграть что-нибудь огневое или такое грустное, что в глазах начинало щипать. Такие, как Тали, долго в девушках не ходят, подумал Чик и со вздохом выбросил обьедок яблока: Тали вышла замуж.

Чик снова почувствовал неприятный приступ голода. И как это некоторые терпят голод и по многу дней ничего не едят, подумал Чик. Неужели у них сильная воля, а у меня слабая, горестно подумал Чик.

Он решил сходить к тете Маше и попытаться там пообедать. Тетя Маша со своими бесчисленными великанскими дочерьми была доброй неряшливой женщиной. И Чик сейчас рассчитывал на эту неряшливость. Может, по неряшливости у нее запаздывает обед. Но если уж и там пообедали, он будет закалять свою волю и потерпит до вечера. Чик покосился на солнце. Оно высоко стояло в небе. Это сколько же еще придется терпеть!

Он прошел табачную плантацию, скотный двор Большого Дома, стараясь быть не замеченным детьми, играв-

шими во дворе, и стараясь сам их не замечать, хотя промельк рыжей головы и заметил, переступил через перелаз и по тропинке дошел до ворот двора тети Маши.

Над крышей кухни подымались ленивые клочья дыма, а из кухни доносились не только голоса и смех ее дочерей, но доносился и вкуснейший запах жареного копченого мяса. Справа от кухни посреди двора под странным, неведомым зонтичным деревом стояла богатырская люлька, которую, лежа в ней, сама раскачивала очередная богатырская дочка тети Маши.

Большая рыжая собака, стоявшая у распахнутых дверей кухни, бросилась в сторону Чика с громким лаем. Значит, там обедают или готовятся к обеду, подумал Чик. Надежда озарила душу Чика, и он стал гладить подбывшую к нему и узнавшую его собаку.

Девочки и девушки тети Маши (их трудно было различать, потому что они рано начинали богатыреть), путаясь ногами и руками в дверях кухни и не давая друг другу выйти, радостно кричали:

— Чик пришел! Чик пришел!

Чик было приятно, что они так весело встречают его. Но еще больше его веселил запах жареного копченого мяса. До чего же пахучий! Завяжите глаза Чикю повязкой, закружите его по двору, а потом отпустите, не снимая повязки! Он сам по запаху жареного копченого мяса пройдет на кухню, нигде не сбившись с дороги и даже не задев дверного проема!

Чик вошел в кухню. Цветущие, смеющиеся девушки окружили его. Даже его сверстница Ляля была почти на голову выше его. Когда столько рослых девушек, да еще из одной семьи, да еще и улыбающихся тебе, нисколько не обидно за свой скромный рост. Ты просто попал в семью великанш. Хотя сама тетя Маша была крепкой, широкобедрой женщиной, она была вполне обычного роста. И муж ее был вполне обычного роста. А девушки — все как на подбор богатырши.

Чик даже придумал теорию, отчего это происходит. Дело в том, что муж тети Маши пастух Махаз работал на ферме, а ферма находилась далеко от дома, на окраине Чегема. Он домой приходил редко, жил при ферме. И Чик решил, что редкость встреч мужа с женой порождает

обильную плоть детей. Но он ни с кем не делился этой теорией, ему было стыдно. Пусть взрослые думают, что он об этом ничего не знает.

У тети Маши был по старинке открытый очаг среди кухни на земляном полу. Это был большой, довольно плоский, слегка отточенный камень. Сухие толстые и тонкие ветки головной своей частью накладывались на камень, и, по мере горения костра, ветки подтягивались. Дым, в зависимости от направления ветра, иногда распространялся по кухне, но чаще подымался прямо под крышу, где был дымоход, уходящий вбок и сверху от дождя прикрытый козырьком крыши. С угольно-закопченной балки, проходящей прямо над костром, свисало несколько очажных цепей с крючками, чтобы подвешивать котлы с молоком, мамалыгой или еще с чем-нибудь.

Сейчас одна из дочерей тети Маши, а именно Маяна, кончала готовить мамалыгу и перекручивала в чутунном котле мамалыжной лопаточкой тугой и упругий замес. Обычно хозяйки с трудом прокручивают уже готовую, густую мамалыгу. Маяна делала это играючи.

Сама тетя Маша сидела на скамеечке, слегка развась и шурясь от дыма. Она сидела за очажным камнем и время от времени небрежно отгребала кончиком вертела жар из огня. И снова на вертеле дожаривала мясо. Чику захотелось закрыть глаза и, забыв обо всем, вдыхать и выдыхать запах горячего, задымленного мяса. Из шипящего мяса время от времени капали капли растаявшего жира и, пыхнув на красных угольках, сгорали голубоватым пламенем. Чику показалось, что нельзя так задарма тратить этот вкусный жир. Надо бы подставить сковородку под шипящее масло, а потом во время обеда этим вкусным жиром поливать мамалыгу. Но он не решился поделиться своим полезным советом, потому что получалось бы, что он намекает на соучастие в обеде.

Когда Чик вошел, тетя Маша поднялась со своего места, продолжая держать в руке вертел с шипящим мясом. Остальные девушки и так стояли.

— Сидите, сидите, тетя Маша, — сказал Чик, подскакивая к ней и рукой приглашая ее на место.



Девушки расхохотались: они думали, что Чик, как городской мальчик, не должен был знать таких тонкостей в отношениях между гостем и хозяевами.

— С радостной встречей, Чик, — сказала тетя Маша, усаживаясь на свою низкую скамеечку, — вот и пообедаем вместе.

Первое предложение, волнуясь, отметил Чик.

— Спасибо, я уже обедал, — сказал Чик, с тревогой дожидаясь второго приглашения и даже подумывая, не остановиться ли на нем.

— Цыц! — гаркнула тетя Маша. — Пообедаешь еще с нами, не лопнешь!

— С нами! С нами! С нами! — радостно загромыхали все девушки.

Все это можно было приравнять к десяти приглашениям. Больше нельзя было пытаться судьбу.

— Хорошо, — отчетливо сказал Чик, стараясь, однако, не выдавать свою радость.

Чик сел на скамейку.

Через несколько минут тетя Маша перестала крутить вертел.

— Мясо готово, — сказала она и приподняла шипящий вертел, слегка наклоненный вперед, чтобы горячий жир не капал на нее. — Девки, дайте Чикуну помыть руки.

Девушки ринулись к ведру с водой, но первой успела схватить выпотрошенную кубышку, играющую роль кружки, Ляля. Другая, особенно могучая девушка, Хиккур, успела схватить полотенце, и все девушки со смехом высыпали на кухонную веранду. Чик огляделся и вспомнил, что руки моют по старшинству. Все девушки, кроме Ляли, были старше Чика.

— Сначала ты, — сказал Чик, значительно взглянув на Маяну, как бы проявляя привычную патриархальную деликатность.

Тут все девушки снова дружно расхохотались, а сама Маяна от хохота даже не удержалась на ногах и свалилась на дрова, сложенные на кухонной веранде. Дрова явно были не готовы принять такую тяжесть и сами рухнули. Прохот раздался такой, как будто упало дерево. Девушки захохотали еще громче, а Маяна как растянулась на дровах, так от хохота долго еще не могла встать, со-

трясаясь всем телом и сотрясая увесистые ветки, упавшие ей на грудь. От общего грохота, пытаясь восстановит порядок, залаяла собака.

— Девки, что там случилось?! — крикнула из кухни тетя Маша.

— Чик, — только и могла выдавить одна из них, и снова все неудержимо захохотали.

Чик смутился, хотя смех был добродушный. Может, он что-нибудь не так сделал?

— Разве не она старше всех? — кивнул Чик на Маяну, хохочущую и пытающуюся встать, разгребая ветки.

Девушки, давясь от смеха, закивали ему: дескать, ты прав Чик, но все равно это очень смешно. Но что же тут смешного?

— Конечно, она старше всех, — наконец внятно вымолвила одна из девушек, — но ты же гость, Чик! А мы тут все свои!

Ах, вот в чем дело: это гости друг другу уступают по старшинству. С хрустом, проламывая ветки под собой, наконец поднялась Маяна.

Чик вымыл руки, делая вид, что сильно озабочен их чистотой. Это, по мнению Чика, несколько оправдывало весь этот шум. Потом он вытер руки о полотенце, висевшее на плече Хикур. Полотенце было коротковатым, и край его едва прикрывал могучую грудь девушки. Чик осторожно вытер руки.

Наконец все вымыли руки и вошли в кухню. Маяна легко, как пушинку, сняла со стены державшийся верхними ножками за край чердачного перекрытия длинный низенький стол и поставила его вдоль очага. После этого она, мамалыжной лопаточкой поддевая мамалыгу, наляпала дымящиеся порции прямо на чисто выскобленную доску стола. Причем одну порцию она сделала особенно большой. Девушки дружно догадались:

— Это для Чика! Это для Чика! Он единственный мужчина среди нас!

Видно было, что они сильно скучают по мужчинам. И при этом все хохотали, как бы от самого обилия своей телесности. Тетя Маша ножом стянула с вертела прямо на стол куски жареного копченого мяса. И уже со стола, раздумчиво, чтобы никого не обидеть, прямо рукой втыкала

в каждую порцию мамалыги кусок мяса. Особенно дразнящий своей поджаристостью кусок она воткнула в порцию Чика.

В это время Ляля разливала из бутылки по блюдечкам острую алычовую подливу. Другая девушка раскидывала по столу пучки зеленого лука, как пучки стрел.

С шумом и смехом все девушки расположились на низеньких скамейках вокруг стола и принялись есть. У многих колени, как круглые плоды, торчали на уровне стола. Девушки то и дело, впрочем без особого успеха, натягивали на колени юбки.

Чик у показалось, что он никогда так вкусно не обедал. Ветер переменился, и дым ел глаза, но еда от этого казалась еще вкусней. Пахучее копченое мясо он окунал в острую алычовую подливу (акоху) и отправлял в рот. Отгрызал смоченный в подливе кусок, потом отщипывал горячую мамалыгу и тоже отправлял в рот. А потом еще вминал в рот хрустящие перья зеленого лука. От дыма у всех слезились глаза, но никто на это не обращал внимания.

Когда все съели мясо, очистили блюдечки от подливы и выгребли всю зелень со стола, тетя Маша сказала:

— Теперь дай нам мацони, Маяна! А ты, Ляля, взгляни, не опрокинул ли ребенок люльку!

Ляля выскочила из-за стола и вышла на кухонную веранду.

— Все качается! — крикнула она оттуда и вернулась к столу.

Одна из девушек собрала со стола пустые блюдечки и косточки, оставшиеся от мяса. Она переложила все это на кухонный стол. Чик заметил, что все девушки почти доели свои порции мамалыги. Но из какого-то такта, возможно, вызванного присутствием Чика, каждая так ела мамалыгу, что от достаточна высокой порции оставалось тонкое подножие, похожее на блин. Каждая сохранила диаметр порции, а сколько было выше — не считается.

— У нас буйволиное мацони, — сказала тетя Маша, — пробовал его?

— Нет, — сказал Чик, чтобы угодить хозяйке.

Но дело было сложнее. Чик пробовал буйволиное мацони, но в тех домах, где он его пробовал, хозяйки подли-

вали воды в буйволиное молоко, тем самым увеличивая его количество, но доводя его жирность до обыкновенного коровьего молока. Эти же хозяйки, как о чуде, говорили, что тетя Маша не подливает в буйволиное молоко воды. Поэтому Чик был прав, говоря, что не пробовал настоящего буйволиного мацони, или, проще говоря, кислого молока.

Маяна подала Чикку железную миску с мацони. Костяная ложка над ней торчала довольно странно, не подчиняясь законам физики. Она торчала криво, но при этом не притрагивалась к краю миски, как криво вонзенный в сыр нож.

Чик попробовал ложку густейшего мацони. Это, подумал он, вкуснее, чем сливки. Хотя Чик сливок никогда не ел, он полагал, что у них вкус пенек. Чик положил в мацони остатки мамалыги, размешал ее там ложкой и стал есть вкуснейшую кашу. Все ели буйволиное мацони. А может, они от настоящего буйволиного мацони все такие здоровые, подумал Чик о дочках тети Маши. В это время он подзабыл о своей теории их обильной телесности.

— Ну, теперь персики, а там девочки — на прополку кукурузы! — сказала тетя Маша. — Ты, Маяна, натруси персиков! А ты, Ляля, взгляни, не опрокинула ли девочка люльку!

Ляля выскочила на кухонную веранду и крикнула оттуда:

— Перестала раскачиваться! Притихла!

— Уснула, — сказала тетя Маша.

Маяна, прихватив таз, пошла на огород. Дом тети Маши славился тем, что здесь все лето ели персики. Почти весь огород был огорожен персиковыми деревцами. Но доспеть им не давали. Ели полуспелые, состругивая ножиком кожуру. Маяна уже трясла персики. Слышно было, как они с глухим шумом падают на землю. Дерево жалобно поскрипывало под ее руками.

— Дерево не сломай! — рявкнула из кухни тетя Маша.

Вскоре Маяна вошла в кухню, неся полный таз зарумянившихся персиков. Девушки, вооружившись ножами, как разбойницы, налетели на таз. Чикку тоже достался нож домашней выделки с костяной ручкой. Персики были вкусные, хоть и недозрелые. Девушки уплетали их

хохоча, словно это было не только вкусное, но и смешное занятие. Каждая старалась одной ленточкой состругать кожуру. Если это ей не удавалось, все остальные смеялись. До чего веселый дом, думал Чик, уплетая персики.

— Все, девки! — наконец крикнула тетя Маша. — Пора на прополку кукурузы. А ты, Ляля, убери со стола, накорми собаку и займись девочкой. А то она или люльку сломает, или люлька ее раздавит!

Девушки вместе с матерью вышли из кухни, похватали мотыги, прислоненные к огородной изгороди, и, посмеиваясь друг над другом, перекинув мотыги через плечо, покинули двор, хлопнув воротами.

Ляля тщательно соскребла со стола всю оставшуюся мамалыгу и вместе с костями от копченого мяса швырнула собаке, терпеливо ждавшей своего часа у дверей. Собака, как бы давясь от жадности, сначала съела всю мамалыгу, а потом стала перемалывать кости. Костей было много, но она их с удивительной быстротой перемолола своими неимоверными челюстями.

Ляля мокрой тряпкой протерла длинный стол, за которым они сидели. Потом, легко приподняв, подвесила его передними ножками за чердачный выступ. Потом она вымыла все миски, из которых ели мацони, все блюдечки, протерла полотенцем и, сложив их горкой, поставила на кухонный стол.

— Пойдем, посмотришь нашу малышку, — сказала Ляля, и они вышли во двор.

К удивлению Чика, переходящему в ужас, он увидел, что огромная собака сейчас стоит возле люльки, а ребенок, высунув свою увесистую ручонку, крепко держит ее за ухо. Собака, как бы прислушиваясь к действию кулачка ребенка, неподвижно стояла возле люльки. Судя по напряженной руке ребенка, он довольно основательно тянул собаку за ухо.

— Она же укусит девочку! — крикнул Чик.

— Да что ты, Чик! — рассмеялась Ляля. — Она любит нашу малышку больше нас. Если теленок, или буйволенок, или даже курица слишком близко подходят к люльке, она их гонит! Она их отучила пастись возле люльки!

И в самом деле, теленок и буйволенок паслись в самом конце двора, а куры, хоть и разбрелись по двору, близко к

люльке не подходили. Под странным зонтичным деревом, где стояла люлька, трава была свежее и гуще, чем во всем дворе.

— Что интересно, Чик, — сказала Ляля, — даже когда мы вечером убираем люльку в дом, теленок и буйволенок не смеют пастись здесь, под деревом. До того собака их запугала. Она без ума от нашей малышки.

Ляля, быстро мелькая голыми ногами, подошла к люльке, не без труда оторвала кулачок девочки от уха собаки, а потом извлекла девочку из люльки. Она прижала ребенка к груди. Ребенок был в одной коротенькой рубашонке, и Чик поразился его мощной лягастости. Чик охватил их обеих взглядом, и ему стало как-то даже не по себе: молодая мать прижимает к груди своего ребенка! А ведь она была не старше Чика! Черт его знает, что делает это буйволиное молоко, подумал Чик, окончательно забыв о своей теории, объясняющей обилие телесности дочерей тети Маши.

Ляля поставила босого ребенка на траву и, придерживая его за предплечья, стала учить ходить. Ребенок довольно быстро перебирал своими лягастыми ногами, ступая голыми ступнями по траве. Он даже хотел идти быстрее, это было видно по его телу, решительно наклоненному вперед, но Ляля крепко придерживала его. И самое забавное было, что огромный пес, как добрый и почтительный отец семьи, осторожно шел за ними.

— Топ! Топ! Топи! Топи! — повторяла Ляля и прогуливая свою толстоногую, стремящуюся оторваться от нее сестренку.

— Ну ладно, я пойду, — сказал Чик.

— Чик, заглядывай к нам почаще! — крикнула Ляля и снова: — Топ! Топ! Топи! Топи!

Огромный пес продолжал следовать за ними, как бы признавая всем своим видом полезность для ребенка таких прогулок.

Когда Чик возвратился в Большой Дом, там никого не было, кроме тети Нуцы. Она проникательно посмотрела ему в глаза, точно так, как перед обедом, и сказала:

— Чик, я сообразила, что ты не обедал. Покормить тебя?

Долго же ты соображала, подумал Чик.

— Не хочу, — сказал Чик, — я уже пообедал у тети Маши.

— Да что ты там среди этих прожорливых девок мог ухватить, — удивилась тетя Нуца. — Я тебя сейчас накормлю.

— Честное слово, не хочу, — сказал Чик искренне, — я там очень хорошо поел.

— И как они тебя самого не слопали, эти девки, — еще раз удивилась тетя Нуца. — А почему ты меня запутал, сказав, что уже обедал? За тебя два раза этот бессовестный Рыжик поел. Ну прямо из голодного края! Хоть бы впрок ему шло — кожа да кости! Но почему ты мне тогда сказал, что уже обедал, вот чего я никак не пойму!

— Мне тогда не хотелось, — сказал Чик, чувствуя, как трудно объяснить, что он своим отказом хотел угодить тете Нуце, которая глазами так и выпытывала у него такой ответ.

— Зато я сейчас тебя чем-то угощу, — таинственно прошептала тетя Нуца и скрылась в кладовке, всегда запертой на ключ, который булавкой был прикреплен к ее карману.

Любопытство вернуло Чика аппетит. В кладовке всегда что-нибудь вкусное хранилось. Чик считал, что слово «кладовка» происходит от слова «клад». Там всегда хранится клад вкусных вещей: грецкие орехи, мед, сыр, чурчхели, сушеный инжир, золотые тяжелые круги копченого сыра.

Тетя Нуца вынесла ему темно-багровую чурчхелину величиной с хорошую свечку. Вот это подарок! Чик обожал чурчхели!

Для тех, кто не знает чурчхели, мы опишем, что это такое. Пусть хоть облизнутся. Сначала на нитку с иглой нанизывают дольки грецкого ореха. Потом, держа за кончик нитки, всю эту низку опускают в посуду, где вываренный виноградный сок загустел, как мед. Даже еще гуще. И этот загустевший виноградный сок облепливает низку с орехами. А потом хорошо облепленную густым виноградным соком низку вынимают и вешают на солнце. Там она высыхает. Получается южная сосулька: орехи в сладкой шкурке высохшего виноградного сока. Говорят, в древности абхазские воины, когда шли куда-нибудь в

поход, брали с собой чурчхели — и сытно, и вкусно, и легко нести.

— Вот тебе, — сказала тетя Нуца, — а Рыжик ничего не получит. Я когда эту ораву посадила за стол, только тогда догадалась, что Рыжик уже сидел. Клянусь, думаю, моим покойным братом, я же только что видела за этим же столом, на этом же месте этот бессовестный рыжий затылок! Но не гнать же ребенка из-за стола! Грех! Он из села Анхара. А там все такие. За ними нужен глаз да глаз! И тут-то я догадалась, что ты не обедал! Выскочила на веранду и спрашиваю у детей: где Чик? А они: не знаем, куда-то ушел!

Чик с удовольствием уплетал чурчхели и слушал тетю Нуцу. Он в очередной раз удивился глупому свойству взрослых людей все обобщать. Вот Рыжик схитрил и два раза пообедал, значит — все жители села Анхара только тем и заняты: кого бы перехитрить и переобедать у него два раза!

И еще Чик с удивлением убедился, что тетя Нуца совсем не подыгрывает своим. Вот Рыжик ее родственник, а чего только она про него не наговорила. А он думал — подыгрывает! Даже дядя Сандро думал, что подыгрывает. Она просто ужасно устает и многое забывает.

Тут Чик вспомнил, что сам забыл три раза отказаться от чурчхелины, прежде чем ее взять. А он сразу — цап! Нехорошо. Но чурчхелина такая вкусная... Да нет же, поправил себя Чик, отказываться нужно в других домах, а не в доме, где ты живешь! Вечно я путаю! И потом чурчхелина, в сущности, не угощение, а награда. Награда потому и награда, что ты ее заслужил. Значит, тебе дают твое! Чурчхели — награда Чикю за скромный отказ от обеда.

Чик с удовольствием уплетал чурчхелину. Вот житуха, думал Чик: то ничего — то все! Было так приятно надкусывать чурчхелину, потом надкушенную часть, придерживая зубами, провести по нитке до самого рта, после чего выдернуть нитку изо рта и чувствовать, как сочные дольки ореха пережевываются с кисловато-сладкой кожурой виноградного сока. Тут самый смак во рту, это вкуснее и отдельного ореха, и отдельного высушенного виноградного сока. Они перемешиваются, и возникает со-



вершенно особый третий вкус! До чего гениальный был человек, который в древности придумал чурчхели! Жаль, его имя не сохранилось. Можно было бы посреди Мухуса поставить памятник Неизвестному Изобретателю Чурчхели.

А то стоят повсюду памятники Сталину. Он придумал Днепрогэс, он придумал Магнитогорск, он придумал колхозы, он защитил Царицын. Большой Дом изнутри вместо обоев был оклеен листами старых газет и журналов. Чик от нечего делать прочел всю эту настенную библиотеку. В тех местах, где он не доставал до текста, он ставил на лежанку табуретку и добирался до него. И там была статья о том, как Сталин в Гражданскую войну, пользуясь еще не разгаданной врагами своей мудростью, отстоял город Царицын. А потом якобы народ по этому случаю назвал этот город Сталинградом. Сколько Чик ни перечитывал эту статью, он никак не мог понять, в чем заключалась мудрость защиты Царицына. Да не было там никакой мудрости! Статья — самый настораживающий подхалимаж!

Чик и раньше не очень доверял Сталину, хотя и не верил, когда дедушка вдруг сказал ему, что Сталин разбойник, ограбивший пароход до революции. Но с тех пор, как арестовали любимого дядю Чика и выслали отца, Чик окончательно возненавидел Сталина.

Бедняга Чик! Если б он тогда знал, что больше никогда в жизни не увидит ни дядю, ни папу, как ему тогда грустно было бы жить. Но он был уверен, что эту ужасную ошибку рано или поздно исправят и он увидится с ними.

Чик иногда ловил себя на хитрой мысли, что хочет, очень хочет, чтобы Сталин в самом деле был великим и добрым человеком. Тогда на душе стало бы спокойнее, стало бы ясно, что все плохое в нашей стране — результат вредительства или ошибок глупых людей. Но Чик чувствовал фальшь Сталина, и от этого некуда было деться. Он мошенник, думал Чик, обманувший всех и даже Ленина.

Но что же делать? Чик не видел выхода. Тут был какой-то тупик. Чик терпеть не мог тупики. Он любил ясность. Поэтому Чик больше всего на свете не любил думать о вечности и о политике. И там и тут был тупик. По-

литика казалась копошащейся вечностью. Но иногда невольно приходилось думать и о том и о другом.

Как это — вечность? Все должно иметь начало и конец. Но тогда что было до начала вечности и что будет после ее конца? Опять вечность?! Тогда зачем она кончалась? От этих мыслей Чик всегда чувствовал горечь и одиночество.

И сейчас, доедая чурчхели, Чик вдруг ни с того ни с сего подумал о вечности. И ему сразу стало тоскливо. Тут не решен вопрос о вечности, а он себе уплетает чурчхели. Пупо. Чик сразу почувствовал горечь бессмысленности и одиночества. От этой горечи ему даже во рту стало горько. И ему мучительно захотелось к ребятам. Он знал, он точно знал, что только в азарте игр улетучивается эта горечь бессмысленности и одиночества.

— А где ребята? — спросил Чик у тети Нуцы.

— Дети наверху, — кивнула тетя Нуца в сторону взгорья за Большим Домом, — они там играют и пасут козлят.

— Я пойду к ним, — сказал Чик и встал.

— Иди, Чик, иди, — ответила тетя Нуца, пододвигая дровишки под котел с похлебкой, висевший на очажной цепи.

Чик вышел во двор, поднялся к верхним воротам, вышел из них, закрыл их на щеколду и стал пробираться по пригорку.

Вскоре Чик слышал шорохи в кустах, иногда как бы раздраженный шелест, и он угадывал, что такой шелест вызван тем, что какая-то ветка не поддается, а козленок тянет ее. Замелькали в кустах беленькие козлята, быстро-быстро вбиравшие в рот листья лещины, сасапарилия, ежевики. Время от времени они переблеивались, чтобы не отстать от стада, чтобы чувствовать своих поблизости.

Чик давно заметил, что, когда коза отбивалась от стада, она издавала дурное, паническое блеяние, она теряла всякое желание пастись и шарахалась по кустам в поисках своих. Чик даже подумал, что коза в такие минуты чувствует одиночество вечности, хотя сама этого не понимает.

Так и Чик сейчас, услышав радостные голоса детей там, на холме, понял, что они беспечно играют и ему с ними будет весело. И оттого, что он знал — сейчас в бе-

шеной беготне, в азарте игр уйдут от него все неприятные мысли, ему сразу стало хорошо, и он почувствовал прилив сил. Ему прямо-таки захотелось переблеяться с ребятами, как с козлятами.

— Я здесь! — крикнул Чик изо всех сил и стал быстро пробираться к вершине холма.

Он уже слышал смех мальчиков и взволнованные крики девочек, но они были невидимы за зарослями склона.

— Чик, иди к нам! — раздался веселый голос Рыжика. — Где ты пропадал? А мы бегаем наперегонки!

В голосе Рыжика Чик почувствовал такую дружественность, такое искреннее желание видеть его, что он сразу все простил ему. Какой обед? При чем тут обед? Все это чепуха! Сейчас досыта набегаться с ребятами — вот сладость жизни, и она от него никуда не уйдет!

## Чик идет на оплакивание

— Чик, — крикнула тетушка сверху, — подымись, ты мне нужен!

Чик повернул голову. Тетушка сидела на обычном своем месте у окна веранды. Но сейчас она не попивала чай, хозяйственно озирая двор, как это бывало всегда, а, глядя в зеркало, старательно выщипывала брови. Чик понял, что она собирается идти в гости. Она выщипывала брови, когда собиралась идти в гости или в кино. Бедные тетушкины брови! Редкая огородница с такой тщательностью выпалывала грядки с кинзой и петрушкой, как тетушка свои брови.

Чик в это время обкатывал и оббивал новенький футбольный мяч, подаренный Онику отцом. Одновременно с этим он отрабатывал хитрейший прием обмана вратаря во время исполнения пенальти. Оник стоял в воротах, обозначенных двумя кирпичами.

Вот что придумал Чик. Он много раз замечал, что взрослые футболисты, собираясь бить пенальти, порой по несколько раз подходят к мячу и капризно подправляют его, чтобы он удобней стоял. И Чик догадался, что это можно использовать.

Надо пару раз подойти к мячу, подправить его, потом отойти, изобразить на лице неудовольствие (опять не так стоит!), снова подойти якобы для перекладки мяча и тут неожиданно пнуть его без разгона. Вратарь не успевает и глазом моргнуть: мяч в воротах!

Чик считал, что в этом нет никакой подлости — спортивная хитрость! Вратарь после свистка обязан ждать мяч в любую секунду. Никто не оговаривал, сколько раз можно подходить и переустанавливать мяч после свистка.

Услышав голос тетушки, Чик тут же подключил его к маневрам, отвлекающим вратаря от неожиданного удара. Он изобразил на лице крайнее раздражение: тут никак не можешь установить мяч, а тут еще тетушка кричит! С этим выражением он снова подошел к мячу и, даже вытянув руки, слегка наклонился к нему — и... удар! Мяч влетел в левый угол и отскочил от забора, возле которого были расположены ворота.

— Нечестно! — завопил Оник. — Тёханша твоя кричала!

— А я тебя как учил? — строго перебил его Чик. — Был свисток — жди удара! Я сейчас приду!

Перескакивая через ступеньки, Чик побежал наверх. Белочка ринулась за ним, думая, что тетушка учудила второй завтрак, что с ней иногда случалось. Бывало, завтрак давно прошел, до обеда еще далеко, а тетушка сидит, попивая чай, и вдруг ее озаряет:

— А что, если я пирожки поджарю, Чик? Горсовет на нас не обидится?

— Не обидится! — радостно подхватывал Чик эту вкусную шутку.

Ох и легка была тетушка на подъем! Она никогда не ленилась доставить себе удовольствие. А если при этом сидели рядом с ней соседка, или подруга, или Чик, она со всеми щедро делилась удовольствием. Чик любил ее за размах. Она доставляла себе удовольствие с таким размахом, что и окружающим кое-что перепадало. Что, денег нет? Не беда! Размахнется персидским ковром и продаст! Опять завеселеет!

— Чик, — сказала тетушка, когда он к ней подошел. Не глядя на него, она продолжала требовательно всматриваться в свое горбоносое лицо и выщипывать сверкаю-

щими щипчиками брови, — умерла моя дорогая Циала... Мы с тобой должны пойти на оплакивание. Надень свежую рубашку и новые брюки...

Чик никогда не ходил на оплакивание умерших. Это было то счастливое время, когда еще никто из близких и даже знакомых не умирал. Умирали чужие. И Чик иногда видел похоронные процессии,двигающиеся по улицам, и вместе с другими ребятами забирался на забор или вскарабкивался на деревья, чтобы заглянуть в лицо покойнику. Это было любопытно и грустно, но тогда ему и в голову не приходило плакать.

Тетя Циала была приятельницей тетушки. Чик ее слегка недолюбливал, и было за что. Нет, конечно, он ничуть не обрадовался, узнав, что она умерла. Ему даже было ее жалко, но не сильно. Он вслушался в свою жалость и подумал, что со слезами, пожалуй, тут будет туговато.

— Я тоже должен плакать? — спросил он у тетушки.

Тетушка продолжала выщипывать брови, требовательно вглядываясь в свое лицо. Она всегда так вглядывалась в свое лицо, когда смотрела в зеркало. Вглядываясь в свое лицо, она как бы сурово выговаривала ему: да, от природы ты красивое. Но ты само не стараешься. Вечно тебе приходится помогать!

— Ты должен постоять у гроба, как мальчик из приличной семьи, — сказала тетушка, продолжая глядеть в зеркало, — а плакать тебя никто не обязывает.. Если при виде моей дорогой подруги, лежащей в гробу, у тебя не польются слезы, ты не в нас, а в тех, кого я сейчас не хочу называть.

Начинается, подумал Чик. Ему было неприятно выслушивать это. Тетушка имела в виду его маму. Они не любили друг друга. Это началось еще до Чика, и уже ничего невозможно было исправить.

Тетушка была замужем за братом мамы, а мама — замужем за братом тетушки. Нет, тут кровосмешательства не было. Чик это точно знал. Это было вроде перекрестного опыления.

Мама считала, что тетушка слишком занята собой и недостаточно любит ее брата. А тетушка считала, что чегемцы вообще люди черствые и довольно дикие. Мама и

ее брат были родом из села Чегем. Чик любил своих чегемских родственников, и он точно знал, что они совсем не черствые и не дикие, хотя у них нет электричества. Просто они сдержанные. У них не принято сюсюкать или, скажем, нацеловывать детей. Но они добрые, только они стыдятся говорить об этом. Почему тетушка этого не понимает? Странно!

Может, вообще жители долин не могут понимать жителей гор? Но ведь Чик сам родился в городе, почему же он хорошо понимает чегемцев? Чегемцы тоже посмеивались над жителями Мухуса, но, пожалуй, добродушно.

— Когда они к нам приезжают, — говаривали чегемцы, кивая на городских, — мы режем козу или курицу. Ставим на стол вино. А когда мы к ним приезжаем, они нас чаем угощают. Да что мы, больные, что ли, чтобы чай хлестать?

Тут, конечно, тоже было некоторое недопонимание. Но ничего особенного. Просто смешно. Чик часто спорил с тетушкой, стараясь ей внушить, что чегемцы не черствые и не дикие. Они другие. Они горцы! Но тетушка с ним никогда не соглашалась.

И сейчас Чик не на шутку встревожился. Он решил, что, если он не расплатится над гробом тети Циалы, тетушка окончательно уверится, что чегемцы жестокие и дикие люди. Он не за себя боялся — ему было обидно за чегемцев.

Чик пошел домой переодеваться. Спускаясь по лестнице, он взглянул на Оника. Тот, дожидаясь его, бил по мячу, отскакивавшему от забора.

— Я пошел на оплакивание, — бросил Чик в сторону Оника.

— Куда-куда? — переспросил Оник, поймав мяч в руки и поворачиваясь к Чику.

— На оплакивание тети Циалы, — пояснил Чик с выражением превосходства в житейском опыте, — она умерла. Мы с тетей идем на оплакивание.

Оник явно старался понять, как это происходит. Но не мог. У него тоже никто из близких и знакомых не умирал.

— А это интересно? — спросил он, как всегда уверенный, что Чик все знает лучше него.

— Это... это, — начал Чик, стараясь соединить все, что он слышал о таких делах. Он смутно припомнил, что взрослые в разговорах о похоронах огромное значение придают погоде. — Это как с погодой повезет. Бывает, повезет покойнику с погодой, а бывает, не повезет, и тут уж ничего не поделаешь...

— Как так?! — воскликнул Оник, выронив мяч от удивления. — А разве мертвые разбираются в погоде?

— Будь спок, — сказал Чик неожиданно даже для себя, — что-что, а погоду они чувят!

Оник так и замер, задумавшись. Чик пошел домой переодеваться. Минутное удовольствие с розыгрышем Оника испарилось, и Чик снова почувствовал тревогу: а вдруг не заплачется?

Чик стал вспоминать об умершей. Тетя Циала была крупная, полная, пожилая женщина. Несмотря на полноту, она быстро и легко двигалась. Тетушка говорила, что она настоящая аристократка. Чик верил этому. Он считал, что крупные, полные аристократки должны двигаться легко, быстро, иначе кто же поверит, что они аристократки.

Чик знал, что ее муж был абхазским князем. Он его никогда не видел, но тетя Циала порой упоминала его в разговорах. Если уж никак нельзя было обойтись без него, она как бы, махнув рукой, упоминала его. Получалось, что ее муж был деревенским князем. Так себе князьком. Иногда тетюшка злилась на тетю Циалу и тогда говорила:

— У нее, видите ли, муж — князь! В Абхазии, если у человека три буйвола, он уже князь! Начхала я на таких князей!

Тетушка так говорила, потому что ее первый муж был персидским консулом и она с ним некоторое время жила в Тегеране. Чик вообще не представлял, чем занимаются консулы. Он знал, чем занимались древнеримские консулы, а чем занимаются современные консулы, не знал.

Он знал, что консул был иностранной шишкой и тетюшка им вертела как хотела. Вот он и красил волосы, чтобы понравиться тетюшке. А у тетюшки, известное дело, настроение меняется, как погода. В какой цвет при-

кажет тетушка, в такой цвет и выкрасит волосы консул. А чекисты, по рассказам тетушки, бывало, сбивались с ног: куда девался этот черноволосый консул и откуда взялся этот рыжий персидский мулла?

У тетушки раньше был консул, а у подруги ее — капитан парохода «Цесаревич Георгий». Вот они и сдружились. У кого карта старше? Консул бьет капитана или капитан консула? Консул был старенький, а капитан молодой. Очко за Цялой! Но консул был настоящим мужем тетушки, а капитан был только возлюбленным тети Цялы. Она мечтала стать женой капитана, но не вышло. Очко за тетушкой!

Теперь у тетушки муж — сын простого крестьянина, и Чик любил своего дядю, но тут, по их понятиям, тетушка проигрывала. Там князь, хоть и деревенский. Общий счет 2:1 в пользу тети Цялы.

А не многовато ли вообще князей для нашего маленького города? — вдруг подумал Чик. Он иногда проникался чувством социальной хозяйственности, хотя его никто об этом не просил.

Чик читал множество современных русских книжек, и там иногда упоминались случайно уцелевшие на просторах нашей Родины князья, графы, офицеры. Но они почти всегда прятались в подвалах, в заброшенных избушках, а то и в стогах с сеном. Выйдут из укрытия, повредят-повредят — и снова юрк в подвал или нырнут в стог.

Но это там, за кавказским хребтом. А у нас князья живут себе под теплым солнышком и не скрывают, что они князья. Правда, по наблюдениям Чика, они и не вредят. Может, потому, что они ленивые? Чик слышал, что абхазские князья самые ленивые в мире. Чик читал книжку о самом ленивом русском барине Обломове.

Интересно, если высадить на необитаемом острове абхазского князя и Обломова, кто из них первым возьмется за труд? Головоломная задача!

Обломов, пожалуй, добрей и попроще. Он в конце концов, несмотря на лень, согласился бы первым вскарабкаться на кокосовую пальму, но Чик понимал — не сможет. Мускулы слабые. У наших князей, конечно, с мускулами получше. Они ездят верхом, платочки там вся-



кие подымают зубами во время танцев, но они ужасные гордецы. Попробуй загнать его на кокосовую пальму — умрет от голода под пальмой, но не влезет. А чего заноситься? Глупо!

Чик всю жизнь слышал о великой любви тети Циалы и капитана парохода «Цесаревич Георгий», но он мало что знал о конце этой истории. Он только знал, что однажды пароход в море ограбили какие-то пираты и после этого у тети Циалы с капитаном все пошло кувырком.

Она об этом иногда говорила с тетушкой, но, как только появлялся Чик, они или закруглялись, или тетушка его просто прогоняла. Там была какая-то страшная тайна. Там был какой-то желтоглазый человек (несколько раз Чик успевал ухватить эти слова), который помешал любви тети Циалы и капитана.

А до желтоглазого была великая любовь. Когда пароход входил в мухусский порт, капитан приглашал на палубу свою возлюбленную и бесплатно катал ее в роскошной каюте до Батума и обратно. А в Одессу тетя Циала никак не могла прорваться. Капитан ее туда не брал. Нет-нет, у него не было жены. Видно, она еще была слишком молоденькая, и капитан все ждал, чтобы она остепенилась и он смог бы привести ее к своим стареньким родителям. Нет, там не было жены капитана. Чик это точно знал. Если б там была жена, до Чика обязательно дошли бы разговоры, что эта негодзяка, недостойная целовать пятки тете Циале, при помощи цыганки приворожила бедного капитана.

Чик долго не любил тетю Циалу, и вот за что. Однажды, когда Чик был совсем маленький и лежал больной, она вдруг его навестила. Он лежал внизу у мамы, и поэтому было удивительно, что она его навестила. До этого она к маме почти никогда не заходила. А тут вдруг зашла. Но у Чика была большая температура, и он не обратил внимания на это. Он все видел как в тумане. И вдруг она к нему пристала с самым ненавистным ему вопросом:

— Кого ты больше любишь, маму или тетю?

С этим ненавистным вопросом раньше к нему приставала только тетушка.

— Одинаково, — отвечал Чик, что стоило ему немало-го самообладания. Тетушка ждала другого ответа, но никогда не могла добиться. А тут вдруг эта чужая тетя пристала к нему с этим же вопросом. И он, оскорбленный самим вопросом, и чтобы скорее от нее избавиться, и оттого, что был больной, и оттого, что мама была рядом, выдохнул:

— Маму!

И вдруг из-за спины грузной тети Циалы, как бесенок, выскочила тетушка и закричала:

— Ах так!

И Чик разрыдался! Никогда, никогда в жизни он так долго и горестно не плакал!

— Я ослаб, — говорил он сквозь рыдания, чтобы они поняли, что он не двуличный, что это он от болезни. Тетушка, конечно, бросилась его целовать, обнимать, успокаивать и всякое такое. По лицу бедной мамы, Чик это видел даже сквозь слезы, пошли красные пятна, но она им ни слова не сказала! Они сейчас гости — вот что такое чегемка! Но зато, когда они ушли, тетя Циала получила столько проклятий вслед, что этого хватило бы на всю мировую аристократию.

Чик выздоровел и потом с месяц не мог простить тетушке этот глупый и жестокий розыгрыш. Но потом простил. Все-таки он любил тетушку, и она его, конечно, любила. А вот тете Циале он этого не мог простить еще целых два года. А потом простил. А куда денешься? Ходит и ходит к тетушке. Пришлось простить.

Все это Чик мельком вспоминал, пока переодевался, и вдруг осознал, что тетя Циала умерла и то, что он сейчас так вспоминает о ней, нехорошо. Его опять охватила тревога: сумеет ли он заплакать, да еще с такими мыслями?

Но вот они вышли с тетушкой на улицу и повернули налево. День был теплый, солнечный, ласковый. Тетушкины каблуки легко и даже бодро стучали по тротуару. На углу несколько мальчиков играли в деньги, а другие толпились вокруг играющих и наслаждались звоном монет, которые долбили тяжелые царские пятаки.

Среди зевак стоял Анести. Когда они приблизились, он поднял голову и посмотрел на Чика. Чик вдруг подумал, что Анести ему предложит играть в деньги. Этого

еще не хватало! Тетушка была уверена, что Чик никогда не играет в деньги. Поэтому Чик, глядя на Анести, сделал ему страшную гримасу и отрицательно покачал головой. Но Анести его не понял, а может быть, понял наоборот.

— Чик, сыгранем? — спросил он, когда они поравнялись, и, хлопнув по карману, звякнул мелочью.

— Нет, — сухо бросил Чик и уже хотел пройти мимо, но тетушка остановилась.

— Что ты, мальчик, — сказала она, — Чик никогда не играет в деньги!

— Пацаны, — расхохотался Анести, — Чик никогда не играет в пети-мети!

Ребята рассмеялись, но тетушка ничуть не смутилась.

— Да, — сказала тетушка, — Чик никогда не играет в азартные игры! Куда только смотрят ваши родители?! Правильно говорят по-русски: не та мать, которая родила, а та мать, которая воспитала.

Чик это было неприятно слышать. Это был камушек в огород мамы. Бывало, если Чик проявлял сообразительность или приносил хорошие отметки, тетушка говорила, что это результат ее воспитания. А когда Чик попадал в какую-нибудь неприятную историю, она говорила:

— Яблоко недалеко от яблони падает.

Это был намек на его чегемское происхождение. Но если она имела в виду яблоню во дворе дедушкиного дома (Чик обожал эту яблоню), то можно сказать, что он далеко, до самого Мухуса, укатился от этой яблони.

Но вот ребята остались позади, и Чик снова заволновался: а вдруг ему не заплачется у гроба? И вообще, как это происходит? Может, дети плачут вместе? Тогда можно, как в школьном хоре, только слегка раскрывать рот.

— Те, — спросил Чик, — а дети плачут со взрослыми или отдельно?

— Ну, какой ты, Чик, — сказала тетушка не глядя, а каблучки ее продолжали бодро стучать по мостовой. — Мы подойдем с тобой к гробу моей дорогой подруги. Постоим. Поплачем. Потом я еще пособолезную близким, а ты выйдешь во двор и подождешь меня там.

Чик задумался. Тетушкины слова его ничуть не успокоили. По бодрому, невозмутимому стуку ее каблучков Чик был уверен, что сама она ничуть не сомневается в том, что слезы у нее польются, когда это будет надо. И Чика стали раздражать эти ее каблучки, и он решил смутить ее уверенность.

— Те, — сказал он, — а вдруг тебе не заплачется?

— Как это мне не заплачется? — удивилась тетушка, не сбавляя бодрости каблучков. — Что ты выдумываешь, Чик? У гроба своей лучшей подруги могут не заплакать только люди, о которых я сейчас не хочу говорить! И ты знаешь, кто эти люди, Чик! Знаешь, Чик, не притворяйся!

Чик опять тревожно задумался: а вдруг не заплачется? Что тетушка тогда будет говорить о чегемцах? Будет ужасно, если она тут же, у гроба, станет объяснять другим людям, что Чик не плачет, потому что пошел в своих родственников по материнской линии. Надо во что бы то ни стало заплакать!

Он с новой силой почувствовал груз долга на своих плечах. И сразу же, как это бывало и раньше, позавидовал тем губошлепистым мальчикам, которые этого никогда не чувствуют. Оник, например, никогда этого не чувствует. Хорошо ему живется, черт бы его подрал!

Они шли и шли, и тетушка встречала многих своих знакомых женщин и заговаривала с ними о смерти своей подруги. То по-русски, то по-абхазски, то по-грузински, а то и по-турецки. Мелькала одна и та же фраза на всех языках:

— Бедная Циала!

— Циала рыцха!

— Сацкали Циала!

— Языг Циала!

И почти все они обязательно заговаривали о погоде.

— Слава богу, хоть с погодой повезло, — утешала одна.

— Если погода продержится, обязательно приду на похороны, — обещала другая.

— Счастливая, жила как хотела и после смерти получила такую погоду!

— Отчего она умерла?

— Сердечница, — то и дело отвечала тетушка, — она всю жизнь была сердечницей!

Чик казалось, что тетя Циала стала сердечницей после того, как рассталась с любимым капитаном. Любовь навсегда ранила ее сердце, и она с тех пор стала сердечницей.

— Ах, как ей повезло с погодой!

Почти все разговоры сводились к этому. Чик удивлялся такому вниманию к погоде. Можно было подумать, что после смерти некоторых людей начинается наводнение.

И вот они наконец подошли к дому князя. Ворота в зеленый двор были широко распахнуты. Во дворе цвели кусты поздних роз и георгинов. С внутренней стороны двора несколько лошадей было привязано к штaketнику. Чик понял, что это прибыли деревенские родственники князя.

Под длинной виноградной беседкой, густо лиловеющей спелыми гроздьями, были расставлены столы, на которых виднелись бутылки с вином и лимонадом, блюда с соленьями и лобио. Людей за столами было не очень много, и они сидели небольшими группками, как это бывает, когда в застолье много мест, а люди малознакомы. Чик понял, что это поминки.

Они вошли во двор. У низкого столика перед входом в дом отдельно от всех стоял невысокий человек в черном костюме со скорбным лицом. Он повернулся к тетушке, явно ожидая, что она к нему подойдет, но тетушка, ускорив шаг, прошла мимо.

— Бедный князь, я еще к вам подойду, — бросила она ему мимоходом совсем новым для Чика голосом, показывая, что ее уже душат слезы и ей бы только донести их до той, кому они предназначены.

Когда ж она успела, удивился Чик и с ужасом подумал, что тетушка уже ко всему готова, а он, дурак, только глазел, оглядывая двор, и теперь ни к чему не готов. Из широко распахнутых дверей одноэтажного дома раздались призывные рыдания, и Чик еще больше запаниковал, чувствуя, что сейчас на виду у всех опозорится.

Надо бежать, бежать, пока не поздно! Но в это мгновение тетушка, словно догадавшись об этом, крепко схва-

тила его за руку и с какой-то хищной торопливостью ринулась к распахнутым дверям.

Гроб стоял посреди большой комнаты. Вдоль стен на стульях сидели женщины в черном и несколько мужчин, одетых в черкески с кинжалами на боку. Чик догадался, что это деревенские родственники князя.

В сторонке у окна толпились музыканты с восточными инструментами в руках и с восточным выражением в глазах. У изголовья гроба, засыпанного цветами, стояли несколько женщин, по-видимому, самых близких родственников. Плядя на покойницу, они всхлипывали и рыдали.

Остановив наконец взгляд на гробе, засыпанном цветами, Чик оцепенел. Его вдруг осенила леденящая догадка, что именно потому столько цветов набросано сверху, чтобы скрыть то страшное и непонятное, притаившееся под цветами и именуемое смертью. И он, цепenea, подумал: как можно жить, если это страшное и непонятное есть в жизни?

А тетушка уже не в силах додержать слезы, зарыдала навстречу рыданиям и, бросив замешкавшегося Чика, пошла к гробу. Однако перед тем, как его бросить, она строгим тычком в спину показала, куда ему надо двигаться.

И эти ее неутешные рыдания, и почти одновременный маленький, хитренький тычок в спину, как бы знак из милой, повседневной жизни тетушки, да и самого Чика, вывели его из оцепенения, словно подсказали, что можно, можно жить, если люди делают такие смешные вещи даже здесь, возле ужаса, заброшенного цветами.

Тетушка вдруг замолкла и упала щекой на усыпанное цветами тело покойницы. Она немного полежала так, а потом с рыданиями выпрямилась, как бы потеряв последнюю каплю надежды, что жизнь еще теплится под цветами. И теперь, взглянув на стоящих у гроба, она стала рыдать вместе с ними. Рыдающие, глядя друг на друга, возбуждались взаимной чувствительностью, и каждая как бы в благодарность за неутешные рыдания другой сама начинала рыдать с новой силой.

Чик все это видел, стоя у гроба рядом с тетушкой и глядя на сурово поостранневшее лицо тети Циалы, ощу-

ицал, что комок рыдания подкатывает к его горлу, но никак не может протолкнуться сквозь него, и потому он не может заплакать.

Ему много раз казалось, что комок вот-вот прорвется и тогда польются слезы. Но проклятый комок не прорывался, и горло у него начало саднить от напряжения.

А тетушка вместе с другими женщинами продолжала рыдать, иногда наклоняясь к гробу и растолковывая подруге, как ее здесь любят, а суровое лицо мертвой выражало досадливое неудовольствие всей этой шумихой.

Женщины продолжали рыдать, а у Чика все сдавливало горло, но комок ни туда, ни сюда. А между тем Чик чувствовал, что сюжеты из жизни, которые тетушка излагала рыдая, начинают повторяться («звезда моей цветущей юности», «таких преданных теперь нет», «ради нее я бросила персидского консула и вернулась на родину») и она через мгновение обратится к Чику и подключит его к своему плачу.

И Чик, чувствуя, что это вот-вот может случиться, а тетушка, увидев, что он все еще не плачет, преувеличенно ужаснется и вдруг такого наговорит о жестоких чегемцах...

И он в отчаянии приложил кулаки к глазам и стал их тереть изо всех сил, чтобы выжать слезы. Но слезы никак не выжимались, а глазные яблоки, наоборот, ссыхались от боли. И тогда Чик (была не была!) незаметно ослюнявил обе ладони и потом так же незаметно, продолжая как бы утирать глаза, обмазал их слюной. Правда, от волнения слюна тоже куда-то подевалась, но хоть слегка удалось увлажнить подглазья.

Только он это сделал и еще продолжал кулаками прикрывать глаза, как понял по голосу тетушки, что она повернулась к нему:

— Чик, где наша любимая Циала? Кто тебя осиротил, Чик? Кто теперь будет тебя угощать конфетами, Чик?

Когда тетушка плачущим голосом произнесла свои первые слова, обращенные к Чику, что-то в груди у него дрогнуло, комок в горле стал мягко раздуваться, и Чик понял: сейчас пойдут слезы. Сами пойдут, только не надо им мешать.

И он перестал кулаками тереть глаза, и слезы поднялись сами, увлажнив его замученные глаза, как вдруг тетушка своим дурацким упоминанием дурацких конфет все испортила.

Никогда в жизни, ни разу тетя Циала не угощала его конфетами. Нет, она не была жадной. Она, как и тетушка, была щедрой. Просто она вспоминала о существовании Чика только тогда, когда видела его. В конце концов Чик не такой уж маленький, чтобы рыдать над умершей только потому, что она его угощала конфетами. И тут комок в горле Чика стал сжиматься, сморщиваться и куда-то исчез.

— Открой глаза, Чик! Не стыдись слез, — рыдала тетушка, — есть минуты, когда мужчина не должен стыдиться слез!

Чик у стало очень стыдно, и он никак не мог оторвать кулаки от глаз, тем более что жалкая влага слюны, которой он их смочил, успела подсохнуть.

И вдруг ударила музыка и сразу перекрыла все, о чем Чик сейчас думал. Музыка была до того печальной, что Чика мгновенно заполнила острая, сладостная жалость. Ему стало жалко сумасшедшего дядю Колю с его безнадежной любовью к матери Соньки, ему стало жалко тетушку неизвестно за что, мимоходом он пожалел и неведомого персидского консула, бедного старикашку, который все красил и перекрашивал волосы и никак не мог угодить тетушке, ему стало жалко Белочку, которую собаколов мог поймать в любую минуту и отдать живодерам, ему стало жалко тетю Циалу, и в самом деле по гроб жизни любившую своего капитана, ему стало жалко хромого Лёсика, который всю-всю свою жизнь так и будет подволакивать ногу, ему стало жалко испанских республиканцев, он предчувствовал, что герои обречены, ему стало жалко отца Ники, невинно арестованного, и Нику, все еще думающую, что отец в дальней командировке. Ему вдруг припомнилось и стало жалко котенка, который когда-то давно тонул в канаве, а мальчишки вдобавок кидали в него камнями, а Чик стоял рядом и ничего не решался сделать — не потому, что боялся мальчишек, а потому, что боялся прослыть слюнтяем... Ему стало жалко всех-всех, и себя стало



жалко за то, что он так глупо, так глупо боялся прослыть слюнтяем...

И удивительней всего было то, что, как только он начал жалеть кого-нибудь, музыка мгновенно устремлялась к месту жалости и омывала именно эту жалость. И каждый раз Чик чувствовал, что она жалеет именно этого человека, это животное, а не кого-то вообще. Но откуда музыка знает обо всех его жалостях и как она успевает мгновенно вместе с Чиком переходить от одной жалости к другой?

И Чик чувствовал, что по лицу его текут и текут невыдуманные слезы и откуда-то издалека доносится голос тетушки. Наконец музыка смолкла, и Чик очнулся, но слезы продолжали течь. И он стал глядеть на тетушку, чтобы она как следует разглядела эти слезы и больше никогда плохо не думала о чегемцах.

И Чик теперь не сводил с тетушки своих плачущих глаз, и тетушка, кажется, начала что-то понимать и даже слегка кивнула Чику головой. Но Чик продолжал глядеть на нее плачущими глазами, требуя более ясных признаков покаяния, и она наконец наклонилась к Чику и шепнула ему на ухо:

— Я горжусь тобой, Чик! Я всегда знала, что ты пошел в нас, а не в этих бессердечных людей!

Ну что ты ей скажешь? Сколько же упрямства в этой маленькой горбоносой голове! И вдруг тетушка с рыданием обратилась к мертвой и сказала ей, что Чик просит разрешения в последний раз поцеловать ее и навек попрощаться.

Все подхватили ее рыдания, и заплаканные взоры обратились к Чику, как бы пораженные его не по годам мудрой чувствительностью. Чику было страшно целовать мертвую, он даже не знал, куда правильной всего ее поцеловать, и все-таки, стараясь не выдать, как это ему неприятно, наклонился и поцеловал ее в лоб.

Он почувствовал губами не принимающую его поцелуй какую-то потустороннюю твердость прохладного лба и, стараясь не выдавать облегчения и затаенного дыхания, распрямился и стал проходить к дверям. И уже там в последний раз услышал тетушку:

— Подруга юности, скажи, где «Цесаревич Георгий», где мы?

Чик вдохнул всей грудью свежий, золотой воздух ясного дня, и было глазам так вкусно смотреть на зеленую траву, кусты роз и георгинов, на рыжие крупы лошадок, привязанных к штaketнику и лениво помахивающих хвостами.

Но губами он еще чувствовал ту враждебную, потустороннюю твердость прохладного лба, и ему очень хотелось вытереть губы, но он стыдился это сделать. Ему казалось, что все сразу догадаются, что он стирает следы поцелуя. Вдруг кто-то ласково положил ему руку на плечо. Чик обернулся. Это был распорядитель поминального застолья.

— Мальчик, — сказал он, — можешь пойти перекусить и выпить лимонад. Лимонад любишь?

— Да, — сказал Чик и пошел к виноградной беседке.

За сдвинутыми полупустыми поминальными столами сидели не только взрослые, но и дети, дожидавшиеся своих родителей. Подходя к беседке, Чик вдруг увидел рыженькую девочку с лицом как подсолнух. И этот сияющий подсолнух сейчас был повернут к нему и явно призывал подойти. Чик подошел и сел напротив девочки. Он все время помнил губами потустороннюю, враждебную твердость лба покойницы, но слизнуть этот налет смерти мешала брезгливость, а утереть рукавом было стыдно: подумают, двуличный — сам целует, а потом утирается.

Поэтому Чик сделал озабоченное лицо, посмотрел на свои ноги, пробормотал что-то насчет проклятых шнурков и, склонившись под стол, изо всех сил, до хруста стал вытирать губы концом скатерти.

Вдруг он заметил, что под столом с противоположной стороны торчит наблюдающая за ним головка девочки. Приподняв свой край скатерти, она следила за ним.

Чику стало неприятно, что она его видит, и он на всякий случай стал жевать край скатерти, сначала думая намекнуть на то, что он сумасшедший и потому так странно обращается под столом со скатертью, но потом решил, что это слишком громоздко и потребует новых, соответствующих выдумок, и стал щупать скатерть, как бы пробуя ее на эластичность. А потом, растопырив ее двумя руками, изо всех сил подул на нее, смутно надевая, что изучает свойства ткани для неких, может быть,

парусных надобностей. Но девочка продолжала следить за ним смеющимися глазами из сумрака подстоля. Сейчас было особенно заметно, что на ее мордочке полным-полно веснушек.

Чик выпрямился над столом. Девочка тоже разогнулась.

— А я знаю, почему ты вытер губы, — сказала она, отметаив все его версии, — я тоже не люблю целовать покойниц, но мама заставляет.

— Не в этом дело, — сказал Чик. — Ты откуда?

Чик взял бутылку лимонада, налил в стакан и, некоторое время подержав губы в колючей сладости, выпил стакан и поставил на стол.

— Я в седьмой школе учусь, — сказала девочка, приятно гримасничая, — а ты?

— Я в первой, — сказал Чик и кивнул головой в сторону своей школы.

— Знаю, — сказала девочка, — там Славик учится.

Девочка взяла из тарелки с соленьями большой помидор и, обливаясь соком и шумно чмокая, надкусила его. Чик не любил, когда девочки едят слишком жадно. Он считал, что девочки должны есть как бы нехотя. Ну, фрукты еще так-сяк. Но только не соленые помидоры.

— Обожаю соленые помидоры, — сказала девочка, — я уже третий ем. А ты любишь соленые помидоры?

— Я вообще не люблю помидоры, — сказал Чик и добавил: — Вытри подбородок.

Девочка быстро нагнула голову и, ничуть не стесняясь окружающих, с разбойничьей лихостью вытерла краем скатерти подбородок. Бросив скатерть, она посмотрела на Чика и сделала на своем лице еще одну ужимочку, которая опять понравилась Чикю. Как это она угадывает делать на своем лице именно такие ужимочки, которые должны мне понравиться? — подумал Чик с благодарностью.

Чикю нравились далеко не всякие ужимочки, которые делали девочки на своем лице. Уж на что Ника была мастерицей по таким ужимочкам, и то она однажды сделала такую гримасу, что Чик после этого минут десять не мог на нее смотреть.

Тогда у нее был день рождения. Девочки и мальчики сидели за столом, уплетая вкусные салаты и весело бол-

тая. И Чик тайно любовался нарядной, оживленной Никой. И вдруг ее хорошенькое лицо, как в страшном сне, исказилось отвратительным выражением свирепости пещерной женщины, которая собирается броситься на другую пещерную женщину.

— Моль! — закричала она в следующее мгновение и стала бегать по комнате, стараясь прихлопнуть ее ладонями. Грубо и некрасиво. Нельзя же при виде моли делать такое пещерное выражение лица. Моль — это все-таки не муха цеце!

— Откуда ты знаешь Славика? — спросил Чик и, потянувшись за бутылкой, опрокинул ее над стаканом. На столе еще было полным-полно бутылок с лимонадом.

— Кто же его не знает, — сказала девочка с задумчивой нежностью, — первая школа — это Славик и Чик.

Чик замер, с научной строгостью прислушиваясь к действию славы на себя. Действие было приятное. После этого он с мимолетной беглостью пробежал по клавиатуре своих подвигов: донырнул почти до флажка, нашел крупнейший самородок мастичной смолы, победил Бочо в драке на чужой территории, попал стрелой в дикого голубя, научил Белку есть любые фрукты... Да мало ли?

— А что ты знаешь о Чике? — спросил Чик, проследив за опрятностью интонации, чтобы ничем не выдать себя.

— Все! — сказала девочка. — На городской олимпиаде ваша школа давала представление «Сказка о попе и его работнике Балде»... Так вот он там играл задние ноги лошади...

Девочка захлебнулась от хохота. А потом, отхохотавшись, посмотрела на Чика и, сделав новую гримаску, спросила:

— Неужели ты не слыхал? Он же в вашей школе учится!

Гримаска на этот раз показалась Чикю глуповатой.

— Слыхал, — сказал Чик, — но что тут смешного? Смешного что?

— Так ведь он всем объявил, что играет главную роль, роль Балды, — сказала девочка, склонившись над столом и снизив голос, чтобы Чик сильнее заинтересовался. — А тут вдруг — задние ноги лошади! Он что думал? Думал,

они сыграют и уйдут со сцены, и никто не узнает, что Балду играл не он. Потому что Балда был в гриме и с бородой. Ну а мальчиков, игравших задние и передние ноги лошади, и вовсе не было видно. Они были покрыты картонной фигурой лошади. Мне все подружка рассказала. Она там была. А тут раздались аплодисменты, аплодисменты после того, как они сыграли, и режиссер на сцену вывел за гриву лошадь и снял с мальчиков картонное туловище лошади. И тут-то весь театр и увидел, что Чик выступает под видом задних ног. Смехота! Он всех обманул, и свою тетушку, которая затащила в театр всех родственников и знакомых, чтобы похвастаться Чиком. Тетушка его, говорят, упала в обморок, а дядя прямо там, не сходя с места, сошел с ума и до сих пор сумасшедший. Чуть где увидит лошадь, начинает бормотать: «Чик! Чик! Чик!»

— Все это вранье, — сказал Чик, смутно чувствуя, что нагромождение глупостей — необходимая плата за славу. — У Чика дядя всегда был сумасшедший.

— Вот и попался, — сказала девочка, — кто бы сумасшедшего пустил в театр? А если человек уже в театре сходит с ума, тут уж ничего не поделаешь. Думали, что он отойдет. А он так и не отошел до сих пор. Как увидит лошадь, тычет на задние ноги и бубнит: «Чик! Чик! Чик!»

— Глупо, — сказал Чик, — глупо.

Пока Чик разговаривал с девочкой, с улицы во двор входили мужчины и женщины. Некоторые шли держа в руках букеты цветов. Мужчины останавливались возле князя, жали ему руку, а потом, сняв шляпу или кепку и положив ее на столик, входили в дом. Когда они выходили во двор, распорядитель всех приглашал к поминальным столам. Одни садились за столы, а другие уходили.

Справа от Чика на некотором расстоянии от него усеялась шумная компания местных мужчин. Их было человек восемь. Обсев стол с двух сторон, они наложили себе в тарелки лобio, разлили по стаканам вино, сказали по несколько слов за упокой души умершей, по обычаю отлили чуть-чуть из стаканов — кто на лаваш, а кто просто в тарелку — и выпили. Принялись есть, макая лаваш в лобio и громко захрустывая еду красной квашеной капустой.

— Слушайте меня, — сказал один из них. Он сидел напротив, наискосок от Чика. — Учтите, — продолжал он, — я точно знаю, как это было. Помнится, это случилось двадцатого сентября 1906 года по тогдашнему стилю. Они тремя группами вошли на пароход «Цесаревич Георгий». Первая группа вошла в Новороссийске, вторая в Гаграх, а третья здесь, у нас...

Чик прямо почувствовал, что уши у него стали торчком. Девочка продолжала что-то говорить, но звук ее голоса выключился. Теперь Чик заметил, что один из друзей рассказчика, сидевший со стороны Чика, был его старый знакомый. Это был тот самый глуповатый рыбак, с которым Чик когда-то рыбачил. Он сидел к нему ближе всех, и Чик его сразу узнал. Он его узнал по большим усам и какой-то забавной важности выражения лица.

Рядом с рассказчиком сидел красивый курчавый человек. Чик и его узнал. Однажды, когда Чик был с дядей в кофейне, этот красивый курчавый гуляка веселился со своими друзьями рядом за столиком. Тогда он время от времени выкрикивал:

— Среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь!

И все смеялись, когда он так выкрикивал. И Чик смеялся. Ясно же, что Розенталь не может быть абхазцем, потому и смешно. Чик любил понять, почему смешное смешно.

Но сейчас он не спускал глаз с рассказчика. Это был довольно старый человек с небритым морщинистым лицом, хриплым уверенным голосом и выпуклыми бараньими глазами. Он был вроде тех стариков, которые вечно сидят в кофейнях. Только Чик подумал, что у него бараньи глаза, как тот сказал:

— ...Тогда возле пристани была кофейня, где можно было покушать харчо из бараньих мошонок. Для здоровья лучше ничего нет! Где сейчас такое харчо найдешь?!

Чик поразился, что рассказчик перешел на баранье харчо именно в тот миг, когда Чик подумал, что у того выпуклые, бараньи глаза. Такие странные, таинственные совпадения у Чика случались много раз. Только подумаешь о ком-нибудь, что он, оказывается, всю жизнь был

похож на какое-то животное, а ты этого не замечал, как вдруг этот человек делает что-то такое, что точно подтверждает твою мысль. Может, Чик немножко гипнотизер и внушает мысли на расстоянии?

Однажды Чик вместе с другими мальчиками отдыхал на траве после футбола. Вдруг Чик заметил, что один из пацанов до смешного похож на загнанного верблюжонка. А до этого не замечал. А тут заметил. И в этот же миг этот мальчик вдруг сказал: «Пацаны, пить охота, умираю!»

Но почему он это не сказал ни секундой раньше, ни секундой позже? В другой раз Чик на уроке заметил, что у одной девочки прямо-таки кошачья мордочка. Чик, пораженный этим сходством, смотрел, смотрел, смотрел на нее, стараясь на расстоянии внушить ей, чтобы она мяукнула. И вдруг — нет, она не мяукнула, она сделала хуже: она ощерилась по-кошачьи! У Чика прямо мурашки пробежали по спине: так и блеснули кошачьи зубки! И сейчас случилось то же самое! Потому что позже, когда Чик множество раз вспоминал рассказ этого человека, он убеждался, что баранье харчо совсем никакой роли не играет в том, что он говорил. Почему же он его вспомнил? Чик ему это внушил, подумав, что у рассказчика бараньи глаза.

— ...И вот, значит, — продолжал тот, — все они были в бурках, потому что под бурками прятали оружие. Желтоглазый сам разработал эту операцию и сам в бурке находился на борту. Но тогда никто еще не знал, кто кровник, кто революционер, кто абрек. Их было двадцать пять человек. И вот, значит, в час ночи, когда пароход проходил мимо Очамчиры, они одновременно захватили вахтенного офицера и рулевого и заставили его остановить пароход, перекрыв все ходы и выходы. Желтоглазый сам вошел в каюту капитана и приставил маузер к его голове: «Почту!»

Бедный капитан что мог сделать? Капитан вместе с ним спустился в почтовую камеру, разбудил почтового чиновника и приказал ему отдать деньги и ценные бумаги. Всего двадцать тысяч. Пассажиров не грабили. Чего не было, того не было! Зачем выдумывать?

После этого желтоглазый что делает? Приказывает капитану спустить шлюпку, посадить в нее четырех мат-

росов для гребли и двух помощников капитана как заложников. После этого он со своими товарищами спустился в шлюпку, оттолкнулся от трапа, и вдруг...

— Девочка упала в море! — неожиданно вставил знакомый Чик усатый рыбак. Все разом взглянули на него. Теперь Чик вспомнил, что тот, слушая рассказчика, то и дело шевелил губами, может быть, про себя вспоминая эту историю. А теперь не выдержал и встал, потому что рассказчик позабыл про девочку.

— Какая девочка? — растерялся рассказчик и посмотрел на рыбака своими выпуклыми глазами. — Я про это ничего не знаю.

— Уфуфовская девочка, — смачно произнес рыбак, довольный, что мог вставить, — она упала в море, потому что высунулась из поручней, чтобы посмотреть в лодку. А мать в этот момент забыла про дочку, и она выпала. А он спрыгнул с лодки и спас девочку! А через пятнадцать лет — такое в миллион лет один раз бывает! — она стала его женой. Но тогда он не знал об этом! Тем более девочка — ей тогда было пять лет. Гиде ребенок, гиде революционер?

— Хо! Хо! Хо! Хо! — удивленно заохали слушатели и с удовольствием переместили свое внимание на рыбака, что ужасно не понравилось рассказчику.

— Какая девочка?! — крикнул он возмущенно. — Откуда ты взял?! Тифлиссские, петербургские, наши местные газеты — все тогда писали об этом случае. Никто не вспомнил никакой девочку! Тем более она же была на пароходе, она же рассказала бы нам, если б девочка упала за борт.

— Кто «она»? — спросил один из слушателей.

— Она, — повторил рассказчик и многозначительно кивнул на распахнутые двери дома, куда то и дело входили и выходили соболезнующие. Все поняли, о ком идет речь, и с таким видом взглянули на дверь, как будто ожидали, что тетя Циала вот-вот появится в дверях и подтвердит слова рассказчика. Не дождавшись, снова перевели взгляд на него.

— Сейчас громко не будем говорить, — продолжал тот, снижая голос, — тем более князь во дворе... Учтите, князь — прекрасный бухгалтер! Лучшего бухгалтера в Абсоюзе нет. Учтите!



Он оглядел своих друзей, словно проверяя, учитывают они это или нет. Те закивали головами. Чик ужасно удивился, что князь может быть бухгалтером.

— Да, — продолжил рассказчик, — она любила капитана... Об этом все старые мухусчане знают... И вот, значит, шлюпка отходит от «Цесаревича Георгия», и вдруг...

— Девочка падает в море, — быстро вставился рыбак, — а желтоглазый сбрасывает бурку, ныряет пирямо на дно, достает девочку, и пароход делает орация, несмотря что ограбил почту!

— Хо! Хо! Хо! — снова заудивлялись слушатели, а рассказчик так и застыл с раскрытым ртом. Он думал, что окончательно победил рыбака, а тот, раздувая усы, снова выплыл с девочкой на руках.

— Слушай, — грозно обратился к нему рассказчик, — если ты будешь фантазировать, я уйду! То, что я говорю, — история! А то, что ты говоришь, — воздух-трест!

— У нас в Баку так рассказывали, — миролюбиво пожав плечами, проговорил рыбак, очень довольный, что сумел еще раз встать.

— У вас в Баку, — передразнил его рассказчик, — кушают плов и запивают нефтью. От этого у тебя такие фантазии. Я старый мухусчанин, я знаю все, как было на самом деле... Одним словом, только шлюпка отошла от «Цесаревича», и вдруг...

Рассказчик бросил свирепый взгляд на бывшего бакинца. Но тот, сложив руки на столе и изобразив на лице покорную прилежность, слушал его, как отличник.

— ...И вдруг сверху с палубы раздается выстрел...

— Я же всегда говорил, — неожиданно вставился красивый и чернявый гуляка, — среди абхазцев есть еще герои, как, например, Мишка Розенталь!

Все, кроме рассказчика и усатого рыбака, рассмеялись.

— При чем тут абхазцы? — Рассказчик раздраженно посмотрел на него. — Ты же сам абхазец?

Гуляка, подмигнув компании, стал разливать в стаканы вино.

— Розенталь шапошник будет? — спросил усатый рыбак. Чик заметил, что большие усы придавали его словам глупый смысл.

Все подняли стаканы.

— Какой там шапошник! Такой же пьяница, как и он! — кивнул рассказчик на своего соседа и, уже ворча в стакан, выпил и успокоился.

— Вообще неизвестно, кто стрелял, — продолжил он свой рассказ, — абхазец, грузин, русский. История этого не знает. История говорит, что он ни в кого не попал. Но желтоглазый рассерчал и хотел снова пришвартоваться, чтобы наказать стрелявшего. Но капитан сверху упросил его не делать этого, потому что он сам найдет и накажет стрелявшего. Желтоглазый махнул рукой, и шлюпка ушла к берегу...

И вот проходит полгода, я сижу в той же кофейне и кушаю жирный харчо из бараньих мошонок. Такое харчо сейчас наркому не подадут — нету! И вдруг ко мне подходит молодой полицейский Барамия.

«Из Одессы, — говорит, — пришла совершенно секретная инструкция от полковника Левдикова насчет ограбления парохода «Цесаревич Георгий».

«Садись, — говорю, — дорогой друг. Все, что хочешь, закажу — выпьем, покушаем, поговорим. Мы тоже люди, мы тоже носом воду не пьем, мы тоже хотим знать, что пишет полковник Левдиков!»

И он присаживается и говорит: «Только никому ни слова! Голову с меня снимут!» — «Что ты, что ты! — говорю. — Неужели мы, местные ребята, будем друг друга продавать! Никогда!»

Я заказываю все, что надо, и мы потихоньку сидим, кушаем, пьем, разговариваем. И вот, дай бог ему здоровья, полицейский Барамия все рассказывает мне, чем дышит департамент полиции, чем дышит лично полковник Левдиков. Оказывается, по сведениям полковника Левдикова, в ограблении парохода «Цесаревич Георгий» принимал участие некий молодой человек — маленького роста, рыжий, веснушчатый, веснушки даже на руках. И он просил все полицейские участки Закавказья искать его по этим приметам.

Когда рассказчик сказал о веснушчатости, Чик рассеянно вспомнил о веснушках девочки, сидевшей напротив, и посмотрел на нее. И она вдруг с какой-то испуганной быстротой спрятала от него руки. Видно, у нее тоже

были веснушчатые руки. Лупышка, мимоходом подумал Чик, если б она знала, чьи веснушки сравнивает со своими жалкими веснушонками!

— Все понимаю, — сказал один из слушателей, — но что означает слово «некий», не понимаю.

Рассказчик кивнул головой в знак того, что это недоумение уже не раз возникало и он его всегда легко рассеивал.

— Некий, — сказал он, — по-русски означает «странный».

— Хо! Хо! Хо! Хо! — удивленно заохали слушатели.

Отохав, один из них спросил:

— Неужели полковник Левдиков уже тогда знал, что он странный?

— Полковник Левдиков — это полковник Левдиков, — важно кивнул рассказчик, — учтите, когда он на фаэтоне проезжал по Одессе, генерал-губернатор дрожал. А теперь слушайте, что дальше происходит!

Через год наша мухусская полиция задерживает молодого человека, похожего по приметам. Начальник полиции, уже зная, что наша землячка во время ограбления парохода была на борту, вызывает ее и устраивает очную ставку.

— Кого «ее»? — спросил один из слушателей.

— Как — кого? — удивился рассказчик и повернулся к распахнутым дверям дома.

Все повернулись к распахнутым дверям. И Чик повернулся к распахнутым дверям, хотя понимал, что это глупо. Оттуда сейчас вышли музыканты и стали приближаться к поминальным столам. Один из них вытряхнул слюну из мундштука неведомого Чик-инструмента и снова ввинтил его. Чик вспомнил то чудесное, грустное, удивительное, что он испытал, когда у гроба заиграла музыка, и ему было неприятно осознавать, что музыкант вытряхнул именно слюну, но, увы, он точно знал, что это была слюна.

В это время два фаэтона, отцовав по мостовой, остановились возле дома. Из одного фаэтона вышла женщина с двумя детьми, а из другого вышел плотный мужчина средних лет в белом чесучовом кителе, в темных брюках галифе и в маслянисто сверкающих сапогах.

Фаэтонщик осторожно снял с сиденья венок, обвитый лентой, и поднес женщине. Женщина, подправив на венке ленту, подставила его мальчику и девочке, подтолкнув их к обеим сторонам венка. Женщина стала сзади, мужчина присоединился к ней, дети приподняли венок, и маленькая процессия стала торжественно входить во двор.

— Арутюн приехал, — зашелестели многие сидящие за поминальными столами и обернули головы в сторону вошедших во двор.

Чик сразу узнал мальчика. Это был тот самый велосипедист, который недавно обыграл его в пух и прах.

Маленькая процессия поравнялась с местом, где стоял одинокий князь. Мужчина что-то сказал своим, и они остановились. Мужчина крепко пожал руку князю. Потом дети приподняли венок, и семья медленно двинулась в сторону распахнутых дверей дома. Заметив музыкантов, сидящих за столом, мужчина небрежным движением руки дал им знать, чтобы они следовали за ним.

Музыканты суетливо повскакали и стали подбирать инструменты.

— Дайте перекусить, — сказал один из них, продолжая сидеть.

— Ты что, не видел, кто зовет? — обернулся к нему другой. — Давай, давай!

Музыканты быстро собрались и вошли в дом. Вскоре оттуда стали доноситься приглушенные звуки музыки.

— Повезло ребятам, — восторженно кивнул рассказчик в сторону музыки.

— Чем? — спросил рыбак.

— Дай бог мне столько здоровья, сколько он им отвечает, — пояснил рассказчик и добавил: — Он десять лет работает приемщиком скота на бойне и за это время ни разу не взял зарплаты. Расписывается — и бухгалтерам на чай! Учтите, в наше время скот золотом хезает — только подбирай!

— Хо! Хо! Хо! Хо!

— И вот, значит, — продолжил рассказчик, — начальник полиции вызывает ее для опознания. Так у них это называется. Она мне потом все рассказала. Мы же с ней выросли на Первой Подгорной. С детства были как брат и се-

стра. «Как только я вошла в кабинет, — говорит она мне потом, — я его сразу узнала». — «А он?» — говорю. «А он, — отвечает она, — я думаю, еще за дверью меня узнал. Ты бы только видел взгляд его желтых глаз!» — «Какой взгляд?» — говорю. «Ну, как тебе сказать, — говорит и немного так задумалась. — Начальник полиции у меня спрашивает, как тот вошел в каюту капитана, как они вышли вскрывать почту, как сажались в шлюпку, как раздался выстрел. Все спрашивает. Около часа расспрашивал. А этот стоит возле стола начальника и, не поворачивая головы, — то на меня, то на него. И ни разу не шевельнул головой!» — «Неужели ни разу?» — спрашиваю. «В том-то и дело, что ни разу! — говорит. — Знаешь, — говорит, — как смотрит овчарка, когда двое разговаривают в комнате?» — «Как смотрит, — удивляюсь я, — что я, овчарку не видел!» — «А вот так смотрит, — говорит. — Овчарка лежит, положив голову на лапы, и, если в это время двое разговаривают в комнате, она своими желтыми глазами то на голос одного, то на голос другого, а голова как лежала на лапах, так и лежит. Вот так и этот целый час то на меня, то на начальника своими желтыми глазами, а головой ни разу не шевельнул». — «А-а-а, — говорю, — теперь дошло. Вот почему ты не призналась!» — «Еще бы, — говорит, — я его не признала, и полиция его отпустила». — «А чего же они не дождались капитана?» — говорю. Когда она мне это рассказывала, с капитаном у нее уже все было кончено. И вот она тяжело так вздохнула и говорит: «Не знаю... Может, начальник полиции его еще больше испугался... Он ведь и на него смотрел, не поворачивая головы».

Вот как это было! Но дальше слушайте, дальше! Через полгода капитан узнал, что начальник полиции вызывал ее по этому делу. Он сам пошел в участок и убедился, что задержанный и отпущенный был тот самый человек. Наверное, фотокарточку показали. Но он в полиции ничего не сказал, а с ней порвал!

Он же все-таки был мужчина. А желтоглазый его унизил. Я забыл сказать, что, когда он с маузером вошел в каюту, он сперва отнял у капитана пистолет. При любимой женщине отбирает оружие! Настоящий мужчина такое не забывает! И теперь, конечно, она, сделав вид, что не узнала его, фактически предала капитана. Так полу-

чается, если со стороны капитана посмотреть. И он с ней порвал!

В следующий заход «Цесаревича Георгия» капитан не вышел на берег, а вахтенный матрос не пустил ее на борт. Бедная, бедная, чуть с ума не сошла! Когда пароход отошел, она бросилась в море, и боцман пристани вытащил ее еле живую! Откачали!

Тут рассказчик взглянул на рыбака и, что-то вспомнив, сказал:

— Ах, вот откуда ты взял, что девочка упала в море! У вас все перепутали. Ограбление парохода, женщина в море, странный революционер!

— Клянусь детьми, как слышал, так и рассказал! — ответил рыбак и положил обе руки на сердце.

Компания выпила еще по стакану вина и закусила. Человек в белом чесучовом кителе вышел из дому вместе с женой и детьми. Распорядитель подскочил к нему и, широким жестом указывая на столы, пригласил садиться. Тот кивнул ему, а потом, повернувшись к фазтонам, что-то сказал распорядителю. Распорядитель ринулся через двор, издали рукой показывая фазтонщикам, чтобы они сейчас же шли к столам. Те мгновенно его поняли и вошли во двор.

Человек в белом чесучовом кителе и маслянисто сверкающих сапогах благодушно и важно приближаясь к столам. Отвечая на приветствия, он кивал во все стороны. Он выбрал пустое пространство возле Чика. Расселись. Рядом с Чиком хлопнулся сын, дальше скрипнул стулом глава семьи, дальше — его жена и дочка. В Чике шевельнулось и ожило его старое любопытство к богатым.

— Аругюн-джан, хорошо выглядываешь! — крикнул какой-то человек и восторженными глазами посмотрел на белый китель.

— Тьфу, тьфу, не сглазить, — ответил тот и, приподняв скатерть, постучал по деревяшке стола, — еще один пятнадцать лет вот так хочу. Больше не надо!

Растопырив руки, он погладил себя ладонями по широкой груди и посмотрел во все стороны, давая всем оглядеть свою ладную, плотную фигуру, которую он хочет сохранить в таком виде ровно пятнадцать лет.

— Еще пятьдесят лет, Арутюн-джан! — щедро выбросив вперед руку, предложил ему тот, как бы в благодарность за внимание к его словам.

— Не, не, не... Еще один пятнадцать лет! — повторил свои условия белый китель и, похлопывая себя по широкой груди, дал всем оглядеть свою ладность. — Больше не хочу!

После этого он плеснул себе в тарелку лобио, налил вина и выпил за упокой души умершей.

— Бедный князь, — вздохнула его жена, оглядываясь на князя, — как он ее любил! Говорят, он ее перед смертью носил на руках по этому двору. Она прощалась с жизнью... Ты мина никогда не носил на руках!

— Ты начни умирать, — спокойно предложил человек в белом кителе, окуная лаваш в лобио и отправляя его в рот, — я тебя от Мухуса до Еревана на руках пронесу!

Ты посмотри, подумал Чик, оказывается, богатые мясники иногда бывают остроумными. Чик всегда проверял остроты, которые слышал или вычитывал из книг. Как сливки в молоке, так и смешное в человеческом языке самое вкусное. Так считал Чик.

Он оглянулся на маленького, одинокого князя, жалея его и радуясь его силе. Он представил, как маленький князь носит на руках статную тетю Цялу, иногда пригибаясь, чтобы дать ей понюхать цветы. Наверное, у него железные мускулы, подумал Чик, только не видно под одеждой.

Девочка, сидевшая напротив него, сейчас уставилась на нового мальчика. Тот, еще садясь за стол, окинул глазами Чика, явно вспомнил, что недавно обыграл Чика, но его равнодушные глаза ничего не выразили, кроме скуки.

Чик считал, что в таких случаях тот, кому повезло, должен хотя бы взглядом выразить некоторое сочувствие. Мол, игра есть игра, мол, сегодня я у тебя выиграл, а завтра, может, ты у меня выиграешь. Нет, смотрит, как будто ничего не случилось!

А девочка все сияла подсолнухом своего лица и ерзала, пытаясь обратить на себя внимание этого мальчика. Конечно, Чик сам ее первый забросил, до того ему было интересно узнать историю «Цесаревича Георгия». Но теперь ему стало немного грустно. Ну отвернулся от нее во время рассказа, ну и что? Лопай себе соленые помидоры,

пей лимонад! Кто тебе мешает? Дупая! Из всего рассказа только и поняла, что веснушки на руках! Но чьи, чьи веснушки, если б ты знала!

Чик всегда считал, что жизнь прекрасна, но с верными людьми и раньше бывало туговато. Сейчас эта девочка те же самые гримаски, которые дарила Чику, стала направлять на этого мальчика. А он попивал лимонад, даже не глядя на нее.

— Вы и обратно на фаэтонах поедете? — наконец спросила она.

— Ага, — буркнул мальчик.

— На обоих?

— Ага, — буркнул мальчик.

Ужимочки, ужимочки, ужимочки. И так, словно Чика здесь нет. Чик поразился такому прямо-таки мошенническому использованию ужимочек. Ну ладно, тебе теперь интересно приманивать другого мальчика. Так давай, для другого мальчика выдумывай другие ужимочки! Нет, на глазах у Чика нахально пускает в ход те же самые!

— А я знаю тебя, — сказала девочка.

— Откуда? — холодно спросил мальчик.

— Ты лучший велосипедист третьей школы, — улыбнулась девочка, — разве нет?

— Не только третьей, — немного смягчившись, ответил он и повернулся к Чику: — Сыграем?

— А разве можно здесь играть? — удивился Чик.

— Да не здесь, балда, а на улице, — проговорил мальчик вполголоса и, оглядывая Чика холодными, бесстрашными к проигрышу глазами, добавил: — Сразу ки-нем по рубчику?

Чик отрицательно покачал головой. Ему неохота было играть, да и рубля у него не было. И вдруг он услышал над собой голос тетушки:

— Чик, ты здесь? Нам пора! Твой дядя придет обедать, а нас нет! Нельзя, нехорошо огорчать дядю! Пойдем, Чик, пойдем!

Чик и не собирался оставаться. По голосу тетушки Чик понял, что смерть подруги освежила в ней любовь к своему мужу. По разным причинам такое случалось и раньше. Теперь она несколько дней будет ласково жуж-



жать, жужжать, жужжать вокруг него, а потом соскучится и ужужит в сторону новых развлечений.

Чик встал и кинул беглый взгляд на девочку. Подсолнух замер, словно не понимая, где тут солнце, а где луна. Чик пошел.

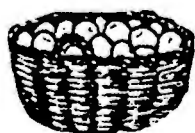
— Разве это Чик? — услышал он сзади ее голос.

— Ну, Чик, ну и что? — сказал мальчик. — Я его недавно как фрайера обчесал!

Больше Чик ничего не услышал. Они с тетушкой вышли на улицу.

— Бедная Циала, — вздохнула тетушка и добавила знакомым Чику по раздольным чаепитиям голосом: — Ох и наплакалась я в досталь!

Каблучки ее бодро застучали по тротуару. Чик задумался.





## Петух

**В** детстве меня не любили петухи.

Я не помню, с чего это началось, но если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.

В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья — мать, две взрослые дочери, два взрослых сына — с утра уходила на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястребы чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось как представителю хилого городского племени выпивать пару свежих яиц из-под кур, что я и делал добросовестно и охотно.

На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которые неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание — и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.

В доме я нашел две книги: Майн Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла. Имена героев звучали как сладостная музыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндекстер, ка-

питан Кассий Кольхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коваруби де Лос-Льянос.

« — Просите прощения, капитан, — сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску.

— О ужас! Он без головы!

— Это мираж! — воскликнул капитан».

Книгу я прочел с начала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.

Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосуточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.

Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное, стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение — и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.

Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка

где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остеклевшими глазами.

— Не жалец, — говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.

Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие? Или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть.

Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.

Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахтая и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клочка, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону летящей птицы, но, так как идущий не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он посматривал в небо: нет ли опасности?

Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздалось карканье ворона, он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытого места. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожителей в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и добивался полного подчинения.

Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.

Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насилием. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.

Если подбегала не та курица, которая приглянулась ему на этот раз, он загораживал свою находку или отгонял ее, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную. Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.

Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за ней, но и чувствуя постыдность своего положения, он продолжать бежать, на ходу стараясь сохранять солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение.

Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.

С каждым днем он все больше и больше наглел. Если я переходил двор, он бежал за мной некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться, и она разразилась.

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и встал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но напрасно. Он склевал подачку, но видно было — примиряться не собирается.

Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянув шею наподобие гусака, и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая петушиные проклятия. Горящий, рыжий ком ненависти летел в меня. Я

успел заслониться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня, как поверженный дракон. Крылья его, пока он вставал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.

Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрываясь табуреткой, как римлянин щитом.

Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выклонуть мне глаз. Я удачно прикрывался табуреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.

Еще одна атака — и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него.

Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше — в комнату, захлопнув за собой дверь.

Грудь моя гудела, как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался, я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добивался, мы оба ходили в ссадинах и кровоподтеках.

На мясисом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько меток от палки; его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность.

У него появилась противная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.

Теперь он чувствовал себя на террасе как на оккупированной территории.

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял и терпеливо дожидался меня.

Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так, я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посрамлялась явюю выгоды. Пригоршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных яйценосок. В конце концов являлся и сам паша. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.

Однажды, когда тетка с сыновьями работала в огороде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнул и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч. Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удесятерил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала у меня в ладони, и ощущение было такое, будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешнястые когти шевелились, стараясь дотянуться до моего тела и врезаться в него.

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за огады. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Побежденный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить — набросится, а держать его бесконечно невозможно.

— Перебрось его в огород, — посоветовала тетка. Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками.

Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгно-

вание он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный крик убегающих детей:

— Ма-ма!

Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался на мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, петух продолбил бы мне позвоночник, если бы подбегавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру петух вышел из кустов притихший и опечаленный.

Промывая мои раны, тетка сказала:

— Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его зажарим.

На следующий день мы с братом стали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротой страуса. Он перелетал в огород, прятался в кустах, наконец забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Казалось, он хотел мне сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилось, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.

Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.

Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а воевать с людьми — пропащее дело.



# Тринадцатый подвиг Геракла



Все математики, с которыми мне

приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.

И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, — сейчас это трудно установить! Я думаю, скорее всего, был.

Звали его Харламбий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервнрует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не утасоющей с годами.

К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заме-

нили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было немыслимо. Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из гороно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина.

Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбежали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харламбий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харламбий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харламбий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь понезаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он да-

ет знать, что само появление такого ученика — редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и, раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опоздании, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например:

— Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.

Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно скидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

— Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

— Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

— Авдеенко думает, что он лебедь, — поясняет Харламбий Диогенович. — Черный лебедь, — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, утрюмое лицо Авдеенко. — Сахаров, можете продолжать, — говорит Харламбий Диогенович.

Сахаров садится.

— И вы тоже, — обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. — ...Если, конечно, не сломаете шею... черный лебедь! — твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, — не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с

этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харламбий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.

Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плошай.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

— Ну, как задача?

— Ничего, — говорит он, — решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

— Как решил, ведь ответ неправильный?

— Правильный, — кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих: хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харламбий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харламбий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харламбий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом, даже на тетради писал «Алик», потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка — держать руки на промокашке, от чего я его никак не мог отучить.

— Гитлер капут, — шепнул я в его сторону.

Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.

Между тем Харламбий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

— Кто дежурный? — неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харламбий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока тот стирал,

Харлампий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорей кончил свое нудное противление. Наконец староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь и в дверях появились доктор с медсестрой.

— Извините, это пятый «А»? — спросила доктор.

— Нет, — сказал Харлампий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

— Извините, — сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улигнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.

И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

— Можно я им покажу, где пятый «А»? — сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом, пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

— Покажите, — сказал Харлампий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

— Я покажу вам, где пятый «А», — сказал я.

Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

— А нам что, не будете делать? — спросил я.

— Вам на следующем уроке, — сказала докторша, все так же улыбаясь.

— А мы уходим в музей на следующий урок, — сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно.

Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой. На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

— А мы вас не пустим, — сказала докторша шутливо.

— Что вы, — сказал я, начиная волноваться, — мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.

— Значит, организованно?

— Да, организованно, — повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.

— А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, — сказала она и остановилась.

Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

— Но ведь нам сказали, сначала в пятый «А», — заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.



Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

— Какая разница, — сказала докторша и решительно повернулась. — Мальчику не терпится испытать мужество, да?

— Я малярник, — сказал я, отстраняя личную заинтересованность, — мне уколы делали тыщу раз.

— Ну, малярник, веди нас, — сказала докторша, и мы пошли.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом. Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли.

«Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

— Молодец, Алик, — сказал я тихо Комарову, — такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

— Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харламий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать. Авдеенко, на место, — кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харламий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше.

Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.

— Ну, кто из вас самый смелый? — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

— Будем вызывать по списку, — сказал Харламий Диогенович, — потому что здесь сплошные герои.

Он раскрыл журнал.

— Авдеенко, — сказал Харламий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше — получить двойку или идти первым на укол.

Он задрал рубаху и теперь стоял спиной к докторше все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

— Отвернись и не смотри, — говорил я ему.

— Я не могу отвернуться, — отвечал он затравленным шепотом.

— Сначала будет не так больно. Плавная боль — когда будут впускать лекарство, — подготавливал я его.

— Я худой, — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, — мне будет очень больно.

— Ничего, — отвечал я, — лишь бы в кость не попала иглолка.

— У меня одни кости, — отчаянно шептал он, — обязательно попадут.

— А ты расслабься, — говорил я ему, похлопывая его по спине, — тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая, как доска.

— Я и так слабый, — отвечал он, ничего не понимая, — я малокровный.

— Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

— «Скорую помощь»! — закричал я. — Побегу позвоню!

Харламбий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаз, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.

— Даже не почувствовал, — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

— Молодец, малярик, — сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

— Еще потрите, — сказал я, — надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный — лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

— Откройте окно, — сказал Харламий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

— Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, — сказал он и остановился. Щелк, щелк — перебрал он две бусины справа налево. — Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, — добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.

«Смотри, чего захотел», — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалящую мифологию, может быть, и можно подправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

— Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, — продолжал Харламий Диогенович, — и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

— Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости... — Харламий Диогенович задумался и прибавил: — Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг.

Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.

— ...Мне кажется, я догадываюсь, — проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху вцепилось в спину.

— Прошу вас, — сказал он и жестом пригласил меня к доске.

— Меня? — переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

— Да, именно вас, бесстрашный малярник, — сказал он.

Я поплелся к доске.

— Расскажите, как вы решили задачу? — спросил он спокойно, и — щелк, щелк — две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаюсь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

— Мы вас слушаем, — сказал Харламбий Диогенович, не глядя на меня.

— Артиллерийский снаряд, — сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

— Дальше, — проговорил Харламбий Диогенович, вежливо выждав.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я упрямо надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам.

Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаюсь представить ход за-

дачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.

В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

— Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — спросил Харламий Диогенович с доброжелательным любопытством.

Он это спросил так просто, как будто справлялся, проглотил ли я сливовую косточку.

— Да, — быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

— Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, — сказал Харламий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что, если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал, так же как свое настоящее имя, обнаружили во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватости Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харламий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся, и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.





## Запретный плод

**П**о восточному обычаю в нашем доме

никогда не ели свинину. Не ели взрослые и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета — относительно алкогольных напитков — нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно, по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма.

Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенными шкурками и крапчатыми разрезами. Я представлял, как сдираю с них кожуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мякоть. Я до того ясно представлял себе вкус этой колбасы, что, когда попробовал ее позже, даже удивился, настолько точно я угадал его фантазией.

Конечно, бывали случаи попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка.

Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свининой, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое, недоступное окружающим. И тем сильнее я продолжал мечтать о греховном соблазне.

В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Почему-то все мы тогда считали, что она доктор. Вообще, взрослея, замечаешь, как вокруг тебя дяди и тети постепенно понижаются в должностях.

Тетя Соня была пожилой женщиной с коротко остриженными волосами, с лицом, застывшим в давней скор-



би. Говорила она всегда тихим голосом. Казалось, она давно поняла, что в жизни нет ничего такого, из-за чего стоило бы громко разговаривать.

Во время обычных в нашем дворе коммунальных баталий с соседями она своего голоса почти не повышала, что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, недослышав ее последние слова, они теряли путеводную нить скандала и сбивались с темпа.

Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я заболел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал никакой благодарности за спасенную жизнь, но из почти-тельности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив.

По вечерам она часто сидела у нас дома и рассказывала историю своей жизни, главным образом о первом своем муже, убитом в Гражданскую войну. Рассказ этот я слышал много раз и все-таки замирал от ужаса, когда она доходила до того места, когда среди трупов убитых ищет и находит тело своего любимого. Здесь она обычно начинала плакать, и вместе с нею плакали моя мама и старшая сестра. Они принимались ее успокаивать, усаживали пить чай или подавали воды.

Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и даже освеженно болтать о всяких пустяках. Потом она уходила, потому что должен был вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура.

Мне очень нравился дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках, даже сутулость его. Это была не конторская, а ладная сутулость, которая бывает у старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим.

Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил: настольные лампы, электрические утюги, радио-приемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно.

Тетя Соня сидела по другую сторону стола, курила и подтрунивала над ним в том смысле, что он берется не за свое дело, ничего не получится и тому подобное.

— А посмотрим, как это не получится, — говаривал дядя Шура сквозь зубы, потому что у него во рту была папироса. Он легко и уверенно повертывал в руках очередную починку, на ходу сдувая с нее пыль, и вдруг заглядывал на нее с какого-то совсем неожиданного бока.

— А вот так вот и не получится, осямишься, — отвечала тетя Соня и, пуская изо рта надменную струю дыма, угрюмо запахивалась в халат.

В конце концов ему удавалось завести часы или в приемнике возникали трески, обрывки музыки, а он подмигивал мне и говорил:

— Ну что? Получилось у нас или нет?

Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чем, но ценю то, что он берет меня в свою компанию.

— Ладно, ладно, расхвастался, — говорила тетя Соня, — убирай со стола, будем чай пить.

Все же в голосе ее я улавливал тайную, глубоко скрытую гордость, и мне приятно было за дядю Шуру, и я думал, что он, наверно, не хуже того героя Гражданской войны, которого никак не может забыть тетя Соня.

Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла моя сестра, и они оставили ее пить чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке, и я с трудом ее проглотил.

— Вот видишь, — сказал дядя Шура. — Эх ты, монах!

Что я мог сказать? Она ела свой бутерброд с какой-то бессовестной деликатностью, поглядывая на меня бессмысленными глазами. Она делала вид, что ест официально, только из уважения к хозяевам. Своим бессмысленным взглядом она старалась мне внушить, что это не всерьез и вообще не считается.

«Нет, считается!» — со злобным торжеством думал я, глядя, как бутерброд в ее руке мучительно уменьшается.

Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного гяурским лакомством, и по тому, как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Неровно нарезанные ломти сала были тоньше с того края, где она откусывала. Вернейший признак того, что она получала удовольствие, потому что все нормальные дети, когда едят, оставляют напоследок лучший кусок. Одним словом, все было ясно.

Теперь она подбиралась к краю бутерброда с самым толстым куском сала, планомерно усиливая блаженство. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. Рассказ ее имел двоякую цель: во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом польстить мне, так как всем было известно, что на меня жаловаться учительница не приходила и тем более у меня не было причин бегать от нее в окно.

Рассказывая, она поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за ней или, увлеченный ее рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращивала глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару.

В какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило: сестра поперхнулась. Она начала осторожно откашливаться. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Шура похлопал ее по спине, она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло, а неловкость ее была не такой уж значительной. Но я чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте... Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд.

«Жуй, жуй, — думал я, — посмотрим, как ты его проглотишь».

Но, верно, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок, по-видимому, она даже затолкала им тот, предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела. Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык.

Она дошла до края бутерброда с самым толстым куском сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила не прикрытый салом краешек хлеба. Таким образом, она усиливала впечатление от последнего куска.

И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось.

Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили.

Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. До этого я отказался от печенья, чтобы страдать до конца и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности.

Словом, настроение было испорчено, и я, как только выпил чай, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен.

— Мне надо уроки делать, — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями.

Особенно просила сестра. Она была уверена, что дома я первым делом наябедничаю, к тому же она боялась одна ночью переходить двор.

Придя домой, я быстро разделся и лег. Я был погружен в завистливое и сладостное созерцание отступничества сестры. Станные видения проносились у меня в голове. Вот я красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем.

Офицеры удивляются, качают головой: что за мальчик? А я сам себе удивляюсь — но не ем, и все. Убивать убивайте, а съесть не заставите.

Но вот скрипнула дверь, в комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне.

— Лег спать, — сказала мама, — что-то он скучный пришел. Ничего не случилось?

— Ничего, — ответила она и подошла к моей постели.

Я боялся, что она сейчас начнет уговаривать меня и все такое прочее. О прощении не могло быть и речи, но мне не хотелось мельчить состояние, в котором я находился. Поэтому я сделал вид, что сплю. Она постояла немного, а потом тихонько погладила меня по голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю предательскую руку. Она еще немного постояла и отошла. Мне показалось, что она чувствует раскаяние и теперь не знает, как искупить свою вину.

Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полушепотом рассказывала маме, и они то и дело начинали смеяться, стараясь при этом не шуметь, якобы заботясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться.

На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидались его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным.

До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я почувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачить.

Она то бледнела, то вспыхивала. Порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп.

— Ну, конечно, — сказал я, — она вчера так наелась у дяди Шуры...

— А что ты ела? — спросил брат, как всегда, ничего не понимая.

Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковичку. Вареный лук — это кошмар детства, мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня.

— Она любит лук, — сказал я. — Правда, ты любишь лук? — ласково спросил я у сестры.

Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой.

— Если ты любишь, возьми и мой, — сказал брат и, поймав ложкой лук из своего супа, стал перекладывать в ее тарелку.

Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и трусливо повернула обратно.

Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пяточками огурца из салата и стал есть, деликатно покусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину ее позорного падения. Сестра поглядывала на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался.

Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разрумянились, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не высказывать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел было произвести небольшую экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей.

Надо сказать, что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые продукты. А это были лучшие глянцевого тетради с четкими красными полями, с тяжелыми прохладными листиками, голубоватыми, как молоко.

Тетрадей было всего девять штук, и отец раздал их нам поровну, каждому по три. Я почувствовал, что настроение у меня начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью.

Дело в том, что я хорошо учился, иногда бывал даже отличником. Среди родственников и знакомых меня выдавали даже за круглого отличника, может быть, для того, чтобы уравновесить впечатление от нездоровой славы брата.

В школе он считался одним из самых буйных лоботрясов. Способность оценивать свои поступки, как сказал его учитель, у него резко отставала от темперамента. Я представлял себе его темперамент в виде маленького хулиганистого чертика, который все время бежит впереди, а брат никак не может его догнать. Может быть, чтобы догнать его, он с четвертого класса мечтал стать шофером. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением:

«Директору транспортной конторы.

Прошу принять меня на работу во вверенную Вам организацию, так как я являюсь шофером третьего класса».

Впоследствии ему удалось осуществить эту пламенную мечту. Вверенная организация дала ему машину. Но оказалось, чтобы догнать свой темперамент, ему придется мчаться с недозволенной скоростью, и в конце концов ему пришлось менять свою профессию.

И вот меня, почти отличника, приравнивали к брату, который, начиная с последней страницы, будет заполнять эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями. Или с сестрой, которая вчера уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок.

Я отодвинул от себя тетради и сидел насупившись, чувствуя, как тяжелые, а главное, унижительные слезы обиды перехватывают горло. Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную реку. Но ничего не

помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что несправедливо обойден.

— А у меня две промокашки! — неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих тетрадей.

Это было последней соломинкой. Может быть, не окажись у нее этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось.

Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу:

— Она вчера ела сало...

В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. То ли неясно выразился, то ли слишком близко оказались великие предначертания Магомета и маленькое желание овладеть чужими тетрадями.

Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухших век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону.

— Она вчера ела сало у дяди Шуры, — сказал я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается.

В следующее мгновение отец схватил меня за уши, потряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей.

— Сукин сын! — крикнул отец. — Еще предателей мне в доме не хватало!

Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею.

Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу.

Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на уши, восторженно орал:

— Наш отличник!

Я очень любил отца, и он впервые меня наказал. С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свини-



ну, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами она ни прикрывалась.





## Путь из варяг в греки

### Поговорим о вине.

Поговорим о сильных и слабых свойствах этого напитка, ибо его сила состоит в том, что он порой и слабого может сделать сильным, а его слабость как раз в том, что он и сильного может обессилить.

Поговорим о вине. Будем доверчивы и раскованны так, как будто мы в Абхазии сидим на веранде крестьянского дома, пьем по второму стакану «Изабеллы» и закусываем жареной кукурузой и грецкими орехами. Благородная легкость и походная сухость закуски еще лучше оттенят орошающий смысл виноградной влаги и придадут нашему застолью уют военного бивуака, тем более приятного, что он не омрачен предстоящими сражениями. И пусть, прежде чем делать окончательные выводы, каждый вспомнит какую-нибудь поучительную историю, связанную с этим напитком, я же буду рассказывать о том, что было со мной.

У меня очень ранние воспоминания о вине. Не скрою — в нашем доме любили выпить, умели выпить и, просто говоря, пили. Среди многочисленных шумных мужчин нашего дома только двое не пили — это я и мой сумасшедший дядя. Нелюбовь моего дяди к спиртным напиткам была предметом постоянных веселых обсуждений со стороны гостей нашего дома. Тема эта с неизменным гостеприимством поддерживалась хозяевами и ни разу на моей памяти не подвергалась ограничениям из семейных или педагогических соображений.

Иногда, пользуясь детской привязанностью моего дядюшки к лимонаду, как бы пародируя недалекое феодальное прошлое нашего края, гости пытались путем всякого рода подмешивания подсунуть ему алкоголь. Но он быстро угадывал обман, и эти проделки нередко кара-

лись им сурово и, я бы сказал, со старообрядческой простотой.

В конце концов, гости приходили к выводу, что его не-любовь к спиртным напиткам, а также и к носителям спиртного духа, то есть к пьяным, есть концентрированное выражение его ненормального состояния, особого рода парадокса внутри парадокса его безумия, обернувшего более естественную в его состоянии водобоязнь на темный страх перед ни в чем не повинными веселительными напитками.

Сейчас, думая о причине крайнего недовольства дя-дюшки при виде пьяных, и в особенности при их попыт-ках объяснить с ним, я прихожу к выводу, что его раз-дражали эти чересчур эстрадные имитации безумия, эти коммунальные прогулки в глубины подсознания. Так, ве-роятно, шахтера раздражают профсоюзные экскурсан-ты, топчущиеся в забое и даже как бы пробующие кай-лить уголь.

Примерно лет с девяти гости стали удивленно пригля-дываться ко мне. Ход их мысли, который я угадывал в не-доуменном пожатии плеч, в вопросительно приподня-тых бровях, в странном переглядывании, был примерно таков: сумасшедший он, конечно, сумасшедший, с него, как говорится, и взятки гладки, но этот-то почему торчит между нами и ничего не пьет? Не стоит ли приглядеться к нему, нет ли тут проявления дурной наследственности?

Все началось с того, что один из постоянных наших гостей, которого я называл Красным Дядей по причине его апоплексического цвета лица, как-то предложил мне выпить рюмку вина. Помнится, кто-то из женщин возра-зил. Тогда он стал с пьяной настойчивостью спорить. В конце концов, чтобы успокоить его, я вынужден был ска-зать, что вообще никогда не пью, потому что мне от это-го неприятно.

Возможно, этими словами я, смутно угадывая, выра-жал тоску женщин по новому, стойкому типу непьющего мужчины, который тогда уже пытались выработать, но, к сожалению, до сих пор еще не выработали, во всяком случае недоработали, хотя опыты продолжаются. Види-мо, и Красный Дядя почувствовал в моих словах отголос-ки морали, которую ему навязали, или какой-то иной си-

стемы отсчета человеческих добродетелей, которая унижала его систему. Во всяком случае, он как-то глупо и упрямо обиделся.

Во время очередного застолья он снова вспомнил наш разговор и теперь попытался доискаться до глубинной причины моей трезвенности. Забавно, что он об этом вспомнил не сразу, а после некоторого возлияния, когда, вероятно, уровень выпитого поднялся до той зарубки, с которой он в тот раз стал приставать ко мне.

— Нет, ты мне скажи, — говорил он, — тебе неприятно до того, как ты пьешь, или после?

— Мне всегда неприятно, потому что я никогда не пью, — отвечал я ему с пионерской отчетливостью.

Одним словом, эта моя мнимая особенность стала предметом разговоров, обычно предваряющих славу. Постепенно я вошел во вкус и стал разыгрывать из себя мальчика, у которого организм обладает добродетельной странностью отталкивать алкогольные напитки.

Интересно, что, как только я утвердился в этой роли и все поверили, что у меня в самом деле такое забавное свойство организма, я почувствовал в себе жгучую, раздраженно нарастающую страсть к алкоголю. Я вспоминаю себя в кухне, когда гости уже вышли, а наши еще провожают их со двора, в страшной спешке допивающего из бутылок последние капли. То же самое я делал, когда посылали меня за вином, со свежими, только что приконченными бутылками.

К моему счастью, пили в основном вино, а гость по своему характеру был таков, что, пока есть что пить, никуда не уходил. Сейчас, вспоминая ощущение, которое я испытывал, когда допивал эти жалкие капли из бутылок и стаканов, я чувствую, что это было истинное состояние алкоголика. Я чувствовал, что те места на языке и горле, которые удавалось увлажнить винной влагой, приходили в состояние физиологического оживления и еще больше увеличивали жажду, как бы давая местные образцы ее утоления.

Сейчас в это трудно поверить, но лет с десяти до четырнадцати я был теоретическим алкоголиком, испытывая пламенное желание напиться и ни разу не удовлетворив его. Думаю, что все это кончилось бы плохо, если б не

один счастливый случай, который вывел меня из этого опасного состояния.

Как-то зимой я жил в горах у своего дяди, о котором я уже неоднократно писал и намерен писать еще. И вот однажды он поручил мне принести к ужину чайник вина. Надо было набрать его из кувшина, зарытого в землю недалеко от дядиного дома на старой усадьбе, где жил когда-то его брат.

Вечерет. Какой-то предвесенний, еще голубоватый от снега день. Кое-где проталины, а в воздухе привкус праздника, предчувствие тайны обновления, и я с позвякивающим чайником в одной руке и черпаком в другой иду за вином. Черпак этот представляет собой длинную ручку, насаженную на легкую окостеневшую кубышку из выпотрошенной и высушенной особого рода тыквы.

Но куда я иду? Я иду на свидание с вином, которое в самых воспаленных мечтах умещалось в лимонадную бутылку. А тут тебе целый кувшин и черпак, похожий на черепок карлика, хранителяклада.

В сущности, кто я такой? Я маленький египетский звездочет, тайно мечтавший о рябой дочери феллаха, похожей на печальную верблюдицу, и внезапно получивший любовную записку от Клеопатры с просьбой, близкой к приказу явиться ровно в полночь. О, зачем? Может, верблюдица лучше?

Но вот я на месте. Вспоминаю, что здесь когда-то стоял сарай. А вот и камень, придавивший сверху кувшин. Я не спешу, как человек, боящийся спугнуть счастье. Может, все это сон? Не лучше ли сделать вид, что просто так пришел поглазеть на знакомые места? Если все исчезнет, можно сказать себе, что ты и не ожидал ничего такого... А вот и сливовое дерево. Длинные, голые ветки — а какие на них бывали летом толстые, в голубоватой пыльце плоды! Проведешь пальцем, а под пылью глянцевиная темень кожуры, совсем как чернильница, случайно забытая и нашаренная в парте после каникул.

Я ставлю свой чайник на снег, кладу рядом черпак и берусь обеими руками за камень. Он холодный и скользкий, и я, с трудом приподняв, осторожно ставлю его в сторону. Под камнем слой папоротника, который я отди-

раю от доски и цельным комом, как его спрессовал камень, стараясь не растрясти, кладу в сторону.

Я уже веду себя по-хозяйски. Никакого насилия. Я облюбовываю этот божественный водопад и берегу место для новых встреч. Остается снять доску, прикрывающую кувшин, и я ее снимаю.

Черная, круглая дыра пахнула на меня ароматом переспелого винограда и тайны. Я заметил, что вокруг кувшина нет снега, словно вино излучало жар летнего винограда. Я взял в руки черпак, нагнулся и, чувствуя одним коленом холодную сырость земли, сунул его в отверстие.

Видно, из кувшина уже много раз брали вино, потому что я не мог дотянуться до него. Тогда я нагнулся еще сильнее, по локоть сунул в кувшин руку с черпаком и наконец почувствовал трепещущую, плотную поверхность вина. Оно отталкивало легкий шар черпака, сопротивлялось, и я с каким-то странным удовольствием пересилил сопротивление жидкости и услышал, как, чмокнув, черпак захлебнулся в вине.

Я осторожно вытянул его, придержал левой рукой и перехватил правой у самой кубышки мокрую и красную, как голубиная лапа, ручку. Внутри черпака мерцало что-то темное, покрытое местами светлой плесенью, что как-то подтверждало подлинность мерцающей драгоценности. Я посмотрел по сторонам, дунул в черпак, раздувая плесень, и притронулся губами к его шершавому пористому краю. Я почувствовал ненавязчивый аромат виноградного сока и какой-то растительный, ветхий запах посуды.

Колочая ледяная жидкость полилась в меня. Почти не прерываясь, я выдул весь черпак, чувствуя, как в горле и дальше внутри меня твердеет серебристая полоса онемения. Оторвавшись от черпака, я увидел сквозь голые сухие ветки сливы зелено-серебристый диск луны и почему-то подумал, что если надкусить его краешек, то во рту и в горле будет такое же серебристое онемение, как от вина.

Я уселся на сухой, слежавшийся ком папоротника, так что горлышко кувшина оказалось у меня между ног наподобие солдатского котелка. Я стал наполнять чайник. Иногда я почему-то, не долив из черпака в чайник,

сам допивал, а иногда, вытащив полный черпак, делал несколько пробных глотков, а остальное доливал в чайник. Наполнив чайник, я несколько раз просто так доставал вино из кувшина и снова выливал его в кувшин, глядя на изгиб тяжелой струи в лунном свете и слушая сырой гул падающего вина, похожий на гул, который бывает в ущельях.

Как и всякий человек, получивший над чем-нибудь власть, я первым делом стал проверять степень ее полноты и наслаждался, убеждаясь в ее истинности.

Но вот я встал, прикрыл доской отверстие кувшина, положил на доску папоротниковую прокладку, приподнял камень и поставил его на место. Мне показалось, что он значительно полегчал.

Я поднял чайник и почувствовал, что он переполнен, потому что из носика выплеснулась струйка. Чтобы вино даром не терялось, я поднес чайник ко рту и вытянул из носика хороший ледяной глоток. Потом я поднял черпак и в последний раз посмотрел на камень с клочками папоротника, торчащими из-под него, и вдруг мне почему-то стало жалко оставлять здесь кувшин, придавленный холодным скользким камнем, и я неожиданно вспомнил строки давно любимого стихотворения:

Лежит на нем камень тяжелый,  
Чтоб встать он из гроба не смог.

Мне стало до того жалко императора Наполеона, что хоть ревмя реви. Мало того, думал я, ковыляя домой, что он вынужден вставать из гроба и искать любимого сына — а где его теперь найдешь? — так они еще камень положили ему на могилу. Он-то, мертвый, об этом не знает, потому что ему снизу не видно, он думает, что просто сам он слишком слаб в своей могиле.

Эх, если б он знал, думаю я. Меня угнетает вероломство врагов императора. Конечно, думаю я, было бы глупо искусственно поднимать его из гроба, напяливать на него мундир и заставлять приветствовать войска, но камнем давить на мертвеца — тоже подлое занятие. Как же быть? Очень просто, решаю я, надо оставить его в покое. И если он может подняться из гроба сам, пусть подыма-

ется. Только не надо ему ни помогать, ни мешать. Все должно быть честно.

Постепенно я на этом успокоился и обратил внимание на то, что снег под ногами похрустывает, а когда я шел за вином, этого не было. Я понял, что подморозило, и в то же время никак не мог сообразить, почему ж мне так тепло.

Время от времени я поглядывал на чайник, потому что боялся, как бы из носика не выплеснулось вино. Но вино не выплескивалось, и это стало меня беспокоить. Я немного тряхнул чайник и, когда струйка вылилась на снег, отпил несколько хороших глотков и пошел дальше. По дороге я еще несколько раз повторил эти контрольные встряски, каждый раз отпивая излишек. Казалось, я готовлю чайник с вином к долгому верховому путешествию по горным дорогам.

Когда я вошел в кухню, тетка приняла у меня чайник, глубоко заглянула мне в глаза и вдруг улыбнулась.

— Немножко есть? — спросила она понимающе.

— Есть! Есть! — ответил я почему-то восторженно.

— Если хочешь, полежи, — посоветовала она и показала на кушетку.

Я в самом деле лег, но не на кушетку, а на длинную скамью, стоявшую у очага. Сквозь закрытые глаза я чувствовал лицом пылание огня и даже как бы видел кожей то сильней, то слабей полыхавшие струи. Потом я вдруг почувствовал, как все стронулось с места и поплыло, как бывает, когда долго смотришь на текучую воду. Я открыл глаза, и снова все поплыло. Потом опять закрыл, и снова все остановилось. Тогда я вообразил, что в случае чего я всегда успею открыть глаза, и, успокоившись, отдался течению.

С какой-то обостренной нежностью я теперь слышал каждый звук, раздававшийся в кухне и на веранде. В каждом звуке я угадывал его истинный, больший, чем он означает, смысл. И каждый раз он звучал так, словно я его давно ожидал. Так в детстве в закрытой комнате, бывало, ожидал шаги матери, когда она возвращалась с базара. И теперь я радовался узнаванию этих звуков, как тогда — узнаванию материнских шагов.

Вот тетушкины пальцы зашлепали по ситу, вот звякнули в шкафу тарелки, вот мамалыжная лопатка в чугун-



ке заходила — и все эти звуки, я чувствую, означают не только приближение ужина, а что-то большее, может быть, уют домашнего очага, древнюю песню вечернего сбора.

А потом я слышу, как хозяйские дети, брат и сестра, моют ноги в тазу. И это опять означает что-то большее, чем боязнь испачкать постель, может быть, означает извечное возвращение детей под родительский кров... А потом я слышу, как они возятся на кушетке, дерутся, и я чувствую в самой этой щенячьей возне какую-то необходимость, тайный уют, словно это им так нужно — рвануться в разные стороны, чтобы больней и слаще почувствовать потом общую привязь родства.

И каждый раз, угадывая за каждым звуком его истинный смысл, я чувствую в груди вспышку благодарности, которая, оказывается, вызывает у меня смех. Но я его не замечаю, я узнаю о нем по восклицаниям детей или тетушки, которая то и дело входит и выходит.

— Мама, он опять смеялся! — кричат дети.

— Ну и пусть смеялся, — отвечает она мимоходом.

— Нам страшно! — кричат дети, но я понимаю, что им не страшно, но приятно делать вид, что страшно, чтобы потереться о материнские крылья, напомнить себе и ей, что им еще под этими крыльями тепло и безопасно.

А потом входит дядя, и дети восторженно бросаются ему объяснять, что я напился, и я слышу его добрую усмешку, слышу, как тетушка поливает ему воду и рассказывает обо мне. И я чувствую какое-то странное удовольствие от того, что при мне говорят обо мне, думая, что я не слышу, не понимаю, как бы наполовину не существую.

...Не это ли божественное любопытство совести заставляет людей при жизни поступать так, словно потом из могилы им дано с улыбкой прислушиваться к тому, что о них говорят живые?

А потом меня поднимают ужинать, и мы сидим ужинаем, а дети любуются моей странностью, а я стараюсь угодить их потребности в странном, а это так просто, легко: стоит мне потянуться за стаканом — как они заливаются смехом, потому что движения мои потеряли привычку.

А потом я себя вспоминал ночью. Я выхожу на морозный воздух, я стою под белой, как зеркало, луной, на бе-

лом снегу. Ко мне подбегает наша собака, фантастически черная на белом снегу. Она искрится чернотой, бьет хвостом, а от нее веет бесовской силой и радостью одинокой души живой душе. Но каждый раз, когда я нагибаюсь ее погладить, она отскакивает, испуганная неточностью моих движений.

На следующее утро я перестал быть алкоголиком.

Страсть, порожденная собственным запретом, была утолена. Теперь я пил вино, как и все деревенские дети в наших краях. Сколько дадут, столько и пил, а если не давали, я, как и они, не вспоминал о нем. Но то первое опьянение осталось в памяти как чудесный сон. Вспоминая его, я каждый раз с нежностью думаю о дяде, о тетушке, о братце и сестричке. Я до сих пор вижу их в том золотистом освещении, и это помогает мне сохранить теплоту своей давней к ним привязанности.

Так, может быть, случайно, мне тогда открылся великий объединяющий смысл вина, и другого смысла, достаточно высокого, я в нем не нахожу.

Однажды зимним вечером, подымаясь по Садовому кольцу, я увидел пьяного человека, лежавшего на тротуаре. Он лежал, распластавшись на животе, в позе, достойной лучших традиций МХАТа, ибо нет предела артистичности россиянина. Красной от мороза пятерней вытянутой руки он сжимал голый ствол дерева. Другая рука в перчатке лежала рядом на снегу, красиво не дотянувшись.

Вниз по Садовому кольцу время от времени задувал ледяной ветер, сдувая с тротуара небольшие вихри снежной пыли, и подгонял редких прохожих. Пожалуй, замерзнет, подумал я и после некоторых колебаний подошел к нему. Я нагнулся и дернул его за плечо. Пьяный замычал и уютно втянул голову в барашковый воротник пальто.

Я взял его за барашковый воротник и изо всех сил потянул вверх. Судорожно перебирая пальцами по обледенелому стволу, он пытался удержаться, но я успел обхватить его второй рукой за туловище и поставил на ноги, продолжая придерживать. Осторожно отпустил.

Он стоял с закрытыми глазами, с плотно сомкнутыми губами, покачиваясь и поскрипывая зубами. Я плотнее

натянул ему на голову модную финскую или ту, которую у нас принято считать за финскую, кепку, потому что она еле держалась. После этого он открыл глаза, медленно трезвея, прислушиваясь к своему отрезвлению, но не спеша давать ему ту или иную оценку.

Это был человек лет пятидесяти, с набрякшими веками, большеглазый, с нежным румянцем на лице. Я давно заметил, что люди с такими векастыми глазами всегда держат наготове выпяченные губы. Сейчас у этого человека губы были плотно сжаты, и я ждал, когда он приведет их в соответствие со своими набрякшими веками.

В одежде его тоже чувствовался некоторый разнобой. Судя по финской кепке, можно было сказать, что человеку этому не чужды веяния моды, а следовательно, и модные веяния. Но это могучее пальто со светлым барашковым воротником, сейчас приподнятым и чем-то напоминающим гранитную воронку, кстати, сходство с гранитом подтверждалось кварцевыми кристалликами мороза, сверкавшими на нем, — так вот этот монументальный воротник заставлял усомниться в возможностях модных веяний.

Воронка воротника прочно держала внутри себя голову вместе с финской кепкой и всеми возможными веяниями.

А между тем человек постепенно приходил в себя. Казалось, после того, как я его поставил на ноги, алкоголь отхлынул от головы, стекает обратно в желудок. Тут я заметил, что вторая перчатка торчит у него из кармана пальто. Я вытащил ее с некоторым оттенком ханжеской брезгливости, с которой мы обычно лезем в чужие карманы. С трудом натянул ее на его одеревеневшую красную кисть. Он посмотрел на нее с хозяйским угрюмством, как на вещь, которую одалживали, а теперь вернули.

— Ну и что? — сказал он, словно убедившись, что вещь, пожалуй, не слишком пострадала, хотя и пользы от этого никому нет.

— Домой, домой, — направил я его мысль с односложностью ночного сторожа.

— А где дом? — спросил он, по-видимому, язвительно и довольно смело откинулся назад, наконец-таки выпя-

тив губу. Теперь ветер дул ему в спину, и он, отчасти опираясь спиной на ветер, покачивался на его порывах, как на качалке.

— Не знаю, — сказал я, обдумывая, как быть дальше.

— Э-э, — протянул он, как бы придавая моему незнанию универсальный смысл. Теперь он почти надменно покачивался на качалке ветра.

Я решил довести его до площади Маяковского, а там он или сам придет в себя, или милиция его заметит. Я взял его под руку, повернул, и мы пошли. Сначала он шел хорошо, только упорно молчал, время от времени скрежеща зубами. Но потом он стал тяжелеть, все безвольней повисал на моей руке, как будто алкоголь, взболтанный ходьбой, усилил свое воздействие. За все это время он только один раз попросил у меня закурить и больше не сказал ни слова. Когда ему хотелось курить, он останавливался и, оттопыривая нижнюю губу, показывал мне, что ждет сигарету.

Убедившись, что прикурить он на ветру никак не может, я закуривал сам и потом вставлял горящую сигарету в его оттопыренные губы, как в хобот. Это повторялось множество раз, потому что он быстро терял сигарету, вернее, ронял на барашковый воротник, и я старался следить, чтобы он не сжег свое руно. Чем ближе подходили мы к площади, тем трудней становилось его вести. Прохожие стали попадаться все чаще и чаще, и некоторые обращали на нас внимание, тем более что он иногда делал довольно неожиданные зигзаги, заставлявшие их шарахаться. Видимо, я устал и ослабил свой контроль над ним. В такие мгновения люди с упреком смотрели на меня, словно я его споил, а теперь потешаюсь над ним, злоупотребляя его невменяемостью. Как я ни старался придать своему лицу бодрое выражение сопровождающего, а не собутыльника, как я ни переглядывался с ними с выражением взаимной трезвости, не было мне ни прощения, ни сочувствия.

Уже совсем близко от площади после очень сильного порыва ветра мой спутник вдруг снял с себя кепку и бросил ее по ветру. Жест этот можно было понять как языческое жертвоприношение, если б не сопровождающие слова.

— А Катюше передай привет, — сказал он ей, вернее, даже как-то кинул через плечо в сторону летящей кепки, и трудно было понять, то ли он бредит, то ли иронизирует, прощаясь с кепкой, как серый волк с бабушкиным чепчиком.

Между тем, как только он раскрыл рот, сигарета выпала у него изо рта, и я вынужден был стряхнуть ее с воротника, прежде чем бежать за кепкой, которая с замысловатыми остановками катилась по тротуару. Я боялся, что она вылетит на улицу, прежде чем я успею ее догнать. Я ее быстро догнал, но она не сразу мне далась, а все вырывалась, как убегающая курица. В конце концов, чтобы поймать ее, я вынужден был на нее наступить.

Пока я бежал за кепкой, он ждал меня, все так же через плечо поглядывая в мою сторону без особого любопытства.

Слабый пушок светлых волос колыхался над большим пустырем его лба. Плотно, почти до самых глаз, я насадил кепку на его голову, вкладывая в это действие замаскированный укор.

— А сигарета? — спросил он обиженно, после того как я натянул на него кепку, словно его раздражала сама половинчатость реставрации: раз вернул кепку, чего уж там стесняться, давай и сигарету.

Я вынул сигарету, прикурил и, прежде чем дать ему, с удовольствием сделал несколько затяжек. Он ждал рассеянно, протягивая раскрытый рот, как ребенок навстречу ложке. Я вложил сигарету в эту темную губастую дыру.

Все это начинало мне надоедать, и когда мы двинулись дальше, я заметил в фасаде одного из домов углубление, нечто вроде ниши, защищенной от ветра. Я решил вставить его туда и уйти. Приняв решение, я стал медленно скашивать с таким расчетом, чтобы мы через некоторое время уперлись в нее. И вдруг этот человек, делавший до этого невероятные зигзаги, что-то почувствовал, забеспокоился. Он даже как-то попытался уклониться, сойти с намеченного мной курса, но было уже поздно. Я вставил его в нишу и, чувствуя некоторые угрызения совести, сталправлять у него на груди слегка выбившееся кашне.

— Куда? — спросил он, тоскливо трезвея.

— Мне надо идти, — ответил я, продолжая заправлять кашне.

— Выпьем? — предложил он.

— В другой раз, — ответил я после некоторой фальшивой паузы. Если бы не эта фальшивая пауза, может быть, он легче примирился бы с моим отказом. Но я, пытаясь смягчить свой отказ этой жалкой имитацией внутренней борьбы, только посеял ложные надежды. Он устремился в эту приоткрытую (хотя и на цепочке) дверь.

— Выпьем, деньги есть, — повторил он и вытащил из кармана пальто несколько мятых рублей. Он смотрел на меня с некоторым недоумением, словно, предлагая выпить, он имел в виду, что деньги эти ни для чего другого не пригодны и если сейчас же их не пропить, то завтра они все равно пропадут.

— Домой поедешь? — спросил я без особой надобности.

— Нет, — отрезал он и резким движением сунул деньги в карман.

Что-то мешало мне уйти просто так, и, чтобы что-то делать, я решил хотя бы загнуть его барашковый воротник, все еще торчавший торчком.

Только я дотронулся до него, как ладонь хозяина руна с молниеносностью электрического разряда ударила меня по лицу. От неожиданности или расслабленности из глаз у меня посыпались искры. Багровая волна ярости захлестнула мне голову — расколошматить к чертовой матери! И все-таки какой-то давний, привычный тормоз остановил меня, как останавливает он всех нас: бить пьяного, бить глупого, бить не ведающего, что творит?

— Ты что? — только и сказал я. Он смотрел на меня взглядом, исполненным трезвой враждебности.

— Ненавижу, — прошипел он, словно боясь, что я как-нибудь не так истолкую его удар.

Я повернулся и пошел. Мне надо было пересечь улицу, и, сходя с тротуара, я обернулся. Он все еще продолжал стоять в нише, слегка откинувшись к стене, в своей финской кепке и гранитно-барашковом воротнике. Оттопыренные губы его шевелились. И вдруг мне показалось, что это — чудовищное подобие выродившегося Командо-

ра, который только что сотворил месть, соответственно измелъчавшую, возвратился на свое место и, ворча на холод и новые времена, медленно превращается в статую.

Конечно, тогда мне было очень даже обидно. Но теперь, когда страсти улеглись (особенно, конечно, бушевал я), а мой подопечный, надо думать, протрезвел, я должен, как говорится на собраниях, сказать и о своих ошибках.

Если бы я его тащил, ругая и давая время от времени подзатыльники, может быть, это послужило бы некоторым не слишком прочным, но все-таки мостком от меня к нему. Я же своей нудной добродетельностью каждый раз бестактно обозначал между нами границу: я, мол, трезвый, а он, мол, пьяный, я, мол, подымаю, а он, мол, валится, и так далее.

Конечно, моей помощи не хватало живого чувства. Другое дело, где его взять, если его не испытываешь...

Кстати, эта псевдофинская кепка напомнила мне совсем другой случай.

Однажды ночью в ленинградской гостинице я прошел в бар и увидел несметное количество очень пьяных блондинов. Зрелище было страшное. Оказывается, огромное количество пьяных блондинов производит особенно жуткое впечатление. Казалось, что все эти люди не пьют, не заказывают напитки, не разговаривают, не танцуют, а копошатся. Фиолетовые финны копошились в мутном табачном воздухе бара.

Потом я узнал, что в Финляндии сухой закон, и стало ясно, что пьянка эта своего рода скандинавский бунт: против закона своей страны они выезжали протестовать в соседнюю страну.

Так что же я предлагаю? Не противопоставлять свободную пьянку сухому закону, а наметить дорогу от сухого закона к сухому вину, как путь из варяг в греки.

Кстати, того количества пьяных в баре хватило бы на все абхазские пирушки, которые я когда-либо видел. Конечно, дело здесь не в особой выносливости, а в том, что народы, производящие много вина, выработали моральные границы, которые не просто нарушить. И если во время питья терять контроль над собой считается

позором, то самообладание пьющих превращается в традицию.

И я говорю, что нам необходимо время от времени собираться на семейных торжествах, чтобы через одинаковый цвет нашего напитка вновь почувствовать наше кровное родство и вновь увидеть тех людей, от которых мы идем, и тех, что идут за нами, чтобы, прочнее осознав свое место во времени, почувствовать себя звеном, как сказал поэт.

Если мы встречаемся со старым школьным товарищем, с которым не виделись целую вечность, мы должны поднять стаканы с вином, как волшебные фонарики, выхватывающие наши лица из тьмы годов безжалостным и нежным светом.

И если мы в дружеской компании внезапно сдвигаем стаканы с победными, сияющими лицами, мне кажется, мы только что зачерпнули из собственных душ, — и вот смотрите, как полны стаканы, как наши души глубоки друг для друга! Не потому ли недоливший себе воспринимается как изменник?

И если мы с тобой на каком-то аэровокзале в нелетную погоду оказались за одним столиком и я предложил тебе распить бутылку вина, то это было не что иное, как приглашение раскрыть друг другу свои душевные богатства.

И вот, оказывается, мы прекрасно посидели и надолго запомнили эту встречу. Но может случиться, что мы снова встретимся при других обстоятельствах, когда, скажем, я буду недоволен своей работой и буду злословить или важно суетиться перед своим начальником, — ты все-таки не забывай, что видел меня и другим, что я на самом деле гораздо богаче и еще могу зазвенеть, потому что однажды цвел, раскрываясь тебе. Нам надо помнить о той встрече, потому что она поможет нам сохранить уважение к людям и наградит каждый наш день единственной достойной наградой — смыслом, потому что каждый день будет подготовкой к празднику нашей встречи.





## Козы и Шекспир

Я еще помню те времена,

когда в Чегеме куры не знали курятников и на ночь взлетали на деревья. Выбор дерева, по-видимому, определял главный петух, который стоял на взлетной полосе, пока все куры не взлетят. Разумеется, куры одного хозяйства всегда взлетали на одно дерево. Из чего никак не следует, что они неслись, сидя на ветках.

Я об этом говорю потому, что слухи о том, что чегемские куры несутся, сидя на ветках, а чегемские женщины терпеливо стоят под деревьями, растянув простыни, чтобы мягко поймать снесенные яйца, распространялись врагами Чегема, которых я устал называть.

Нет, куриные гнезда уже придумали, хотя куры чаще предпочитали нестись вблизи от дома в кустах, вероятно, заметив, что люди нередко используют яйца не по прямому назначению продолжения куриного рода, а для поддержания собственного рода. Кур это не вполне устраивало.

Так что хозяйка дома по вечерам разгребала окрестные кусты и собирала яйца в подол, как белые грибы. Хотя грибы у нас вообще не собирают. Да и зачем собирать грибы там, где можно собирать яйца. Любовь к грибам — следствие хронической бескормизы многих народов.

...В двенадцать лет я пас коз в Чегеме и читал Шекспира. Для начала это было неплохо. Я охватывал действительность с двух сторон.

К козам меня приставили не случайно. Мои родственники, с немалым преувеличением страшась, что я страдаю под бременем дармоедства, выдали на мое попечение коз.

Но случайно в доме моей двоюродной сестры, учившейся в городе, я нашел огромный том Шекспира. Целое

лето я его читал и перечитывал. Лето тоже было огромным, как том Шекспира.

— Книга перевешивает его, — насмешливо говорили чегемцы, увидев меня с этим томом.

Из этого не следовало, что они вообще против книги, а следовало, что все-таки надо соотносить вес книги с собственным весом. Привыкнув иметь дело с кладью на выючных животных, они чутко замечали всякое нарушение равновесия.

— Пока спускаешься к пастбищу, — остановив меня, доброжелательно поучали некоторые, — можно веревкой приторочить книгу к спине. Она будет оттягивать тебя назад. А то брякнешься носом на крутой тропе и скатишься вниз. С книгой-то ничего не будет, я за нее не боюсь. На ней вон какая шкура. А ты покалечишься и тем самым опозоришь нас. Скажут, недоглядели!

— Кто скажет? — по неопытности спрашивал я первое время, проявляя, с чегемской точки зрения, бестактность, которую нельзя свалить на ротозейство.

— Не притворяйся, что ты не знаешь врагов Чегема! Не такой уж ты маленький! — упрекали меня.

Изредка находились и неожиданные любители книг. Один из них, пощупав том Шекспира, предупредил:

— Видел, видел, как ты шастаешь по деревьям, оставив свою книгу без присмотра. Нехорошо. Козы-то ее не перегрызут, хотя обгадить могут. А буйволица, пожалуй, перегрызет.

Мои тогдашние худосочность и малорослость, видимо, способствовали тревоге чегемцев, что книга однажды окончательно перевесит меня и свалит с тропы. Но я на них несколько не обижался. Хотя я в те времена и не мечтал о писательском будущем, но почему-то знал, что все они мне когда-нибудь пригодятся.

Впрочем, я уже тогда глубоко задумывался над происхождением слов. Именно тогда я открыл происхождение (ненавижу кавычки!) слова — айва.

...В древности русская женщина и кавказский мужчина гуляли в наших дремучих лесах. Вдруг они увидели незнакомое дерево, усеянное незнакомыми могучими плодами.

— Ай! — воскликнула русская женщина.

— Ва! — удивился восточный мужчина.

Так неведомый плод получил название — айва. Что занесло русскую женщину в наши дремучие леса, съели они тогда айву в библейском смысле или нет, меня в те времена не интересовало.

Я читал Шекспира. Сэр Джон Фальстаф баронет и королевские шуты надолго и даже навсегда стали моими любимыми героями. Один шут сказал придворному, наградившему его монетой:

— Сударь, не будет двоедушием, если вы удвоите свое великодушие!

Мне эта фраза казалась пределом остроумия, доступного человеку. Я беспокоился только об одном: дойдет ли до моих школьных товарищей в городе эта шутка без всяких пояснений. Я уже знал, что пояснения снижают уровень юмора.

Я хохотал над шутками шутов и, подняв голову, смеялся над хитростями коз. Когда я с томом Шекспира в руках гнал их на пастбище и устраивался где-нибудь под кустом, они время от времени поглядывали на меня, чтобы угадать, достаточно ли я зачитался, чтобы двинуться на недалекое кукурузное поле. Никакая изгородь их не удерживала.

Иногда я им очень громко, возможно, пытаясь преодолеть их неопытность в общении с Шекспиром, зачитывал наиболее смешные монологи Фальстафа. Силой голоса я пытался заразить их своим восторгом.

Пастбище было под холмом, на вершине которого находился табачный сарай, где женщины низали табак. Мой голос доходил до них.

— Ша, — вскидывалась какая-нибудь из них, — это, кажется, кричит Тот, Кого Перевешивает Книга!

Иногда самая любопытная не выдерживала и, не поленившись выйти из сарая, кричала мне вниз:

— Эй, с кем это ты там перекикиваешься и хохочешь?!

— С козами! — кричал я в ответ, чтобы обрадовать их, ибо ничто так не воодушевляет людей, как если мы проявляем признаки неопасного слабоумия. Как мне потом передавали, мой ответ неизменно приводил женщин к долгим, аппетитным разговорам о странностях моего сумасшедшего дядюшки.

Тончайшая деликатность чегемок заключалась в том, что, аккуратно перебирая странности моего сумасшедшего дядюшки, они никогда не переходили на меня. Правда, говорили, что в этих описаниях иногда прорывалась неуместная, неактуальная горячность, ибо странности моего дядюшки были присущи ему от рождения до пожилого возраста, в котором он тогда пребывал.

Из сказанного никак не следует, что позже в жизни моего дядюшки наступила тихая, просветленная старость. Увы, это не так. Однако стремление к точности слишком преследует меня, словно я, пытаясь бежать от своего дядюшки, приближаюсь к нему с другой стороны земного шара.

Итак, я читал моим козам монологи Фальстафа. Многие козы подымали головы и слушали. Иногда даже фыркали, как мне казалось, в самых смешных местах, хотя не полностью исключается, что они фыркали по собственным козьим надобностям. Как видите, продолжаю следить за точностью происходящего.

Но, конечно, гораздо чаще, забывая все на свете, я зачитывался сам, а козы в это время перемахивали через изгородь и поедали кукурузные стебли вместе с листьями и зелеными стручками фасоли. В Чегеме фасоль часто сажают возле кукурузы, и она оплетает ее стебель. В Чегеме сажали столько фасоли, что подпорок не напащешь.

Очнувшись, я, бывало, бегу к стаду, грозно крича магическое слово, чтобы остановить потраву.

— Ийо! Ийо! — кричу я, что на козьем языке означает: прочь! назад!

Каждый раз, услышав мой голос, козы не только не приостанавливали потраву, но, пользуясь последними мгновениями, начинали гораздо быстрее, даже с оттенком раздражения, раздирать кукурузные стебли и принимались гораздо поспешней жевать. Видимо, первейший проблеск сознания: когда отгоняют от жратвы — быстрее жри!

Мало того. Некоторые из них, держа в зубах недогрызенные кукурузные стебли, восшумев листьями, перебрасывались через изгородь на пастбище и уже спокойно доедали их там, словно все дело было в территории.

Другие, опутанные плетями фасоли, перепрыгнув через изгородь, сами себя брезгливо объедали, якобы только для того, чтобы выпутаться из этих паразитических плетей.

Бригадир, откуда-нибудь с далекого поля услышав мой голос и поняв, в чем дело, посылал громкие проклятия, не теряя в крике извилистый сюжет проклятия, что больше всего меня поражало.

— Опять потрава?! — гремел он. — Чтобы ты наконец подломился под своей книгой! И чтобы я на костре из твоей книги поджарил самую жадную твою козу, и, клянусь прахом отца, огня хватит на эту козу! И чтобы я, съев козу, поджаренную на огне из твоей книги, успел прикурить от горящего пепла твоей книги! И успею, клянусь прахом отца, успею!

В самом деле успеет, с ужасом думал я и, отогнав коз, возвращался к тому Шекспира, не подозревающего, какая опасность над ним нависла.

Вместе с козами паслись три овечки. Они паслись, ни на секунду не подымая головы, словно поклявшись страшной клятвой: ни одной травинки в рот, прежде чем внюхаемся в нее! Так как они паслись не подымая головы, они иногда наталкивались на коз, и козы их отгоняли ударом рогов. Впрочем, козы отгоняли их ударом рогов и тогда, когда овцы и не наталкивались на них.

Они вообще презирали овец. Никаких причин презирать овец у них не было, кроме одной: овцы не могли, да и не пытались, одолеть изгородь кукурузного поля. Козы им этого не прощали.

Козы, в отличие от овец, паслись, часто подымая голову, чтобы оглядеть стадо или в глубокой полководческой задумчивости оценить окружающую местность. Для этого они не ленились взобраться на какую-нибудь близлежащую скалу и оттуда, пожевывая жвачку, озирались.

Видимо, им было свойственно стратегическое мышление. Впрочем, стратегическое мышление у них сочеталось с практическим. Увидев со своего возвышения козу, которая удачно подмяла куст лещины и поглощает сочные листья, они покидали свою скалу и быстрыми шагами, однако стараясь не терять лицо и не переходить на

побежку, спешили к ней, чтобы вместе полакомиться. Зависть помогала им держаться вместе.

Зато если какая-нибудь коза, увлекшись кустом ежевики, застревала в овражке, из которого уже поднялось стадо, незаметно для нее пасущееся невдалеке, она начинала паниковать, металась в разные стороны, истерически взблеивала, давая знать, что она попала в гибельные условия. По-видимому, травоядные не обладают соответствующим нюхом, чтобы найти своих по следам.

Что интересно, козы ей обычно не отвечали. Видимо, они наказывали ее: будешь знать, как отбиваться от стада. И только намучив ее как следует, какая-нибудь небрежно отзывалась.

Забавно, что при этом мог достаточно отчетливо слышаться колоколец на шее какой-нибудь козы из стада. Но мечущаяся в овражке коза, без риска можно сказать, не обладая достаточным музыкальным слухом, не доверяла этому звуку, потому что колокольцы разных размеров болтались на шеях и других животных — коров, буйволов, ослов.

Без отзыва коза терялась, нервничала все сильнее и сильнее, возможно, считая, что стадо именно сейчас вышло на райские луга. Стадо не отвечало, но если в это время находилась какая-нибудь другая заблудшая коза, она мигом откликалась на ее блеянье.

Каждая из них считала, что ей отвечает представитель стада, и они, переблеиваясь, искали встречи и окончательно запутывали меня.

В таких случаях направить козу в сторону стада не хватало никаких сил. Через любые колючки, любые чащобы она рвалась на голос другой козы. Все неистовей, уже с хрипотцой переблеиваясь, они стремились друг к другу.

В голосах коз было столько вселенского сиротства, что казалось, встретившись, они не смогут оторваться друг от друга. И вдруг — встреча после неслыханных блужданий! Мгновенное успокоение, и обе даже не смотрят друг на друга.

Та, которую я изо всех сил пытался повернуть к стаду, а она, вся в репьях и колючках, рвалась на голос козы, начинает деловито обглаживать куст сассапарилия, словно именно его она искала все это время.

Они паслись, не обращая внимания друг на друга. Каждая из них считала, что за спиной другой козы — все стадо. Тут-то наконец их обеих вместе можно было перегнать куда надо. Козы не выносят одиночества, но предпочитают стадо, создающее полноту равнодушия.

...Целыми днями я валялся на зеленой цветущей траве. Сверху невидимые жаворонки беспрерывно доказывали, что небо — первичный источник музыки.

Курчавые овцы паслись над курчавым клевером, отчего, вероятно, делались еще курчавей, по законам Дарвина.

Пчелы погружались в цветки с неуклюжим упорством водолазов.

Прыгающие пружины кузнечиков.

Застенчивые зигзаги бабочек над цветками.

Какое-то крупное, неведомое мне насекомое с жужжанием подлетало к цветку, но никогда на него не садилось. Каждый раз, когда оно, жужжа, стояло в воздухе над цветком, я терпеливо ждал, когда оно сядет на цветок, чтобы я его мог рассмотреть. Но оно, жалобно жужжа и с минуту стоя над цветком в воздухе, видимо, убеждалось, что этот цветок не содержит нужного нектара, и перелетало к другому цветку. И опять, жалобно жужжа, стояло над ним, но, словно убедившись, что и он неполноценен, перелетало к третьему.

Но я так и не увидел ни разу, чтобы оно село на какой-нибудь цветок. Привередливость его удивляла меня и вызывала сочувствие. Да еще это беспрерывное жалобное жужжание. Чем же оно кормится при такой капризности? Какой же цветок оно наконец выберет?

Однажды, ближе к вечеру, оно поблизости от меня опять с жалобным жужжанием повисло над очередным цветком. И вдруг в косых закатных лучах сверкнул, как длинная, тончайшая игла, хоботок, который оно всадило в сердце цветка, не садясь на него. Я вздрогнул от предчувствия далекого коварства, хотя, казалось, был достаточно подготовлен к нему некоторыми мрачными героями Шекспира.

...Вдоль пастбища высились вплоть до котловины Сабиды дикие фруктовые деревья — алыча, слива, яблони, груши, инжир, грецкий орех.

По мере созревания, а чаще значительно опережая его, я поедая фрукты и, поедая, сделал ботаническое открытие, о котором почему-то забыл известить мир. Но лучше поздно, чем никогда.

Я заметил такую закономерность: чем менее вкусны и питательны фрукты, тем плодоноснее фруктовое дерево.

Самой плодоносной была алыча. На ней плодов было больше, чем листьев. Но плод не очень вкусный — так, водянистая кислятина.

Слива гораздо вкусней, но плодов на ней гораздо меньше.

Дикие груши и яблоки вкуснее сливы, но плодов на них меньше, чем у сливы, конечно, учитывая достаточно большой размер дерева.

Инжир гораздо вкусней яблок и груш, но и гораздо менее плодоносен.

И наконец, самые вкусные и питательные — грецкие орехи, но, учитывая громадность дерева и количество плодов на единицу площади, плодов еще меньше.

Поглощая фрукты, я вывел великую закономерность природы, подсказанную аппетитом. Чем вкуснее плод, тем полезней вещество, из которого он состоит, но тем трудней корням добывать в земле редкие соки, питающие плоды. Поэтому чем вкуснее плоды, тем ниже плодоносность дерева.

Чем обильней плодоносит дерево, тем охотнее оно стряхивает с себя плоды. Поэтому под алычой всегда толпились свиньи, чавкая и громко дробя своими гяурскими зубами косточки алычи.

Свиньи, жуя алычу, приподнимали головы, с удовольствием прислушиваясь к собственному чавканью. Чувствовалось, что, чавкая, они получают от еды дополнительное удовольствие через звук. Когда многие свиньи перечавкивались, получалась симфония жратвы. Когда кончалась алыча, они переходили на другие, более вкусные фрукты, но чавканье не усиливалось, из чего можно сделать вывод, что они не улавливали разницы вкуса. Тут уже напрашиваются совсем не ботанические законы.

Вероятно, были еще какие-то другие открытия, но я о них сейчас не помню. Если потом вспомню — расскажу.



...Вечером, когда тетушка доила коз, нередко происходили недоразумения. В Чегеме (последний оплот гуманизма), когда доят коз или коров, всегда сначала подпускают детенышей к своим родительницам, чтобы они немного попили молока. И после доения оставляют молока детенышам.

Козлят выпускают по одному. Радостно бляя, козленок бежит к бляющему стаду, но часто не узнает свою мать и начинает сосать молоко совершенно посторонней козы. Самое удивительное, что опытная, уж во всяком случае по сравнению с козленком, коза тоже не узнает его и с рассеянной щедростью подставляет ему свое вымя.

Но тут спохватывается тетушка и за шиворот ведет козленка к вымени его собственной матери, чтобы дать козленку попить свое законное молоко, тем самым дать козе расслабиться и затем подоить ее.

К этому времени коза, у которой чужой козленок выпил часть молока, осознает свою ошибку, но почему-то затаивает обиду не на себя, а на тетушку, и уже когда выпускают ее козленка, довольно часто прячет молоко от тетушки, чтобы ее детенышу больше досталось.

Происходит сложнейшая психологическая борьба между хозяйкой и козой. Дав козленку немного отпить молока, хозяйка хворостинкой отгоняет его и начинает доить. В это время коза, по ошибке подпустившая чужого козленка к своему вымени, с преувеличенной нежностью вылизывает своего детеныша, словно пытаясь залить свою ошибку.

Однако, покаявшись всласть, она решительно прячет молоко, делая вид, что оно кончилось. Но хозяйка об этом знает. Все учтено: и то, что успел выпить чужой козленок, и то, что успел выпить свой.

Хозяйка снова подпускает козленка к законному вымени, и якобы кончившееся молоко снова исправно поступает, и козленок, причмокивая, дергает за сосцы. Через некоторое время тетушка мягко, очень мягко отодвигает козленка от вымени и начинает доить козу.

Проходит минут десять, и вдруг коза, туповато оглянувшись (интересно, о чем она думала все это время?), обнаруживает, что не козленок под выменем, а тетушка. Коза, спохватившись, снова прячет молоко. Тетушка

снова подпускает козленка к вымени, молоко снова подается, и так несколько раз.

Ради справедливости надо заметить, что некоторые козы, очень редкие козы, когда под ними чужой козленок, вероятно, почувствовав чуждый прикус сосца чужим козленком, сразу отгоняют его. Но такая чуткость явление исключительное.

Насколько я заметил, сам козленок не придает особенностям родных сосцов никакого значения: молоко отсасывается, ну и ладно! Кстати, человеческий младенец в этом отношении, по-моему, ничем не отличается от козленка.

Не подумайте, что последнее соображение я извлек из личных воспоминаний. Как это ни странно — я не помню себя грудным младенцем. А ведь это длилось довольно долго.

Но вот наконец козы, загнанные в загон, утомонились. Ночь. Тишина. Взбрыкнет колоколец сонной козы, и вновь тишина. Передохнем и мы.

Вот мои, кажется, самые ранние воспоминания. Года, вероятно, в четыре отец мне объяснил, что царя нет. Если были еще какие-нибудь подробности, я о них не помню.

Помню, что я поверил отцу, и мне стало невыносимо тоскливо. Я вышел на улицу и подумал: царя нет, значит, эта земля, по которой я хожу, никому не принадлежит, никто за нее не отвечает. Было жалко себя, но я отчетливо помню, что особенно было жалко землю без хозяина. Крестьянские гены матери, что ли, сработали?

Соседский мальчик подбежал ко мне, чтобы поиграть. Но какие тут могут быть игры!

— Царя нет, — сказал я ему, чтобы потрясти его распадом миропорядка. Но то, что я сказал, до него как-то не дошло.

— А где он? — спросил мальчик.

— Нет совсем, — сказал я, не оставляя ему никакой надежды. Но я опять почувствовал, что это его не тронуло.

Оскорбленный, я отошел от него, чтобы полноценно страдать одному. Видимо, это был кризис сказочного сознания. Разумеется, я уже что-то слышал о советской власти, но я, считал, что царь стоит надо всем этим.

...Однако не будем преувеличивать мою педантичную привязанность к Шекспиру. Иногда, бывало, я приходил пастушить без тома Шекспира. И я заметил, что козы при этом явно скучнели. В этих случаях они почти не пытались перелезть на кукурузное поле, потому что тут я всегда был начеку и вовремя отгонял их. За лето козы, привыкнув к моей бдительности вне чтения, начинали понимать, что кукурузные стебли им недоступны, если они не видят в моих руках тома Шекспира.

Когда же я утром с томом Шекспира в руках гнал коз из загона, они сразу веселели и приходили в игривое настроение. Игривость их доходила до того, что они насмешливо демонстрировали внесезонную случку. Козы пародировали однополую любовь, на ходу изящно громоздясь друг на друга, что отдаленно напоминало мне путаницу с переодеваниями у Шекспира, где мужчина рядился в женщину и наоборот.

Совершенно нелепо заподозрить тут склонность к извращениям, но вполне допустимо, что козы пытались встряхнуть, разгорячить степенно вышагивающих козлов. Можно предположить, что это была легкая форма забастовки соскучившегося от безработицы гарема. Но было похоже, что козлы угрюмо осуждают эти внесезонные любовные игры. Они молча отстаивали свое законное право на отдых.

Их можно было понять. Их было всего четыре, а коз около сорока. Козы при виде тома Шекспира явно взбадривались с далеко идущими целями. Было совершенно ясно, что козы хотят, чтобы я читал Шекспира. Дальнейшее они брали на себя. Козлы, конечно, тоже хотели, чтобы я читал Шекспира, но не такой дорогой ценой, на которую намекали козы. При этом должен заметить, что овцы были совершенно равнодушны к Шекспиру.

Между придворными интригами у Шекспира и хитростями коз я находил много общего, и это веселило меня и, как я сейчас думаю, подсознательно работало на оптимизацию моего мировоззрения.

Тогда же я понял: человек — это нечто среднее между козой и Шекспиром. Говорят, последние математические исследования на эту тему не только подтвердили, но даже усугубили мою догадку. Говорят, теперь установлено:

Шекспир, деленный на козу, дает человека в чистом виде. Без остатка.

Для проверки этого положения даю беглый набросок моей московской жизни. Когда я приехал сюда учиться, я в первые же дни был потрясен двумя, можно сказать, противоположными событиями.

Как-то, будучи в центре города, я подошел к милиционеру и спросил, как пройти на такую-то улицу.

Милиционер вдруг отдал мне честь, подняв руку в перчатке потрясающей белизны, и гостеприимно показал дорогу к нужной улице. Мне, мальчишке, отдают честь, да еще в такой белоснежной перчатке!

Я был потрясен этой доброжелательностью. Может быть, перчатка была из шерсти чегемских коз, думал я ликуя, но как он узнал, что я чегемец?

А через несколько дней я стал свидетелем совершенно непонятного мне и даже испугавшего меня зрелища. Я увидел, как милиционеры грубо и без всяких перчаток на большой проезжей улице сгоняют все машины на обочину.

А через минуту я увидел правительственные автомобили, мчавшиеся с такой панической скоростью, словно за ними гнались пулеметчики, словно они чудом выскочили из-под обстрела. Но никакой погони за ними не было, в чем я убедился воочию.

За годы пребывания в Москве я не раз наблюдал подобное зрелище и убедился, что это нормальная мания преследования, видимо, присущая всем правителям. Впервые я это увидел в сталинские времена. Потом времена менялись, но мания преследования оставалась.

На цветущих подмосковных полях я иногда встречал одиноких коз, которых обычно пасли одинокие старушки. Одна коза на одну старушку. По чегемским обычаям старушки, пасущие коз, — это все равно что старики, стирающие белье в корыте. Меня в первое время подмывало спросить у старушек: а куда делось стадо?

Но чегемская деликатность удерживала меня от этого чегемского вопроса.

Но что меня больше всего поражало — одинокая коза спокойно паслась, не проявляя никакого волнения по поводу отсутствия стада. И это было для меня дико. Сотря-

саясь от внутренних рыданий, я следил за козой и думал: до чего большевики довели коз, что они забыли о всяком родстве. Смирилась гордая коза, рыдай Россия!

За время долгой жизни в Москве я сделал немало открытий из писательской жизни. Из чего, конечно, не следует, что я теперь пас писателей. Скорее меня самого пасли и наказывали как заблудшую козу, уже злонамеренно избегающую стада.

Я надеюсь, что любовь к Фальстафу не стала фальстартом в моей писательской судьбе.

Вдохновение — счастье для писателя. Но ничего так не изнашивает человека, как счастье. Природа щадит нас, редко устаивая счастьем. Так что, люди, будьте счастливы тем, что счастье — редкий гость.

Читатель может спросить у меня: чем хороший писатель отличается от плохого?

Спешу ответить, даже если читатель меня об этом не спросит.

Вот как бездарный и талантливый писатели пишут об одном и том же.

Бездарный писатель пишет:

«Я зашел в ресторан и увидел своего приятеля (называет по имени), он, как всегда, сидел за столиком и, как всегда, пил водку».

Талантливый писатель пишет:

«Я зашел в ресторан и увидел своего приятеля (называет по имени), он, как всегда, сидел за столиком и, как всегда, пил водку, и я, как всегда, незамедлительно присоединился к нему».

Одна фраза все меняет. Самоирония делает картину более объемной и не оскорбительной для пьющего приятеля.

Вообще писатель, лишенный самоиронии, рано или поздно становится объектом иронии читателя, и именно в той степени, в какой он лишен самоиронии.

Итак, Шекспир, деленный на козу, дает человека. Я для смеха рассказал об этом одному милому ученому, мы с ним сдружились на любви к шекспировским шутам. Мы помогали друг другу жить тем, что жили, находя время для шуток. Однажды, будучи в мрачном настроении, я написал такие стихи.

Отяжелел, обрюзг, одряб,  
Душа не шевелится.  
И даже зрением ослаб,  
Не различаю лица  
Друзей, врагов, людей вообще,  
И болью отдает в плече  
Попытка жить и длиться.  
...Так морем выброшенный краб  
Стараньем перебитых лап  
В стихию моря тщится...  
Отяжелел, обрюзг, одряб,  
Душа не шевелится.

Через несколько дней он пришел ко мне, и я дал ему почитать эти стихи. К этому времени настроение у меня выровнялось. Беспрерывно куря, он странно долго читал стихи, а потом поднял голову и сказал:

— Если бы эти стихи я прочел в другом городе, я примчался бы к тебе на помощь.

Я смутился и замаял разговор. Тем более я знал, с каким безукоризненным мужеством он вел себя в труднейшие для него годы борьбы с космополитизмом. Шутник!

Мы нередко с ним спорили и просто говорили на отвлеченные темы. Чаще всего наши мнения совпадали, хотя иногда и расходились, но это никогда не влияло на нашу дружбу.

Вот некоторые формулировки, на которых мы сошлись:

Жестокость — попытка глупости преодолеть глупость действием.

Коварство — удар труса в темноте.

Анализ убивает всякое наслаждение, но продлевает наслаждение анализом.

После долгих споров мы установили строгую научную линию эволюционного развития человека: живоглот, горлохвват, горлоед, оглоед, шпагоглот, виноглот, куроглот, мудроглот, трухоглот, мухоглот (он же слухоглот), горлодер, горлопан, горлан и, наконец, полиглот.

Если здесь последует вздох облегчения, то, предупреждаю, он преждевременен, потому что развитие это циклично (чуть не сказал — цинично) и все повторяется

в том же порядке. Эволюционная лестница рушится, не выдержав бедного полиглота, и все опять начинается с живоглота.

Но в вопросе — может ли человек, принимающий людей за коз, пользоваться козым мясом, мы не сошлись. Я считал, что не может такой человек есть козье мясо. А он считал, что мой подход — выражение крайнего субъективного идеализма, или, грубо говоря, солипсизма.

Так вот, когда я ему со смехом (для перестраховки!) сказал, что современная наука установила, что Шекспир, деленный на козу, дает человека, он иронически приподнял брови и подхватил! Он умел подхватывать:

— Здравствуй! Этому открытию уже двадцать лет! Да же появилось доказательство от обратного — Шекспир, деленный на человека, дает козу.

— Почему же об этом не было слышно? — удивился я.

— Потому что это считалось государственной тайной, — отвечал он, — тайной национального мышления. Но когда американские разведчики выкрали у нас секрет нашего национального мышления, а наши разведчики выкрали у американцев секрет их национального мышления, обе тайны абсолютно совпали и стало возможно их рассекретить. Угроза войны отпала, демократия у нас расцвела, как огород для коз, и каждая страна перешла на подножный корм. Правда, у каждой страны свой подножный корм, но это другая тема.

Кстати, мой ученый друг был оставлен на необитаемом острове для проведения научных опытов в условиях полного одиночества. Через три года, как и договаривались, за ним приплыли соотечественники.

— Какое у вас самое сильное впечатление от трехлетнего одиночества? — спросили они у него.

— Совесть отдохнула, — неожиданно ответил он, но, смягчившись, добавил: — К тому же тут полно диких коз.

— В смысле — людей? — догадался кто-то, правильно проследив за направлением его смягчения.

— Да, в смысле — людей, но и в смысле свежего мяса, — пояснил он, возможно, заочно продолжая спорить со мной.

Соотечественники все-таки обиделись на него за себя и за человечество.

— Так, может, вас еще на три года оставить здесь? — язвительно спросил один из них.

— А вы думаете, человечество за три года исправится? — не менее язвительно ответил мой друг, подымаясь по трапу. — По-моему, со времен Шекспира оно не изменилось, но качество шуток сильно снизилось.

...Нет, шепчу я про себя, прогресс все-таки есть. Чегемские куры больше не взлетают на деревья, но покорно удаляются на ночь в курятник. А может, все-таки лучше бы взлетали? Боже, боже, как все сложно! Точно установлено, что на деревья взлетало гораздо больше кур, чем тех, что теперь укрываются в курятниках.

...Но где я? Где Чегем? А все-таки с козами было лучше.







## Антип уехал в Казантип

— Где Антип?

— Уехал в Казантип!

— Ну и тип!

— Кто? Антип?

— Да и ты хорош. Скажи честно, где Антип?

— Честно говорю — уехал в Казантип.

— Ну и тип! Он деньги у меня брал в долг. Мы же договорились с ним о встрече.

— Еще не вечер! Про должника намекну слегка: вернет или вильнет! Ты бы и мне одолжил рублей сто.

— Еще чего!

— Чтобы равновесило, как коромысло... Вижу, морда скисла. Зато я уговорю Антипа вернуть твой долг. Ты мне — Антип тебе. Обоим выгода, да и другого нет выхода!

— Я вижу, ты шутник!

— Пока не повесим за язык! Такие, как я, для народа — глоток кислорода. Время выпало из времени и волочится в темени. Наша демократия — для воров Аркадия. Обычай волчий — воруя молча. Эх, времечко, времечко! Один я, как попугай на семечки, зарабатываю языком... Лучше разбойная власть, чем власть разбойников. Таково мнение живых и покойников. До меня как до сельского поэта доходят голоса с того света.

— А что нового у вас здесь?

— Один сельский идиот уже который год, живя в городе, выдавал себя за городского сумасшедшего. Наконец власти его разоблачили, маленько подлечили и водворили его в места первоначального идиотизма. Кстати, не чуждые и властям. Он у нас. Мы рады гостям.

— А что он делает?

— Скрещивает фейхуа и помидоры. Или водит туристов в горы. А когда делать нечего, опять выдает себя за

городского сумасшедшего. При этом доказывает с толком, что село стало поселком. И потому он не сельский идиот, а совсем наоборот. У него такое мнение, что его изба — имение. Приватизированное. Но сам он горожанин, а иногда парижанин.

— Черт возьми! Кажется, в России сельский поэт мудрее всех. Тогда скажи мне, что такое коммунизм и что такое капитализм?

— Это просто, как морковь! Коммунизм — кровь. Капитализм — дерьмо. Кто при коммунизме нанюхался крови, тот с надеждой смотрит на капитализм и не слышит запаха дерьма. Нема! А кто при капитализме нанюхался дерьма, тот с надеждой смотрит на коммунизм и не слышит запаха крови. Нюхай на здоровье!

— Так что же, в конце концов, у нас?

— Запах — вырви глаз! Бастурма из крови и дерьма! Россия никак не научится сопрягать. А надо, ядрена мать, сопрягать свободу и закон. У нас закон: выйди вон! Свобода в башке — что кот в мешке! У нас как сопрягать, так и лягать!

— Хорош. Даю тебе деньги. Но постой! А кто уговорит тебя вернуть мой долг?

— Конечно, Антип.

— Кажется, я влип.. Да и на рифму потянуло...

— Почему же? Бывало похуже... Эй, Антип!!!

— Ты же сказал, что он уехал в Казантип.

— Мало ли что! Уехал — приехал! Эй, Антип!!!

— Где же твой Антип?

— Уехал в Казантип. Может, кому-нибудь для смеха в морду заехал. И подзалетел в милицию. Молодой — в башке кураж. А ты в милиции подмажь и приедешь с Антипом из Казантипа.

— Да на черта мне сдался твой Антип, чтобы переться за ним в Казантип!

— Вот тип! Сам же пристал: «Антип, Антип!» Может, Антип у Галки, а может, на рыбалке. Может, хочет тебе вернуть долг рыбой. Нынче бартер — главный бухгалтер!

— Нет уж, спасибо. А кто сказал, что Антип уехал в Казантип? А теперь Галка-рыбалка! Что за бред!

— Вот чудак! Антип же рыба! Хороша рыбка-казантипка...

— Что это еще за казантипка?

— Сразу видно — курортник-москвич, башка что кирпич! А у нас любая бабуля знает, что это барабуля. В Казантипе рыбалка и Галка. Он поехал Галку побачить, а потом порыбачить. Или наоборот. Сперва порыбачить, а потом побачить. Или одновременно — бачить Галку и рыбачить. Такой он стервец-удалец! Сложный человек Антип. Это же трудно — при такой молодке держать равновесие в лодке.

— Да при чем тут лодка, молодка!

— Как — при чем?! А ты думал — наш Антип уехал в Казантип, чтобы ловить с причала, как пенсионер — мочало?! Антип рыбачит только с лодки. А если поклевка хороша — сразу на четыре шнура!

— Как это так — на четыре шнура?

— Два шнура в руках — один в зубах. А четвертый намотан на большой палец правой ноги. Ох и мозги у Антипа, ох и мозги! Впрочем, не очень. Левой ногой не может ловить даже Антип.

— Почему?

— Не тот у пальца загиб. Шнур не держится. Но и с молодой непросто в лодке. Гребь, гребь, гребь — табаны! Леска запуталась — дело дрянь! Пока распутаеть леску, Галка прикроет занавеску. Пока распахнешь занавеску — течение запутает леску.

— Ничего не понимаю!

— Сложный человек Антип. Поезжай в Казантип. Там рыбалка, Галка и Антип. Говорю как на духу: как раз попадешь на уху! А уха у Антипа духовитая. А Галка у Антипа... ядовитая. Можно от Галки прикурить без зажигалки. А после пол-литра — чистая гидра! Только предупреждаю: шуры-муры не вздумай — стоп! А то сам не поймешь, как утоп. Или так искалечит, что никто не излечит. Ох и строг Антип!

— Ну и тип! Хорошо, что уехал в Казантип.

# Жил старик со своею старухой



В Чегеме у одной деревенской старушки

умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял ноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях. Но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолий мог выпить не меньше других, и если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали. И никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным, и трезвым он всегда был одинаково весел.

Но вот он умер. Его с почестями похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли и из других деревень. Такой он был приятный старик. И старушка его очень горевала.

На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее:

— Пришли, ради бога, мои костыли. Никак без них не могу добраться до рая.

Старушка проснулась и пожалела своего старика. Думает: к чему бы этот сон? Да и как я могу послать ему костыли?

На следующую ночь ей приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. Но как же ему послать костыли? — думала старушка, проснувшись. И никак не могла придумать. Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу у него самого, решила она.

Теперь он ей снился каждую ночь, и каждую ночь просил костыли, но старушка во сне терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь,

только завидела она своего старика и даже не дав ему раскрыть рот, спросила:

— Да как же тебе переслать костыли?

— Через человека, который первым умрет в нашей деревне, — ответил старик и, неловко попрыгав на одной ноге, присел на тропу, поглаживая свою культипку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне.

Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе.

— Тебе хорошо пить, — говаривал он ее старику, — сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли. А мне вино бьет в ноги.

Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот-вот умрет.

И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем, при встрече на том свете, он их ему передал.

Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику и попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук, как самый образованный в семье человек, окончивший десять классов. Этим случаем, конечно, воспользовалась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхохотавшись, невестка сказала:

— Это даже неудобно — живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб.

Но старушка уже все обдумала.

— Я же не буду его просить непременно сейчас умереть, — отвечала она. — Пусть умирает, когда придет его срок. Лишь бы согласился взять костыли.

Так отвечала эта разумная и довольно деликатная старушка. И хотя ее отговаривали, она в тот же день пришла в дом этого старика. Принесла хорошие гостинцы.

Отчасти как больному, отчасти чтобы умаслить и умирающего старика, и его семью перед своей неожиданной просьбой.

Старик лежал в горнице и, хотя был тяжело болен, все посасывал свою глиняную трубку. Они поговорили немного о жизни, а старушка все стеснялась обратиться к старику со своей просьбой. Тем более в горнице сидела его невестка и некоторые другие из близких. К тому же она была, оказывается, еще более деликатной старушкой, чем мы думали вначале. Но больной старик сам ей помог — он вспомнил ее мужа добрыми словами, а потом, вздохнув, добавил:

— Видно, и я скоро там буду и встречу с твоим стариком.

И тут старушка оживилась.

— К слову сказать, — начала она и рассказала ему про свой сон и про просьбу своего старика переслать ему костыли через односельчанина, который первым умрет. — Я тебя не тороплю, — добавила она, — но если что случится, разреши положить тебе в гроб костыли, чтобы мой старик доковылял до рая.

Этот умирающий с трубкой в зубах старик был остроязыким и даже гостеприимным человеком, но не до такой степени, чтобы брать к себе в гроб чужие костыли. Ему ужасно не хотелось брать к себе в гроб чужие костыли. Стыдился, что ли? Может, боялся, что люди из чужих сел, которые явятся на его похороны, заподозрят его мертвое тело в инвалидности? Но и прямо отказать было неудобно. Поэтому он стал с нею политиковать.

— Разве рай большевики не закрыли? — пытался он отделаться от нее с этой стороны.

Но старушка оказалась не только деликатной, но и находчивой. Очень уж она хотела с этим стариком отправить на тот свет костыли мужа.

— Нет, — сказала она уверенно, — большевики рай не закрыли, потому что Ленина задержали в Мавзолее. А остальным это не под силу.

Тогда старик решил отделаться от нее шуткой.

— Лучше ты мне в гроб положи бутылку хорошей чаи, — предложил он, — мы с твоим стариком там при встрече ее разопьем.

— Ты шутишь, — вздохнула старушка, — а он ждет и каждую ночь просит прислать костыли.

Старик понял, что от этой старушки трудно отделаться. Ему вообще было неохота умирать и еще более не хотелось брать с собой в гроб костыли.

— Да я ж его теперь не догоню, — сказал старик, подумав, — он уже месяц назад умер. Даже если меня по той же тропе отправят в рай, в чем я сомневаюсь. Есть грех...

— Знаю твой грех, — не согласилась старушка. — Моего старика с тем же грехом, как видишь, отправили в рай. А насчет того, что догнать, — не смейся людей. Мой старик на одной ноге далеко ускакать не мог. Если, скажем, завтра ты умрешь, хотя я тебя не тороплю, послезавтра догонишь. Никуда он от тебя не денется...

Старик призадумался. Но тут вмешалась в разговор его невестка, до сих пор молча слушавшая их.

— Если уж там что-то есть, — сказала она, поджав губы, — мы тебе в гроб положим мешок орехов. Бедный мой покойный брат так любил орехи...

Все невестки одинаковы, подумала старушка, вечно лезут поперек.

— Да вы, я вижу, из моего гроба хотите арбу сделать! — вскрикнул старик и добавил, обращаясь к старушке: — Приходи через неделю, я тебе дам окончательный ответ.

— А не будет поздно? — спросила старушка, видимо, преодолевая свою деликатность. — Хотя я тебя не тороплю.

— Не будет, — уверенно сказал старик и пыхнул трубкой.

С тем старушка и ушла. К вечеру она возвратилась домой. Войдя на кухню, она увидела совершенно неожиданное зрелище. Ее насмешник внук с перевязанной ногой и на костылях деда стоял посреди кухни.

— Что с тобой? — встрепелась старушка.

Оказывается, ее внук, когда она ушла к умирающему старику, залез на дерево посбивать грецкие орехи, неосторожно ступил на усохшую ветку, она под ним хрястнула, и он, слетев с дерева, сильно вывернул ногу.

— Костыли заняты, — сказал внук, — придется деду с месяц подождать.

Старушка любила своего старика, но и насмешника внука очень любила. И она решила, что внуку костыли

сейчас, пожалуй, нужней. Один месяц можно подождать, решила она, по дороге в рай погода не портится. Да и старик, которого она навещала, по ее наблюдениям, мог еще продержаться один месяц, а то и побольше. Вон как трубкой пыхает.

Но что всего удивительней — больше старик ее не являлся во сне с просьбой прислать ему костыли. Вообще не являлся. Скрылся куда-то. Видно, ждет, чтобы у внука нога поправилась, умилялась старушка по утрам, вспоминая свои сны. Но вот внук бросил костыли, а старик больше в ее сны не являлся. Видно, сам доковылял до рая, может быть, цепляясь за придорожные кусты, решила старушка, окончательно успокаиваясь.

А тот умиравший старик после ее посещения стал с необыкновенным и даже неприличным для старика проворством выздоравливать. Очень уж ему не хотелось брать в гроб чужие костыли. Обидно ему было: ни разу в жизни не хромал, а в гроб ложиться с костылями. Он и сейчас жив, хотя с тех пор прошло пять лет. Пасет себе своих коз в лесу, время от времени подрубая им ореховый молодняк, при этом даже не вынимая трубки изо рта.

Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Тюк топором! Пых трубкой! Смотрит дьявол издали на него и скрежещет зубами: взорвал бы этот мир, но ведь проклятуший старик со своей трубкой даже не оглянется на взрыв! Придется подождать, пока его козы не наедятся.

Вот мы и живы, пока старик — тюк топором! Пых трубкой! А козы никогда не насытятся.





## Ленин на «Амре»

**Ю**мор — последняя реальность оптимизма.

Так воспользуемся этой (чуть не сказал — печальной) реальностью.

Говорили, что в городе появился Ленин. Говорили, что он ездит на велосипеде и проповедует не слишком открыто, но и не слишком таясь грядущий в недалеком будущем переворот. Говорили, что чаще всего он это делает на «Амре», в верхнем ярусе ресторана под открытым небом, где многие люди, местные и приезжие, едят мороженое, пьют кофе, а иногда и чего-нибудь покрепче.

Сразу оговорюсь, что речь идет о морском ресторане «Амра», расположенном на старинной пристани в городе Мухусе. Если кто-нибудь имеет на примете какой-нибудь другой ресторан «Амра» в каком-нибудь другом городе, может быть, в чем-то созвучном моему Мухусу, пусть остерегается писать протесты. Мол, у нас на «Амре» подают не так, мол, у нашего кофевара совсем не такой нос, мол, автор все выдумал и архитектура не та. Так вот, еще раз предупреждаю: речь идет о моей «Амре» в моем Мухусе. Там все так, как описываю я, и нос у кофевара именно такой, каким его опишу я, если вообще опишу.

Так вот. Говорили, что в городе появился Ленин. Разумеется, речь шла о свихнувшемся человеке, который иногда выдает себя за Ленина, хотя иногда и не выдает. Говорили, что, когда он не выдает себя за Ленина, он выдает себя за величайшего знатока его жизни и может ответить на любой вопрос, касающийся ее.

Хотя он родился в Мухусе и его бедная мать до сих пор жива, он всю свою сознательную жизнь проработал в Москве. Он преподавал марксизм в одном из московских вузов и долгие годы писал книгу, где восстановил жизнь Ленина иногда не только по дням, но и по часам.

Он много раз делал отчаянные попытки издать ее. Сперва при Хрущеве, потом при Брежневе. Но властям ни при Хрущеве, ни при Брежневе столь густое жизнеописание Ленина не было нужно. И тут в конце концов, как теперь говорят, у него крыша поехала.

Как это ни странно, почти все, что люди о нем говорили, впоследствии оказалось правдой. Но кто знает тайны человеческой психики? Неизвестно, когда именно у него крыша поехала: тогда, когда его упорный тридцатилетний труд отвергли все редакции, или тогда, когда он засел за этот труд?

А может, его собственное имя подтолкнуло его засесть за этот труд?

Дело в том, что, к несчастью, звали его Степан Тимофеевич, как и знаменитого волжского разбойника Степана Разина, возведенного нашими историками в ранг бунтаря-революционера.

Впрочем, еще задолго до большевиков народ его сделал своим кумиром, сочиняя о нем легенды и песни. Нет народа, который не воспевал бы своих разбойников, но каждый народ воспевал их по-своему.

В знаменитой песне о Степане Разине воспевается как благородный подвиг то, что он швырнул за борт свою прекрасную персиянку. Почему? Потому что услышал позади ропот «нас на бабу променял»? Дело, конечно, не в том, что он променял на бабу своих головорезов, а в том, что у него прекрасная персиянка, а у них ее нет. Несправедливо.

Наш человек готов пойти на самое страшное преступление, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Он понимает и принимает братство и равенство перед разбоем. Но он не понимает и не принимает братства в равенстве перед законом. Такого закона у него никогда не было, и то, что выдавало себя за такой закон, всегда было обманом. Тоска по равенству уходит в летучее равенство разбоя.

Разбой превращается в момент истины. Мечта о равенстве перед разбоем настолько его очаровывает, что он не только не думает о жалости к жертве — он заранее уверен в ее вине, хотя бы потому, что она для него бездуховна, как скот, и, следовательно, резать ее можно, как скот.

Равенство перед разбоем не означает, что нажива у всех будет одинаковая. У каждого равные возможности

перед разбоем, а дальше признается, что многое зависит от личной лихости, хитрости, беспощадности, везенья.

Разбой, как это ни парадоксально, утоляет тоску по справедливому вознаграждению предприимчивости. Там, где нет в мирной жизни естественного вознаграждения за предприимчивость, то есть буржуазного права, там эта тоска утоляется через разбой и в момент разбоя.

Степан Разин, как самый мощный предводитель своей шайки, овладел прекрасной полонянкой. И это было справедливо, никто не посмел с ним тягаться. Но вот он таскается с ней по Волге. Почти женился. Чужее. Выражаясь современным языком, он готов обуржуазиться. Он получает проценты наслаждения с капитала персиянки.

Но Степан Разин, как идеальный народный герой, вовремя угадывает грозную мощь недовольства своих сотоварищей. Он, а не они нарушили условия игры. Если бы вместо прекрасной персиянки рядом с ним был бочонок золота, он высыпал бы его своим товарищам, и все уладилось бы. Но персидскую княжну так разделить невозможно. Что же делать?

И за борт ее бросает  
В набежавшую волну.

Мрачное великолепие равенства распределения. Никому — значит всем. Удивительна в своем гениальном простодушии строчка «в набежавшую волну». Волна, набегая, подбегает, как верная собака к хозяину. Сама природа одобряет справедливое решение. Восстанавливается мировая гармония. В одобрении природы угадывается тайная воля Бога. Он как бы сверху наблюдает за происходящим и улыбается:

— Правильным путем идете, товарищи.

Что такое восточный владыка, который, появляясь перед народом, приказывает швырять в толпу серебро монет? Что такое купец, выставляющий рабочим бочку вина? Что такое пиришественный стол в награду за услуги чиновника? И что такое нашествие коллективизации и что такое тридцать седьмой год? Все это многообразные попытки соединить нас и восстановить наше единство через нашу разбойничью прапамять. Впрочем, не будем забе-

гать вперед, а лучше вернемся к моему земляку, однажды вообразившему, что он Ленин.

В Мухусе есть один философ-мистик (в Мухусе все есть), так он следующим образом объясняет случившееся. Он говорит, что наш земляк, вложив всю свою душу в жизнеописание Ленина, в прямом смысле восстановил дух Ленина, и этот благодарный дух, естественно, всем другим оболочкам предпочел оболочку нашего трудолюбивого земляка. (Почему этот дух не устремился к Мавзолею, будет понятно позже, если мне удастся довести этот рассказ до конца.)

Странно, что в моей писательской жизни фигура Ленина меня мало занимала. Сталин и интересовал, и притягивал к себе. Мне казалось, что в нем тайна величайшего злодея. А Ленин как-то проходил мимо. Ну фанатик, ну рационалист, думал я, тут нет глубокой тайны личности.

Я был в Америке по приглашению русской летней школы в штате Вермонт. Вместе с женой и ребенком прожил в этой школе полтора месяца, иногда читая лекции студентам, изучающим русскую литературу, а чаще гуляя по зеленым холмистым окрестностям.

Там был старик девяноста с лишним лет, который когда-то организовал эту школу. Фамилия его Первушин. Он приходил на мои лекции, и не только на мои, вместе со мной туда приехали несколько московских писателей. Старик Первушин с удивительным для его возраста бодрым интересом слушал нас и даже нередко задавал вопросы.

Оказалось, он родственник Ленина. И притом настолько близкий, по крайней мере по семейным узам, что сумел при помощи брата Ленина Дмитрия Ульянова подделать его подпись под фиктивной заграничной командировкой и уехать из России.

Разумеется, это было при жизни Ленина. Я обратил внимание на одну деталь. Тогда для Чека, сказал старик Первушин, достаточно было одной фамилии Ульянова. Видимо, сразу после революции Ленин еще не всегда подписывался так, как мы привыкли видеть в его факсимиле, — Ульянов-Ленин. Он еще порой по вполне понятной инерции подписывался так, как привык подписываться с юных лет.

Рассказав, благодаря чему он сумел уехать за границу, старик засмеялся тихим, воркующим смехом. Смех его можно было понять так: я правильно решил, что с историей не стоит связываться, и потому еще жив. А где те, что связались с историей? То-то же!

Это был очень милый смех. К сожалению, я больше ничего не спросил у старика о его знаменитом родственнике. Да и об этом я у него не спрашивал. Он рассказал сам. Сейчас сожалею, но, увы, поздно.

Приехав в Москву и окунувшись в нашу тревожную, издерганную, кликушескую жизнь, столь напоминающую предоктябрьскую Россию, я наконец решил почитать Ленина, к сочинениям которого не прикасался со студенческих времен.

С месяц я его упорно читал. Это было нелегкое чтение, в том смысле, что трудно было преодолеть скуку. Он чертит бесконечные круги, а иногда и виртуозные зигзаги конькобежца, но все это происходит на одном уровне, на одной плоскости.

Но то, что естественно для конькобежца, неестественно для мыслителя. Мыслитель интересен нам тем, что он шаг за шагом углубляется в поисках истины. Нам интересен путь этого углубления, потому что это творчество, потому что он сам не знает, куда поставит ногу, делая следующий шаг. Мы видим, как он нащупывает твердую опору, вот нащупал и двинулся дальше.

Ленин заранее знает, что углубляться некуда и незачем. Он, конечно, умен в узком смысле. Ленин постоянно здрав внутри безумия общей идеи. Поражает противоречие между энергией его ума и постоянной банальностью мыслей. Обычно у больших мыслителей нас восхищает сочетание энергии ума с большой мыслью. Нам представляется это естественным. Именно энергия ума добрасывает мысль до изумляющей высоты.

Но может быть, бывают исключения? Вопрос сам по себе интересен, помимо Ленина. Можно ли представить себе певца таланта Шаляпина, который, однажды поразившись красоте «Марсельезы», всю жизнь исполнял бы только ее, пусть и в тысячах вариантов?

Можно ли представить себе писателя таланта Льва Толстого, который в силу бедности, в силу обремененнос-

ти большой семьей занимался бы всю жизнь мелкой журналистикой, так и не написав ни одного рассказа на уровне своего природного дара?

Практически этого представить нельзя. По-видимому, мысль о человеке в каждом человеке соответствует его природному уровню понимания человека. Этический слух вроде музыкального слуха, его можно слегка усовершенствовать, но нельзя изменить его врожденную силу.

Невысокий уровень понимания человека Лениным объясняется, я думаю, не тем, что огромная революционная работа отвлекала его мысль от этого. Наоборот, сама огромная революционная работа была следствием невысокого уровня понимания природы человека. Она освобождала в его душе невероятную радостную энергию разрушения.

Представим себе карточного игрока, который разработал убедительную теорию выигрыша. Но эта теория требует большой игры, больших денег, которых у него нет. Представим себе, что он открыл эту теорию очень богатому человеку и тот предложил ему на каких-то условиях играть на его деньги.

И тот сел играть. Но оказалось, что теория не работает. Однако он играет и играет и в конце концов проигрывается в пух и прах. Почему он не остановился, почувствовав, что теория не работает? И потому, что азарт подхлестывал, и, главным образом, потому, что он не свои деньги проигрывал.

Так и великий революционер. Он играет на чужие деньги. Каламбур относительно денег Вильгельма тут неуместен. Он играет жизнями миллионов людей. Если бы его заранее могла потрясти мысль о проигрыше, мысль о напрасной гибели множества людей, он бы не брался за дело революции. Но почему эта мысль ему не приходит в голову? По причине невысокого уровня понимания природы человека. Но откуда этот невысокий уровень понимания природы человека? Если сократить сложнейшую дробь его собственной природы, останется главное — нравственная туповатость.

С яростью и необыкновенным темпераментом постоянно обрушиваясь на старую мораль и мечтая о создании нового, социалистического человека, — неужели он не по-

нимал, что если вообще и можно создать новую мораль, более совершенную, чем старая, то это дело тысячелетий? И как можно начинать новую жизнь с разрушения старой, тоже тысячелетней, морали? Это все равно что посадить росток хлебного дерева и тут же сжечь колоснящуюся, пусть не в полную силу, пшеницу.

В сочинениях Ленина нет никакой мудрости. Он всегда торопится, всегда пристрастен. По-видимому, чтобы быть мудрым, надо думать много, но лениво. Только тот, кто думает, забывая о том, что он думает, может до чего-нибудь додуматься. Чтобы думать, надо выпадать из жизни. Дар философа — дар выпадения из жизни при сохранении памяти о ней.

Осмелюсь оспорить знаменитый афоризм Маркса: философы до сих пор объясняли мир, а дело в том, чтобы его изменить. Как только философ начинает изменять жизнь, он теряет возможность справедливого суждения о ней, потому что он становится частью потока этой жизни. И чем сильнее философ меняет течение жизни, войдя в ее поток, тем ошибочней его суждения о том, что делается в ней. И теперь шанс на справедливое суждение о жизни, которую изменяет и в которой барахтается наш философ, имеет только другой философ, который, сидя на берегу, наблюдает за тем, что происходит в потоке.

Но если он, видя своего собрата, барахтающегося в потоке, сам бултыхнулся в поток, с тем чтобы объяснить ему его ошибки, все равно информация, которую он ему передаст, будет уже неверна, потому что он сам, окунувшись в поток, еще раз изменил его свойства.

Так бедный Мартов то окунался в поток, где барахтался Ленин, то выплывал из потока и кричал ему с берега о его ошибках, но они уже были обречены не понимать друг друга. А Ленин в это время целенаправленно греб внутри водоворота, принимая каждый свой круг в бурлящей воронке за очередную диалектическую спираль, пока, скрытый судорогой, не задохнулся.

Одним словом, при чтении Ленина у меня возникло много недоуменных вопросов. Кстати, я заметил и его сильные человеческие черты. Например, редкое самообладание, по крайней мере в письменных источниках. Чем трагичней ситуация, тем яростней и неуклонней он

проводит свою волю. Никакой паники, никакой растерянности.

Я написал и напечатал статью, где высказал немалые сомнения по поводу его мыслей и образа действий. Я об этом сейчас пишу, потому что это имеет отношение к тому, что собираюсь рассказывать.

Итак, в Мухусе появился Ленин. Я стоял со своим двоюродным братом Кемалом, бывшим военным летчиком, а ныне пенсионером, на маленькой уютной улочке, обсаженной старыми платанами. Я расспрашивал его об этом человеке. Брат неохотно отвечал. Он явно не одобрял моего любопытства.

— Большой нахал, — сказал он про него.

— Почему? — спросил я.

— Он получал вместе с нами продукты в магазине ветеранов, — сказал брат, — а потом выяснилось, что он на войне никогда не был... Подозрительная личность... А вот и он!

Брат кивнул в сторону человека, который выскочил из-за угла на велосипеде. Я его сразу узнал, и он меня сразу узнал.

— Два брата-акробата! — зычно закричал он и, воздев руку, добавил: — Читал вашу статью! Не согласен принципиально! Доспорим в «Брехаловке»!

С этими словами он поймал рукой виляющий руль и промчался мимо. Он был в матросской тельняшке с короткими рукавами, обнажавшими неожиданные для меня крепкие, цепкие руки. Мелькнули знакомое, плотное лицо со светлыми глазами и большой лоб, отнюдь не переходящий в лысину. Я, конечно, знал его хорошо, но просто забыл о нем. Лет пятнадцать назад в Москве он приходил ко мне со стихами. Тогда он позвонил по телефону, назвался моим земляком и попросил прочесть его стихи.

Когда я открыл на звонок, в дверях стоял коренастый человек среднего роста, светлоглазый, лобастый, но о сходстве с Лениным не могло быть и речи. Чуть склонив голову, он внимательно рассматривал меня, коротко комментируя свои впечатления:

— Похож. Да, похож. Хотя и не очень. Слегка подпорчен.



— На кого это я похож? — спросил я, несколько насто-  
раживаясь.

— Да на брата-летчика! — крикнул он радостно и, рва-  
нувшись ко мне, обнял меня и успел чмокнуть в щеку. По-  
сле этого, как бы доказав право на родственность, он быс-  
тро разделся и стал рассказывать о себе, глядя в зеркало и  
подправляя расческой выющиеся светло-каштановые во-  
лосы.

Так ведут себя с давно знакомым человеком в давно  
знакомом доме. Да, я забыл сказать, что перед этим он с  
каким-то облегчением сунул мне в руку красную папку со  
стихами. Я как дурак взял ее и несколько посуровел как бы  
за счет взваленной на себя ответственности. Я решил  
быть с ним посуше и для начала хотя бы отсечь родствен-  
ный пыл.

Усевшись на диван и поглядывая на меня яркими, свет-  
лыми глазами, он стал рассказывать о себе. Зовут его Сте-  
пан Тимофеевич. Живет в Москве. Женат. Преподает  
марксизм в институте, название которого я тут же забыл.  
Он вспомнил несколько коренных мухусчан, наших об-  
щих знакомых. Мы тут же заговорили об их странностях и  
чуждачествах. Я потеплел.

Он был бесконечно доброжелателен. То и дело всхоха-  
тывал, вскакивал с места, садился, шутил. Потом я читал  
его стихи, а он ходил возле книжных шкафов, как бы при-  
ветствуя некоторые книги как старых друзей и одновре-  
менно ненавязчиво показывая степень своей интелли-  
гентности.

Стихи его оказались вполне грамотными и вполне без-  
дарными. Тематика была революционная. Преобладали  
стихи о Ленине. Я довольно кисло отозвался о них, но, что-  
бы подсластить пилюлю, попросил принести что-нибудь  
еще. Он нисколько не обиделся на мой отзыв, и это мне по-  
нравилось.

Тогда же он мне сказал, что собирается опубликовать  
свой пожизненный труд — Лениниану. Это меня нисколь-  
ко не удивило. Почти каждый преподаватель марксизма  
мечтает написать книгу о Марксе или о Ленине. В край-  
нем случае об Энгельсе.

Однако развить эту тему я ему не дал, чувствуя, что в  
этом человеке слишком много энергии и нам хватит разго-

вора о невинных чудачествах наших знакомых, даже если они, эти чудачества, иногда переходят в необъяснимые странности. Впрочем, он сделал еще одну попытку прорваться и воскликнул:

— Когда будут опубликованы сто двадцать семь любовных писем Ленина к Инессе Арманд, мир узнает, что этот пламенный революционер умел любить, как никто в мире!

— Что же он не женился на ней? — все-таки поллюбопытствовал я, однако голосом давая знать, что речь идет о короткой справке. И он это понял.

— Не мог бросить Надежду Константиновну! — с жаром воскликнул он. — У нее была базедова болезнь, и он не мог бросить больную жену! Благородство этого человека невероятно. Мир должен знать о нем!

Я, как и мир, кое-что знал о благородстве этого человека, но промолчал. Одним словом, я кисло отозвался о его стихах и сказал, чтобы он показал что-нибудь другое. В течение двух лет он побывал у меня несколько раз. Стихи менялись, но тематика только сгущалась и грозно, как я теперь понимаю, сосредоточивалась на Ленине. Они как бы не отличались от графоманских стихов о Ленине. То, что Ленин в метафорическом смысле жив, писали все. А мой земляк сосредоточился на мысли о новой необыкновенной встрече народа с Лениным: «Ленин грядет», «Ленин среди вас», «Недолго ждать Ленина» и тому подобное. Опять же и эти мотивы не были чужды нашей поэзии, но мой земляк явно перебарщивал.

— Устал бороться за издание Ленинианы, — как-то сказал он мне, двусмысленно подмигивая. — Я готов поделиться гонораром с тем, кто протолкнет мою книгу. Баш на баш, идет?

— Нет, — сказал я, — это мне не подходит.

— Неужели баш на баш не подходит? — удивился он и неожиданно добавил: — А если так: треть гонорара мне, треть вам, треть директору издательства?

— Неужели вы не видите чудовищного противоречия, — сказал я, осторожно горячась, — вы живете в государстве Ленина, вы своей книгой славите Ленина, а ее не хотят печатать? Как это у вас в диалектике: отрицание отрицания?

— Ни малейшего противоречия! — воскликнул он. — Сталин совершил тихий контрреволюционный перево-

рот! Надо готовить новую атаку. Моя Лениниана — алгебра революции, потому они и не хотят ее печатать.

Я промолчал. Черт его знает, кто он такой! Может, он — оттуда? Почему бы им не использовать чудаковых людей? Да это уже и было. После издания в Америке моего неподцензурного «Сандро» я ждал какой-нибудь подлости. И вдруг является один мой давний знакомый и после короткого, ни к чему не обязывающего разговора уводит меня на мой собственный балкон, якобы боясь подслушивающего устройства, и говорит мне там, что из Европы приехал его друг, вполне надежный человек, и можно через него отправить на Запад непечатную рукопись.

— Нет такой необходимости, — холодно ответил я ему. Мне показалось, что он облегченно вздохнул: и задание выполнил, и предательство не совершилось. Мы зашли в комнату.

— А для чего это? — кивнул он на письменный стол, где рядом с машинкой лежал абхазский пастушеский нож как защитник певца пастушеской жизни.

— А это на случай хулиганства, — очень внятно сказал я, чтобы и там, откуда он пришел, это было расслышано. Вскоре он ушел и больше никогда не появлялся. Мне тогда показалось, что тот раунд я провел хорошо и выиграл его. Мне и сейчас так кажется, но ведь нельзя быть до конца уверенным, что он был человеком оттуда. Но такой была наша жизнь в те времена.

Так или иначе, мой земляк мне надоед, и я решил отделаться от него под видом помощи. Я решил написать рекомендательное письмо в редакцию одного сравнительно либерального журнала, где я печатался и меня хорошо знали. В конце концов, пусть они занимаются такими авторами, они за это деньги получают.

Я написал, как мне показалось, ловко замаскированную ироническую записку, где рекомендовал журналу начинающего поэта и известного преподавателя марксизма. (Известного кому? Ленин здесь поставил бы свое ироническое: sic (!).) Отметив, с одной стороны, литературную наивность начинающего поэта, я, с другой стороны, похвалил его упорное стремление воспеть чистоту революционных идеалов.

Я был доволен. Мне показалось, что записка не ловится ни с какой стороны. Я был уверен, что мои друзья из журнала мгновенно поймут, что это шутка. А он не поймет. Я передал ему записку и размяк от тихого и радостного предчувствия конца нашего романа.

Прочитав записку, он вскинул голову и неожиданно смачно поцеловал меня прямо в губы. Черт бы его забрал! Я расслабился и не сумел воспользоваться древней писательской мудростью: если графоман целует тебя в губы, подставь ему щеку.

Кстати, без дальнейших сантиментов он тут же деловито удалился. Даже стало как-то немного обидно. Я хотел, конечно, чтобы он быстрее ушел. Но я хотел, чтобы он ушел, благодарно помешкав. А получилось, что, захватив записку и наградив меня смачным поцелуем, он даже как бы переплатил и теперь не намерен терять со мной ни секунды.

У меня было неприятное предчувствие, что поцелуй этот добром не кончится. Так оно и оказалось. Через три месяца журнал напечатал его стихи, предварив их моей рекомендацией. Этого не должно было случиться, но случилось. Я все учел, кроме безумия нашего мира, а его-то и надо было учитывать в первую очередь.

Я потом звонил в редакцию своему приятелю, вполне либеральному литератору, занимавшемуся там стихами. Оказывается, стихи моего земляка с пришпиленной к ним запиской лежали на его столе, когда к нему в кабинет неожиданно вошел редактор журнала. Он машинально взял со стола стихи, увидел пришпиленную к ним мою записку и унес все это к себе в кабинет, как коршун добычу.

Дело в том, что редактора этого журнала критика иногда поклеывала за направление и он решил этими стихами укрепить идейную платформу журнала. Сам он был не такой уж либерал, но его несло по течению хрущевского времени. Кресло редактора под ним то и дело неприятно всплывало, но приятно покачивало. И он тосковал по устойчивости. Он хотел, чтобы кресло редактора приятно покачивалось, но не всплывало.

— Я, конечно, сразу все понял, — оправдывался в телефонную трубку мой приятель, — но так получилось. Редактор влетел и забрал стихи с твоей запиской. Обычно он воротил губу и от тех стихов, которые мы ему подсовыва-

ли, а тут сам забрал и в тот же день отправил в набор. Не горюй! Про тебя в Высоком Учреждении сказали, что ты оказался лучше, чем они думали. Пригодится!

После этой публикации от моего земляка не было больше звонков. Я старался забыть о его существовании, и в самом деле забыл.

Года через два, а может, чуть больше, один мой знакомый психиатр пригласил меня на хлеб-соль и воскресную лыжную прогулку. Он жил и работал за городом. Думая, что я буду отбиваться, он решил заманить меня и пообещал показать пациента, чья мания такова, что о ней нельзя говорить по телефону.

Это был исключительно милый и хлебосольный человек. И я ринулся. В яркий, морозный день я вышел из электрички и пошел в сторону больницы. На перекрестье деревенских дорог я увидел сани, в которых были два человека — седок и возница. Они как бы раздумывали, в какую сторону ехать. Оба были сильно укутаны. Я подошел и, показывая рукой в ту сторону, откуда они приехали, для перестраховки спросил:

— Больница там?

— Скажите этому невежде, — клубясь морозным паром, не глядя прогудел седок сквозь кашне, — что там находится мое имение! Что им надо? Я с девятьсот шестнадцатого года не занимаюсь политикой! Пошел!

Последнее относилось явно к вознице. Возница успел кивнуть, но после слов седока можно было смело идти по свежему следу саней. Голос седока мне показался знакомым, но я тогда не обратил на это внимания. Я двинулся дальше, вспоминая слова седока и находя в них много скрытого юмора.

Он, конечно, имел в виду, что его преследует полиция. Говоря, что он с 1916 года не занимается политикой, он хотел внушить, что к делам революции семнадцатого года он не имеет отношения. Революция, видимо, подавлена. Участников ее преследуют. Этот отсиживается в имении и в качестве алиби называет шестнадцатый год. Почему так близко? Слишком видный революционер, назвать более далекий год неправдоподобно.

Так я расшифровал его слова, подходя к сумрачному зданию, которое, увы, казалось бедняге его имением. Мой

хозяин, добряк богатырь, провел меня в свой кабинет и, чтобы отогреть меня с морозу, угостил спиртом. Пришли сотрудники, и мы, как говорится, подзарулили. Кстати, он хотел показать мне пациента, который выдает себя за Ленина, но я не проявил к этому ни малейшего любопытства.

— О Сталине ты уже написал, — сказал мой благодушный хозяин, — я думал, ты теперь интересуешься Лениным.

— Нет, — сказал я, — со Сталиным у меня были свои счета. А Ленин — это слишком далеко.

И тогда один старенький психиатр, сидевший с нами за столом, сказал забавную вещь. Он сказал, что при Сталине страх перед ним был столь велик, что ни один психический больной с манией величия не выдавал себя за Сталина.

Если это действительно так, значит, зарубка страха в голове советского человека была настолько глубокой, что давала о себе знать и после того, как человек заболел.

Застолье незаметно переместилось в квартиру моего приятеля. Я продолжал пить, хотя, как потом выяснилось, меня надо было остановить. Но все мчались параллельно, и поэтому останавливать было некому. Оказывается, уже в его кабинете, взобравшись на подоконник, я кричал в форточку:

— Советский псих самый нормальный в мире!

Следует обратить внимание на то, что эта пьяная фраза, которую я хотел прокричать миру и даже прокричал ее неоднократно, тоже не ловится. Так что наблюдение старого психиатра подтверждается. Опьянение можно считать, конечно, до определенной поры, незлокачественным вариантом безумия. В ослабленном виде повторилась та же схема.

Утром было тяжело. Но я, преодолевая похмелье, пытался стать на лыжи. Богатырь хозяин вдруг схватил мою руку:

— Дай-ка послушать пульс! — Послушал и твердо приказал: — Домой. В постель.

Мы вернулись к нему домой, я лег в постель, хотя ничего особенного не чувствовал, кроме похмельной тоски. Но так как похмельная тоска своей смутной неопределенностью напоминает тоскливое чувство вины перед тем, что

творится в стране, я к этому состоянию достаточно привык и был спокоен.

Я лежал в кровати, а мой хозяин хватался за голову и с чувством вины, возможно, похмельно преувеличенным, повторял: «Как я мог забыть об этом!» По его словам, медицинский спирт уже несколько лет как испортился. У пьющих медиков организм адаптировался к этому спирту, а я был свежий человек. Действительно, я пил спирт много лет назад в Сибири, и, судя по всему, тогда он еще не был подпорчен позднейшими примесями.

Если испортился спирт, подумал я, то есть вещество, предназначенное самой своей природой удерживать все от порчи, значит, плохи наши дела. А мой неутомный хозяин вызвал каких-то врачей с аппаратурой, проверяющей состояние сердца, и эта аппаратура, как впоследствии выяснилось, тоже порченная, злобно показала: инфаркт.

К счастью — тьфу, тьфу, не сглазить! — никакого инфаркта в помине не было и нет. Но пока выяснилось, что аппаратура пошаливает, и все в одну сторону, представляю, сколько пережил мой хозяин. Разумеется, мне он ничего не сказал тогда об этом.

К вечеру я окончательно оклемался, и он меня привез в Москву на своей машине. Так что я не знаю, был ли его пациент именно моим земляком или это совсем другой человек. И спросить теперь не у кого, потому что мой богатырь теперь в Израиле. Такого неожиданного сальто, учитывая его могучую комплекцию, и такого точного приземления на небольшой территории я от него не ожидал.

Впрочем, возможно, он и сам не подозревал в себе такой прыти.

А случилось вот что. Однажды ночью после крепкого возлияния он провожал на электричку своего друга. Видимо, им вместе было так хорошо, что они, гуляя по платформе, пропустили несколько электричек. Но в России нельзя забываться. Особенно когда тебе хорошо, тем более когда тебе хорошо ночью на загородной платформе.

Видимо, пока они гуляли по платформе, какие-то мрачные типы взяли их на мушку. Наконец мой любвеобильный хозяин заботливо посадил своего друга на электричку и пошел домой. Богатырь своим богатством сам прово-

цирует удар сзади. Кто-то сзади ударил его чем-то тяжелым, и он потерял сознание. Пришел в себя — лежит на снегу, карманы выворочены, шуба и шапка исчезли. Еле дополз до дому и тут-то, вероятно, вспомнил, что у него мать наполовину еврейка.

И он заторопился в Израиль, а до этого совсем не торопился, я даже не знал, что у него есть такая возможность. И вот он со всей своей семьей уехал в Израиль, оставив своих психов черт знает на кого.

Хлебосолье — прекрасное свойство, но тут уж слишком. Теперь понятно, что он с еврейской энергией расширял свои русские возможности. Но поможет ли Израиль в этом случае? Кто его знает. Разве что шубу не снимут. Это точно.

Читатель может спросить: какое все это имеет отношение к тому, что я собираюсь рассказать? Отвечу коротко, даже огрызнусь: раз написалось, значит, имеет.

...И вот я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Слава богу, здесь все как раньше. Только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил. Я сидел лицом к входу, чтобы не пропустить Степана Тимофеевича, и поневоле любовался городом своей юности.

Слава богу, все та же береговая линия, все так же возвышаются дряхлеющие эвкалипты на приморском бульваре, все так же сквозь густую зелень белеют дома, все так же уютно выглядит приморская гостиница, если, конечно, не знать, что она после пожара начисто выгорела изнутри. Так как виновник пожара не был найден, решили, что он по неосторожности сгорел вместе с гостиницей. Говорят, что ее теперь отстраивают турки и поляки. Точно так же и в Москве, и в Ленинграде многие знаменитые здания реставрируются турками и финнами. То, что кажется побочным признаком конца империи — исчезновение мастеров, на самом деле является ее главным признаком.

Справа от меня, ближе к выходу, у самых перил ресторанной ограды, сидели трое молодых людей. Двое из них были одеты в ослепительные белые рубашки, а третий был одет в пурпурную шелковую рубашку, трепещущую и вскипающую под ветерком. Видно, он недавно ее приобрел, потому что время от времени замирал и любовался струящимся красным шелком. Они попивали кофе, рас-



сказывали друг другу веселые истории и оглядывали входящих девушек. Народу в ресторане было довольно много. Было жарко, но под тенистыми тентами жара не чувствовалась. Но столиков под тентами, как всегда, не хватало. Те, что сидели под тентами, явно не спешили их освободить именно потому, что некоторые клиенты упорно дожидались их освобождения.

Со стороны моря раздался завывающий шум приближающегося глссера. Шум внезапно оборвался у самой пристани ресторана.

— Бочо пришел! — сказал один из ребят и, склонившись над перилами, посмотрел вниз.

— Второго такого хохмача в городе нет, — добавил краснорубашечник.

— Интересно, что он сейчас скажет, — заметил третий. В самом деле, через несколько минут над перилами ресторанной палубы появилась курчавоволосая голова с бронзовым загорелым лицом. Он поднялся сюда по железной лесенке.

— Девушки, где вы? — зычно закричал он. — Спешите на морскую прогулку, пока я здесь! В летний сезон беру клиенток от двадцати до сорока лет! Старше сорока, можете оставаться на местах — только в зимний сезон!

Девушки ринулись к нему. Одна женщина поднялась было, но, услышав конец его призыва, замешкалась, как бы пытаясь вспомнить свой возраст. Припомнив, погасла и села.

Молодыми застольцами она была тут же замечена, и они, кивая на нее, стали покатываться от хохота. Шесть девушек уже стояли возле водителя глссера.

— Вы! Вы! Вы! Вы! — тыкая пальцем, указал он на четырех и отсек остальных. — А вы ждите следующего заезда!

Водитель глссера сошел с лестницы и ступил на деревянную палубу по ту сторону ограды. Одной рукой держась за перила, он другой помогал девушкам перелезть через ограду и спуститься вниз по железной лесенке. Одновременно он весело и хищно оглядывал палубу ресторана. Заметив ребят, сидевших справа от меня, он, продолжая помогать девушкам, стал громко рассказывать:

— Сейчас от хохота умрете. Вчера сидим дома и обедом всей семьей. Со двора подходит к окну соседка и кри-

чит: «Наташа, ты дома? Что делаешь?» — «Обедаю», — отвечает жена. «Обедай, обедай! — кричит соседка. — А в это время твой муж и мой дурак с двумя курортницами уехали гулять в Новый Афон. А ты сиди обедай с детьми!»

Я умираю от хохота, а жена смотрит на меня: готова убить. Наконец кричу этой соседке: «Я твоего дурака три дня уже не видел!» — «Что, приехал уже?» — говорит соседка и быстро уходит. Стыдно.

«Ты видишь, — говорю я жене, — как клеветают на нашу дружную, прекрасную семью. Тебе женщины завидуют, хотят нас посорить».

Приеду, расскажу еще одну хохму.

— Бочо, а куда ты дел тех девушек, которых катал? — спросил краснорубашечник.

— Как — куда? — встрепенулся Бочо. — В родильный дом отвез!

Ребята стали хохотать. Последняя девушка, перелезавшая через ограду, вздрогнула и отдернулась.

— Не бойтесь, девушка, — живо откликнулся Бочо, продолжая держать ее руку в своей ладони, — я их на пляже высадил. Кто так шутит, никогда не тронет. А тот, кто тронет, никогда так не шутит.

Девушка рассмеялась и окончательно перелезла через ограду.

— Вам остается понять, шучу я или нет! — крикнул Бочо вниз уже спускающейся по лестнице девушке. Подмигнув ребятам, хохмач быстро спустился за нею.

Через минуту взвыл мотор, и глассер ушел в море.

— Вот Бочо дает! — с восхищением сказал тот, что был в красной рубахе.

— А вообще он гуляет? — спросил второй.

— По-моему, нет, — сказал третий. — У меня была одна приезжая чувиха с подругой. И деньги у меня были тогда. Я встретил Бочо и говорю: «Так и так. Бабки у меня есть. Займись подругой моей девушки». — «Пожалуйста», — говорит. Приходим в ресторан. Я заказываю все, что можно. Бочо наворачивает и хохмит так, что девушки падают. Даже моя к нему клеится. Клянусь! Но обидеться нельзя — Бочо! Только поужинали, как он встает и говорит: «До свидания, девушки. Спасибо за компанию, но меня ждет красавица жена!»

— А у него в самом деле красавица жена, — вздохнул тот, что спрашивал.

— Не в этом дело, — поправил его краснорубашечник. — Он, учти, гуляет в глубоком подполье.

Я, видимо, так увлекся жизнью молодых людей, что не заметил, как появился тот, кого я ожидал.

— Не согласен принципиально и окончательно, — раздался над моей головой веселый и твердый голос.

Я вздрогнул. Это был он. Все в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны. Явно было, что они недавно начищены зубным порошком. Он стоял перед мной — плотный, коренастый. Мускулистые, борцовские руки скрещены на груди. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие живые светлые глазки. Металлический колпачок ручки, прицепленной изнутри на груди тельняшки, вспыхивал и отражал солнечный свет.

— Присаживайтесь, — сказал я, — сейчас закажем кофе, коньяк.

— Какая же это свобода, — сказал он, стремительно присаживаясь за столик, стремительно наклоняясь ко мне и стреляя в меня светлыми пулями глаз, — вы лишаете великого человека права на эксперимент, которого ждали тысячелетия? Какая же это свобода, батенька?

— Да, лишаю, — сказал я. — Человек может экспериментировать над собой. В конце концов, люди его образа мыслей могли собраться, купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его и проводить в своей среде социальные опыты.

— Социализм в лаборатории — это, батенька, чепухенция! — воскликнул он, взмахнув рукой над столом. — В том-то и драма великого Ленина, что он заранее знал о невероятной тяжести исторического сдвига и все-таки пошел на это. И когда надо будет, еще раз пойдет!

— Только знаете, — сказал я ему, — если можно, без этих словечек: «батенька», «ни-ни», «гм-гм». Особенно ненавижу «гм-гм».

— Гм-гм, — незамедлительно произнес он, как бы для того, чтобы тут же, не сходя с места, утвердить свои права.

Я вспомнил, что точно так же в детстве мой сумасшедший дядюшка, бывало, если кто, выходя из комнаты,

плотно прикроет дверь, тут же вскакивал и пробовал ее открыть в знак того, что никто не смеет его запирать, хотя его никто никогда не запирали.

— Запретить, конечно, я не могу, — сказал я мирно, — но постарайтесь, если можете.

— Я сказал «гм-гм» не нарочно, — пояснил он, — этим я выразил сомнение в вашей демократичности.

— Так и скажите: сомневаюсь в вашей демократичности.

— Зачем мне говорить столько слов, когда я коротко говорю то же самое: гм-гм.

— В этом «гм-гм», — сказал я, стараясь быть доходчивым, — слышится какое-то подлое высокомерие. Как будто вы настолько выше собеседника, что он не стоит слов.

— Гм-гм, — сказал он опять, но, спохватившись, добавил: — Это я не по отношению к нашей беседе, а по отношению к тому, что вы считаете высокомерием.

Я понял, что эта мелкая перепалка может длиться бесконечно.

— Ну, как хотите, — сказал я и, стараясь поймать его в самый миг отклонения в безумие, спросил: — Что значит «Ленин еще раз пойдет»? Появится новый Ленин?

Взгляд его отяжелел. Но мне показалось, что он взял себя в руки.

— Не новый, но обновленный новыми историческими условиями, — сказал он уклончиво и одновременно твердо.

Я подозвал официантку, которая, стоя в сторонке, почему-то обидчиво поглядывала на нас. Она подошла.

— Вы пьете? — спросил я у него.

— Слегка балуюсь, — живо отозвался он. Официантка нахмурилась.

— Два кофе и триста грамм коньяка, — сказал я и, обращаясь к нему, добавил: — Может, что-нибудь еще?

— Мороженое, — попросил он кротко, — умственная работа требует сладости.

Я вспомнил, что мой сумасшедший дядюшка тоже любил сладости. Тогда, в детстве, я изредка мог позволить себе угостить его лимонадом.

— Может, три порции? — спросил я.

— Три! Три! — вспыхнул он. — Вы угадали мою норму! Люблю иметь дело с проницательными людьми, хотя от принципов не отступаюсь.

Официантка еще больше нахмурилась и, записав заказ, обратилась ко мне:

— Вы тут новый человек, умоляю. Если дядя Степа начнет говорить, что он Ленин, остановите его или позовите меня. Я его попрошу отсюда. Я знаю, что сейчас свобода, но стыдно перед людьми... И Ленина жалко...

— Лениньяна продолжается, — загадочно заметил мой собеседник.

— Вы опять за свое? — с горьким сожалением сказала официантка.

— Дорогая, не забывайте, что я бывший доцент московского вуза, — не без надменности произнес мой собеседник.

— Вот именно — бывший, — мстительно подчеркнула официантка.

— И за борт ее бросает в набежавшую волну, — неожиданно пропел мой собеседник хорошим баритоном. Он пел, глядя на официантку, и пение его как бы означало шутливую угрозу по отношению к ней и одновременно обещание, оставаясь в рамках Степана Разина, выполнить ее.

— Оставьте, ради бога, — сказала официантка и отошла.

Мне не хотелось с ним спорить. Но мне хотелось у него что-то спросить, раз уж он так много знает о жизни Ленина. Дело в том, что, будучи за границей, я прочел одну книжку, где доказывалось, что знаменитое покушение на Ленина Фанни Каплан было организовано Сталиным и Дзержинским. Никакого убедительного доказательства автор не приводит, и все это как-то не похоже на правду. Но там были вещи, которые показались мне бесспорными.

Ссылаясь на газету «Известия», где была помещена информация о покушении на Ленина, автор пишет, что выстрелы раздались с разных сторон. Не мог же он это выдумать, зная, что эту информацию легко проверить? Но может быть, эту информацию «Известия» дали сгоряча, по слухам? Было ли позже в «Известиях» опровержение этой информации, уточнения?

Автор пишет, что Фанни Каплан, выстрелив в Ленина несколько раз на глазах у толпы рабочих, пробралась сквозь эту толпу, дошла до достаточно далекой от завода трамвайной остановки и только там, и то случайно, была схвачена. Если это действительно так, что можно подумывать об истинном отношении рабочих к Ленину?

И потом — слишком быстрая казнь Фанни Каплан. Странно. И это, пожалуй, работает на версию автора. Как бы ни были в те горячие времена быстры на расправу, но казнить через день или два эсерку, стрелявшую в главу государства, — это не укладывается ни в какую здравую версию. Может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковое следствие было в интересах самой власти. Кто спешил и почему спешил, наспех казнив Фанни Каплан?

Обо всех этих сомнениях я ему рассказал. Он внимательно выслушал и вдруг воскликнул:

— Так вы и об этом знаете! — И, как бы боясь, что потом забудет, но важно, чтобы правда была полной, лихорадочно добавил: — Только Дзержинский тут ни при чем! Запомните! Запомните! Запомните!

— Ну, а как это было, если вы знаете?

Он тихо и подозрительно посмотрел по сторонам. Глаза его горели. Он наклонился ко мне и прошептал:

— Я вам все расскажу. Вы наш, хотя и сами не подозреваете об этом.

— В каком смысле?

— В прямом. В трудную минуту вы оказали нам неоценнимую помощь.

Казалось, он успокоился. Во всяком случае, выпрямился.

— Какую?

— Вы помогли мне напечатать стихи, которые отвергли все редакции. Тем самым вы помогли поддержать дух народа, теряющего всякую надежду. Народ ждет Ленина. Вы же любили в детстве революционные песни?

Он пронзил меня буравчиками глаз. Я похолодел от чудовищной догадки. Откуда он это может знать? Это первая глава моей новой вещи! Ее еще ни один человек не видел! Я ее оставил в Москве у себя на столе! Украли! Украли! Никакого сумасшедшего не было и нет! Он оттуда! И стихи

о Ленине были проверкой на лояльность! Но я случайно вывернулся тогда! Чего они хотят? Проверяют степень стойкости к безумию? Глупость! Держать себя в руках!

— Да, — сказал я, стараясь скрыть волнение, — я в самом деле в детстве любил революционные песни. Но откуда вы знаете это?

— Я все знаю, — сказал он, насмешливо глядя на меня. — Но почему вы смутились? Стыдитесь? Запомните, тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен. Я тоже любил! Так, как я, никто их не мог любить!

Вместе с этими словами буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопрошающая, умоляющая тоска по разуму. О, как я знал это выражение по глазам дядюшки! Бывало, я дразнил его, переодевшись в чужие одежды. Он смотрит на меня и узнавая, и не узнавая меня, и глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее. Господи, прости!

И сейчас казалось, двойник Ленина в невероятной тоске по разуму намекает на причину своего безумия и отсылает к подлинному Ленину, пытаясь уверить, что и его ошибки имеют тот же благородный источник.

Нет, брат, подумал я, этот номер не пройдет. А что касается песен — он прав. В самом деле, так и есть: тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен! И тот дурак, кто, будучи взрослым, не понял, что хорошая революционная песня отражает религиозную тоску по братству и обновлению жизни. Она не виновата в кровавом фарсе революции. И нельзя винить ее, даже если она способствует революционным страстям. Где граница? Нет границы! Это все равно что винить разум в том, что иные люди слишком пристально вглядываются в будущее и видят там свою могилу. Виноват ли разум, хотя, не будь разума, человек не знал бы, что он смертен? Значит, он сам в конечном итоге должен найти равновесие между бездной жизни и бездной небытия. Так и в искусстве, так и в песне.

Мой собеседник опять затравленно огляделся и низко наклонился над столом, приглашая меня сделать встречный наклон.

— Посмотрите сюда. Только вам, — сказал он доверительно.

Двумя пальцами сильной, загорелой руки он оттянул край тельняшки у горла, приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит — не оставалось сомнения.

— Тише! К нам идут! Ни слова! — прошипел он и, бросив тельняшку, выпрямился над столом.

К нам быстро подошла наша разгневанная официантка.

— Вы опять за свое? — закричала она. — Я видела, что вы показывали! Я вас выведу отсюда!

— А что я показывал? — удивленно развел руками мой собеседник. — Я показывал на след от фурункулов. Маркс тоже, когда работал над «Капиталом», страдал от фурункулов. «Дорого обойдутся мои фурункулы буржуазии», — говорил он в те времена.

— Значит, теперь Марксом заделались, — сказала официантка, явно сбавляя тон. — Господи, что за человек!

Она отошла, как бы примиряясь с меньшим злом.

— Конспирация, конспирация и еще раз конспирация, — сказал мой собеседник, явно довольный собой.

— Так, значит, стреляли в вас?

— А в кого же еще?

— Но ведь с тех пор прошло столько времени, — сказал я вразумительно, — разве вы похожи на человека, которому больше ста тридцати лет?

Он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи.

— Мой настоящий биологический возраст, — сказал он, стараясь быть четким, — это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили.

— Разморозили?

— Конечно. Это длинная история. Но вы наш, вы еще послужите пролетарскому делу. Восстание близится, хотя день и час даже вам не могу открыть. Но оно неминуемо... Тяжелый кризис...

— Что, есть такая партия? — спросил я неожиданно, чтобы застать его врасплох.

— Есть! Есть! — ответил он, не только не смущаясь, а, наоборот, радостно распахиваясь. — Только она сейчас в глубоком подполье.



Он стал быстро-быстро черпать ложкой мороженое, отправляя его в свой губастый рот. И теперь казалось, что в сладости мороженого он чувствует сладость восстания.

— Кто вас заморозил и кто вас разморозил? — спросил я, стараясь быть как можно более четким.

Глаза его горели решительно и мрачно. Он резким движением отодвинул опустевшую вазочку с мороженым.

— Это долгая история, — глухо начал он. — В чем трагедия Ленина? Недоучел силу властолюбия большевиков. По ленинскому плану революция должна была иметь два этапа: разрушительный и созидательный. Сначала на первый план выходят боевики. Они захватывают власть. А на втором этапе — созидатели. Но как только Ленин попытался начать замену, случилось покушение... За это я и получил пули...

Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил:

— Кстати, Плеханов жив?

Я не успел ответить, как он сам себя поправил:

— Умер! Умер! После заморозки память пошаливает. Иногда события, которые я пережил, кажутся мне рассказанными другими людьми. А события, которые происходили во время моей заморозки, кажутся мне происходившими на моих глазах... Так вот за это в меня и стреляли... Но были и верные люди. Особенно среди немецких товарищей. После ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда я стал выздоравливать, они подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня. А меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции.

— Неужели, — спросил я, — вожди Октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно!

— Конечно, — согласился он, — а что им оставалось делать? Было совещание Политбюро. Сталин тогда сказал: «Пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина. Стаж его работы не будет утомительным. А мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей. Камо придется ликвидировать. Он дикий. Он будет кричать: «Я знал Ленина! Это ненастоящий Ленин!»

В это время к нашему столику подошел один из парней, сидевших справа от нас. Это был краснорубашечник. Обращаясь к моему собеседнику с наглой почтительностью, он спросил:

— Скажите, пожалуйста, группа местных студентов интересуется: что делал Ленин первого сентября семнадцатого года?

Мой собеседник словно выпрыгнул из воды. Он стремительно повернулся к парню и заговорил горячо и толково, насколько толково можно было говорить в рамках учения.

— Более актуального вопроса вы не могли задать, молодой человек! — воскликнул он. — Слушайте и запоминайте — это почти сегодняшний день! Первого сентября семнадцатого года в газете «Пролетарий» появилась ленинская статья, где он критикует выступления Мартова на заседании ЦИК Советов.

Мартов утверждает, что Советы, видите ли, не могут в данный исторический момент бороться за власть, ибо идет война с Германией. Борьба за власть могла бы, по Мартову, привести к гражданской войне.

Тю! Тю! Тю! Тю! Нашел, чем нас испугать! Цыпленок вареный, цыпленок жареный... По Мартову получается, что мы, революционные демократы, должны сейчас в противовес давлению правых сил на правительство создать контрдавление. Ай! Ай! Ай!

Узнаёте наших сегодняшних либералов, молодой человек? Получается, что правительство борется с крайностями, как левыми, так и правыми. Как будто правительство не в руках у правых сил! Вот она, филистерская мудрость, вот он, урок сегодняшним правым и центристам! Ленин призывал брать власть в свои руки, не считаясь с войной, не считаясь с филистерской мудростью добренького Мартова! Вы поняли, в чем суть выступления Ленина, молодой человек?

— Да, конечно, — сказал краснорубашечник, — я передам ребятам ваши слова.

— Идите и передайте, и пусть они действуют в согласии с Лениным!

Пока он говорил, молодой человек слушал его, исполненный издевательской почтительности. Друзья его тряслись от тихого хохота. Тот, что был лицом ко мне, прятал-

ся за тем, что сидел спиной ко мне. Было приятно и удивительно, что они все-таки немного стыдились своего розыгрыша.

— Вся надежда на них, — кивнул мой собеседник в сторону удаляющегося краснорубашечника. — Давайте выпьем за них.

Я разлил коньяк. Мы подняли рюмки, и он вдруг вспомнил:

— А наш патриот спелся с Мартовым... То же самое говорил... Говорит...

— Кто патриот? — не понял я.

— Да Плеханов Георгий Валентинович, — ответил мой собеседник, — он всю мировую войну стоял... и стоит... Нет, стоял, но не стоит...

Мутное безумие заволокло его глаза. Он взглянул на меня умоляющим и как бы стыдящимся того, о чем он умоляет, взглядом:

— Он жив?

— Умер, — сказал я, как можно более просто, чтобы не травмировать его. Я это сказал так, как если бы смерть произошла на днях и он, естественно, мог еще об этом не знать.

Он быстро поставил рюмку и обеими ладонями ударил по столу.

— Да! — воскликнул он вместе с ударом по столу, вспыхивая разумом. — Как я мог забыть! Наш барин не выдержал обыска матросов! Выпьем за молодежь, штурмующую будущее!

Мы выпили, и я почему-то подумал, что тельняшка моего собеседника как-то связана с этим обыском матросов у Плеханова. Поставив рюмку, он из последней точки безумия легко перелетел в предыдущую и продолжал:

— На этом и решили. Не объявлять же народу, что Ленин выкрали. Народ мог восстать против правительства, у которого выкрали Ленина. Тут мы Сталина перехитрили.

— А Крупская знала об этом?

— Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни, как в Шушенском, так и за границей. Жизнь в Шушенском он освоил легко. По аналогии. Но заграничная давалась туговато.

— А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?

— Конечно, догадывался, — кивнул он, шумно прихлебывая из второй вазочки растаявшее мороженое, — он ее шантажировал, чтобы она выдала мое местопребывание. «Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове, — говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд. — Или вы нам откроете местопребывание настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца».

Но Наденька молчала, как партизанка. Особенно он допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня.

— Какой Гриша?

— Григорий Зиновьев.

— Так он принимал участие в похищении?

— Знал, но не участвовал.

— А Каменев?

— И знал, и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись.

— А Троцкий?

— Нет, нет и нет! Я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш.

— Что же вы делали в Германии?

— Я был занят по горло. С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику. А с другой стороны, после подавления революции готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Не удивляйтесь. Мое положение было архисложным. То, что я Ленин, знали только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Лонжюмо. Это была трагедия, достойная Шекспира!

Живой Ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят: «Найн! Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов!» Я им говорю: «Ленин меняется в согласии с диалектикой!» А они мне: «Найн, найн, Ленин никогда не меняется!» Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили.

После прихода Гитлера к власти немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна впредь до

нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге в конспиративной квартире...

Тут он вдруг запнулся и, взглянув на меня светлым, бытовым взглядом, сказал:

— Вы же депутат? Не могли бы вы, под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жилплощадь? Мне нужна конспиративная квартира.

— Нет, — сказал я твердо, — этим должны заниматься местные советы.

Я здорово обжегся на этой помощи. Одна женщина пришла ко мне домой с жалобой на свои квартирные дела. Она была с замученным ночевками где попало ребенком. Оказывается, она уже много раз приезжала из провинции и подолгу жила в Москве, таскаясь со своим ребенком и со своей жалобой по разным учреждениям. Горсовет отобрал у нее одну из комнат ее квартиры, считая, что она получена была не вполне законным путем. Я сделал для нее все, что мог. Связался с горсоветом ее города, написал письмо в Верховный Совет, оттуда направили в ее город комиссию. Но ничего не помогло. Вероятно, ее хлопоты не имели достаточных юридических оснований, а может быть, обычное наше крючкотворство.

Но тут она потребовала у меня, чтобы я устроил ей личную встречу с председателем Верховного Совета. Я, естественно, этого не мог сделать и отказал ей. И вдруг она стала звонить мне чуть ли не каждый день и говорить чудовищные непристойности. Мне эти звонки страшно надоели, и я рассказал о них одному знакомому, работающему в административной сфере. Он дал мне телефон милицейской службы, как будто занимающейся именно такими делами. Я позвонил и, не называя имени женщины, рассказал об этих гнусных звонках. Человек, который говорил со мной, так хищно заинтересовался этим делом, что я дал задний ход. Мне стало жалко эту, по-видимому, все-таки больную женщину. Я сказал, что пока не стоит этим заниматься, но, если она снова будет звонить, я с ним свяжусь.

И вдруг эти подлые звонки, которые длились больше месяца, как рукой сняло. Я не называл ее имени, а московского адреса у нее вообще не было. Как это понять? Случайное совпадение? Или кто-то знающий о моем те-

лефонном разговоре с милицейской службой сказал ей: «Хватит».

— Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел, — продолжал мой собеседник, — а в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня Берлинской стеной...

Снова подошел к нам молодой человек в красной рубашке. На этот раз, извиняясь, он охватил взглядом нас обоих, и я почувствовал, что сфера насмешки расширилась.

— Извините, что прерываю вашу научную беседу, — сказал он, — но мы, студенты, интересуемся, что делал Ленин девятого марта девятьсот девятого года?

— Не менее актуально, — радостно воскликнул мой собеседник и махнул рукой в том смысле, что в какой день жизни Ленина ни ткни, все наполнено смыслом грядущего. — В этот день Ленин написал письмо своей старшей сестре Анне Ильиничне. Накануне он приехал в Париж из Ниццы, где ему удалось хорошо отдохнуть, что редко с ним случалось. По существу, сестра была редактором его книги «Материализм и эмпириокритицизм», которая выходила в издательстве Крумбюгеля. Ленин уже тогда боролся с поповщиной и просил сестру не смягчать его формулировок против Богданова и Луначарского.

А сейчас поповщина захлестнула нашу прессу. Недавно на экране телека — стоит в церкви большевик и держит свечу, как балбес. И в немалых чинах большевик. Спрашивается: если ты большевик, то что тебе надо в церкви? А если ты верующий, то какой же ты большевик? Как говорится в народе: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Хотя, с другой стороны, потому-то наш идеологический огород порос бузиной, что дядя уехал в Киев или подальше куда. Но ничего! Скоро приедет! Полоть будем бузину, беспощадно полоть! Так и передайте товарищам!

— Спасибо, обязательно передам.

Он повернулся и пошел к своим друзьям, стараясь солидно вышагивать. Друзья уже тряслись от тихого хохота.

Меня вдруг осенило спросить собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе.

— Скажите, — обратился я к нему, — после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется: как вы сюда попали? кто вы? откуда?

— Вы имеете в виду прописку? — спросил он и рассмеялся. — Прописка для подпольщика не препятствие. В этом городе такса — пять тысяч.

— При чем тут прописка? — сказал я, стараясь быть как можно вразумительнее. — Вы же новый человек, а вас принимают за старожилу.

— Очень просто, — удивляясь моему удивлению, развел он руками. — Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него. Он в заморозке.

— Но ведь, если другие люди вас принимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться? — спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу.

Он откинулся и опять расхохотался ленинским детским смехом. Отсмеявшись, стал утирать слезы кулаком, а потом сказал:

— Да никакой матери! Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас девяносто шесть лет, а тогда было чуть за двадцать. У нее была своя маленькая драма. Чертовка Коллонтай отбила у нее возлюбленного. Она плакала на моей груди. Но что я мог сделать? Я вызвал Коллонтай и поговорил с ней. Но она, бой-баба, в ответ мне: «Революция в личную жизнь не вмешивается. Если вы поставите этот вопрос на Политбюро, я выдвину встречный! Почему вы после победы революции расстались с Инессой Арманд? Это не по-рыцарски».

Разве ей объяснишь, что председатель Совнаркома — это не эмигрант-революционер. На него смотрит весь мир, еще слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. Именно чтобы победить этот мир, приходится с ним считаться до поры. «Ладно, идите», — сказал я ей. А что я мог сделать? Пришлось пойти на похабный мир с Коллонтай.

Иногда я своей старушке напоминаю о тех славных денечках, а она, бедняга, тихо плачет и причитает: «Степушка, что с тобой сделали большевики? Зачем я отдала тебя в институт? Зачем не спала ночей, обстирывала соседей? Будь проклят твой учитель истории! Он говорил: «У Степы волшебная память. Он будет большим ученым». Что ж ты обеспамятел, сынок? Что с тобой сделали большевики?»

«Да не большевики, — говорю, — мамочка, а термидор. Потерпи до победы. Уже скоро. И Сталин получит свое, и Коллонтай. Я специально напишу статью об ошибках Коллонтай».

А она упрется головой в ладонь и плачет: «Сыночек, что с тобой сделали большевики!»

И я в конце концов выхожу из себя: «Мамочка, не надо путать большевиков с термидором. Это грубая ошибка. Мамочка, никакая ты мне не мамочка. Моя мамочка давным-давно лежит в Ленинграде, на Волковом кладбище!»

«Лучше б я лежала на Волковом кладбище, — плачет она, — лучше б она здесь сидела и видела это».

— Хорошо, — сказал я, пытаюсь прервать его, — а где же настоящая мать Степана Тимофеевича?

— В заморозке, — сказал он бодро и добавил: — Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил.

— А мать? — спросил я.

— А мать выводить из заморозки нерентабельно, — сказал он, хозяйственно разводя руками, — ей почти восемьдесят пять лет.

Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло.

— Так, значит, после покушения Каплан до смерти в Горках не вы правили страной?

— Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внес отсебятину, но в общем правильно двигался к нэпу...

— Вы уж помолчали бы о нэпе, — не выдержал я. — Разве это реформа великого государственного деятеля? Это все равно что в овчарню, где в одном углу сгрудились овцы, а в другом волки, входит пастух и говорит: «Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгодней стричь, продавать шерсть и покупать мясо. Нэп всерьез и надолго». Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно — живое, дымящееся мясо. Великий государственный деятель потому и велик, что он создает законы и способы управления, которые нелегко разрушить.

Пока я говорил, он слушал меня, поощрительно кивая, иногда как бы пытаюсь движением головы помочь мне глубже черпануть истину. Самое удивительное, что эти по-



ощерительные движения головы и в самом деле помогали сформулировать то, что я хотел сказать, хотя направлены были как будто против него.

— Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель, — сказал он, — разрешите записать. Я это сравнение использую в первом же своем докладе после переворота. Тем более что я сам так думаю.

Он выщелкнул из-за ворота тельняшки авторучку, вынул из кармана блокнот и, склонив голову, стал быстро-быстро записывать. Я почувствовал, что устал от него, и разлил коньяк. Он четким шлепком захлопнул блокнот, положил его в карман и заткнул авторучку за край тельняшки. Мы выпили не чокаясь.

— Волки, — вдруг сказал он грустно и поставил рюмку на столик, — а как без волков возьмешь власть? Мои инструкции хронически запаздывали: то шифровальщик напутает в Германии, то расшифровщика арестуют в Москве... Только, ради бога, не говорите мне о коллективизации, голоде, тридцать седьмом... Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал... А вы знаете, где сейчас Сталин?

— Как — где? — сказал я. — В могиле у кремлевской стены, куда его перенесли из Мавзолея, где он лежал рядом с Лениным...

Тут я запнулся и посмотрел на него, понимая некоторую нелепость или даже бестактность этой фразы в данном случае. Он мгновенно угадал, почему я запнулся, и залился знаменитым ленинским детским смехом.

— Ничего-то, батенька, вы не знаете! — проговорил он, сияя и сверкая буравчиками глаз. — И никогда он не лежал в Мавзолее с Лениным или без Ленина, тем более что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в Мавзолее и в Гамбурге в заморозке? Абсурд! Там лежал и лежит тот самый сормовский товарищ. И положил его туда Сталин. А сам Сталин сейчас в Пентагоне...

— Как — в Пентагоне? — не понял я.

— Пока в глубокой заморозке, — сказал он, — но в нужный для Америки час они его разморозят. Возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, ес-

ли наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная. Я дам ему последний бой и за все отомщу.

С этими словами он опустил глаза и достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. Щелкнул крышечкой, метнувшей солнечный зайчик, и посмотрел время. Снова щелкнул крышечкой и спрятал часы.

— Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, — сказал он, — а потом я приду и расскажу, как Сталин от Берии удрал к Франко и как его там заморозили. Ждите и помните, что вы наш. Вы еще пригодитесь для пролетарского дела.

— Ничего не понимаю, — сказал я и вздрогнул, чувствуя холодок неведомой заморозки.

— Поспешись сказать — опоздаешь сделать, — загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу, рябя на солнце своей тельняшкой.

\*\*\*

Жирная, мускулистая спина, обтянутая тельняшкой, решительно удалялась. Глядя на нее, я подумал: миром правит энергия безумцев.

Но если мир все еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа, может быть, всего удивительней то, что уровень понимания человека высок, но не завышен.

Что бы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не как Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Если что и было в его учении божественного, так это точность в понимании реальных возможностей человека.

Было бы странно и непоследовательно, если бы он, будучи Божьим Сыном, принял смерть именно как человек, а учение, которое он оставил людям, было бы результатом божественного откровения. Как раз потому, что он учение свое создавал на основании пусть и гениального, но человеческого опыта, он и смерть принял как человек — неохотно, томясь духом, тоскуя.

Уподобляясь древним грекам, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну: «Что-то я перестал пони-

мать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что десять умных рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди как человек весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку прикрою вообще».

Кажется, подвиг Христа был бы гораздо убедительней, если бы он, родившись человеком, забыл, что он Бог, и люди узнали бы об этом только после его воскресения. Но это только кажется.

Если бы Христос не знал, что он Богочеловек, не было бы не только подвига его человеческой смерти, но не было бы и подвига снисхождения Сильного к Слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более что мы понимаем: при повышенной тупости учеников он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей. Но он не прервал урок, его прервали.

Человек ужасно не любит снисходить. И чем упорнее, обдирая ногти, он карабкается вверх, тем неохотнее он снисходит к тем, кто внизу. Но чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он снисходит к слабым. По легкости снисхождения к слабым мы познаем истинную высоту человека.

При всей своей внешней простоте учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается.

Человек живет, преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды, пусть иногда и широко понятую.

Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге, но это настоящая жизнь, без обмана и самообмана, где тише едешь — дальше будешь.

Человек, следующий логике выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом чем шире логика выгоды, скажем, якобы выгода всего человечества, тем глуше уколы совести. Человек, следующий логике выгоды, видит ясные стреловидные дорожные знаки, не подозревая, что это вытянутые змеи и они могут привести только к змеиному гнездовью.

Рационалистическая организация общества — это та же логика выгоды, разумеется, широко понятая. Она все-

гда сводится к тому, что, прежде чем поднять человека, на него надо наступить.

Но если рационалистическая модель общества сводится к тому, что на человека надо наступить, прежде чем его поднять, — не является ли само желание наступить на человека подсознательно первичным, а вся остальная модель разумного общества — наукообразным оправданием этого желания?

Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь. Ленин развлекается охотой. Страшно азартен. Осенний Енисей. Идет мелкий лед, шуга. Ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок, где полно застрявших там и уже выбеленных зайцев. Они стреляют по зайцам. Зайцы мечутся по островку. Им некуда деться. Они мечутся, как овцы, простодушно пишет Крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным, потому что бег зайца совсем не похож на бег овцы. Но зайцы в этих условиях бестолково мечутся и обречены, как овцы. Отсюда и сравнение с овцами.

Охотники стреляют и стреляют по зайцам. Набили полную лодку зайцев, пишет Крупская. Из ее слов видно, что так бывало не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев? Это важно.

Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь. А дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. Прообраз грядущей России.

Владимир Ульянов дворянин. Образованный человек. Нет никакой возможности сказать, что он не ведает, что творит. Здесь мы видим более или менее заверщенного Ленина. Натура в чистом виде.

Но когда он стал собой? Я думаю, с юности он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. Охладев от азарта, он не мог иногда не почувствовать омерзение, может быть, не столько от своих поступков, их еще могло и не быть, сколько от мыслей о том или ином человеке, исполненных ненависти или презрения.

В то же время, будучи невероятно самолюбив, он не мог не заметить, что в учебе он гораздо одаренней многих. И

это окрыляло его и утешало. Временами, может быть, страдая от своего бушующего темперамента, он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям. Такое желание, я думаю, было, но до конца сгладить это противоречие он не мог. Мешало то воспитание, которое он получил в семье.

Учение Маркса его должно было ошеломить. Это был взрыв радостного самооправдания! Отныне он благодарно и ревностно будет до конца своих дней служить освободителю своей совести.

Если вся история человечества — это борьба классов, а гармоническое общество будущего — это победа пролетариата над буржуазией, то какая может быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая драчка! Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить по голове. Это дар прирожденного революционера.

В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социализма. Но караван может разбредаться, останавливаться, сворачивать. Нужен хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком каравана! Оставьте совесть и не оглядывайтесь на нее! Я знаю где, когда и как! Вот о чем кричат все его статьи и выступления.

Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровно и методично готовившимся к убийству царя. Он был убийцей, случайно не завершившим свой замысел.

Чем гадать, как мои чегемцы, а не был ли он, Ленин, мстителем за кровь брата, гораздо реалистичней предположить, что у них был общий склад темперамента. Недаром они так страстно резались в шахматы и радовались, когда превзошли отца в искусстве этой игры.

То, что я называю уровнем понимания человека, данным от природы, или этическим слухом, порождает определенный тип сознания. Подобно тому, как у Гамлета бесконечная рефлексия вытесняет и отодвигает решительные действия, есть противоположный тип сознания, когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлекссию.

Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником Кобой, пока тот в облики Сталина не стал угрожать ему самому, провокатором Малиновским, пусть он и не знал, что тот провокатор, — все это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводили его в восторг. Это видно по письмам его и запискам.

Сильный уголовник может долго обдумывать, как лучше ограбить кассу, но, сколько бы он это ни обдумывал, тут нет рефлексии, а есть попытка овладеть технологией своего замысла. Ленин был человеком уголовного типа сознания. Ни образование его, достаточно обширное, ни грандиозный социальный переворот, который он совершил, не должны заслонять от нас этой истины.

Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина семнадцатого года с изображением Пугачева. Те же раскосые глаза и затаенное лукавство. Но тогда я не только о Ленине, но и о Пугачеве так не думал. Удивительно не то, что историей чаще всего двигали люди уголовного типа, — гораздо удивительней то, что иногда ее двигали и благородные люди.

\*\*\*

Пока я думал о Ленине в ожидании его безумного двойника, в «Амру» вошла красивая юная женщина, катя перед собой коляску. Она остановилась у входа, оглядывая столы. Явно кого-то искала.

— Ребята, атанда! — сказал один из молодых людей. — Пришла жена Бочо. Если она увидит, что он привез сюда одних девушек, будет шухер. Пригнитесь, чтобы она не заметила нас. Может, уйдет.

— Уже заметила!

— Зурик, сними свою рубаху и помахай ему, чтобы не подходил сюда!

— Он не поймет!

— Поймет! Поймет! Скорей!

Парень в красной рубахе неохотно встал, отошел к концу «Амры», стянул с себя рубаху и стал махать ею в воздухе. Женщина, катя перед собой коляску, подошла к

ребятам. Она остановилась возле их столика, поздоровалась и спросила:

— Ребята, Бочо не видели?

— Нет, а что?

— Он мне нужен. Он иногда здесь подхалтуривает.

— Нет, его здесь не было. Он, наверное, на пляже халтурит.

Женщина присела на место краснорубашечника. Тот продолжал лениво махать своей пламенной рубашкой. Чувствовалось, что он не верит в эту затею.

— Наташа, это правда, что вы с Бочо открываете кофейню? — спросил один из ребят.

— Правда. Закажи мне кофе, Даур.

Тот молча встал и пошел заказывать кофе.

— Папа мой дал нам деньги, — сказала юная женщина и, протянув голые струящиеся руки, что-то поправила в коляске, — Бочо ищет помещение для аренды. Как вы думаете, справимся?

— Конечно, — в один голос сказали оба приятеля. А потом один из них добавил: — Спокуха, Наташа. Если Бочо будет хозяином кофейни, народ отсюда попрет туда. Люди будут платить деньги только для того, чтобы послушать его хохмы. Твой муж любимец города. Можешь им гордиться.

— Да, но, — сказала юная женщина и посмотрела в коляску, — пора серьезным стать. Тридцать лет, двое детей, а у него все хохмы на уме.

Тот, что пошел за кофе, принес чашечку дымящегося кофе и осторожно поставил перед женщиной.

— Спасибо, Даур, — сказала молодая женщина, взяв чашечку, и осторожно отхлебнула.

— У нас будет кофе лучше, — сказала она. Раздался шум приближающегося глссера. Пламя рубашки у того, что стоял в конце «Амры», заметалось в руке, как от ветра.

— У вас будет лучшая кофейня в городе! — с пафосом сказал тот, что с ней разговаривал. Он тоже явно услышал шум приближающегося глссера.

— Лучшая не лучшая — будем стараться, — сказала юная женщина и снова отхлебнула из чашечки.

— Весь город будет ходить только к вам! — восторженно сказал тот, что с ней разговаривал. — Послушать Бочо — лучшего кайфа не надо!

Шум глissера приближался. Пламя рубашки металось, как под ураганным ветром.

— Он слишком старается всем понравиться, — рассудительно сказала женщина, — так тоже нельзя. Надо больше семье внимания уделять.

Шум глissера нарастал. Тот, что махал рубашкой, теперь, казалось, горячей головешкой отбивается от дикого зверя. Женщина что-то почувствовала и посмотрела в сторону моря. Но, видимо, решив, что глissер ее мужа не единственный в бухте, она перевела взгляд на коляску.

— Все ребята знают, что Бочо верный муж! — воскликнул ее собеседник. — Он не гуляет.

— Попробовал бы, — грозно сказала юная женщина, снова прислушиваясь к шуму глissера и как бы отчасти обращаясь к нему.

Шум глissера с визгом смолк у самой пристани «Амры». Пламя рубашки бессильно повисло на руке сигнальщика.

— Город гордится твоим мужем! — в отчаянии крикнул тот, что успокаивал жену Бочо.

В это время голова Бочо появилась над перилами «Амры». Не замечая жены, он весело крикнул:

— Девушки, где вы?

Несколько девушек подбежали к нему. Жена его, чуть пригнувшись, замерла над столом. Теперь это была юная пантера перед прыжком. Дав девушкам добежать до мужа, она взвизхилась и полетела в его сторону, крича:

— Какие тебе девушки, подлец!

Разметав девушек, она схватила мужа за волосы и, что-то крича, стала выволакивать его на палубу «Амры». Ребята побежали вслед за ней. Но она успела выволочь его на палубу ресторана. Она продолжала трясти его, вцепившись в волосы.

— Ты что? Ты что? Я работаю! Я зарабатываю на детей! — доносился его растерянный голос.

— «Девушки, где вы?» — с презрением передразнивая его, кричала она, продолжая дергать его за волосы, словно пытаясь снять с него скальп. Наконец подбежавшие ребята разняли их и подвели к своему столику.

Вид у Бочо был растерянный. Волосы уцелели, но были всклокочены.



— Ишачу целый день на семью, и вот тебе благодар-  
ность, — сказал он, усаживаясь.

— Тогда при чем тут девушки? — все еще тяжело дыша,  
грозно посмотрела на него жена. — Что, они платят боль-  
ше? Ты что, сутенер?

— Ладно, Наташа, успокойся, — сказал тот, что и до  
этого ее успокаивал.

Он взял ее за руку и усадил рядом с собой.

— Слушай, человеку тридцать лет. Двое детей, — сказа-  
ла она, усаживаясь, но все еще доклокатывая. — А он толь-  
ко и знает — «девушки, где вы?»!

— Ладно, Наташа, выпьем по кофе, и успокойся, — ска-  
зал тот, что и до этого ее успокаивал. — Тебе ли ревновать?  
Ты же красавица!

— Не в этом дело. Мне надо в поликлинику, я не могу на  
третий этаж поднимать коляску. Пришла за мужем, а он —  
«девушки, где вы?»!

— Оставила бы коляску внизу, — сказал Бочо, уже ве-  
село озираясь. — Своим поведением ты мне портишь  
бизнес.

— Оставила бы внизу, — повторила она насмешливо, —  
сопрут такие, как ты. Вставай, пошли.

Неожиданно она сама встала, достала из коляски гре-  
бенку, подошла к мужу и стала причесывать его.

— Такая красавица — и такая ревнивая, — элегически  
заметил тот, что ее успокаивал.

— А ты что заладил: красавица, красавица! — сказал  
Бочо, явно наслаждаясь под гребенкой жены, как под  
струей теплого душа. — Наверное, пока меня здесь не бы-  
ло, ты ей назначил свидание. Жене друга назначил свидан-  
ие! А я еще хотел доверить тебе готовить в нашей кофей-  
не чебуреки. Тому, кто назначает свидание жене друга,  
нельзя доверять чебуреки.

Все рассмеялись.

— Будешь так себя вести, — сказала жена, дочесы-  
вая его гребенкой, — может, кто-нибудь и назначит  
свидание. Пошли, пошли, у нас времени нет. Чао, ре-  
бята!

Бочо встал. Он заглянул в коляску и сказал:

— Наследник лучшей кофейни Мухуса. Он спит, а ему  
уже бабули капают.

Бочо взялся за ручку коляски, и они пошли. Как только они скрылись из глаз, ребята стали высмеивать краснорубашечника.

— Бочо летит на глассере, а он машет рубашкой. Тоже мне матадор, — сказал Даур.

— А что я должен был делать? — ответил тот, смахивая пальцем невидимую пылинку с рубашки, хотя он ее так натряс, что на ней не могла остаться ни одна пылинка.

— Ты должен был бросить ее в воду. И тогда Бочо понял бы: случилось что-то ужасное, раз ты бросил в воду свою рубашку.

— А если бы рубашка утонула? — сказал Зурик.

— Поныряли бы, — ответил Даур, — или вызвали бы водолаза.

— Течением могло унести, — с дурашливой серьезностью поправил его хозяин рубашки и снова щелчком стряхнул с нее невидимую пылинку.



# Повести







# Созвездие Козлотура

Повесть

**В** один прекрасный день

я был изгнан из редакции одной среднерусской молодежной газеты, в которой проработал неполный год. В газету я попал по распределению после окончания института.

По какому-то дьявольскому стечению обстоятельств оказалось, что мой редактор пишет стихи. Мало того что он писал стихи, он еще из уважения к местному руководству выступал под псевдонимом, хотя, как потом выяснилось, псевдоним он взял напрасно, потому что местное руководство знало, что он пишет стихи, но считало эту слабость вполне простительной для редактора молодежной газеты.

Местное руководство знало, но я не знал. На первой же летучке я стал критиковать одно напечатанное у нас стихотворение. Я его критиковал без всякого издевательства, хотя, возможно, и с некоторым оттенком московского снобизма, что, в общем, простительно для парня, только-только окончившего столичный вуз.

Во время своего выступления я краем глаза заметил странное выражение лиц наших сотрудников, но не придал этому большого значения. Мне, честно говоря, показалось, что они поражены изяществом моей аргументации.

Возможно, мне все это и сошло бы с рук, если б не одна деталь. В стихах, написанных от имени сельского комсомольца, говорилось о преимуществах картофелекопалки перед ручным сбором картофеля.

По простоте душевной и даже литературной я решил, что это одно из тех стихотворений, которые приходят самотеком во все редакции мира, и в конце своего выступления, чтобы не совсем обижать автора, сказал, что все же для сельского комсомольца оно написано довольно грамотно.

Впоследствии я никогда не критиковал стихи нашего редактора, но, кажется, он мне не верил и считал, что я эту критику перенес в кулуары.

В конце концов, я думаю, он правильно решил, что для провинциальной молодежной газеты вполне достаточно одного стихотворца. Какого именно, в этом у него не было сомнений, как, впрочем, и у меня.

Весной началась кампания по сокращению штатов, и я попал под нее. Весна вполне подходящее время для сокращения штатов, но мало приспособленное для расставания с любимой девушкой.

Я был тогда влюблен в одну девушку. Днем она работала учетчицей в бухгалтерии одного военного учреждения, а вечером училась в вечерней школе. Между этими двумя занятиями она успевала назначать свидания, и, к сожалению, не только мне. Она разбрасывала эти свидания, как цветы.

Можно сказать, что в те годы она проходила сквозь жизнь с огромным букетом цветов, небрежно разбрасывая их направо и налево. Каждый получивший такой цветок считал себя будущим хозяином всего букета, и на этом основании возникало множество недоразумений.

Однажды мы встретились в парке и некоторое время гуляли по аллеям, обсаженным могучими старыми липами. Был чудесный вечер с далекой музыкой, с листьями, шуршащими под ногами, с расплывающимся в сумерках ее живым, смеющимся лицом.

Когда мы вышли из аллеи на освещенную фонарем площадку, я заметил группу ребят. Один из них, на вид наиболее сумрачный, отделился от своих дружков и направился к нам. Его сумрачное лицо сразу же мне не понравилось, я даже подумал, что лучше бы к нам подошел кто-нибудь из остальных, но подошел именно он.

Он приблизился к нам и молча, не говоря ни слова, влепил ей пощечину. Я бросился на него, мы сцепились, но потом подошли остальные и все испортили. Я был сбит с ног и порядочно помят. Так приостанавливают или предотвращают в наши дни дуэли.

Оказалось, что она в этом парке чуть ли не на это же время назначила ему свидание.

— Хорошо, но почему в этом же парке? — спросил я у нее, стараясь уловить какую-то логику в ее поведении.

— Не знаю, — ответила она, смеясь и нежно отряхивая мой пиджак, — но ведь и я тоже получила...

Я посмотрел на нее и горестно подумал, что ей все идет — от пощечины лицо ее сделалось еще более хорошеньким.

В последнее время ее преследовал один, как нам тогда казалось, пожилой майор. Она, смеясь, часто рассказывала о нем, и это меня тревожило. Я уже знал, что, если девушка слишком смеется над своим поклонником, а тот достаточно упорен, она может выйти за него замуж хотя бы под тем предлогом, что ей с ним весело. В упорстве майора я не сомневался.

Все это не слишком способствовало моему служебному рвению и давало некоторые внешние поводы для осуществления тайного замысла моего редактора.

Чтобы замаскировать свою пристрастность ко мне, редактор сократил вместе со мной нашу редакционную уборщицу, хотя сократить следовало двух наших редакционных шоферов, которые все равно ничего не делали, потому что месяцем раньше началась кампания по экономии горючего и им перестали выдавать бензин. Они до того обленились, что отпустили бороды и целыми днями, не снимая пальто, играли в шашки, сидя на редакционном диване, с лицами, развратно перекошенными от не проходящей похмельной скуки.

Там, где можно было на машине проскочить за материалом в один день, мы ездили в командировку на несколько дней, потому что кампанию по сокращению командировочных расходов тогда еще не проводили.

Так или иначе, сокращение состоялось, и я решил, что мне надо ехать на родину. Редакция щедро со мной расплатилась. Я получил зарплату, какие-то непонятные отпускные и гонорар за свои последние корреспонденции. В ту пору я еще жил студенческими представлениями о финансовом могуществе и поэтому решил, что по крайней мере на два месяца мне обеспечена полная независимость.

Я в последний раз проводил свою девушку до вечерней школы.

— Обязательно пиши, — сказала она и, в последний раз бросив мне ослепительную улыбку, исчезла в темном проеме дверей вечерней школы.

Я считал, что такая любовь, конечно, не зависит ни от времени, ни от разлуки. Все же я был несколько уязвлен ее мужеством, мне хотелось более ощутимых признаков ее привязанности, чем эта улыбка.

Вечер я провел на скамье городского парка, обдумывая свою прошедшую жизнь и мечтая о новой. Я сидел на сырой скамье в уже расцветающем, голом, холодном парке. Неожиданно из репродуктора полилась песенка Сольвейг. И пока она звучала, мне ничего не стоило легким, незаметным, может быть, чуть-чуть шулерским движением вложить душу Сольвейг в мою девушку.

Нет, думал я, мир, в котором создана такая песня, несмотря на все свои погрешности, имеет право на счастье и будет счастлив.

И довольно легкомыслия, думал я, надо принять участие в преобразовании мира, пора стать взрослым человеком, пора устраиваться на работу в настоящую взрослую газету, где занимаются настоящими взрослыми делами.

Надо сказать, к этому времени, независимо от моего сокращения, мне порядочно надоел псевдомолодежный словарь нашей газеты, ее постоянное бесплодное бодрячество.

Мне надоели все эти задумки вместо замыслов, живинки вместо живости, веселинки вместо веселья и даже глубинки вместо глубины. Черт знает что!

Нет худа без добра, думал я, теперь я стану настоящим журналистом, и она многое поймет и оценит.

Что именно она поймет, я представлял смутно, но то, что она оценит меня, казалось мне бесспорным.

Ночью друзья проводили меня на московский поезд. Согретый их прощальной лаской, я уехал в Москву, чтобы оттуда ринуться вниз, на родину, на благословенный юг.

В Москве мне удалось тогда проездом напечатать одно стихотворение, что по тогдашним временам было немалым успехом. С одной стороны, я наносил удар своему бывшему редактору, потому что он в Москве не печатал-



ся. С другой стороны, стихотворение шло на родину впереди меня и должно было сыграть роль визитной карточки в нашей газете «Красные субтропики», куда я собирался устраиваться.

— Да, да, уже читали, — сказал редактор газеты Автандил Автандилович, как только увидел меня в коридоре редакции. — Кстати, не собираешься ли ты вернуться в родные края?

Он, видимо, решил, что я приехал в отпуск.

— Собираюсь, — сказал я, и мы обо всем договорились. Мы договорились, что он меня возьмет, как только один старый сотрудник редакции уйдет на пенсию.

С месяц я гулял по берегу моря, ходил по пустынным пляжам, стараясь переложить на стихи свои не слишком веселые раздумья. Два моих письма, посланные ей, остались без ответа, и я самолюбиво замолчал. Правда, я еще написал письмо товарищу, с которым работал в молодежной газете. В письме я вскользь упомянул, что уже принят в настоящую взрослую газету, куда просил черкнуть о себе, если ему такое придет в голову. Кстати, писал я, если кое-кого случайно встретишь на улице, можешь сообщить об этом, разумеется, если найдешь уместным. В конце я передавал привет всем без исключения сотрудникам редакции. Письмо, по-моему, было выдержано в спокойных тонах с легким налетом мудрого снисхождения.

Воздух родины, насыщенный резким запахом моря и мягким женственным запахом цветущих глициний, успокаивал меня. Возможно, йод, растворенный в морском воздухе, благотворно действует не только на телесные, но и на душевные раны. Целыми днями я валялся на пустынном пляже и загорал. Иногда мимо меня проходили небольшими группами местные сердцееды. Они хозяйственно оглядывали пляж, они изучали его, как полководцы рельеф местности, где вскоре предстоят великие битвы.

Наконец человек, который должен был пойти на пенсию, согласился пойти, потому что в это время прошла небольшая кампания за то, чтобы люди, достигшие пенсионного возраста, действительно шли на пенсию. До этого он всячески бодрился, но тут ему пришлось согла-

ситься. Его торжественно проводили и даже купили ему резиновую надувную лодку. Правда, он еще намекал на спиннинг, но намек его остался непонятым, потому что надувная лодка и без того опустошила кассу месткома. Впоследствии он стал повсюду говорить, что его отправили на пенсию против воли и даже не подарили обещанного спиннинга, хотя спиннинга ему никто не обещал. Ему обещали подарить резиновую лодку — и подарили, а про спиннинг и речи не было.

Я об этом говорю так подробно, потому что в какой-то мере получалось, как будто я сел на его место, хотя я был принят как местный кадр и имеющий квартиру.

С работниками нашей газеты я был знаком не первый год, потому что еще студентом во время летних каникул неоднократно пытался заинтересовать их своими литературными произведениями. Заинтересовать, как правило, не удавалось, зато я кое-что узнал о наших сотрудниках.

Во всяком случае, я твердо знал, что редактор газеты Автандил Автандилович стихов никогда не писал и писать не собирается. Более того, он вообще за все время своего пребывания в газете, во всяком случае на моей памяти, ничего не писал.

Этот человек по самой природе своей был руководителем широкого профиля. Как и многие мои соотечественники, он обладал прирожденным застольным талантом. Высокий рост, кучерявые волосы, мужественная внешность делали его одинаково желанным, более того — необходимым как за банкетным столом, так и за столом президиума на больших собраниях. Он свободно говорил на всех кавказских языках, и тосты, которые он произносил, не нуждались в переводах.

До своего редакторства он руководил местной промышленностью, разумеется, в масштабах нашей маленькой, но симпатичной автономной республики. Вероятно, с делом своим он справлялся хорошо, может быть, даже очень хорошо, потому что появилась настоятельная необходимость его выдвинуть, и, когда открылась возможность, его сделали редактором газеты. Как прирожденный руководитель широкого профиля, он быстро освоил новое дело. Оперативность его была действительно необычайна. В нашей газете довольно часто появлялись пе-

редовые на важнейшие темы промышленности и сельского хозяйства одновременно с центральными газетами, а то и днем раньше.

Я, как и мечтал, был принят в отдел сельского хозяйства. В эти годы одна за другой в сельском хозяйстве проходили реформы. Мне хотелось разобраться во всем этом, понять, что куда идет, и стать в конце концов настоящим знатоком своего дела.

Руководил отделом Платон Самсонович. Не следует удивляться его имени. У нас таких имен пруд пруди. Видимо, они у нас остались еще со времен греческой и римской колонизации Черноморского побережья.

Я знал его и раньше — это был тихий и мирный человек, мы часто с ним ловили рыбу. Более опытного и умелого рыбака на нашем побережье я не знал.

Но ко времени моего поступления в редакцию он совершенно изменился: про рыбалку не вспоминал и даже продал свою лодку. Он ходил по редакции лихорадочно возбужденный, с каким-то сумрачным блеском в глазах, с многозначительно поджатыми губами. Он и всегда был человеком небольшого роста, правда, жилистым и крепким. Теперь он совсем усох, стал еще более жилистым и как бы наэлектризованным.

Дело в том, что в это время проходила кампания по разведению козлотуров, и он был первым пропагандистом этого дела.

Вот как это началось. Года два назад Платон Самсонович побывал в одном горном заповеднике и привез оттуда небольшую заметку о селекционере, которому удалось скрестить горного тура с обыкновенной козой. В результате появился первый козлотур. Он спокойно пасся среди домашних коз, не подозревая, какое великое будущее предназначила ему судьба.

На заметку в газете никто не обратил внимания, но, оказывается, один большой человек, хотя и не министр, однако никак не меньше министра по значению, прочел ее. Он каждый год отдыхал у нас на Оранжевом мысе. Он прочел ее и сказал вслух:

— Интересное начинание, между прочим...

Теперь уже трудно установить, обращался ли он с этими словами к окружающим или просто так вымолвил

вслух то, что ему подумалось, но на следующий день Автандилу Автандиловичу позвонили и сказали:

— Поздравляем, Автандил Автандилович, он сказал, что это интересное начинание, между прочим.

Автандил Автандилович созвал сотрудников и в праздничной обстановке объявил благодарность Платону Самсоновичу. Кроме того, он срочно командировал его вместе с нашим фотокором, с тем чтобы он теперь привез развернутый очерк о жизни козлотура.

— Не исключено, что в будущем козлотуры займут достойное место в нашем народном хозяйстве, — сказал Автандил Автандилович.

Через неделю в газете появился очерк под заголовком «Интересное начинание, между прочим». Очерк занимал половину газетной полосы и был снабжен двумя крупными фотографиями козлотура — анфас и в профиль. В профиль морда козлотура была похожа на лицо вырождающегося аристократа со скептически оттянутой нижней губой. Анфас морда козлотура с мощными, великолепно загнутыми рогами выражала как бы некоторое недоумение. Казалось, козлотур сам не может понять, кто он в конце концов, козел или тур, и что лучше: становиться козлом или оставаться туром.

В очерке подробно рассказывалось о его дневном рационе, о его трогательной привязанности к человеку. Особенно много говорилось о его преимуществах перед обычной козой.

Во-первых, он в среднем в два раза тяжелее обычной козы (решение мясной проблемы), во-вторых, он отличается исключительной крепостью конституции, что делает в будущем выпас козлотуров на самых крутых горных склонах практически безопасным. В этом месте, кстати, отмечалось, что благодаря мягкому, спокойному характеру животного выпас козлотуров не представляет большого труда и один пастух может справиться с двумя тысячами козлотуров.

О шерстистости козлотура Платон Самсонович писал в игривых тонах. Он писал, что густая шерсть белой и пепельной окраски — дополнительный подарок нашей легкой промышленности. Оказывается, жена селекционера связала себе кофточку из шерсти козлотура, и выглядит

эта кофточка, по мнению Платона Самсоновича, ничуть не хуже импортных. «Модницы будут довольны», — уверял он.

В очерке отмечалось, что козлотур сохранил высокую прыгучесть своего знаменитого предка, а также красоту рогов, которые после определенной обработки могут служить украшением или прекрасным сувениром для туристов и доброжелательно настроенных иностранных гостей.

Я перечитал все материалы, посвященные козлотуру, и должен сказать, что этот очерк был самым красочным. Платон Самсонович вложил в него всю свою душу.

Видимо, очерк вызвал большой приток читательских писем, потому что вскоре в газете появились две новые рубрики: «По тропе козлотура» и «Посмеемся над маловеерами». В первой рубрике печатались положительные отклики и комментарии к ним. Во второй рубрике цитировались письма скептиков, и тут же им давалась отповедь.

Под рубрикой «По тропе козлотура» было опубликовано письмо одного ученого, который писал, что лично его нисколько не удивляет появление козлотура, потому что все это давно предвидели последователи его агробологии, тогда как некоторые ученые, находящиеся в плену у сомнительных теорий, не предвидели, и, естественно, не могли предвидеть, ничего такого.

В заключение великий ученый сообщал, что козлотур подтверждает правильность и его собственных опытов.

Это был знаменитый наш ученый. В свое время он выдвинул гипотезу, что современный баран — это не что иное, как первобытный ящер, видоизменившийся в борьбе за существование. Гипотезу он доказал на основании, кажется, сравнительного анализа лобных пазух современного барана и черепа ископаемого ассирийского ящера.

Отсюда великий ученый сделал естественный вывод, что курдюк барана как видоизменившийся хвост ящера должен был сохранить некоторую способность восстанавливаться. Предстояло развить эту способность, с одной стороны, и приучить организм барана к безболезненному отрыву курдюка, с другой стороны. Этим он и был занят в последние годы. Судя по всему, опыты проходили успешно.

Правда, находились и завистники, которые жаловались, что гениальные эксперименты великого человека никто не может повторить. Жалобщикам вполне резонно отвечали, что эксперименты потому-то и гениальные, что их никто не может повторить.

Одним словом, поддержка великим ученым нашего козлотура была своевременна и благотворна.

Под этой же рубрикой было опубликовано письмо какой-то женщины. По-видимому, она ничего не поняла из статьи Платона Самсоновича или судила о ней понаслышке, потому что спрашивала, где можно купить кофточку из шерсти козлотура. Редакция вежливо разъяснила ей, что пока еще рано говорить о промышленном производстве кофточек, но само по себе ее письмо должно заставить призадуматься хозяйственные организации и уже сегодня начать подготовку к приему и обработке шерсти козлотура.

Здесь же было опубликовано письмо коллектива работников городской бойни, поздравлявшей тружеников сельского хозяйства с новым интересным начинанием. Работники бойни предлагали взять шефство над колхозом, который первым начнет выращивать козлотуров.

Под рубрикой «Посмеемся над маловерами» были опубликованы выдержки из писем какого-то зоотехника и агронома.

Зоотехник вежливо сомневался, что гибрид даст поколение, следовательно, вся затея с козлотурами не имеет будущего. По этому поводу редакция радостно сообщала, что козлотур уже покрыл восемь козематок и по всем признакам не собирается останавливаться на этом. Покрытые козы чувствуют себя хорошо, а покрытие продолжается.

Агроном оказался более желчным. Он высмеял все качества козлотура, вместе взятые и каждое в отдельности. Особенно досталось прыгучести. Тут он прямо-таки плясал на костях. Интересно, писал он, как в сельском хозяйстве можно использовать высокую прыгучесть козлотура? Мы не знаем, писал он, как избавиться от прыгучести наших коз, потому что от нее страдают кукурузные поля, а тут еще прыгучесть козлотура. Кроме того, он пытался острить насчет того, что не собирается ли редак-





Гора Адагуа в окрестностях селения Чегем



Мать Фазиля Искандера — Лели Хасановна Мишелия,  
ее брат Кязым и его жена Нуца







Лели Хасановна  
Мишелия — мать  
Фазиля Искандера  
(справа)



Семья Искандеров:  
старший брат  
Фиридун, Фазиль  
и сестра Гюли  
(слева)



Фиридун, Гюли и Фазиль



На набережной у моря, где Фазиль встретил Антонину





Северная Антоновка — это же имя твое!..





Тоня, Фазиль и маленькая Марина





В семье еще один мужчина — Александр, Сандро, Сандрик







Москва, 1992

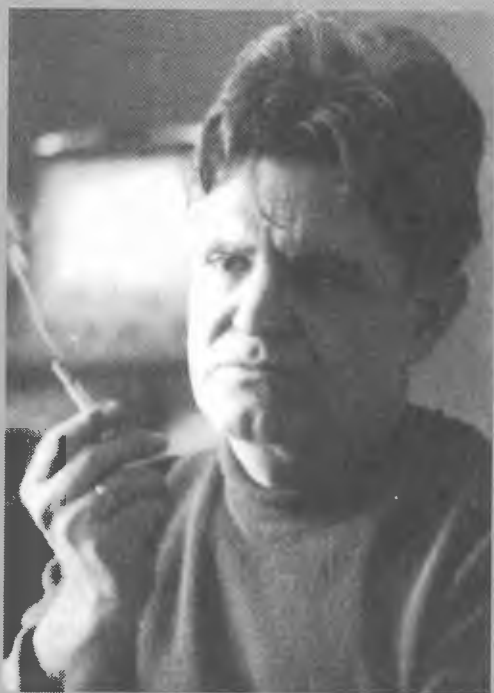


Дед  
и внук Евгений



Тоня, Марина, Фазиль  
и Женечка







ция выставить на следующих Олимпийских играх козлотура в качестве прыгуна.

Редакция дала ему достойную отповедь. Сначала в спокойных тонах Платон Самсонович ему разъяснил, что высокая прыгучесть козлотура — очень ценное качество, потому что в будущем стада козлотуров будут пастись на альпийских лугах, на склонах, недоступных для обычных домашних коз. И там благодаря высокой прыгучести козлотур может сравнительно легко уходить от хищников, от которых все еще страдает общественный скот.

Что касается прыгучести колхозных коз, писал дальше Платон Самсонович, то редакция никакой ответственности за нее не несет, а несут ответственность колхозные пастухи, которые, вероятно, целыми днями спят или режутся в карты. Штрафовать надо таких пастухов, и не только пастухов, но и ответственных работников колхоза, начиная от председателя и кончая агрономом, который все еще путает альпийские луга с олимпийскими полями.

Желчный агроном после этого письма, видимо, больше не пытался спорить, зато вежливый зоотехник продолжал подавать голос.

Имя его снова появилось под рубрикой «Посмеемся над маловерами».

Он писал, что ответ редакции его не удовлетворяет, потому что если гибрид и сохранил способность покрывать коз, то это еще не значит, что он способен давать потомство. Кроме того, он считал, что в животноводстве надо делать упор на крупный рогатый скот, в частности на буйволов, тогда как козлотур, хотя и крупнее козы, все-таки остается мелким рогатым скотом.

Редакция ему отвечала, что, напротив, высокая способность к покрытию как раз и доказывает, что козлотур будет давать потомство. В ближайшие месяцы все выяснится, время работает на нас, писала редакция. Что касается направления нашего животноводства, то, во-первых, козлотура никак не назовешь мелким рогатым скотом, хотя он и меньше, чем крупный рогатый скот, а во-вторых, исключительное внимание к крупному рогатому скоту ясно показывает, что зоотехник все еще страдает гигантоманией, характерной для невозвратных времен.

Через несколько месяцев газета целой полосой отметила праздничное событие — все козы, покрытые козлотуром, а их было тринадцать, дали приплод, причем четыре из них дали двойняшек, а одна коза родила трех козлотурят.

На огромном снимке через всю полосу было изображено многочисленное семейство козлотура вместе с юными козлотурятами. В центре стоял козлотур, и морда его теперь не выражала никакого недоумения. Кажется, он нашел себя — выглядел солидно и спокойно.

Ко времени моего появления в редакции «Красных субтропиков» Платон Самсонович стал первым газетчиком. Теперь он писал не только на сельскохозяйственные темы, но и на культурно-просветительные, а также передовые по отделу пропаганды. Его статья «Козлотур — оружие в антирелигиозной пропаганде» была отмечена на Доске лучших материалов.

Целыми днями Платон Самсонович сидел за своим редакционным столом, окруженный учебниками по агробиологии, письмами селекционеров и всяческими диаграммами. Иногда он делался задумчивым и неожиданно вздрагивал.

— Что с вами, Платон Самсонович? — спрашивал я у него.

— Ты знаешь, — говорил Платон Самсонович, радостно приходя в себя и оживляясь, — я часто вспоминаю свою первую заметку. Ведь я тогда еще думал: давать эту информашку или нет? Чуть было не прошел мимо великого начинания.

— А что, если бы прошли? — говорил я.

— Не говори, — отвечал Платон Самсонович и снова вздрагивал.

Платон Самсонович отдавал газете все свое время. Он приходил в редакцию раньше всех и уходил поздно вечером, так что мне даже как-то бывало неудобно уходить домой после рабочего дня. Впрочем, он всегда радостно меня отпускал. Дома он не мог работать, потому что он жил в одной комнате, а семья у него была большая — жена и взрослые дети. Он уже много лет стоял в очереди горсовета, и в конце концов уже при мне ему выдали новую квартиру. Я думаю, тут не последнюю



роль сыграло возвышение его имени посредством козлотура.

В день получения квартиры мы все его искренне поздравляли, намекнули на новоселье, но он с каким-то непонятным упорством отклонял эти невинные намеки.

Истинный смысл его упорства мы поняли только через несколько дней, когда узнали, что он ушел из семьи и остался в старой квартире. Потом мне рассказывали, что и раньше он несколько раз порывался уйти из семьи. Но, во-первых, уйти было некуда, а во-вторых, жена приходила жаловаться редактору, и Автандил Автандилович водворял его обратно.

Она и на этот раз пришла в редакцию и сказала:

— Верните мне моего изобретателя.

Автандил Автандилович вызвал Платона Самсоновича к себе в кабинет и начал, как обычно, водворять его. Но тот наотрез отказался вернуться в семью, хотя помогать ей не отказывался.

— Теперь не те времена, — сказал ей Автандил Автандилович, — решайте сами свои семейные дела...

— Они смеются надо мной, — вставил, говорят, в этом месте Платон Самсонович.

— Как — смеются? — удивился редактор. — Платон Самсонович занят большой государственной проблемой...

— Они мешают моей творческой мысли, — подсказал, говорят, Платон Самсонович.

— Верните мне моего изобретателя, — повторила жена.

— Она и сейчас смеется, — пожаловался Платон Самсонович.

— Он же не требует развода? — спросил у нее редактор.

— Еще этого не хватало, — сказала, говорят, она.

— Считайте, что он живет в отдельном кабинете, — заключил Автандил Автандилович.

— Перед людьми стыдно, — сказала, говорят, жена его, немного подумав.

На этом и решили. В сущности говоря, уходя от семьи, Платон Самсонович не собирался обзаводиться новой семьей или тем более любовницей. Он как бы удалялся от мирских сует, чтобы полностью отдаться любимому делу.

После его частичного ухода из семьи жена все-таки приходила менять ему белье и убирать квартиру. Платон Самсонович с удвоенной энергией продолжал заниматься своим детищем. Время от времени он выискивал новый угол зрения, под которым можно было рассматривать проблему разведения козлотуров.

Уже при мне, когда на берегу моря рядом с кофейней открыли павильон прохладительных напитков, он добился, чтоб его называли «Водопой козлотура». Он любил посещать это заведение.

Иногда по вечерам, выходя из кофейни, я видел его в павильоне. Он пил нарзан, облокотившись о мраморную стойку с видом усталого, но довольного покровителя.

Хотя Платон Самсонович был за самые широкие и неожиданные формы пропаганды козлотура, никакого легкомыслия в этом отношении он не допускал.

Когда наш фельетонист сравнил одного многоженца, злостного неплательщика алиментов, с козлотуром, Платон Самсонович выступил на летучке и заявил, что такое сравнение дискредитирует в глазах колхозников всенародное начинание.

— Наверяд ли здесь есть серьезная ошибка, но прислушаться к замечанию стоит, — примирительно заключил Автандил Автандилович.

Платон Самсонович разработал рацион кормления козлотуров и предлагал колхозникам придерживаться его. В то же время он открывал дорогу и личной инициативе колхозников, советуя им прикармливать козлотуров сверх рациона другими продуктами и о результатах писать в газету.

— Первая ласточка, — как-то сказал Платон Самсонович, с нежностью показывая на обложку иллюстрированного журнала, который он держал в руках.

Я посмотрел и увидел снимок козлотура со всем его семейством, тот самый, который был у нас в газете, только этот был исполнен в цвете и выглядел еще более празднично.

Вскоре одна из московских газет дала статью под заголовком «Интересное начинание, между прочим», где рассказывалось о нашем опыте по выращиванию козлотуров.

Газета рекомендовала колхозам центральных и черномоземных областей нашей страны изучить этот опыт и без излишней паники, не забегая вперед и в то же время не теряя драгоценного времени, поддержать это новаторское начинание.

Предугадывая возражения насчет разницы климата, автор статьи напоминал, что козлотур не должен бояться холода, так как вырос по отцовской линии в суровых условиях высокогорной зоны альпийских лугов. Платон Самсонович тихо торжествовал. На последней летучке он довольно неожиданно заявил, что пора объявить штату Айова, с которым мы соревновались по производству кукурузы, соревнование по разведению козлотуров.

— Но ведь они не разводят козлотуров? — сказал редактор не совсем уверенно.

— Пусть попробуют в условиях фермерского хозяйства, — ответил Платон Самсонович.

— Надо посоветоваться с товарищами, — сказал редактор и выключил вентилятор в знак того, что летучка окончена.

Вентилятор стоял на столе напротив него, и каждый раз, начиная совещание, Автандил Автандилович включал его, и голова его прямо возвышалась над жирными лопастями вентилятора, и он был похож на пилота, прилетевшего издалека. Кончая совещание, он выключал вентилятор, лицо его каменело, и тогда казалось, что он неподвижно улетает в нужном направлении.

На следующий день он сказал Платону Самсоновичу, что со штатом Айова следует подождать.

— Между нами говоря — перестраховщик. — Платон Самсонович кивнул в сторону редакторского кабинета.

Однажды под рубрикой «По тропе козлотура» появилось письмо работников сельскохозяйственного научно-исследовательского института с Северного Кавказа. Они писали о том, что с интересом следят за нашим начинанием и сами уже скрестили северокавказского тура с козой. Первый тукокоз, писали они, чувствует себя превосходно и быстро растет.

Комментируя письмо, Платон Самсонович от имени закавказских энтузиастов поздравил северокавказских

коллег с большим успехом. При этом он добавил, что успех будет еще значительней, если они и в дальнейшем будут придерживаться разработанного им рациона кормления нового животного. Платон Самсонович писал, что всегда был уверен, что именно они, северокавказцы, как наши ближайшие соседи и братья, первыми подхватят передовой опыт.

Письмо пошло в номер без всяких изменений, кроме того, что Платон Самсонович слово «турокос» заменил на принятое у нас «козлотур».

Почему-то авторы письма обиделись на это невинное исправление и прислали на имя редактора опровержение, где писали, что они и не думали в кормлении своего турокоса придерживаться нашего рациона, а кормили и будут в дальнейшем кормить его, строго придерживаясь метода, разработанного собственным научным аппаратом института. Кроме того, они сочли необходимым заявить, что название «козлотур» антинаучно, ибо сам факт (а факты — упрямая вещь!) скрещивания именно тура с козой, а не козла с турицей, говорит о гегемонии тура над козой, что и должно быть отражено в названии животного, если к вопросу подходить с научной точностью. Только если вам удастся скрестить козла с турицей, писали они, название «козлотур» можно будет считать оправданным, и то с некоторой натяжкой. Но в этом случае наши разногласия сами по себе отпадут, потому что речь будет идти о двух новых животных, полученных принципиально различными способами, что, естественно, будет отражено в двух различных названиях. Таким образом, вы будете продолжать свои эксперименты со своими козлотурами, а мы как стояли, так и будем стоять на своих турокосах. Примерно так звучало письмо товарищей с Северного Кавказа.

— Придется поместить, все-таки научные работники, — сказал Автандил Автандилович, показывая письмо Платону Самсоновичу. Он сам его принес к нам в отдел как срочный материал.

Платон Самсонович пробежал его глазами и отбросил на стол.

— Только под рубрикой «Посмеемся над маловеерами», — сказал он.

— Не имеем права, — возразил Автандил Автандилович. — Научные работники выражают свое мнение. К тому же в первой заметке вы допустили отсебятину...

— Страна знает козлотура, — твердо возразил Платон Самсонович, — а туροкоза никто не знает.

— Это верно, — согласился Автандил Автандилович, — и в республиканской прессе принято наше название, — но откуда вы взяли, что они пользовались нашим рационом?

— Каким же они могли пользоваться? — сказал Платон Самсонович и пожал плечами. — Пока что все пользуются нашим рационом...

— Ну хорошо, — согласился Автандил Автандилович, немного подумав, — приготовьте толковый ответ, и мы дадим оба материала в порядке дружеской дискуссии.

— Сегодня же подготовлю, — оживился Платон Самсонович и, достав красный карандаш, придвинул к себе письмо научных работников.

Автандил Автандилович вышел из кабинета.

— Яйцо курицу учит, — неопределенно кивнул головой Платон Самсонович, так что я не понял, то ли он имеет в виду редактора, то ли своих неожиданных оппонентов.

Через несколько дней обе статьи появились в газете. Ответ Платона Самсоновича назывался «Коллегам из-за хребта» и был выдержан в наступательном духе.

Он начал издавека. Подобно тому, писал Платон Самсонович, как Америку открыл Колумб, а названа она Америкой в честь авантюриста Америго Веспуччи, который, как известно, не открывал Америки, так и северокавказские коллеги пытаются дать свое название чужому детищу.

Когда в первом письме наших коллег мы исправили неблагозвучное и неточное название «туροкоз» на благозвучное и общепринятое «козлотур», мы считали, что это просто описка, тем более само наивное и в известной мере незрелое содержание письма таило в себе возможность такого рода описки или даже ошибки. Все это мы видели с самого начала, но все-таки поместили письмо в газете, потому что считали своим долгом поддержать пусть еще робкое, слабое, но все-таки чистое в своей ос-

нове стремление быть на уровне передовых опытов нашего времени.

Но что же оказалось? Оказалось, то, что мы принимали за описку или даже ошибку, было ложной, вредной, но все-таки системой взглядов, а с системой надо бороться, и мы подымаем перчатку, брошенную из-за хребта.

Может быть, продолжал Платон Самсонович, название «турокоз», при всей своей бестактности, с научной точки зрения более точно отражает существо нового животного? Нет, и здесь промахнулись коллеги из-за хребта!

Именно в названии «козлотур» наиболее точно отражается существо нового животного, потому что в нем удачно подчеркивается первичность человека над дикой природой, ибо домашняя коза, прирученная еще древними греками, как более разумное начало, стоит в нашем варианте на первом месте, тем самым подтверждая, что именно человек завоевывает природу, а не наоборот, что было бы чудовищно.

Но, может быть, название «турокоз» соответствует хорошим традициям нашей мичуринской агробиологии? Опять же не получается, коллеги из-за хребта! Возьмем для примера новые сорта яблок, выведенные Мичуриным, такие, как бельфлер-китайка и кандиль-китайка, названия их давно приняты и одобрены народом. Здесь, как и в нашем случае, дикое китайское яблоко занимает достаточно почетное, подобающее ему второе место.

Что касается предложения скрестить турицу с козлом, то выглядит оно в устах научных работников довольно странно, писал дальше Платон Самсонович.

Во-первых, совершенно очевидно, что ввиду нежелательных и даже пугающих козла размеров турицы вероятность покрытия приближается к нулю.

Но допустим, такое покрытие произойдет. Что мы и наше хозяйство будем от этого иметь? На этот вопрос легко ответить, если мы обратимся к международному, а также отечественному мулопроизводству.

Многовековой опыт мулопроизводства ясно доказывает, что от скрещивания жеребца с ослицей получается лошак, тогда как от скрещивания осла с лошастью получается мул. Лошак, как известно, животное недоразвитое, болезненное, слабое, к тому же проявляет склонность кусаться,

тогда как мул отличается хозяйственно полезными свойствами и высоко ценится в нашем народном хозяйстве, особенно в южных республиках. Вопрос о продвижении мула на север и выведении зимостойких пород сейчас нами не рассматривается. Хотя известный пробег мулов от Москвы до Ленинграда, запряженных в сани с полной кладью, сделанный ими за десять дней в условиях морозной зимы, о многом говорит каждому непредубежденному наблюдателю (см. БСЭ, том 11, стр. 206). Из сказанного становится совершенно ясно, что козлотур — это тот же лошак, если мы его будем выводить методом, предложенным северокавказскими коллегами, тогда как козлотура можно и нужно приравнять к мулу, если его выводить нашим уже неоднократно проверенным способом. Вот почему мы опровергаем предложение северокавказских коллег как попытку — пусть невольную, но все-таки попытку — направить наше животноводство по ложному идеалистическому пути.

По мнению коллег из-за хребта, получается, что все наши козлотуры шагают не в ногу и только единственный северокавказский турокоз шагает в ногу. Но с кем?

Таинственный лаконизм последней фразы звучал как грозное предупреждение.

Недели две после этого мы ждали ответа северокавказцев, но они почему-то замолчали, и это сильно обеспокоило редактора.

— А может, у них козлотур умер и они теперь стыдятся продолжать дискуссию? — предположил однажды Платон Самсонович.

— А вы позвоните в институт и все выясните, — приказал Автандил Автандилович.

— А не получится, что мы сдаем позиции, если первыми позвоним? — сказал Платон Самсонович.

— Наоборот, — возразил Автандил Автандилович, — это только подтвердит нашу уверенность в правоте.

Соединившись с институтом, Платон Самсонович узнал, что турокоз жив и здоров, а дискуссию они прекратили, решив делом доказать, чьи турокозы окажутся более жизненными.

— Чьи козлотуры, — поправил Платон Самсонович и положил трубку. — Проглотили, — подмигнул он мне и, потирая руки, сел на свое место.

Мне не терпелось наконец своими глазами увидеть настоящего живого козлотура, но Платон Самсонович, хотя и одобрял мой план, все же не спешил посылать меня в деревню. Наконец наступило время.

До этого только один раз я был в командировке, и то не совсем удачно.

На рассвете мы вышли в море с передовой бригадой рыболовецкого колхоза, расположенного рядом с городом. Все было чудесно: и сиреневое море, и старый баркас, и ребята, ловкие, сильные, неутомимые. Они выбрали рыбу из ставника, но на обратном пути, вместо того чтобы идти на рыбозавод, свернули в сторону небольшого мыска, мимо которого мы должны были пройти. Со стороны берега к этому мыску тянулись женщины с ведрами и кошелками. Я понял, что роковой встречи не избежать.

— Ребята, может, не стоит, — сказал я, когда баркас уткнулся носом в песок. Возможно, я это сказал слишком поздно.

— Стоит, — радостно заверили они, и начался великий торг. Через пятнадцать минут всю рыбу выменяли на деньги и продукты натурального хозяйства. Мы снова вышли в море. Я пытался им что-то сказать. Рыбаки вежливо меня слушали, нарезая хлеб и раскладывая закуски. Трапеза была подготовлена, меня пригласили, и я понял, что отказаться было бы неслыханным пижонством.

Мы наелись, немного выпили и тут же уснули сладким, безмятежным сном.

Потом они мне объяснили, что рыбы было слишком мало и рыбозавод такое количество все равно не берет, а план они все равно перевыполняют.

Я понял, что очерк писать нельзя, и мне ничего не оставалось, как написать «Балладу о рыбном промысле», где я воспел труд рыбаков, не уточняя, как они воспользовались плодами своих трудов. Баллада была хорошо принята в редакции, она прошла как новая, столичная форма очерка.

Однако пора возвратиться к козлотурам. Готовилось областное совещание по обмену опытом разведения козлотуров. К этому времени их распределили между наибо-



лее зажиточными колхозами, с тем чтобы приступить к массовому размножению. Некоторые председатели пытались увильнуть от этого нового дела под тем предлогом, что они и коз давно не держат, но их пристыдили и заставили купить соответствующее количество коз. Наконец козы были куплены, но потом стали поступать жалобы, что некоторые козлотуры проявляют хладнокровие по отношению к козам.

По этому поводу редактор поставил вопрос об искусственном осеменении коз, но Платон Самсонович стал утверждать, что такой компромисс на руку нерадивым хозяйственникам. Он сказал, что хладнокровие козлотура есть отражение хладнокровия самих председателей ко всему новому.

Как раз в это время из села Ореховый Ключ пришло письмо, в котором безымянный колхозник жаловался, что их председатель нарочно травит козлотура собаками, держит под открытым небом и морит голодом. Колхозники, писал он, со слезами смотрят на мучения нового животного, но сказать не могут, потому что боятся председателя. Заметка была подписана псевдонимом «Обиженный, но Справедливый».

— Конечно, возможны преувеличения, — сказал Платон Самсонович, показывая мне письмо, — но сигнал есть сигнал. Поезжай в Ореховый Ключ и все посмотри своими глазами. — Платон Самсонович на минуту задумался и добавил: — Я знаю этого председателя, зовут его Илларион Максимович. Хозяин неплохой, но консерватор, кроме своего чая, ничего не видит. В общем, — сказал Платон Самсонович и, вытянув руку, стал щупать воздух растопыренными пальцами, словно пытаюсь нащупать очертания моей будущей статьи, — примерно так должна выглядеть твоя статья: «Чай хорошо, но мясо и шерсть козлотура еще лучше».

— Хорошо, — сказал я.

— Помни, — остановил он меня в дверях, — от этой командировки многое зависит.

— Конечно, — сказал я.

Платон Самсонович задумался:

— Что-то я еще тебе хотел сказать... Да, не проспи утреннюю машину.

— Что вы! — воскликнул я и пошел оформлять командировку.

Я взял в отделе писем новый редакционный блокнот, купил два карандаша, на случай если потеряю ручку, и перочинный ножик, чтобы точить карандаши. Мне хотелось уберечь себя от любых случайностей.

Автобус мощно и мягко скользил по шоссе. Справа от дороги сквозь зелень садов и белые домики прорывалось море, теплое даже на вид. Оно казалось насыщенным и успокоенным обилием летнего тепла и купальщиц.

Слева проплывали зеленые взгорья, покрытые созревающей кукурузой и мандариновыми плантациями. Изредка открывались тунговые плантации с лопоухими деревьями, усеянными гроздьями плодов.

Во время войны солдаты строительного батальона, стоявшего в этих местах, срывали тунговые плоды, немного похожие на недозрелые яблоки, но страшно ядовитые.

Пробовали, несмотря на строжайший запрет. Они, наверное, думали, что это им говорится так, для острости, да и время было голодное. Обычно их откачивали, но бывали, говорят, и смертельные случаи.

Порой ветерок, словно срезанный автобусом с поворота, так он был неожидан, доносил далекий запах прелого папоротника, прокаленного солнцем навоза, молочный дух зреющей кукурузы, и все это сладко и грустно напоминало детство, деревню, родину...

Почему так сильна над нами власть запахов? Почему воспоминание не может с такой силой расколыхнуть пережитое, как связанный с ним знакомый запах? Может, дело в его неповторимости — ведь запах нельзя вспомнить отдельно от него самого, так сказать, повторить воображением. И когда он повторяется натурально, он с первозданной свежестью выхлестывает наружу все, что было связано с ним. А зрительные и слуховые впечатления мы часто повторяем своими воспоминаниями, и, может быть, потому они в конце концов притупляются...

Пассажиры, покачиваясь, сидели на мягких пружинящих сиденьях. Верх автобуса был застеклен каким-то необыкновенным голубым стеклом. Так что и без того го-

лубое небо сквозь это стекло делалось неправдоподобно голубым. Стекло это как бы показывало небу, каким оно должно быть, пассажирам — каким его надо видеть.

Этот автобус только недавно передали транспортной конторе. До этого он развозил интуристов. Иногда я его встречал у нас в городе перед Ботаническим садом, или Старой крепостью, или еще где-нибудь.

Сейчас он был заполнен колхозницами, возвращающимися домой. Каждая при себе держала туго набитую корзину или кошелку, из которой торчала неизменная связка бубликов. Некоторые колхозницы не без горделивости держали в руках китайские термосы, похожие на спортивный кубок и на снаряд одновременно.

Цепи гор медленно проплывали на горизонте. Самые дальние из них и самые высокие были покрыты первым снегом, который, наверное, выпал сегодня ночью, потому что еще вчера его не было. Сейчас их вершины четко и чисто сверкали в небе.

Более близкая линия гор была темно-синяя от лесов — там еще до снега далеко.

Внезапно с какого-то поворота я увидел на уровне этой более близкой линии гор гряду голых утесов, и что-то в груди у меня толкнулось радостно и испуганно.

Под этими утесами лежало наше село. С детства они мне казались страшно загадочными, и хотя до них было недалеко, правда, дорога труднопроходимая, но я так и не поднялся туда ни разу. Сейчас я вдруг пожалел, что в стольких местах бывал, а там не был ни разу.

Каждое лето с самого раннего детства я жил несколько месяцев в доме дедушки. Помню, меня оттуда всегда тянуло назад домой. Даже не столько домой, сколько именно в город.

Как я скучал по дому, как сладко было вспоминать тот особый городской запах пыли, пропитанный запахом бензина и резины! Сейчас мне трудно это понять, но тогда я с нежностью смотрел в сторону заката: там, за круглой и мягкой по своим очертаниям горой, был наш город, и я подсчитывал дни, оставшиеся до конца каникул...

Потом, когда мы приезжали в город, помню первые шаги по асфальту, необыкновенную, радостную легкость в ногах, которую я приписывал удобствам гладкой город-

ской дороги, а на самом деле, я думаю, этой легкостью я был обязан бесконечным хождениям по горным тропкам, чистому воздуху гор, простой и здоровой еде.

Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город. Наоборот, я все чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома. Может быть, потому, что дедушкиного дома уже нет — старые умерли, а молодые переехали в город или поближе к нему. А когда он был, все не хватало времени бывать там чаще, я его все оставлял про запас.

И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен.

Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе.

Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, со старой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разостлав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы.

Сколько недозрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько недозрелых орехов, покрытых толстой зеленой кожурой с еще нежной скорлупой, с еще не загуствевающим ядрышком внутри!

Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с ее земляным полом, с большим жарким очагом, с длинной тяжелой скамьей, стоящей у очага. На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых кладах в старых крепостях и о бесстрашных абреках. На этой скамье, бывало, дядя резал табак своим острым топориком, а потом, выхватив из очага горящий уголек, бросал его в горку нарезанного табака и медленно, с удовольствием копнил эту дымящуюся горку, чтобы она как следует просушилась и пропиталась ароматом древесного дыма.

Мне не хватает вечерней переключки женщин с холма на холм, или с котловины в гору, или с горы в ложбину.

Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе!

К вечеру куры вспоминают, что они все-таки родились птицами. И вот они начинают беспокойно кудахтать и, оглядывая ветки инжирного дерева, неожиданно взлетают, промахиваются, снова взлетают и наконец усаживаются на ветках во главе с гневно клекочущим золотистым петухом.

Тетка выходит из кухни с позвякивающим ведерком в руке, пригнувшись, на ходу хватая какую-нибудь хворостинку, чтобы отгонять теленка, и легкой походкой переходит двор. А навстречу из загона вопросительно мычат коровы, детским садом заливаются козлята под кукурузным амбаром.

И вот уже дедушка или кто-нибудь другой пригоняет коз. Они шумной гурьбой вливаются во двор с животами, почему-то больше оттопыренными на одну сторону. Самцы поигрывают, встают на дыбы, медленно падают друг на друга и сталкиваются, застревая рогами в рогах. Играют — значит, хорошо выпаслись.

И вот уже выпустили козлят, и начинается дойка, и козлята бегут к матерям, а козы следят за ними с выражением глуповатой бдительности, потому что боятся спутать своих детенышей с чужими и все-таки путают, а детенышам все равно — тыкаются в первое попавшее вымя. Я заметил, что козы по-настоящему узнавали своих детенышей только после того, как козленок несколько раз жадно подергает за сосцы. Тут она или прогоняет его, или успокаивается, словно боль, которую козленок причиняет ей, дергая за сосцы, бывает разная: от своего — одна, от чужого — совсем другая.

Почему-то с годами этих коз становилось все меньше, и коров становилось все меньше, и уже в доме часто не хватало молока. Того самого молока, о котором дедушка говорил, что раньше летом они его не успевали обрабатывать, и было непонятно, куда все это делось.

Я вспоминаю горницу с домотканым ковром на стене, на котором вышит огромный бровастый олень с женским лицом и печальными глазами.

Позади оленя маленький человек, ссутулившись, с каким-то жестоким усердием целится в него из ружья. Мне кажется, этот маленький человечек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он такой маленький, и я чувствую, что этот маленький человечек никогда не простит этой разницы, да ему и невозможно простить эту разницу, как невозможно сделать маленького человечка большим, а оленя — маленьким. И хотя олень на него не смотрит, по его печальным глазам видно, что он знает человека, который, ссутулившись, целится в него. И олень такой огромный, что промахнуться никак невозможно, и он, олень, знает, что промахнуться никак невозможно, а бежать некуда, ведь он такой большой, что его отовсюду видно. Раньше он, наверное, пробовал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека никуда не убежишь.

Я подолгу смотрел на этот домотканый ковер, и любил оленя, и ненавидел этого охотника, особенно мне была противна его ссутуленная в жестком усердии спина.

Мне не хватает теплых летних простынь, весь день провисевших на веранде и теперь пахнущих чистотой, летним днем, солнцем.

Нас, детей, укладывали раньше, и мы лежали, прислушиваясь к говору взрослых из кухни, к страху внутри себя, таинственно связанному с темнотой комнаты, с задумчиво поскрипывающими стенами, со смутно сереющими на стенах портретами умерших родственников.

Мне не хватает самих стен дедушкиного дома из прочных каштановых досок, наивно оклеенных газетными и журнальными листами, плакатами, дешевыми картинками.

Среди газетных и журнальных страниц двадцатых и тридцатых годов попадались иногда очень интересные вещи, и так уютно было читать их, лежа на полу или влезая на стул, на кушетку. А иногда я не удерживался и срывал какой-нибудь лист, чтобы перевернуть его и посмотреть, что будет дальше. Я перечитал все стены дедушкиного дома.

И чего только там не было!

Огромная олеография — Наполеон оставляет горящую Москву. Всадники в треуголках, кремлевская стена и вдали громадное зарево пожара.

Несколько дореволюционных картин с религиозным сюжетом, с Богом, рассевшимся на тучах, в сандалиях, перетянутых ремешком и чем-то похожих на наши горские чупяки из сыромятной кожи.

Архангел Гавриил, джигитуя на коне, копьём пронзает отвратительного дракона, и рядом наши советские плакаты с антирелигиозными и кооперативными сюжетами двадцатых и тридцатых годов. Один из них помню хорошо. Мужичок, горестно всплеснувший руками перед неожиданно, словно от библейского проклятья, разверзившимся мостом, в который провалилась его лошаденка вместе с телегой. Под этой поучительной картинкой была не менее поучительная подпись: «Поздно, братец, горевать, надо было страховать!»

Я не очень верю этому мужичку. Уж как-то слишком по-бабьи выражает он свое горе. Не успела лошадь провалиться, как он уже всплеснул руками и больше ничего не делает.

То, что я видел вокруг себя, подсказывало мне, что крестьянин навряд ли так легко расстанется со своей лошадью — он до конца будет пытаться спасти ее, удержать если не за вожжи, то хотя бы за хвост.

Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг мне показалось, что сквозь его усы и бородку проглядывает улыбка. Это было так неожиданно, что я даже испугался немного. Она проглядывала из щетины его лица, как маленький хищник из-за кустов. Конечно, мне это могло показаться, но, видно, могло показаться потому, что я чувствовал в нем какую-то фальшь.

Подпись под этой картинкой тоже вызывала недоумение. Я так до конца и не понял, что именно надо было страховать — лошадь или мост. Мне казалось, что все-таки лошадь. Но тогда получалось, что мост так и должен осгаться проваливающимся, потому что, если он перестанет проваливаться, тогда и лошадь незачем будет страховать.

Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства — бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он потерялся. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное — это помехи, которые можно устранить, стоит

повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, пронесившейся сквозь нас и вскормившей нас. Мир руками наших матерей делал нам добро, и только добро, — и разве не естественно, что доверие к его разумности у нас первично? А как же иначе?

Я думаю, что настоящие люди — это те, что с годами не утрачивают детской веры в разумность мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости.

Дом дедушки считался зажиточным и хлебосольным. На моей памяти там, кроме нас, близких, перебивали сотни разных людей, начиная от стихийных пастухов, застигнутых непогодой во время перегона скота на летние пастбища, и кончая всякого рода уполномоченными и райкомовскими работниками.

В хозяйстве дяди было несколько коров и с полсотни коз. Помню, почти все коровы и большинство коз были записаны на кого-нибудь на родственников, в основном городских. Закон ограничивал поголовье скота в личной собственности крестьян, и в те годы в наших краях расцветал таинственный пустоцвет фиктивных дарений, продаж, покупок.

Только свиней, насколько я помню, разрешали держать в любом количестве. Может быть, учитывали, что слегка омусульманенные абхазцы свинину не едят и это послужит естественной преградой к излишнему накопительству.

Каких только не делали ухищрений, чтобы сохранить скот, но, видно, сделать это было не просто или все эти труды себя не оправдывали, потому что с годами скотины становилось все меньше и меньше.

Я вспомнил, что во время войны мне с полгода пришлось пасти дядиных коз.

Странно, подумал я, с тех пор прошло столько лет, я окончил школу, потом институт, потом работа, а вот теперь мне предстоит встретиться с козами, которые за это время, как и я, повысили свой уровень и превратились в козлотуров.

И вдруг я отчетливо вспомнил то время, когда я дольше всего жил в доме дедушки, когда я еще был совсем



мальчиком, и козы были еще козами, а не козлотурами, я вспомнил те далекие дни, а точнее — один день или, скорее, один вечер с его приключениями, которые мне тогда пришлось пережить.

Одним словом, шел сорок второй год. Я жил в горах в доме дедушки. Боязнь бомбежки, а главное, военная голодуха забросили меня в этот относительно сытый и спокойный уголок Абхазии.

Город наш бомбили всего два раза. Скорее всего, немцы сбросили бомбы, предназначенные для более важных целей, но туда их, наверное, не подпустили.

После первой же бомбежки город опустел. Застольные ораторы из приморских кофеен благоразумно приостановили свои бесконечные беседы и удалились в окрестные деревни есть абхазскую мамалыгу, авторитет которой быстро подымался.

В городе остались только необходимые и те, кому некуда было ехать. Мы не были необходимыми, и нам было куда ехать, поэтому мы уехали.

Наши деревенские родственники, посовещавшись, распределили нас между собой, по-своему учитывая возможности каждого из нас.

Старший брат, как человек, уже отравленный городом, захотел остаться в ближайшей к нему деревне. Вскоре его оттуда взяли в армию.

Сестру отправили в семью дальнего, но богатого и поэтому казавшегося близким родственника. Меня как самого младшего и бесполезного отдали дяде в горы. Мама осталась где-то посередине — в доме своей старшей сестры.

К этому времени в доме дедушки оставалось два десятка коз и три овцы. Не успел я разобраться что к чему, как оказался приставленным к ним.

Постепенно я научился подчинять своей воле это большое, но строптивое стадо. Нас связывали два древних магических восклицания: «Хейт! Ййо!» Они имели множество оттенков и смыслов, в зависимости от того, как их произносить. Козы их отлично понимали, но иногда, когда им это было выгодно, делали вид, что спутали оттенки.

Оттенков и в самом деле было много. Например, если произносить вразтяжку, вольно и широко: «Хейт! Хейт!» — это значило: паситесь спокойно, вам ничего не угрожает.

Эти же звуки можно было произносить с некоторым педагогическим укором, и тогда они означали: «Вижу, вижу, куда вы сворачиваете!» — или что-нибудь в этом роде. А если произносить резко и быстро: «Ийо! Ийо!» — надо было понимать: «Опасность! Назад!»

Козы обычно, услышав мой голос, подымали головы, как бы стараясь уяснить себе, что именно от них на этот раз требуется.

Паслись они всегда с каким-то брезгливым выражением на морде. Меня иногда раздражало, что они бросали начатую ветку и с неряшливой жадностью переходили к другой. Мы за обедом берегли каждую крошку, а они привередничали. Это было несправедливо. Обрывая листики с кустов, старались дотянуться до самых свежих и далеких, для чего приподнимались на задних ногах, и в это время в них было что-то бесстыжее, может быть, потому, что они становились похожими на людей. Гораздо позднее, когда я увидел на репродукциях козлоногих людей, кажется, Эль Греко, я подумал, что человеческое бесстыдство художник пытался передать через уродство козлоногих людей.

Пастись они любили на крутых, обрывистых склонах поблизости от горного потока. Я уверен, что шум воды возбуждал их аппетит, как, впрочем, и у людей. Недаром в пути останавливаются перекусить возле ручья или речки. Мне кажется, кроме прямой необходимости ее, шум воды делает еду сочнее, приятнее.

Овцы обычно шли позади коз, они паслись, низко наклонив голову, как бы вынюхивая траву. Выбирали открытые, по возможности ровные места. Зато, если они пугались чего-нибудь и пускались вскачь, их невозможно было остановить. Курдюки на ходу шлепали по задкам, каждый шлепок еще больше пугал их и подталкивал вперед, и они летели сломя голову, подгоняемые многоступенчатым возбуждением. Набегавшись до дури, они забивались в кусты и отдыхали, по-собачьи разинув рты и жарко дыша боками.

Козы для отдыха выбирали самые каменистые и возвышенные места. Укладывались где почище. Самый старый козел — обычно на самой вершине. У него были устрещающие рога, клочья свалившейся и желтой от старости шерсти свисали по бокам. Чувствовалось, что он понимает свою роль: двигался медленно, важно покачивая длинной бородой звездочета. Если молодой козел по забывчивости занимал его место, он спокойно подходил к нему и сталкивал боковым ударом рогов, при этом он даже не смотрел на него.

Однажды из стада исчезла коза. Я сбился с ног, бегая по кустам, разрывая одежду о колючки, крича до хрипоты. Так и не нашел. Возвращаясь, случайно поднял голову и вижу — она стоит на дереве, на толстой ветке дикой хурмы. Взобралась по кривому стволу. Наши взгляды встретились, она нагло смотрела на меня желтыми неузнавающими глазами и явно не собиралась слезать. Я огрел ее камнем, она ловко прыгнула и побежала к своим.

Думаю, что козы — самые хитрые из всех четвероногих. Бывало, только зазеваешься, а их уж и след простыл, как будто растворились среди белых камней, ореховых зарослей, в папоротниках.

Как жарко, как тревожно было искать их, бегая по узким растрескавшимся тропкам, через которые вспыхивали зеленые молнии ящериц. Случалось, что мелькнет у ног и змейка, взлетишь, как подброшенный, чувствуя подошвой ноги, которой чуть было не наступил на нее, упругий холод змеиного тела, и еще долго бежишь, ощущая ногами необоримую, почти радостную легкость страха.

А как странно было остановиться, прислушиваясь к шороху кустов: не там ли? Прислушиваясь к шелесту кузнечиков, к далекому в могучей синеве пению жаворонков, случайному голосу человека на невидимой отсюда проселочной дороге, прислушиваясь к медленным тугим ударам сердца, втягивая телесный запах разомлевшей на солнце зелени — сладкое томление летней тишины.

В хорошую погоду я лежал на траве в тени большой ольхи, прислушиваясь к привычному треску «кукурузников», летящих за перевал. Там шли бои.

Однажды из-за хребта с каким-то паническим грохотом вылетел «кукурузник» и почти камнем стал падать

вниз, в провал Кодорской долины, и потом, уже опустившись совсем низко, так и летел до самого моря. Я всей шкурой почувствовал, с каким человеческим ужасом он перевалил через хребет, спасая себя, видимо, от немецкого истребителя. Тень его, не по-земному быстрая, пробежала по лугу совсем близко от меня, чиркнула табачную плантацию, а через мгновение летела далеко внизу, рядом с дельтой Кодора. Изредка высоко-высоко пролетал немецкий самолет.

Мы его узнавали по замирающему вою, чем-то напоминающему писк малярийного комара. Обычно, когда он приближался к городу, начинали палить зенитки и видно было, как вокруг него вспыхивали одуванчики взрывов, а он шел и шел сквозь них, как замороженный. Так за всю войну и не увидел, чтобы подбили самолет.

Как-то один наш родственник приехал из города, куда гонял продавать свиней, и рассказал, что брат мой ранен, лежит в госпитале в Баку и ждет не дожидается, когда к нему приедет мама. Весть всех всполошила, надо было как можно быстрее увидеться с мамой. Оказалось, что, кроме меня, послать было некого, и я стал собираться в дорогу.

Меня накормили сыром и мамалыгой, дед дал мне одну из своих палок, и я пустился в путь, хоть день шел на убыль и солнце стояло над горизонтом на высоте дерева. Дорогу я помнил довольно плохо, вернее, расположение дома, где жила мама, но объяснения не стал слушать, чтобы не передумали меня посылать.

Идти предстояло через лес по гребню горы, потом надо было спуститься вниз на дорогу, по которой свозили бревна, и дальше по ней до самого села.

Как только я вошел в лес, сразу стало прохладно, как будто вошел в воду, и летний день остался позади. Я вдыхал чистую, сырую прохладу леса, слышал чем-то волнующий шелест зеленых вершин и быстро шел по тропе. Чем глубже я входил в лес, тем упорней и бодрей постукивала моя палка по твердой, упруго проплетенной корням земле.

Краем глаза я замечал красоту мощных темно-серебристых стволов бука, неожиданно милых полянок с яркой пушистой травой, уютных подножий кряжистых ка-

штанов, заваленных каленой прошлогодней листвой. Хотелось полежать на этой листве, положив голову на мощные, покрытые мхом корни. Иногда в просветах деревьев открывалась дымчато-зеленая долина с морем, стоящим между землей и небом, как мираж. Вечерело. Неожиданно из-за поворота появились две девочки, испуганные и обрадованные нашей встречей. Я их знал, они были из нашего села, но теперь казались странными, чем-то не похожими на себя. Разговаривали опустив головы, тихими, почти виноватыми голосами. В них появилось что-то чуткое, лесное, застенчивое. Одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла, длинной голой ногой смущенно почесывая другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу.

Постепенно мне передалось их смущение, я не знал, что говорить, и охотно распрощался с ними. Они тоже попрощались и тихо, даже как-то вкрадчиво пошли дальше.

Вскоре я увидел перед собой между потемневшими деревьями красновато-желтую проселочную дорогу, издали похожую на горный поток; я обрадовался, что смогу идти по ровному месту, и стал быстро спускаться, едва-едва притормаживая палкой, чтобы не сорваться в заросли сумрачного рододендрона.

Я почти выкатился на дорогу. Ноги мои дрожали от перенапряжения, я весь вспотел, но возбуждение усиливалось от запаха бензина и теплой, усталой за день пыли. Знакомый с детства, волнующий городской запах. Видно, я здорово соскучился по городу, по дому, и, хотя отсюда до нашего дома было еще дальше, чем от горной деревушки, проселочная дорога казалась дорогой к нему.

Я шел, стараясь в сумерках разглядеть под ногами следы автомобильных шин, и радовался, заметив особенно отчетливый рубчатый узор. Чем дальше я шел, тем светлее становилась дорога, потому что огромная рыжая луна вылезала над зубчатой полоской леса.

Ночью в горах мы часто смотрели на луну. Мне говорили, что на ней виден пастух со стадом белых коз, но я так и не мог разглядеть пастуха с его стадом. Может, надо было с раннего детства видеть этого пастуха. Лядя на холодный диск луны, я видел очертания скалистых гор, и

мне делалось грустно, может быть, оттого, что они были так страшно далеки от нас и так похожи на наши горы.

Сейчас луна напоминала большой закопченный круг горного сыра. С каким удовольствием я погрыз бы его острый, пропахший дымом ломоть, да еще с горячей мамалыгой!

Я ускорил шаги. По обе стороны дороги шел мелкий лесок, ольховая поросль, иногда расчищенная под кукурузное поле или табачную плантацию. Было очень тихо, только стук моей палки оживлял тишину. Стали появляться крестьянские дома с чистенькими игрушечными двориками, с жарким светом очажного костра, уютно трепыхающегося из приоткрытых кухонных дверей.

Я жадно прислушивался к смутным, а иногда вдруг отчетливым голосам, доносившимся оттуда.

— Выгони собаку, — услышал я чей-то мужской голос.

Дверь кухни распахнулась, и сразу же в мою сторону залаяла собака. Я ускорил шаги и, оглянувшись, заметил в красном квадрате распахнутой двери темную фигуру девушки. Она неподвижно стояла, вглядываясь в темноту.

Боясь собак, я теперь старался бесшумно проходить мимо домов.

Наконец открылась широкая поляна с большим ореховым деревом посередине, со скамейками вокруг ствола.

Днем здесь обычно бывало шумно, народ толпился у правления колхоза, магазина, амбаров. Сейчас все выглядело нежилым, заброшенным и в свете луны страшноватым.

Я помнил, что недалеко от сельсовета надо было свернуть с дороги на тропинку влево. Но тропинок оказалось несколько, и я никак не мог припомнить, какая из них приведет меня к цели.

Я остановился перед одной из таких тропок, уходящих в заросли дикого орешника, не решаясь свернуть на нее. Та ли? Вроде орешника тогда не было. А может быть, был? Минутами мне казалось, что я вспоминаю тропу по множеству мелких признаков: по извию ее, по канавке, отделяющей ее от улицы, по кустам орешника. А потом вдруг казалось, что и канавка не та, и орешник не тот; и тропка совсем незнакомая и враждебная.

Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, слушая верещающие цикады, глядя на замороженно-неподвижные кусты, на луну — уже высокую, бледную, почти слепящую, как зеркало.

Неожиданно на тропу выкатилось что-то черное, поблескивающее и побежало в мою сторону. Не успел я шевельнуться, как большая сильная собака бесцеремонно обнюхала меня, тыкаясь мне в ноги мокрым сопящим носом. Через мгновение на тропу вышел человек с легким топориком на плече. Он отогнал собаку. Теперь я понял, почему она так спешила обнюхать меня: боялась, не успеет. Собака отскочила, покружилась, повизгивая от желания угодить хозяину, потом замерла у куста, внюхиваясь в какой-то след.

Человек, подпоясанный уздечкой, видно, искал лошадей, подошел ко мне, вглядываясь и удивляясь, что не узнает меня.

— Чей ты, что здесь делаешь? — спросил он сердито оттого, что не узнал. Я сказал, что ищу дом дяди Мексута, мужа маминой сестры.

— Зачем он тебе? — спросил он, теперь восторженно удивляясь.

Я понял, что крестьянское любопытство непобедимо, и выложил все.

Пока я рассказывал ему, что и как, косясь на собаку и стараясь не упускать ее из виду, он качал головой, прищипывал языком и поглядывал на меня, как бы жалея, что мне приходится заниматься такими недетскими делами.

— А Мексут живет совсем рядом, — сказал он, указывая топориком в сторону тропы, куда я собирался идти.

Он стал объяснять дорогу, то и дело обрывая самого себя, чтобы лишний раз удивиться, порадоваться, до чего он, этот Мексут, близко живет и до чего просто к нему пройти. Благодарный за встречу и за то, что Мексут так близко живет, я не стал ни о чем переспрашивать. Человек позвал собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное тело выметнулось из-за кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шлепая хвостом по траве, мимоходом вспомнив обо мне, еще раз быстренько обнюхала: так проверяют документ, когда уверены, что он в порядке.

— Совсем близко, отсюда докричать можно, — сказал он уже на ходу, как бы думая вслух и радуясь, что мне так здорово повезло.

Собака рванулась вперед, шаги человека стихли, и я остался один.

Я пошел по тропе, густо обросшей диким орехом и кустами ежевики. Порой кусты смыкались над тропой, я отодвигал их палкой и быстро проходил под ними. Все же мокрые ветки иногда нахлестывали сзади, и я вздрагивал от возбуждающего холода росы. Так я шел некоторое время, потом кусты раздвинулись, стало гораздо светлее. Я вышел на открытое место и увидел белое кладбище, озаренное белой луной.

Холодея от страха, я вспомнил, что когда-то проходил мимо него, но тогда это было днем и оно не произвело на меня никакого впечатления. Вспомнил, что сбил тогда с яблони несколько яблок. Я нашел глазами дерево, и, хотя оно сейчас казалось совсем другим, я старался вернуть себе то состояние беззаботности, когда сбивал с него яблоки. Но это не помогло. Дерево неподвижно стояло в свете луны с темно-синей листвой и бледно-голубыми яблоками. Я тихо прошел под ним.

Кладбище напоминало карликовый городок с железными оградами, зелеными холмиками могил, игрушечными дворцами, скамеечками, деревянными и железными крышами. Казалось, люди, после смерти сильно уменьшившись и поэтому, став злее и опаснее, продолжают жить тихой, недоброй жизнью.

Возле нескольких могил стояли табуретки с вином и закуской, на одной даже горела свеча, прикрытая стеклянной банкой с выбитым днищем. Я знал, что это такой обычай — приносить на могилу еду и питье, но все равно делалось еще страшнее.

Пели сверчки, свет луны белил и без того белые надгробия, и от этого черные тени казались еще черней и лежали на земле как тяжелые, неподвижные глыбы.

Я старался как можно тише пройти мимо могил, но палка моя глухо и страшно стучала о землю. Я ее взял под мышку, стало совсем тихо и еще страшней. Вдруг я заметил крышку гроба, прислоненную к могильной ограде рядом с еще не огороженной свежей могилой.



Я почувствовал, как по спине подымается к затылку тонкая струйка ледяного холода, как эта струйка подошла к голове и, больно сжав на затылке кожу, приподняла волосы. Я продолжал идти, все время глядя на эту крышку, красновато поблескивающую в лунном свете. Я тогда еще не знал, что по мусульманскому обычаю покойника хоронят без крышки, видимо, чтобы облегчить ему воскресение. Гроб накрывают досками наподобие крыши.

Я был уверен, что покойник вышел из своей могилы, прислонил крышку гроба к ограде и теперь ходит где-нибудь поблизости или, может быть, притаился за крышкой и ждет, чтобы я отвернулся или побежал.

Поэтому я шел не шевелясь и не убыстряя шагов, чувствуя, что главное — не сводить глаз с крышки гроба. Под ногами зашумела трава, я понял, что сошел с тропы, но продолжал идти, не выпуская из виду крышки. Вдруг я ощутил, что проваливаюсь в какую-то яму.

Я успел увидеть полоснувшую небо луну и шлепнулся на что-то шерстистое, белое, рванувшееся из-под меня в сторону. Я упал на землю и лежал с закрытыми глазами, дожидаясь своей участи. Я чувствовал, что он или, вернее, оно где-то рядом и теперь я полностью в его власти. В голове мелькали картины из рассказов охотников и пастухов о таинственных встречах в лесу, о случаях на кладбищах.

Оно медлило и медлило, страх сделался невыносимым, и я, собрав силы, распахнул глаза, как будто включил свет.

Сначала я никого не увидел, а потом в темноте заметил что-то белеющее, качающееся. Я чувствовал, что оно внимательно следит за мной. Особенно страшно было, что оно качалось.

Не знаю, сколько времени прошло. Я стал различать запах свежескопанной, нагретой за день земли и какой-то очень знакомый, обнадеживающий, почти домашний запах. Оно, все еще покачиваясь, белело в углу. Но ужас, длившийся без конца, перестает быть ужасом. Я почувствовал боль в ноге. Падая, я ее сильно подвернул, и теперь мне очень хотелось ее вытянуть.

Я долго вглядывался в него. Расплывающееся белое нитно принимало знакомые очертания, в какое-то мгно-

вение я понял, что призрак превратился в козла, и разглядел в темноте бородку и рога. Я давно знал, что дьявол принимает вид козла, и немного успокоился, потому что это было ясно. Я только не знал, что он при этом может пахнуть козлом.

Я осторожно вытянул ногу и заметил, что оно настояжилось, вернее, перестало жевать жвачку и только продолжало странно покачиваться.

Я замер, и оно снова зажевало губами. Я поднял голову и увидел край ямы, озаренный лунным светом, прозрачную полосу неба со светлой звездочкой посередине. Наверху прошелестело дерево, было странно снизу чувствовать, что там потянул ветерок. Я посмотрел на звездочку, и мне показалось, что и она покачнулась от ветра. Что-то глухо стукнуло: с яблони слетело яблоко. Я вздрогнул и почувствовал, что становится прохладно.

Мальчишеский инстинкт подсказывал, что бездействие не может быть признаком силы, и, так как оно продолжало жевать, бесплотно глядя сквозь меня, я решил попробовать выбраться.

Я осторожно встал и, вытянув руку, убедился, что, даже подпрыгнув, не смог бы достать руками до края. Палка моя осталась наверху, да и она вряд ли могла помочь.

Яма была довольно узкая, и я попробовал, упираясь руками и ногами о противоположные стенки, вскарабкаться наверх. Кряхтя от напряжения, я немного поднялся, но одна нога, та, которая подвернулась, соскользнула со стенки, и я шлепнулся снова.

Когда я упал, оно испуганно вскочило на ноги и шарахнулось в сторону. Это было самое неосторожное с его стороны. Я осмелел и подошел к нему. Оно молча забилося в угол. Я осторожно протянул ладонь к его морде. Оно тронуло губами, тепло дохнуло на нее, понюхало и фыркнуло по-козлиному, упрямо мотнув головой.

Я окончательно убедился, что он никакой не дьявол, просто попал в беду, как и я. Во время моего пастушества, бывало, козлы забирались в такие места, что сами потом не могли выбраться.

Я сел с ним рядом на землю, обнял его за шею и стал греться, прижимаясь к его теплему животу. Я попытался уложить его, но он продолжал упрямо стоять. Зато он

начал лизать мою руку, сначала осторожно, потом все смелее и смелее, и язык его, гибкий и крепкий, шершаво почесывал кисть моей руки, слизывая с нее соль. От этого колючего и щекочущего прикосновения было приятно, и я не отнимал руки. Козел мой совсем вошел во вкус, и уже стал прихватывать острыми зубами край моей рубахи, но я закатал рукав и дал ему попастись на свежем месте.

Он долго лизал мою руку, а я чувствовал, что, даже если бы показалось над ямой голубое в свете луны лицо покойника, я бы только крепче прижался к моему козлу и мне было бы почти не страшно. Я впервые узнал, что значит живое существо рядом.

Наконец ему надоело лизать мою руку, и он неожиданно сам улегся рядом со мной и снова принялся за жвачку.

Было все так же тихо, только свет луны сделался прозрачней, а звездочка передвинулась на край полосы небеса. Стало еще прохладней.

Вдруг я услышал приближающийся топот коня, сердце бешено забилося.

Топот делался все отчетливей и отчетливей, иногда раздавалось металлическое пощелкивание подков о камни. Я испугался, что всадник свернет в сторону, но топот приближался, твердый и сильный, и я уже слышал дыхание коня, поскрипывание седла. Я замер от волнения, топот прошел почти над самой головой, и тогда я вскочил и закричал:

— Эй! Эй! Я здесь!

Лошадь остановилась, в тишине я различил костяной звук лошадиных зубов, грызущих удила. Потом раздался нерешительный мужской голос:

— Кто там?

Я рванулся навстречу голосу и закричал:

— Это я! Мальчик!

Некоторое время человек молчал, потом я услышал:

— Что за мальчик?

Голос мужчины был твердым и недоверчивым. Он болтался ловушки.

— Я мальчик, я из города, — сказал я, стараясь говорить не покойническим, а живым голосом, отчего он сделался странным и противным.

— Зачем туда залез? — жестко спросил голос. Человек все еще боялся ловушки.

— Я упал, я шел к дяде Мексуту, — быстро сказал я, боясь, что он не дослушает меня и проедет.

— К Мексуту? Так и сказал бы.

Я услышал, как он слез с коня и закинул уздечку за могильную ограду. Потом шаги его приблизились, но он все же остановился, не доходя до ямы.

— Держи! — услышал я, и веревка, пропущенная в воздухе, соскользнула в яму.

Я взялся за нее, но тут же вспомнил про козла. Он молча и одиноко стоял в углу. Недолго думая, я обернул веревку вокруг его шеи, быстро затянул два узла и крикнул:

— Тяните!

Веревка натянулась, козел замотал головой и встал на дыбы. Чтобы помочь, я схватил его за задние ноги и стал изо всех сил поднимать вверх — веревка врезалась ему в шею. Как только его рогатая голова, озаренная лунным светом, появилась над ямой, мужчина заорал, как мне показалось, козлиным голосом, бросил веревку и побежал. Козел рухнул возле меня, а я закричал от боли, потому что, падая, он отдал копытом мне ногу. Я заплакал от боли, огорчения и усталости. Видно, слезы были где-то близко, на уровне глаз. Они полились так обильно, что я в конце концов испугался их и перестал плакать. Я ругал себя, что не сказал ему про козла, а потом вспомнил о его лошади и решил, что так или иначе он за нею придет.

Минут через десять я уловил шаги крадущегося человека. Я знал, что он хочет отвязать лошадь и удрать.

— Это был козел, — сказал я громко и спокойно. Молчание.

— Дядя, это был козел, — повторил я, стараясь не менять голоса.

Я почувствовал, что он остановился и слушает.

— Чей козел? — спросил он подозрительно.

— Не знаю, он сюда упал раньше меня, — ответил я, понимая, что слова мои не убеждают.

— Что-то ты ничего не знаешь, — сказал он, а потом спросил: — А Мексуту кем ты приходишься?

Я, сбиваясь от волнения, стал объяснять наше родство (в Абхазии все родственники). Я почувствовал, что он начинает мне верить, и старался не упускать это потепление. Сразу же я ему рассказал, зачем иду к дяде Мексуту. Я почувствовал, как трудно оправдываться, очутившись в могильной яме.

В конце концов он подошел к ней и осторожно наклонился. Я увидел его небритое лицо, брезгливое и странное в лунном свете. Было видно, что место, где он стоит и куда он смотрит, ему неприятно. Мне даже показалось, что он старается не дышать.

Я выкинул конец веревки, за которую был привязан козел. Он взялся за нее и потянул вверх. Я старался ему снизу помогать. Козел глупо упирался, но он, слегка подтянув его, схватил за рог и с яростным отвращением вытянул из ямы. Все-таки эта история ему не нравилась.

— Богом проклятая тварь, — сказал он, и я услышал, как он пнул ногой козла. Козел екнул и, наверное, рванулся, потому что человек схватил веревку и дернул. Потом он низко наклонился над ямой, опершись одной рукой о землю, другой схватил меня за протянутую кисть и сердито вытащил наверх. Когда он тащил, я старался быть легким, потому что боялся, как бы и мне не досталось. Он поставил меня рядом с собой. Это был большой и грузный мужчина. Кисть моей руки, которую он держал, побаливала.

Он молча посмотрел на меня и, вдруг неожиданно улыбнувшись, потрепал по голове:

— Здорово ты меня напугал со своим козлом. Думал, человека тащу, а тут рогатый вылезает...

Мне стало сразу легко и хорошо. Мы подошли к лошади, четко и неподвижно стоявшей у ограды. Козел на веревке шел за нами.

От лошади вкусно пахло потом, кожей седла, кукурузой. Наверно, он оставил на мельнице кукурузу, подумал и вспомнил, что веревка тоже пахла кукурузой. Он посадил меня, вернее, почти вбросил в седло. Я подумал про свою палку, но не решился возвращаться за нею. К тому же лошадь, когда я садился, мотнула головой, чтобы укусить меня за ногу. Я успел ее подбодраить.

Хозяин отвернул морду лошади от ограды, закинул уздечку и, не выпуская из руки веревку с козлом, грузно

уселся на седле. Я почувствовал, что лошадь прогибается под ним. Тело его придавило меня к луке седла. Мы тронулись.

Конь бодро пошел, стараясь перейти на рысь, раскорячиваясь от сдерживаемой силы и от раздражения, что сзади тащится козел.

Под глухой стук копыт, под легкое покачивание на седле я задремал.

Неожиданно конь стал, и я проснулся. Мы были у плетня, за которым виднелся большой чистый двор и большой дом на высоких деревянных сваях. В окнах горел свет. Это был дом дяди Мексута.

— Эгей, хозяин! — крикнул мой спутник и стал закуривать. Вербку с козлом он намотал на кол изгороди, не привязывая ее.

Дверь в доме отворилась, и мы услышали:

— Кто там?

Голос был мужественный и резкий: так у нас по ночам отвечают на незнакомый крик, чтобы показать готовность к любой встрече.

Дядя Мексут — это был он, я сразу узнал его широкоплечую, низкорослую фигуру — спустился по лестнице и, отгоняя собак, шел в нашу сторону, внимательно вглядывался в темноту.

Помню удивление его и даже испуг, когда он узнал меня.

— Еще не то узнаешь, — сказал мой спаситель, ссаживая меня и стараясь передать через изгородь прямо в руки дяде Мексуту. Но я не дался ему в руки, я уже уцепился за кол изгороди и слез сам.

Спутник мой стал откручивать веревку с козлом.

— Козел откуда? — еще больше удивляясь, спросил дядя Мексут.

— Чудеса, чудеса! — весело и загадочно сказал всадник и посмотрел в мою сторону, как равный на равного.

— Зайди в дом, спешься! — сказал дядя Мексут, схватив коня за уздечку.

— Спасибо, Мексут, никак не могу, — ответил всадник и заспешил, хотя до этого почему-то не торопился.

По абхазскому обычаю дядя Мексут долго уговаривал его разделить с ним хлеб-соль, то обижаясь, то упрости-

вая, то издеваясь над якобы важными делами, из-за которых тот не может остаться. Все это время он поглядывал то на козла, то на меня, чувствуя, что между моим появлением и козлом есть какая-то связь, и никак не улавливал ее.

Наконец всадник уехал, волоча за собой козла, а дядя Мексут повел меня домой, удивленно цокая языком и покрикивая на собак.

В комнате, озаренной не столько лампой, сколько ярко пылавшим очагом, за столом, уставленным закусками и фруктами, сидели гости. Я сразу увидел маму и заметил, несмотря на багровые отсветы пламени, как она медленно побледнела. Гости повскакивали с мест, заохали, запричитали.

Одна из моих городских теток, узнав о цели моего прихода, стала тихо опрокидываться назад, как бы падая в обморок. Но так как в деревне этого не понимали и никто не собирался ее подхватывать, она остановилась на полпути и сделала вид, что у нее заломило поясницу. Дядя Мексут всячески успокаивал женщин, предлагал пить за победу, за сыновей, за то, чтобы все вернулись. Дядя Мексут был большой хлебосол, в доме у него всегда были гости, а здесь, в долине, уже собирали виноград, и сезон длинных тостов только начинался.

Мама сидела молча, ни к чему не притрагиваясь. Мне было жалко ее, хотелось как-то успокоить, но роль, которую я взял на себя, не допускала такой слабости.

Мне подали горячей мамалыги, курятины и даже налили стакан вина. Мама покачала головой, но дядя Мексут сказал, что мачарка еще не вино, а я уже не ребенок.

Я рассказал о своих приключениях и, уже досасывая последние косточки, почувствовал, как на меня навалился сон, сладкий и золотой, как первое вино мачарка. Я уснул за столом.

Дней через десять из Баку вернулась мама. Оказывается, брат не был ранен, а просто соскучился по своим и решил увидеться с ними перед отправкой на фронт. И, конечно, добился своего. Он у нас всегда был с фокусами.

Часов в десять утра я вышел из автобуса в селе Ореховый Ключ.

Автобус запылился дальше, а я пошел в сторону правления колхоза, с удовольствием разминая ноги после долгого неподвижного сидения. Становилось жарко.

Я чувствовал себя бодро и ощущал в своей душе неисчерпаемый запас репортерской проницательности. Рядом с правлением под могучим шатром орехового дерева в традиционной позе патриархов сидели два старика абхаза. Один из них держал в руке палку, другой — посох. Я заметил и радостно удивился тому, что крючковатый загиб рогатульки на посохе одного старика соответствовал крючковатому носу самого старика, тогда как другой старик был с прямым носом и держал палку без всяких ответвлений. Проходя мимо них, я поздоровался, вернее, почтительно кивнул им, на что они ответили вежливым движением, как бы приподымаясь навстречу.

— Сдается мне, что это новый доктор, — сказал один из них, когда я прошел.

— А по-моему, армянин, — сказал другой.

Правление колхоза находилось в деревянном двухэтажном здании. Внизу — магазин и склады с большими висячими замками на дверях. Наверху — служебное помещение. Из открытых дверей магазина доносился женский смех.

У самого крыльца стоял потрепанный газик, и я понял, что председатель на месте.

К стене правления было приклеено объявление, написанное подтекающими буквами:

«Козлотур — это наша гордость».

Лекцию читает кандидат археологических наук, действительный член Общества по распространению научных и политических знаний Вахтанг Бочуа. После лекции кино «Железная маска».

Так, значит, Вахтанг здесь или должен приехать! Я обрадовался, предвкушая встречу с нашим прославленным балагуром и чангалистом. Я его не видел больше года. Я знал, что он процветает, но не думал, что он уже стал кандидатом археологических наук, да еще читающим лекции про козлотуров.

Кстати, слово «чангалист», кажется, употребляется только у нас в Абхазии и означает — любитель выпить на чужой счет. Производное от него — зачангалить, то



есть подцепить кого-нибудь, взять на бордаж, и не обязательно с тем, чтобы выпить, но и в более широком смысле.

Впрочем, Вахтанга, как правило, любили угощать, потому что в любую компанию он вносил шумливое, безудержное веселье. Сама внешность его полна комических противоречий. Тучная и мрачная голова Нерона — и добродушный, незлобивый характер, проницательность и пробивная сила снабженца — и задумчивая профессия археолога, так сказать, листающего пласты веков.

После окончания историко-архивного института Вахтанг несколько лет работал экскурсоводом, а потом написал книжку «Цветущие развалины». Она стала любимой книгой туристов. «И интуристов», — неизменно добавлял Вахтанг, когда разговор о ней заходил при нем. А разговор заходил почти всегда, потому что он сам же его и заводил.

Мы, земляки, в студенческие времена часто собирались вместе, и ни одна дружеская пирушка не обходилась без Вахтанга. В этом отношении, как, впрочем, и во многих других, он обладал необычайным чутьем, и если кто получал посылку, его не надо было звать. Он являлся и общежитие еще до того, как хозяин посылки успевал обрезать или оборвать шпагат, которым был перевязан ящик.

— Приостановить процедуру, — говорил он, открывая ящик и обрушивая на голову обладателя посылки водопад великолепного пустозвонства.

В нем и тогда чувствовался плут, но плут веселый, дерзкий, артистичный и, главное, безвредный для друзей, разве что впадал в меланхолию, когда приходило время расплачиваться с официанткой.

Вспоминая Вахтанга, я поднялся по деревянной лестнице на второй этаж и вошел в правление колхоза.

Это была длинная прохладная комната, перегороденная справа и слева деревянными перилами. Слева от меня, сидя за столом, дремал толстый небритый человек. Почувствовав, что кто-то вошел, он приоткрыл один глаз, некоторое время осознавал мое появление и, очевидно, осознав, прикрыл его. Так дремлющий кот, услышав звон посуды, приоткрывает глаз, но, поняв, что этот

звон не имеет отношения к началу трапезы, продолжает дремать.

Справа несколько счетных работников усердно щелкали костяшками счетов, и иногда, когда костяшка стучала слишком сильно, дремлющий человек приоткрывал все тот же глаз и снова благодушно закрывал его. Один из счетных работников встал, подошел к нестораемому шкафу и вынул оттуда какую-то папку. И вдруг я понял, что это девушка, одетая в мужской костюм. Меня поразило выражение ее лица, печального, как высохший колодец.

В конце комнаты над большим столом возвышалась представительная фигура самого председателя. Он говорил по телефону. Он оглядел меня с холодноватым любопытством и отвел глаза, прислушиваясь к трубке.

— Здравствуйте, — сказал я по-русски, не обращаясь ни к кому определенно.

— Здравствуйте, — ответила девушка тихо и приподняла свое печальное лицо.

Я не знал, с чего начать, потому что председателя прервать было неудобно, но и стоять так без дела тоже было неудобно.

— Лектор еще не приехал? — зачем-то спросил я у девушки, словно явился на лекцию.

— Товарищ Бочуа уже приехал, — сказала она тихим голосом, вскинув на меня свои большие глаза, — он поехал рассматривать старую крепость.

— Дорогой, за кукурузу не бойся — как львы стоят! — загремел председатель по-абхазски. — Как львы, говорю, только напоминаю насчет удобрения... Давали, но не хватает... Если комиссия-чамиссия — есть что показать, ведите прямо к нам... Чтоб я кости отца откопал, если не выполним план, но, дорогой Андрей Шалвович, больше у нас земли нет. Какие залежные земли — бурку расстелить негде. Здесь агроном сидит, он скажет, если проснется, — добавил председатель игриво и посмотрел на дремлющего человека.

Не успел он договорить, как тот что-то сердито заклокотал в ответ, и, по-моему, заклокотал раньше, чем открыл глаза. Из того, что он сказал, я понял, что он не собирается ради каких-то сумасшедших выкорчевывать

чайные плантации. Он замолчал так же неожиданно, как и начал, и закрыл глаза раньше, чем кончил говорить.

Пока он говорил, председатель плотно прикрывал трубку. Заметив, что я смотрю на него, он нахмурился и бросил по-абхазски в сторону девушки:

— Узнай у этого лоботряса, откуда он и что ему надо.

Он снова слился с трубкой и вдруг заурчал тоном гостеприимного хозяина:

— Совсем к нам дорогу забыли, Андрей Шалвович. Нехорошо получается, Андрей Шалвович. Не я прошу, народ просит, Андрей Шалвович.

Я несколько опешил, услышав про лоботряса. Очевидно, он решил, что я не абхазец, и мне ничего не осталось, как согласиться с этим.

Председатель продолжал говорить. Теперь он заходил по второму кругу:

— ...Тонн сто суперфосфат-муперфосфат прошу, как родного брата, Андрей Шалвович.

Я смотрел, как работает девушка. Она что-то подсчитывала, изредка перекидывая костяшки на счетах, словно задумчиво перебирала большие деревянные бусы.

Наконец председатель положил трубку, и я подошел к нему.

— Здравствуйте, товарищ, вы из леспромхоза, — сказал он уверенно и протянул мне руку.

— Я из газеты, — ответил я.

— Добро пожаловать, — оживился он и, кажется, пожал мне руку сильнее, чем собирался.

— Вот командировка, — сказал я и полез в карман.

— Даже не хочу смотреть, — ответил он, делая рукой отстраняющий жест. — Человека видно, — добавил он с наглой серьезностью, глядя мне в глаза.

— Я насчет козлотура, — сказал я, внезапно почувствовав, что здесь слова мои прозвучат смешно. Так и получилось. Кто-то из счетоводов хихикнул.

— Чтоб я похоронил твой смех, — прооручал председатель по-абхазски и добавил по-русски: — С козлотуром мы провели большую работу.

— А что именно? — спросил я.

— Во-первых, широкая пропаганда среди населения. — Председатель загнул мизинец на левой руке и

вдобавок пристукнул его правой ладонью. — Сегодня у нас читает лекцию уважаемый товарищ Вахтанг Бо-чуа. Зоотехника командировали к селекционеру. — Он загнул безымянный палец и опять прищлепнул его ладонью. — А что, жалобы есть? — неожиданно прервал он себя и посмотрел на меня черными настороженными глазами.

— Нет, — сказал я, выдержав его взгляд.

— А то у нас есть один, бывший председатель примкнувшего колхоза.

— Нет-нет, — сказал я, — дело не в жалобе.

— Но он свою фамилию не пишет, — добавил он, словно раскрывая всю глубину его коварства, — другими словами подписывает, но мы знаем эти слова.

— Можно посмотреть на козлотура? — перебил я его, давая знать, что жалобщик меня не интересует.

— Конечно, — сказал он, — пройдемте.

Председатель вышел из-за стола. Чувствовалось, как его большое, сильное тело свободно двигается под просторной одеждой.

Спящий агроном молча поднялся из-за стола и вышел вместе с нами на веранду.

— Сколько раз я этому болвану говорил, чтоб почистил загон, — сказал председатель про кого-то по-абхазски, когда мы спускались по лестнице. — Валико! — крикнул председатель, обернувшись к дверям магазина. — Выйди на минуту, если тебя еще там не женили.

Из магазина раздался смех девушки и дерзкий голос парня:

— А что там случилось?

— Не случилось, а случится, если я запру этот магазин и позову сюда твою тещу.

Снова раздался женский смех, и на пороге появился парень среднего роста с огромными девственно-голубыми глазами на смуглом лице.

— Поезжай к тете Нуце и привези огурцы для козлотура, — сказал председатель, — товарищ приехал из города, можем осрамиться.

— Не поеду, — сказал парень, — люди смеются.

— Плюнь на людей, — сказал председатель строго, — подъезжай прямо туда, мы будем там.

Я теперь понял, что это его шофер. Валико сел в газик и, сердито развернувшись, выехал на улицу.

Было жарко. В тени грецкого ореха все еще сидели два старика, и тот, что был с посохом, что-то рассказывал другому, время от времени постукивая своим посохом по земле так, что уже продолбил порядочную лунку. Было похоже, что он собирается поставить здесь небольшую изгородь, чтоб отгородить свое место в тени орешника от летнего солнца и колхозной суеты.

Председатель поздоровался с ними, когда мы с ними поравнялись, и старики в знак приветствия сделали вид, что приподымаются.

— Сынок, — спросил тот, что был с посохом, — этот, что с тобой, новый доктор?

— Это козлотурский доктор, — сказал председатель.

— А я посмотрел и думаю: армянин, — вставил тот, что был с палкой.

— Чудеса, — сказал тот, что был с посохом, — я этих козлотуров в горах сотнями убивал, а теперь за одним доктором прислали.

— Большой чудак этот старик, — сказал председатель, когда мы вышли на улицу.

— Почему? — спросил я.

— Приезжал как-то секретарь райкома, остановился тут, а старик вот так сидел в тени, как сейчас. Пошел разговор, как раньше жили, как теперь. Старик ему говорит: «Раньше землю пахали деревянной сохой, а теперь железным плугом». — «Что это означает?» — спросил секретарь. «От сохи земля падает в обе стороны одинаково, а железный плуг выворачивает в одну, — значит, и урожай себе». — «Правильно», — сказал секретарь райкома и уехал.

Мне захотелось в двух словах записать эту присказку, чтобы потом не забыть. Я вынул блокнот, но председатель не дал мне записать ее.

— Это не надо, — сказал он решительно.

— Почему? — удивился я.

— Не стоит, — сказал он, — это фантазия, я вам скажу, что надо записывать.

«Ничего, я и так запомню», — подумал я и спрятал блокнот.

Мы шли по горячей пыльной улице. Пыль так раскалилась, что даже сквозь подошвы туфель пекло.

По обе стороны деревенской улицы время от времени мелькали крестьянские дома с приусадебной кукурузой, с зелеными ковриками дворов, с лозами изабеллы, вьющейся по веткам фруктовых деревьев. Сквозь курчавую виноградную листву проглядывали плотные, недозрелые виноградные кисти.

— Много вина будет в этом году, — сказал я.

— Да, виноград хороший, — сказал председатель задумчиво. — А на кукурузу обратили внимание?

Я посмотрел на кукурузу, но ничего особенного не заметил.

— А что? — спросил я.

— Как следует посмотрите, — сказал председатель, загадочно усмехнувшись.

Я присмотрелся и заметил, что с одной стороны приусадебного участка у каждого дома кукуруза была более рослая, с более мясистыми листьями, с цветными косичками завязи, с другой стороны — зелень более бледная, кукуруза ниже ростом.

— Что, не одновременно сеяли? — спросил я у председателя, продолжавшего загадочно улыбаться.

— В один день, в один час сеяли, — сказал председатель, еще более загадочно улыбаясь.

— А в чем дело? — спросил я.

— В этом году отрезали приусадебные участки. Конечно, это нужное мероприятие, но не для нашего колхоза. У меня чай — я не могу на приусадебных клочках плантации разводить.

Я еще раз пригляделся к кукурузе. В самом деле, разница в силе и упитанности кукурузных стеблей была такая, какая изображается в наглядных пособиях, когда хотят показать рост урожайности в будущем.

— Крестьянское дело — очень хитрое дело, между прочим, — сказал председатель, продолжая загадочно улыбаться. Казалось, он своей улыбкой намекал на то, что эту хитрость из городских еще никто не понял, да и навряд ли когда-нибудь поймет.

— В чем же хитрость? — спросил я.

— В чем хитрость? А ну скажи ты. — Председатель неожиданно обернулся к агроному.

— Хитрость в том, что, если крестьянин увидит коровью лепешку на этой улице, он ее перебросит на свой участок, — засопел агроном. — И так во всем.

— Психология, — произнес важно председатель.

Мне захотелось записать этот пример с коровьей лепешкой, но председатель опять схватил меня за руку и заставил вложить блокнот в карман.

— В чем дело? — спросил я.

— Это так, разговор туда-сюда, об этом писать нельзя, — добавил он с убежденностью человека, который лучше меня знает, о чем можно писать, о чем нельзя.

— А разве это неправда? — удивился я.

— А разве всякую правду можно писать? — удивился он.

Тут мы оба удивились нашему удивлению и рассмеялись. Агроном сердито хмыкнул.

— Если я ему скажу, — председатель кивнул на приусадебный участок, мимо которого мы теперь проходили, — половина урожая тебе: совсем по-другому обрабатывает землю и хороший урожай возьмет.

Я уже знал, что такие вещи делаются во многих колхозах, только не слишком гласно.

— А почему бы вам не сказать? — спросил я.

— Это проходит как нарушение устава, — строго заметил он и неопределенно добавил: — Иногда кое в чем позволяем сверх плана.

Густой аромат распаренного солнцем чайного листа ударил в ноздри раньше, чем открылась плантация. Темно-зеленые ряды кустов уходили справа от дороги и разливались до самой опушки леса. Они мягко огибали опушку, иногда, как бы образуя залив, входили в нее. Посреди плантации стоял огромный дуб, наверное, в жару под ним отдыхали сборщицы.

Так тихо, что кажется — на плантации пусто. Но вот у самой дороги мелькнула широкополая шляпа сборщицы, и там белый платок, а там еще кто-то в красном.

— Как дела, Гогола? — окликнул агроном широкополую шляпу.

Она обернулась в нашу сторону.

— Двадцать кило с утра, — сказала девушка, на миг приподняв худенькое миловидное лицо.

— Ай, молодец Гогола! — крикнул председатель радостно.

Агроном с удовольствием засопел.

Девушка гибко склоняется над чайным кустом. Пальцы рук легкими, как бы ласкающими движениями скользят по поверхности чайного куста. Цок! Цок! Цок! — слышится в тишине непрерывный сочный звук. Молодые побеги, кажется, сами впрыгивают в ладони юной сборщицы.

Она медленно продвигается вдоль ряда. К поясу, слегка оттягивая его, привязана корзина. Движения рук от куста к корзине, от куста к корзине. Иногда она наклоняется и выдергивает из кустов стебель сорняка. На руках перчатки с прорезями для пальцев, вроде тех, что носят зимой кондукторши в Москве.

Зной, марево и упорная тихая работа почти невидимых сборщиц. Вид чайных плантаций оживляет председателя.

— Ай, молодец Гогола, Гогола, — напевает он с удовольствием.

Рядом, посапывая, шагает агроном.

— Вот про Гоголу запишите, все скажу, — говорит председатель. — За лето тысячу восемьсот килограммов собрала, почти две тонны.

Но теперь мне не хочется записывать, да и задание у меня совсем другое.

— В другой раз, — говорю я. — А вас давно объединили?

— Не говори, дорогой, нищих примкнули, — говорит он брезгливо и добавляет: — Конечно, хорошее мероприятие, но не для нашего колхоза: у них — табак, у нас — чай. Я готов десять козлотуров воспитать, чем иметь дело с ними. Ай, молодец Гогола, Гогола, — напевает он, пытаясь вернуть хорошее настроение, но, видно, не получается. — Нищие! — сплевывает он с отвращением и замолкает.

Мы подошли к ферме. Рядом с большим пустым коровником был расположен летний загон, отгороженный плетнем. К нему примыкал загон поменьше, там и сидел козлотур.



Мы подошли к загону. Я с любопытством стал оглядывать знаменитое животное. Козлотур сидел под легким брезентовым навесом. Увидев нас, он перестал жевать жвачку и уставился розовыми немигающими глазами. Потом он встал и потянулся, выпятив мощную грудь. Это было действительно довольно крупное животное с непомерно тяжелыми рогами, по форме напоминавшими хорошо выращенные казацкие усы.

— Он себя хорошо чувствует, только наших коз не любит, — сказал председатель.

— Как — не любит?

— Не гуляет, — пояснил председатель, — у нас климат влажный. Он привык к горам.

— А вы что, его огурцами кормите? — спросил я и испугался, вспомнив, что про огурцы он говорил по-абхазски. Но председатель, слава богу, ничего не заметил.

— Что вы, — сказал он, — мы ему даем полный рацион. Огурцы — это проходит как местная инициатива.

Председатель просунул руку в загон и поманил козлотура. Козлотур теперь уставился на его руку и стоял неподвижно, как изваяние.

Подъехал шофер. Он вышел из машины с плотно оттопыренными карманами. Агроном опустился под изгородью загона и тут же задремал в ее короткой тени. Председатель взял у шофера огурец и вытянул руку над забором. Козлотур встрепнулся и уставился на огурец. Потом он медленно, как загипнотизированный, двинулся на него. Когда он вплотную подошел к изгороди, председатель поднял руку так, чтобы козлотур не смог достать огурец с той стороны. Козлотур привстал на задние ноги и, упершись передними в изгородь, вытянул шею, но председатель еще выше поднял огурец. Тогда козлотур одним легким звериным рывком перебросился через изгородь и чуть не свалился на голову агронома. Тот слегка приоткрыл глаза и снова задремал.

— Исключительная прыгучесть, — важно сказал председатель и отдал огурец козлотуру.

Тот завозился над ним, выскалив большие желтые резцы. Он возился с ним с таким же нервным нетерпением, с каким кошка возится с пузырьком из-под валерьянки.

— Зайди теперь с той стороны, — сказал председатель шоферу.

Валико кряхтя стал перелезать через изгородь. Из карманов у него посыпались огурцы. Козлотур ринулся было к ним, но председатель отогнал его и поднял их. Шофер с той стороны загона поманил козлотура огурцом. Председатель подал мне один огурец и надкусил другой, слегка обтерев его о рукав.

— Весь скот у нас на альпийских лугах, — сказал председатель, чмокая огурцом, — для него оставили десять лучших коз, но ничего не получается.

Козлотур опять стал передними ногами на изгородь и, не дотянувшись до огурца, еще более великолепным прыжком перебросился в загон. Шофер поднял над головой огурец. Козлотур замер перед ним, глядя на огурец розовыми дикими глазами. Потом подпрыгнул и, выдернув из руки шофера огурец, рухнул на землю.

— Чуть пальцы не отгрыз, — сказал шофер и, вынув из кармана еще один огурец, надкусил его.

Теперь все мы ели по огурцу, кроме агронома. Он все еще дремал, прислонившись к изгороди.

— Эй, — крикнул председатель, — может, очнешься? — И бросил ему огурец.

Агроном открыл глаза и взял огурец. Лениво очистил его о свой полотняный китель, но, не дотянув до рта, почему-то передумал есть и сунул огурец в карман кителя. Снова задремал.

К загону подошли девочка и мальчик лет по восьми. Девочка, как ребенка, держала на руке большой свежий кукурузный початок в зеленой кожуре с еще не высохшей косичкой.

— Сейчас козлотур будет драться, — сказал мальчик.

— Пойдем домой, — сказала девочка.

— Посмотрим, как будет драться, а потом пойдем, — сказал мальчик рассудительно.

— Попробуйпусти коз, — сказал председатель.

Шофер пересек загон и, открыв дверцу-плетенку, вошел в большой загон. Я только теперь заметил, что в углу загона, сбившись в кучу, дремали козы.

— Хейт, хейт! — прикрикнул на них Валико и стал сгонять с места.

Козы неохотно поднялись. Козлотур тревожно вздернул голову и стал принюхиваться к тому, что происходит в загоне.

— Понимает, — сказал председатель восхищенно.

— Хейт, хейт! — сгонял коз Валико, но они стали бегать от него по всему загону. Он их пытался подогнать к открытой дверце, но они пробегали мимо.

— Боятся, — сказал председатель радостно.

Козлотур замер и не отрываясь смотрел в сторону большого загона. Он смотрел, вытянув шею, и принюхивался. Время от времени у него вздрагивала верхняя губа, и тогда казалось, что он скалит зубы.

— Нэнавидит, — сказал председатель почти восторженно.

— Пойдем, — сказала девочка, — я боюсь.

— Не бойся, — сказал мальчик, — он сейчас будет драться.

— Я боюсь, он дикий, — сказала девочка рассудительно и прижала початок к груди.

— Он один сильнее всех, — сказал мальчик.

Агроном неожиданно тихо засмеялся и вынул из кармана огурец. Он сломал его пополам и протянул детям. Девочка не сдвинулась с места, только крепче прижала свой початок к груди. Мальчик осторожно-осторожно, бочком подошел и взял обе половины.

— Пойдем, — сказала девочка и посмотрела на початок, — кукла тоже боится.

Видимо, она напоминала ему о старой игре, чтобы отвлечь от новой.

— Это не кукла, это кукуруза, — сказал мальчик поспешно, разрушая условия старой игры во имя новой. Теперь и он чмокал огурцом. Девочка от своей половины отказалась.

Наконец шофер, чертыхаясь, вогнал коз в загон и прикрыл дверцу. Козлотур в бешенстве ринулся на них. Козы рассыпались по загону. Козлотур догнал одну из коз и ударом рогов опрокинул ее. Она перевернулась через голову, крикнула, но тут же вскочила и пустилась наутек. Козы бежали вдоль плетня, то рассыпаясь, то вновь сбиваясь в кучу. Козлотур гнался за ними, ударами рогов разбрызгивая их по всему загону. Козы бежали, топоча и

подымая пыль, а козлотур внезапно резко тормозил и, некоторое время следя за ними розовыми глазами, бросался на них, выбрав угол для атаки.

— Нэнавидит! — снова воскликнул председатель, восторженно цокая.

— Ему царицу Тамару подавай! — крикнул шофер. Он стоял посреди загона в клубах пыли, как матадор на арене.

— Хорошее начинание, но не для нашего климата! — крикнул председатель, стараясь перекрычать топотню и голоса блеющих коз.

Козлотур свирепел все больше и больше, козы метались по загону, то сливаясь, то рассыпаясь в стороны. Наконец одна коза прыгнула через плетень и свалилась в большой загон. Другие сейчас же ринулись за ней, но страх мешал им соразмерить прыжок, и они падали назад и снова бежали по кругу.

— Хватит! — крикнул председатель по-абхазски. — А то эта сволочь перекалечит наших коз.

— Чтоб я его съел на поминках того, кто это придумал! — крикнул шофер по-абхазски и ударом ноги распахнул дверцу загона.

Козы сейчас же ринулись туда и запрудили узкий проход, бляя от страха и налезая друг на друга. Козлотур несколько раз с разгону налетел на это сцепившееся, рвущееся и застрявшее в узком проходе стадо и ударами рогов вколачивал их в большой загон.

Шофер с трудом отогнал его. Козлотур долго не мог успокоиться и бегал по загону, как разгоряченный лев.

— Ну, теперь пойдем, — сказала девочка мальчику.

— Он один всех победил, — объяснил ей мальчик, и они пошли по дороге, бесшумно перебирая пыльными загорелыми ногами.

— Нэнавидит, — повторил председатель, как бы восторгаясь надежным упорством козлотура.

Мы сели в машину и поехали назад, к правлению колхоза. Машина остановилась в тени грецкого ореха. Агроном остался в машине, а мы вылезли. Старики сидели на своем месте.

Вахтанг Бочуа, сияя белоснежным костюмом и розовым добродушным лицом, стоял возле новенького газика.

Увидев меня, он пошел навстречу, шутовски растопырив руки, словно собираясь принять меня в свои объятия.

— Блудный сын вернулся, — воскликнул он, — в тени столетнего ореха его встречает Вахтанг Бочуа и сопровождающие его старейшины села Ореховый Ключ! Целуй край черкески, негодяй! — добавил он, сияя солнечной жизнерадостностью. Рядом с ним стоял молодой парень и восхищенно смотрел на него.

Вдруг я вспомнил, что он может со мной заговорить по-абхазски, и, схватив его за руку, отвел в сторону.

— Что такое, мой друг, интриги? — спросил он, радостно загораясь.

— Делай вид, что я не понимаю по-абхазски, — сказал я тихо, — так получилось.

— Понятно, — сказал Вахтанг, — ты приехал изучать тайные козни против козлотура. Но учти: после моей лекции в селе Ореховый Ключ будет обеспечена сплошная козлотуризация, — завелся он, как обычно. — Кстати, это неплохо сказано — козлотуризация. Не вздумай употреблять раньше меня.

— Не бойся, — сказал я, — только молчи.

— Вахтанг умеет молчать, хотя это ему недешево обходится, — заверил он меня, и мы подошли к председателю.

— Я надеюсь своей лекцией разбудить творческие силы вашего колхоза, если даже не удастся разбудить вашего агронома, — обратился Вахтанг к председателю, подмигивая мне и похохатывая.

— Конечно, это интересное начинание, товарищ Вахтанг, — сказал председатель уважительно.

— Что я и собираюсь доказать, — сказал Вахтанг.

— Какое ты имеешь к этому отношение, ты же историк? — сказал я.

— Вот именно, — воскликнул Вахтанг, — я рассматриваю проблему в ее историческом разрезе!

— Не понимаю, — сказал я.

— Пожалуйста, — он сделал широкий жест. — Чем был горный тур на протяжении веков? Он был жертвой феодальных охотников и барствующей молодежи. Они истребляли его, но гордое животное не покорялось и уходило

ло все дальше и дальше на недоступные вершины Кавказа, хотя сердцем оно всегда тянулось к нашим плодородным долинам.

— Заткнись, — сказал я.

— Я продолжаю. — Вахтанг похлопал себя ладонями по животу и, любуясь своей неистощимостью, продолжал: — А чем была наша скромная, незаметная абхазская коза? Она была кормилицей беднейшего крестьянства.

Оба старика с уважением слушали Вахтанга, хотя явно ничего не понимали. Тот, что был с посохом, даже забыл про свою лунку и важно слушал его, слегка загнув ухо так, чтобы речь удобней вливалась в ушную раковину.

— С ума сойти, как говорит, — сказал тот, что был с палкой.

— Наверное, из тех, что в радио говорят, — сказал тот, что был с посохом.

— ...Но она, наша скромная коза, — продолжал Вахтанг, — мечтала о лучшей доле — скажем прямо: она мечтала встретиться с туром... И вот усилиями наших народных умельцев — а талантами земля наша богата — горный тур встречается с нашей скромной, домовитой и в то же время прелестной в самой своей скромности абхазской козой.

Я заткнул уши.

— Видно, что-то неприятное напомнил, ишь как закрыл уши, — сказал старик с палкой.

— Наверное, ругает, что плохо лечит козлотура, — добавил старик с посохом, — я этих козлотуров в горах убивал сотнями, а теперь за одного ругают...

— У них тоже какие-то свои дела, — заключил старик с палкой.

— ...Интимным подробностям этой встречи и посвящена моя лекция, — закончил Вахтанг и, вынув платок, промокнул им повлажневшее лицо.

В это время к председателю подошли какие-то лохматые парни городского типа. Оказалось, что это монтажники, которые проводят сюда электричество. Они вступили с председателем в долгий, нескончаемый спор. Оказывается, какие-то виды работ не учтены в смете, и ребята отказывались работать до того, как правильно со-

ставят смету. Председатель старался доказать им, что не следует бросать работу.

Нельзя было не залюбоваться мастерством, с каким он вел спор. Разговор шел на трех языках, причем с наиболее задиристым он говорил по-русски, на языке законов. Тихого кахетинца, который почти ничего не говорил, он сразу же отсекал от остальных и говорил, отчасти как бы ссылаясь на него.

Иногда он оборачивался в нашу сторону, может быть, призывая нас в свидетели. Во всяком случае, Вахтанг солидно кивал головой и бормотал что-то вроде: безусловно, вы погорячились, мои друзья, я это выясню в министерстве...

— Много ты лекций прочел? — спросил я у Вахтанга.

— Заказы сыплются: за последние два месяца — восемьдесят лекций, из них десять шефских, остальные платные, — доложил он.

— Ну и что говорят люди?

— Народ слушает, народ осознает, — сказал Вахтанг туманно.

— А что ты сам об этом думаешь?

— Лично меня привлекает его шерстистость.

— Кроме шуток?

— Козлотура надо стричь, — сказал Вахтанг серьезно и, внезапно расплываясь, добавил: — Что я и делаю.

— Ну ладно, — остановил я его, — мне пора ехать.

— Не будь дураком, оставайся, — сказал Вахтанг инюлголоса, — после лекции предстоит хлеб-соль. Ради меня они зарежут последнего козлотура...

— С чего это они тебя так любят? — спросил я.

— А я обещал председателю устроить с одобрением, — сказал Вахтанг серьезно, — и я это действительно сделаю.

— Какое ты имеешь отношение к этому?

— Мой мальчик, — улыбнулся Вахтанг покровительственно, — в природе все связано. У Андрея Шалвовича племянник поступает в этом году в институт, а твой покорный слуга член приемной комиссии. Почему бы председателю райисполкома не помочь хорошему председателю? Почему бы мне не обратить внимание на юного абитуриента? Все бескорыстно, для людей.

Председатель уговорил ребят продолжать работу. Он обещал им сейчас же вызвать телеграммой из города инженера и установить истину.

Они понуро поплелись, видимо, не слишком довольные своей полупобедой. Председатель тоже заторопился. Я попрощался со всеми. Старики сделали вежливое движение, как бы приподымаясь проводить меня.

— Рейсовая машина уже прошла, но мой шофер доведет вас до шоссе, — сказал председатель.

— Мой тоже не откажется, — вставил Вахтанг.

Председатель подозвал своего шофера. Мы сели в машину.

— Боюсь, как бы он против нас не написал какую-нибудь чушь, — сказал председатель Вахтангу по-абхазски.

— Не беспокойся, — ответил Вахтанг, — я ему уже дал указания, что писать и как писать.

— Спасибо, дорогой Вахтанг, — сказал председатель и добавил, обращаясь к шоферу: — Там на шоссе зайди и напои его как следует, а то журналисты, я знаю, без этого не могут.

— Хорошо, — ответил шофер по-абхазски. Вахтанг расхохотался.

— Вы не одобряете, товарищ Вахтанг? — встревожился председатель.

— Всемерно одобряю, мой друг! — воскликнул Вахтанг, обнимая одной рукой председателя, и, обернувшись, крикнул мне через шум мотора: — Передай моему другу Автандилу Автандиловичу, что пропаганда козлотура в надежных руках.

Машина запыхтела по дороге. Солнце клонилось к закату, но жара не спадала.

«Против нас какую-нибудь чушь...» — вспоминал я слова председателя. Получалось так, что я могу написать за или против, но в обоих случаях для него не было сомнений в том, что это будет чушь. Потом я с горечью убеждался много раз, что он, в общем, не слишком далек от истины.

Кстати, насчет травли козлотура шофер мне сообщил любопытную деталь. Оказывается, козлотур как-то сбежал на плантацию, где наелся чайного листа, и временно сошел с ума, как сказал Валико. Он действительно бе-



гал по всему селу, и за ним гнались собаки. Его даже хотели пристрелить, думали, что он взбесился, но потом он постепенно успокоился.

Машина выскочила на шоссе и остановилась возле голубой закусочной. «Посмотрим, как ты меня заманишь туда», — подумал я и решил стойко защищать свою репутацию.

Валико посмотрел на меня голубым взглядом совратителя и сказал:

— Перекусим, что ли?

— Спасибо, в городе пообедаю.

— Туда еще ехать и ехать.

— Я все же поеду, — возразил я, стараясь быть помягче. Чем-то он мне понравился, этот парень с голубыми глазами всевозможных оттенков.

— Ничего такого не собираюсь, — сказал он и открыл дверь. — Перекусим каждый за себя по русскому счету.

Чего я боюсь, подумал я, у меня преимущество в том, что я знаю о том, что он собирается меня напоить, а он не знает, что я знаю об этом.

— Хорошо, — сказал я, — быстренько перекусим, и я поеду.

— О чем говорить — зелень-мелень, лобиио-мобио.

Валико закрыл машину, и мы вошли в закусочную.

Помещение было почти пустое. Только в углу сидела компания, плотно облепив два сдвинутых стола. Видно, они уже порядочно поддали, потому что полдюжины бутылок стояли на полу, как отстрелянные гильзы. Среди пирующих сидела одна белокурая женщина северного типа. На ней был сарафан с широким вырезом, и она то и дело оглядывала свой загар. Было похоже, что он ей помогает самоутверждаться.

Валико занял столик в противоположном углу. Мне это понравилось. Две официантки, тихо переговариваясь, сидели за столиком у окна.

Валико, осторожно обходя столы, подошел к официанткам. Я понял, что он старается быть не замеченным компанией. Увидев его, официантки приветливо улыбнулись, особенно тепло улыбнулась одна из них, та, что была помоложе. Валико поздоровался с ними и стал что-то рассказывать, пригнувшись к той, что была помоложе.

Она слушала его, не переставая улыбаться, и лицо ее постепенно оживлялось.

«Ну тебя, ну тебя», — казалось, говорила она, слабо отмахиваясь ладонью, и с удовольствием слушала его.

У таких ребят, подумал я, всегда есть, что рассказать официантке. Потом по выражению ее лица я понял, что он стал ей заказывать. Я забеспокоился. Она посмотрела в мою сторону, и я неожиданно крикнул:

— Не вздумай заказать вино!

— Как можно, — сказал Валико, обернувшись, и развел руками.

Компания обратила на нас внимание, и кто-то крикнул оттуда:

— Валико, иди к нам!

— Никак не могу, дорогой, — сказал Валико и приложил руку к сердцу.

— На минуту, да?

— Извиняюсь перед всей компанией и перед прекрасной женщиной, но не могу, — проговорил Валико и, уважительно попятившись, отошел к нашему столику.

Через несколько минут на столе появилась огромная тарелка со свежим луком и пунцовыми редисками, проглядывавшими сквозь зеленый лук, как красные зверята. Рядом с зеленью официантка поставила две порции лобio и хлеб.

— Боржом не забудь, Лидочка, — сказал Валико, и я окончательно успокоился и почувствовал, как сильно проголодался за день. Мы налегли на лобio, холодное и невероятно наперченное.

Захрустели редиской и луком. Каждый раз, когда я перекусывал стрелчатый стебель лука, он, словно сопротивляясь, выбрызгивал из себя острую пахучую струйку сока.

Неожиданно подошла официантка и поставила на стол бутылку вина и бутылку боржома.

— Ни за что, — сказал я решительно и снова поставил бутылку с вином на поднос.

— Не дай бог, — прошептал Валико и посмотрел на меня своими ясными и теперь уже испуганными глазами.

— В чем дело? — спросил я.

— Прислали, — сказала официантка и глазами показала в сторону компании.

Мы посмотрели туда и встретились глазами с парнем, который здоровался с Валико. Он смотрел в нашу сторону горделиво и добродушно. Валико кивком поблагодарил его и укоризненно покачал головой. Парень горделиво и скромно опустил глаза. Официантка отошла с пустым подносом.

— Я не буду пить, — сказал я.

— Не обязательно пить — пусть стоит, — ответил Валико.

Мы принялись за еду. Я почувствовал, что бутылка с вином как-то мешает.

Валико взял бутылку с боржомом и кротко спросил:

— Боржом можно налить?

— Боржом можно, — сказал я, чувствуя себя педантом.

Выпив по стакану боржома, мы снова приступили к лобио.

— Очень острое, — заметил Валико, шумно втягивая воздух.

— Да, — согласился я. Лобио и в самом деле было как огонь.

— Интересно, почему в России перец не так любят? — отвлеченно заметил Валико и, потянувшись к бутылке с вином, добавил: — Наверно, от климата зависит?

— Наверно, — сказал я и посмотрел на него.

— Не обязательно пить — пусть стоит, — сказал Валико и разлил вино в стаканы.

Мягкий, душистый запах подымался из стаканов. Это была «Изабелла», густо-пунцовая, как гранатовый сок. Валико вытер руки салфеткой и, дожевывая редиску, медленно потянулся к своему стакану.

— Не обязательно пить — попробуй, — сказал он и посмотрел на меня своими ясными глазами.

— Я не хочу, — сказал я, чувствуя себя последним дураком.

— Чтоб я выкопал старые кости отца и бросил грязным, зловонным собакам, если не подымешь! — воскликнул он неожиданно и замолк. В его огромных голубых глазах застыл ужас неслыханного святотатства. Я слегка обалдел от этого внезапного взрыва родовой клятвы.

— Старые кости отца — грязным собакам! — конспективно напомнил он и безропотно склонился над столом.

Мне стало страшно. Ничего, подумал я, от этой бутылки мы не опьянеем. Тем более что у меня преимущество: я знал, что он меня хочет напоить, а он не знает, что я знаю.

Мы допивали по последнему стакану. Я чувствовал, что хорошо контролирую себя и обмануть меня невозможно, да и, в сущности, Валико приятный парень, и все получается, как надо.

Подошла официантка с двумя шипящими шашлыками на вертеле.

— Пошли им от нашего имени бутылку вина и плитку шоколада для женщины, — сказал Валико, с медлительностью районного гурмана освобождая от шампура все еще шипящее, всосавшееся в железо мясо.

«Братский обычай», — подумал я и вдруг сказал:

— Две бутылки и две плитки пошлите...

— Гость сказал: две бутылки, — торжественно подтвердил Валико, и она отошла.

Через несколько минут парень из-за стола укоризненно качал головой, а Валико горделиво и скромно опускал глаза. А потом он нам прислал две бутылки вина, а Валико укоризненно покачал головой и даже пригрозил ему пальцем, на что парень еще скромней и горделивей опустил голову.

Потом мы несколько раз подымались и важно пили за наших новых друзей, и за их старых родителей, и за прекрасную представительницу великого народа. Лучи заходящего солнца били ей в спину и просвечивались в ее волосах, а навстречу солнечным лучам лился поток комплиментов, обдавая ее лицо, шею и особенно открытые плечи.

— Выпьем за козлотура, — как-то интимно предложил Валико, после того как, взаимоистощившись, замолкли наши коллективные тосты.

— Выпьем, — сказал я, и мы выпили.

— Между прочим, хорошее начинание, — сказал Валико, и на губах у него появилась загадочная полуулыбка, значение которой я понял не сразу.

— Дай бог, чтоб получилось, — сказал я.

— Говорят, в других районах тоже начинают. — Загадочная полуулыбка не сходила с его губ.

— Понемногу начинают, — сказал я.

— Имеет очень большое значение, — заметил Валико. Теперь глаза его блестели голубым загадочным блеском.

— Имеет, — подтвердил я.

— Интересно, что про козлотура говорят враги? — неожиданно спросил он.

— Пока, кажется, молчат, — сказал я.

— Пока, — многозначительно протянул он. — Козлотур — это не просто, — добавил он, немного подумав.

— Сначала все не просто, — сказал я, стараясь уловить, к чему он клонит.

— В другом смысле, — заметил он и, вдруг обдав меня голубым огнем своих глаз, быстро прибавил: — За рога выпьем отдельно?

— Выпьем, — сказал я, и мы выпили. Валико почему-то погрузился и стал закусывать шашлыком.

— Дочка есть, — сказал он, подняв на меня свои погрузневшие глаза, — три года.

— Прекрасный возраст, — поддержал я, как мог, семейную тему.

— Все понимает, несмотря что девочка, — с обидой заметил он.

— Это большая редкость, — сказал я, — тебе просто повезло, Валико.

— Да, — согласился он, — для нее мучаюсь. Но не думай, что жалуюсь, — с удовольствием мучаюсь, — добавил он.

— Понимаю, — сказал я, хотя уже ничего не понимал.

— Не понимаешь, — догадался Валико.

— Почему? — спросил я и вдруг заметил, что ясные голубые глаза Валико стекленеют.

— Чтoб я этого невинного ребенка сварил в котле для мамалыги...

— Не надо! — воскликнул я.

— Сварил в котле для мамалыги, — безжалостно продолжал он, — и съел ее детское мясо своими руками, если ты мне не скажешь, для чего козлотуры, хотя я и сам знаю! — произнес он с ужасающей страстью долго молчавшего правдоискателя.

— Как — для чего? Мясо, шерсть, — пролепетал я.

— Сказки! Атом добывают из рогов, — уверенно произнес Валико.

— Атом?!

— Точно знаю, что добывают атом, но как добывают, пока еще не знаю, — сказал он убежденно. Теперь на губах его снова играла загадочная полуулыбка человека, который знает больше, чем говорит.

Я посмотрел в его добрые, голубые, ничего не понимающие глаза и понял, что переубедить его мне не под силу.

— Клянусь прахом моего деда, что я ничего такого не знаю! — воскликнул я.

— Значит, вам тоже не говорят, — удивился Валико, но удивился не тому, что нам тоже не говорят, а тому, что загадка оказалась еще глубже, чем он ожидал.

Мы вышли из закуской. Над нами темнело теплое звездное небо. Небосвод покачивался и то приближался, то отходил, но и когда отходил, он был гораздо ближе, чем обычно. Большие незнакомые звезды вспыхивали и мерцали. Станные, незнакомые мысли вспыхивали и мерцали в моей голове. Я подумал, что, может быть, мы сами приблизились к небу после такой дружеской выпивки. Какое-то созвездие упрямо мерцало над моей головой. И вдруг я почувствовал, что эти светящиеся точки напоминают что-то знакомое. Голова козлотура, радостно подумал я, только один глаз совсем маленький, подслеповатый, а другой большой и все время подмигивает.

— Созвездие Козлотура, — сказал я.

— Где? — спросил Валико.

— Вон, — сказал я и, обняв его одной рукой, показал на созвездие.

— Значит, уже переименовали? — спросил Валико, глядя на небо.

— Да, — подтвердил я, продолжая глядеть на небо. Это была настоящая голова козлотура, только один глаз его все время подмигивал, и я никак не мог понять, что означает его подмигивание.

— Если что не так, прости, — сказал Валико.

— Это ты меня прости, — сказал я.

— Если хочешь посмотреть, как спит козлотур, поедем, — сказал Валико.

— Нет, — сказал я, — у меня срочное задание.

— Если ты меня простишь, я уеду, — сказал он, — потому что еще успею в кино.

Мы обнялись, как братья по козлотуру. Валико влез в машину.

— Никуда не уходи и жди зугдидскую машину, — сказал он.

Я почему-то надеялся, что у него не сразу заведется мотор. Но он сразу его завел и еще раз крикнул мне:

— На другую не садись, жди зугдидскую!

Шум мотора несколько минут доносился из темноты, а потом смолк. Звезды, одиночество и теплая летняя ночь.

По ту сторону шоссе темнел парк, а за ним было море, оттуда раздавался приглушенный зеленью парка шум прибоя.

Мне захотелось к морю. Я встал и пошел через шоссе. Я помнил, что мне надо дожидаться автобуса, но почему-то казалось, что автобуса можно подождать и у моря.

Я пошел по парковой дорожке, окруженной черными силуэтами кипарисов и светлыми призраками эвкалиптов.

С моря потягивало прохладой, листья эвкалиптов издавали еле слышный звон. Время от времени я поглядывал на небо. Созвездие Козлотура прочно стояло на месте.

Я был не настолько пьян, чтобы ничего не замечать, но все же настолько пьян, что думал: все замечаю.

На скамейке у самого моря сидели двое. Я немедленно подошел к ним. Они молча уставили на меня голубоватые лица.

— Подвиньтесь, — сказал я парню и, не дожидаясь приглашения, уселся между ними. Девушка кротко засмеялась.

— Не бойтесь, — сказал я мирно, — я вам что-то покажу.

— А мы и не боимся, — сказал парень, по-моему, не слишком уверенно. Я оставил его слова без внимания.

— Посмотрите на небо, — сказала я девушке нормальным голосом. — Что вы там видите?

Девушка посмотрела на небо, потом на меня, пытаюсь определить, пьяный я или сумасшедший.

— Звезды, — сказала она преувеличенно естественным голосом.

— Нет, вы сюда посмотрите, — терпеливо возразил я и, пытаясь точнее направить ее взгляд на созвездие Козлотура, слегка придержал ее за плечо.

— Пойдем, а то закроют, — угрюмо напомнил парень, стараясь избежать катастрофы.

— Что закроют? — вежливо повернулся я к нему. Мне приятно было чувствовать, что он боится меня, и в то же время сознавать, что я предельно корректен.

— Турбазу закроют, — сказал он.

Я почувствовал, что между созвездием Козлотура и турбазой есть какое-то таинственное созвучие, как бы опасная связь.

— Интересно, почему вы вспомнили турбазу? — спросил я у парня, кажется, строже, чем надо.

Парень молчал. Я посмотрел на девушку. Она зябко закуталась в шерстяную кофту, накинутую на плечи, словно от меня исходил космический холод.

Я посмотрел на небо: морда козлотура, очерченная светящимися точками, покачивалась, то приближаясь, то удаляясь. Большой глаз время от времени подмигивал. Я понимал, что подмигивание что-то означает, но никак не мог догадаться, что именно.

— Козлотуризм — лучший отдых, — сказал я.

— Можно мы пойдем? — тихо сказала девушка.

— Идите, — ответил я спокойно, но все-таки давая знать, что я в них разочарован.

Через мгновение они куда-то провалились. Я закрыл глаза и стал обдумывать, что означает подмигивание козлотура. Равномерные удары волн обдавали меня свежей прохладой и на миг заволакивали сознание, а потом оно высовывалось из забытья, как обломок скалы из пены прибоя.

Внезапно я открыл глаза и увидел перед собой двух милиционеров.

— Документы, — сказал один из них.

Я автоматически вынул из кармана паспорт, протянул его и снова закрыл глаза. Потом я открыл глаза и удивился, что они все еще тут. Мне показалось, что прошло много времени.

— Здесь спать нельзя, — сказал один из них и вернул мне паспорт.



— Жду зугдидскую машину, — сказал я и снова закрыл глаза, вернее, прекратил усилия удерживать их открытыми.

Милиционеры тихо рассмеялись.

— А вы знаете, который час? — сказал один из них. Я почувствовал неприятную ненормальность в левой руке, вскинул ее и увидел, что на ней нет часов.

— Часы! — воскликнул я и вскочил. — Украла часы!

Я окончательно проснулся и отрезвел. Было уже совсем светло. Из ущелья со стороны гор дул сырой ветер, в море работал сильный накат. На берегу напротив нас стоял отдыхающий старик и делал физзарядку. Он медленно, страшно медленно присел на длинных тонких ногах. Он так трудно присел, что сделалось тревожно — сможет ли встать. Но старик, передохнув на корточках, пошатываясь, медленно поднялся и, вытянув руки, застыл, не то устанавливая равновесие, не то прислушиваясь к тому, что произошло внутри него после упражнения.

Милиционеры, так же как и я, следили за стариком. Теперь, успокоившись за него, один из них спросил:

— Какие часы — «Победа»?

— «Докса», — ответил я с горечью и в то же время гордясь ценностью потери, — швейцарские часы.

— С кем были? — спросил другой милиционер.

— Сам был, — сказал я на всякий случай.

— Пройдем в отделение, составим акт, — сказал тот, что брал паспорт, — если найдутся — известим.

— Пойдемте, — сказал я, и мы пошли.

Мне было очень жалко своих часов, я к ним привык, как к живому существу. Мне их подарил дядя после окончания школы, и я их носил столько лет, и с ними ничего не случалось. Водонепроницаемые, антимагнитные, небьющиеся, с черным светящимся циферблатом, похожим на маленькое ночное небо. В общежитии института и их иногда забывал в умывалке, и мне их приносила уборщица или кто-нибудь из ребят, и я как-то поверил про себя, что они ко всем своим достоинствам еще и не теряющиеся.

— Паспорт есть на часы? — спросил один из милиционеров.

— Откуда, — сказал я, — они трофейные, дядя привез с войны.

— Номер помните? — спросил он снова.

— Нет, — сказал я, — я их и так узнаю, если увижу.

Мы наискосок пересекли парк и вышли на тихую незнакомую улицу. На этой улице, как и во всем этом городке, стояли одноэтажные дома на длинных рахитичных сваях. Жители этого городка только тем и заняты, что строят вот такие дома. Построив, тут же начинают продавать или менять с приплатой в ту или другую сторону за какие-то никому не понятные преимущества — ведь все они похожи друг на друга, как курятники. Причем сами они в этих домах почти не живут, потому что на полгода отдают их курортникам, чтобы накопить денег и яростно приняться за строительство нового дома с еще более длинными и более рахитичными ножками. Достоинство человека здесь определяется одной фразой: «Строит дом».

Строит дом — значит, порядочный человек, приличный человек, достойный человек. Строит дом — значит, человек при деле, независимо от службы, значит, человек пустил корень, то есть в случае чего никуда не убежит, а стало быть, пользуется доверием, а раз уж пользуется доверием, можно его приглашать на свадьбы, на поминки, выдать за него дочь или жениться на его дочери и вообще иметь с ним дело.

Я об этом говорю не потому, что у меня здесь украли часы, я и до этого так думал. Причем тут даже нет какой-то особой личной корысти, потому что дом — это только символ, и даже не сам дом, а процесс его строительства. И если бы, скажем, условиться, что отныне достоинство человека будет измеряться количеством павлинов, которых он у себя развел, они бы все бросились разводить павлинов, менять их, щупать хвосты и хвастаться величиной павлиньих яиц. Страсть к самоутверждению принимает любые, самые неожиданные символы, лишь бы они были достаточно наглядны и за ними стоял золотой запас истраченной энергии.

Скрипнула калитка, и мы вошли в зеленый дворик милиции. Траву, видно, здесь тщательно выращивали, она была густая, курчавая и высокая. Посреди двора сто-

яла развесистая шелковица, под которой уютно расположились скамейки и столик для нардов или домино, намертво вбитый в землю. Вдоль штакетника в ряд росли юные яблони. Они были густо усеяны плодами. Это был самый гостеприимный дворик милиции из всех, которые я когда-либо видел. Легко было представить, что в таком дворе осенью начальник милиции варит варенье, окруженный смилившимися преступниками.

К помещению милиции вела хорошо утоптанная тропа.

В комнате, куда мы вошли, за барьером сидел милиционер, а у входа на длинной скамье — парень и девушка. Девушка мне показалась похожей на вчерашнюю, но на этой не было кофточки. Я пытливо посмотрел ей в глаза.

Один из моих милиционеров куда-то вышел, а второй сел на скамью и сказал мне:

— Пишите заявление.

Потом он оглядел парня и девушку и посмотрел на того, что сидел за барьером.

— Гуляющие без документов, — скучно пояснил тот.

Девушка отвернулась и теперь смотрела в открытую дверь. Мне она опять показалась похожей на вчерашнюю.

— А где ваша кофточка? — спросил я у нее неожиданно, почувствовав в себе трепет детективного безумия.

— Какая еще кофточка? — сказала она, окинув меня высокомерным взглядом, и снова отвернулась к дверям. Парень тревожно посмотрел на меня.

— Извините, — пробормотал я, — я вас спутал с одной знакомой.

По голосу я понял, что это не она. На лица-то у меня плохая память, но голоса я помню хорошо. Я вынул блокнот, подошел к барьеру и стал обдумывать, как писать заявление.

— На этой нельзя, — сказал сидевший за барьером и подал мне чистый лист.

Я смирился, окончательно поняв, что мне все равно не дадут использовать свой блокнот.

— Отпустите, товарищ милиционер, — невнятно заканючил парень, — большое дело, что ли...

— Придет товарищ капитан и разберется, — сказал тот, что сидел за барьером, ясным миротворческим голосом.

Парень замолчал. В открытые окна милиции доносилось далекое шарканье дворничьей метлы и чириканье птиц.

— Сколько можно ждать, — сказала девушка сердито, — мы уже здесь полтора часа.

— Не грубите, девушка, — сказал милиционер, не повышая голоса и не меняя позы. Он сидел за столиком, подперев щеку рукой и сонно пригорюнившись. — Товарищ капитан делает обход. Имеются факты изнасилования, — добавил он, немного подумав, — а вы гуляете без документов.

— Не говорите глупости, — строго сказала девушка.

— Чересчур ученая, а скромности не хватает, — не повышая голоса, грустно сказал милиционер. Он сидел все так же, не меняя позы, сонно пригорюнившись.

Я написал заявление, и он глазами показал, чтоб я положил его на стол.

В это время за барьером открылась дверь и оттуда вышел, поеживаясь и поглаживая красивое потное лицо, высокий плотный человек.

— А вот и товарищ капитан! — радостно воскликнул сидевший за барьером и, бодро вскочив, уступил место капитану.

— Что-то я не слышала машины, — сказала девушка дерзко и снова отвернулась к дверям.

— В чем дело? — спросил капитан, усаживаясь и хмуро оглядывая девушку.

— Гуляющие без документов, — доложил звонким голосом тот, что был за барьером. — Около четырех часов обнаружены в прибрежной полосе. Она говорит, что не хочет будить хозяйку, а кавалер на том конце города живет.

— Товарищ капитан... — начал было парень.

— Сбегаешь за паспортом, а она останется под залог, — перебил его капитан.

— Но ведь сейчас машины не ходят, — начал было парень.

— Ничего, молодой, сбегаешь, — сказал капитан и вопросительно посмотрел на меня.

— Вот заявление, товарищ капитан, — показал на стол тот, что стоял за барьером.

Капитан склонился над моим заявлением. Милиционер, тот, что пришел со мной, теперь стоял в бодрой позе, готовый внести нужные дополнения.

— Ты не волнуйся, я мигом, — шепнул парень девушке и быстро вышел.

Девушка ничего не ответила.

Из открытых окон доносилось равномерно приближающееся шарканье метлы и неистовое пение птиц. Губы капитана слегка шевелились.

— Паспорт есть? — спросил он, подняв голову.

— Они трофейные, — ответил я, — мне дядя подарил.

— При чем дядя? — поморщился капитан. — Ваш паспорт покажите.

— А, — сказал я и подал ему паспорт.

— Спал на берегу моря, — вставил тот, что привел меня, — когда мы его разбудили, сказал, что украли часы.

— Интересно получается, — сказал капитан, с любопытством оглядывая меня, — вы пишете, что ждали зугдидскую машину, а разбудили вас на берегу. Вы что, с моря ее ждали?

Оба милиционера сдержанно засмеялись.

— Зугдидская машина проходит в одиннадцать вечера, а мы его разбудили в шесть утра, — заметил тот, что привел меня, как бы раскрывая новые грани проницательности капитана.

— Может, вы ждали ее обратным рейсом? — высказал капитан неожиданную догадку. Чувствовалось, что он страдает, стараясь извлечь из меня смысл.

— Да, обратным рейсом в Зугдиди, — неизвестно зачем сказал я, может быть, чтобы успокоить капитана.

— Тогда другое дело, — сказал капитан и, протягивая мне паспорт, спросил: — А где вы работаете?

— В газете «Красные субтропики», — сказал я и протянул руку за паспортом.

— Тогда почему не взяли номер в гостинице? — снова удивился капитан и опять раскрыл мой паспорт. — Нехорошо получается, — сказал капитан и зацокал. — Что я теперь скажу Автандилу Автандиловичу...

Господи, подумал я, здесь все друг друга знают.

— А зачем вам ему что-то говорить? — спросил я. Этого еще не хватало, чтобы редактор узнал о моей потере. Начнутся расспросы, да и вообще неудачников не любят.

— Нехорошо получается, — задумчиво проговорил капитан, — приехали к нам в город, потеряли часы... Что подумает Автандил Автандилович...

— Вы знаете, — сказал я, — мне кажется, я их оставил в Ореховом Ключе...

— Ореховый Ключ? — встрепнулся капитан.

— Да, я был там в командировке по вопросу о козлотурах...

— Знаю, интересное начинание, — заметил капитан, внимательно слушая меня.

— Мне кажется, я там оставил часы.

— Так мы сейчас позвоним туда, — обрадовался капитан и схватил трубку.

— Не надо! — закричал я и шагнул к нему.

— А-а, — капитан хлопнул в ладоши, и лицо его озарилось лукавой догадкой, — теперь все понимаю: вам устроили хлеб-соль...

— Да-да, хлеб-соль, — подтвердил я.

— Между прочим, туда проехал Вахтанг Бочуа, — вставил тот, что пришел со мной.

— Вам устроили хлеб-соль, — продолжал свою лукавую догадку капитан, — и вы подарили кому-то часы, а вам подарили портсигар, — закончил он радостно и победно оглядел меня.

— Какой портсигар? — не сразу уловил я ход его мысли.

— Серебряный, — добродушно пояснил капитан.

— Нет, я подарил, — сказал я.

— Так не бывает, — добродушно опроверг капитан, — значит, вам что-то обещали подарить. Почему стоите, садитесь, — добавил он и вынул из кармана пачку «Казбека». — Курите?

— Да, — сказал я и взял папиросу. Капитан дал мне прикурить и закурил сам.

Милиционер, тот, что был за барьером, вышел во внутреннюю дверь, как только капитан закурил. Тот, что привел меня, стоял, незаметно прислонившись к подоконнику.

— В прошлом году был в Сванетии, — сказал капитан, пуская в потолок струю дыма, — местный начальник отделения устроил хлеб-соль. Ели-пили, а потом дарят мне оленя. Хотя зачем мне олень? Не взять — смертельно обидятся. Я принял подарок и в свою очередь обещал местному отделению два ящика патронов. Как только приехал — отослал.

— А оленя взяли? — спросил я.

— Конечно, — сказал он. — Недельку жил дома, а потом сын отвел его в школу. Мы, говорит, из него козлотура сделаем. Пожалуйста, говорю, делайте, все равно в городских условиях оленя негде держать.

Капитан крепко затянулся. На его круглом лице было написано спокойствие и благодушие. Я был рад, что он забыл про часы. Все-таки было бы неприятно, если бы об этом узнал мой редактор.

— У сванов отличный стол, — продолжал вспоминать капитан, — но все портит арака. — Он посмотрел на меня и сморщился. — Неприятный напиток, хотя, — примирительно добавил он, — дело в привычке...

— Конечно, — сказал я.

— Но в Ореховом Ключе «Изабелла» — как орлиная кровь...

«У вас тоже неплохая», — подумал я. Капитан тихо рассмеялся и вдруг спросил:

— А этого спящего агронома видели?

— Видел, — сказал я. — Отчего это он спит?

— Чудак человек, — снова рассмеялся капитан, — у него болезнь такая. Несмотря на то что спит, первый специалист по чаю. В районе такого нет.

— Да, плантации у них чудесные, — сказал я и вспомнил девушку Гоголу над зелеными курчавыми кустами.

— В прошлом году у них в колхозе чепэ произошло. Кто-то несгораемый шкаф украл.

— Несгораемый шкаф?

— Да, несгораемый шкаф, — сказал капитан. — Я вызвал сам. Украсть украли, но открыть не смогли. Спящий агроном помог нам найти. Очень умный человек... Но, между прочим, «Изабелла» коварное вино, — продолжал капитан, не давая далеко уходить от главной темы. — Пьешь как лимонад, и только потом дает знать.

Он посмотрел на меня, потом на девушку и сказал ей:  
— Идите, девушка, только больше так поздно не гуляйте.

— Я подожду его, — сказала она и сурово отвернулась к выходу.

— Во дворе подождите, там птички поют. — И строго добавил: — Избегайте случайных знакомств, а теперь идите.

Девушка молча вышла. Капитан кивнул в ее сторону и сказал:

— Обижаются за профилактику, а потом сами прибегают и жалуются: «Изнасиловал! Ограбил!» Кто — не знает, где прописан — никакого представления. Как с ним оказалась? Молчит. — Капитан посмотрел на меня обиженными глазами.

— Молодо — зелено, — сказал я.

— В том-то и дело, — согласился капитан. Птицы во дворе милиции заливались на все голоса. Метла дворника теперь шаркала у самых ворот.

— Костя, — обратился капитан к милиционеру, — полей тротуар и двор, пока не жарко.

— Хорошо, товарищ капитан, — сказал милиционер.

— Завтра пойдешь в цирк, — остановил он его в дверях.

— Хорошо, товарищ капитан, — радостно повторил милиционер и вышел.

— Что за цирк? — спросил я и тут же подумал, что задаю бестактный вопрос, если это какой-то условный знак.

— Цирк приехал, — просто сказал капитан, — отличников службы для поощрения посылаем дежурить в цирк.

— А-а, — понял я.

— Исполнительный и толковый работник. — Капитан кивнул на дверь и прибавил: — Двадцать три года, уже дом строит.

— Пожалуй, я тоже пойду, — сказал я.

— Куда спешите, — остановил меня капитан и посмотрел на часы, — до зугдидской машины еще ровно час и сорок три минуты...

Я снова сел.



— Но лучшая закуска для «Изабеллы» знаете какая? — Он посмотрел на меня с добродушным коварством.

— Шашлык, — сказал я.

— Извините, дорогой товарищ, — с удовольствием возразил капитан и даже вышел из-за барьера, словно почувствовал во мне дилетанта, с которым надо работать и работать. — «Изабелла» любит вареное мясо с аджикой. Особенно со спины — филейная часть называется, — пояснил он, притронувшись к затылку. — Но ляжка тоже неплохо, — добавил он, немного помедлив, как человек, который прежде всего озабочен справедливостью или, во всяком случае, не собирается проявлять узость взгляда. — Мясо с аджикой вызывает жажду, — сказал капитан и остановился передо мной. — Ты уже не хочешь пить, но организм сам требует! — Капитан радостно развел руками в том смысле, что ничего не поделаешь — раз уж организм сам требует. Он снова зашагал по комнате. — Но белое вино мясо не любит, — неожиданно предостерег он и, остановившись, тревожно посмотрел на меня.

— А что любит белое вино? — спросил я озабоченно.

— Белое вино любит рыбу, — сказал он просто. — Ставрида, — капитан загнул палец, — барабулька, кефаль или горная рыба — форель. Иф, иф, иф, — присвистнул от удовольствия капитан. — А к рыбе, кроме алычовой подливки и зелени, ничего не надо! — И, как бы оглядев с гримасой отвращения остальные закуски, энергичным движением руки отбросил их в сторону.

Так мы поговорили с дежурным капитаном некоторое время, и наконец, убедившись, что он достаточно далеко ушел от моих часов, я попрощался с ним и вышел. Но тут он снова окликнул меня.

— Заявление возьмите, — сказал он и подал мне его. — Не беспокойтесь, — добавил он, заметив, видимо, что возвращаться к этой теме мне неприятно, — добровольный подарок проходит как местный национальный обычай.

После этой небольшой юридической консультации я окончательно попрощался с ним и вышел.

Мокрый дворик милиции сверкал на еще не жарком утреннем солнце. Милиционер деловито поливал из

шланга молодую яблоню. Когда струя попадала в листья, раздавался глухой шелест, и по листве пробегал мощный благодарный трепет, и радужная пыль отлетала от мокрой, упруго вздрагивающей листвы.

Девушка сидела под шелковицей и, глядя на ворота милиции, ждала своего возлюбленного.

На улице я изорвал свое заявление и бросил его в урну. Я едва успел на свой автобус. Всю дорогу я обдумывал свою будущую статью о козлотуре из Орехового Ключа. Мне казалось, что горечь потери часов внесет в мою статью тайный лиризм, и это в какой-то мере меня утешало.

Дома я решил сказать, что часы у меня украли в гостинице. Дядя, который, как я думал, давно забыл о подаренных часах, воспринял эту новость болезненно. Кстати говоря, он широко известен в нашем городе как один из лучших таксистов. Дня через два после моего приезда он прикатил к нам прямо с клиентами и стал расспрашивать, что и как.

— Мне дали номер с одним человеком, утром встаю — ни человека, ни часов, — сказал я горестно.

— А как он выглядел? — спросил дядя, загораясь мстительным азартом.

— Когда я вошел, он спал, — сказал я.

— Дуралей, — сказал дядя, — во-первых, не спал, а притворялся, что спит. Ну а дальше?

— Утром встаю — ни человека, ни часов...

— Заладил, — перебил он меня нетерпеливо, — неужели не заметил, какой он был с виду?

— Он был укрыт одеялом, — сказал я твердо. Я боялся говорить ему что-нибудь определенное. Я боялся, что при его решительном характере он начнет мне приводить всех заподозренных клиентов, да еще прямо в редакцию.

— В такую жару укрылся с головой! — воскликнул дядя. — Умного человека уже одно это должно было насторожить. А часы где были?

— Часы лежали под подушкой, — сказал я твердо.

— Зачем? — сморщился он. — Не надо было снимать, они же небьющиеся.

А я и не снимал, чуть было не сказал я, но вовремя спохватился.

— А что сказала администрация? — не унимался дядя.

— Они сказали, что надо было отдать им на хранение, — ответил я, вспомнив инструкцию общественной бани.

Я думаю, он бы меня запутал своими вопросами, если бы пассажиры не подняли шум под нашими окнами. Они сначала гудели в клаксон, а потом стали стучать в окно.

— С попутным рейсом заеду и устрою им веселую жизнь! — пообещал он на ходу, выскакивая на улицу.

Он был так огорчен потерей, что я сначала подумал: не собирался ли он отобрать их у меня по истечении какого-то срока? Но потом я догадался, что потеря подарка вообще воспринимается подарившими как проявление неблагодарности. Когда нам что-нибудь дарят, в нас делают вклад, как в сберкасску, чтобы получать маленький (как и в сберкассе), но вечный процент благодарности. А тут тебе сразу две неприятности: и вклад потерян, и благодарность иссякла. К счастью, попутного рейса в ближайшее время не оказалось, и дядя постепенно успокоился.

Но я заскочил вперед, а мне надо вернуться ко дню моего приезда из командировки. По правде говоря, мне неохота возвращаться к нему, потому что приятного в нем мало, но это необходимо для ясности изложения.

Ровно в девять часов (по городским башенным часам) я вошел в редакцию. Платон Самсонович уже сидел за своим столом. Увидев меня, он восторженно вскрикнул, и его свеженакрахмаленная сорочка издала треск, словно она намагничивалась от соприкосновения с его ссохшимся телом энтузиаста.

Я понял, что у него появилась новая идея, потому что он каждый свой творческий всплеск отмечал свежей сорочкой. Так что если с точки зрения гигиены он их менял не так уж часто, то с точки зрения развития новых идей он находился в состоянии непрерывного творческого горения. Так оно и оказалось.

— Можешь меня поздравить, — воскликнул он, — у меня оригинальная идея!

— Какая? — спросил я.

— Слушай, — сказал он, сдержанно сияя, — сейчас все поймешь. — Он придвинул к себе листок бумаги и стал писать какую-то формулу, одновременно поясняя ее: — Я предлагаю козлотура скрестить с таджикской шерстяной козой, и мы получаем:

$\text{Коза} \times \text{Тур} = \text{Козалотур.}$

$\text{Козлотур} \times \text{Коза (тадж.)} = \text{Козалотур}^2$

Козлотур в квадрате будет несколько проигрывать в прыгучести, зато в два раза выигрывать в шерстистости. Здорово? — спросил он и, отбросив карандаш, посмотрел на меня блестящими глазами.

— А где вы возьмете таджикскую козу? — спросил я, стараясь подавить в себе ощущение какой-то опасности, которую излучали его глаза.

— Иду в сельхозуправление, — сказал он и встал, — нас должны поддержать. Ну, как ты съездил?

— Ничего, — ответил я, чувствуя, что он сейчас далек от меня и спрашивает просто так, из вежливости.

Он ринулся к двери, но потом вернулся и сунул листок с новой формулой в ящик стола. Закрыв ящик ключом, подергал его для проверки и положил ключ в карман.

— Пока про это молчи, — сказал он на прощание, — а ты пиши очерк, сегодня сдадим.

В его голосе прозвучало сознание превосходства думающего инженера над рядовым исполнителем. Я сел за стол, пододвинул пачку чистых листов, вынул ручку и приготовился писать. Я не знал, с чего начать. Вынул блокнот, зачем-то стал его перелистывать, хотя и знал, что он так и остался незаполненным.

Если судить по нашей газете, было похоже, что колхозники, за исключением самых несознательных, только и заняты козлотурами. Но в селе Ореховый Ключ все выглядело гораздо скромней. Я понимал, что прямо посягнуть на козлотура было бы наивностью, и решил действовать методом Иллариона Максимовича — то есть поддерживать идею в целом с некоторой отрицательной поправкой на местные условия. Пока я раздумывал, как начать, открылась дверь и вошла девушка из отдела писем.

— Вам письмо, — сказала она и странно посмотрела на меня.

Я взял письмо и вскрыл его. Девушка продолжала стоять в дверях. Я посмотрел на нее. Она неохотно повернулась и медленно закрыла дверь.

Это было письмо оттуда, от моего товарища. Он писал, что до них дошли известия о нашем интересном начинании с козлотурами и редактор просит меня написать очерк, потому что хотя я и ушел от них, но они по-прежнему считают меня своим товарищем по перу, которого они выпестовали. Товарищ мой иронически цитировал его слова. Кстати сказать, письма — это единственный вид корреспонденции, где он позволял себе иронизировать.

Выходит, сначала меня выпестовали, а потом я сам ушел.

Не могу сказать, что остальная часть письма мне больше понравилась. В ней сообщалось, что он ее видит иногда в обществе майора. Поговаривают, что она вышла за него замуж, хотя это еще не точно, добавлял он в конце.

Конечно, точно, подумал я и отложил письмо. Я заметил, что иногда люди смягчают неприятные известия не из жалости к нам, а скорее из жалости к себе, чтобы не говорить приличествующие по такому поводу слова сочувствия, призывать к суровому мужеству или тем более бежать за водой.

Не буду преувеличивать. У меня не хлынула горлом кровь и не открылась старая рана. Скорее, я почувствовал некоторую тупую боль, какая бывает у ревматиков перед плохой погодой. Я решил ее тоже каким-то боком приспособить к своему очерку, чтобы она помогла мне вместе с потерянными часами. У меня такая теория, что всякая неудача способствует удаче, только надо умело пользоваться своими неудачами. У меня есть опыт по части неудач, так что я научился ими хорошо пользоваться.

Только нельзя использование неудач понимать примитивно. Например, если у вас украли часы, то это не значит, что вы тут же научитесь определять время по солнечным часам. Или немедленно сделаетесь счастливым, и вам, согласно пословице, будет просто незачем наблюдать часы.

Но главное даже не это. Главное — та праведная, но бесплодная ярость, которая вас охватывает при неудаче. Ярость эта предстает в чистом виде, ее как бы исторгает сама неудача, и, пока она бурлит в вашей крови, спешите ее использовать в нужном направлении.

Но при этом нельзя отвлекаться на мелочи, что, к сожалению, бывает со многими.

Иной в состоянии благородной ярости, скажем, решил позвонить и хотя бы по телефону-автомату сделать самый смелый, самый значительный поступок в своей жизни — и вдруг автомат, ни с кем его не соединив, проглатывает монету. Неожиданно человек начинает биться в судорогах, он конвульсивно дергает рычаг трубки, словно это кольцо никак не раскрывающегося парашюта. А потом, что еще более нелогично, старается просунуть лицо в выем для монет, который обычно не больше спичечной коробки, и, следовательно, просунуть голову туда никак невозможно. Ну хорошо, положим, он просунет голову в этот несчастный выем — что он там увидит? И даже если увидит свою монету, ведь не слизнет же он ее оттуда языком!

В конце концов, опустошив свою ярость в этих бессмысленных ковыряниях, он выходит из телефонной будки и неожиданно, может быть, даже для себя садится в кресло чистильщика обуви, словно и не было никакой благородной ярости, а так, вышел на прогулку и решил попутно навести блеск на свои туфли, а уж заодно и купить у чистильщика пару запасных шнурков. И вот он сидит в кресле чистильщика и, что особенно возмутительно, бесконечно возится с этими шнурками, то проверяя наконечники, то сравнивая их длину, сидит, слегка оттопырив губы, как бы издавая бесшумный свист, и при этом на лице его деловитая безмятежность рыбака, распутывающего сети, или крестьянина, собирающегося на мельницу и прощупывающего старый мешок.

Где ты, благородная ярость?

А иной, находясь в этом высоком состоянии, неожиданно бросается за мальчишкой, который случайно попал в него снежком. Ну ладно, пусть не случайно, но зачем взрослому человеку сворачивать со своей благородной стези и гнаться за мальчишкой, тем более что гнать-

ся за ним бесполезно, потому что он знает все эти проходные дворы, как собственный пенал и даже лучше, он и бежит от него нарочно не слишком быстро, чтобы ему было интересней. А человек в этой непредвиденной пробежке растряс всю свою ярость и внезапно останавливается перед продуктовым складом и смотрит, как грузчики скатывают огромные бочки с грузовика, словно именно для этого он и бежал сюда целый квартал. Отдыхавшись, он даже начинает давать им советы, хотя советов его никто не слушает, однако никто и не пресекает их, так что издали, со стороны, можно подумать, что грузчики работали под его руководством, и, не успей он прибежать сюда вовремя, неизвестно, чего бы натворили эти грузчики со своими бочками. В конце концов бочки вкатывают в подвал, и он умиротворенно уходит, словно все, что он делал, было предусмотрено еще утром. Где ты, благородная ярость?

Пока я так думал, открылась дверь, снова вошла девушка из отдела писем.

— Я вам бумаги принесла, — сказала она и положила стопку бумаги на стол Платона Самсоновича.

— Хорошо, — сказал я. На этот раз я был рад ее приходу. Она меня вывела из задумчивости.

— Ну, что пишут? — спросила она как бы между прочим.

— Попросят статью о козлотуре, — ответил я как бы между прочим.

Она пытливно посмотрела мне в глаза и вышла. Я снова взялся за свой очерк. Козлотур стоял в центре очерка и выглядел великолепно. Село Ореховый Ключ ликовало вокруг него, хотя по условиям микроклимата козлотур, к сожалению, невзлюбил местных коз. Я уже кончил очерк, когда раздался телефонный звонок. Звонил Платон Самсонович.

— Послушай, — сказал он, — не мог бы ты намекнуть в своем очерке, что колхозники поговаривают о таджикской шерстяной козе?

— В каком смысле? — спросил я.

— В том смысле, что они довольны козлотуром, но не хотят останавливаться на достигнутом, а то тут некоторые осторожничают...

— Но это же ваша личная идея? — сказал я.

— Ничего. — Платон Самсонович вздохнул в трубку. — Сочтемся славою... Сейчас лучше, чтобы эта идея шла снизу, это их подстегнет...

— Я подумаю, — сказал я и положил трубку.

Я знал, что некоторые места в моей статье ему не понравятся. Чтобы отвоевать эти места, я решил поддержать его новую идею, но это оказалось не так просто. Я перебрал в уме всех, с кем виделся в колхозе, и понял, что никто ничего подобного не мог сказать, кроме разве Вахтанга Бочуа, но он не подходил для этой цели. В конце концов я решил этот намек поставить в конце очерка, как вывод, который сам напрашивается в поступательном ходе развития животноводства. «Не за горами время, — писал я, — когда наш козлотур встретится с таджикской шерстяной козой, и это будет новым завоеванием нашей мичуринской агробиологии».

Я перечитал свой очерк, расставил запятые, где только мог, и отдал машинистке. Я просидел над ним около трех часов и теперь чувствовал настоящую усталость и даже опустошенность. Я чувствовал себя опытным дипломатом, сумевшим срезать все острые углы: и козлотуры сыты, и председатель цел.

Я вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположенную во дворе летнего ресторана под открытым небом. Я сел за столик под пальмой и заказал себе бутылку боржома, пару чебуреков и две чашки кофе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохнатый ствол пальмы, потому что салфеток, как всегда, не оказалось. После этого я стал потягивать крепкий, густой кофе и снова почувствовал себя дипломатом, но теперь не только опытным, но и пожившим дипломатом.

Гипнотический шорох пальмовых листьев, горячий кофе, прохладная тень, мирное щелканье четок старожил... Постепенно козлотуры уходили куда-то далеко-далеко, я погружался в блаженное оцепенение.

За одним из соседних столиков, окруженный старожилками, витийствовал Соломон Маркович, опустившийся зубной врач. Когда-то, еще до войны, его бросила и ок-



леветала жена. С тех пор он запил. Его здесь любят и угощают. И хотя его любят, я думаю, бескорыстно, все же людям приятно видеть человека, которому еще больше не повезло, чем им. Сейчас он рассказывал мусульманским старикам библейские притчи, перемежая их примерами из своей жизни.

— ...И они мне говорят: «Соломон Маркович, мы тебя посадим на бутылку». А я им отвечаю: «Зачем я сяду на бутылку, лучше я сяду прямо на пол».

Увидев меня, он неизменно говорит:

— Молодой человек, я тебе дам такой сюжет, такой сюжет, я тебе расскажу свою жизнь от рождения до смерти.

После этого обычно ничего не остается, как поставить ему коньяк и чашку кофе по-турецки, но иногда это надо, особенно когда нет времени или настроения выслушивать чужие горести.

Вернувшись в редакцию, я зашел в машинописное бюро за своим очерком. Машинистка сказала, что его забрал редактор.

— Что, сам взял? — спросил я, чувствуя безотчетную тревогу и, как всегда, интересуясь ненужными подробностями.

— Прислал секретаршу, — ответила она, не отрываясь от клавиш.

Я зашел в наш кабинет, сел за свой стол и стал ждать. Мне не очень понравилась поспешность нашего редактора. Я вспомнил, что в очерке остались две-три формулировки, по-моему, недостаточно отточенные. Кроме того, мне хотелось, чтобы его сначала прочел Платон Самсонович.

Я ждал вызова. Наконец прибежала секретарша и испуганно сказала, что меня ищет редактор. Хотя она обо всяком вызове редактора сообщала испуганным голосом, все-таки теперь это было неприятно.

Я открыл дверь кабинета. Рядом с Автандилом Автандиловичем сидел Платон Самсонович.

Редактор сидел в обычной для него позе пилота, уже выключившего мотор, но все еще находящегося в кабине. Жирные лопасти вентилятора были похожи на гигантские лепестки тропического цветка. Скорее всего, идовитого.

Казалось, Автандил Автандилович только что облетел места моей командировки и теперь сравнивает то, что видел, с тем, что я написал.

Рядом с его крупной, породистой фигурой сухощавый Платон Самсонович выглядел в лучшем случае как дежурный механик. Сейчас он выглядел как провинившийся механик. Когда я подошел к столу Автандила Автандиловича, я почувствовал даже физически, как от его облика повеяло холодом, словно он еще был окружен атмосферой заоблачных высот, откуда только что прилетел.

Я почувствовал, что меня начинает сковывать этот заоблачный холод, и постарался стряхнуть с себя унижительное оцепенение, но ничего не получилось, может быть, потому, что он молчал. Мне вдруг показалось, что я в очерке все перепутал, причем я даже отчетливо увидел всю эту бредовую путаницу и удивился, как я этого не заметил, когда его перечитывал. Мне даже показалось, что я везде Иллариона Максимовича назвал почему-то Максимом Илларионовичем, и это было особенно неприятно.

Наконец, почувствовав, что я дошел до определенной, нужной ему точки замерзания, он проговорил голосом, поддерживающим эту точку:

— Вы написали вредную для нас статью.

Я посмотрел на Платона Самсоновича. Платон Самсонович отвернулся к стене.

— Причем вы замаскировали ее вред, — добавил Автандил Автандилович, любясь моим замерзанием. — Сначала она меня даже подкупила, — добавил он, — есть удачные сравнения... Но все-таки это ревизия нашей основной линии.

— Почему ревизия? — сказал я. Голос мой подымался откуда-то из самой глубины, где осталось небольшое незамерзшее пространство.

— И потом, что вы за чепуху пишете насчет микроклимата? Козлотур — и микроклимат. Что это — апельсин, грейпфрут?

— Но ведь он не хочет жить с местными козами, — сказал я взволнованно, стараясь обезоружить его самой бесспорностью факта, и вдруг вспомнил и уверился, что в очерке ничего не напутано, а Илларион Максимович назван именно Илларионом Максимовичем.

— Значит, не сумели настроить его, не мобилизовали всех возможностей, а вы пошли на поводу...

— Это председатель его запутал, — вставил Платон Самсонович. — Я же предупреждал: основная идея твоего очерка — это «чай хорошо, но мясо и шерсть еще лучше».

— Да вы знаете, — перебил его редактор, — если мы сейчас дадим лазейку насчет микроклимата, они все будут кричать, что у них микроклимат неподходящий... и это теперь, когда нашим начинанием заинтересовались повсюду!

— А разве мы и они — не одно и то же? — сорвалось у меня с губ, хотя я этого и не собирался говорить. Ну, теперь все, подумал я.

— Вот это и есть — в плену отсталых настроений, — неожиданно спокойно ответил Автандил Автандилович и добавил: — Кстати, что это за ерундистика с таджикской шерстяной козой, что за фантазия, откуда вы это взяли?

Я заметил, что он сразу успокоился, — мое поведение объяснилось отчетливо найденной формулировкой.

Платон Самсонович поджал губы, на скулах у него выступили пятна румянца. Я промолчал. Автандил Автандилович покосился на Платона Самсоновича, но ничего не сказал. Несколько секунд он молчал, давая нам обоим осознать значительность моего падения. И тут я опять подумал, что все кончено, и в то же время я подумал, что если он меня решил изгонять, то должен был ухватиться за мои последние слова, но он почему-то за них не ухватился.

— Переработать в духе полной козлотуризации, — сказал он значительно и перекинул рукопись Платону Самсоновичу.

Откуда он знает это слово, подумал я и стал ждать.

— Вас я перевожу в отдел культуры, — сказал он голосом человека, выполняющего свой долг до конца, хотя это и не так легко. — Писать можете, но знания жизни нет. Сейчас мы решили провести конкурс на лучшее художественное произведение о козлотуре. Проведите его на хорошем столичном уровне... У меня все.

Автандил Автандилович включил вентилятор, и лицо его начало постепенно каменеть. Пока мы с Платоном

Самсоновичем выходили из кабинета, я боялся, что его кружащийся самолет пустит нам вслед пулеметную очередь, и успокоился только после того, как за нами закрылась тяжелая дверь кабинета.

— Сорвалось, — сказал Платон Самсонович, когда мы вышли в коридор.

— Что сорвалось? — спросил я.

— С таджикской козой, — проговорил он, выходя из глубокой задумчивости, — ты не совсем так написал, надо было от имени колхозника...

— Да ладно, — сказал я. Мне как-то все это надоело.

— Козлотуризация... бросается словами, — кивнул он в сторону кабинета Автандила Автандиловича, когда мы вошли в свой отдел.

Я стал собирать бумаги из ящика своего стола.

— Не унывай, я тебя потом возьму снова в свой отдел, — пообещал Платон Самсонович. — Кстати, правда, что тебе заказали статью из газеты, где ты работал?

— Правда, — сказал я.

— Если у тебя нет настроения, я могу им написать, — оживился он.

— Конечно, пишите, — сказал я.

— Сегодня же вечером напишу. — Он окончательно стряхнул с себя уныние и снова кивнул в сторону редакторского кабинета: — Козлотуризация... Одни бросаются словами, другие дело делают.

Когда я проходил по нашей главной улице, со мной случилась жуткая вещь. На той стороне тротуара возле витрины универсального магазина стоял человек, одетый в новенький костюм и в шляпе. Он смотрел в витрину, в которой стояло несколько манекенов, точно так же одетых, как и он. Увидев его, я подумал: до чего они похожи друг на друга, то есть он и манекены. Не успел я додумать эту мыслишку, как один из манекенов, стоявших в витрине, зашевелился. Я как-то похолодел, но у меня хватило здравого смысла сказать себе, что это бред, что манекен не может шевелиться, до этого еще не додумались.

Только я так подумал, как манекен, который до этого зашевелился, теперь в какой-то злобной насмешке над

моим здравым смыслом спокойно повернулся и стал выходить из витрины. Не успел я очнуться, как через мгновение зашевелились и остальные манекены — именно зашевелились сначала и только потом двинулись вслед за первым. И только когда все они вышли на улицу, я понял: этот заговор манекенов — просто какая-то ошибка зрения, помноженная на усталость, волнение и еще что-то. То, что я принял за витрину универсального магазина, было стеклянной перегородкой, и люди, которых я принял за манекенов, просто стояли по ту сторону стеклянной стены.

Надо дохнуть свежим воздухом, иначе так с ума сойдешь, подумал я и поскорей повернул в сторону моря.

Я с детства ненавижу манекены. Я до сих пор не пойму, как эту дикость можно разрешить. Манекен — это совсем не то, что чучело. Чучело человечно. Это игра, которая может некоторое время пугать детей или более долгое время — птиц, потому что они еще более дети. На манекен я не могу смотреть без ненависти и отвращения. Это наглое, это подлое, это циничное сходство с человеком.

Вы думаете, он, манекен, демонстрирует вам костюм новейшего покроя? Черта с два! Он хочет доказать, что можно быть человеком и без души. Он призывает нас брать с него пример. И в том, что он всегда представляет новейшую моду, есть дьявольский намек на то, что он из будущего.

Но мы не принимаем его завтрашний день, потому что мы хотим свой, человеческий завтрашний день.

Когда я гляжу в глаза собаки, я нахожу в них сходство с человеческим взглядом, и я уважаю это сходство. Я вижу миллионы лет, которые нас разделяют, и вижу, что, несмотря на миллионы лет, которые нас разделяют, ее душа уже оплодотворена человечностью, чувствует ее, как след, и идет за ней.

Собака талантлива. Меня трогает ее стремление к человеческому, и рука моя бессознательно тянется погладить ее, она рождает во мне отзывчивость. Значит, она не только стремится к человеческому, но и во мне усиливает человеческое. Наверное, в этом и заключается человеческая сущность — в духовной отзывчивости, которая

порождает в людях ответную отзывчивость. Радостный визг собаки при виде человека — это проявление ее духовности.

Я удивляюсь способностям попугая, его голосовых связок и механической памяти, но до собаки попугаю далеко. Попугай — это любопытно. Собака — это прекрасно.

Мы часто удовлетворяемся, обозначая сущность приблизительным словом. Но даже если мы ее точно обозначим — сущность меняется, а ее обозначение, слово, еще долго остается, сохраняя форму сущности, как пустой стручок сохраняет выпуклости давно выпавших горошин. Любая из этих ошибок, а чаще всего двойная, в конце концов приводит к путанице понятий. Путаница в понятиях в конечном итоге отражает наше равнодушие, или недостаточную заинтересованность, или недостаточную любовь к сущности понятия, ибо любовь — это высшая форма заинтересованности.

И за это приходится рано или поздно расплачиваться. И только тогда, щупая синяки, мы начинаем подбирать к сущности точное обозначение. А до этого мы путаем попугая с пророком, потому что мало или недостаточно задумывались над тем, в чем заключается величие человека. Мало задумывались, потому что мало уважали себя, и своих товарищей, и свою жизнь.

Дня через три в обеденный перерыв я сидел в той же кофейне. Вошел Вахтанг Бочуа в белоснежном костюме — сияющий апофеоз белых и розовых тонов. Он был в обществе старого человека и женщины, одетой с элегантною неряшливостью гадалки. Увидев меня, Вахтанг остановился.

— Ну как лекция? — спросил я.

— Колхозники рыдали, — ответил Вахтанг, улыбаясь, — а с тебя бутылка шампанского.

— За что? — бросил я.

— Разве ты не знаешь? — удивился Вахтанг. — Я же тебя спас из-под колеса истории. Автандил Автандилович хотел с тобой расстаться, но я ему сказал: только через мой труп.

— А он что? — спросил я.

— Понял, что даже колесо истории увязнет здесь. — Вахтанг любовно похлопал по своему мощному животу. — Экзекуция отменена.

Он стоял передо мной — розовый, дородный, улыбающийся, неуязвимый, как бы сам удивленный беспредельностью своих возможностей и одновременно обдумывающий, чем бы меня еще удивить.

— А ты знаешь, кто это такие? — Он слегка кивнул в сторону своих спутников. Спутники уже заняли столик и оттуда любовно поглядывали на Вахтанга.

— Нет, — сказал я.

— Мой друг, профессор, — он назвал его фамилию, — известнейший в мире минералог, и его любимая ученица. Между прочим, подарил мне коллекцию кавказских минералов.

— За что? — спросил я.

— Сам не знает. — Вахтанг радостно развел руками. — Просто полюбил меня. Я его вожу по разным историческим местам.

— Вахта-а-анг, мы скучаем, — капризно протянула любимая ученица.

Сам профессор, ласково улыбаясь, смотрел в нашу сторону. Из-под столика высывались его длинные ноги, прикрытые полотняными брюками и лениво вдетые в сандалии. Такие ноги бывают у долговязых рассеянных подростков.

— И это еще не все, — сказал Вахтанг, продолжая улыбаться и пожимая плечами в том смысле, что чудачествам в этом мире нет предела, — завещал мне свою библиотеку.

— Смотри не отрави его, — сказал я.

— Что ты, — улыбнулся Вахтанг, — я его как родного отца...

— Приветствую нашу замечательную молодежь. — Откуда-то появился Соломон Маркович. Он стоял маленький, морщинистый, навек заспиртованный, во всяком случае, изнутри, в своей тихой, но упорной скорби.

— Уважаемый Вахтанг, — обратился Соломон Маркович к нему, — я старый человек, мне не нужно ста грамм, мне нужно только пятьдесят.

— И вы их получите, — сказал Вахтанг и, вельмож-но взяв его под руку, направился к своему столику. — Еще одна местная археологическая достопримечательность, — представил его Вахтанг своим друзьям и пододвинул стул. — Прошу любить: мудрый Соломон Маркович.

Соломон Маркович сел. Он держался спокойно и с достоинством.

— Я вчера прочел одну книжку, называется «Библия», — начал он. Он всегда так начинал. Я подумал, что он опять, согласно моей теории, из большой неудачи своей жизни извлекает маленькие удачи ежедневных выпивок.

С месяц я спокойно работал в отделе культуры. Шум кампании не смолкал, но теперь он мне не мешал. Я к нему привык, как привыкаешь к шуму прибоя. Областное совещание по козлотуризации колхозов нашей республики прошло на высоком уровне. Хотя и раздавались некоторые критические голоса, но они потонули в общем победном хоре.

В конкурсе на лучшее произведение о козлотуре победил бухгалтер Лыхнинского колхоза. Он написал песню о козлотуре. Вот ее текст:

Жил гордый тур в горах Кавказа,  
По нем турицы сохли все,  
Но он мечтал о желтоглазой,  
О милой маленькой козе.

Но отвергали злые люди,  
Пролить пытаясь его кровь,  
Его альпийскую, по сути,  
Высокогорную любовь.

Тур уходил за перевалы,  
Колючки жесткие грызя,  
Его теснили феодалы,  
Мелкопоместные князья.

Паленой шерстью дело пахло,  
А также пахло шашлыком...



А козочка в долине чахла  
В разлуке с гордым женихом.

И только в наши дни впервые  
Нашелся добрый чародей,  
Что снял преграды видовые  
Рукой мичуринской своей.

И с туром козочка любовно  
Сплела рога под звон чонгур  
От этой ласки безусловно  
Родился первый козлотур.

В нем навсегда, как говорится,  
Соединились две черты:  
Прыгучесть славного альпийца  
И домовитый нрав козы.

Назло любому самодуру  
Теперь мы славим на века  
Не только мясо козлотура,  
Но и прекрасные рога.

Чтобы понять ядовитый смысл последней строфы, надо знать предысторию всего стихотворения. В основу ее был положен реальный случай.

В одном колхозе козлотур чуть не забодал маленького сына председателя, который, как потом выяснилось (я имею в виду, конечно, сына), часто дразнил и даже, как утверждал Платон Самсонович, издевался над беззащитным животным, пользуясь служебным положением своего отца. Ребенок сильно испугался, но, как выяснилось, никаких серьезных увечий козлотур ему не нанес. Тем не менее председатель под влиянием своей разъяренной жены приказал местному кузнецу спилить рога козлотуру. Об этом нам написал секретарь сельсовета. Платон Самсонович пришел в неистовство. Он поехал в колхоз, чтобы лично убедиться во всем. Все оказалось правдой. Платон Самсонович даже привез один рог козлотура, другой рог, как смущенно сообщил ему председатель колхоза, утащила собака. Все работники редакции приходили смотреть рог козлотура, даже

невозмутимый метранпаж специально пришел из типографии посмотреть на рог. Платон Самсонович охотно показывал его, обращая внимание на следы варварской пыли кузнеца. Рог был тяжелый и коричневый, как бивень допотопного носорога. Заведующий отделом информации, он же председатель месткома, предложил отдать мастеру отделать его, чтобы потом ввести в употребление для коллективных редакционных пикников.

— Литра три войдет свободно, — сказал он, рассматривая его со всех сторон.

Платон Самсонович с негодованием отверг это предложение.

По этому поводу он написал фельетон под названием «Козлотур и самодур», где сурово и беспощадно карал председателя. Он даже предлагал поместить в газете снимок обесчещенного животного, но Автандил Автандилович после некоторых раздумий решил ограничиться фельетоном.

— Это могут не так понять, — сказал он по поводу снимка. Кто именно может не так понять, он не стал объяснять.

Вот почему, когда на конкурс пришло стихотворение лыхнинского бухгалтера под тем же названием, Платон Самсонович стал за него горой как самый влиятельный член жюри и его единственный технический эксперт. Редактор не имел ничего против, он только заметил, что надо немного изменить две последние строчки — так, чтобы автор славил не только мясо и рога, но и шерсть козлотура.

— Еще неизвестно, что важнее, — сказал он и неожиданно сам исправил последние строчки. Теперь стихотворение кончалось так:

Назло любому самодуру  
Я буду славить на века  
И шерсть, и мясо козлотура,  
А также пышные рога.

— Может, «пышные» не совсем точно? — сказал я.

— Пышные, то есть красивые, очень даже точно, — твердо возразил Автандил Автандилович.

В нем проснулось извечное упорство поэта, отстаивающего оригинал. Автор был доволен. Вскоре на это стихотворение была написана музыка, и притом довольно удачная. Во всяком случае, ее неоднократно исполняли по радио и со сцены. Со сцены ее исполнял хор самодеятельности табачной фабрики под руководством ныне реабилитированного, известного в тридцатых годах исполнителя кавказских танцев Паты Патараи.

Рог так и остался в кабинете Платона Самсоновича. Он возлежал на кипе старых подшивок, как напоминание о бдительности.

Основное время в отделе культуры у меня уходило на обработку читательских писем — обычно жалоб на плохую работу сельских клубов — и стихи — творчество трудящихся.

После окончания конкурса на лучшее произведение о козлотуре стихи на эту тему посыпались с удвоенной силой. Причем многие из них были помечены грифом: «К следующему конкурсу», хотя редакция нигде не объявляла, что будет еще один конкурс.

Интересно, что многие авторы, в основном пенсионеры, в сопроводительном письме упоминали, что государство их хорошо обеспечило и они не нуждаются в гонораре и если какой-нибудь молодой сотрудник редакции кое-что подправит в их стихах для напечатания, то его скромный труд не останется без вознаграждения, ибо всякий труд и т. д. Сначала меня возмущало, почему именно молодой сотрудник, но потом я к этому привык и не обращал внимания.

Первое время я вежливо намекал авторам, что сочинительство требует некоторых природных способностей и даже грамотности. Но однажды Автандил Автандилович вызвал меня и, подчеркнув красным карандашом наиболее откровенные строчки моего ответа, посоветовал быть доброжелательней.

— Нельзя говорить, что у человека нет таланта. Мы обязаны воспитывать таланты, тем более когда речь идет о творчестве трудящихся, — заметил он.

К этому времени я окончательно уяснил слабость Автандила Автандиловича. Этот мощный человек цепенел, как кролик, под гипнозом формулы. Если он выдвигал

какую-нибудь формулу, переспорить его было невозможно. Зато можно было перезарядить его другой формулой, более свежей. Когда он заговорил насчет творчества трудящихся и воспитания талантов, мне пришла в голову формула относительно заигрывания с массами, но я ее не решился высказать. Все-таки сюда она не слишком подходила.

Вот почему, сжав зубы, я отвечал на письма стихотворцев, злорадно советуя им учиться у классиков, в особенности у Маяковского.

Несколько раз за это время я выезжал в командировки и, когда готовил материал к печати, уже заранее знал те места, которые редактору не понравятся и будут обязательно вычеркнуты.

Для мест, подлежащих уничтожению, я делал единственное, что мог: старался их писать как можно лучше.

Одним словом, все шло нормально, но тут случилось событие, которое в какой-то мере повлияло на мою жизнь, хотя и не имело отношения к теме моего повествования, то есть к козлотурам.

В тот вечер мы сидели с ребятами на приморском парашюте и поглядывали на улицу, по которой все время двигались навстречу друг другу два потока. Толпа нарядных, возбужденных своим процеживающим движением людей.

Белоснежная рубашка, черные брюки, узконосые туфли, пачка «Казбека», заложенная за пояс на манер ковбойского пистолета, — летняя боевая форма южного щеголя.

Вечер не предвещал ничего особенного. Да мы ничего особенного и не ожидали. Просто отдыхали, сидя на парашюте, лениво поглядывая на гуляющих, и говорили о том, о чем говорят все мужчины в таких случаях. А говорят они в таких случаях всякую ерунду.

Тогда-то она и появилась. Девушка была в обществе двух пожилых женщин. Они прошли по тротуару мимо нас. Я успел заметить нежный профиль и пышные золотистые волосы. Это была очень приятная девушка, только талия ее мне показалась слишком узкой. Что-то старинное, от корсетных времен.

Она покорно и прилично слушала то, что говорила одна из женщин. Но я не очень поверил в эту покорность. Мне подумалось, что девушка с такими пухлыми губами может быть и не такой уж покорной.

Я следил за ней, пока она со своими спутницами не скрылась из глаз. Слава богу, ребята ничего не заметили. Они держали под прицелом улицу, а девушка как бы прошла над ними. Я посидел еще немного и почувствовал, что разговоры товарищей как-то до меня не доходят. Я уже нырнул куда-то и слышал их через толщу воды.

Девушка не выходила у меня из головы. Мне захотелось ее снова увидеть. Не то чтобы я боялся, что ее увлекут щеголи в белых рубашках, с томной походкой. Нет, я был уверен, что их дурацкие патронташи с полупустыми гильзами «казбечин» не представляют для нее опасности. Слишком мелкая дробь. К тому же я понимал: вынуть ее из такой плотной шершавой обертки, как две пожилые женщины, задача дай бог.

Как бы там ни было, я распрощался с ребятами и ушел. Найти ее в такой толчее казалось невероятным. Но она мне уже мерещилась. Чуть-чуть, но все-таки. А раз человек мерещится, можно быть спокойным — сам найдется. Раз так, подумал я, значит, я излечился от старой болезни. Майор оказался неплохим врачом. Я почувствовал в себе вернейший признак выздоровления, желание снова заболеть. Я стал ее искать.

Я знал, что ее увижу, а что дальше будет — понятия не имел. Просто надо было убедиться — в самом деле она мерещится или только показалось?

И вот я вижу — она стоит на маленьком причале для местных катеров. Наклонилась над барьером и смотрит в воду. На ней какая-то детская рубашонка и широченная юбка на недоразвитой талии. Про таких девушек у нас говорят: ножницами можно перерезать.

Рядом с девушкой на скамейке сидели обе женщины, с которыми она так покорно проходила по набережной.

Надо сказать, что о наших краях болтают всякую чепуху. Вроде того, что девушек воруют, увозят в горы, и тому подобную чушь. В основном все это бред, но многие верят.

Во всяком случае, спутницы девушки сейчас сидели от нее так близко, что в случае неожиданного умыкания

могли бы, не вставая со скамейки, удержать ее хотя бы за юбку. Юбка эта сейчас плескалась вокруг ее ног широко и свободно, как флаг независимой, хотя и вполне миролюбивой державы.

Раздумывая, как быть дальше, я прошел до конца причала и, возвращаясь, решил во что бы то ни стало остановиться возле нее. Я решил использовать единственную ошибку, допущенную охраной, — фланг, обращенный к морю, был открыт.

Море было на моей стороне. И вот я подхожу, а легкий ветерок дует мне в спину, как дружеская рука, подталкивающая на преступление. Неожиданно порыв так раздул ее юбку, что мне показалось — девушка вот-вот взлетит, прежде чем я успею подойти. Я даже немного ускорил шаги. Но девушка, не глядя на юбку, прихлопнула ее рукой. Так прикрывают окно, чтобы устранить сквознячок. А может быть, так гасят парашют. Хотя я сам с парашютом не прыгал и, разумеется, не собираюсь, но почему-то образ парашюта, особенно нераскрывающегося, меня преследует...

Но как к ней все-таки подойти? И вдруг меня осенило. Надо притвориться приезжим. Обычно они друг другу почему-то больше доверяют. То, что она не из наших краев, было видно сразу.

И вот я подошел и стал рядом с ней. Стою себе солидно и скромно. Вроде человек гулял, а потом решил: дай я посмотрю на это Черное море, с чего оно плещется тут без всякой пользы для отдыхающих. Чтобы не было никаких подозрений, я даже не смотрел в ее сторону.

Внизу, прямо под нами, у железной лесенки, болталась шлюпка с рыбацкого баркаса. Сам баркас стоял на рейде. На эту шлюпку она и смотрела. Теперь-то можно сказать, что она смотрела прямо в глаза судьбе. Но тогда я этого не понимал. Я только заметил, что она как-то задумчиво смотрела на нее. Может быть, она решила удрать на этой шлюпке от своих спутниц. Я бы с удовольствием помог ей, хотя бы в качестве гребца.

Я стоял рядом с ней, медленно чутунея и чувствуя: чем дальше буду молчать, тем труднее мне будет заговорить.

— Интересно, что это за лодка? — наконец пробубнил я, обращаясь к ней, но не прямо, а так под углом в сорок пять градусов.

Более глупый вопрос трудно было придумать. Девушка слегка пожала плечами.

— Странно, — сказал я, продолжая гнуть ту же дурацкую линию, как будто увидеть шлопку у причала бог несть какое чудо. — Ведь говорят, здесь граница близко, — нервно проговорил я, мысленно колотя себя головой о поручни.

— А что, может, контрабандисты? — обрадовалась она.

— У нас в санатории рассказывали, — начал я бодро, еще сам не зная о чем.

Как раз в это время, грохоча сапогами, по железной лесенке спустились два человека. Первый нес большую плетеную корзину, прикрытую полотенцем, у второго за плечами лежал мешок.

Я замолк и приложил палец к губам.

— Как интересно, — прошептала девушка. — Что они будут делать?

Я слегка покачал головой, давая понять, что ничего хорошего от них ожидать не следует. Девушка закусила губу и еще ниже наклонилась над поручнями.

Тот, что шел с корзиной, вскочил на пляшущую лодку и, пробежав по банкам, уселся на корму, поставив корзину между ног. Не успел я опомниться, как он поднял свое румяное до черноты лицо и, улыбаясь, кивнул мне. Это был один из тех рыбаков, с которыми я когда-то выходил в море. Звали его Спиро.

— Приветствую работников печати! — закричал он, сверкнув зубами.

Я почувствовал, что неудержимо краснею, и незаметно кивнул ему головой. Но ему дай только рот раскрыть.

— Закусываете рыбкой, а пишите про козлотуров, — крикнул он и добавил, оглядев меня и девушку. — Интересное начинание, между прочим...

— Как дела? — вяло спросил я, понимая, что маскироваться дальше было бы еще глупей.

— Видишь, везу премиальные.

Он сдернул с корзины полотенце. В ней стояли винные бутылки.

— План перевыполняем, но золотая рыбка пока еще не попала, — добавил он, глядя на девушку своими

прозрачными бесстыжими глазами. — Калон карица (хорошая девушка)! — вдруг закричал он, откидываясь и хочоча. Видно было, что, прежде чем купить вино, он основательно его отдегустировал. — Девушка, пусть он вам споет песню козлотура, — вдруг вспомнил он и снова зашелся: — Он хорошо поет песню про козлотура, они все там поют песню про козлотура, они чокнулись на этой песне...

Наконец товарищ его оттолкнулся и сел на весла. Спиро еще долго дурачился, делая вид, что хочет утопиться на глазах у некоторых глупых людей, не понимающих, с каким сокровищем рядом они стоят.

— Подписчики волнуются! — закричал он издали, и лодка растворилась в колеблющейся темноте моря.

Все это время девушка держалась хорошо. Она дружелюбно улыбалась, и я постепенно успокоился.

— Что это за козлотуры? — спросила она, как только мы остались одни.

— Да так, новое животное, — сказал я небрежно.

— Странно, почему же я о нем не слыхала?

— Скоро услышите, — сказал я.

— И вы поете песню о новом животном?

— Скорее, подпеваю.

— А в Москве ее уже поют?

— Кажется, еще нет, — сказал я.

— Нам пора, — неожиданно раздалось за спиной.

Мы обернулись. Обе женщины стояли перед нами, откровенно враждебно оглядывая меня. Девушка мягко отошла к ним.

— Мы целыми днями на пляже, — сказала она, как бы договаривая фразу, и взяла под руку своих спутниц.

Я очень вежливо попрощался со всеми и отошел. Я пересек приморскую улицу и отправился домой малолудным переулком, чтобы не встречаться с друзьями и не расплескать того хорошего, что осталось от встречи с этой девушкой. По дороге домой я с удовольствием обдумывал ее последние слова. Мне ничего не мешало истолковывать их как намек на встречу.

Весь следующий день в редакции меня распирала радость предстоящего свидания. Чтобы погасить неприличные излишки этой радости, чтобы не слишком отто-



пыривались от нее карманы, я решил все свое рабочее время посвятить читательским письмам.

Ровно в пять часов я запер дверь нашего отдела, сел в потный, битком набитый автобус и поехал на пляж.

И вот я на пляже. Из репродуктора лилась обволакивающая, тихая музыка. Она помогала раздеваться. Она была как плавный переход от земли к морю.

Немного волнуясь, я стал обходить пляж, заглядывая под тенты и зонты. Разноцветные купальные костюмы, загары всех оттенков, ярмарка летнего здоровья, древнегреческие позы лени и благодущия.

Я сразу почувствовал, что не спешу ее увидеть. Поиски ее давали право быть внимательным ко всем.

Мне показалось, что я не слишком связан вчерашними впечатлениями. Карнавал пляжных красок ослаблял его. Я знал, что слишком сильное чувство мешает самому себе, и был рад, что этого сейчас как будто нет.

У меня была глуповатая привычка при первом же удобном случае обрушивать на понравившуюся девушку лавину своих самых высоких чувств. Обычно это пугало их или даже оскорбляло. Возможно, им казалось, что, раз человек так волнуется, они сами недооценивали своих чар, не заметили, так сказать, золотоносной жилы на своем участке, и надо его первым делом переоценить, тщательно огородить, во всяком случае, не допускать первооткрывателя.

Так или иначе, как только я обрушивал на них эту дурацкую лавину, я немедленно переводился в запасные игроки. В конце концов мне это надоедало, а потом нравилась какая-нибудь другая девушка, и хоть я понимал, что надо быть посдержанней, лавина как-то сама по себе обрушивалась, и девушка каждый раз выскакивала из-под нее, в лучшем случае для меня слегка помяв прическу.

Думая об этом и радуясь своему спокойствию, я обошел пляж, но нигде ее не заметил. Настроение начинало портиться. Я прошел вдоль кромки прибоя, вглядываясь в тех, кто купался. Но и здесь ее не было. Я почувствовал, как все вокруг потускнело почти на глазах. Я медленно разделся. Раз уж пришел на пляж — надо купаться. Возле меня остановился фотограф в коротких белых шта-

нах, с мощными бронзовыми ногами пилигрима. Он снимал женщину, вытягивавшую голову из пены прибора.

— Еще один снимок, мадам.

Отходящая волна обнажила тело пеннорожденной и руки, крепко упершиеся в песок растопыренными ладонями.

— Фотографирую...

Он так тщательно, с видом старого петербуржца, програссировал, что компания молодых туристов, расположившаяся рядом, дружно засмеялась.

Пилигрим снова навел свой фотоаппарат, а компания приготовилась смеяться. Женщина попыталась изобразить блаженство, но выражение тусклой озабоченности не сходило с ее лица. Пена прибора вокруг нее казалась будничной, как мыльная.

— Снимаю, — неожиданно сказал фотограф и посмотрел на ребят.

Но они все равно засмеялись. Фотограф сам теперь улыбался. Он улыбался долгой, выжженной солнцем улыбкой. Улыбка его означала, что он понимает, какие эти ребята еще глупые и молодые, и что в жизни вообще много не менее смешного, чем его профессия, только надо иметь терпение пожить, чтобы понять кое-что.

Я выкупался, но море меня не освежило. Я только почувствовал голод и раздражение. Я вспомнил, что забыл пообедать, что вообще-то со мной редко случалось.

Пляж начинал меня злить. Все эти дряблые преферансисты с тонкими, подагрическими ногами, спортсмены, туго набитые никому не нужными мышцами, местные сердцееды с выражением дурацкой, ничем не оправданной горделивости на лице, и женщины, нагло выставившие якобы на солнце свои якобы бесспорные прелести.

Я быстро оделся и вышел. Доехал до города и пошел домой — голодный, усталый, злой. Только хотел открыть дверь, как обнаружил, что потерял ключ. Перерыл все карманы, но ключа нигде не было. Я понял, что попал в полосу невезения. У меня всегда так. Или все идет хорошо, или все валится из рук. Видимо, ключ у меня выпал из кармана, когда я одевался на пляже. Скорее всего, я так решил потому, что это было единственное место, где его можно было хотя бы поискать.

Проклинаю все на свете, я дошел до автобусной остановки и снова поехал на пляж. Теперь в автобусе людей было гораздо меньше. В такое время на пляж уже почти никто не ездит.

На одной из остановок шофер сошел с автобуса и минут через пять возвратился с целым кулком горячих пирожков, просвечивающих через промасленный кулек. Пожевывая пирожки, он не спеша проехал две остановки и снова вышел из автобуса. Напротив остановки был пивной ларек. Теперь он свои пирожки запивал пивом. Пассажиры покорно ворчали. Рядом с пивным ларьком высилось дощатое здание — филиал народного суда. Я испугался, как бы он туда не вошел послушать какое-нибудь дело. Я думаю, у него хватило бы нахальства войти туда, не выпуская из рук пивной кружки. Но пока он спокойно пил пиво.

Я сидел напротив дверей, машинально скатывая на пальцах свой билетик. Наконец, когда терпение дошло до предела, я его выщелкнул в дверь. В ту же секунду с передней площадки вошел контролер и стал проверять билеты. Мне надо было выйти из машины и найти свой билет, но сделать это теперь было неудобно — люди могли подумать, что я удираю.

Когда контролер подошел ко мне, я стал объяснять, как потерял билет, сам чувствуя глупость своего объяснения. По лицу контролера было видно, что он озабочен только одной мыслью: как бы я не подумал, что он мне верит.

Тогда я вышел из автобуса и стал искать билет под поощрительный хохоток ближайших пассажиров. Билет не находился. Я взял себя в руки и пытался осмыслить возможную траекторию его полета. Но там, где он должен был упасть, ничего не было. Наверное, его снесло ветром. Контролер стоял у входа, и взгляд его печально-умудренный (терпеть не могу этот печально-умудренный взгляд) выражал, что нельзя найти того, чего не терял.

Наконец пассажиры, видимо, решив, что я свое отработал, дружно вступились за меня и стали уверять, что видели, как я бросил билет. Перед общественным мнением контролеру пришлось отступить, и он вышел из машины, сделав мне небольшое внушение.

Наконец шофер допил свое пиво, и, когда он хлопнул дверцей и бодро включил мотор, все почувствовали к нему прилив благодарности, которого, конечно, не было бы, если б он ехал как положено.

Я утешал себя мыслью, что, раз попал в полосу невезения, ничего не поделаешь. Главное — проскочить эту полосу с наименьшими потерями.

И вот я выхожу из автобуса, подхожу к пляжной кассе и обнаруживаю, что у меня нет десяти копеек. Всего семь копеек. Еще утром забыл захватить деньги из дому. Мне всегда не нравилось, что за вход на пляж нужно платить, как будто море соорудил наш местный муниципалитет.

— Проходите, вы же выходили, — сказала билетерша, заметив, что я мнусь у кассы.

Я посмотрел на нее. Доброе, улыбающееся лицо пожилой женщины. Удивительно, что она меня запомнила.

Я прошел на пляж. Эта небольшая удача так меня взбодрила, что я почувствовал, как во мне заработала какая-то энергия. Может быть, мотор удачи. И хотя я до этого почти не надеялся, что найду свой ключ — ведь даже если я его потерял на пляже, тут проходят сотни людей, — теперь я был уверен: найду.

Я его не только нашел — я его издала заметил. Да, маленький, почти чемоданный ключик лежал, поблескивая на песке, на том самом месте, где я раздевался. Никто его не заметил, не подобрал или просто не втоптал в песок. Я поднял ключ, и когда, разогнувшись, посмотрел на море, неожиданное, непередаваемое ощущение захлестнуло меня. Я увидел теплую синеву моря, озаренного заходящим солнцем, смеющееся лицо девушки, которая, оглядываясь, входила в воду, парня на спасательной лодке с сильными загорелыми руками, отдыхающими на веслах, берег, усеянный людьми, и все это было так мягко и четко освещено, и столько было вокруг доброты и покоя, что я замер от счастья.

Это было не то счастье, которое мы осознаем, вспоминая, а другое, высшее, наиредчайшее, когда мы чувствуем, что оно сейчас струится в крови, и мы ощущаем самый вкус его, хотя передать или объяснить это почти невозможно.

Казалось, люди пришли к своему морю, и прийти к нему было трудно, и шли они к нему издалека, с незапамятных времен, всю жизнь, и теперь хорошо морю со своими людьми и людям со своим морем.

Странное чудное состояние длилось несколько минут, а потом оно постепенно прошло, вернее, острота прошла, но остался привкус того, что оно было, как остается легкое головокружение после первой утренней затяжки.

Я не знаю, откуда оно берется, но такое состояние я переживал много раз, хотя если вспомнить всю жизнь, то бывало оно не так уж часто. Чаще всего оно приходит в одиночестве, где-нибудь в горах, в лесу или на море. Может быть, это предчувствие жизни, которая могла быть или будет? Думая обо всем этом, я сел в автобус и приехал домой, кстати говоря, забыв взять билет.

Вечером я шатался по городу, надеясь случайно встретить ее где-нибудь. Мне очень хотелось увидеть ее, хотя я и начинал страшиться этой встречи. Несколько раз я замечал, что во мне что-то неприятно обрывается, как в самолете, когда он попадает в воздушную яму, но потом оказывалось, что это не она, что я ошибся.

...Я вышел на причал для местных катеров и увидел ее. Искать ее здесь мне почему-то не приходило в голову. Она стояла почти на том же месте. Как только я увидел ее, мне захотелось удрать, но я взял себя в руки и не сделал этого.

Я шел по хорошо освещенному причалу, но она меня не заметила. Было похоже, что она о чем-то задумалась, но потом мне показалось, что она просто не хочет меня узнавать. Я поравнялся с ней и уже было повернул назад, но наши взгляды встретились, и она улыбнулась. Вернее, лицо ее озарилось вспышкой радости.

Эта улыбка, словно порыв ветра, сдунула с меня усталость и напряжение этого дня.

Люди не так часто нам радуются, во всяком случае, не так часто, как нам хотелось бы. А если и случается, что радуются при виде нас, все же чаще скрывают свою радость, чтобы не показаться сентиментальными или чтобы не обидеть других, при виде которых они не могут радоваться. Так что иногда и не поймешь, рад тебе человек или не рад...

...Подошел прогулочный катер, и мы, словно сговорившись, вошли в него. Не помню, о чем мы говорили. Мы стояли, облокотившись о поручни, и смотрели в море. Как тогда над барьером причала. Но теперь казалось, этот причал отделился от берега и мчался в открытое море. Я смотрел на ее лицо, и нежность его странно проступала сквозь крепкий грубоватый загар.

Потом ей захотелось пить, и мы прошли на корму в буфет по узкому и темному проходу.

Лимонад оказался холодным и тугим, как шампанское. Я вспомнил, что давно не пил лимонада, и подумал, что никогда шампанское не бывало таким вкусным, как этот лимонад.

Позже, когда мне приходилось пить шампанское и оно казалось безвкусным, как выдохшийся лимонад, я вспоминал этот вечер и думал о великой и в то же время немного скупердядьской мудрости природы, стремящейся к равновесию, ибо за все надо платить по цене. И если ты пьешь лимонад, который тебе кажется шампанским, значит, рано или поздно ты будешь пить шампанское, похожее на лимонад.

Такова грустная, но, по-видимому, необходимая логика жизни. И то, что она необходима, пожалуй, грустней, чем сама грустная логика жизни.

Говорят, капля камень точит. Тем более Платон Самсонович. И уже в сельхозуправлении согласились выделить средства на приобретение таджикских коз, и уже Платон Самсонович, не дожидаясь официального хода событий, написал таджикским товарищам об этом, и уже они ответили, что слышали о нашем интересном начинании и сами собираются приобрести козлотуров, и уже они договорились обменяться животными и произвести опыты одновременно, и уже Платон Самсонович уехал к селекционеру, чтобы уговорить его принять партию таджикских шерстяных коз, но тут грянул гром. И грянул он именно в тот день, когда Платон Самсонович должен был возвратиться.

В этот день в одной из центральных газет появилась статья, высмеивающая необоснованные нововведения в сельском хозяйстве. Особенно досталось нам за бездум-

ную проповедь козлотура, как писал автор. Кстати, в этой же статье делался смутный намек на то, что опыты знаменитого московского ученого навряд ли можно назвать вполне удачными, во всяком случае, гениальность их ставилась под сомнение.

О статье мы узнали утром, хотя газету никто не видел. К нам центральные газеты приходят к вечеру или на следующий день. Но такие вещи узнаются очень быстро.

Автандил Автандилович был взволнован как никогда. Он несколько раз в этот день ходил в обком партии, потом позвонил в райком того района, куда уехал Платон Самсонович. Оттуда ему ответили, что Платон Самсонович уже выехал с рейсовой машиной в город. Машина должна была подойти к трем часам. На это время редактор назначил общее собрание работников редакции.

В три часа мы собрались в кабинете редактора. Рейсовый автобус останавливался напротив редакции, поэтому сотрудники старались занять места у окон. Почему-то всем было интересно посмотреть, как он будет выходить из автобуса.

Все испытывали почти радостное нервное возбуждение. По-настоящему за козлотура болел только Платон Самсонович, и все понимали, что основной удар придется по нему. Поэтому остальные сотрудники чувствовали себя так, как чувствует себя человек, когда ждет большой грозы, находясь под надежным укрытием. Сладостное ощущение уюта, собственной безопасности.

Автандил Автандилович сидел, отрешенный от всех, глядя куда-то вперед, в пространство. Перед ним лежал машинописный текст статьи, кажется, полученный им по телетайпу.

Он впервые забыл выключить вентилятор, и страницы грозной статьи под струей воздуха, казалось, вздрагивали и закипали от нетерпения.

Фельетонист два раза заходил за спину редактора — якобы для того, чтобы посмотреть на карту нашей республики, висевшую над редакторским столом. И хотя на искипающей поверхности бумаги навряд ли что-нибудь можно было прочесть, особенно из-за спины Автандила Автандиловича, и все это понимали, но все-таки гримасами спрашивали у фельетониста: мол, что там? В ответ

он гримасой же отвечал, что, мол, такого разгрома еще не бывало.

Автандил Автандилович не глядя, кивком головы водворил его на место.

Наконец машина подъехала, и все столпились у окон посмотреть, как он будет выходить. Почему-то нам показалось, что он первый выйдет из машины, но из дверцы неожиданно выскочила охотничья собака, а за ней появился и сам охотник. На поясе у него густо струились перепелки. Он шел от машины с тяжелой бодростью в походке, шел, как бы отягощенный удачей. Я почувствовал тоскливую зависть к нему и даже к его собаке.

Пожилая крестьянка с корзиной, наполненной грецкими орехами, вышла из машины и тут же стала переходить улицу в неположенном месте. Постовой свистнул, и она побежала, рассыпая орехи. Все-таки побежала в ту сторону, куда она собиралась переходить.

Платон Самсонович вышел из машины одним из последних. Секунду он постоял возле машины, придерживая одной рукой пиджак, устало переброшенный через плечо, и вдруг пошел в противоположную от редакции сторону.

— Он уходит, — очнулся кто-то первый.

— Как — уходит? — грозно переспросил Автандил Автандилович.

— Я его верну! — крикнул фельетонист и ринулся к дверям.

— Только ничего не говорите! — бросил ему вслед редактор.

Мы стояли у окон и следили за Платоном Самсоновичем. Он медленно перешел улицу, все так же держа свой пиджачок, переброшенный за спину. Перейдя улицу, он неожиданно подошел к киоску с газированной водой.

— Воду пьет, — удивился кто-то, и все рассмеялись.

Фельетонист выскочил на улицу, подошел к перекрестку и бдительно стал глядеть по сторонам, заслоняясь ладонью от солнца. Он не замечал Платона Самсоновича, потому что к киоску подошел человек и заслонил его. Фельетонист, беспокойно озираясь, стоял несколько мгновений, а потом с панической быстротой перебежал



улицу и отправился в сторону моря. Мы с интересом следили за ним, потому что сейчас он должен был пройти мимо киоска, но он так целенаправленно смотрел вперед, что не заметил Платона Самсоновича. Он прошел киоск, и снова все рассмеялись. Но тут он неожиданно оглянулся и развел руками — видно, Платон Самсонович его окликнул сам.

Фельетонист что-то сказал и, махнув рукой в сторону редакции, быстро удалился. Чувствовалось, что он знал, что за ним наблюдают из окон, и старался показать, что соприкасается с Платоном Самсоновичем только по вынужденному поводу.

...Когда пассажиры разошлись, шофер рейсовой машины неожиданно выскочил на улицу и стал подбирать рассыпанные орехи. Подобрал все до одного, он влез в машину и уехал.

Наконец Платон Самсонович открыл дверь кабинета и вошел. Он кивком поздоровался со всеми и присел на стул. Вид у него был сумрачно-сосредоточенный. Мне кажется, уже по тому, как он сел на краешек стула, было видно, что он все знает. Впрочем, возможно, я это уже потом так подумал.

— Ну как, договорились с селекционером? — спросил Автандил Автандилович безмятежным голосом.

Плотно сомкнутые губы Платона Самсоновича слегка задержались.

— Автандил Автандилович, — сказал он глухим голосом и, как-то не вполне разогнувшись, встал со стула. — Я все знаю...

— Интересно, кто вам сказал? — спросил тот и посмотрел на фельетониста.

Фельетонист ударил ладонью в грудь и застыл, как бы покоряясь судьбе.

— Утром по радио передавали, — сказал Платон Самсонович, продолжая стоять в той же позе, не вполне разогнувшись.

— И тут первый, — мрачно пошутил редактор, стараясь скрыть разочарование.

Автандил Автандилович несколько мгновений смотрел на Платона Самсоновича холодеющим взглядом, словно расстояние между ними увеличивалось и он его

переставал узнавать. Мне показалось, что под этим взглядом Платон Самсонович еще больше согнулся.

— Садитесь, — сказал Автандил Автандилович тоном, каким говорят со случайным посетителем редакции.

И вот он прочел статью. Он ее прочел зычным, хорошо поставленным голосом. Он читал, постепенно загораясь и иногда посматривая в сторону Платона Самсоновича.

Сначала казалось, что он, читая статью, нам всем и себе раскрывает допущенные нами ошибки и перегибы. Но пафос в его голосе все время нарастал, и вдруг стало казаться, что он лично вместе с другими товарищами обнаружил эту ошибку. К концу статьи он так слился с ее стилем, с внезапными переходами от гнева к иронии, что стало казаться — именно он, и притом без всяких товарищей, первым заметил и смело вскрыл все наши ошибки.

Началось обсуждение статьи. Тут надо сказать, что Автандил Автандилович держался самокритично. Он заявил, что хотя и пытался приостановить бездумную проповедь козлотура, именно с этой целью он и печатал, пусть и под рубрикой «Посмеемся над маловерами», критические заметки зоотехника, но делал это недостаточно энергично и в этом смысле берет часть вины на себя.

Фельетонист, который все это время нетерпеливо ерзал, выступил сразу же после редактора и напомнил, что и он в фельетоне о неплательщике алиментов в замаскированной форме пытался критиковать бездумную проповедь козлотура, но Платон Самсонович не только не внял его голосу, но даже пытался пришить ему ярлык.

— Ярлык? — неожиданно выдал Платон Самсонович и сумрачно посмотрел на фельетониста.

— Да, ярлык! — повторил тот решительно и посмотрел на Платона Самсоновича взглядом человека, навсегда разорвавшего цепи рабства.

— Вы преувеличиваете, — примирительно сказал Автандил Автандилович. Он не любил слишком широких обобщений, если эти обобщения делал не он сам.

В связи с бездумной проповедью козлотура Автандил Автандилович поднял вопрос о семейных делах Платона Самсоновича.

— Отрыв от хозяйственных нужд наших колхозов постепенно привел к отрыву от семьи, — подытожил он свое выступление, — и это закономерно, ибо человек потерял критерий истины и зазнался.

После того как критика Автандила Автандиловича была поддержана сотрудниками, он выступил еще раз и сказал, что все-таки нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Платон Самсонович старый, опытный газетчик и, несмотря на ошибки, до последней капли крови предан нашему общему делу. Редактор и в этой части был поддержан сотрудниками. Кто-то даже сказал, что старый конь борозды не портит.

Но тут фельетонист опять не удержался и напомнил, что загибы вообще характерны для работы Платона Самсоновича. Он напомнил, что Платон Самсонович несколько лет назад пытался установить новый метод рыбной ловли, пропуская через воду токи высоких частот. В результате рыба якобы должна была собираться в одном месте, тогда как на самом деле она ушла из бухты и могла совсем не приходить, если б опыты продолжались.

— Не в этом дело, вы не так поняли, — вставил было Платон Самсонович, но к этому времени все устали и никому неохота было выслушивать технологию старого опыта.

Заведующим отделом сельского хозяйства был назначен заведующий отделом пропаганды, как человек, имеющий наиболее острое чутье к новому. Платона Самсоновича оставили при нем литсотрудником, с тем чтобы он как старый опытный работник помогал освоиться новому заведующему. Ему объявили строгий выговор по служебной линии. Редактор решил пока ограничиться этим при условии, что он вернется в семью и с нового учебного года поступит в вечерний университет. У Платона Самсоновича не было высшего образования.

— Кстати, заберите этот самый рог козлотура, — сказал Автандил Автандилович, когда мы уже расходились.

— Рог? — как эхо, повторил Платон Самсонович, и я заметил, как на его худой шее судорожно задвигался кадык.

— Да, рог, — повторил Автандил Автандилович, — чтобы его духу здесь не было.

Когда Платон Самсонович уходил из редакции с рогом, небрежно завернутым в газету, мне стало почему-то жалко его. Я представил, как он возвращается в свою одинокую квартиру с этим одиноким рогом (все, что осталось от его великого замысла). Мне стало совсем не по себе. Но что было делать — утешить я его не мог, да и навряд ли это было возможно.

Статья из центральной газеты была перепечатана в нашей, причем то место, где говорилось о бездумной проповеди козлотура, было набрано жирным шрифтом, с замечанием в скобках: «Курсив наш». В том же номере была помещена передовая под заголовком «Бездумная проповедь козлотура», где давалась критическая оценка всей работе газеты, и в особенности отдела сельского хозяйства.

В передовой упоминалось о некоторых лекторах, которые, не дав себе труда разобраться в этом новом деле, легкомысленно примкнули к пропаганде малоизученного опыта.

Одним словом, имелся в виду Вахтанг Бочуа. Но прямо писать о нем не решились, потому что неделей раньше он подарил местному краеведческому музею ценную коллекцию кавказских минералов.

Он, разумеется, позаботился, чтобы это мероприятие не осталось безгласным. Он сам позвонил в редакцию и попросил, чтобы кого-нибудь прислали на церемонию дарения. Прислали фотокора, который и запечатлел ее. Вахтанг с видом смирившегося пирата вручал свои сокровища застенчивому директору музея.

Так что теперь, через неделю после триумфа бескорыстия, упоминать его в газете было как-то неловко.

В следующих номерах печатались организованные отклики на критику козлотура. Кстати, к упомянутому зоотехнику поехал один из наших сотрудников, с тем чтобы он теперь выступил с большой статьей против козлотуризации животноводства. Но упрямый зоотехник остался верен себе и наотрез отказался писать, заявив, что теперь ему это неинтересно.

После появления статьи в редакцию много звонили. Так, например, из торгова позвонили, чтобы посоветоваться, как быть с названием павильона прохладительных

напитков «Водопой козлотура». Кстати, к нам стали поступать сигналы о том, что в некоторых колхозах начали забивать козлотуров. По этому поводу мы давали разъяснение в том смысле, что не нужно шарахаться из стороны в сторону, а нужно ввести козлотуров в колхозное стадо на общих основаниях.

С этой же целью Автандил Автандилович, посоветовавшись с нами, предложил товарищам из торгова не уничтожать вывеску целиком, но незаметно ликвидировать в слове «козлотур» первые два слога. Так что теперь получалось «Водопой тура», что звучит, как кажется, еще романтичнее. Вывеску на самом павильоне быстро привели в порядок, но над павильоном еще целый месяц по ночам светилося, нагло подмигивая электрическими лампочками, старое название «Водопой козлотура».

Получалось так, что днем на водопой приходят туры, а по ночам все еще упорствуют козлотуры.

Некоторые местные интеллигенты нарочно приходили смотреть по вечерам на эту электрическую вывеску: они в ней находили как бы противоборствующий чему-то либеральный намек и одновременно злобное упорство догматиков.

Как-то, проходя в кафе, я сам видел небольшую группу подобных вольнодумцев, внушительно, но незаметно толпившихся напротив павильона.

— Это неспроста, — произнес один из них, слегка кивнув на вывеску.

— Плюньте мне в глаза, если все это просто так кончится, — добавил другой.

— Друзья мои, — прервал их благоразумный голос, — все это верно, но не надо слишком глазеть на нее. Посмотрел — и проходи. Посмотрел — и дальше.

— А что тут такого! — возразил первый. — Вот захотел и буду смотреть. Не те времена.

— Да, но могут не так понять, — сказал благоразумный, озираясь. Заметив меня, он мгновенно осекся и добавил: — Вот я и говорю, что критика прозвучала своевременно.

Тут все, как по команде, посмотрели в мою сторону, после чего компания отправилась в кафе, глухо споря и шумно жестикулируя.

В один из этих дней лично мне позвонил директор филармонии и спросил, как быть с песней о козлотуре, которую исполняет хор табачников, а также некоторые солисты.

— Понимаете, — сказал он извиняющимся голосом, — у меня ведь финансовый план, а песня пользуется большим успехом, хотя и не вполне здоровым, как я теперь понимаю, но все же...

Я решил, что по такому вопросу не мешает посоветоваться с Автандилом Автандиловичем.

— Подождите, — сказал я директору филармонии и отправился к редактору.

Автандил Автандилович выслушал меня и сказал, что о хоровом выступлении с песней о козлотуре не может быть и речи.

— Да и хор у них липоватый, — неожиданно добавил он. — Но солисты, я думаю, могут выступать, если словам придать правильный смысл. Одним словом, — заключил он, нажимая кнопку вентилятора, — главное сейчас — не шарахаться из стороны в сторону. Так и передай.

Я передал суть нашего разговора попечителю филармонии, после чего он задумчиво, как мне показалось, повесил трубку.

В этот день Платон Самсонович не пришел на работу, а на следующий явилась его жена и прошла прямо в кабинет редактора. Через несколько минут редактор вызвал к себе председателя профкома. Потом тот рассказал, что там было. Оказывается, Платон Самсонович заболел — не то нервное расстройство на почве переутомления, не то переутомление на почве нервного расстройства. Жена его, как только узнала о судьбе козлотуров, пришла к нему в его одинокую квартиру и застала его в постели. Они, кажется, окончательно примирились и, оставив новую квартиру детям, будут жить в старой.

— Вот видите, — сказал Автандил Автандилович, — здоровая критика укрепляет семью.

— Критика-то здоровая, да он у меня совсем расхворался, — ответила она.

— А это мы поможем, — заверил Автандил Автандилович и велел председателю профкома сейчас же достать ему путевку.

По иронии судьбы или даже самого председателя профкома Платон Самсонович был отправлен в горный санаторий имени бывшего Козлотура. Впрочем, это одна из лучших здравниц в нашей республике, и попасть туда не так-то просто.

Недели через две, когда замолкли последние залпы контрпропаганды и нашествие козлотуров было полностью подавлено, а их рассеянные, одиночные экземпляры, смирившись, вошли в колхозные стада, в нашем городе проводилось областное совещание переловиков сельского хозяйства. Дело в том, что наша республика перевыполнила план заготовки чая — основной сельскохозяйственной культуры нашего края. Колхоз Иллариона Максимовича назывался среди самых лучших.

В перерыве, после официальной части, я увидел в буфете самого Иллариона Максимовича. Он сидел за столиком вместе с агрономом и девушкой Гоголой. Девушка ела пирожное, оглядывая посетительниц буфета. Председатель и агроном пили пиво.

Накануне у нас в газете был очерк о чаеводах колхоза «Ореховый Ключ». Поэтому я смело подошел к ним. Мы поздоровались, и я присел за столик.

Агроном выглядел как обычно. У председателя выражение лица было иронически-торжественное. Такое лицо бывает у крестьян, когда они из вежливости выслушивают рассуждения городских людей о сельском хозяйстве. Только когда он обращался к девушке, в глазах у него появлялось что-то живое.

— Еще одно пирожное, Гогола?

— Не хочу, — рассеянно отвечала она, рассматривая наряды женщин, входящих и выходящих из буфета.

— Давай, да? Еще одно, — продолжал уговаривать председатель.

— Пирожное не хочу, луманад хочу, — наконец согласилась она.

— Бутылку луманада, — заказал Илларион Максимович официантке.

— Рады, что козлотура отменили? — спросил я его, когда он разлил пиво по стаканам.

— Очень хорошее начинание, — согласился Илларион Максимович, — только за одно боюсь...

— Чего боитесь? — спросил я и взглянул на него. Он выпил свое пиво и ответил только после того, как поставил стакан.

— Если козлотура отменили, — проговорил он задумчиво, как бы вглядываясь в будущее, — значит, что-то новое будет, но в условиях нашего климата...

— Знаю, — перебил я его, — в условиях вашего климата это вам не подойдет.

— Вот именно! — подтвердил Илларион Максимович и серьезно посмотрел на меня.

— По-моему, напрасно боитесь, — сказал я, стараясь придать голосу уверенность.

— Дай бог! — протянул Илларион Максимович. — Но если козлотура отменили, что-то, наверное, будет, но что — пока не знаю.

— А где ваш козлотур? — спросил я.

— В стаде, на общих основаниях, — сказал председатель как о чем-то далеком, уже не представляющем опасности.

Прозвенел звонок, и мы прошли в зал. Тут я распрощался с ними, а сам остался у дверей. Мне надо было прослушать концерт и быстро вернуться, с тем чтобы написать отчет.

Первым номером выступали танцоры Паты Патараи. Как всегда, ловкие, легкие, исполнители кавказских танцев были встречены шумным одобрением.

Их несколько раз вызывали на «бис», и вместе с ними выходил сам Пата Патарая — тонкий, с пружинистой походкой пожилой человек. Постепенно загораясь от аплодисментов, он в конце концов сам вылетел на сцену со своим знаменитым еще с тридцатых годов па «полет на коленях».

После сильного разгона он вылетел на сцену и, рухнув на колени, скользил по диагонали в сторону правительственной ложи, свободно раскинув руки и гордо вскинув голову. В последнее мгновение, когда зал, замирая, ждал, что он вот-вот вывалится в оркестр, Пата Патарая вскакивал, как подброшенный пружиной, и кружился, как черный смерч.



Зрители приходили в неистовство.

— Трио чонгуристок исполняет песню без слов, — объявила ведущая.

На ярко освещенную сцену вышли три девушки в длинных белых платьях и в белых косынках. Они застенчиво уселись на стульях и стали настраивать свои чонгури, прислушиваясь и отрешенно поглядывая друг на друга. Потом по знаку одной из них они ударили по струнам — и полилась мелодия, которую они тут же подхватили голосами и запели на манер старинных горских песен без слов.

Мелодия мне показалась чем-то знакомой, и вдруг я догадался, что это бывшая песня о козлотуре, только совсем в другом, замедленном ритме. По залу пробежал шепсел узнавания. Я наклонился и посмотрел в сторону Иллариона Максимовича. На его крупном лице все еще оставалось выражение насмешливой торжественности. Возможно, подумал я, он в город приезжает с таким выражением и оно у него остается до самого отъезда. Гогла, вытянув свою аккуратную головку, замороженно глядела на сцену. Спящий агроном сидел, грузно откинувшись, и дремал, как Кутузов на военном совете.

Трио чонгуристок аплодировали еще больше, чем Пате Патарае. Их дважды заставили повторить песню без слов, потому что все почувствовали в ней сладость запретного плода.

И хотя сам плод был горек, и никто об этом так хорошо не знал, как сидящие в этом зале, и хотя все были рады его запрету, но вкушать сладость даже его запретности было приятно — видимо, такова природа человека, и с этим ничего не поделаешь.

Жизнь редакции вошла в свою нормальную колею. Платон Самсонович вернулся из горного санатория вполне здоровым. На следующий день после своего возвращения он сам предложил мне пойти с ним на рыбалку. Это было лестное для меня предложение, и я, разумеется, с радостью согласился.

Я уже говорил, что Платон Самсонович — один из самых опытных рыбаков на нашем побережье. Если рыба не ловится в одном месте, он говорит:

— Я знаю другое место...

И я гребу к другому месту. А если и там не ловится рыба, он говорит:

— Я знаю совсем другое место...

И я гребу к совсем другому месту. Но если уж рыба не ловится и там, он ложится на корму и говорит:

— Гребите к берегу, рыба ушла на глубину...

И я гребу к берегу, потому что в море слово Платона Самсоновича — закон.

Но так бывает редко. И на этот раз у нас был хороший улов, особенно у Платона Самсоновича, потому что он первый рыбак и сразу забрасывает в море по десять шнуров, привязывая их к гибким прутьям. Путь торчат над бортом лодки, и он по ним следит за клевом, ухитряясь не перепутать шнуры. И когда он их пробует, слегка приподымая и прислушиваясь к тому, что происходит на глубине, кажется, что он управляет сказочным пультом или дирижирует подводным царством.

Когда мы загнали лодку в речку, привязали ее к причалу и вышли на берег, я еще раз с завистью оглядел его улов. Кроме обычной рыбы, в его сачке трепыхался черноморский красавец — морской петух, которого я так и не поймал ни разу.

— Мало того что вы мастер, вам еще везет, — сказал я.

— Между прочим, через рыбалку я сделал в горах интересное открытие, — ответил он, немного помолчав.

Мы шли по берегу моря вдоль парапета. Он со своим тяжелым сачком, набитым мокрой рыбой, и я со своим скромным уловом в сетке.

— Какое открытие? — спросил я без особого интереса.

— Понимаешь, искал форельные места в верховьях Кодора и набрел на удивительную пещеру...

Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Я незаметно взглянул в его глаза и увидел в них знакомый неприятный блеск.

— Таких пещер в горах тысячи, — жестко прервал я его.

— Ничего подобного, — быстро и горячо ответил он, при этом глаза его так и полыхнули сухим неприятным блеском, — в этой пещере оригинальная расцветка сталактитов и сталагмитов... Я привез целый чемодан образцов...

— Ну и что? — спросил я, на всякий случай отчуждаясь.

— Надо заинтересовать выпшестоящих товарищей... Это не пещера, а подземный дворец, сказка Шехерезады...

Я посмотрел на его посвежевшее лицо и понял, что теперь накопленные им в горах силы уйдут на эту пещеру.

— Таких пещер у нас в горах тысячи, — тупо повторил я.

— Если туда провести канатную дорогу, туристы могли бы прямо с теплохода перелетать в подземный дворец, по дороге любуясь дельтой Кодора и окрестными горами...

— Туда километров сто будет, — сказал я, — кто же вам даст такие деньги?

— Окупится! Тут же окупится! — радостно перебил он меня и, бросив сачок на парашет, продолжал: — Туристы будут тысячами валить со всего мира. Прямо с корабля в пещеру...

— Не говоря уж о том, что один пастух справится с двумя тысячами козлотуров, — попытался я сострить.

— При чем тут козлотуры? — удивился Платон Самсонович. — Сейчас туризм поощряется. А ты знаешь, что Италия живет за счет туристов?

— Ну ладно, — сказал я, — я пошел пить кофе, а вы как хотите.

— Постой, — окликнул он меня, как только я стал отходить.

Я почувствовал, что он вовлекает меня, и решил не поддаваться.

— Понимаешь, я чемодан с образцами оставил в камере хранения, — сказал он застенчиво.

— Не понимаю, — ответил я безразличным голосом.

— Ну, сам знаешь, жена сейчас, если увидит эти сталактиты и сталагмиты, начнет пилить...

— Что я должен сделать? — спросил я, начиная догадываться об истинном смысле его приглашения на рыбалку.

— Мы пойдем с тобой и получим чемодан. Я у тебя его оставлю на время...

Сейчас после моря и рыбалки тащиться через весь город на вокзал...

— Хорошо, — сказал я, — только завтра. Надеюсь, до завтра ваши сталактиты не испортятся?

— Что ты! — воскликнул он. — Они держатся тысячелетия, а эти редкой оригинальной окраски. Ты завтра сам увидишь.

— Ну ладно, до завтра, — сказал я.

— До свидания, — пробормотал он задумчиво и небрежно приподнял свой сачок, полный прекрасной морской рыбы.

Только я сделал несколько шагов, как он снова окликнул меня. Я оглянулся.

— Про пещеру пока молчи, — сказал он и приложил палец к губам.

— Хорошо, — ответил я и быстро пошел в сторону кофейни.

Был чудесный тихий вечер, какие бывают в наших краях в начале осени. Солнце медленно погружалось в воду, и бухта со стороны заката золотилась и пламенела, постепенно угасая к востоку, где она становилась сначала сиреневой, потом пепельной, а дальше вода и берег уже окунались в сизую дымку.

Я думал о Платоне Самсоновиче. Я думал о том, что наше время создало странный тип новатора, или изобретателя, или предпринимателя, как там его ни называй, все равно, который может много раз прогорать, но не может до конца разориться, ибо финансируется государством. Поэтому энтузиазм его практически неисчерпаем.

Кофейня была заполнена обычными посетителями — старожилками, которые пили кофе бережными глотками, тихо смакуя свои воспоминания. В углу за сдвинутыми столами юнцы скучно шумели порожняком своей молодости.

Я присел за столик и повесил сетку на спинку стула.

— Сладкий или средний? — спросил кофевар, наклоня свою выжженную солнцем и кофе голову восточного миротворца. Он некоторое время с удовольствием рассматривал мой улов.

— Средний, — сказал я привычно.

После моря и гребли приятно пошатывало, и я думал о том, что сейчас в мире нет ничего прекрасней чашечки

горячего турецкого кофе с коричневой пенкой на поверхности.

На этом мне хочется закончить правдивую историю козлотура, и я намеренно ничего не говорю о девушке, с которой познакомился на причале, проявив при этом немало ловкости и самообладания. Во-первых, потому что у нее окончились летние каникулы и она уехала учиться, а во-вторых, это совсем другая история, которая к козлотурам, как я надеюсь, не имеет ни малейшего отношения.

Быстро наступила южная ночь. Я смотрел на небо, пытаюсь угадать то созвездие, которое когда-то напомнило мне голову козлотура, но, как я с тех пор ни смотрел, никак не мог уловить ничего подобного. Созвездия Козлотура не было видно, хотя на небе было много других созвездий.

Я сидел за столиком и пил кофе из горячей дымящейся чашечки, а каждый раз, когда я ее подносил ко рту и втягивал губами густой горячий глоток, я чувствовал локтем осторожное прикосновение сетки с рыбой.

Это было похоже, как если б за мной сидела моя собака и, тычась мокрым, холодным носом мне в локоть, сдержанно напоминала о себе. Прикосновение было приятно, и я не менял позы, пока не выпил весь кофе.





# Кролики и удавы

Повесть

До того случилось в далекие-предалекие времена

в одной южной-преюжной стране. Короче говоря, в Африке.

В этот жаркий летний день два удава, лежа на большом мшистом камне, грелись на солнце, мирно переваривая недавно проглоченных кроликов. Один из них был старый одноглазый удав, известный среди собратьев под кличкой Косой, хотя он был именно одноглазый, а не косой...

Другой был совсем юный удав и не имел еще никакой клички. Несмотря на молодость, он уже достаточно хорошо глотал кроликов и поэтому внушал достаточно большие надежды. Во всяком случае, он еще недавно питался мышками и цыплятами диких индеек, но теперь уже перешел на кроликов, что было, учитывая его возраст, немалым успехом.

Вокруг отдыхающих удавов расстилались густые тропические леса, где росли слоновые и кокосовые пальмы, банановые и ореховые деревья. Порхали бабочки величиной с маленькую птичку и птицы величиной с большую бабочку. Вспыхивая разноцветным оперением, с дерева на дерево перелетали попугаи, даже на лету не переставая тараторить.

Иногда на вершинах деревьев трескали ветки и взвизгивали обезьяны, после чего раздавался сонный рык дремлющего поблизости льва. Услышав рык, обезьяны переходили на шепот, но потом, забывшись, опять начинали взвизгивать, и опять лев рыком предупреждал их, что они ему мешают спать, а он с вечера отправляется на охоту.

Обезьяны снова переходили на шепот, но совсем замолкнуть никак не могли. Они вечно о чем-то спорили, а чего они не поделили, было непонятно.

Впрочем, два удава, отдыхающих на мшистом камне, не обращали внимания на эти взвизги. Какие-нибудь глупости, думали они, иногда мимоходом улавливая обезьянью возню, какой-нибудь гнилой банан не поделили, вот и спорят...

— Я одного никак не могу понять, — сказал юный удав, только недавно научившийся глотать кроликов, — почему кролики не убегают, когда я на них смотрю, — ведь они обычно очень быстро бегают?

— Как — почему? — удивился Косой. — Ведь мы их гипнотизируем...

— А что такое «гипнотизировать»? — спросил юный удав.

Следует сказать, что в те далекие времена, которые мы взялись описывать, удавы не душили свою жертву, но, встретившись или, вернее, сумев подстеречь ее на достаточно близком расстоянии, взглядом вызывали в ней то самое оцепенение, которое в простонародье именуется гипнозом.

— А что такое «гипнотизировать»? — стало быть, спросил юный удав.

— Точно ответить я затрудняюсь, — сказал Косой, хотя он не был косой, а был только одноглазый, — во всяком случае, если на кролика смотреть на достаточно близком расстоянии, он не должен шевелиться.

— А почему не должен? — удивился юный удав. — Я, например, чувствую, что они у меня иногда даже в животе шевелятся...

— В животе можно, — кивнул Косой, — только если он шевелится в нужном направлении.

Тут Косой слегка поерзал на месте, чтобы сдвинуть проглоченного кролика, потому что тот вдруг остановился, словно услышал их разговор.

Дело в том, что в жизни этого старого удава был несчастный случай, после которого он лишился одного глаза и едва остался жив. Каждый раз, когда он вспоминал этот случай, проглоченный кролик останавливался у него в животе и приходилось слегка поерзать, чтобы сдвинуть его с места. Вопросы юного удава опять напомнили ему этот случай, который он не любил вспоминать.

— Все-таки я не понимаю, — через некоторое время спросил юный удав, — почему кролик не должен шевелиться, когда мы на него смотрим?

— Ну, как тебе это объяснить? — задумался Косой. — Видно, так жизнь устроена, видно, это такой старинный приятный обычай...

— Для нас, конечно, приятный, — согласился юный удав, подумав, — но ведь для кроликов неприятный?

— Пожалуй, — после некоторой паузы ответил Косой. В сущности, Косой для удава был чересчур добрый, хотя и недостаточно добрый, чтобы отказаться от нежного мяса кроликов. Он делал для кроликов единственное, что мог, — он старался их глотать так, чтобы причинить им как можно меньше боли, за что в конце концов поплатился.

— Так неужели кролики, — продолжал юный удав, — никогда не пытались восстать против этого неприятного для них обычая?

— Была попытка, — ответил Косой, — но лучше ты меня об этом не спрашивай, мне это неприятно вспоминать...

— Ну, пожалуйста, — взмолился юный удав, — мне так хочется послушать про что-нибудь интересное!

— Дело в том, — отвечал Косой, — что восстал именно мой кролик, после чего я и остался одноглазым.

— Он что, тебе выцарапал глаз? — удивился юный удав.

— Не в прямом смысле, но, во всяком случае, по его вине я остался одноглазым, — сказал Косой, прислушиваясь, как воздействуют его слова на движение кролика внутри живота. Ничего, кролик как будто двигался...

— Расскажи, — снова взмолился юный удав, — мне очень хочется узнать, как это случилось...

Косой был очень старый и очень одинокий удав. Взрослые удавы к нему относились насмешливо или враждебно, поэтому он так дорожил дружеским отношением этого еще юного, но уже вполне умелого удава.

— Ладно, — согласился Косой, — я тебе расскажу, только учти, что это секрет, молодые удавы о нем не должны знать.

— Никогда! — поклялся юный удав, как и все клянущиеся в таких случаях, принимая жар своего любопытства за горячую верность клятве.



— Это случилось лет семьдесят тому назад, — начал Косой, — я тогда был не намного старше тебя. В тот день я подстерег кролика у Ослиного Водопоя и вполне нормально проглотил его. Сначала все шло хорошо, но потом, когда кролик дошел до середины моего живота, он вдруг встал на задние лапы, уперся головой в мою спину и...

Тут Косой внезапно прервал свой рассказ и стал к чему-то прислушиваться.

— Уперся головой в твою спину и — что? — в нетерпении спросил юный удав.

— Сдается мне, что нас подслушивают, — сказал Косой, поворачиваясь зрячим профилем в сторону кустов рододендрона, возле которых они лежали.

— Нет, — возразил юный удав, — тебе это показалось, потому что ты плохо слышишь. Рассказывай дальше!

— Я косой, а не глухой, — проворчал старый удав, но постепенно успокоился. «По-видимому, — подумал он, — шорох ветра в кустах рододендрона я принял за шевеление живого существа».

И он продолжил свой удивительный рассказ. Так как он часто прерывался — то занимаясь своим кроличьим запором, то подозревая, что его кто-то подслушивает, с чем юный удав никак не соглашался, потому что опасения за чужую тайну всегда кажутся преувеличенными, — мы более коротко перескажем эту историю.

Не опасаясь подслушивания, да и, признайтесь, приятно быть смелым за счет чужой тайны, мы расскажем все, как было.

Итак, Косой, который тогда не был ни старым, ни колым, проглотил кролика у Ослиного Водопоя. И действительно, сначала все шло как по маслу, пока кролик вдруг не встал на задние лапы и снизу не уперся головой ему в спину, давая понять, что он дальше двигаться не намерен.

— Ты что, — говорил ему Косой, — баловаться вздумал? Переваривайся и двигайся дальше!

— А я, — кричит кролик из живота, — назло тебе так и буду стоять!

— Делай им после этого добро, — сказал Косой и, подумав, добавил: — Посмотрим, как ты устоишь...

И стал он лупцевать его своим молодым, еще эластичным и сильным хвостом. Лупцует, лупцует, аж самому больно — а кролику ничего.

— А мне не больно, а мне не больно! — кричит он из живота.

В самом деле, подумал удав, ведь шкура у меня толстая, и вся боль, предназначенная этому негодяю, приходится на меня самого.

— Ладно, — все еще спокойно говорил Косой, — сейчас я тебя сдерну оттуда...

Он посмотрел вокруг, нашел глазами огромную кокосовую пальму, у которой один из корней, подмытый ливнями, горбился над землей. Он осторожно прополз под корень до того самого места, где живот его растопырил этот живучий кролик.

— Ложись! — крикнул он. — Сейчас молотить начну!

— Молоти! — отвечал ему из живота этот бешеный кролик. — Сейчас покрепче упрusy!

Тут удав в самом деле разозлился и давай ерзать изо всех сил под своим корнем: взад-вперед! взад-вперед!

Пальма трясется, кокосовые орехи летят на землю — а кролику хоть бы что!

— Давай! — кричит. — Еще! — кричит. — Слабо! — кричит.

Косой от ярости так растряс пальму, что обезьяна, с любопытством следившая за его странным поведением, неожиданно свалилась ему на голову. Удар был очень чувствительный, потому что обезьяна летела с самой вершины этой пальмы. Он попытался ее укусить, но она, шлепнувшись ему на голову, успела отлететь в сторону. Он метнулся было за нею, но кролик, стоявший у него поперек живота, не дал ему дотянуться до нее.

Уже до этого достаточно оскорбленный поведением кролика, а теперь и вовсе обесчещенный падением обезьяны на голову, удав пришел в неимоверную ярость и так дернулся, что корень оборвался, и он изо всех сил ударился головой о самшитовое дерево, росшее рядом, и потерял сознание.

Примерно через час он пришел в себя и, приподняв голову, огляделся. Хотя в голове у него гудело, он все-таки

услышал вокруг родное шипение родных удавов. Узнали, значит, приползли, переговариваются...

— Коль не повезет, — прошипел один, — так и кроликом подавишься...

— А некоторые еще нам завидуют, — сказал удав, известный среди удавов тем, что привык все видеть в мрачном свете.

— Братцы, — простонал Косой, — умялся он там, пропихнулся?

— Примерно на одну обезьянью ладонь пропихнулся, — сказал удав, лежавший поблизости.

— Смотря какая обезьяна, — вдруг сверху с пальмы проговорила мартышка, — если взять орангутана, то получится, что кролик и на четверть ладони не продвинулся...

— Этот кролик и не пропихнулся, и не умялся, — подхватил удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — как стоял колом, так и стоит...

— Братцы, — взмолился Косой, — помогите...

— Плохи наши дела, — вдруг раздался голос царя удавов Великого Питона, — дурной пример заразителен... Уже обезьяны начинают нас поучать...

— А что, обезьяны хуже других? — сварливо огрызнулась с пальмы мартышка. — Чуть что — сразу «обезьяны, обезьяны»...

Услышав голос Великого Питона, бедный Косой пришел в ужас и даже забыл о своих несчастьях.

Дело в том, что, появляясь среди удавов, Великий Питон произносил боевой гимн, который все удавы в знак верности должны были выслушивать, приподняв голову.

Вот слова этого короткого, но по-своему достаточно выразительного гимна:

Потомки дракона,  
Наследники славы,  
Питомцы Питона,  
Младые удавы,  
Проглоченных кроликов сладкое бремя  
Несите! Так хочет грядущее Время!

Для Великого Питона все удавы считались младыми, даже если они по возрасту были старше его. Удав, про-

слушавший приветствие, не приподняв головы, лишился жизни как изменник.

Вот почему Косой, еще не ставший Косым, услышав голос Великого Питона, пришел в ужас — ведь он был в бессознательном состоянии и не мог поднять головы во время чтения гимна.

На самом деле он напрасно так испугался. Привычка при звуках гимна подымать голову была так сильна, что он и в бессознательном состоянии, услышав гимн, поднял голову вместе со всеми удавами.

По предложению Великого Питона удавы стали обсуждать, как спасти своего неудачливого соплеменника. Один удав предложил ему доползти до вершины самой высокой пальмы и оттуда шлепнуться на землю, чтобы раздавить дерзкого кролика.

— Что вы, братцы, — взмолился пострадавший, — да я сейчас и не доползу... А если доползу, то обязательно шлепнусь не тем местом... Мне же не везет...

— Верно, не доползет, — сказал Великий Питон. — Какие еще будут предложения?

— А может, кролика выпустить, и дело с концом? — неуверенно проговорил один из удавов. Великий Питон задумался.

— С одной стороны, это выход, — сказал он, — но с другой стороны, пасть удава — это вход, а не выход...

— А мы его не пустим, — осмелел тот, что внес это странное предложение. — Как только он выскочит, мы его тут же обрабатываем.

— Да я лучше ежа проглочу, чем этого бешеного кролика, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете.

— Тише, — предупредил Великий Питон, — шипите шепотом, не забывайте, что враг внутри нас... Во всяком случае, внутри одного из нас... За всю свою жизнь, а мне, слава богу, двести лет, был только один случай, чтобы кролик выскочил из пасти удава.

— Расскажи, — стали просить удавы, — мы об этом никогда не слышали.

— Братцы, — застонал Косой, — решайте скорее, а то уже нет сил терпеть.

— Подожди, — ответил Великий Питон, — дай мне поговорить со своим народом... Это случилось в те золотые

времена, когда среди удавов была распространена игра, которая называлась «Кролика на кролика до следующего кролика».

— Да что еще это за игра? — закричали удавы. — Расскажи нам о ней!

— Братцы, — снова взмолился Косой, но его уже никто не слушал. Обычно, если Великий Питон начинал вспоминать о том, что было раньше, его трудно было остановить.

А между прочим, в самом деле, в старину среди удавов была распространена эта игра. Один удав, проглотивший кролика, находил другого удава, проглотившего кролика, и предлагал ему:

— Кролика на кролика до следующего кролика?

— Идет, — отвечал второй удав, если соглашался на игру.

Игра заключалась в том, что два играющих удава ложились рядом и по знаку третьего, который брал на себя роль судьи, кролики начинали бегать наперегонки внутри удавов — от хвоста до головы и обратно. Чей кролик оказывался проворней, тот и выигрывал. Бег кроликов внутри удавов можно было легко проследить, потому что спина удава волнообразно прогибалась по ходу движения кролика. Забавно, что сам бег кроликов вызывался тем, что судья, изменив голос, кричал кроликам:

— Бегите, кролики, удав рядом!

После этого оба кролика начинали метаться внутри удавов, потому что, очнувшись от гипноза, они никогда не помнили, что с ними случилось. Они считали, что попали в какую-то странную нору, из которой надо искать выход.

Удав, чей кролик оказывался проворней, считался победителем. Выигрыш его состоял в том, что проигравший должен был найти ему кролика, загипнотизировать его и, скромно отползая в сторону, дать проглотить выигравшему. Это была адская мука. Некоторые удавы после двух-трех проигрышей не выдерживали и заболевали первыми заболеваниями.

По словам Великого Питона, в этой игре имелась та особенность, что чем больше выигрывал тот или иной удав, тем сильнее растягивался его желудок, чем силь-

ней растягивался его желудок, тем легче становилось бежать следующему кролику и, следовательно, тем больше шансов выиграть появлялось у этого удава. Среди удавов, оказывается, даже был один чемпион, который так разработал свой желудок, что заставлял внутри него бегать козленка.

— Царь, а Царь, — вдруг перебил Великого Питона удав-коротышка.

Среди удавов он был известен своей неумолимой любознательностью, которая его уже привела к тому, что он вместо кроликов начал глотать бананы и притом имел наглость уверять, будто они довольно вкусные. К счастью, этому вольнодумству никто из удавов не последовал. Все-таки Коротышка Великому Питону был неприятен, как моральный урод.

— Царь, а Царь, — спросил Коротышка, — а что, если я, например, короткий, а другой, например, длинный?.. Во мне кролик быстрее будет бегать от головы до хвоста?

— У-у-у, Коротышка, — зашипел на него Великий Питон, — вечно ты себя противопоставляешь... Не думай, что в старину удавы были глупее тебя. Если один из удавов оказывался длинней, его подворачивали настолько, насколько он оказывался длинней.

Тут удавы пришли в радостное возбуждение — до того им понравился рассказ Царя и удивительно справедливые условия этой древней игры.

— Да здравствует Царь и его памяти! — закричали они. — Хотим играть в эту замечательную игру!

— К сожалению, невозможно, — печально сказал Великий Питон, дождавшись тишины.

— Почему?! — уныло стали вопрошать удавы. — Вечно ты нас ограничиваешь! Мы тоже хотим, чтобы кролики бегали внутри нас.

— Потому что случилось великое несчастье, — сказал Царь, — после чего пришлось ограничивать свободу передвижения кроликов внутри удавов.

— Вот так всегда, — проворчал удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — ограничивают свободу кроликов, а страдают удавы.

— Дело в том, — продолжал Великий Питон, — что во время игры один из удавов то ли чересчур широко рази-

нул пасть, то ли кролик его слишком взмылился, но он неожиданно выскочил у него из пасти и убежал в лес.

— Невероятно! — в один голос воскликнули несколько удавов.

— Каков подлец! — качали головами и шипели другие.

— Невероятно, но факт, — рассказывал Великий Питон, — это были самые черные дни нашей истории. Было не ясно, что расскажет сбежавший кролик о нашем внутреннем строении. Как воспримут его слова остальные кролики. Конечно, были приняты меры для его поимки, объявлена награда, но разложение проникло уже и в ряды удавов. Через некоторое время одно за другим стали поступать сообщения о том, что тот или иной удав поймал этого преступного кролика и обработал его. Но именно потому, что сбежавший кролик был один, а сообщений о его глотке было много, трудно было поверить, что он пойман. Но потом постепенно мы успокоились. Во всяком случае, со стороны кроликов организованного сопротивления не замечалось. Не исключено, что сбежавший кролик был пойман каким-нибудь скромным периферийным удавом, который проглотил его, не только не требуя награды, но и сам не ведая о том, кого он глотает. Через некоторое время мы казнили удава-ротозея, и жизнь вошла в нормальную колею. Правда, эту чересчур азартную игру пришлось запретить, так же как и противоестественное продление жизни кроликов внутри удавов. Проглотил — изволь обрабатывать, нечего церемониться...

Великий Питон помолчал, вспоминая великолепные подробности казни удава-ротозея. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь спросил об этой казни, но никто не спрашивал, и тогда он шепнул одному из помощников, чтобы тот организовал вопрос из среды рядовых удавов.

— Группа удавов интересуется, — раздался наконец вопрос, — как именно казнили удава-ротозея?

— Своеобразный вопрос, — кивнул головой Великий Питон. — Это было великолепное зрелище... Сейчас мы отменили эту казнь, и, честно скажу, напрасно. Смысл казни — самопоедание удава. Ему не давали есть в течение двух месяцев, а потом всунули его собственный хвост в его собственную пасть. Трудно представить себе что-

нибудь более поучительное. С одной стороны, он понимает, что это его собственный хвост, и ему жалко его глотать, с другой стороны, как удав, он не может не глотать то, что попадает ему в пасть. С одной стороны, он, самопожираясь, уничтожается, с другой стороны, он, питаясь самим собой, продлевает свои муки. В конце концов от него остается почти одна голова, которую расклеивают грифы и вороны.

— Какое грозное зрелище! — воскликнули некоторые удавы.

А некоторые молча стали коситься на свои хвосты.

— Не хватало новой заботы, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. — Теперь, свиваясь в кольца, я буду думать: а вдруг мой хвост случайно попадет мне в рот?

— Зато будьте спокойны, — сказал Великий Питон, — с тех пор ни один удав не выпускал из себя кролика.

— А все-таки это дикость! — вдруг воскликнул Коротышка, не слишком высываясь из-за дальних рядов.

Не успели удавы что-нибудь сказать по поводу этого грубого выпада, как услышали нечто и вовсе неслыханное.

— Мерзавец! — вдруг раздался чей-то отчетливый голос.

Все удавы стали подозрительно оглядывать друг друга, стараясь угадать, кто посмел произнести столь оскорбительное слово.

Косой, о котором к тому времени все забыли, с ужасом почувствовал, что это был голос кролика, которого он так неудачно проглотил. Он знал, что несет полную ответственность за поведение проглоченного кролика, и потому пришел в ужас.

На всякий случай, пока другие удавы не догадались, кто кричал, он стал озираться как бы в поисках оскорбителя Царя.

— Кто сказал «мерзав-цы»?! — страшным голосом прошипел Великий Питон, оглядывая ряды своих питомцев, смущенно прячущих головы в траву. — Уж не ты ли, Коротышка?!

— Я сказал про дикость, а про мерзав-ца, — подчеркнул ехидно Коротышка, — я не говорил.



Великий Питон нарочно перевел оскорбительное слово во множественное число, чтобы оно, относясь ко многим удавам, к нему лично, Великому Питону, относилось в виде такой дроби, где оскорбление как бы делилось на общее количество присутствующих удавов. Ему казалась такая дробь менее оскорбительной, хотя, в сущности, иная компания содержит в себе вещество мерзости, намного превосходящее то количество, которое необходимо для выполнения нормы мерзавца каждым членом этой компании, то есть на каждого мерзавца этой компании может распределиться полуторная норма мерзости, если они будут настаивать на математическом выражении своей доли мерзости.

Кстати говоря, впоследствии туземцы усвоили этот обычай удавов придавать оскорблению расширительный смысл, чтобы скрыть долю своей подлости, если дело касается подлеца, или долю своей мерзости, как в этом случае, если дело касается мерзавца.

Итак, Коротышка напомнил, что именно говорил он сам и в каком именно числе было употреблено оскорбительное слово неизвестным оскорбителем. Именно потому, чтобы не заострять внимание на этой неприятной тонкости, Великий Питон не стал особенно придирааться к нему.

— У-у-у, Коротышка, — только прошипел он в его сторону, — я еще сотру тебя в пыль!

— Мерзавец! — вдруг снова произнес кролик из живота Косого.

— Прошу тебя, помолчи, — взмолился Косой, холодея от ужаса.

— Я здесь не для того, чтобы молчать! — громко сказал кролик.

Окружающие удавы с недоумением оглядывали Косого, никак не понимая, почему этот неудачник посмел говорить с таким предсмертным нахальством. Все они, увлекшись рассказом Великого Питона, забыли, что внутри Косого сидит живой, энергичный кролик.

— Так это ты?! — наконец прошипел Великий Питон, обратившись к Косому, который все еще не был Косым, хотя и очень близко подошел к тому, чтобы им стать.

— Это не я, это во мне, — в ужасе признался Косой.

— Раздвоение личности?! — брезгливо предположил Великий Питон. Среди удавов это считалось позорной болезнью.

— О Царь, — взмолился Косой, — вы, как всегда, увлекшись великим прошлым, забыли, что во мне кролик...

— Ну и что? — перебил его Великий Питон. — И во мне кролик, и к тому же не единственный...

Но тут к нему склонился один из его помощников и нашептал ему на ухо о том, что здесь произошло.

— Ах да, — вспомнил Царь, — так это он назвал всех нас мерзавцами?

— Да, я! — воскликнул дерзкий кролик из оцепеневшего от ужаса удава. — Ты первый мерзавец среди своих мерзавцев, и притом тупица!

— Я мерзавец?! — повторил Великий Питон, не находя слов от гнева.

— Да, ты мерзавец! — радостно закричал дерзкий кролик.

— Я тупица?! — не веря своим ушам, повторил Великий Питон.

— Да, ты тупица! — восторженно выкрикнул кролик. На этот раз голос его был особенно отчетливым, потому что бедный Косой, от ужаса разинув пасть, так и застыл.

Воцарилась нехорошая тишина, во время которой Великий Питон не сводил глаз с Косого.

— Твой желудок стал трибуной кролика, — сказал он грозно, — но ты за это заплатишься, жалкий инвалид.

— О мой Царь! — взмолился бедный Косой.

— Никаких царей, — сурово отвечал Великий Питон. — Удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен.

— Не тот, не тот, — зашипели удавы.

— А потому, — продолжал Великий Питон, наконец приходя в себя, — выволоките его на Слоновую Тропу, пусть они утрамбуют этого дерзкого кролика, если этот жалкий инвалид не мог сам его утрамбовать.

Удавы из стражи Великого Питона подхватили Косого и поволокли его в сторону Слоновой Тропы. Пока они волокли его, кролик, не переставая, вопил из его живота.

— Кролики! — кричал он. — Один кролик сбежал из живота удава! Сам Царь об этом говорил! Сопровитляйтесь удавам! Даже в животе! Как я!

— Волочите быстрей! — приказал Великий Питон, которому разглашение этой племенной тайны очень не понравилось.

— Мы стараемся, — отвечали стражники, — но он упирается.

— Братцы, — шептал им в это время Косой, — помилосердствуйте, ведь меня слоны затопчут вместе с кроликом.

— Кролики тебе братцы, — отвечали стражники, уводякая его в глубину джунглей.

— Кролики! — все еще доносился голос дерзкого кролика. — Один кролик сбежал из пасти удава! Царь сам рассказывал!

— Хи-хи-хи! — вдруг раздался ехидный смех Коротышки. — Сам говорил — шипите шепотом, а сам племенную тайну разгласил.

— Выродок, — отвечал Великий Питон, чтобы не опускаться до спора с Коротышкой, — бананами питаешься, обезьяна.

— А чем обезьяны хуже вас? — крикнула мартышка, высунувшись из густой кроны грецкого ореха. — Чуть что — сразу «обезьяны».

Впрочем, как только Великий Питон поднял голову, она тут же юркнула в зеленую крону и защелкала орехами, то и дело бросая вниз сердитые скорлупки.

Обезьяны находились в сложных отношениях с удавами. Дело в том, что обычай удавов разрешал питаться обезьянами, но, так как они слишком волосатые и не слишком вкусные, питаться обезьянами считалось дурным тоном.

Такую точку зрения неоднократно высказывал сам Великий Питон, и обезьяны, с одной стороны, заинтересованные в том, чтобы их считали невкусными, с другой стороны, болезненно воспринимали всякий намек на свою неполноценность. Поэтому они жили, мелко политикуя и огрызаясь на отдельные оскорбления удавов, в то же время стараясь сохранить господствующую среди удавов точку зрения на свои вкусовые качества.

— Слушайте загадку, — сказал Великий Питон, решив напоследок рассеять впечатление от дерзких выкриков кролика, — она же шутка... Какой кролик может стать удавом?

Удавы стали думать. Некоторые решили, что Царь при помощи этой загадки выискивает среди них будущих изменников, и потому на всякий случай решили молчать. Другие высказывали более и менее правдоподобные предположения. Но никто не отгадал правильного ответа.

— Ответ! Ответ! — стали кричать удавы.

— Хорошо, — сказал Великий Питон, — вот вам ответ: кролик, проглоченный удавом, может стать удавом.

— Но почему, о Царь? — вопрошали удавы.

— Потому что кролик, переработанный удавом, превращается в удава. Значит, удавы — это кролики на высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы — это бывшие они, а они — это будущие мы.

— Ха-ха-ха! — смеялись удавы шутке Великого Питона. — Мы — это бывшие они. Здорово получается!

— Согласно с наукой, — скромно добавил Великий Питон, как бы отводя от себя лично слишком восторженные взгляды удавов.

— Великий Питон — это все-таки Великий Питон, — говорили удавы, расплываясь и с удовольствием вспоминая мудрую шутку своего Царя. Им приятно было чувствовать, что, глотая кроликов, они не просто сами наслаждаются нежным тонкошкурым телом кролика, но, оказывается, и самого кролика, превращая в себя, повышают до своего уровня.

Но что же случилось на Слоновой Тропе?

Косой мало что помнит. Он только помнит, что удавы его придерживали, пока слоны не появились совсем близко. Кролик внутри него беспрерывно орал, что надо бороться с удавами, даже находясь в желудке удава.

Смог ли кролик выскочить из него, когда слоны стали их топтать, удав не помнит, потому что потерял сознание еще до того, как первый слон наступил на него.

Через две недели, в Сезон Больших Дождей, к нему вернулось сознание, и он обнаружил себя лежащим не-

далеко от Слоновой Тропы, куда он, по-видимому, был отброшен каким-нибудь брезгливым хоботом слона.

Тело его в нескольких местах было оттоптано, и он уже стал одноглазым, хотя не мог точно сказать — то ли слоны ему нечаянно выдавили глаз, то ли позже, когда он лежал без сознания, этот глаз у него выклевала какая-то птица. Почему-то этот вопрос сильно беспокоил Косого, хотя в его положении хватало других забот. Косому почему-то хотелось, чтобы глаз его был растоптан ногами слонов, а не выклеван какой-нибудь поганой птицей, принявшей его за труп.

Мысль о том, что какая-то птица выклевала его глаз, словно зерно, почему-то не давала ему покоя, пока ощущение голода не стало его вытеснять. Так прошло несколько дней, и вдруг на него села ворона, привлеченная его неподвижной позой. Ему удалось схватить ворону, когда она села ему на голову, с тем чтобы выключить его единственный глаз. С тех пор он несколько месяцев неподвижно лежал, уставившись в небо своим единственным глазом. За это время ему удалось поймать несколько стервятников и ворон, соблазненных его трупным видом.

Так выжил Косой — к равнодушному удивлению других удавов и к явному неудовольствию Великого Питона. Соплеменники его не трогали, но относились к нему презрительно, потому что, как сказал Царь, удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который им нужен.

Бедняга Косой пытался сослаться на то, что проглоченные кролики иногда заговаривали и в других удавах, но это не помогало.

— То совсем другое, — говорили ему, — то гипнотический бред, а у тебя кролик говорил сознательно.

Кстати, мы забыли упомянуть, что с тех пор, как кролик выбежал из пасти удава, был введен закон о немедленной обработке кролика после заглота. Закон этот, в сущности, был рассчитан на джентльменство удавов, потому что проверить, сразу ли приступил удав к обработке проглоченного кролика или, продлевая ему жизнь, продлевает свое удовольствие, было невозможно.

Одним словом, после всего, что случилось, соплеменники старались избегать Косого. Его не трогали, но и

почти не говорили с ним. Косой от этого страдал, потому что у каждого живого существа есть неистребимая потребность общаться с подобными себе.

Именно поэтому Косой, оказавшись сегодня рядом с юным удавом, откровенно рассказал ему всю свою горестную историю. Пожалуй, единственное, что он скрыл от юного удава, это то, что он и сейчас иногда, притворяясь мертвым, ловит ворон, потому что охотиться на кроликов с одним глазом нелегко и гипноз нередко дает осечку.

— Кстати, — спросил юный удав, — а как ты охотишься с одним глазом?

— Что делать, — вздохнул Косой, — приходится гипнотизировать профилем, глаз устает.

— А я все слышал! — вдруг раздался голос кролика. Косой похолодел.

— Как? — сказал он дрожащим голосом. — Ты жив? Я тебя снова проглотил?

— Да нет, — поправил его юный удав, — это необработанный кролик говорит из кустов.

— Уф, — вздохнул Косой, — а мне показалось, что тот.

— А что ты услышал? — спросил юный удав, всматриваясь в кусты рододендрона и пытаясь разглядеть там кролика.

— Я давно веду наблюдения над удавами, — сказал кролик из кустов. — Вы подтвердили, что легенда о дерзком кролике не легенда, а быль. Это лишний раз убеждает в правильности моих некоторых догадок. Теперь я твердо знаю: ваш гипноз — это наш страх. Наш страх — это ваш гипноз.

— Пользуешься тем, что мы сейчас оба сыты? — сказал Косой, прислушиваясь к своему желудку.

— Нет, — отвечал кролик, — это плод долгих раздумий и строгих научных наблюдений.

— Чего ж ты подслушиваешь, если ты такой умный? — спросил Косой. — Или ты не слышал, что это нечестно?

— Я об этом тоже много думал, — отвечал кролик, так и не высунувшись из кустов. — Подслушивать во всех случаях жизни низко, это я знаю. Даже подозревая кого-то в преступлении, нельзя его подслушивать, потому что подозрения могут не оправдаться, а метод может укорениться. Я хочу сказать, что каждый подслушивающий

может говорить: «А я его подозревал в преступлении». Подслушивать можно и нужно в том случае, если ты абсолютно уверен, что имеешь дело с преступником. А вы, удавы, — убийцы: вы или совершили убийство, или готовитесь совершить. Следовательно, как можно больше знать о вас — это благо для живых кроликов.

— Кажись, я чего-то слышал о тебе, — вспомнил юный удав. — Это ты Задумавшийся?

— Да, я, — отвечал кролик.

— Ну, подойди сюда, если ты такой, — сказал юный удав, чувствуя, что он, пожалуй, и второго кролика смог бы обработать.

— Нет, — отвечал кролик, — я сейчас не имею права рисковать. Хотя гипноза нет, но укусить вы можете.

— Спасибо и на том, — сказал Косой, стараясь придать всей этой истории легкий юмористический оттенок. Все-таки он много сказал такого, чего не должны были слышать уши кроликов. Все это пахивало новыми опасностями. К тому же Задумавшийся, так и не высушившись из кустов, ушелестел в глубь джунглей.

— Что ж ты не показался? — еще более тоскливо спросил Косой.

— Пусть вам в каждом кролике мерещится Задумавшийся! — крикнул кролик, и голос его растворился в шорохах джунглей.

На теплом мшистом камне стало как-то тесно и неуютно. Оба удава подумали, что хорошо бы избавиться друг от друга как от опасного свидетеля, но оба не решились нападать. Молодой — потому что боялся, что ему не хватит опыта, а старый боялся, что ему не хватит сил и проворства.

— Нехорошо все это получилось, — прошипел юный удав. — Пожалуй, мне придется донести Великому Питону о том, что ты здесь наболтал.

— Не надо, — попросил Косой, — ты ведь знаешь, как он меня не любит.

— А если обнаружится? — возразил юный удав.

— Будем надеяться, что никто не узнает, — ответил Косой.

— Тебе хорошо, — сказал юный удав, — ты свое отжил, а у меня все впереди... Нет, я, пожалуй, донесу...

— Но ведь тогда и ты пострадаешь.

— Это почему же?

— Если я начал проговариваться, ты ведь должен был дать отпор, — напомнил Косой о старом обычае, принятом среди удавов.

В самом деле, подумал юный удав, есть такой обычай. Он был в растерянности. Он никак не мог понять, что ему выгодней: донести или не донести.

— А если обнаружится? — сказал он задумчиво. — Ну, ладно, промолчу... А что ты мне дашь за это?

— Что я могу дать, — вздохнул Косой, — я старый инвалид... Если тебе придется туго с кроликами, притворись мертвым, и рано или поздно тебе на голову сядет ворона...

— Да на черта мне твоя ворона! — возмутился юный удав. — Я, слава богу, имею регулярного кролика.

— Не говори, — отвечал Косой, — в жизни всякое бывает...

— У нее, наверное, и мясо жесткое? — неожиданно спросил юный удав.

— Мясо жестковатое, — согласился Косой, — но в трудное время это все-таки лучше, чем ничего.

— А если обнаружат? — снова усомнился юный удав и, сползая с камня, на котором они лежали, добавил: — Ладно, не донесу... Лучше бы я с тобой не связывался... Тысячу раз прав был Великий Питон, когда сказал, что удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен.

Уползая от Косого, юный удав в самом деле еще не знал, что выгоднее: донести или не донести. По молодости он не понимал, что тот, кто раздумывает над вопросом, донести или не донести, в конце концов обязательно донесет, потому что всякая мысль стремится к завершению заложенных в ней возможностей.

«Вот жизнь, — с грустью думал Косой, — лучше бы меня тогда растоптали слоны, чем жить в презрении и страхе перед собратьями».

Так думал Косой и все-таки в глубине души (которая находилась в глубине желудка) чувствовал, что из жизни уходит ему не хочется. Ведь так мягко лежать на теплом мшистом камне, так приятно чувствовать солнце на сво-



сей старой ревматической шкуре, да и кроликоварение — что скрывать! — все еще доставляло ему немало удовольствия.

В тот же день, когда солнце повисло над джунглями на высоте хорошего баобаба или плохой лиственницы, у входа в Королевский Дворец на Королевской Лужайке было созвано чрезвычайное собрание кроликов.

Сам Король сидел на возвышенном месте рядом со своей Королевой. Над ними развевалось знамя кроликов с изображением Цветной Капусты.

Полотнище знамени представляло собой большой лист банана, на котором кочан Цветной Капусты был составлен из разноцветных лепестков тропических цветов, приклеенных к знамени при помощи сосновой смолы,

В сущности говоря, ни один кролик никогда не видел Цветной Капусты. Правда, в кроличьей среде всегда жили слухи (хотя их и приходилось иногда взбадривать) о том, что местные туземцы, вместе с засекреченными кроликами работающие на тайной плантации по выведению Цветной Капусты, добились решительных успехов. Как только опыты, близкие к завершению, дадут возможность сажать Цветную Капусту на огородах, жизнь кроликов превратится в сплошной праздник плодородия и чревоугодия.

Время от времени сочетание цветов в изображении Цветной Капусты на знамени едва заметно менялось, и кролики видели в этом таинственную, но безостановочную работу истории на благо кроликов. Увидев на знамени слегка изменившийся узор цветов, они многозначительно кивали друг другу, делая для себя далеко идущие оптимистические выводы. Говорить об этом вслух считалось неприличным, нескромным, считалось, что эти внешние знаки внутренней работы истории проявились случайно, по какому-то доброму недосмотру королевской администрации.

В ожидании этого счастливого времени кролики жили своей обычной жизнью, паслись в окружающих джунглях и пампах, поворовывали в огородах туземцев горох, фасоль и обыкновенную капусту, высокие вкусовые качества которой оплодотворяли мечту о Цветной Капусте. Эти же продукты они поставляли и ко двору Короля.

— Ну, как сегодня капуста? — бывало, спрашивал Король, когда рядовые кролики, выполняя огородный налог, прикатывали кочаны и складывали их в королевской кладовой.

— Хороша, — неизменно отвечали кролики, облизываясь.

— Так вот, — говорил им на это Король, — когда появится Цветная Капуста, вы на эту зеленую даже смотреть не захотите.

— Господи, — вздыхали кролики, услышав такое, — неужели доживем до этого?

— Будьте спокойны, — кивал Король, — следим за опытами и способствуем...

Великая мечта о Цветной Капусте помогала Королю держать племя кроликов в достаточно гибкой покорности.

Если в жизни кроликов возникали стремления, неудобные Королю, и если он не мог эти стремления остановить обычным способом, он, Король, прибегал к последнему излюбленному средству, и, конечно, этим средством была Цветная Капуста.

— Да, да, — говорил он в таких случаях кроликам, проявляющим неудобные стремления, — ваши стремления правильны, но несвоевременны, потому что именно сейчас, когда опыты по выведению Цветной Капусты так близки к завершению...

Если проявляющий стремления продолжал упорствовать, он неожиданно исчезал, и тогда кролики приходили к выводу, что его засекретили и отправили на тайную плантацию. Это было естественно, потому что те или иные стремления проявляли лучшие головы, и эти же лучшие головы, конечно, прежде всего нужны были для работы над выведением Цветной Капусты.

Если семья исчезнувшего кролика начинала наводить справки о своем родственнике, то ей намекали, что данный родственник теперь «далеко, в том краю, где Цветная Капуста цветет».

Если семья исчезнувшего кролика продолжала упорствовать, то она тоже исчезала, и тогда кролики говорили:

— Видно, он там большой ученый... Семью разрешили вывезти...

— Везет же некоторым, — говорили крольчихи, вздыхая.

Других подозрений в головах у рядовых кроликов не возникало, потому что по вегетарианским законам королевства кроликов наказывать наказывали — путем подвешивания за уши, — но убивать не убивали.

Итак, в этот день, который уже клонился к закату, на Королевской Лужайке Король и Королева сидели на возвышенном месте, а над ними слегка колыхалось знамя с изображением Цветной Капусты.

Чуть пониже располагались придворные кролики, или, как их называли в кроличьем простонародье, Допущенные к Столу. А еще ниже — те, которые стремились быть Допущенными к Столу, а дальше уже стояли или сидели на лужайке рядовые кролики.

Легко догадаться, что чрезвычайное собрание кроликов было вызвано чрезвычайным сообщением Задумавшегося.

— Наш страх — их гипноз! Их гипноз — наш страх! — повторяли рядовые кролики, смакуя эту соблазнительную мысль,

— Какая смелая постановка вопроса! — восклицали одни.

— И мысли следуют одна за другой, — восторгались другие, — ну прямо как фасолины в стручке.

— Ой, кролики, что будет-ет! — говорили третьи, которым от великого открытия Задумавшегося делалось до того весело, что становилось страшно.

И только жена Задумавшегося, стоя в толпе ликующих кроликов, то и дело повторяла:

— А почему мой должен был разоблачать удавов? А где Допущенные к Столу мудрецы и ученые? А что мы за это имеем? Ведь удавы будут мстить мне и моим детям за то, что он здесь наболтал!

— Ты должна им гордиться, дура, — говорили ей окружающие кролики, — он великий кролик!

— Оставьте, — отвечала им крольчиха. — Уж я-то знаю, какой он великий! Дожил до седин, а до сих пор не может листик гороха отличить от листика фасоли!

А между тем Королю кроликов сообщение Задумавшегося не понравилось. Он почувствовал, что эта новость

ничего хорошего ему не сулит. Но, будучи опытным знатоком настроения толпы, он, видя всеобщее ликование, не мешал ему проявляться со всей полнотой. Он понимал, что всякое ликование толпы имеет свою высшую точку, после которой оно обязательно должно пойти на убыль, и тогда уже можно будет высказывать свои сомнения.

Дело в том, что когда кто-нибудь, а в особенности толпа, начинает ликовать, он еще не знает, что всякое ликование рано или поздно должно пойти на убыль. И вот когда ликование начинает идти на убыль, ликующий, чувствуя, что его ликование иссякает, склонен обвинить в этом того, кто, вызвав ликование, оказывается, не придал ему неиссякаемого характера.

Но если кто-то своим критическим отношением к предмету ликования перебил всеобщее ликование, тогда гнев ликующих с особенной силой устремляется на него. Ведь ликующие думали, что их ликование носило неиссякаемый характер, а этот злобный завистник нарочно им все испортил.

Король кроликов все это знал хорошо и поэтому долго молчал. И вот когда ликование очень сильно иссякло, хотя все еще отдельные его вспышки то здесь, то там озарили радость толпу, кролики стали замечать, что сам Король почему-то молчит. И не только молчит. Лицо его выражает грустную терпимость перед печальным зрелищем всеобщего заблуждения.

И тут все начали понимать, что Король сомневается в правильности наблюдений Задумавшегося. Допущенные, заметив сомнение Короля, довели его при помощи отдельных выкриков до степени откровенного возмущения. Возмущение Допущенных, в свою очередь, было подхвачено Стремящимися Быть Допущенными и доведено до выражения гневного протеста против не проверенных Королем научных слухов.

Да, Король был прав, почувствовав великую опасность, которая заключается в словах Задумавшегося. Вся деятельность Короля была связана с тем, что он лично, вместе со своими придворными помощниками, определял, какое количество страха и осторожности должны испытывать кролики перед удавами в зависимости от

времени года, состояния атмосферы в джунглях и многих других причин.

И вдруг вся эта разработанная годами хитроумная система управления кроликами может рухнуть, потому что кролики, видите ли, не должны бояться гипноза.

Король знал, что только при помощи надежды (Цветная Капуста) и страха (удава) можно разумно управлять жизнью кроликов. Но на одной Цветной Капусте долго не продержишься. Это Король понимал хорошо, и потому он собрал всю свою государственную мудрость и выступил перед кроликами.

— Кролики, — начал он просто, — я пожилой Король. Я на престоле, слава богу, уже тридцать лет и ни разу за это время не попал в пасть удава, а это о чем-то говорит...

— О том, что тебе все приносят во дворец! — выкрикнул из толпы какой-то дерзкий кролик.

Правда, уже было слишком темно, чтобы разглядеть, кто говорит. Допущенные к Столу и, особенно, Стремящиеся со страшной силой зашикали на дерзнувшего кричать из толпы.

Посмотрев на придворных, Король строгим голосом приказал осветить народ достаточным количеством светильников. До этого всего несколько пузырей, выдутых из прозрачной смолы и наполненных светляками, озаряли вход в Королевский Дворец и возвышение, на котором сидели Король и Королева.

— О Король, — напомнили придворные шепотом, ссылая жар светляков из кокосовых шкатулок, в которых они хранились, в светильники, — вы ведь сами нас учите режиму экономии.

— Только не за счет интересов режима, — отвечал Король вполголоса, мрачно оглядывая толпу, пока придворные укрепляли светильники в разных концах Королевской Лужайки. — Кролики, — кротко обратился Король к своим подданным, — прежде чем раскрыть ошибку Задумавшегося, хочу задать вам несколько вопросов.

— Давай! — закричали кролики.

— Кролики, — и голос Короля задрожал, — любите ли вы фасоль?

— Еще как! — хором ответили кролики.

— А зеленый горошек, свеженький, с куста?

— Не говори, Король, — застонали кролики, — не буди сладких воспоминаний!

— А свежей капустой, — безжалостно гремел Король, — хрупчатой, рубчатой, говорю, любите похрумкать?!

— У-у-у, — завyli кролики и стали со свистом втягивать воздух в рот, — не растравляй, Король, не сыпь на раны сладкую соль!

— Если это так, — продолжал Король, глядя на кроликов, застывших в сентиментальных позах обглаживания свежих стручков или хрумканья капустными листьями, — перехожу к наиглавнейшей мысли. Кто из вас выращивает горох, капусту, фасоль?

На некоторое время воцарилось удивленное молчание.

— Но, Король, — стали кричать кролики, — этим занимаются туземцы!

— Значит, им принадлежат эти самые совершенные на сегодняшний день (тончайший намек на завтрашний день, связанный с Цветной Капустой) продукты питания?

— Выходит, — отвечали кролики.

— А каким образом, — продолжал Король, — вы добываете эти продукты?

— Воруют, — сокрушенно отвечали кролики, — разве вы не знали?

— Ну, это сказано слишком резко, — поправил Король, — правильней сказать — отбираете излишки... Ведь вы туземцам кое-что оставляете?

— Приходится, — отвечали кролики.

— Теперь перехожу к наиглавнейшей мысли, — объявил Король.

— Ты уже переходил к наиглавнейшей мысли! — крикнул один из кроликов в толпе.

— То была первая наиглавнейшая мысль, а теперь вторая, — не растерялся Король. — То, что удавы глотают кроликов, — это ужасная несправедливость, не правда ли?

— В том-то и дело, — закричали кролики, — об этом-то и толкует Задумавшийся!

— Да, — продолжал Король, — это ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, и мы с нею

боремся теми средствами, которые доступны нашему разуму. Правда, за эту ужасную несправедливость мы пользуемся маленькой, но очаровательной несправедливостью, присваивая нежнейшие продукты питания, выращенные туземцами. Теперь допустим на минуту, что Задумавшийся прав, хотя это еще никак не доказано. Но представим. Гипноза, оказывается, нет, скачите, кролики, куда хотите! Браво, браво, Задумавшийся! Но что же дальше? А дальше Задумавшийся нам говорит: мол, если отпала ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, значит, и кролики должны прекратить приятную, разумеется, для нас, несправедливость по отношению к огородам туземцев.

— Не скажет! Не скажет! — закричали кролики хором.

— А где уверенность? — спросил Король и обратился к Задумавшемуся, который стоял недалеко от Короля и спокойно слушал его.

После своего сообщения о гипнозе он так и остался на возвышении, потому что Король велел ему остаться, чтобы, с одной стороны, никто не подумал, будто Король недоволен, а с другой стороны, чтобы долгое созерцание Задумавшегося сделало его облик более привычным и потому менее чудодейственным.

Задумавшийся молчал, хотя по его виду никак нельзя было сказать, что он смущен вопросом Короля.

— Так что ты нам скажешь? — снова обратился к нему Король, стараясь, чтобы он сейчас же разоблачил себя перед кроликами.

— Я потом отвечу сразу на все вопросы, — спокойно сказал Задумавшийся, — пусть Король продолжает.

— Хорошо, — усмехнулся Король, хотя и разозлился про себя, именно оттого разозлился, что Задумавшийся не в результате хитрого дипломатического хода уклонился от его удара, а просто в результате глупого желания не терять времени на отдельные вопросы.

— Пойдем дальше, — продолжал Король. — Конечно, это ужасная несправедливость, что удавы пожирают кроликов, и мы делаем все, чтобы уменьшить количество жертв. Но зачем подчеркивать только темные стороны? Жизнь есть жизнь! И она иногда подсовывает нам изумительные подарки. Например, вы сталкиваетесь с

удавом, вы в ужасе! Но что же? Оказывается, это Коротышка, который только что налопался бананов, он на вас и смотреть не хочет. Снова сталкиваемся с удавом! Снова ужас. Но что же? Оказывается, это Косой — и вы в полной безопасности, потому что очутились в мертвом пространстве его слепого профиля. Кролики, братья и сестры, нельзя пренебрегать такими дарами жизни! Помните: в природе все связано! А что, если тончайшее удовольствие, которое мы получаем от святой троицы (горох, фасоль, капуста), связано с чувством страха, который мы испытываем перед удавами? А вдруг без этого страха ароматнейшие продукты природы покажутся безвкусными и жесткими, как пампасская трава?

— Это ужасно, — воскликнули кролики, — тогда и жить не стоит!

— А если это так, — продолжал Король, сам загораясь от собственного красноречия, — перестанем мечтать о будущей Цветной Капусте, перестанем следить за опытами и способствовать?!

— Это ужасно, ужасно, ужасно, — стонали кролики, от природы очень впечатлительные, чем, кстати, и пользовались удавы, как, впрочем, и Король, хотя мы никак не хотим проводить какие-то параллели между ними.

— И вот что, кролики, — продолжал Король, оглядывая толпу с выражением проницательной умудренности, — будем откровенны, ведь мы здесь все свои... Признайтесь: когда вы вечером возвращаетесь в свою нору и узнаете от крольчихи, что такого-то кролика проглотил удав, — разве вы вместе с печалью по погибшему брату с особенной силой не ощущаете уют безопасности собственной норы?! А сладость облизывать нежные тельца своих очаровательных крольчат?! А прижиматься, прижиматься (тут все взрослые кролики, и я могу говорить прямо), прижиматься, говорю, к теплой, ласковой крольчихе?!

— Да, да, — соглашались кролики, потупившись, — стыдно признаться, но все это так...

— Нечего стыдиться, кролики! — воскликнул Король. — Вы же это испытываете вместе с грустью по погибшему брату, а не отдельно?!

— В том-то и дело, — отвечали кролики, — как-то все это перемешивается...



— Тем более! — вдруг во весь голос закричал кролик по прозвищу Находчивый.

Он сидел среди Стремящихся Быть Допущенными к Столу. Сейчас его дерзкий выкрик был всеми замечен, и наступила довольно-таки неловкая тишина. В сущности, он почти перебил Короля. Король нахмурился.

— Тем более! — снова закричал Находчивый, ничуть не смущаясь всеобщим вниманием.

— Что «тем более»? — наконец строго спросил у него Король.

— Тем более, как быть с предками?! — воскликнул Находчивый. — Ведь если Задумавшийся прав, получается, что все наши предки, героически погибшие в пасти удавов, были дураками и трусами, выходит, что они погибли по глупости?!

— Уместное замечание, — сказал Король, кивнув головой и обернувшись к Задумавшемуся. — Интересно, что ты ответишь на это?

— Я сразу отвечу на все вопросы, — спокойно отвечал Задумавшийся. — Король может продолжать...

— Ишь ты, какой самоуверенный, — не удержалась Королева и фыркнула в сторону Задумавшегося.

— Пока я кончил, — сказал Король. — Одно могу добавить: жизнь есть жизнь. Раз Бог создал кролика — Он имел в виду кролика!

Конец королевской речи потонул в дружных аплодисментах во славу прекрасных продуктов. В шуме этих аплодисментов время от времени раздавались выкрики в честь Короля из среды Допущенных к Столу и восторженные высвисты в его же честь из среды Стремящихся.

Как всегда, скандировалась слава великой троице с некоторыми частными добавлениями, среди которых чаще всего слышалось:

— Скромной морковке тоже слава!

Интересно отметить, что каждый кролик, аплодируя, был уверен, что он лично аплодирует идее союза прекрасных продуктов питания с кроликами. Но при этом он думал, что другие аплодируют не только этому союзу, но и всей речи Короля. И поскольку все думали так и все считали, что признать в эгоистической узости своих аплодисментов по меньшей мере уродство, они аплоди-

ровали изо всех сил, чтобы скрыть эгоистическую узость собственных аплодисментов и слиться с общим восторгом, с которым они в конце концов сливались и, уже подхваченные этим восторженным потоком сами тащили его дальше. Так, маленькие ракеты личных аплодисментов, слившись, давали могучую силу двигателю общественного мнения кроликов.

— Ну, как речуга? — спросил Король у Королевы, усаживаясь рядом с ней и кивая на восторженный шум, поднятый кроликами.

— Ты был бесподобен, милый, — сказала Королева и нежно утерла листиком капусты пот с лица Короля.

— Находчивый делает успехи, — сказал Король и кивнул в его сторону.

Королева улынулась Находчивому и поманила его к себе. Находчивый быстро подскочил и замер перед ней. Королева, улыбаясь, подарила ему листик капусты, которым она только что утирала лицо Короля.

— Можешь съесть, — сказала она ему. Это был знак великой милости, в сущности, знак Допущенности к Столу.

— Никогда! — с жаром воскликнул Находчивый, принимая подарок. — Я засушу его в память о вашей великой милости.

— Как хочешь, — сказала Королева и с немалым женским любопытством оглядела Находчивого. Ей понравилась его приятная внешность и горячие быстрые глаза. В нем было что-то такое, отчего ей захотелось родить маленького быстроглазого крольчонка.

Когда все затихло, Задумавшийся, который все это время продолжал стоять перед толпой собратьев, наконец заговорил.

— Начну с конца, — сказал он. — Мне, кролику, незачем заботиться о природе удава. Пусть он сам заботится о своей природе...

— Вот он и заботится, — ехидно вставил Находчивый и, посмотрев на Королеву, поцеловал капустный листик. Королева еще раз улынулась ему нежной улыбкой.

— Этот Находчивый — прелесть, — сказала она.

— Считаю, что он у тебя за столом, — сказал Король, сосредоточиваясь на словах оратора и поэтому забыв, что эта милость Находчивому уже оказана.

«Как много можно сделать незаметно от мужчины, — подумала Королева, — когда мужчину раздражают общественные страсти».

— Хорошо, пусть будет так, — продолжал Задумавшийся, — если удав имеет право заботиться о своей природе, то и кролик имеет такое же право. А суть природы кролика состоит в том, что он не хочет быть проглоченным удавом. Можем мы, кролики, обойтись без удавов?

— Еще как! — воскликнули кролики. — С удовольствием!

— Тогда скажи, — вскочил Король, — почему Бог создал удава?

— Не знаю, — ответил Задумавшийся, — может, у Него плохое настроение было. А может, Он создал удава, чтобы мы понимали, что такое мерзость, так же как Он создал Капусту, чтобы мы знали, что такое блаженство.

— Правильно! — закричали кролики. — Удав — мерзость! Капуста — блаженство!

— Горох и фасоль — тоже блаженство! — напомнил один из кроликов с такой тревогой в голосе, словно, не напомни он об этом вовремя, столь прекрасные деликатесы выйдут из употребления кроликов.

— Продолжаю, — сказал Задумавшийся. — Итак, если Бог создал удава таким, какой тот есть, то и меня Он создал таким, какой я есть. И если я задумался, значит, моей природе кролика не чуждо сомнение. Развивая свою природу сомнения, которая, оказывается, все-таки существовала в моей природе кролика, я стал приглядываться, прислушиваться, думать. Жизнь, как любит говорить наш Король, — великий учитель. Именно она толкнула меня на все мои сегодняшние выводы. Однажды я нос к носу столкнулся с удавом. Я почувствовал, что гипноз сковал мои мышцы. От ужаса я потерял сознание. Через несколько мгновений я пришел в себя и с удивлением обнаружил, что я не проглочен, а хвост этого же удава, прошуршав мимо меня, проскользнул дальше. Я оглянулся и узнал Косого, который, не заметив меня, скользил дальше, пройдя мимо меня слепой стороной своего профиля. И тут великая мысль, хотя еще и не так четко оформленная, промелькнула в моей голове. Я по-

нял, что их гипноз — это наш страх. А наш страх — это их гипноз.

— О святая наивность! — воскликнул Король, вскакивая с места и обращаясь к толпе кроликов. — Разве я вам не говорил о счастливой встрече с Косым или Коротышкой?

— Да, да, говорил, — ответили кролики, чувствуя, что в словах Задумавшегося есть какая-то соблазнительная, но чересчур тревожащая истина, а в словах Короля — какая-то скучная, но зато успокаивающая правда.

— В том-то и дело, кролики, — сказал, волнуясь, Задумавшийся, — что я ощутил все признаки гипноза, а удав меня даже не заметил! Значит, я сам своим страхом внушил себе гипноз!

— Гениально! — воскликнул какой-то кролик из толпы и, ударив себя лапой по лбу, замертво упал. Бедная его голова не выдержала этой мысли.

В толпе возник некоторый переполох, впрочем, не опасный для продолжения сходки. Убедительность примера, который привел Задумавшийся, повергла кроликов, несмотря на жертву, в большое ликование.

— Первые плоды нового учения! — крикнул Находчивый, когда выносили кролика, умершего от силы собственного прозрения. Но на его слова никто не обратил внимания.

— Здорово! Здорово! Здорово! — скандировали теперь кролики. — Да здравствует наш освободитель!

— Это еще надо доказать! — закричал Король, вскакивая. — Почему он уверен, что сам себя загипнотизировал? Только потому, что Косой прошел мимо него своим слепым профилем. Пусть мой Ученый выступит и объяснит Задумавшемуся, что произошло, с научной точки зрения.

Тут кролики постепенно замолкли, и из толпы Допущенных к Столу выступил Главный Ученый и, дождавшись тишины, произнес:

— Конечно, сообщение Задумавшегося представляет немалый научный интерес...

Кролики на его слова ответили восторженным гулом.

— ...И хотя наша сходка затянулась допоздна, — продолжал Главный Ученый, — еще рано делать какие-либо

выводы. Но что же могло произойти во время предполагаемой встречи Задумавшегося с Косым, или, выражаясь нашим научным языком, слепым на один глаз удавом? По-видимому, наш дорогой коллега Задумавшийся, к нашему общему счастью, прошел перед отключенной от зрительных впечатлений частью профиля удава. Только поэтому он остался жив, ибо смертоносные гипнотические лучи действующего глаза оказались в стороне от нашего возлюбленного коллеги, что послужило ему поводом к столь легкомысленным выводам относительно гипноза...

— Держат там всяких калек, — пробормотал Король, слушая Ученого и кивая в знак согласия головой.

— Нет, дорогие мои кролики, — продолжал Ученый, — гипноз пока еще страшное оружие наших врагов. Только следуя Таблице Размножения, разработанной нашими учеными при личном участии Короля, мы можем победить удавов. Помните, изучайте Таблицу Размножения — и будущее кроликов будет достойно Цветной Капусты!

Речь Ученого тоже показалась кроликам убедительной, но все-таки большинство кроликов было настроено в пользу Задумавшегося.

Кстати, суть Таблицы Размножения заключалась в том, что кролики, размножаясь с опережением удавов, уменьшают риск каждого отдельного кролика настолько, насколько кроликов будет больше, чем удавов. Из этой таблицы следовало, что в будущем шанс встретиться с удавом у каждого кролика станет, уменьшаясь, стремиться к нулю и в конце концов достигнет его и даже презойдет! Поэтому кролики очень любили размножаться.

Но сейчас настроение кроликов было в пользу Задумавшегося. Король, видя это, решил перенести сходку на какой-нибудь другой, более подходящий день. С этой целью он незаметно для толпы приказал выступить придворному осветителю.

— Кролики, — сказал тот, — время позднее. Светильники гаснут, пора кормить светляков.

— Ничего, — закричали в ответ кролики, — в лесу полно гнилушек! Надо будет — наберем!

Пришлось продолжить сходку и дать слово Задумавшемуся.

— Кролики, — сказал Задумавшийся, — наш Ученый, как всегда, говорит глупости! Я утверждаю, что гипноза нет вообще. Вспомните, сколько лягушек в Лягушачьем Броде. Через этот брод каждый день переплывает тот или иной удав. Если бы удав обладал гипнозом, то независимо от его воли десятки лягушек, потерявших сознание, всплывали бы на его пути. А если бы всплывали лягушки, то водоплавающие птицы летели бы вслед за плывущим удавом. Но, как вы знаете, никакие птицы не следуют за плывущим удавом.

— Точно! Точно! — закричали кролики. — Там сотни птиц, но ни одна не летит за удавом.

— Задумавшийся прав! — кричали они. — Наш страх — их гипноз! Их гипноз — наш страх!

Пока они шумно изъясляли свои восторги, Король подзвал из толпы Допущенных кролика, занимавшего должность Старого Мудрого Кролика.

Небезынтересна история возвышения этого кролика. Воле Королевского Дворца растет морковный дуб, желудди которого имеют форму морковки. Хотя плоды моркового дуба и несъедобны — их кролики обычно используют для украшения праздничных шествий, — морковный дуб почитается кроликами как священное дерево.

Время от времени с моркового дуба падают морковные желудди, кстати, весьма увесистые. Были случаи тяжелых увечий и даже смертей кроликов, оказавшихся в момент падения желуддя под сенью дерева. Однажды именно этот кролик очутился под морковым дубом, когда с него слетел желудь, попавший ему в голову.

Он получил сотрясение мозга. Это был первый случай такого рода заболевания в кроличьем племени.

— Сотрясение мозга? — удивился Король неведомой болезнью.

— Да, сотрясение, — подтвердили врачи.

— Значит, было что сотрясать? — догадался Король.

— Значит, было, — подтвердили врачи.

— Вылечится — назначим его на должность Старого Мудрого Кролика, — решил Король, и, когда этот рядовой кролик вылечился, он сразу оказался в числе Допущенных к Столу.

— Выступишь, — сказал ему сейчас Король, мрачно оглядывая толпы ликующих кроликов, среди которых находились и такие, которые вздымали лапки, сжатые в кулачок, как бы грозя удавам.

— Кажется, это конец, — сказал Старый Мудрый Кролик.

— Надо попытаться, — сказал Король, одновременно давая распоряжение начальнику охраны Королевского Дворца проверить запасные выходы из дворца на случай бунта.

— Я старый, мудрый кролик, — начал Старый Мудрый Кролик, и он был отчасти прав, потому что с тех пор, как его назначили на эту должность, он успел постареть. — Клянусь морковным деревом, сделавшим меня мудрецом, в словах Задумавшегося...

Но тут ликование кроликов приняло угрожающие размеры. Можно было ожидать, что они немедленно переизберут Короля и посадят на его место Задумавшегося.

— ...В словах Задумавшегося, — повторил он, пропустив волну ликования, — очень много правды...

— Ура! — дружно закричали кролики, перекрывая взвизги Допущенных, которых в случае переворота ничего хорошего не ожидало.

А между тем Стремящиеся притихли и старались выглядеть так, как если бы они вообще никаких стремлений не имели. Некоторые из них даже покидали свои места, словно им очень захотелось пройтись по своим физическим надобностям. На обратном пути они сильно задерживались, узнавая в толпе кроликов своих старых знакомых и охотно заговаривая с ними.

— ...В том, что сказал Король, — продолжал Старый Мудрый Кролик, — не очень.

Толпа кроликов притихла. Старый Мудрый Кролик посмотрел на Короля и с ужасом подумал: а вдруг не переизберут? Когда толпа ликовала, ему казалось, что она сильнее Короля. Когда она замолкла, Король снова казался сильнее. И поэтому он неожиданно даже для себя окончил:

— Очень много правды... Но скажи, Задумавшийся, — продолжал он, — если ты прав и кончится ужасная не-

справедливость по отношению к нам, разрешишь ли ты нам пользоваться нашей божественной троицей: фасолью, горохом и капустой?

— Да, да, — закричали кролики, — разреши сомнения!

Задумавшийся молча смотрел на свой народ и ничего не говорил. Между тем рядовые кролики, взявшись за руки, стали притопывать, повторяя:

— Разрешив воровать, разреши сомнения! Разрешив воровать, разреши сомнения!

Задумавшийся продолжал молчать. Король, сидевший мрачно опустив голову, вдруг почувствовал, что щекочущий лучик надежды коснулся его ноздрей.

— Кролики, — наконец сказал Задумавшийся, — я вам предлагаю разрешить главную нашу задачу: перестать бояться удавов. А что будет дальше, я могу только предполагать...

— Видите ли, он может только предполагать! — воскликнула Королева и, гневно разорвав листик капусты, отшвырнула его от себя.

Стремящиеся одобрительно загудели, стараясь запомнить, куда упали обрывки капустного листа.

— А еще корчит из себя учителя жизни! — воскликнул кролик по прозвищу Находчивый. Он это воскликнул, дождавшись тишины, чтобы выделить свой голос.

Никого так не раздражал Задумавшийся, как Находчивого, потому что в юности они дружили и довольно часто влюблялись в одну и ту же крольчиху. Находчивый был уверен, что он мог бы сделать не меньше блестящих открытий, чем Задумавшийся, если бы не стремился быть Допущенным. Поглощенный философией собственного существования, он никак не находил времени заниматься существованием кроликов.

— Ему хорошо, — говаривал он своим знакомым, когда речь заходила о Задумавшемся, — он-то не стремится быть Допущенным.

— А кто тебе мешает не стремиться? — спрашивали знакомые в таких случаях.

— Вы лучше спросите, кто мне помогает, — отвечал им на это Находчивый, раздумывая, как бы поприглядней попасться на глаза Королю.



Между тем Задумавшийся продолжал.

— Кролики, — говорил он, — если мы будем стремиться с самого начала увидеть самый конец, мы никогда не сдвинемся с места. Важно сделать первый шаг и важно быть уверенным, что он правильный.

— Ну хоть что-нибудь, — кричали кролики, — скажи, что ты думаешь насчет фасоли, гороха и капусты!..

— Я думаю, — сказал Задумавшийся, — когда отпадет ужасная несправедливость удавов по отношению к нам, мы должны подумать и о нашей несправедливости по отношению к огородам туземцев.

— У-у-у! — завывли недовольные кролики. А Король покачал головой: дескать, больше слушайте его, он вам устроит счастливую жизнь.

— Дело не в том, чтобы отменять эти прекрасные продукты, — сказал Задумавшийся, — а в том, чтобы научиться самим выращивать их.

— У-у-у, — завывли кролики хором, — как неинтересно... А как мы будем обрабатывать землю?

— Не знаю, — сказал Задумавшийся, — может, мы договоримся с кротами, может, еще что...

— У-у-у! — завывли кролики еще скучней. — А если кроты не согласятся? Значит, прощай, фасоль, горох, капуста?!

И тут от имени рядовых кроликов выступил простой уважаемый всеми кролик.

— Послушай, Задумавшийся, — сказал он, — мы все тебя любим, ты наш парень, думаешь о нас. И это хорошо. Но чего-то ты не додумал. Вот я, например, каждый день хожу в лес, в пампасы, к туземцам на огороды заглядываю... Каждый день я могу встретиться с удавом, но могу и не встретиться. Позавчера, например, не встретился, вчера тоже и сегодня, слава богу, как видишь, жив-здоров. Что же получается? На огородах туземцев я могу бывать каждый день, а удав меня может проглотить далеко-о не каждый день. Выходит — пока я в выигрыше. Выходит, ты чего-то не додумал, Задумавшийся. Вот пойди на свой зеленый холмик и придумай такое, чтобы и удавы нас не трогали, и чтобы, как говорится, бог троицей не обидел. Тогда мы все, как один, пойдем за тобой.

— Правильно! Правильно! — стали кричать рядовые кролики, потому что в трудную минуту решение не принимать никакого решения было для кроликов самым желанным решением.

— Я лично первый пойду за тобой, — крикнул Король кроликов, — как только твои выводы подтвердятся!

— Да здравствует наш благородный Король! — стали кричать кролики, довольные своим решением не принимать никакого решения.

— Более того, — продолжал Король, — чтобы Задумавшийся мог думать не отвлекаясь, ежедневно с нашего стола будет выдаваться его семье две полноценные морковины!

— Да здравствует Король и его щедрость! — закричали кролики.

— Размножаться с опережением — вот наше оружие! — крикнул Король и в знак того, что собрание закончено, взяв за лапку Королеву, удалился к себе во дворец.

Кролики тоже, окликая попутчиков, разошлись по своим норам. Некоторые из них, чувствуя угрызения совести, горячо хвалили замечательную идею Задумавшегося, хотя и указывали на ее некоторую незрелость.

Иные кролики спрашивали у жены Задумавшегося, довольна ли она королевской помощью.

— Это не весть что, но все-таки кое-что, — отвечала она любопытствующим кроликам и, в свою очередь, пыталась узнать, включается ли сегодняшний день в пенсионный срок и сможет ли она на этом основании получить завтра четыре морковины у королевского казначея, известного своей скаредностью и крючкотворством.

— Сегодняшний день включительно! — со всей либеральной решительностью отвечали ей кролики, и тем либеральней и тем решительней отвечал каждый, чем больше не хватило ему решительности поддержать ее мужа во время собрания.

Печально сидел Задумавшийся на опустевшей Королевской Лужайке. Возле него остался один молодой кролик, не только поверивший в правильность его учения (таких было немало), но и решившийся, рискуя спокойной жизнью, следовать за ним.

— Что теперь делать? — спросил он у Задумавшегося.

— Ничего не остается, — отвечал Задумавшийся, — будем думать дальше.

— Можно я буду думать с тобой? — спросил молодой кролик. — С тех пор как я услышал то, о чем ты говорил, у меня появилась жажда знать истину.

— Будем думать вместе, Возжаждавший, — сказал Задумавшийся. — Я всю силу своего ума тратил на изучение удавов, но о том, что сами братья-кролики еще не подготовлены жить правдой, я не знал...

На следующее утро жизнь кроликов продолжалась по-старому. Часть из них ушли пастись в пампасы, часть предпочли тенистые джунгли, а некоторые отправились на огороды туземцев.

Задумавшийся с утра сидел на зеленом холмике, где он и раньше обдумывал свои наблюдения над удавами. Теперь к размышлениям об удавах прибавились тревожные думы о своем же брате-кролике.

С этого холмика открывался чудесный вид на пампу, на изгиб реки, широко разлившейся вниз и поэтому названной обитателями джунглей лягушачьим Бродом.

Возжаждавший с утра пасся на склоне зеленого холмика, время от времени поглядывая на Задумавшегося и стараясь издали по его позе определить, пришло ему в голову что-нибудь новое или еще нет. Через некоторое время умственное любопытство победило его аппетит, и он, слегка недозавтракав, взобрался на зеленый холмик.

В это время в обширной столовой Королевского Дворца шел обильный по случаю вчерашней победы завтрак. Все Допущенные к Столу, естественно, сидели за столом. Король был в хорошем настроении, за завтраком он много шутил и то и дело подымал высокий бамбуковый бокал, наполненный кокосовой брагой, после чего Допущенные быстро наполняли свои бокалы и выпивали вместе со своим Королем этот веселый бодрящий напиток.

Интересно отметить, что среди Допущенных к Столу сидели несколько охранников. Под видом Допущенных к Столу они следили за разговорами Допущенных к Столу, чтобы вовремя обнаружить следы заговора или просто отклонений от королевской линии, которые впоследствии могли бы привести к заговору. Но так как они, хотя и сидели под видом Допущенных, на самом деле не были

Допущенными, им по инструкции полагалось меньше налегать на особенно ценные продукты, каковыми считались капуста, горох и фасоль. Но так как Допущенные к Столу знали, что среди них есть охранники, сидящие под видом Допущенных, а также знали, что охранникам не положено есть по норме Допущенных, они следили за тем, как едят остальные Допущенные, и в то же время сами старались есть как можно больше, чтобы их не приняли, как говорится в кроличьем просторечии, за шпионов. Но так как те, кого в кроличьем просторечии именовали шпионами, знали, что, если они будут скромничать за столом, остальные обнаружат их истинные застольные функции, они, стараясь замаскироваться, ели как можно больше, что соответствовало их личным склонностям.

Таким образом, получалось, что за королевским столом все ели с огромным патриотическим аппетитом.

На этот раз среди Допущенных не было кролика, занимавшего должность Старого Мудрого Кролика. Его вчерашние колебания, разумеется, не остались незамеченными Королем. На его месте теперь сидел Находчивый, предложивший переименовать Старого Мудрого Кролика в Стармуда, что было встречено веселым одобрением. Король по этому поводу рассказал несколько анекдотов из жизни Стармуда.

В разгар завтрака в столовую вошел, ковыряясь в своих изъеденных временем зубах, тот, над которым сейчас все смеялись и который еще вчера считался первым королевским советником. Оказывается, теперь он завтракал на кухне. Как раз в это время Король шутливо предложил поставить своего бывшего мудреца под сенью морковного дуба и дожидаться, когда на его голову упадет морковный желудь, чтобы посмотреть, получит он теперь сотрясение мозга или нет. Все Допущенные, смеясь королевской шутке, уверяли, что теперь там нечего сотрясать.

— Я знаю, — сказал вошедший, — за что меня пересаживали на кухню, но я не знаю, почему мне подали не очень свежие овощи.

— Как-как? — переспросил Король, подмигивая сидящим за столом. — Тебе подали не очень... очень свежие овощи?

Допущенные к Столу стали заходиться в хохоте. При этом многие из них падали на стол с той нежной доверчивостью, с какой влюбленные при подобных обстоятельствах падают на грудь своих возлюбленных, нередко сочетая это движение с мимолетной лаской. В данном случае они, падая на стол, невзначай прихватывали ртом листик капусты или стручок свежего гороха, что, по-видимому, совпадает по смыслу с мимолетной лаской влюбленных.

— Клянусь морковным дубом, сделавшим меня мудрецом, — сказал вошедший, — я оговорился... Но ведь я же потом исправил ошибку?

— Еще бы, — отвечал Король, улыбаясь, — иначе ты завтракал бы не на кухне, а где-нибудь подальше. Ну, ладно, садись, я добрый. В другой раз будешь знать, кто снабжает витаминами твой не очень-очень сообразительный мозг.

Таким образом, под хорошее настроение Старый Мудрый Кролик был возвращен к столу. Правда, Король оставил за ним шутиливую кличку Стармуд, что, с одной стороны, вносило в его должность некоторую шутовскую двусмысленность, а с другой стороны, еще больше приближало Находчивого к королевскому семейству.

Примерно с месяц Находчивый жил в числе Допущенных к Столу, припеваючи и попиваючи лучшие королевские напитки, не говоря о самых свежих овощах, доставляемых с огородов туземцев.

Все здесь Находчивому нравилось и только одно удивляло, что, когда собираются Допущенные к Столу, почему-то ни Король, ни остальные не говорят о Цветной Капусте. Это было очень странно, потому что Король при каждой встрече с рядовыми кроликами так или иначе касался вопроса о Цветной Капусте. А здесь почему-то не принято было о ней говорить.

Раздумывая об этом, он решил, что, вероятно, среди Допущенных к Столу есть еще более узкий круг посвященных, то есть Допущенных к Столику, и они, вероятно, не только говорят о Цветной Капусте, но хотя бы раз в неделю пробуют ее. Так думал Находчивый, а спросить ни у кого не решался, потому что не знал, кто именно среди Допущенных к Столу допущен к Столику. Спросить, ду-

мал Находчивый, значит признаться, что ты сам к этому Столику не допущен. Он решил дожидаться случая и спросить обо всем самого Короля. И такое время пришло, потому что Король однажды сам попросил его остаться с ним после обеда для личной беседы.

— У меня к тебе поручение всенародной важности, — сказал Король и, когда Королева прикрыла дверь и, возвратившись, присела рядом с Находчивым, добавил: — Ты готов его исполнить?

— О Король, — сказал Находчивый, опуская глаза.

— Тут наш придворный Поэт набросал куплет. Так вот, ты должен выйти в джунгли на Нейтральную Тропу и на протяжении всего пути туда и обратно спеть этот куплет...

— Мои уши к вашим услугам, — сказал Находчивый и шевельнул ушами.

Король внимательно посмотрел на его уши, как бы стараясь определить, насколько они надежны.

— Тогда слушай, — сказал Король и прочел стихотворение, записанное соком ягод бузины на широком банановом листе.

Задумавшийся кролик  
На холмике сидит.  
Видны оттуда пампа  
И Лягушачий Брод.  
Но буря все равно грядет!

Вздрогнуло сердце Находчивого от страшной догадки.

— Ваше Величество, — с дрожью проговорил он, — не означает ли...

— Не означает, — перебил его Король, нахмурившись.

Находчивый сразу же понял, что пропеть этот куплет — значит выдать удавам своего собрата Задумавшегося. И он сразу же решил отказаться от королевского Стола и уйти в рядовые кролики. Ведь все-таки он был от природы не злой, хотя и очень честолюбивый. Но тут был один щекотливый момент. По принятому придворному этикету кролик, разжалованный в рядовые, обязан был возвратить Королю все полученные награды.

Значит, он должен был возвратить и тот капустный лист, который ему когда-то подарила Королева и с кото-

рого началось его возвышение. Но дело в том, что на обратном пути домой он на радостях съел пол капустного листа, хотя никак не должен был его есть, ибо сам же обещал засушить его на память.

Дело в том, что, принимая от Королевы капустный лист в качестве подарка, как она ему предлагала, он имел право его съесть, но, возвышая подарок до награды, как он сам ей предложил, он уже не имел права его съесть.

Все это сейчас с быстротой молнии промелькнуло в голове Находчивого, и он понял, что ему неловко, что он никак, ну никак не может возратить Королеве этот наполовину обещанный капустный лист. Конечно, он понимал: никто его за это преследовать не будет, — но так уж устроены кролики, что им сегодняшняя неловкость непереносимей завтрашнего предательства. Неловкость — это сейчас, вот-вот, а завтра — это еще бабушка надвое сказала: может, вообще ничего не будет или, скажем, будет солнечное затмение и по этому поводу все отменят.

— Хорошо, — сказал Находчивый, вздохнув и бросив мученический взгляд на Королеву, — только можно я одну поправку внесу?

— Если это не меняет сути, — согласился Король.

— Я хотел бы пропеть так, — сказал Находчивый и пропел:

Задумавшийся некто  
На холмике сидит.  
Видны оттуда пампа  
И Лягушачий Брод.  
Но буря все равно грядет!

— Идет! — сказал Король и весело хлопнул Находчивого по плечу. Он понял, что Находчивый, пытаясь перехитрить его, на самом деле довольно успешно перехитряет свою совесть. — Тем более, — добавил Король, — что некоторые считают, будто вообще все это предрассудки...

— А можно я еще одну поправку внесу? — попросил Находчивый и, не дожидаясь согласия Короля, быстро пропел:

Задумавшийся некто  
На холмике сидит.  
Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па!  
И Ля-ля-ля-чий Брод!  
Но буря все равно грядет!

— Ну, это уже романс без слов, — махнул рукой Король, — вот что значит дать слабинку...

— Ничего, ничего, — вдруг перебила его Королева, — так получается еще приманчивей. Только у меня одна просьба. Пожалуйста, когда будешь петь, последние два слова в третьей строчке бери как можно выше. Пам-пам, пам-пам, пам, ПА-АМ! Па. Понятно?

— Конечно, — сказал Находчивый, — я это обязательно учту.

— Ладно, — сказал Король, — так и быть! Добавь только одно слово... Значит, так: «Видны, пам-пам, пам, ПА-АМ! Па», — и не будем торговаться.

— Хорошо, ваше величество, — сказал Находчивый.

— И Ля-ля-ля-чий Брод, говоришь? — спросил Король, проверяя на слух последнюю строчку.

— Совершенно верно, — подтвердил Находчивый, — и Ля-ля-ля-чий Брод, пою...

— В наших краях, — сказал Король, задумавшись, — известны три брода: Тигриный, Обезьяний и Лягушачий... Не получится ли путаница?

— Да нет же, — сказала Королева, — не надо думать, что они глупее нас.

— Мой Король, — спросил Находчивый, — я одного не пойму. При чем тут строчка: «Но буря все равно грядет»?

— Ну, ты же знаешь нашего Поэта, — сказал Король, — он ведь жить не может без бури...

— А он знает, для чего будут использованы его стихи? — спросил Находчивый. Ему было бы легче, если бы не он один участвовал в предательстве Задумавшегося.

— Нет, конечно, — поморщился Король, — он Поэт, он парит в небесах. Зачем его посвящать в наши малопрятные земные дела.

— Да, конечно, — грустно согласился Находчивый.



— Ладно, — сказал Король, — текст утрамбован окончательно. Я удивляюсь, как ты быстро сообразил убрать некоторые натуралистические подробности...

— О Король, — потупился Находчивый, — в таких случаях само соображается...

— Кстати, — вспомнил вдруг Король лукаво, — можешь доесть тот капустный листик, что тебе подарила Королева...

— О Королева, — прошептал Находчивый и, ужасно смутившись, спрятал голову между лапками, — простите эту... слабость...

— Чего уж там, — добродушно взбодрил его Король, — все мы кролики... Но какова служба информации, а, Королева?

— Ах ты, плутишка, — промолвила Королева и с грустной укоризной погрозила лапкой Находчивому. — Надо было видеть, Король, с каким неподдельным жаром он воскликнул: «Никогда!»

Тут Королева подала Находчивому королевский журнал, где было записано, что такого-то числа придворный кролик Находчивый выступит на Нейтральной Тропе с исполнением «Вариаций без слов на тему Бури», дабы всем жителям джунглей было бы ясно, что кролики бодро живут и бодро размножаются.

Находчивый расписался, и Король собственноручно потрепал его по плечу.

— Теперь проси, — сказал Король, — что-нибудь такое, что бы тебе нравилось и что бы я мог сделать.

— Я только спрошу, — отвечал Находчивый. — Я удивляюсь, что за королевским столом никогда не говорят о Цветной Капусте, тогда как, беседуя с народом, вы и другие часто вспоминаете о ней.

— А что говорить, — пожал плечами Король, — опыты проходят успешно, и мы им всячески способствуем... Все Младодопущенные думают, что, кроме Допущенных к Столу, есть еще Сверхдопущенные к Столику...

— А разве нет? — опечаленно спросил Находчивый.

— Нет, дорогой мой, — дружески приобняв его, отвечал Король, — больше не к чему мне вас допускать, разве что к супружескому ложу...

— Фу, Король, как грубо, — сказала Королева, отворачиваясь и в то же время стрельнув глазами в сторону Находчивого.

Но Находчивый так опечалился, что даже не заметил этого.

— Теперь ты понимаешь, — сказал ему Король, — почему мне трудней всего?

— Нет, — сказал Находчивый, очень огорченный, что Сверхдопущения не существует.

— Потому что для каждого из вас, — отвечал Король, — есть тайна, вам есть к чему стремиться. А у меня нет тайны постижения. Если я уж чего не понимаю, так это навсегда... Вот почему мне трудней всех в моем королевстве... Но у меня одно утешение... Ему, — Король показал ладью на небо, — еще трудней...

— Но если нет Сверхдопущения к Столику, то и мне не к чему стремиться! — воскликнул Находчивый, через свое разочарование поняв печаль Короля. — Как это грустно!

— Это у тебя пройдет, — сказал Король уверенно, — со временем стремление удержаться за Столом делается единственным неутоляемым стремлением Допущенных к Столу. А теперь ступай... Выпись... И завтра со свежими силами — на Нейтральную Тропу...

Находчивый раскланялся и покинул королевский дворец.

— Знаешь, чем мне нравится Находчивый? — сказал Король, прохаживаясь по кабинету. — Тем, что у него есть совесть.

— С каких это пор? — спросила Королева несколько удивленно.

— Ты ничего не понимаешь, — сказал Король, оставившаяся посреди кабинета. — Когда даешь кролику деликатное поручение, несмертельная доза совести бывает очень полезна.

— Я не очень тебя понимаю, — отвечала Королева рассеянно, потому что она все еще была огорчена тем, что Находчивый с его такими живыми глазками оказался такой ненадежный.

— Да, — повторил Король, продолжая прохаживаться по кабинету, — когда кролик, выполняя деликатное пору-

чение, испытывает некоторый стыд, он старается как можно чище выполнить его, чтобы потом не извиваться от стыда, оставив за собой неряшливые улики. А это как раз то, что нам надо. Несмертельная доза совести — вот что должны прививать кроликам наши мудрецы.

— Но каковы мужчины! — сказала Королева, вздохнув. — Сам говорил: «Никогда!» И сам же его съел.

— Будем надеяться, что съест, — ответил Король невпопад, обдумывая, как бы получше внедрить в сознание кроликов несмертельную дозу совести, чтобы они, работая на благо королевства, никогда не оставляли за собой неряшливых улик.

Сейчас мы немного отвлечемся от нашего сюжета и расскажем историю взаимоотношений Короля кроликов и Поэта.

В характере Поэта причудливо сочетались искреннее сочувствие всякому горю и романтический восторг перед всякого рода житейскими и природными бурями.

Кстати, Король пришел к власти благодаря одной из бурь, которые неустанно воспевал Поэт.

— Это не совсем та буря, которую я звал, — говаривал Поэт, в первое время недовольный правлением Короля.

Но потом они примирились. Король его соблазнил, обещав ему воспевание бурь сделать безраздельным, единственным и полным содержанием умственной жизни кроликов. Против этого Поэт не мог устоять.

Одним словом, Поэт ужасно любил воспевать буревестников и ужасно не любил созерцать горевестников.

Увидит буревестника — воспоет. Увидит горевестника — восплачет. И то и другое он делал с полной искренностью и никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горевестников.

Бывало, не успеет отрыдать на плече горевестника — а уже высмотрит из-за его поникшего плеча взмывающего в небо буревестника и приветствует боевую птицу радостным кличем.

Он был уверен, что его поэтический голос непременно взбодрит буревестника и напомнит окружающим кроликам, что, кроме любви к свежим овощам, есть у

них высшее предназначение — любовь к буре. Кролики иногда прислушивались к его голосу, сравнивая любовь к овощам с любовью к высшему предназначению, и каждый раз удивлялись, что любовь к овощам они ясно ощущают в своей душе, а любовь к высшему предназначению они чувствуют очень смутно, точнее, даже совсем не чувствуют.

В старости Поэт все так же восторгался при виде буревестника, но, ослабнув зрением, стал за него иногда принимать обыкновенную ворону. И Король, чтобы Поэт не конфузился перед рядовыми кроликами, велел представить к нему глазастого крольчонка-поводыря, чтобы тот его вовремя останавливал. Кстати, крольчонок этот оберегал Поэта и от всяких колдобин и ям, когда они гуляли в пампасах, потому что Поэт все время смотрел на небо в поисках буревестника и не замечал вокруг себя ничего.

— Разразись над миром... — бывало, начинал Поэт, но тут его перебивал глазастый крольчонок:

— Дяденька Поэт, это не буревестник, это ворона!

— Ах, ворона, — отвечал Поэт, несколько разочарованный. — Ну, ничего, призыв к буре никогда не помещает!

Но мы опять отвлеклись, а надо о жизни Поэта и Короля рассказывать по порядку. К тому же вся эта история, в сущности, гораздо грустнее, и надо соответственно снизить тон.

Одним словом, когда Король и Поэт примирились, Король обещал в самое ближайшее время ввести всеобщее образование кроликов.

— Только так мои мудрые повеления и твои божественные стихи смогут стать достоянием всех кроликов, — говаривал будущий Король.

Но оказалось, что будни королевской жизни заполнены таким большим количеством государственных мелочей, что до великих замыслов руки у Короля никак не доходили.

— Крутишься на троне как белка в колесе, — оправдывался Король, когда друг юности напоминал о его смелых замыслах, — но я велел приготовить еще десять кадров чернил... Так что кое-что делается в этом смысле.

Король заготавливал впрок чернила из сока бузины, чтобы, когда придет время, сразу все королевство кроликов обеспечить средствами борьбы с безграмотностью. Но время шло, а до всеобщего образования кроликов руки у Короля никак не доходили. Единственное, что он успевал сделать, это время от времени давать распоряжения заготовить еще несколько кадок чернил из сока бузины на случай будущих надобностей.

Но время надобностей никак не наступало, а сок бузины, перебродив в кадках, превращался в прекрасный крепкий напиток, о чем, впрочем, никто не подозревал, пока через многие годы Поэт однажды, мучительно грызя свое поэтическое перо, случайно не всосал сквозь его трубчатое тело бодрящий сок чернил. Слух о свойствах чернил быстро распространился среди кроликов, и они стали проявлять неудержимую склонность к самообразованию. Но подробнее об этом мы расскажем в другом месте.

Держа в руках королевскую власть, Король кроликов с горечью убеждался, что все силы уходят на то, чтобы эту власть удержать. Для чего власть, думал Король иногда, если все силы уходят на то, чтобы ее удержать? В конце концов он пришел к такому решению, что надо увеличить королевскую охрану, чтобы освободить свои время и силы для дел, ради которых он и рвался к власти.

И он увеличил королевскую охрану и почувствовал, что ему становится легче: часть сил, уходившая на то, чтобы удержать власть, освободилась. Но в один прекрасный день ему в голову пришла вполне здравая мысль, что такая сильная охрана может сама попытаться отнять у него власть. Как же быть?

Если сейчас внезапно уменьшить охрану, решил Король, злоумышленники подумают, что наступил удобный случай для захвата власти. Поэтому он еще больше увеличил охрану, дав новым охранникам тайное задание охранять Короля от старой охраны.

Но это еще больше осложнило положение Короля. Стало ясно, что новая охрана, имея такие широкие полномочия внутри старой охраны, будет слишком безнадзорной и потому опасной для Короля. Тогда он старой охране дал тайное указание следить за новой охраной на случай, если новички захотят его предать.

Но это еще больше запутало Короля и осложнило его жизнь. Имея такую огромную охрану с такими сложными полномочиями, надо было дать каждому охраннику какую-то ежедневную работу, иначе, развратившись от безотчетной власти, любой из них мог стать злоумышленником.

И вот чтобы у каждого была работа и каждый должен был бы отчитываться за нее, пришлось вести слежку за всем племенем кроликов, и в особенности за теми кроликами, которые находились на королевской службе. Но среди тех, кто находился на королевской службе, было немало кроликов, которым Король абсолютно доверял. Это были товарищи его юности, помогавшие ему взять власть в свои руки.

И вот пришлось установить слежку и за этими кроликами, хотя Король им доверял. Сложность его теперешнего положения состояла в том, что он не мог сказать: таких-то и таких-то кроликов надо освободить от слежки, потому что он им доверяет, а за такими-то следить. Это было бы слишком не похоже на Закон, который должен ко всем относиться безразлично.

— Я себя не исключаю, — говорил Король Начальнику Охраны, — если обнаружите, что я в заговоре против своей законной власти, карайте меня как всех.

— Только попробуйте войти в такой заговор, — грозно отвечал ему Начальник Охраны, и это успокаивало Короля.

Ведь если вводится закон о тайной слежке, он должен относиться ко всем одинаково, думал Король. Ведь если всех кроликов, находящихся на королевской службе, разделить на тех, за кем надо следить, и тех, за кем не надо следить, это вызовет в умах охранников слишком грубые и ошибочные представления о том, что есть кролики, которым все доверяют, и есть кролики, которым ничего не доверяют. На самом деле все обстоит намного сложнее, и истина более опасно переливчата.

Те, за которыми следят, узнав, что есть те, за которыми не следят, могут слишком сильно обидеться и уже в глубоком подполье устроить заговор против Короля.

Но то же самое могут сделать и те, за которыми не следят. Именно в силу того, что кругом за всеми следят, а за

ними не следят, они могут по закону соблазна устремиться к осуществлению возможностей, вытекающих из этого положения.

А между тем, установив слежку за друзьями юности, которым он доверял, Король чувствовал угрызения совести. Друзья его юности, заметив, что за ними установлена слежка и, значит, Король им не доверяет, стали с ним вести себя сдержанней, то есть, с его точки зрения, стали скрытными.

Но все-таки каждый раз, когда он думал о друзьях юности, за которыми он установил слежку, он чувствовал угрызения совести, и от этого ему было неприятно. Время шло, и постепенно Король позабыл, почему, вспоминая о друзьях своей юности, он чувствует какую-то неприятность.

Он только чувствовал, что они ему внушают какое-то неприятное чувство, и решил, что чувство это вызывается их подозрительной сдержанностью.

Сам того не замечая, он перед собой пытался оправдать свою неприязнь к друзьям юности за счет донесений тех, кто следил за ними. Слушая доклады об их жизни, он каждый раз проявлял такой живой и жадный интерес ко всему, что в их жизни могло показаться подозрительным, что следящие за ними не могли не почувствовать это. Почувствовав живой интерес Короля ко всему подозрительному, следящие сначала бессознательно, а потом и сознательно стали подчеркивать в своих донесениях все, что вызывало живой интерес Короля.

Как это ни странно, им помогало именно то обстоятельство, что друзья его юности были абсолютно чисты. В таких случаях именно чистые кролики подвергаются наиболее опасной клевете.

Существо, имеющее профессию выявлять в другом существе возможности враждебных мыслей или действий, не может рано или поздно не постараться обнаружить такие мысли и такие действия. Долгое время ничего не обнаруживая, оно слишком явно обнаруживает ненужность своей профессии.

Но почему более чистый кролик в таких случаях должен страдать сильнее?

Не давая никаких реальных примет враждебности, он вынуждает кролика, следящего за ним, рано или поздно приписывать ему какую-нибудь подлость. И при этом немалую подлость. Но почему немалую? Так устроена психология кроликов. Не приписывать же кролику, на которого надо донести, что он скрыл от королевского склада лишнюю морковку. Это как-то глупо получается! Чтобы оправдать перед собой подлость доноса, доносящий кролик выдуманное злодейство делает достаточно значительным, и это ему самому помогает сохранить чувство собственного достоинства. Одно дело, когда кролик приписал другому кролику заговор против Короля, и совсем другое дело, когда он приписал ему лишнюю морковку, не сданную в королевский склад.

Психология кроликов так забавно устроена, что доносящему кролику проще доказать, что невинный кролик устроил заговор против Короля, чем доказать, что тот же невинный кролик подворовывает на складе королевскую морковку.

В последнем случае начальник, которому он докладывает об этом, вполне может спросить:

— А кто, собственно, видел, что он ворует морковку?

И тогда доносящий кролик должен привести убедительные доказательства.

Но если доносящий кролик докладывал начальнику о заговоре против Короля, в котором участвует тот или иной кролик, то начальник не мог спросить у него:

— А где, собственно, доказательства существования заговора?

Почему не мог спросить? Да просто потому, что так устроена психология кроликов. Когда какого-нибудь кролика обвиняют в государственной измене, требовать доказательств существования этой измены считается у кроликов ужасной бестактностью. Такой нежный, такой интимный вопрос, как верность или неверность Королю, — и вдруг какие-то грубые, зримые, вещественные доказательства. С точки зрения кроликов, это было некрасиво и даже возмутительно.

И стоит ли удивляться, что доносящий кролик, услышав от начальника требование доказательств измены



того или иного кролика, мог воскликнуть в порыве патриотического гнева:

— Ах, ты не веришь в существование заговора?! Да ты сам в нем состоишь!

В королевстве кроликов страшнее всего было оказаться под огнем патриотического гнева. По обычаям кроликов патриотический гнев следовало всегда и везде поощрять. Каждый кролик в королевстве кроликов в момент проявления патриотического гнева мгновенно становился рангом выше того кролика, против которого был направлен его патриотический гнев.

Против патриотического гнева было только одно оружие — перепатриотичить и перегневить патриота. Но сделать это обычно было нелегко, потому что для этого нужен разгон, а разогнаться и перепатриотичить кролика, который вплотную подступился к тебе со своим патриотическим гневом, почти невозможно.

В силу вышеизложенных причин начальники доносящих кроликов не решались требовать доказательств, когда речь шла об измене Королю того или иного кролика.

Совершив несправедливость по отношению к своим бывшим друзьям, Король в глубине души готов был ожидать, что они постараются отомстить ему за эту несправедливость. И когда стали поступать сведения об их измене, он эти сведения воспринимал с жадным удовлетворением. Вскоре в окружении Короля не осталось ни одного из старых друзей, кроме Поэта. А что же он?

Сначала он напоминал Королю о его великих предначертаниях, и Король ему неизменно отвечал, что все помнит хорошо, но пока, к сожалению, приходится вертеться на троне как белка в колесе. Кроме того, он приказывал приготовить еще несколько кадров чернил, чтобы, когда придет время всеобщего образования кроликов, быть наготове.

Поэта сначала мучила совесть, и он решил, по крайней мере, ничего прямо прославляющего Короля не писать. Но что-то мешало ему уйти от придворной жизни и роскоши, к которой привык и он, и, что самое главное, его постепенно разросшаяся семья.

— Ведь Король все-таки кое-что делает для будущего, — говаривала жена Поэта, — вон новые кадки с чернилами стоят в королевском складе.

«Придется подождать, посмотреть», — утешал себя Поэт и делал то, что мог, а именно не писал стихов, прославляющих Короля.

Когда Король стал уничтожать своих друзей, кроме мучения совести, Поэт стал чувствовать мучения страха.

Он считал, что Король преувеличивает опасность, но, видимо, нет дыма без огня: ведь его, Поэта, не арестовывают, не подвешивают за уши, как других кроликов.

Однажды Король пригласил его на ночную оргию, где пили хорошо перебродивший нектар и веселились в обществе придворных балерин. Поэту пришлось веселиться со всеми, чтобы не обижать Короля. Впрочем, сам Король неожиданно освободил его от не слишком настойчивых угрызений совести.

— Ох, и достанется нам когда-нибудь от нашего Поэта, — сказал Король шутливо в разгар оргии.

Сам того не ведая, он заронил в душу Поэта великую мечту. Он решил, что отныне вся его жизнь будет посвящена разоблачению Короля гневной поэмой «Буря Разочарования». И ему сразу стало легче.

С тех пор он не пропускал ни одного греховного увеселения Короля, оправдывая это тем, что он все должен видеть своими глазами, чтобы разоблачение было глубоким и всесторонним.

— Мне что, для меня все это только материал, — говаривал он, глотая цветочный нектар или обнимая придворную балеринку.

Поэт очень быстро привыкал к материалу, который впоследствии собирался разоблачить гневным сатирическим пером. Иногда ему самому представлялось странным, что он вновь и вновь старается испытать те низменные удовольствия, которые он уже испытывал. Ему все казалось, что он еще недочувствовал какие-то тонкие детали нравственного падения Короля.

И все-таки он искренне готовился написать свою поэму «Буря Разочарования». Он думал начать ее, как только удалится от придворной жизни. А удалиться он собирался, как только изучит все детали падения Короля. Он

считал аморальным начинать поэму, пока сам пользуется всеми льготами придворной жизни.

Поэтому он решил, не теряя времени, разрабатывать поэтические ритмы своей будущей разоблачительной поэмы. Работа с ритмами без слов ему очень понравилась. С одной стороны, его гневные порывы не пропадали даром, а с другой стороны, смысл их оставался недоступным придворным шпионам. Он сочинял какой-нибудь ритм, записывал его на листке магнолии и прятал в ящик, сокращенно надписав на ритме смысл его будущего предназначения, чтобы потом не забыть. Иногда он эти ритмы читал Королю, и Король всегда одобрял свежесть и наступательный порыв каждого нового ритма.

Однажды он прочел ему ритм, выражавший ярость по поводу медлительности Короля в деле всеобщего образования кроликов.

Одобрив ритм, Король сказал:

— Тебе хорошо, ты разговариваешь прямо с Богом, а мне с кроликами приходится иметь дело. Я тебя прошу, заполни этот ритм яростным разоблачением кроликов, медлящих с уплатой огородного налога.

Услышав такую просьбу, прямо противоречащую смыслу его ритма, Поэт растерялся и согласился исполнить просьбу Короля. Ему показалось, что Король что-то заподозрил, и он таким образом решил рассеять его подозрения. Он пришел домой и написал заказанные ему стихи.

Между тем несправедливое использование ритма праведной ярости вызвало в душе Поэта новый прилив еще более яростного ритма, и он, записав его, окончательно успокоился. Как обычно, для маскировки он сделал заголовков над записью ритма: «Повторная ярость по поводу...»

— Дорого обойдется Королю это мое унижение, — сказал он себе, представляя, как он исхлестает Короля, когда заполнит словами ритмы повторной ярости.

Теперь каждый раз, когда Король такими беспардонными просьбами унижал его божественные — ну если не божественные, то, во всяком случае, праведные ритмы, в душе Поэта зарождался новый ритм протеста, и он его записывал, чтобы в будущем еще более язвительными

стихами разоблачить Короля в поэме «Буря Разочарования». Так что теперь, читая Королю свои новые ритмы, он с немалым самоедским удовольствием ждал нового унижительного задания.

Кстати, во время исполнения одного из этих унижительных заданий он, грызя верхний конец своего гусиного пера, случайно втянул чернила из перебродившего сока бузины и почувствовал прилив вдохновения. Позже, как мы уже говорили, открытие его стало достоянием всего племени кроликов.

Наконец он принял решение уйти со двора, чтобы начать поэму, но тут жена стала на его пути. Она сказала, что ему сейчас хорошо уходить со двора, он уже прожил свои лучшие годы, а каково его подростку сыну покидать двор, когда перед ним раскрывается такая карьера.

— Вот устрой сына, тогда уйдем, — сказала она ему, — а ты пока еще пособирай ритмы...

И он устроил сына в королевскую охрану, и ему по этому поводу пришлось вынести унижительный разговор с Начальником Охраны, которого он не любил за жестокость и который его презирал за стихи.

Но и после этого он не смог покинуть двор. Упрямая жена его начала закатывать истерики, потому что поэтическая глушь, о которой он мечтал, была малоподходящим местом для его дочерей, собирающихся выйти замуж за кроликов придворного круга.

— Пристроим сначала дочерей, — рыдала она, — а ты пока пособирай ритмы.

— Да я уже вроде достаточно собрал, — пытался он вразумить жену.

Но вразумить жену не удалось еще ни одному поэту, и ему пришлось подождать, пока дочери выйдут замуж. А все это время он принимал участие в различных увеселениях Короля, хотя пока еще и не принимал участия в его коварных проделках.

Именно в это время Король придумал хитроумный, как ему казалось, способ убирать подозрительных кроликов. Дело в том, что в вегетарианском королевстве кроликов смертной казни не существовало, а убирать всех подозрительных кроликов при помощи удавов было слишком хлопотно. И вот что он придумал.

Он стал объявлять ежегодный конкурс на должность Старого Мудрого Кролика. Как известно, Старый Мудрый Кролик попал на эту должность после того, как он получил сотрясение мозга от упавшего на его голову морковного желудя, когда он находился под сенью морковного дуба. Получив сотрясение мозга, кролик этот неопровержимо доказал, что в его голове было что сотрясать, и его назначили на эту должность.

С тех пор подозрительных кроликов, а подозрительными Король находил именно тех кроликов, которые выступали за дальнейшее усовершенствование правления кроликов, Король заставлял принимать участие в конкурсе на должность Старого Мудрого Кролика.

— Посмотрим, — говорил он, — если выяснится, что вы и есть в настоящее время Старый Мудрый Кролик, мы тогда серьезно обдумаем ваши предложения.

Кроликов, заподозренных в претензии на должность Старого Мудрого Кролика, ставили под морковный дуб, после чего сверху начинали трясти дерево, чтобы вызвать при помощи падающих морковных желудей сотрясение мозга конкурентов.

Обычно несколько кроликов после этого погибали от наиболее прямых попаданий морковных желудей. Оставшиеся кролики продолжали конкурс победителей, и в конце концов, когда оставался последний кролик, он или отказывался от претензий на должность Старого Мудрого Кролика, или, если не отказывался, придворный врач объявлял, что он не получил сотрясения мозга по той простой причине, что в голове его нечего было сотрясать.

Поэт не только не одобрял этого издевательства над наивным тщеславием кроликов, но, рыдая, следил за жестоким зрелищем. Щадя его чувствительное сердце, придворные кролики иногда пытались увести Поэта в сторону от морковного дуба, но он, продолжая рыдать, упирался и не уходил.

— Нет, — говорил он, — я должен испить эту чашу до дна.

При этом, утирая глаза, он мельком успевал взглянуть на небо, по-видимому, в ожидании утешительного пролета гордой птицы.

Интересно отметить, что во время ежегодного конкурса, в разгар тряски морковного дуба, некоторые кролики, вовсе ни в чем не заподозренные, сами вбегали в зону падения желудей, надеясь, что вдруг в них обнаружится мудрость, достойная должности Старого Мудрого Кролика.

Наблюдая за картиной этого горестного выявления мудрости, Поэт не только создал ритм, выражающий бурю протеста, но и, рискуя своим положением, заполнил словами его начало. В узком кругу доверенных друзей он его иногда читал:

Разразись над миром, буря,  
Порази морковный дуб!

Прочитав эти строчки, он молча всовывал в стол листик магнолии, на котором они были написаны, а потрясенные друзья переглядывались, покачивая головой и тем самым выражая догадку о безумной храбрости зашифрованной части стихотворения.

— А ведь морковный дуб растет рядом с дворцом, — наконец произносил один из них.

— В том-то и вся соль, — добавлял другой.

Впрочем, безумная храбрость на этом заглохла. Поэт считал, и притом не без оснований, что, пока он находится при дворе, пользуясь излишествами в еде и сладострастными излишествами ночных оргий, он не имеет никакого права выступать против Короля.

Но вот дочери его вышли замуж, и тут всплыло новое обстоятельство. Оказывается, работнику королевской охраны, то есть его сыну, как кролику, приобщенному к тайнам охраны, запрещено иметь родственников, удаленных или тем более добровольно удалившихся за границу двора.

Пришлось помочь сыну уйти из охраны и перевести его на работу в казначейство. На это ушел еще один год.

И тут обнаружилось, что через год исполняется двадцать лет его безупречной службы Королю и по законам королевства он должен был получить звание Первого Королевского Поэта. Такое звание при жизни ничего не давало, потому что у него уже было все, но после смерти да-

вало ему право захоронения в Королевском Пантеоне среди самых почетных кроликов королевства.

Удалиться со двора перед самым получением этого звания было бы неслыханной дерзостью, а уходить после получения звания было бы хамской неблагодарностью, и он остался еще на несколько лет.

Теперь он уже был стар, но все-таки жизнь казалась бы слишком невыносимой, если бы он отказался от своего замысла. Однажды, перебирая высохшие листья магнолии с записями ритмов будущей поэмы «Буря Разочарования», он тихо рассмеялся.

— Ты чего? — спросила жена, которая только что возвратилась из королевского склада, где получала продукты.

— Да так, — сказал он, осторожно, чтобы они не рассыпались, откладывая ворохи пожелтевших листьев магнолий, на которых были записаны его ритмы. — Запасы моих ритмов напоминают запасы чернил Короля.

— Мало ли какие совпадения бывают, — ответила жена, раскладывая на столе свежие продукты с королевского склада.

Да, теперь Поэт понимал, что семья — не самое серьезное препятствие. Конечно, жена поворчит немного, лишившись придворного продуктового пайка, но останавливать его не будет. Препятствие было в нем самом. Он был достаточно стар, чтобы думать о своей смерти. Он знал, что если умрет, оставаясь при дворе, то будет похоронен по самому высокому разряду в Королевском Пантеоне. Конечно, формально такое право за ним оставалось, даже если бы он ушел со двора — но кто знает, как Король воспримет его уход.

«Какое трагическое противоречие, — думал он иногда, — никто, кроме меня, не может помочь моему трупу получить достойные похороны».

— Если бы я мог, — говаривал он жене, — похоронить себя с почестями, потом уйти со двора и спокойно писать свою поэму.

— Да не волнуйся ты, — отвечала жена, — похоронят тебя с почестями...

— Если останусь при дворе, конечно, похоронят, — отвечал Поэт, — но мы же собираемся покинуть двор... Иде-

ально было бы похоронить себя с почестями, потом написать поэму «Буря Разочарования» и спокойно умереть...

— Ты слишком много хочешь, — отвечала жена, — другому на всю жизнь было бы достаточно, что он открыл кроликам такой прекрасный веселящий напиток... Ты уже много сделал для племени, пусть другие теперь постараются...

— Будем надеяться, что кое-что сделал, — отвечал Поэт, обдумывая, как пристроить лучшим образом свой будущий труп, и одновременно стараясь извлечь новый поэтический ритм из своих горестных раздумий. Положение было настолько безвыходным, что он иногда предавался самым мрачным фантазиям. Ему приходило в голову притвориться мертвым, дать себя похоронить в Пантеоне, а потом, тайно покинув свой роскошный склеп, уйти в джунгли и там спокойно писать свою поэму.

Но у него хватало здравого смысла понять, насколько этот проект рискованный. Даже если б он удался, его угнетала мысль о неполноценности такого склепа. Конечно, другие будут считать, что он лежит в своем прекрасном склепе. Но он-то будет знать, что это не так, он-то будет знать, что раз он не лежит в своем склепе, значит, в сущности, этот склеп ему не принадлежит.

Так и не найдя выхода из этого трагического противоречия, Поэт заболел и в один прекрасный день умер. Перед самой смертью его посетил Король со своими сподвижниками и, пожелав ему доброго здоровья, намекнул, что в случае его смерти он самым лучшим образом распорядится его трупом.

И Король выполнил свое обещание. Над трупом Поэта склонялись знамена с изображением Цветной Капусты. Сам Король и все Допущенные к Столу стояли в почетном карауле, а молодые кролики читали стихи Первого Поэта кроликов.

Его похоронили в Пантеоне, а ворохи листьев магнолий с записями ритмов будущей поэмы перешли в королевский архив. Главный ученый королевства расшифровывал все ритмы будущей его поэмы и нашел на каждый из них соответствующее стихотворение, вошедшее в хрестоматию королевской поэзии.



Так, для ритма, кратко озаглавленного «Ярость по поводу медлительности...», он нашел стихотворение, высмеивающее злостных неплательщиков огородного налога. А на ритм, озаглавленный «Повторная ярость по поводу...», он нашел стихотворение, высмеивающее все тех же, а может быть, и других неплательщиков огородного налога.

И так все ритмы нашего трагического неудачника были расшифрованы столь примитивным образом, что дало более поздним поколениям кроликов возможность утверждать, будто Первый Поэт кроликов был довольно-таки бездарный рифмоплет.

Правда, находились и более образованные ценители поэзии, которые утверждали, что у Поэта был ранний период, когда он писал божественные стихи, и только впоследствии под влиянием Короля он стал писать чепуху.

Но другие, еще более тонкие знатоки (а может быть, еще более тонкие хулители?) утверждали, что и в более ранних стихах его замечалась та неуверенность в силе истины, то есть они имели в виду неуверенность в конечной и самостоятельной ценности истины, что является, по их мнению, единственным признаком прочности и жизнестойкости всякого творчества. Именно отсутствие этой уверенности в душе Поэта, по их мнению, привело впоследствии к столь прискорбному падению его таланта.

К сожалению, к нам в руки не попали эти спорные или бесспорные продукты самого раннего творчества нашего Поэта, и у нас нет собственного мнения по этому поводу. Мы просто излагаем мнения поздних ценителей, чтобы познакомить читателей, интересующихся этим вопросом, с самим фактом существования такого мнения.

Ибо все это касается несколько более поздней истории королевства кроликов. Наша тема — это, в сущности, расцвет королевства кроликов в ожидании Цветной Капусты.

...Теперь вернемся к событиям, на которых мы прервали свой рассказ. На следующий день посреди джунглей послышалась веселая песенка:

Задумавшийся некто  
На холмике сидит.

Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па!  
И Ля-ля-ля-чий Брод!  
Но буря все равно грядет!

Разумеется, это был голос Находчивого. Он уже несколько раз пропел свой нехитрый куплет, но никто на него не отзывался. Тем лучше, думал Находчивый радостно, я им так запутал эту песню, что тут сам черт ногу сломит. Тем более я на свой риск убрал главное слово в третьей строчке — «видны»... Попробуй догадаться: кто задумался, о чем задумался и кому на пользу то, что он задумался?!

Он еще раз спел свой куплет и, не услышав ни в траве, ни в кустах знакомого омерзительного шелеста, совсем успокоился и пошел еще быстрее. «Если я буду очень быстро идти, то я быстрее пройду Нейтральную Тропу, и ни один удав не успеет понять, о чем я пою», — думал Находчивый, сам удивляясь своей находчивости. Теперь он бежал вприпрыжку, напевая на ходу свою песенку, и только иногда останавливался, чтобы перевести дыхание и еще раз убедиться в приятном бесплодии своего пения.

На этот раз Находчивый остановился под сенью дикой груши, росшей у самой Нейтральной Тропы. Здесь он решил передохнуть и заодно полакомиться грушами, падающими с дерева, если дикие кабаны не успели их сожрать.

Как раз в это время две мартышки — мартышка-мама и мартышка-дочка, — зацепившись хвостами за одну из верхних веток, раскачивались на груше. Услышав приближающееся пение Находчивого, мартышка-мама перестала раскачиваться и тревожно прислушивалась к пению. Мартышка-дочка тоже прислушалась.

— Опять Король кроликов кого-то предает, — сказала мартышка-мама. — Ну и противный голос у этого Плашатая.

— А что такое «Ля-ля-ля-чий Брод»? — спросила мартышка-дочка.

— Это Лягушачий Брод, — сказала мартышка-мама, снова начиная раскачиваться на хвосте. — Одно утешение (и раз! — взмах руками, чтобы усилить раскачку): сколько я их здесь ни вижу, этих Плашатаев, они не на-

много (и снова раз! — взмах руками, чтобы усилить раскачку) переживают свою жертву.

— Значит, предавать — это убивать, — догадалась мартышка-дочка, — только не своими руками?

— Да, — согласилась мартышка-мама, добившись нужной раскачки, — предательство — это всегда убийство чужими руками своего человека, как сказали бы туземцы... А теперь следи за мной. Видишь, как я свободно тело держу? Когда откачнешься на самую высокую точку, отпускаешь хвост и падаешь, ни о чем не думая. Но как только долетела до нужной ветки, легчайшим взмахом забрасываешь за нее хвост, а сама летишь дальше. Хвост сам захлестывается, и ты прочно повисаешь на ветке.

— А у меня почему-то хвост не выдерживает, и я падаю, — ответила мартышка-дочка.

— Потому что ты по дороге от страха цепляешься за всякие там лианы, — объясняла мартышка-мама, — у тебя не получается скорости захлеста. Запомни: во время вертикального падения главное — скорость захлеста. Падение — ничего. Скорость захлеста — все. Раз, — сказала она, усиливая мах и одновременно расслабляя тело и этим показывая, что совершенно не боится за его судьбу, — два-три...

Мартышка-мама полетела вниз, придав лицу то выражение безмятежности, которое бывает у туземок, когда они вяжут одежду из шерсти животных. Но вот хвост ее вяло закрутился за нужную ветку, и через мгновение, сдернутый силой тяжести тела, он намертво зацепился за ветку.

— Понятно? — спросила снизу мартышка-мама, глядя на свою дочку.

— Понятно, — ответила дочка не очень уверенно, глядя вниз, где покачивалась ее мама, и еще ниже, где под сенью дерева ходил Находчивый, собирая груши, слетевшие с ветки, за которую зацепилась мартышка-мама.

Поев груш, Находчивый залюбовался резвящимися мартышками. Хорошо им, вдруг подумал он с грустью, прыгают себе по веткам, и никаких тебе песен, никаких тебе королевских поручений.

— А тебе кто мешает? — вдруг услышал он голос из самого себя.

— Как — кто? — ответил он громко от неожиданности. — Надо же стремиться к лучшему, раз природа сделала меня Находчивым.

Он прислушался, ожидая, что голос внутри него что-нибудь ему ответит, но голос почему-то не отвечал.

— То-то же, — строго сказал Находчивый этому голосу и зашагал дальше.

Он дошел до конца Нейтральной Тропы и повернул назад, думая о том, что это за чертовщина внутри него завелась. Ему было все-таки как-то не по себе. Главное, что голос этот неожиданно начался и неожиданно замолк. Если ты решил спорить со мной — спорь, думал Находчивый, а иначе что это получается? То вдруг возник, то вдруг исчез, а у меня настроение портится. Ну нет, назло тебе спою еще раз:

Задумавшийся некто  
На холмике сидит.  
Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па!  
И Ля-ля-ля-чий Брод!  
Но буря все равно грядет!

Он спел и прислушался к джунглям. Ни один тревожный звук не возник в ближайшем окружении. Ну вот, еще разочек спою, мысленно сказал он тому голосу, и все, я свободен!

И вдруг он услышал ненавистное шипение в кустах папоротника, и в сторону реки, покачивая вершины папоротников, потянулось, полилось невидимое тело удава. «Мало ли кто куда ползет, — с ужасом подумал Находчивый, пытаясь себя утешить. — Нет-нет, я не верю, что он туда ползет!» И чтобы самому себе доказать, что он не верит этому, он стал громко и уже не прерываясь петь свою песню.

И мысли его в то время лихорадочно проносились в голове. «Зачем я не ушел в рядовые? — думал Находчивый. — Но я не мог уйти в рядовые, — тут же оправдался он. — О, если б я не отъел подарок Королевы, я бы мог уйти в рядовые. О, если бы я знал, что они и так знают, что я надкусил капустный листик, я бы тогда тоже ушел в рядовые. О, если б!» — думал он, продолжая петь и возвращаясь по Нейтральной Тропе.

А все-таки вдруг этот удав сам по себе полз в сторону реки, может быть, он уже давным-давно куда-то завернул, думал Находчивый, стараясь освободиться от тоски, которая ему была очень неприятна. А вон и груша, сказал он себе, если мартышки на ней, узнаю у них, не проползал ли здесь удав. Может, он уже давно завернул в другую сторону.

А между тем мартышка-мама и мартышка-дочка все еще продолжали отрабатывать вертикальный прыжок. За это время дочка успела свалиться с дерева, потому что у нее опять не получился захлест. Почесывая ушибленный бок, она уныло слушала свою маму, которая посвящала ее в тонкости прыжка.

— Но ведь я сейчас не цепляюсь за ветки, а у меня все равно не получилось, — говорила она в свое оправдание.

— Именно потому, что ты не цеплялась, — объясняла ей мартышка-мама, качаясь на хвосте и снизу вверх поглядывая на дочку, — ты еще больше испугалась, и у тебя от страха затвердел хвост. Тогда как во время захлеста хвост должен быть совершенно расслабленным... Тогда получается достаточное количество витков, полностью обеспечивающих безопасность... Попробуем еще раз...

Мартышка-дочка зацепилась хвостом за ветку и только взмахнула руками для раскачки, как вдруг заметила внизу у самой Нейтральной Тропы ползущего удава.

— Удав! — крикнула она. — Я боюсь.

— В сторону реки ползет, — уточнила мать.

— Уж не Плашатай ли его накликал?! — воскликнула дочка.

— А кто же еще, — вздохнула мартышка-мама. — Давай, он уже достаточно отполз.

— Подожди, мама, — сказала дочка, — я вся дрожу... Как только подумаю, что этот Задумавшийся там сидит на своем холмике, а к нему ползет удав, подосланный своими же, кроликами, мне делается не по себе...

— Успокойся и еще раз попробуй, — сказала мартышка-мама. — Значит, теперь главное — расслабить хвост...

Мартышка-дочка почему-то никак не могла успокоиться. А тут вдруг послышались бодрые звуки предательской песни. Это Королевский Плашатай возвращался назад по Нейтральной Тропе.

— Чего он поет, — удивилась мартышка-дочка, — разве он не знает, что удав уже прополз?

— Еще как знает, — ответила мартышка-мама, — это он нарочно, чтобы никто не подумал, что предательство и песня связаны друг с другом... Мол, он поет сам по себе, а удав сам по себе наткнулся на Задумавшегося...

— До чего ж хитер! — воскликнула мартышка-дочка. — Уж не от кроликов ли произошли туземцы?

— Не знаю, — сказала мартышка-мама, продолжая покачиваться на хвосте и прислушиваться к Нейтральной Тропе, — они так говорят, как будто произошли от нас...

В это время Находчивый подошел к груше и снова увидел все тех же мартышек на все той же ветке дикой груши. Это были первые живые существа, которых он увидел после своего предательства, и ему было приятно их видеть. Ему вдруг показалось, что в мире ничего не изменилось, в мире все осталось как было. Вот дикая груша — как она росла, так она и растет, вот обезьяны на ней — как отрабатывали свой вертикальный прыжок, так и отрабатывают. И все, все осталось по-прежнему... Ему вдруг страшно захотелось поговорить с кем-нибудь, хотя бы с этими мартышками.

— Эй, там, на дереве, — крикнул он снизу, — тряхни-ка ветку, грушами хочется побаловаться!..

Молчание. Только слышалось равномерное поскрипывание ветки, на которой качалась мартышка-мама. И снова Находчивому стало как-то неприятно, скучно.

— Жалко, что ли?! — крикнул он вверх. Опять молчание. Неужели все-таки удав прополз к реке, где сидит Задумавшийся?

— Слушай, — крикнул он снова мартышке, — здесь никто... не проходил в сторону реки?

Тягостное молчание. Но мартышка долго молчать не может.

— Ты хотел сказать — никто не прополз? — наконец ядовито ответила она.

Знает, с ужасом подумал он и в то же время почувствовал злость на эту чересчур развязную мартышку.

— Я хотел сказать именно то, что я сказал, — надменно ответил он и замолк.

— Ой, какой наглый, — прошептала мартышка-дочка.

— Сейчас я сделаю вертикальный прыжок и плюну ему в лицо, — решительно прошептала мартышка-мама, — а ты проследи, как я буду делать захлест...

— Плюнь ему в лицо, мама, плюнь! — радостно прошептала мартышка-дочка и от волнения заерзала на ветке.

Мартышка-мама раскачалась на хвосте и полетела вниз. Она зацепилась хвостом за самую нижнюю ветку над самой головой Находчивого. Хрястнула ветка, за которую зацепилась мартышка, и град груш посыпался на землю. Находчивый от неожиданности страшно испугался и впервые в жизни, несмотря на свою находчивость, не сразу понял, в чем дело. Он еще не знал, что душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия.

— Ой, — наконец перевел дыхание Находчивый, — это ты, мартышка?

— Нет, карающий ангел свалился с небес, — съязвила мартышка, покачиваясь на хвосте.

— При чем здесь карающий ангел? — холодно ответил Находчивый. Он уже успел прийти в себя и принять вид, подобающий Королевскому Плашатаю.

— А при том, — ответила мартышка-мама, — что можешь заткнуться со своей песней, потому что кое-кто кое-куда уже давно прополз...

— При чем здесь удав?! — закричал Находчивый, теряя самообладание. — Я не позволю! Я Королевский Плашатай! Я буду жаловаться! Я... Я... Я...

— А между прочим, я ничего не говорила про удава, — сказала мартышка, продолжая качаться на хвосте.

— Нет, говорила! — закричал Находчивый. — Это безобразие! Это издевательство над Королевским Плашатаем! Ты тренируешься над Нейтральной Тропой! Я этого так не оставлю!

А в самом деле, над Нейтральной Тропой тренироваться не положено, и вообще лучше с ним не связываться, подумала мартышка. Отменив обещанный плевок, она молча полезла вверх, а Находчивый пошел дальше, возмущенно жестикулируя ушами и что-то бормоча.

— Ну что, плонула? — спросила мартышка-дочка, когда мать долезла до верхней ветки и уселась рядом с дочкой.

— Еще как! — ответила та.

— А он что? — спросила дочка.

— А что он? Утерся и пошел.

— Мама, — сказала мартышка-дочка, — а что, если я сбегая, предупрежу Задумавшегося...

— Не стоит вмешиваться, — ответила мартышка-мама и добавила: — Да, пожалуй, уже поздно...

— А вдруг успею! — воскликнула мартышка-дочка. — У меня ведь очень быстрый горизонтальный прыжок...

— Нет, и все! — сказала мартышка-мама более строгим голосом. — Ты еще маленькая, чтобы вмешиваться в такие дела.

— Мама, мамочка! Прошу тебя! Я побегу! Я полечу! Я успею! — умоляла мартышка-дочка свою мать.

— Нет! — еще строже и непреклонней отвечала мать. — Ты еще многого не понимаешь... Мне тоже жалко Задумавшегося... Его учение и для нас представляет интерес... Но он слишком далеко заходит... Слишком...

— А мне его так жалко, — теперь поняв, что мать никуда ее не пустит, разрыдалась мартышка-дочка, — он там сидит и думает, а его уже предали.

— Что делать, — вздохнула мартышка-мама и, посадив дочку к себе на колени, стала гладить ее по голове, — туземцы говорят, что наука — это такое божество, которое требует жертв... Если кролики перестанут пастись в огородах туземцев, может, встанет вопрос, что и мы должны оставить кукурузу туземцев... Задумавшийся слишком далеко заходит...

— Но ведь, мама, ты сама говорила, что туземцы от нас произошли, — напомнила дочка, постепенно успокаиваясь, и потерлась головой о подбородок матери. Так она напоминала матери, чтобы та поискала у нее в голове блох.

— Во-первых, это не я так говорю — это они так говорят, — сказала мартышка-мама и, щелкая ногтями, стала рыться у нее в голове, — а во-вторых, когда дело касается кукурузы, они, забывая о нашем родстве, травят нас собаками и ставят свои капканы, омерзительные,



как пасть крокодила... Ну что, может, еще раз попробуем вертикальный?

— Только не сегодня, — грустно отвечала мартышка-дочка, — я слишком изволновалась...

— Тогда пошли домой, — сказала мартышка-мама, — расскажем нашим все, что мы видели и слышали... Интересно, чем это все кончится...

— Пошли, — уныло согласилась дочка, и они, перепрыгнув на магнолию, исчезли в глянцевой листве магнолиевой рощи.

А между тем Находчивый уже прошел почти всю Нейтральную Тропу и выбрался на небольшой луг, расположенный недалеко от первых кроличьих поселений. Всю дорогу он думал о случившемся и теперь почти успокоился и забыл про мартышек.

Во-первых, думал он, может, удав полз к реке по своим собственным надобностям. Во-вторых, может, Задумавшийся прав, и удав не сможет его обработать, а в-третьих, вон какие тучи идут с юга. С минуты на минуту начнется гроза, и Задумавшийся не станет в грозу сидеть на открытом холмике. И чем больше он находил шансов для Задумавшегося, тем бодрей он становился.

И вот на этом лугу у первых кроличьих поселений он вдруг встретил жену Задумавшегося.

— Ты что тут делаешь? — спросил он у нее после первых приветствий.

— Да вот клеверок на зиму заготавливаю, — ответила она, вздохнув. — Мой-то все думает...

— Ты же пособие от Короля имеешь, — удивился Находчивый.

— Две морковины на шесть ртов? — сказала крольчиха, подняв голову. — Нет, я благодарна Королю, но все-таки приходится крутиться...

— Должно быть, будет гроза, — задумчиво сказал Находчивый и посмотрел на небо. В самом деле, очень черные, очень обнадеживающие тучи ползли с юга.

— Так я ведь тут рядом живу, — сказала крольчиха, мельком взглянув на небо.

— Послушай, а твой, если его застанет гроза, домой приходит? — вдруг спросил Находчивый.

Тут жена Задумавшегося решила, что Находчивый намекает. Когда-то в молодости они оба были в нее влюблены, но она тогда по молодости выбрала Задумавшегося, о чем теперь очень сожалела.

— Ну что ты, — сказала она и махнула лапой. — Да он там сидит с утра до ночи и думает. Да его днем палкой домой не загонишь...

— Нет, в самом деле, — спросил Находчивый, — там же открытый холмик... Что ж, он будет целый день мокнуть?

— Но я же лучше знаю, — отвечала крольчиха, заглядывая в глаза Находчивому. — Так что заходи, угощу чем бог послал...

— Нет, спасибо, — сказал Находчивый, наконец поняв ее намек, но решив, что это уже будет слишком, — мне отчитаться надо перед Королем...

— Да, — вздохнула крольчиха, — ты теперь вон какая шишка... Куда тебе к нам...

— А-а-а, — махнул лапой Находчивый, — ничего особенного... Ну, допущен, ну, можно вдосталь поесть-попить... Да не в этом, оказывается, счастье...

— Все вы так говорите, — снова вздохнула жена Задумавшегося, — а у меня от клевера оскомина... Мой-то дурак тоже мог бы, да не захотел.

— Ну ладно, до свидания, — сказал Находчивый и двинулся дальше, чувствуя, что настроение у него делается все хуже и хуже.

— До свидания, — отвечала крольчиха и снова начала косить резцами клевер. — А то, если надумаешь, заходи... Худо-бедно... Чем бог послал...

Находчивый как-то неопределенно кивнул и пошел через луг, срезая его так, чтобы выйти поближе к Дворцовой Лужайке.

Задумавшийся сидел на своем зеленом холмике возле реки. Налево от него расстилались пампасы, а направо был хорошо виден широкий Лягушачий Брод. Печальными и вместе с тем пронизательными глазами следил Задумавшийся за окружающей жизнью. А точнее сказать — пронизательными и именно потому печальными глазами следил Задумавшийся за окружающей жизнью.

Вот комар зазевался и слишком низко пролетел над Лягушачьим Бродом, и его схватила лягушка. А там лягушка зазевалась, и ее копьём клюва пронзила цапля. А там цапля, завистливо глядя на другую цаплю, глотающую лягушку, зазевалась, и ее в свою ужасную пасть затолкнул крокодил. А там туземцы сумели поймать в сетку зазевавшегося крокодила, после чего, разрубив его на аппетитные (как им казалось) куски, погрузили в лодку и переправились на тот берег. Но не успели они доплыть до своей деревни, как одного из них, слишком низко наклонившегося над водой, сумел выхватить из лодки другой крокодил.

— И это они называют жизнью, — сказал Задумавшийся, кивая сидящему рядом с ним Возжаждавшему.

— Учитель, — ответил Возжаждавший, — все-таки мне кажется, если бы ты в тот раз обещал кроликам сохранить воровство, мы бы выиграли дело. Ты был так близок к победе. Неужели нельзя было один раз солгать ради нашей прекрасной цели?

— Нет, — ответил Задумавшийся, — я об этом много раз думал. Именно потому, что живая жизнь все время движется и меняется, нам нужен ориентир алмазной прочности, а это и есть правда. Она может быть неполной, но она не может быть искаженной сознательно даже ради самой высокой цели. Иначе все развалится... Мореплаватель не может ориентироваться по падающим звездам...

— Но ведь победа была так близка, Учитель, — напомнил Возжаждавший тот великий день, когда кролики чуть не скинули Короля.

— И все-таки нельзя, — повторил Задумавшийся. — Ведь если мы победим большую несправедливость по отношению к кроликам, у нас появится возможность избавиться от малой несправедливости по отношению к чужим огородам. Кроме этого, откроются и другие малые несправедливости в жизни кроликов, в том числе и новые. Например, кролики могут загордиться, объявить, что они избавили джунгли от страха перед удавами, что они теперь высшие существа... Мало ли что... И запомни: как только мы освободимся от этой великой несправедливости, для рядового кролика она мгновенно забудется,

исчезнет. И любая из новых мелких неприятностей мгновенно займет те душевные силы, которые отнимал смертельный страх кроликов перед удавами. Такова жизнь, таков закон обновления тревоги, закон самосохранения жизни.

— Но ведь сейчас получается еще хуже, — возразил Возжаждавший, чувствуя, что Задумавшийся слишком далеко отходит, — кролики остались верны Королю.

— Пока — да. Сознание кроликов развращено великой подлостью удавов. К этой великой подлости они приспособили свои маленькие подлости, в том числе и подлость подворовывания плодов с туземных огородов. Распатывать это сознание — вот наша нелегкая задача.

— Но где уверенность, Учитель? — спросил Возжаждавший. — А если все так и останется?

— Есть нечто более высокое, чем уверенность, — надежда, — отвечал Задумавшийся. — Вчера я здесь сидел один, а сегодня сюда пришел ты, хотя это невыгодно и опасно.

— Ну, хорошо, — снова возразил Возжаждавший, — не надо было лгать. Но мог же ты промолчать про эти проклятые огороды туземцев? Мы бы сначала скинули Короля, а потом получили бы самые удобные возможности распатывать сознание.

— Нет, нет и нет, — повторил Задумавшийся, — я об этом много думал. Дела всех освободителей гибли из-за этого. Каждый из них, увлеченный своей благородной задачей, невольно рассматривает ее как окончательную победу над мировым злом. Но, как я уже говорил, когда исчезнет то, что зло сейчас, мгновенно наступит то, что зло — завтра. Этого не понимали все немудрые освободители и потому, добившись победы, впадали в маразм непонимания окружающей жизни.

— А мудрые освободители? — спросил Возжаждавший.

— А мудрые освободители, — усмехнулся Задумавшийся, — до победы не доживали... Почему немудрые, победив, впадали в маразм? — продолжал Задумавшийся. — Не понимая закона обновления тревоги, они воспринимали забвение освобожденными от того зла, от которого они с его помощью освободились, как чудо-

вищную неблагодарность. Поэтому они искусственно заставляли освобожденных, склонных забывать о своем освобождении, справлять праздники освобождения. В конечном итоге освобожденные и освободители прониклись тайной взаимной ненавистью. Освободители, думая, что они сделали своих соплеменников счастливыми, но те по глупости этого не могут осознать, старались день и ночь вдалбливать в них это сознание. Освобожденные, зная, что освобождение не сделало их счастливыми, злились на освободителей за то, что они обещали их сделать счастливыми, но не только не сделали, но еще и заставляют признавать то, чего они не чувствуют, а именно — счастье освобождения. Потерявшие идеал начинают идеализировать победу. Победа из средства достижения истины превращается в саму истину. Запомни: там, где много говорят о победах, — или забыли истину, или прячутся от нее. Вспомни, как любят удавы говорить о своих ежедневных победах над кроликами, и вспомни, как наш лицемерный Король каждое случайное снижение количества проглоченных кроликов удавами объявляет очередной победой кроликов, а каждое повышение количества проглоченных кроликов — временным успехом удавов.

— Вот бы мы его и скинули тогда, — бил в одну точку Возжаждавший, — если б ты промолчал, когда дело запахло капустой.

— Нет, нет и нет, — так же упрямо повторял Задумавшийся, — я об этом много думал. Дела всех преобразователей гибли из-за этого...

— Ты это уже говорил, Учитель, — перебил его Возжаждавший, — до меня твои мысли доходят лучше, когда ты через какой-нибудь пример из нашей жизни что-нибудь доказываешь...

— Хорошо, — сказал Задумавшийся и, немного подумав, добавил: — Вот тебе пример. Представь, что за кроличьим племенем гонится один обобщенный удав. Кролики устали, кролики бегут из последних сил, и вот они приближаются к спасительной реке. Река их спасает, потому что кролики ее перейдут вброд, а этот обобщенный удав, представь, страдает водобоязнью. Если кролики добегают до воды, они будут обязательно спасены. Но мно-

гие из них еле волочат ноги. А до реки еще осталось около ста прыжков. Так вот, имеет ли право вожак, чтобы взбодрить выбившихся из сил, воскликнуть: «Кролики, еще одно усилие! До реки только двадцать прыжков!»

— Я полагаю, имеет, — сказал Возжаждавший, стараясь представить всю эту картину, — потом, когда они спасутся, он им объяснит, в чем дело.

— Нет, — сказал Задумавшийся, — так ошибались все преобразователи. Ведь задача спасения кроликов бесконечна во времени. Перебежав реку, кролики получают только передышку. Наш обобщенный удав найдет где-нибудь выше или ниже по течению переброшенное через реку бревно и будет продолжать преследование. Ведь удав у нас обобщенный, а любителей крольчатины всегда найдется достаточно...

— Значит, я так думаю, надо сохранить право на ложь для самого лучшего случая?

— Нет, — сказал Задумавшийся, — такого права нет. Как бы ни были кролики благодарны своему вожаку за то, что он взбодрил их своей ложью, в сознании их навсегда останется, что он может солгать. Так что в следующий раз сигнал об опасности они будут воспринимать как сознательное преувеличение. Но и вожак, солгав во имя истины, уже предал истину, он ее обесчестил. И насколько он ее обесчестил, настолько он сам ее не сможет уважать... Она его будет раздражать...

— Господи, как все сложно! — воскликнул Возжаждавший. — Что же нам делать?

— Расшатывать уверенность кроликов в том, что удавы их гипнотизируют. Развивая свою природу, кролик невольно, по слабости, может спотыкаться, даже впадать в огородный разгул, но идеал должен оставаться твердым и чистым, как алмаз. Я же говорил, что моряк не может ориентироваться по падающим звездам. И дело не в количестве ошибок и заблуждений, а в другом. Пока кролик, очнувшись от огородного разгула, осознает его как падение, будущее не потеряно. Поражение начнется тогда, когда он свое падение станет оправдывать своей природой или законами джунглей. Тут начинается измена идеалу, ложь, из которой нет выхода.

— Учитель! — неожиданно крикнул Возжаждавший. — Сюда ползет удав. Впервые вижу, чтобы удав охотился на открытых пространствах.

— Ну и что, — сказал Задумавшийся, — ты ведь знаешь, что их гипноз — это наш страх.

— Вообще-то да, — замялся Возжаждавший. — Ну а вдруг?

— Тогда отойди, и ты увидишь, что все, что я говорил, — правда.

— Мне стыдно, Учитель, но страх сильнее меня...

— Я тебя не осуждаю... Ты еще недостаточно долго думал... Когда после мучительных раздумий тебе открывается крупица истины, ты, защищая ее, делаешься бесстрашным...

— А все-таки, Учитель... Ведь тот был одноглазый инвалид... Может, ускачем, пока не поздно?..

— Этого удовольствия я Королю не доставлю, — ответил Задумавшийся, глядя, как удав выползает на его зеленый холмик, где он провел столько дней в раздумьях о судьбе своих братьев-кроликов.

Между тем удав выползал на холм. Это был тот самый, юный, теперь уже просто молодой удав, которому когда-то Косой рассказывал о своих злоключениях.

Он первым услышал песню Плашатая и, по принятому среди удавов обычаю, получил «право на отглот». Время от времени Король через того или иного Плашатая предавал того или иного кролика, и удавы к этому давно привыкли.

Право на отглот считалось подарком судьбы, верняком. Юный удав сначала сильно обрадовался, получив это право, но теперь он был не очень доволен.

Начать с того, что на пути сюда он встретил крота и спросил у него, как лучше выйти к зеленому холму напротив Лягушачьего Брода. И что же? Оказывается, крот пустил его по неверной дороге, и он, проплутав в джунглях несколько лишних часов, с трудом нашел этот проклятый зеленый холм.

Поняв, что крот его обманул, он был потрясен бессмысленностью этого обмана. Зачем? Зачем он меня обманул, думал удав и никак не мог понять. Во-первых, удавы кротов вообще не трогают. А во-вторых, крот и не

знал, куда и зачем он ползет. Ну, если бы его обманула дикая коза или индюшка, тогда было бы все понятно: удавы глотают не только кроликов. Но за что обманул крот? Кому это выгодно? Ведь ясно, что кроту нет никакой выгоды от этого обмана. Тогда зачем?! Зачем?! Зачем?!

Теперь, добравшись до зеленого холма, он был неприятно поражен видом открытого пространства, на котором ни одного дерева, ни одного куста, где можно было бы спрятаться в ожидании добычи. Какая бесплодная местность, думал он, не дай бог здесь жить.

Доползая до вершины зеленого холма, он вдруг обнаружил, что там вместо одного кролика его ожидают два. Он знал, что кролики очень быстро размножаются, но никогда не думал, что это у них происходит с такой сказочной быстротой. Собственно говоря, кто из них Задумавшийся и кто кого родил?

Медленно подползая, он издали оглядывал обоих, на всякий случай стараясь обоим внушить, что он именно его собирается обработать. Теперь, приблизившись к кроликам, он пытался дышать спокойней и не выдавать своей усталости. По обычаю удавов считалось, что удав перед обработкой кролика должен выглядеть бодрым, свежим, полным веселой энергии.

— Слушай меня внимательно, — сказал Задумавшийся, — я сейчас буду проводить опыт с этим удавом, а ты стой в сторонке и наблюдай. На каком расстоянии по сводке бюро прогноза сегодня действует гипноз?

— На расстоянии трех прыжков, Учитель! — воскликнул Возжаждавший, не спуская глаз с подползающего удава.

— Прочерти борозду на расстоянии двух прыжков от меня, — сказал Задумавшийся спокойно.

— Но ведь это опасно, Учитель!.. — попробовал возразить Возжаждавший.

— Не спорь, у нас слишком мало времени, — поторопил его Задумавшийся.

Удав уже полз по гребню зеленого холма и был от них на расстоянии десяти прыжков. Возжаждавший не заставил себя долго упрашивать. Он сделал два прыжка от Учителя в сторону приближающегося удава, и это были



далеко не самые удачные его прыжки, хотя он очень не хотел рисковать жизнью Учителя.

Тем не менее он прочертил борозду, как сказал Учитель, и сразу же сделал десяток прыжков в сторону от удава, и каждый прыжок был удивительно удачен, хотя он изо всех сил сдерживал себя. Теперь он сидел на довольно безопасном расстоянии и с замирающим от волнения сердцем следил за происходящим.

Удав подползал все ближе и ближе. Он никак до сих пор не мог решить, на какого из этих двух кроликов распространяется право на отглот. И если один из этих кроликов родил другого, то не может ли он осуществить отглот обоих кроликов, ссылаясь на свое опоздание? Или на преждевременные роды в процессе заглота? Или не стоит?

Странные действия кролика, который сначала прыгнул в его сторону и прочертил какой-то кабалистический знак, а потом и вовсе отскочил, внушали ему сильные подозрения. Тут что-то не то, думал он, стараясь быть как можно осмотрительней.

Теперь в движениях его огромного тела чувствовалось какое-то противоречие. Та часть тела, которая была поближе к голове, явно замедлила свои движения, тогда как хвостовая часть нервно извивалась, как бы раздраженная медлительностью своего начала. Кончик хвоста нетерпеливо пошлепывал по траве, выбивая из нее небольшие струйки пыли.

Предельно замедлив свое продвижение, молодой удав осторожно приблизил голову к борозде, понюхал ее языком и внимательно оглядел, стараясь понять ее коварное назначение.

— Ты видишь, — сказал Задумавшийся, — даже удав, вырванный из привычных обстоятельств, сразу же теряется.

— Да! — крикнул Возжаждавший в сильнейшем волнении. — Я вижу, но хвостовая часть сильно напирает!

— Так и должно быть, — спокойно пояснил Задумавшийся, — приказывает желудок, а голова удава — это только служба заглатывания...

Но тут удав остановился в полной нерешительности. Он даже слегка покосился на второго кролика, думая, не

взяться ли за него. Неожиданная борозда, а главное, спокойный голос этого кролика слишком смущали его.

Но в это мгновение Задумавшийся наконец замер, уши у него опустились, а глаза стали покрываться приятной поволокой. Удав снова взбодрился и, уже не спуская глаз с этого кролика, продвинул голову за черту. Кролик был довольно худой, и ему мельком подумалось, что Король кроликов именно таких нежирных кроликов предает, чтобы жирными питаться самому. Он, конечно, знал, что кролики кроликов не едят, но сейчас почему-то забыл об этом.

— Учитель, Учитель! — крикнул Возжаждавший. — Ты кажется, засыпаешь? Проснись!

— Не беспокойся, все идет правильно, — ответил Задумавшийся, стараясь своим голосом не вспугнуть удава.

— Но зачем так рисковать, Учитель! — снова крикнул Возжаждавший.

— Мой подопытный удав слишком вяло работает, — ответил Задумавшийся, — я ему помогаю...

Удав, уставив на Задумавшегося свои омерзительные глаза, продолжал медленно переползать борозду.

— Что делает взгляд удава страшным? — продолжал Задумавшийся свои наблюдения. — Полное отсутствие мысли... В сущности, что такое удав? Удав — это ползающий желудок.

— Учитель, он уже совсем близко! — крикнул в ужасе Возжаждавший. — Прыгай в сторону!

— Ничего, я успею, — отвечал Задумавшийся и продолжал наблюдать за удавом.

Удав наползал, сосредоточив все свои силы на священном ритуале гипноза, то есть стараясь не спускать с кролика глаз. Но на этот раз все происходило как-то необычно, странно. Нервы молодого удава были слишком напряжены.

Обрабатываемый кролик вел себя оскорбительно. И главное, от него шла утечка информации — и куда! В сторону кролика, даже не находящегося в сфере обработки. Такие ляпсусы Великий Питон никогда не прощал.

Младой удав сейчас так жалел, что пустился на эту авантюру (ничего себе верняк!), так ненавидел этого Гла-

шатая! Но ничего не поделаешь, теперь уже отступить было поздно...

— Слушай меня, — продолжал Задумавшийся спокойным голосом, — я полностью в сфере лжегипноза, и я ничего не чувствую, кроме его дыхания, правда достаточно зловонного... Я полностью владею своими чувствами и конечностями. Моя речь с научной точки зрения должна служить доказательством моей полной вменяемости... Запомни это на случай, если Король объявит все, что я говорю, гипнотическим бредом. Сейчас я произведу ряд действий в заранее мною же предсказанной последовательности.

— Скорей, Учитель, скорей! — крикнул Возжаждавший, от нетерпения подпрыгивая на месте.

Удав уже был на расстоянии одного прыжка и тревожно прислушивался к словам Задумавшегося. Несколько раз он уже порывался ответить на его оскорбления, но строгие обычаи соплеменников запрещали заговаривать или вступать в дискуссию с обрабатываемым кроликом.

— Итак, я сейчас шевельну правым ухом, — сказал Задумавшийся, — потом левым. Потом обоими сразу... А потом три раза фыркну с промежутками между каждым фырком...

И вдруг удав, покрываясь холодным потом, с ужасом заметил, что правое ухо обрабатываемого кролика приподнялось и шевельнулось. И тут он сам, нарушая священный ритуал, перевел взгляд на левое ухо, которое тоже как-то задумчиво приподнялось и как-то укоризненно шевельнулось, хотя он изо всех своих гипнотических сил приказывал и даже униженно умолял кролика не шевелиться.

После этого, к полной панике удава, оба уха шевельнулись одновременно, и, согласно собственному предсказанию, кролик начал фыркать. И тут нервы молодого удава не выдержали.

— Я не могу так работать! — крикнул он. — Что ты фыркаешь мне в лицо! Что ты ерзаешь ушами, разговариваешь!

— Все правильно! Победа! Победа! — крикнул Возжаждавший, приплясывая и хлопая лапками. — Ты все сделал точно, только фыркнул четыре раза!

— В последний раз я чихнул, — поправил его Задумавшийся. По голосу его видно было, что он сам доволен проделанным опытом. — Очень уж от него воняет... Кстати, не исключено, что на этом основана легенда о гипнозе. Возможно, что один из наших предков, не выдержав его дыхания, упал в обморок. Тогда воздух в джунглях был чище, потому что туземцев было гораздо меньше. И это послужило поводом для панических слухов...

— Победа! Победа! — закричал Возжаждавший, приплясывая на месте. — Победа разума!

— Не надо злоупотреблять словом «победа», — поправил его Задумавшийся, — даже если это победа разума... Я бы вообще выкинул это слово... Я бы заменил его словом «преодоление». В слове «победа» мне слышится торжествующий топот дураков... Но я замолкаю, кажется, мой удав совсем увял...

С этими словами Задумавшийся замолк, опустил уши и стал прикрывать глаза. Удав попробовал было снова взяться за дело, но, почувствовав огромную усталость, расслабился и осел.

— Я должен передохнуть, — сказал он, стараясь скрыть смущение. Это было довольно позорное признание, но он и так уже заговорил, да и надо же было как-то объяснить остановку.

— Отдыхай, — согласился Задумавшийся, — только смотри не усни и дыши немного в сторону...

— Мне с самого начала не повезло, — сказал удав, отчасти оправдывая свою вялость, — если ты такой умный, ответь мне: с какой целью меня обманул крот, какая ему от этого была выгода?

Он рассказал о том, как крот его обманул, когда он направлялся сюда для отглюта Задумавшегося. Между прочим, о том, кто его направил сюда, он благоразумно умолчал.

— Если бы это был козленок или дикая индюшка, — повторил он свой довод, который ему самому казался неотразимым, — я бы понимал, почему они меня обманули. Но почему обманул крот, какая ему от этого выгода?

— Затем, что крот — мудрое животное, — сказал Задумавшийся, — я всегда это знал.

— Это не ответ, — возразил удав, подумав, — он же не знал, куда и зачем я иду.

— Возжаждавший, — сказал Задумавшийся своему ученику, — обрати внимание на этот частный, но любопытный случай. Крот — мудр. Но если мудрость бессильна творить добро, она делает единственное, что может, — она удлиняет путь зла.

— А если я спешил помочь товарищу? — снова возразил удав.

— Ха, — усмехнулся Задумавшийся, — никто никогда не слышал, чтобы удав помогал товарищу.

— Почему же, — сказал удав, стараясь припомнить какой-нибудь подходящий случай из жизни удавов, — а Косому кто помог, когда кролик встал у него поперек живота?

— Во-первых, это уже история, — снова усмехнулся Задумавшийся, что удаву было особенно неприятно, — а во-вторых, знаем, как помогли...

— Ну и что, — сказал удав, еще больше уязвленный правильной догадкой Задумавшегося, — во всяком случае, удавы друг друга не предают, а кролики предают.

— Откуда ты это взял? — спросил Задумавшийся.

— А как ты думаешь, почему я здесь очутился? — ехидно спросил удав. Он почувствовал, что Задумавшийся совершенно не знаком с богатством и многообразием форм предательства.

— Не знаю, — отвечал Задумавшийся, — мало ли куда удав может забрести.

— Так знай, — отвечал удав, чувствуя, что превосходство знаний тоже немалое удовольствие. — Король через Глашатая объявил, что ты здесь. А Глашатаем на этот раз был так называемый Находчивый кролик.

Младой удав без колебаний предавал предателя Глашатаю. Он был обозлен на него за все свои мучения. Чтобы у Задумавшегося не оставалось никаких сомнений, он даже прочел ему песенку Глашатаю.

— Расшифровать, чтобы не мучился? — спросил он у Задумавшегося.

— Ясно и так, — отвечал Задумавшийся, глубоко опечаленный этим предательством, — такого я не ожидал даже от нашего Короля. Ты слышал, Возжаждавший?

— Я потрясен! — воскликнул Возжаждавший. — Но, может, это провокация?!

— Нет, — сказал Задумавшийся грустно, — я узнаю бездарный стиль нашего придворного Поэта... Ну, что ж, я осуществляю до конца коварный замысел Короля, чтобы ты потом мог его разоблачить...

— Что ты этим хочешь сказать, Учитель?! — в ужасе воскликнул Возжаждавший.

— Придется пожертвовать жизнью, — печально и просто сказал Задумавшийся.

— Не надо, Учитель! — воскликнул Возжаждавший. — Мне без тебя будет трудно... И потом Король объявит, что он был прав, что твоя смерть — результат неправильных научных выводов.

— А ты для чего? — отвечал Задумавшийся. — Ты же все видел... Моя смерть наконец раскроет глаза нашим кроликам на своего Короля. А насчет гипноза ты теперь все знаешь и все можешь повторить...

— Все равно, Учитель, — взмолился Возжаждавший, — я тебя очень прошу, не надо этого делать!

— Нет, — сказал Задумавшийся, — я не знал, что наш Король так глубоко погряз в подлости, раз он способен предавать кроликов удавам... Теперь от него все можно ожидать. Он может объявить, что я проводил свой опыт с больным малокровным удавом. Нет, это вполне здоровый, нормальный удав, и он сейчас сделает свое дело.

— А я не буду тебя глотать! — неожиданно воскликнул удав и слегка отполз назад.

После всего, что здесь случилось, он чувствовал великую неуверенность в гипнозе и теперь боялся опозориться. Он даже слегка отвернулся от Задумавшегося, как отворачиваются капризные существа от неуютного блюда.

— Молодец, удав! — радостно воскликнул Возжаждавший. — Хотя один раз в жизни сделаешь доброе дело.

— Вы это можете называть как хотите, — презрительно прошипел удав и снова украдкой посмотрел на Задумавшегося, стараясь почувствовать, до чего у него худое и невкусное тело.

— То есть как это — не будешь глотать? — строго спросил Задумавшийся.

— А вот так и не буду! — раздраженно воскликнул удав. — То крот меня обманул, то Глашатай обещал верняк, а ты тут ушами ерзаешь, разговариваешь, чихаешь в лицо!

— Я тебе не дам испортить свой опыт, так и знай, — сказал Задумавшийся и так строго посмотрел на удава, что тот слегка струхнул.

— Давай разойдемся по-хорошему, — мирно предложил удав, — я скажу, что не нашел тебя, тем более крот меня сбил с дороги. А вы тут еще расплодились... Откуда я знаю, кто из вас настоящий Задумавшийся? Может, ты нарочно жертвуешь собой, чтобы спасти настоящего Задумавшегося?

— Мы теперь оба Задумавшиеся, — сказал Возжаждавший, отчасти чтобы окончательно запутать удава, отчасти из тщеславия.

— Вот именно, — согласился удав, — мне дано право на отглот одного Задумавшегося, а вас тут двое. Я даже не понимаю, как вы могли родить друг друга? Кто из вас крольчиха?

— Ты видишь, как они плохо нас знают? — сказал Задумавшийся. — Миф о всезнающих удавах порожден кроличьим страхом.

— Судя по всему, — снова обиделся удав за своих, — ты тоже своих кроликов не очень-то знал...

— Это горькая правда, — согласился Задумавшийся, — но я тебя заставлю проглотить себя!

— Никогда! — воскликнул удав. — Кролик не может удава заставить себя проглотить!

— Ты еще не знаешь, насколько твой желудок сильнее твоего разума, — сказал Задумавшийся и стал замирать.

Младой удав презрительно отвернулся от него, потом несколько раз блудливо посмотрел на него и, убедившись, что кролик не шевелится, начал оживать и вытягиваться в его сторону.

— Конечно, — бормотнул он, глядя на Задумавшегося неуверенным и именно потому особенно наглым взглядом обесчещенного гипнотизера, — после долгой дороги перекусить не грех...

— Учитель! — крикнул Возжаждавший, — но ведь твоя смерть — это уход от борьбы. Ты оставляешь наше дело...

— Тихо, — спокойно остановил его Задумавшийся, — а то ты его опять запугаешь... Я любил братьев-кроликов и делал все, что было в моих силах. Но я устал, Возжаждавший. Меня сломило предательство. Я знал многие слабости кроликов, знал многие хитрости Короля, но никогда не думал, что этот вегетарианец способен проливать кровь своих же кроликов. Я столько времени отдал изучению врагов, что упустил из виду своих. Теперь я боюсь за себя, я боюсь, что душа моя погрузится в великое равнодушие, какое бывает у кроликов в самый пасмурный день в самую середину Сезона Больших дождей. Таким меня видеть кролики не должны... Ты будешь продолжать дело разума. И тебе будет во многом легче, чем мне, но и во многом трудней. Тебе будет легче, потому что я передаю тебе весь свой опыт изучения удавов, но тебе, милый Возжаждавший, будет и трудней, потому что твоя любовь к родным кроликам должна приучаться к возможностям предательства. Моя любовь этого не знала, и мне было легче... Я передаю тебе наше дело и потому пользуюсь правом на усталость...

Удав, который все это время напознал на Задумавшегося, старался не думать о том, что Задумавшийся довольно худой кролик, а, наоборот, стараясь думать, что Задумавшийся самый умный кролик, и он, проглотив его, лишает племя кроликов самого умного кролика и в то же время заставляет его ум служить делу удавов. Эта мысль его настолько взбодрила, что он...

— Учитель! — крикнул Возжаждавший в последний раз и зарыдал, потому что пасть удава сомкнулась над Задумавшимся.

— Я покажу этой сволочи Королю! — горько рыдал Возжаждавший. — Я покажу этому выскочке Находчивому! Сволочи, какого Великого кролика загубили!

Удав, пошевеливая челюстями, незаметно уползал, прислушиваясь к рыданиям Возжаждавшего и одновременно ко вкусу проглоченного кролика. Он чувствовал стыд не то за то, что проглотил такого замечательного кролика, не то за то, что проглотил его с такими долгими унижительными церемониями.

«Как-то это все неловко получилось, — думал он, — зато теперь весь его ум во мне... Это точно. А вдруг и в са-



мом деле нет никакого гипноза? Или мой перестал действовать... Нет, я просто слишком устал... Во всяком случае, одно точно — весь его ум теперь во мне... Когда его тело после переработки станет моим телом, его уму будет некуда деваться, и он станет моим умом...»

Так думал молодой удав, уползая в джунгли, стараясь отгонять всякие тревожные мысли о своих гипнотических способностях. От тревожной неуверенности мысль его вдруг возносилась к самым радужным надеждам.

«В конце концов, что мне гипноз, — думал он. — Имея двоянный ум кролика и удава, я могу стать первым среди соплеменников. Великий Питон, например, вообще не ловит кроликов, ему готовеньких подают... Еще неизвестно, кто теперь умней. И вообще, вдруг промелькнуло у него в голове, почему удавами должен править Питон? Правда, он близок нам по крови, но все-таки инородец».

— Удавами должен править удав! — вдруг громко прошипел он — и сам поразился глубине и четкости своей мысли.

Уже действует, подумал он, а что же будет, когда кролик переварится целиком?

Тут он окончательно успокоился и, найдя теплое местечко в зарослях папоротника, свернулся и задремал, стараясь умнеть по мере усвоения Задумавшегося.

В тот же день весть о предательстве Находчивого распространилась в джунглях, чему, с одной стороны, способствовала мартышка, оповестившая об этом, можно сказать, все верхние этажи джунглей, а с другой стороны, конечно, Возжаждавший.

Кролики пришли в неистовое возбуждение. Некоторые говорили, что этого не может быть, хотя в жизни всякое случается. Они от всего сердца жалели Задумавшегося. В то же время они испытывали чувство стыда и тайного облегчения одновременно. Они чувствовали, что с них наконец свалилось бремя сомнений, которые им внушал Задумавшийся. Незвестная жизнь в условиях желанной безопасности и нежеланной честности казалась им тяжелей, чем сегодняшняя, полная мрачных опасностей, но и захватывающей дух сладости проникновения на огороды туземцев. И чем сильнее они чувст-

вовали тайное облегчение, тем горячее они жалели Задумавшегося и возмущались неслыханным предательством.

И хотя они, честно говоря, всегда не любили следовать его мудрым советам, теперь, когда его не стало, они искренне почувствовали себя осиротевшими. Оказывается, для чего-то нужно, чтобы среди кроликов был такой кролик, который наставлял бы их на путь истины, даже если они не собирались идти по этому пути.

К вечеру почти все взрослое население кроликов собралось на Королевской Лужайке перед дворцом. Кролики требовали чрезвычайного собрания. Дело пахло бунтом, и Король, прежде чем открыть собрание, велел страже прочистить запасные выходы из Королевского Дворца. Всегда во время таких тревожных собраний он приводил в порядок запасные выходы.

— Чем лучше запасной выход, — говаривал Король среди Допущенных, — тем меньше шансов, что он потребуется...

На этот раз положение было очень тревожно. Как всегда, перед началом собрания над королевским сиденьем был вывешен флаг с изображением Цветной Капусты. Несмотря на то что цвета в изображении Цветной Капусты на этот раз были смещены самым таинственным и многообещающим образом, кролики почти не обращали внимания на знамя. Иногда кое-кто взглянет на новый узор Цветной Капусты с выражением бесплодного любопытства и, махнув лапкой, окунается в ближайший водоворот бурлящей толпы.

Наконец кое-как удалось установить тишину. Король встал. Чуть ниже него стоял Находчивый, испуганно зыркая во все стороны своими глазищами.

— Волнение мешает мне говорить, — начал Король скорбным голосом, — в толпе прозвучали страшные слова... Меня, отца всех кроликов, обвинили чуть ли не в предательстве.

— Не чуть ли, а именно в предательстве! — выкрикнул из толпы Возжаждавший.

— Пусть будет так, — неожиданно уступил Король, — я выше личных оскорблений, но давайте выясним, в чем дело...

— Давайте! — кричали из толпы.

— Долой! — кричали другие. — Чего там выяснять!

— Итак, — продолжал Король, — почему Глашатай попал на Нейтральную Тропу? Да, да, я лично его послал. Но для чего? К сожалению, друзья мои, по сведениям, поступающим в нашу канцелярию, резко увеличилось количество кроликов, без вести пропадающих в пасти удавов. Из этого неминуемо следует, что удавы в последнее время обнаглели. Возможно, до них дошли слухи о новых теориях Задумавшегося и они решили продемонстрировать силу своего смертоносного гипноза. Что же нам оставалось делать? Показать врагу, что мы притихли, впали в уныние? Нет и нет! Как всегда, на гибель наших братьев мы решили отвечать сокрушительной бодростью духа! Нас глотают, а мы поем! Мы поем — следовательно, мы живем! Мы живем — следовательно, нас не проглотиты!!!

(В этом месте раздались бешеные аплодисменты Допущенных к Столу и Стремящихся быть Допущенными. По какой-то странной ошибке позднее во всех отчетах об этом собрании эти аплодисменты были названы «переходящими во всеобщую овацию». Возможно, так оно и было рассчитано, потому что Король в этом месте остановился, может быть, ожидая, что аплодисменты перейдут в овацию. Но аплодисменты, не переходя в овацию, замолкли, и Король продолжал говорить.)

— ...И вот наш Глашатай с песней был послан на Нейтральную Тропу, где он должен был, как это, кстати, записано в нашем королевском журнале, пропеть в ритме марша текст на мелодию «Вариации на тему Бури»!

— Текст! Текст! — бешено закричали кролики из толпы.

Некоторые из них свистели в пустотелые дудки из свежего побега бамбука. Это считалось нарушением порядка ведения собрания и каралось штрафом, если королевская стража находила свистевшего. Но в том-то и дело, что стража обычно не находила свистевшего, потому что свистевший тут же съедал свой свисток, если к нему приближалась стража

— Текст, собственно говоря, сочинил наш придворный Поэт, — сказал Король, озираясь, и, как бы случайно

найдя его в числе Допущенных к Столу, кивнул ему. — Пусть он зачитает свой божественный ритм...

Поэт уже давно рыдал о судьбе Задумавшегося, проклиная в душе коварство Короля, который навязал ему написание этого стихотворения. Но ему надо было думать о своей судьбе, и он, продолжая всхлипывать по поводу гибели Задумавшегося, быстро сообразил, кстати, не без намека Короля, как выпутаться из этой истории.

Он вышел вперед и заявил:

— Текст, собственно говоря, условный... Он должен был прозвучать...

— Мы не знаем этих тонкостей, — перебил его Король, — ты зачитай кроликам то, что ты написал.

— Пожалуйста, — сказал Поэт и с каким-то презрительным смущением задергал плечом. — Собственно говоря, я хотел предварить текст некоторыми пояснениями. Мне удалось найти своеобразный фонетический строй, который своей угнетающей бодростью давит на победную психику удавов, то есть я хотел сказать...

— Текст! Текст! Текст! — закричали кролики и засвистели в свои бамбуковые свистульки. — Не надо ничего объяснять...

— Я, собственно говоря, хотел предварить, — сказал Поэт и, еще раз дернув плечом, прочел:

Пам-пам, пим-пим, пам-пим-пам!

Ля-ля, ли-ли, ля-ля!

Пим-пам, пам-пам, пим-пим-пам!

Но буря все равно грядет!

Вот, собственно, что он должен был пропеть — разумеется, на мелодию «Вариации на тему Бури».

Поэт сел на свое место, поглядывая на небо в поисках случайного буревестника.

— Вариации вариациям рознь, — грозно подхватил Король его последние слова и, обратившись к Находчивому, спросил: — А ты что пел?

— Это же самое, — пропищал Находчивый, потрясенный предательством Короля и Поэта.

Как и всякий преданный предатель, он был потрясен грубостью того, как его предали. Он не мог понять, что

грубость всякого предательства ощущает только сам преданный, а предатель его не может ощутить, во всяком случае, с такой силой. Поэтому любой преданный предатель, вспоминая свои ощущения, когда он предавал, и сравнивая их со своими ощущениями, когда он предан, с полной искренностью думает: все-таки у меня это было не так низко.

Не успел потрясенный Находчивый пропищать свое оправдание, как сверху раздался голос мартышки.

— Неправда! — закричала она, свешиваясь с кокосовой пальмы. — Я все слышала, и моя дочка тоже!

— Мартышка все слышала! — закричали кролики. — Пусть мартышка все расскажет!

— Братцы-кролики, — кричала мартышка, глядя на воздетые морды кроликов, — друзья по огородам туземцев! Мы с дочкой сидели на грушевом дереве возле Нейтральной Тропы. Я ее обучала вертикальному прыжку... Я ей говорю, чтобы при вертикальном падении прочно захлестывался хвост...

— Не надо! На черта нам сдался твой вертикальный прыжок! — стали перебивать ее кролики. — Ты нам про дело говори!

— Хорошо, — несколько обидевшись, кивнула мартышка, — раз вы такие эгоисты, я это место пропущу... Так вот, обучаю я дочку... и вдруг слышу — по тропе идет Плашатай и поет такую песню:

Задумавшийся некто  
На холмике сидит.  
Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па!  
И Ля-ля-ля-чий Брод.  
Но буря все равно грядет!

В толпе кроликов раздался страшный шум возмущения, свист, топанье.

— Предатели! Предатели! — доносились отдельные выкрики. — Некто — это наш Задумавшийся!

— Я сразу же поняла, что он предает Задумавшегося! — закричала Мартышка. — И тогда же плюнула ему в лицо!

— Молодец, мартышка! — закричали кролики. — Смерть предателю!

— Так исказить мой текст! — воскликнул Поэт, в самом деле искренне возмущенный искажением своего текста.

«Он дважды предатель, — подумал Поэт, — исказив мой текст, он предал меня, а потом уже предал Задумавшегося. Почувствовав себя преданным, он окончательно забыл о доле своей вины в предательстве Задумавшегося: какой он предатель, если он сам предан!»

Король гневно смотрел на Находчивого. Кролики постепенно притихли, ожидая, что он скажет ему.

— Значит, — мрачно обратился к нему Король, — ты так пел:

Пам-пам, пам-пам, пам-пам-па!

И Ля-ля-ля-чий Брод?

— Да, — еле слышно признался Находчивый.

— А разве я тебя учил так петь?

— Нет, — начал было Находчивый испуганно, — вы просили...

— Молчи! — крикнул Король. — Отвечай перед народом: ты внес отсебятину в текст или не внес?!

— Внес, — сокрушенно кивнув головой, подтвердил Находчивый. Ведь он и в самом деле пропустил в третьей строчке слово, на котором настаивал Король.

— Внес отсебятину, — с горестным сарказмом повторил Король. — Куда внес? В королевский текст? Когда внес? Именно сейчас, когда, с одной стороны, напирают удавы, а с другой стороны, никогда раньше опыты по выведению Цветной Капусты не были так близки к завершению.

— Король не виноват, — закричали кролики с удвоенной энергией, радуясь, что им теперь не надо бунтовать, — да здравствует Король! Негодяй внес отсебятину!

— Почему внес? — закричал Король, вытянув лапу обвиняющим жестом. — Не мне отвечай — всему племени!

— Братцы, помилосердствуйте! — закричал Находчивый. — Каюсы! Каюсы! Но почему так получилось? Я все время думал над тем, что нам рассказал Задумавшийся. Мне очень, очень понравилось все, что он нам рассказал про гипноз. Я ему поверил всем сердцем. И я решил: чем

быстрее он докажет нашему Королю и нам, что он прав, тем лучше будет для всех. Я же, братцы-кролики, не знал, что так получится...

— Кто тебя просил?! — кричала возмущенная толпа. — Предатель, негодяй!

— Пустите меня, — раздался истошный крик вдовы Задумавшегося, — я выцарапаю глаза этому Иуде!

— Простите, братцы! — вопил Находчивый.

— Нет прощения предателю, — отвечали кролики, — удав тебе братец!

Тут наконец поднялся Возжаждавший и произнес лучшую в своей жизни речь. Он рассказал о последних минутах Учителя. Он рассказал все, что видел, и все, что слышал. Многие кролики, слушая его рассказ, тяжело вздыхали, а крольчихи всхлипывали. Плакала даже Королева. Она поминутно подносила к глазам капустные листики и, промокнув ими глаза, отбрасывала их в толпу кроликов, что, несмотря на горе, каждый раз вызывало в толпе кроликов смущенный ажиотаж.

Возжаждавший страстно призывал кроликов развивать в себе сомнения во всеисилии гипноза и тем самым продолжать великое дело Задумавшегося.

В конце своей прекрасной речи он обрушился на Короля. Он сказал, что даже если Глашатай и внес отсебятину, то Король, выбирающий в Глашатаи предателя, не достоин быть Королем. Поэтому, сказал он, надо наконец воспользоваться кроличьим законом, которым кролики почему-то никогда не пользуются, и при помощи голосования узнать, не собираются ли кролики переизбрать своего Короля. В самом конце речи Возжаждавший обещал на глазах у всего народа в ближайший праздничный день пробежать туда и обратно по любому удаву. Эту пробежку он посвящает памяти Учителя.

Когда он кончил говорить, огромное большинство кроликов неистово аплодировало ему. По их мордам было видно, что они не только готовы переизбрать Короля, но и довольно ясно предвидят будущее.

Однако и те, что рукоплескали, и те, что воздерживались, с огромным любопытством ждали, что же будет делать Король. В глубине души и те и другие хотели, чтобы Король как-нибудь перехитрил их всех, хотя сами не мог-

ли дать себе отчета, почему им так хотелось. Ну вот хотелось, и все!

Король, покинув свое королевское место, даже как бы махнув на него лапой, хотя и не махнув, но все-таки как бы махнув, что означало, мол, я его вам и без голосования отдам, с молчаливой скорбью стоял, дожидаясь конца рукоплесканий.

— Кролики, — наконец спокойно сказал он голосом, отрешенным от собственных интересов, — предлагаю, пока я Король, минутой всеобщего молчания почтить память великого ученого, нашего возлюбленного брата Задумавшегося, героически погибшего в пасти удава во время проведения своих опытов, которые мы, хотя и не одобряли теоретически, материально поддерживали... Вдова не даст соврать...

— Истинная правда, кормилец! — завопила было вдова из толпы, но Король движением руки остановил ее причитания, чтобы она не нарушала торжественности скорби.

Кролики были потрясены тем, что Король сейчас, когда речь идет о его переизбрании, хлопочет о Задумавшемся, а не о себе.

Все стояли в скорбном молчании. А между тем прошла минута, прошла вторая, третья, четвертая... Король стоял, как бы забывшись, и никто не смел нарушить молчание. Как-то некрасиво, неблагородно говорить, что минута молчания давно истекла. Это был один из великих приемов Короля — вызывать у народа тайное раздражение к его же кумирам. Король, как бы очнувшись, сделал движение, призывающее кроликов расковаться, вздохнуть всей грудью и приступить к неумолимым житейским обязанностям, даже если эти обязанности означают конец его королевской власти.

— А теперь, — сказал Король с благородной сдержанностью, — можете переизбрать своего Короля. Но по нашим законам перед голосованием я имею право выразить последнюю волю. Правильно я говорю, кролики?

— Имеешь, имеешь! — закричали кролики, растроганные его необидчивостью.

— Кого бы вы ни избрали вместо меня, — продолжал Король, — в королевстве необходимы здоровье и дисципли-



лина. Сейчас под моим руководством вы исполните производственную гимнастику, и мы сразу же приступим к голосованию.

— Давай, — закричали кролики, — а то что-то кровь стынет!

Король взмахом руки приказал играть придворному оркестру и, голосом перекрывая оркестр, стал дирижировать государственной гимнастикой.

— Кролики, встать! — приказал Король, и кролики вскочили.

— Кролики, сесты! — приказал Король и энергичной отмашкой как бы вlepил кроликов в землю.

— Кролики, встать! Кролики, сесты! Кролики, встать! Кролики, сесты! — десять раз подряд говорил Король, постепенно вместе с музыкой наращивая напряжение и быстроту команды.

— Кролики, голосуем! — закричал Король уже при смолкшей музыке, но в том же ритме, и кролики вскочили, хотя для голосования и не обязательно было вскакивать.

— Кролики, кто за меня? — закричал Король, и кролики не успели очнуться, как очнулись с поднятыми лапами.

Все, кроме Возжаждавшего, вытянули вверх лапы. А кролик, случайно оказавшийся возле Возжаждавшего, вдруг испугавшись, что его в чем-то заподозрят, вытянул обе лапы.

Королевский счетовод начал было считать вытянутые лапы, но Король, переглянувшись со своим народом и исключительно демократическим жестом показывая свое общенародное пренебрежение всякими там крохоборскими подсчетами, махнул лапой: дескать, не надо унижать алгеброй гармонию.

— Кролики, кто против? — уже более ласковым голосом спросил Король.

И тут только Возжаждавший поднял лапу. Король доброжелательно кивнул ему, как бы одобряя сам факт его выполнения гражданской обязанности.

— Кролики, кто воздержался? — спросил Король, голосом показывая, что, конечно же, ему известно, что таких нет, но закон есть закон, и его надо выполнять.

Дав щедрую возможность несуществующим воздержавшимся свободно выявить себя и не выявив таковых, Король сказал:

— Итак, что мы видим? Все — за. Только двое — против.

— А кто второй? — удивились кролики, оглядывая друг друга и становясь на цыпочки, чтобы лучше оглядеть толпу.

— Я второй, — сказал Король громко и поднял руку, чтобы все поняли, о ком идет речь. После этого, взглянув на Возжаждавшего, он добавил: — К сожалению, народ, поддерживая меня, нас с тобой не поддерживает...

— Во дает! — смеялись кролики, чувствуя нежность к Королю оттого, что он, Король, зависит от их, кроликов, голосования, и они, простые кролики, его, Великого Короля кроликов, не подвели.

Сам Король снова пришел в веселое расположение духа. Он считал, что когда-то придуманная им производственная гимнастика при внешней простоте на самом деле — великий прием, призванный освежать слабеющий время от времени рефлекс подчинения.

— Продолжаю свои нелегкие обязанности, — сказал Король, благодушествуя и подмигивая народу. — Что скажут кролики по поводу предложения Возжаждавшего?

— Зрелища! Зрелища! — закричали кролики радостно.

— Значит, туда и обратно? — спросил Король у Возжаждавшего, подмигивая народу.

— Туда и обратно! — серьезно ответил Возжаждавший.

— Значит, туда внутрь и обратно наружу? — спросил Король под хохот кроликов.

— Нет, — спокойно отвечал Возжаждавший, — туда и обратно снаружи.

— Удава по своему выбору или по любому?

— По любому.

— Кролики, — обратился Король к народу, — для наглядности зрелища выбираем удава подлинней?

— Подлинней! — закричали кролики. — Так будет интересней!

— Хорошо, — сказал Король, — придется договориться с Великим Питоном... Но учти, Возжаждавший, удав согласится на такое унижение только с правом на отглот.

— Разумеется, — спокойно сказал Возжаждавший, — я посвящу этот пробег памяти незабвенного Учителя.

— Конечно, — отвечал Король, — как только договоримся с Великим Питоном, мы устроим зрелище для всего нашего племени.

— Да здравствует Король! Да здравствует Учитель! Да здравствуют зрелища! — кричали кролики, окончательно всем довольные.

— Кстати, как быть с предателем Задумавшегося? — сказал Король и поманил к себе Находчивого, который, пользуясь тем, что Король и кролики отвлеклись, тихонько уполз в толпу, хотя и не осмелился скрыться в ней.

Находчивый вышел из толпы и стоял перед кроликами опустив голову.

— Смерть предателю! — закричали кролики, увидев Находчивого и снова все вспомнив.

— Не можем, — сказал Король задумчиво, — мы вегетарианцы.

— А что, если его скормить тому удаву, по которому будет бежать Возжаждавший? — спросил один из кроликов.

— Остроумно, — согласился Король, — но не можем, потому что мы вегетарианцы. Да и научный опыт не получится. Какой же риск быть загипнотизированным, если удав будет заранее знать, что ему выделили другого кролика.

— Я, как Учитель, — гордо заявил Возжаждавший, — могу рисковать только собой.

— Предлагаю, — сказал Король, — предателя навечно изгнать в пустыню... Пусть всю жизнь грызет саксаулы...

— Пусть грызет саксаулы! — повторили ликующие кролики.

— Убрать и сопроводить, — приказал Король, и двое стражников поволокли Находчивого, который смотрел на Короля и Королеву и на всех Допущенных прекрасными глазами тонущего котенка.

— Обманщик, — сказала Королева, сожалея, что не успела насладиться этими теперь даром пропадающими

ми глазами. — Сам сказал: «Никогда», а сам съел мой подарок.

— Он молодой, ему хорошо саксаулы грызть, — сказал Старый Мудрый Кролик, — а представляете, если б меня выслали туда?

Старый эгоист, глядя на пострадавшего и вспоминая, что и он мог пострадать, требовал к себе сочувствия, словно пострадал именно он.

Когда Находчивого волокли сквозь толпу, снова раздался истошный голос вдовы.

— Убийец! — закричала она и рванулась к Находчивому. — Кто будет кормить моих сироток? Убийец!

Ее едва удалось удержать, и в толпе кроликов поднялся переполох. Король, воздетой лапой добившись тишины, снова обратился к вдове:

— Твой муж — наш брат, несмотря на наши разногласия... Мы тебя не оставим. Твои дети — мои дети.

— В каком смысле? — встревожилась Королева.

— В самом высоком, — сказал Король и показал на небо. После этого он показал на вдову и, обращаясь к придворному казначею, приказал: — Выкатить ей два кочана капусты единовременно и выдавать по кочану ежедневно с правом замены его на кочан Цветной, как только закончатся опыты, за которыми мы следим и способствуем... А сейчас, кролики, по норам, спокойной ночи!

По приказу казначея из дворцового склада выкатили два кочана капусты.

— Благодетель, — зарыдала вдова, упав головой на оба кочана капусты и одновременно обнимая их с боков, чтобы никто ничего не мог отколупать.

— Молодчина наш Король, — говорили кролики, разбредаясь по норам. Некоторые крольчихи с нехорошей завистью глядели на вдову Задумавшегося.

— У других мужья и после смерти в дом тащат, — сказал одна крольчиха, ткнув лапой в бок своего непутевого кролика, — а ты и живой без толку по джунглям скачешь.

— Милая, и мой при жизни не лучше был, — неожиданно бодро успокоила ее вдова и, подталкивая лапами, покатила к норе оба кочана.

На следующий день новый Глашатай был отправлен на Нейтральную Тропу. Здесь он встретился с одним из помощников Великого Питона, и тот его провел в подземный дворец Царя.

Великий Питон возлежал в огромной сырой и теплой галерее подземного дворца в окружении своих верных помощников и стражников. Личный врач ползал вдоль его огромного вытянутого туловища, следя за скоростью продвижения кроликов в желудке Великого Питона. Подземный дворец освещался фосфоресцирующими лампами потустороннего света. Вдоль стен были выставлены чучела наиболее интересных охотничьих трофеев, которые когда-либо приходилось глотать Великому Питону.

Знаменитый придворный удав-скульптор мог совершенно точно восстановить формы любого проглоченного животного по форме выпуклости живота проглотившего его удава.

Среди бесчисленных кроликов, косуль, цапель, обезьян выделялось чучело Туземца в Расцвете Лет, после нелегкого заглота которого Великий Питон был избран Царем удавов.

Дело в том, что загипнотизировать и потом проглотить туземца, особенно если у него за спиной торчит колчан со стрелами — а у этого именно торчал, — адская мука.

Если уж выдавать государственную тайну, то надо сказать, что Великий Питон, в сущности, не гипнотизировал своего туземца. Он наткнулся на него, когда туземец, мертвецки пьяный, спал в джунглях под стволом каштана, из дупла которого он выковырял дикий мед, нажрался его и тут же рухнул.

Сообразительность тогда еще обыкновенного питона проявилась в том, что он не стал тут же под каштаном, где все еще гудел разоренный рой, обрабатывать туземца, а перетащил его в глубину джунглей и там обработал. Обрабатывать пришлось несколько суток, и удавы, собравшиеся вокруг, следили за героическим заглотом Туземца в Расцвете Лет, как позже именовали этого злосчастного обжору.

То, что заглотал он его честно, сами видели все окружающие удавы. А потом уже Великий Питон рассказал о том, как он его загипнотизировал.

С годами он сам забыл о том, что туземец был мертвецки пьян, и искренне считал, что загипнотизировал туземца. И это неудивительно. Ведь спящего туземца Великий Питон видел один только раз, а о том, что он его загипнотизировал, слышал сотни раз — сначала от самого себя, потом и от других.

Надо сказать, что некоторые выдающиеся заглоты животных, чьи скульптурные портреты здесь были выставлены, совершили другие видные удавы. Но когда Великий Питон был назначен Царем удавов, он почему-то ссорился с каким-нибудь видным удавом, после чего видный удав исчезал, а экспонат его оставался. И вот чтобы выдающийся заглот, имеющий воспитательное значение, не пропадал, приходилось присваивать его Великому Питону.

Точнее говоря, ему даже не приходилось присваивать эти выдающиеся заглоты. Ближайшие его помощники и советники сами присваивали ему эти подвиги.

— Но ведь я не заглатывал именно этого страуса, — слабо сопротивлялся он в таких случаях.

— А сколько выдающихся заглотов ты сделал тогда, когда никакой скульптор не мог увековечить твой подвиг? — резко и даже язвительно возражали ему визири и советники.

— Тоже верно, — соглашался Великий Питон, и очередной скульптурный портрет выдающегося заглота присваивался Великому Питону.

Следует отметить еще одно чудо дворца. В самом нижнем помещении его находился склад живых кроликов на случай стихийных бедствий.

Там хранилось около тысячи живых, но законсервированных в гипнозе кроликов. Кролики лежали в ряд, погруженные в летаргический сон. Каждое утро и каждый вечер их оползал самый страшный удав племени по прозвищу Удав-Холодильник.

Если какой-нибудь кролик выходил из состояния гипноза, а такие случаи бывали, то одного взгляда Удава-Холодильника было достаточно, чтобы он снова погрузился в сон. Удав-Холодильник следил за тем, чтобы кролики не просыпались и в то же время чтобы из летаргического сна не переходили в вечный сон смерти, что иногда

случалось. Вовремя убрать мертвецов тоже вменялось в обязанность Удава-Холодильника. В самую жаркую погоду отсюда же подавались кролики отменной прохлады, которыми обкладывали тело Великого Питона.

Третьим чудом подземного дворца считалась комната находок. Сюда приносили всякие интересные предметы, найденные в испражнениях удавов. Поэтому у удавов была привычка внимательно всматриваться в собственные испражнения. Кроме того, в царстве удавов был закон, по которому удавы, обработавшие туземцев, в обязательном порядке должны были сдавать неподдающиеся обработке украшения и оружие.

Дело в том, что удавы старались поддерживать с туземцами хорошие отношения. Каждый случай заглота удавом туземца, если родственники или близкие о нем узнавали, официально осуждался Великим Питоном. Было замечено, что, если такого рода выбросы обработанного туземца возвратить родственнику с выражением соболезнования, он остается очень доволен и быстро успокаивается.

Кстати сказать, рядовые удавы никогда до конца не могли понять, одобряет Великий Питон обработку туземцев или нет. То есть они понимали, что в глубине души (которая находилась в глубине желудка) он всегда одобряет ее, но из высших интересов всего племени иногда может и осудить, причем самым жестоким образом. Но, с другой стороны, туземцы, вечно занятые междоусобными сварами, нередко тайно прибегали к помощи удавов, чтобы расправиться с каким-нибудь из своих врагов.

Обычно в таких случаях из осторожности стороны договаривались через какую-нибудь обезьянку, которая получала свою долю в виде права в первую опять же ночь отсутствия хозяина разорять его поле, когда еще никто не знает о его гибели.

За пяток кроликов можно было нанять подходящего удава. Великий Питон и на это не обращал внимания, если опять же высшие интересы племени не заставляли его принять крутые меры.

Сам он, если приходилось разговаривать с туземцами, обычно из соображений такта приказывал занавешивать скульптуру Туземца в Расцвете Лет.

Однако пора возвратиться к Плашатаю, который высказал предложение своего Короля Великому Питону, время от времени поглядывая на убранство залы подземного дворца, придававшее ему величественный, то есть зловещий вид.

Плашатай рассказал об условиях пробежки Возжаждавшего по удаву. Как всегда, в принятой у кроликов дипломатии ничего прямо не говорилось. Король передавал любезному собрату, что если какой-нибудь расторопный удав примет это предложение и даст обоюдopoлезный урок, то оба племени от этого выиграют как в физиологическом, так и в психологическом смысле.

Плашатай также рассказал о возмутительном поведении удава, проглотившего Задумавшегося.

Он сказал, что данный удав, нарушая международный договор о гуманном отглоте, вел с обрабатываемым кроликом издевательские разговоры, применял пытки в вида колебаний и капризов и в конце концов смертельно измученного кролика отказался глотать, так что несчастная жертва вынуждена была сама броситься в пасть удава. Все это происходило, добавил Плашатай в конце, на глазах у живого кролика, который не собирался давать обет молчания.

Великий Питон выслушал его, подумал и сказал:

— Передай от моего имени Королю: мы не туземцы, чтобы устраивать зрелища. А за сообщение о недостойном поведении удава — спасибо: будет наказан.

Когда Плашатай покинул помещение, Великий Питон спросил у своего главного Визиря:

— Что такое «обет молчания»?

— Послеобеденный сон, — ответил тот не задумываясь. Он на все вопросы умел отвечать, не задумываясь, за что и был назначен Главным Визирем Царя.

— Собрать удавов, — приказал Великий Питон, — буду говорить с народом. Присутствие вышедшего на отглот Задумавшегося обеспечить целиком! Созвать все взрослое население удавов. Удавих, высиживающих яйца, снять с яиц и пригнать!

В назначенный час Великий Питон возлежал перед своими извивающимися соплеменниками. Он ждал, когда они наконец удобно разлягутся перед ним. Некоторые



влезли на инжировое дерево, росшее перед дворцом, чтобы оттуда им лучше было видно Царя, а Царю, если он захочет, их.

Великий Питон, как всегда, речь свою начал с гимна. Но на этот раз не бодрость и радость при виде своего племени излучал его голос, а, наоборот, горечь и гнев.

— Потомки дракона, — начал он, брезгливо оглядывая ряды удавов.

— Наследники славы, — продолжил он с горечью, показывая, что наследники проматывают великое наследство.

— Питомцы Питона! — пронзительным голосом, одолевая природное шипение, продолжал он, доказывая, что нет большего позора, чем иметь таких питомцев.

— Младые удавы, — выдохнул он с безнадежным сарказмом...

— Позор на мою старую голову, позор!! — забился Великий Питон в хорошо отработанной истерике.

Раздался ропот, шевеление, шипение сочувствующих удавов.

— Что случилось? Мы ничего не знаем, — спрашивали периферийные удавы, которые свое незнание вообще рассматривали как особого рода периферийное достоинство, то есть отсутствие дурных знаний.

— Что случилось?! — повторил Великий Питон с неслыханной горечью. — Это я уж вас должен спросить: что случилось?! Старые удавы, товарищи по кровопролитию, во имя чего вы гипнотизировали легионы кроликов, во имя чего вы их глотали, во имя чего на ваших желудках бессмертные рубцы и раны?!

— О Царь, — зашипели старые удавы, — во имя нашего Великого Дракона.

— Сестры мои, — обратился Царь к женской половине, — девицы и роженицы, с кем вы спите и кого вы высиживаете, я у вас спрашиваю!

— О Царь, — отвечали как роженицы, так и девицы, — мы спим с удавами и высиживаем яйца, из которых вылупляются младые удавы.

— Нет! — с величайшей горечью воскликнул Царь. — Вы спите с кроликами и высиживаете аналогичные яйца!

— О Великий Дракон, что же это? — шипели испуганные удавихи.

— Предательство, я так и знал, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — нашим удавихам подменили яйца.

— Коротышка! — вдруг крикнул Царь. — Где Коротышка?!

— Я здесь, — сказал Коротышка, раздвинув ветви и высовываясь из фиговых листьев. В последнее время на царских собраниях он предпочитал присутствовать верхом на спасительном дереве.

— У-у-у! — завыл Царь, ища Коротышку глазами на инжировом дереве и не находя слов от возмущения. — Фиговые листочки, бананы... Разложение... А где Косой?

— Я здесь! — откликнулся Косой из задних рядов и, с трудом приподнявшись, посмотрел на Царя действующим профилем. — Я не смог пробраться...

— У, Косой, — пригрозил Царь, — с тебя тоже началось разложение... Где твой второй профиль, я спрашиваю?

— О Царь, — жалобно прошипел Косой, — мне его растоптали слоны...

Таким образом, подготовив психику удавов, Царь рассказал всем собравшимся о позорном поведении молодого удава во время отглотта Задумавшегося. Пока он говорил, два стражника выволокли из толпы молодого удава, столь неудачно проглотившего Задумавшегося.

В свое оправдание он стал рассказывать известную историю о том, что был переутомлен, что сначала крот его обманул, а потом он сам растерялся, увидев вместо обещанного кролика двух, потому что никогда не слышал, что кролики так быстро размножаются.

Удавы были возмущены поведением своего бывшего соплеменника.

— Зачем ты с ним разговаривал, — спрашивали они у него, — разве ты не знал, что кролика надо обрабатывать молча?

— Я знал, — отвечал им бывший юный удав, — но это был какой-то странный кролик. Я его гипнотизирую, а он разговаривает, ерзает ушами, чихает в лицо!

— Ну и что, — отвечали удавы, — он чихает, а ты его глотай.

Тут выступил один периферийный удав и от своего имени выразил возмущение всех периферийных удавов.

Он сказал, что у него лично был совершенно аналогичный случай, когда он застал двух кроликов во время любовного экстаза. Оказывается, он лично, в отличие от своего бывшего собрата, не растерялся, а загипнотизировал обоих сразу и тут же обработал.

Удавы с уважительным удовольствием выслушали рассказ периферийного удава. Даже Царь заметно успокоился, слушая его. Ему ни разу не приходилось глотать кроликов, занятых любовью, и он решил после собрания поговорить с периферийным удавом с глазу на глаз, чтобы поподробней узнать, какие вкусовые ощущения тот испытал во время этого пикантного заглота.

— Присматривайтесь к опыту удава из глубинки, — сказал Царь, — он очень интересно здесь выступил...

Младой удав попытался оправдаться, говоря, что его кролики, в отличие от тех периферийных, не занимались любовью, а, наоборот, думали вместе, что далеко не одно и то же.

— Одно и то же, — шипели возмущенные удавы.

Он сделал еще одну, последнюю попытку оправдаться, ссылаясь на то, что, лишив кроликов самого мудрого кролика, обезглавил их и в то же время приобрел для удавов его мудрость.

— Сколько можно учить таких дураков, как ты! — отвечал Царь — Всякая мудрость имеет внутривидовой смысл. Поэтому мудрость кролика для нас не мудрость, а глупость... Скажи спасибо периферийному удаву, он улучшил нам настроение своим рассказом... Мы решили тебя не лишать жизни, но изгнать в пустыню. Будешь глотать саксаулы, если ты такой вегетарианец, и пусть Коротышке это послужит уроком...

По знаку Великого Питона удавы стали расползаться. Младой удав под конвоем двух стражников был выволачен в сторону пустыни.

— «...Удавами должен править удав», — услышал он за собой бормот Царя, — а я, по-твоему, кусок вонючего... бревна, что ли?

Прошло с тех пор несколько месяцев, а то и год. Точно никто не знает. Проклиная свою судьбу, особенно Плаща-

тая, удав, изгнанный из своего племени, ползал в раскаленных песках в поисках пищи.

Глядя на его дряблкое, сморщенное тело, трудно было сказать, что еще какой-то год тому назад это был полный сил, юный, подающий надежды удав. Нет, сейчас про него можно было сказать, что это немолодой, много и плохо живший змей.

На самом деле нравственные терзания, вызванные хроническим недоеданием, сделали свое дело.

От саксаулов в первые же дни пришлось отказаться ввиду настойчивых требований желудком более высокоорганизованной материи.

Несколько раз ему удалось способом Косого приманить орлов, паривших над пустыней. Но способ этот в условиях пустыни оказался чересчур дорогим. Долгое время лежать на песке под палящим солнцем, да еще не двигаться, было ужасной мукой.

Однажды, получив солнечный удар, он едва пришел в себя и уполз в тень саксаула. Он решил больше не притворяться мертвым. Вообще, он здесь в пустыне заметил, что притворяться мертвым как-то неприятно. Притворяться мертвым интересно, когда ты здоров и полон сил, а когда ты больной, заброшенный в пустыню удав, притворяться мертвым противно, потому что слишком похоже на правду.

В конце концов он приспособился ловить мышей и ящериц у маленького оазиса. Зарывшись в песок, он поджидал, когда мыши или ящерицы захотят напиться. И тут удав, если они близко от него проходили, высунув голову из песка, заставлял их цепенеть от ужаса и глотал.

Если они слишком долго не являлись на водопой, он стряхивал с себя песок, напивался воды и, охладив в ней свою раскаленную шкуру, снова зарывался в ненавистный песок.

Однажды на этот водопой прискакал Находчивый. С тех далеких времен он тоже страшно изменился. Шерсть на нем свалилась, правое ухо он разрезал о кактус, и оно у него раздвоилось, как ласточкин хвост. Тело его так опало, что можно было пересчитать каждое ребрышко, что, кстати говоря, удав машинально и сделал.

— Привет предателю, — сказал он, выпрастывая голову из песка и отряхивая ее. — Не думал, что на этом свете встречу с тобой.

Находчивый перестал лакать воду и обернулся.

— Что это еще за Удав-Пустынник? — спросил кролик, без всякой боязни глядя на удава. К сожалению, смелость слишком часто бывает следствием чувства обесцененности жизни, тогда как трусость всегда следствие ложного преувеличения ее ценности.

Кстати, Находчивый, изгнанный из джунглей раньше молодого удава, ничего не знал о его судьбе, а в лицо его вообще никогда не видел.

— Не узнаешь? — уныло спросил Удав-Пустынник, понимая, что он должен был сильно измениться за это время, и отнюдь не в лучшую сторону.

— Не имел чести быть знакомым, — равнодушно отвечал Находчивый и уже собирался было ускакать, но остановился, заинтересованный словами Удава-Пустынника.

— Я из-за тебя потерял родину, то есть место, где я имел прекрасную пищу, — прошипел удав, — из-за твоей подлой песни я вышел на отглот Задумавшегося и кончил изгнанием в пустыню.

— Ах это ты, рохля, — сказал Находчивый презрительно, — так тебе и надо.

— Больше всех на свете я ненавижу тебя, предатель проклятый, — процедил Удав-Пустынник, с горькой ненавистью глядя на Находчивого.

— А я, представь, тебя, — ответил Находчивый. — Да, я сделал грех, предав своего же брата-кролика. Но ты, болван, не смог как следует воспользоваться моим предательством и тем самым как бы лишил его смысла. Что может быть унизительнее для предавшего, чем сознание того, что его предательством не смогли как следует воспользоваться?

— Ненавижу, — повторил Удав-Пустынник. — Ты, ты натолкнул меня на этот несчастный соблазн...

— Мне наплевать на твою ненависть, — сказал Находчивый. — Здесь, в пустыне, негде пастись и поневоле остается много времени на раздумья...

— И до чего же ты, подлец, додумался? — спросил удав, слегка придвигаясь к нему.

— До многого, — отвечал Находчивый, не обращая внимания на движение удава. — Я понял тайну предательства. Ведь недаром меня считали Находчивым. Сначала я думал, что все дело в том несчастном капустном листике, который я обещал Королеве засушить на память, а потом не удержался и по дороге съел его напополам. Позже я понял, что очень уж мне не хотелось покидать королевский стол. А затем уже я додумался до самого главного. Ловушка всякого предательства, когда оно задумано, но еще не совершено, — в двойственности твоего положения.

— Что это еще за двойственность? — спросил удав и поближе придвинулся к Находчивому, мысленно сладко прогибая мышцами живота его слабые ребрышки.

— А вот в чем двойственность, — продолжал Находчивый, даже как бы вдохновляясь. — Решив предать, ты мысленно уже владеешь всеми теми богатствами, которые тебе дает предательство. Я чувствовал себя владельцем самой свежей капусты, самой зеленой фасоли, самого сладкого гороха, не говоря о таких пустяках, как морковь. И все это — еще не совершив предательства, заметь, вот же в чем подлый обман! В мечтах я как бы перебежал линию предательства, украл все эти блага у судьбы и, не совершив самого предательства, возвратился в положение честного кролика. И пока я не совершил самого предательства, радость по поводу того, что я обманул судьбу, то есть мысленно украл все блага предательства, ничего за это не заплатив, так велика, что она перехлестывает представление о будущем раскаянии. Вот же как мы устроены! Мы можем радоваться радостями, которые нам предстоит испытать, но мы не можем убиваться угрызениями совести по поводу задуманного предательства. Если и можем, то в тысячу раз слабей. Это точно. Как все это получается? Кажется, вот ведь я мысленно совершил предательство — а ничего, жить можно. Стало быть, и в самом предательстве ничего особенного нет. И это ощущение, что в предательстве ничего особенного нет, я никак не связываю с тем, что оно результат того, что само предательство еще не совершилось! Ты понимаешь, какое коварство судьбы! Дьявол, для того чтобы нас подтолкнуть к злу, облегчает ужас перед ним воз-

возможностью не совершать зло, возможностью поиграть с ним. Да я тебя и не заставлю совершать зло, говорит дьявол, я просто думаю, что ты о нем неправильного мнения. Это не зло, говорит он, это трезвый расчет, это возможность отбросить глупые предрассудки. Во всяком случае, познакомьтесь, поговорите, прорепетируйте ваши будущие отношения, и, если тебе все это не понравится, ты можешь потом не делать. Тут мы все и ловимся. Пока мы играем со злом, это еще не совершенное зло, подсказывает нам наше глупое сознание, но на самом деле это уже совершенное зло, потому что, играя со злом, мы потеряли святую безразличность, которой одарила нас природа. Вот почему предателям всегда платят вперед и всегда платят так позорно мало! Но ведь можно было бы платить еще меньше! Ведь как мало ни плати, а предающий до совершения предательства воспринимает эту плату как чистый выигрыш: предательства еще нет, а плата уже есть, и радость тоже. И опять же, раз есть радость, значит, и в самом будущем предательстве ничего особенного нет, иначе бы откуда взяться радости...

— Это уж слишком как-то мудрено, — перебил его Удав-Пустынный. — Я, например, проглотил самого мудрого кролика и то не совсем тебя понимаю...

— Но слушай дальше, — продолжал Находчивый. — Тут-то ты и понимаешь, что перебежать назад невозможно. Душа испоганена, и при этом оказывается — недоплатили. Ты чувствуешь страшную несправедливость по отношению к себе. Да, именно к себе, а не к преданному! К нему ты испытываешь ненависть. Позволив тебе предать себя, он сам тебя этим предал, он как бы сделался соучастником обмана. Ведь что получается, Пустынный?! Ведь ты до самого конца надеялся, что как-нибудь обойдется там, как-нибудь перебежишь назад. В крайнем случае вырежешь, отдашь предательству кусочек испоганенной души, а остальное оставишь себе. Ведь ты не договаривался всю душу отдавать предательству, да ты и не пошел бы на такой договор! Удаву это трудно понять, но мы, кролики, от природы теплокровны и чистоплотны. Я бы сравнил душу с чистой белой скатертью. Именно на этой чистой белой скатерти я мечтал в будущем есть чистую королевскую капусту, фасоль и горох. А что же предатель-

ство? Да, я знал, что оно не украсит моей белоснежной скатерти, но я думал: что ж, оторву кусок, испоганенный предательством, а остальное расстелю, чтобы насладиться благами жизни. А тут что же получается? Хап! — вся скатерть в дерьме! Это как же понимать? А на чем, отвечайте мне, есть заработанную капусту, горошек, фасоль? Я-то как мечтал? Буду есть с чистой скатерти и бедным кроликам от моего стола буду кое-что подбрасывать, ворча на бездельников. О, какое это счастье — ворчать на бездельников и чистоплюев и подбрасывать им со своего щедрого стола! А теперь что получается? Самому есть с дерьмовой скатерти? Оказывается, предательство измывает своим дерьмом всю скатерть, а не часть ее, как я думал. Так ведь я ж этого не знал?! Выходит, мне ничего не заплатили, выходит, мне ничего не остается, кроме этой дерьмовой скатерти, с которой я должен есть одерьевшие от нее продукты? Кто поймет сиротство кролика с испоганенной душой? Ведь мы, кролики, все-таки существа теплокровные и потому чистоплотные. О, там, в джунглях, я это почувствовал почти сразу, хотя и не так ясно, как теперь. Даже эти вонючие марьяшки стали меня презирать. Злоба — вот что тогда осталось во мне. И самая злобная злоба — на чистеньких! Что ж вы меня не остановили, если вы такие хорошие, а?!

— Ну, это уж ты завираешься, — перебил его Удав-Пустынник, — даже до того, как я проглотил самого мудрого кролика, я мог понять, что ты сказал глупость. Кто же тебя мог остановить, когда ты никому не говорил о своем предательстве? Какой же ты все-таки подлец! Напетлял тут всяких словес, чтобы скрыть суть. А суть — вот она: ты, теплокровный кролик, предал брата, значит, пролил кровь такого же теплокровного кролика. Нет, я чувствую, что я тебя должен проглотить. Пусть уже и силы не те, и жара мешает гипнозу, но ненависть, я чувствую, мне поможет...

— Не очень-то пугай, — отвечал Находчивый, — все-таки, по-моему, Задумавшийся был прав насчет гипноза.

— Не говори про него, гад! — воскликнул Пустынник в сильнейшей ярости и ощущая, что эта ярость сжимает и разжимает мышцы его тела. — Ты же его предал и ты же хочешь воспользоваться его открытием?



— И не собираюсь, — вяло отвечал Находчивый. — Дело в том, что я сейчас ни во что на свете не верю и, значит, не могу верить в твой гипноз... Можешь сколько хочешь зыркать своими буркалами!

— У-у-у, как я тебя ненавижу! — прошипел Пустынник, снова ощущая, что мышцы его тела сладостно сжимаются и разжимаются. — Я чувствую, что моя ненависть рождает какую-то плодотворную мысль...

— Удав, рождаящий мысль? — усмехнулся Находчивый, глядя на Пустынника скучающими глазами. — Это у тебя от жары...

— Нет, нет, — повторил Пустынник, нетерпеливо извиваясь, — я всем телом чувствую рождение новой мысли. Мне кажется... Я не уверен... Мне кажется, я тебя смогу обработать каким-то новым способом...

— Ты имеешь в виду зловонное дыхание? — спросил Находчивый. — Так знай, что ты опоздал... Кролик, который носит в себе зловоние собственной души, не боится никакого зловонного дыхания...

— Нет, нет! — извиваясь в сильнейшем волнении, воскликнул удав. — Моя ненависть рождает какую-то странную любовь... Суровую любовь, без нежностей... Я чувствую неостановимое желание сжать тебя в объятиях...

С этими словами Удав-Пустынник одним прыжком обвился вокруг кролика и стал его неумело и грубо душить.

— Отстань от меня, — отбивался от него Находчивый, еще не очень понимая, что делает этот обезумевший удав, — убери свои мокрые объятия... Во-первых, я не удавиха... Мне больно... Я даже не крольчиха... Что за извращения...

— Подожди, — бормотал удав, закручиваясь вокруг Находчивого, — еще одно колечко... Просунем головку... Еще один узелок... Туже... Туже...

— Ненавижу всех! — успел крикнуть Находчивый, теряя сознание в объятиях удава.

— Уф, — вздохнул удав, — так устал, как будто не я душил, а меня душили... Неудивительно — первая в мире обработка кролика без гипноза... С таким гениальным открытием меня Великий Питон примет с распростертыми объятиями... Хотя теперь это может звучать и дву-

смысленно... Сейчас подкреплюсь — и к своим... Еще видно будет, кто достойнее быть Царем удавов...

С этими словами он приступил к заглатыванию кролика. Так окончилась жизнь Находчивого, обладавшего немалыми способностями, но, к сожалению, больше, чем свои способности, любившего королевский стол, к которому и был допущен, но, увы, слишком дорогой ценой.

А между тем за время изгнания Пустынника и Находчивого в царстве удавов, как, впрочем, и в королевстве кроликов, произошли важные события. Открытие Задумавшегося относительно гипноза да еще обещания Возжаждавшего пробежать по удаву туда и обратно во многом расшатали сложившиеся веками отношения между кроликами и удавами.

Появилось огромное количество анархически настроенных кроликов, слабо или совсем не поддающихся гипнозу. Большое количество удавов сидело на голодном пайке. Некоторые из них стали до того нервными, что вздрагивали и в ужасе оборачивались на малейшее прикосновение, думая, что это кролик хочет пробежать по ним. Один удав даже пустился наутек, когда неожиданно на него упал всего-навсего грецкий орех.

От периферийных удавов поступали еще более зловещие сообщения. Там авторитет удавов пал так низко, что наблюдались случаи, когда на удавов, отдыхающих под деревьями, обезьяны мочились сверху. Правда, делали это они с достаточно большой высоты и потом, извинившись, объясняли, что они это сделали по рассеянности. Трудно было понять, почему раньше за ними не наблюдалось столь целенаправленной рассеянности.

— Этот вопрос мы не можем решить отдельно, — отвечал Великий Питон на жалобы периферийных удавов, — мы его решим, как только укрепим позиции гипноза... А пока берите пример с вашего земляка, сразу обработавшего влюбленную пару.

Так отвечал им Великий Питон, но это было слабым утешением. А что он мог сделать, если даже рядом с его подземным дворцом иногда раздавались возмутительные выкрики кроликов.

Действие гипноза катастрофически слабело. Чтобы вызвать в удавах угасающий боевой дух, Великий Питон приказал удавам, живущим достаточно близко от двorca, каждый день перед охотой знакомиться с его боевыми трофеями, а периферийным удавам раз в месяц приползать большими группами. Но это не только не помогало, но и вызывало в удавах еще большую ярость.

— То когда было, — говорили они и уныло уползали в джунгли.

А там кролики выделявали черт-те что! То они вдруг давали стрекача в самый разгар гипноза, то они вступали в какие-то издевательские переговоры во время гипноза: мол, что я буду с этого иметь, если дам себя проглотить, и так далее и тому подобное.

Один кролик во время гипноза, уже притихнув, уже погруженный в гипнотическую нирвану, вдруг подмигнул удаву глазом, покрытым смертельной поволокой. Удав, потрясенный этой медицинской новостью, приостановил ритуал и посмотрел на кролика. Кролик притих. Тогда удав решил, что это ему примерещилось, и снова, выполняя ритуал гипноза, опустил голову и уставился на него своими незакрывающимися глазами. Кролик совсем притих, глаза его покрылись сладостной поволокой, но, только удав хотел распахнуть свою пасть, как тот снова подмигнул ему, словно что-то важное хотел сказать. Удав снова приостановил гипноз, но кролик снова сидел перед ним, притихший и вялый.

Видно, мерещится, подумал удав и снова приступил к гипнозу. И снова повторилось то же самое. Умиравший глаз кролика в последнее мгновение лихо подмигнул удаву. Наконец, в шестой или в седьмой раз удав не выдержал, и как только кролик подмигнул ему, он попытался схватить его пастью, но кролик, неожиданно взмыв свечой, сделал сальто и ускорился.

Что он этим хотел сказать, думал удав, не может же быть, чтобы тут не было какой-то причины.

Несколько дней он разыскивал этого кролика, надеясь узнать, почему тот ему подмигивал. Он решил, что кролик хотел сообщить ему какую-то важную тайну, а он, старый удав, верный традициям, не стал с ним заговаривать во время обработки. Теперь он решил во что бы то

ни стало найти этого кролика и узнать у него, в чем было дело.

Наконец он увидел своего кролика возле куста ежевики, который тот небрежно обгладывал. Даже не пытаясь его загипнотизировать, он напомнил ему о себе и спросил, почему тот подмигивал ему во время гипноза.

— Просто так, — сказал кролик, вбирая в рот шершавый лист ежевики, — пошухарить была охота...

— Пошухарить?! Во время гипноза?! — воскликнул старый удав и умер, потрясенный всеобщим падением нравов.

Другой удав дошел до позорного унижения. Его с ума свела одна очаровательная жирная крольчиха, которая во время гипноза хоть и не подмигивала, но каждый раз, как бы придя в себя, в последний миг отскакивала в сторону.

Так она промучила его с утра до полудня и наконец, кокетничая перед ним своими жирными боками, сказала:

— Укради у туземцев кочан капусты, тогда я наемся и отдамся тебе...

Они договорились, что удав с кочаном приползет на это же место. Волнуясь и спеша, удав пополз в ближайшую деревню, залез в огород, вырвал там кочан капусты, но, когда попытался просунуть этот кочан сквозь дыру плетня, был обнаружен туземцами и избит.

Дело в том, что этот глупец пытался кочан капусты всунуть в дыру, размер которой был намного меньше окружности кочана. Думая, будто все тела обладают свойством змей переливать себя в любой проход, он, видя, что кочан капусты никак не проходит в дыру, пришел в бешенство и так расхрустелся прутьями плетня, что был услышан туземцами.

За этим занятием они его застали и избили палками до полусмерти. Туземцы, не намного отличаясь от него умом, решили, что он убит, и для устрашения других удавов повесили его на плетень. После этого, смеясь над его несообразительностью, они заделали дыру в плетне, подняли кочан, и, слегка обтерев его, тут же съели. Ночью избитый удав пришел в себя и уполз в джунгли.

Между удавами и туземцами всегда были довольно приличные отношения. Учитывая, что кролики разоряли ого-

роды, а удавы уничтожали кроликов, туземцы уважительно относились к ним, хотя из приличия перед остальными обитателями джунглей никак этого не подчеркивали.

Более того, иногда они присоединялись к тем или иным протестам обитателей джунглей по поводу особенно зверских случаев обработки удавами своей добычи, ну, например, обработки крольчихи на глазах у крольчонка или наоборот.

В отдельных, правда очень редких, случаях, если удаву удавалось обработать слабосильного старика или заблудившегося в джунглях ребенка, вождь туземцев посылал своего человека к Великому Питону с жалобой, неизменно указывая, что преступление совершилось на глазах у обезьян.

Великий Питон неизменно обещал разобраться в деле и наказать виновного, каждый раз возвращая прищельцу непереваренные предметы, найденные в испражнениях провинившегося удава: кожаный талисман, бусы, браслеты, бронзовый топорик или обломок копья с костяным наконечником.

Все это Великий Питон возвращал посланцу вождя с тем, чтобы тот передал эти предметы родственникам погибшего с выражением самого искреннего соболезнования и обещанием наказать виновного. При этом, если дело касалось мужчины, Великий Питон, кивая на обломки его оружия, прошедшие сквозь удава, говорил:

— Виновного накажем, хотя он сам себя достаточно наказал...

Интересно отметить, что случаи гибели туземцев, оставшиеся незамеченными обезьянами, из соображений высшего престижа, вождем туземцев предпочиталось не рассматривать. Считалось, что туземцев удавы вообще не смеют трогать, а случаи нападения объяснялись тем, что тот или иной удав спутал туземца с обезьяной.

Правда, на этот раз посланец вождя выразил по поводу странной попытки удава стащить кочан капусты самый решительный протест.

Великий Питон самым искренним образом разделил возмущение вождя туземцев. Он решил, что это Коротышка, продолжая деградировать, окончательно уподобился кроликам и обезьянам.

— Удавы сейчас переживают временные трудности, — сказал Великий Питон посланцу вождя, — но удав, ворующий капусту, — этого никогда не было и не будет. Есть у нас один вырожденец по имени Коротышка, который всегда позорил и продолжает позорить наше племя. Травите его собаками, забивайте его палками, мы только спасибо вам за это скажем!

— Передам, — отвечал посланец и удалился, а придя в деревню, рассказал вождю все, что слышал, и добавил от себя, что удавы стали не те.

А удавы в самом деле стали не те. Забавный случай рассказывали по джунглям обезьяны. Оказывается, одна обезьяна видела, как воробей сел на свернувшегося удава, приняв его за кучу слонячьего дерьма. Говорят, этот нахальный воробышек клюнул его несколько раз и, чиркнув: «Дерьмо, да не то», — улетел.

Даже если этого случая и не было, сама возможность распространять такие анекдоты свидетельствовала о неслыханном падении престижа.

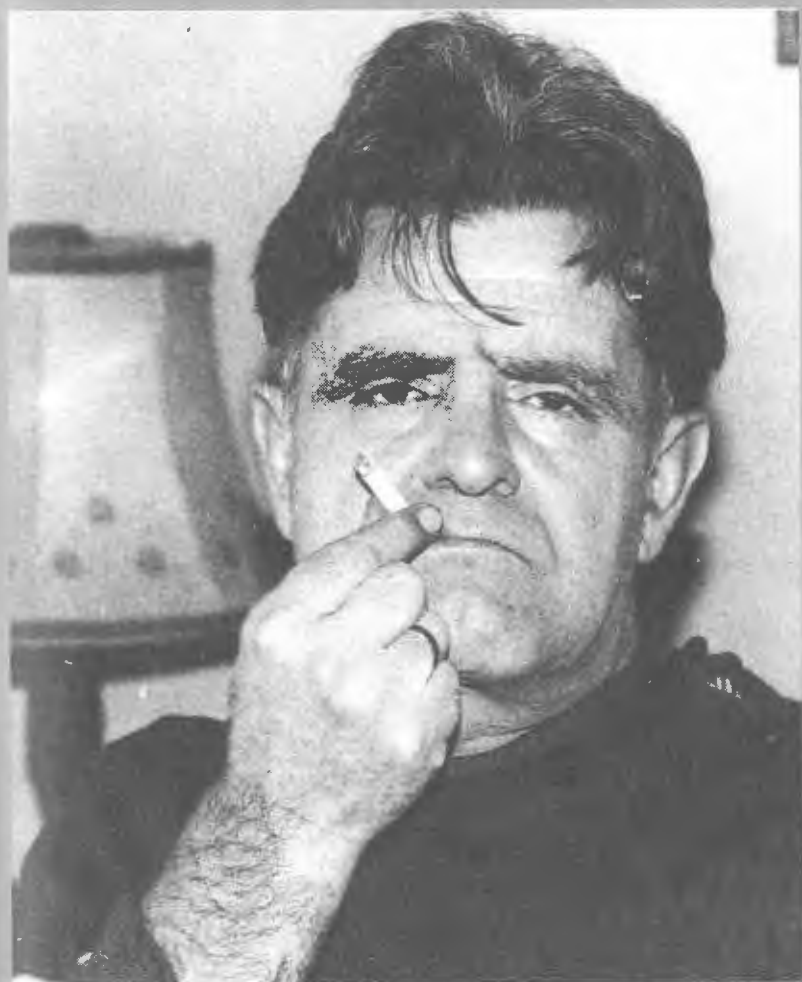
Да, в это время удавы в самом деле стали не те. Дело дошло до того, что лучшие удавы из царских охотников начали давать осечки. Обычно они во время придворных выползов двигались впереди и, загипнотизировав кролика, давали знать, что дичь готова к обработке.

Великий Питон подползал со свитой и, если кролик ему казался достаточно аппетитным, обрабатывал его сам, а если находил, что он так себе, оставлял его свите.

Но теперь было не до свиты. Свите пришлось пользоваться скудным пайком из царского холодильника, а охотиться сами они уже не могли, потому что давно отучились работать с неоцепеленым кроликом.

В день возвращения Удава-Пустынника в джунгли Великий Питон впервые за все время своего царствования остался без завтрака. Правда, одному из царских охотников удалось загипнотизировать довольно приличного кролика. Он отполз в сторону, а когда Царь приблизился к своей добыче, кролик вдруг встряхнулся и убежал.

— Спасибо за завтрак, — только и сказал Великий Питон, оглянувшись на охотника.





С поэтом Анатолием Жигулиным





Андрей Битов и Фазиль Искандер



С Олегом Чухонцевым



Андрей Вознесенский, Фазиль Искандер, Нели Тарба, Алексей Гогов



Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов.  
Май, 1964



С академиком Д.С. Лихачевым



Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Наум Коржавин



С академиком М.Л. Гаспаровым





Юрий Кувалдин, Юлий Ким, Сергей Шевелев и Фазиль Искандер.  
Конец 80-х годов



С Кайсыном Кулиевым и Станиславом Рассадиным. 60-е годы



Виды транспорта писателя-путешественника







Будат Окуджава, Фазиль Искандер и Резо Габриадзе



С Юрием Черниченко и Майей Плисецкой.  
Сицилия, 1987



Удачливый автор (в отличие от неудачливого Чика)



Лыхненский православный храм





После получения премии  
«Золотой Остап»



Альберто Моравиа с лауреатом премии Malaparte  
Фазилом Искандером. Капри, 1988



— А ты бы еще чухался, — дерзко ответил ему охотник, и Царь, молча проглотив обиду (вместо кролика), уполз в свой подземный дворец.

Там его ждал удав, посланный рано утром к Королю кроликов на тайные переговоры. Великий Питон извещал Короля, что такое резкое нарушение равновесия природы обязательно приведет к дурным последствиям не только для удавов, но и для самих кроликов, не говоря об остальных обитателях джунглей. В этой связи он просил Короля держать кроликов в рамках хороших старых традиций.

— Так что он тебе сказал? — спросил Великий Питон у посланца, голодной зевотой подавляя сосущие позывы своего бездонного желудка. Он то и дело оглядывался на чучела своих боевых трофеев, которые в этот миг казались ему свежезагипнотизированными кроликами, грациозными косулями, стройными цаплями.

— Во имя Дракона, прикройте, — застонал он, не выдержав этой пытки, — если есть здесь кто-нибудь... Невозможно работать...

И только после того, как банановыми листьями были прикрыты все трофеи, он продолжил беседу со своим посланцем.

— Так что он тебе сказал? — спросил Великий Питон, уже по кислому выражению лица своего посланца понимая, что ничего хорошего ожидать не следует.

— Он говорит — сам еле держится, — отвечал посланец, — только за счет Цветной Капусты...

— А что, — спросил Великий Питон, — они его тоже не слушают?

— Да, — отвечал посланец, — он говорит, каждое утро, когда передают сводку расстояния действия гипноза, кролики откровенно хохочут...

— Понятно, — мрачно кивнул Великий Питон. — Ну, ладно, пока иди...

Стоит сказать, что в этот период, даже по сильно завышенным официальным сводкам королевской канцелярии, видно, что кривая гибели кроликов в пасти удавов резко упала.

Как королевская пропаганда ни преувеличивала количество гибнущих кроликов (теперь она утверждала,

что удавы сейчас охотятся в основном в самых глухих и отдаленных джунглях королевства, где даже наблюдался случай зверского двойного заглота влюбленных кроликов), все-таки рядовые кролики не могли не понимать, что удавы стали не те.

Они сами и многие их родственники и знакомые неоднократно усилием воли прерывали гипноз, а некоторые из них проделывали все то, что мы уже наблюдали, или нечто подобное.

Случай с заглотом влюбленных кроликов, как мы знаем, действительно имевший место и в самом деле возмутительный, пропаганда довела до того, что многие кролики вообще перестали верить в его реальность.

Сначала кроликам рассказали то, что было известно об этом злодеянии. Видя, что кролики возмущены и отчасти подавлены этим зверством, утренняя сводка каждую неделю стала передавать «Новые подробности о зверстве удавов на периферии».

В конце концов в одном из последних репортажей «С места трагедии» скороход принес весть о том, что влюбленные, оказывается, умоляли удава отвернуться и не гипнотизировать их, хотя бы до окончания их первой и, увы, последней близости. Но, оказывается, безжалостный удав не захотел их слушать, и тогда влюбленные пришли к героическому решению любить до конца и, физически погибнув в пасти удава, идейно его победили.

— Откуда он узнал эти подробности? — начали сомневаться кролики.

— Как — откуда? — пояснял скороход сомневающимся. — Обезьяны рассказывают... Они все видели и слышали...

— И то, что это была первая близость влюбленных?

— И то, что это была их первая близость, — отвечал скороход.

— Что-то не верится, — говорили кролики, зная чистоплотность своих собратьев и невозможность того, чтобы они своему палачу, то есть удаву, стали бы рассказывать такие вещи.

— Вам не удастся осквернить светлый образ наших влюбленных, — говорил Король, глядя в толпу кроликов



и стараясь заметить сомневающихся. Те не слишком прятались, хотя и не слишком высовывались.

Сложность того исторического момента заключалась в том, что кролики, с одной стороны, под влиянием учения Задумавшегося, которое неустанно внедрял в их сознание Возжаждавший, и в самом деле достаточно часто выдерживали взгляд удавов, что, в свою очередь, выражалось в виде возрастающей непочтительности к личности Короля и его власти.

Но, с другой стороны, полной победы Возжаждавшего кролики тоже не хотели, потому что тогда им пришлось бы оставить в покое огороды туземцев. Им нравилось жить так, как они живут сейчас: немножко слушаться Короля, немножко выполнять заветы Задумавшегося, как можно реже поддаваться гипнозу и как можно чаще посещать огороды туземцев.

На неоднократные намеки Возжаждавшего выступить против Короля кролики блудливо отводили глаза и говорили, что они еще недостаточно сознательны для этого.

— Куда спешишь, работай над нами, — говорили они.

И Возжаждавший продолжал работать, потому что ему ничего другого не оставалось, да и по всем признакам время расшатывало королевскую власть.

Да, время в самом деле работало против Короля. Король это чувствовал и днем и ночью, когда Королева, бывало, толкала его в бок и говорила:

— Придумай чего-нибудь!

— А что я могу придумать? — бормотал Король, потирая бок.

— Тогда незачем было изгонять Находчивого, — сердито отвечала Королева и поворачивалась спиной к Королю.

Но что он мог придумать? Главное средство — страх перед удавами с каждым днем слабел. Гипноз то и дело давал осечки. В джунглях валялась масса трупов удавов, умерших с голоду. Случаи, когда удавы хватили слишком осмелевших кроликов без всякого гипноза, были слишком редки и ненадежны.

Однажды во время очередной сходки кроликов прямо над Королевской Лужайкой пролетела шестерка каких-то хищных птиц, пронеся в когтях труп крупного удава.

Картина, с точки зрения Допущенных к Столу, была довольно жуткая — эти молчаливые большие птицы, этот удав, провисший в их когтях. Казалось, последнего удава уносят эти символические птицы.

— Разразись над миром буря! — неожиданно крикнул Поэт, по-видимому, приняв этих птиц за буревестников.

— Наш Поэт совсем ополоумел, — сказал Король, безразлично косясь на Поэта, который, лучезарно улыбаясь, глядел на птиц и приветствовал их протянутой лапой.

Действительно, Поэт в последнее время вел себя довольно глупо. Дело в том, что приставленный к нему глазастый крольчонок куда-то исчез, и он теперь не только ворон принимал за буревестников, но и обыкновенных попугаев, что вызывало приступы безудержного смеха в среде рядовых кроликов.

Сейчас при виде птиц, несущих удава, рядовые кролики подняли такой радостный визг, что пять птиц из шести, испугавшись, бросили удава, но одна продолжала тащить его качающееся и вертикально провисшее тело. Упорная птица, продолжавшая держать удава, под его тяжестью летела, все снижаясь и снижаясь, но потом к ней подлетели остальные птицы и, снова подхватив удава, стали набирать высоту.

Правда, Старый Мудрый Кролик, которому поручили разгадать смысл этого зрелища, сказал, что оно, несмотря на его зловещую видимость, обещает хорошее будущее.

— Почему? — недоверчиво спросил Король.

— Падающий удав будет снова поднят на должную высоту, — уверенно отвечал Старый Мудрый Кролик, потому что действовал теперь наверняка: если удавы оправятся, то благодарный Король возвысит его за прекрасное предсказание, а если удавы дойдут до полного слабосилия, тогда и Короля незачем будет бояться.

Кстати, ко всем этим серьезным неприятностям прибавилась еще одна пренеприятнейшая чушь. В королевстве кроликов и даже в ближайших окрестностях дворца стал появляться очень маленький, но уже очень злобредный крольчонок.

Однажды во время прогулки Короля со свитой в хорошо охраняемых джунглях, примыкающих ко дворцу Ко-

роля, из-за кустов неожиданно высунулся маленький крольчонок и сказал грустным голосом:

— Дяденька Король, Цветной Капусты хотца...

Начальник Королевской Охраны и свита замерли от негодования. И только сам Король не растерялся, а, наоборот, как будто бы оживился.

— Ах ты, мой милый крольчонок, — сказал он, с улыбкой приближаясь к кустам, из-за которых высывалась грустная мордочка крольчонка. — Цветной Капусты у нас пока нет, но очень скоро она будет, потому что за опытами мы лично следим и способствуем... А пока что тебя Королева угостит свеженьким листиком зеленой капусты...

Королева, видя, что Король благодушно настроился, вынула из туалетной корзиночки свеженький листик зеленой капусты и с улыбкой поднесла его крольчонку. Крольчонок взял в лапу листик и, не выходя из глубокой задумчивости, снова повторил, ни на кого не глядя:

— Дяденька Король, Цветной Капусты хотца...

Король, стараясь скрыть неловкость, развел руками и, улыбнувшись — мол, чем богаты, тем и рады, — двинулся дальше. Свита последовала за ним. Мужская ее половина стала говорить о разложении нравов, которое начинает проникать и в среду маленьких крольчат. Женская же половина больше негодовала по поводу некоторых крольчих, которые считают, что достаточно крольчонка родить, а о воспитании нисколько не думают.

Постепенно и Король и свита успокоились и даже пришли в более хорошее настроение, чем до встречи с крольчонком. У Короля улучшилось настроение оттого, что он проявил мягкость и снисходительность по отношению к этому дерзкому крольчонку, а у свиты — оттого, что она получила неожиданное развлечение в виде самого Короля, попавшего впросак.

И вдруг на обратном пути, уже совсем близко от Королевской Лужайки, опять из-за кустов высунулась мордочка того же крольчонка, повторившего с невыразимой грустью:

— Дяденька Король, Цветной Капусты хотца.

— С кем говоришь?! — закричал Начальник Королевской Охраны, первым придя в себя.

— Хулиган! — закричали придворные. — Надо привлечь родителей!

— Надо узнать, кто за ним стоит! — воскликнула Королева и, подмигнув Начальнику Охраны, протянула ему еще один капустный лист.

Начальник Охраны взял этот лист и, стараясь мягко ступать, подошел к кусту, из-за которого высывалась мордочка крольчонка, помигивавшая своими большими грустными глазами, словно прислушиваясь к чему-то, так и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся.

— А где ты живешь, милый крольчонок? — спросил Начальник Охраны, отечески склоняясь над кустом и всей своей позой наглядно выражая отсутствие воинственных намерений.

Крольчонок молча продолжал прислушиваться к чему-то, так и не прозвучавшему, продолжая вглядываться во что-то, так и не появившееся.

— А папочка с мамочкой у тебя есть?

Последовало долгое, грустное молчание.

— Вот я тебе дам этот листик капусты, — сказал Начальник Охраны наинезжайшим голосом, — а ты мне скажешь, какой дяденька кролик тебя подослал попросить Цветной Капусты у дяденьки Короля, хорошо?

И, не дожидаясь согласия, он протянул крольчонку листик капусты.

— Цветной Капусты хотца, — сказал тот все так же грустно, однако протянутый листик капусты взял.

Снова наступило долгое, тягостное молчание.

И вдруг в этой тягостной тишине раздался шорох шагов какого-то кролика, который переходил тропу совсем близко от Короля и его свиты. Он очень недружелюбно посмотрел в сторону Короля и его свиты и, злобно пробормотав насчет некоторых, которые сами обжираются, а крольчонку не могут дать листик Цветной Капусты, скрылся в высокой пампасской траве. И что было особенно обидно, входя в пампасскую траву, он пару раз раздраженно отбросил от морды нависающие стебли травы, из чего неминуемо следовало, что он все еще раздражен, а о том, что он публично оскорбил Короля, он и думать не думает.

Король, не сказав ни слова, повернулся и стал уходить, свита потянулась за ним.

— Задержать! — крикнул, наконец опомнившись, Начальник Королевской Охраны.

— Кого именно? — спросил один из охранников, не зная, кого он имеет в виду — крольчонка или неизвестного кролика, перешедшего тропу.

— Всех! — закричал Начальник Охраны, чем окончательно запутал своих охранников, потому что часть из них побежала за свитой. И пока их возвращали, след обоих кроликов давно простыл. Этих охранников можно было понять, потому что они знали, что Начальник Охраны день и ночь мечтает раскрыть заговор Допущенных к Столу. Они решили, что наконец он такой заговор раскрыл. Начальник Охраны, вспомнив, что у Поэта сбежал крольчонок-поводырь, решил узнать, не он ли во время королевской прогулки столь дерзко просил Цветной Капусты. Он вызвал к себе Поэта, но тот ничего толком не мог ему сказать, хотя и был в это время в королевской свите.

— Не знаю, — сказал Поэт, — я его не видел, я же обычно на небо смотрю.

— Ну, а если поймает, опознаешь? — спросил Начальник Охраны, едва сдерживая ненависть к Поэту.

— Не знаю, — сказал Поэт, — я же на него обычно не смотрел, я на небо смотрел.

— Ладно, ступай, — сказал Начальник Охраны, едва сдерживая себя. Он так мечтал когда-нибудь подвесить Поэта за уши и заставить его в таком виде приблизиться к небу, с которого тот всю жизнь не сводил глаз! Но, увы, Король почему-то считал нужным защищать своего придворного Поэта.

— Если этот злоумышленник — мой поводырь, — начал вдруг рассуждать Поэт, — многое становится ясным...

— Что именно? — оживился Начальник Охраны.

— Теперь становится ясным, что он, пользуясь моим слабым зрением, выдавал многих буревестников за ворон. О, сколько усталых бойцов, которых я мог взбодрить своим поэтическим голосом, бесцельно пролетели надо мной! — воскликнул Поэт с горечью.

— Ради бога, уйди, — сказал Начальник Охраны, — иначе сегодня к твоей жене вместо бургестника явится горевестник.

— Нет, горевестника не надо, — сказал Поэт и быстро направился к выходу.

Едва придя в себя после посещения Поэта, Начальник Охраны встретился с Королем и, оправдываясь за этот непредвиденный случай на прогулке, говорил, что сначала растерялся, приняв кролика, переходящего тропу, за переодетого охранника, а потом его помощники сплосковали.

— Кусочек спокойных джунглей для прогулок, — сказал Король, — вот все, что я у тебя прошу.

— Будет, мой Король, — ответил Начальник Охраны многозначительно, — а преступников выловим.

— Посмотрим, — сказал Король и спросил: — Слышал, какие слухи пошли по королевству?

— Слышал, — отвечал Начальник Охраны, — пускаем контрслухи.

— Ну и как?

— Сложно, мой Король. Точно замечено, что одни и те же кролики с удовольствием пользуются и слухами, и контрслухами.

— Теперь ты видишь, кем мне приходится управлять? — сказал Король, покачивая головой.

— Теперь вы видите, от кого мне вас приходится охранять? — сказал Начальник Охраны.

— Тоже верно, — согласился Король и добавил в знак окончания беседы: — Что ж, ступай и бди.

В самом деле, по королевству поползли нехорошие слухи. Одни говорили, что заблудившийся крольчонок случайно в джунглях наткнулся на выездной банкет, где, как у них водится, обжирались всеми сладостями вплоть до Цветной Капусты.

Оказывается, крольчонок из-за кустов смотрел, как они едят и пьют, но потом, когда они, наевшись до отвала, стали скармливать остатки Цветной Капусты обезьянам, он не вытерпел, вышел из-за кустов и, протянув лапку, сказал: «Дяденька Король, Цветной Капусты хотца».

«Брысь отсюда, шпион проклятый!» — оказывается, закричал Король, и охрана так затравила крольчонка, что его до сих пор ищут и никак не могут найти.

— Неужели чужим обезьянам скармливал, а для своего крольчонка пожалел? — обычно в этом месте спрашивал кто-нибудь из слушателей.

— Не в том дело, что пожалел, — пояснял рассказчик, — но они не любят, чтобы рядовые кролики видели, как они сидят вокруг скатерти, измазанной соком Цветной Капусты.

— А что, Цветная Капуста мажется? — спрашивал кто-нибудь из слушателей, громко глотая слюни.

— Во рту-то, говорят, она тает, как цветочный нектар, — отвечал рассказчик, — но пока до рта донесешь, говорят, мажется, потому как наинейнейший овощ грубого касательства не терпит.

— Я бы ее до рта донес, — мечтательно грезил один из слушателей, — она бы у меня цветным соком изошла под небом...

И тут кролики вместе с рассказчиком замирали и, громко глотая слюни, представляли, как нежнейший овощ тает во рту этого сластены.

По другой версии получалось, что, когда крольчонок попросил Цветной Капусты, Король как самый последний крохобор стал допытываться у казначея, как отец этого крольчонка, кстати, погибший в свое время в пасти удава, при жизни платил огородный налог. И пока казначей, проверив, установил, что покойный при жизни не очень уважал огородный налог, несчастный крольчонок стоял с протянутой лапкой на посмешище Допущенных к Столу.

— Ну, хорошо, — возмущались кролики, — даже если родитель не очень уважал огородный налог, при чем крольчонок? А еще называет себя отцом всех крольчат.

Самое интересное, что кролики с таким же любопытством и сочувствием рассказывали контрслух, пущенный Королевской Охраной. По этому слуху получалось, что действительно заблудившийся кролик набрел в глубине джунглей на чрезвычайно засекреченную плантацию, где под личным наблюдением Короля ученые кролики совместно с туземцами выводят Цветную Капусту. И вот, оказывается, крольчонок, увидев опытный кочан

на грядке, сиявший всеми цветами радуги, попросил: «Дяденька Король, Цветной Капусты хотца».

И в самом деле, со стороны туземцев и некоторых оторванных от жизни ученых была попытка прогнать этого действительно заблудившегося кролика. Но Король, оказывается, узнав, что крольчонок сирота, наклонился и, отрезав от опытного кочана самый сочный лист, дал его крольчонку, при этом сказав: «Очень скоро все сироты будут есть Цветную Капусту».

— Интересно бы увидеть этого маленького счастливого, — говорили кролики, услышав столь приятный рассказ.

— Увидеть нельзя, — отвечал рассказчик многозначительно, — потому что он теперь засекречен как знающий месторасположение плантации.

— А-а, ну тогда, конечно, — легко соглашались кролики с этим объяснением, таким образом, может быть, намекая, что они и сами кое в чем засекречены. Вообще кролики ужасно любили быть засекреченными. Им казалось, что засекреченных удавы глотают только в крайнем случае.

Кстати, эту версию однажды услышала вдова Задумавшегося. Ее рассказывал в круту почетных кроликов один из работников Королевской Охраны. В ту ночь она долго не могла заснуть. Слова Короля о том, что скоро сироты будут есть Цветную Капусту, не давали ей покоя. Она решила, что самое время напомнить Королю о его обещании — как только будет возможно заменить пенсионный паек зеленой капусты равнозначным количеством Цветной.

Рано утром она явилась во дворец, где у королевского склада другие почетные вдовы уже ждали выдачи своего пайка. Всех их было около дюжины крольчих, и все они бешено завидовали друг другу, но вдова Задумавшегося по праву считалась первой среди равных.

— Мой-то еще во-он когда задумался, — сказала она, готовясь устроить скандал, если Казначей ей не выдаст Цветную Капусту.

Вдовы, стоящие в ожидании открытия склада и время от времени издававшие вдовствующие вздохи, ревниво затаили дыхание.



— О чем? — спросил ее Казначей, выкладывая на прилавок положенный ей кочан капусты.

— О Цветной, — отвечала вдова, молча откатывая от себя поданный ей кочан обычной капусты.

— В глаза не видел, — говорил Казначей, поставив кочан на полку, — если можешь, зайди к Королю и спроси.

— И зайду, — угрожала вдова Задумавшегося, прислушиваясь к ропоту остальных вдов, не очень уверенно утверждавших, что они вдовствуют не хуже.

— Хуже, — твердо отвечала им она и, уходя, добавила: — Ваши обжирались за королевским столом, когда мой день и ночь думал о будущем.

Так как ее уже побаивались, вдовы промолчали. По той же причине она без задержек прошла королевскую канцелярию и, распахнув дверь, рыдая, вошла в кабинет Короля.

Она бросилась на грудь Королю и со смелостью, дозволенной только для патриотических слез, повторяла одно и то же, что особенно раздражало Короля:

— Если б он мог встать... Если б он мог увидеть... Если б он мог встать... — Наконец успокоившись, она, ссылаясь на рассказ о крольчонке, напомнила обещание Короля со временем заменить зеленую капусту Цветной.

— Все это ужасно преувеличено, милочка, — отвечал Король, провожая ее до дверей. — Конечно, опыты проходят успешно, и мы всячески способствуем, но при чем тут крольчонок... Да и как он мог попасть на засекреченную плантацию?.. Какая-то чушь все это...

Едва выпроводив вдову, Король тяжело опустился в свое кресло и, тупо уставившись перед собой, повторил:

— «Если бы он мог встать...» Только этого не хватало на мою голову... — Затем, вызвав своего секретаря, он дал ему приказ: — Эту ведьму, если она попытается ко мне прорваться, гнать в шею... но почтительно... Вплоть до особого распоряжения...

— Насчет шеи или насчет почтительности? — спросил секретарь, деловито записывая приказ Короля.

— Насчет вдовы, — отвечал Король, задумавшись о новых трудностях, встающих перед его мысленным взором.

Кстати, через некоторое время вдова Задумавшегося снова встретилась с работником Королевской Охраны и

сказала ему, что он, такой ответственный кролик, в тот раз рассказал такую безответственную чушь про Короля и крольчонка.

— Так было надо, — не моргнув глазом отвечал ей работник Королевской Охраны.

Тут вдова не удержалась и весьма ясно намекнула, что по данному поводу у нее была беседа с самим Королем, который лично высмеял этот сентиментальный миф.

— Значит, тогда так было надо, — твердо повторил работник Королевской Охраны, и при этом у него даже уши выпрямились и затвердели.

— А-а, — понимающе закивали все, кто слышал, испытывая мистическую сладость от твердой значительности его слов, — конечно, о чем говорить...

И Первая Вдова королевства тоже понимающе закивала, хотя, как мы имели возможность убедиться, была отнюдь не робкой крольчихой.

Дело в том, что в королевстве кроликов был закон, который далеко не все понимали, но все хорошо чувствовали. Закон этот гласил: «Плывя в королевском направлении, можно превышать даже королевскую скорость».

И сейчас все почувствовали, что слова работника Королевской Охраны как раз подпадают под этот закон, оттого ему не страшно, что рассказ его отрицал сам Король.

А между тем в королевстве кроликов обнаруживались все новые странности, одна другой удивительней. Во-первых, появились пьяные кролики, которые горланили свои вздорные песенки не только в джунглях, но и в ближайших окрестностях Королевского Дворца. Они научились запихивать дикие фрукты в дупла деревьев, доводить их там до состояния брожения, законопатив дупло, и потом, сделав дырочку, отпивать оттуда алкогольный сок и снова залеплять дырочку кусочком смолы. Иногда они путали свое дупло с чужим, и на этом основании возникала масса глупых недоразумений, не говоря о том, что выявились ходоки по чужим дуплам, которых время от времени подстерегали истинные алкоголики и, поймав, давали полную волю своей благородной ярости.

Особенно много пьяных стало попадаться после того, как кролики сделали изумительное открытие: оказывается, перебродивший сок бузины, до этого известный в

королевстве только в качестве чернил, может быть прекрасным веселящим напитком.

Открытие это, как мы знаем, сделал придворный Поэт. Во время сочинения очередных стихов он однажды отгрыз верхний конец пера фламинго, которым писал, и случайно втянул в рот по трубчатому перу несколько капель сока бузины. После этого он заметил, что утоляющая горечь сока бузины как-то помогает его творческой мысли.

В конце концов он убедился, что творческая мысль его, перед тем как закрепиться на бумаге в виде стихов, требует чернил внутрь. Возможно, там идет какая-то таинственная запись, решил он и, уже упрямо окунув свое трубчатое перо в чернильницу, высасывал чернила, одновременно прислушиваясь к своему внутреннему состоянию.

Так вот он и жил, не слишком скрывая и не слишком афишируя свой творческий метод. Жена его каждое утро ходила на королевский склад, где вместе с остальными продуктами получала бамбуковую банку чернил. Так как запасы чернил в королевских складах были неисчерпаемы, Казначей обычно не спрашивал у жены Поэта, отчего тот так быстро поглощает чернила. Возможно, даже спрашивал, и возможно, даже она ему правильно отвечала, но, согласно науке, в обществе кроликов в то время не было потребности в ее ответе, и никто на ее ответ внимания не обращал.

Но именно в этот период кролики просто изнывали от жажды услышать ее ответ, и они его, естественно, слышали.

— Да что он у тебя, пьет чернила, что ли? — как-то сказал Казначей без всякой злости, а только с удивлением и, вынув затычку из бочкообразного выдолба, налил ей полную банку и, заткнув сосуд, протянул ей.

— Так не пьет, но посасывает, — отвечала жена.

— То есть как — посасывает? — удивился Казначей.

— Прямо так и посасывает — через перо, — объясняла жена.

— И ничего? — спросил Казначей.

— Ничего, — говорила жена, — работает... Только к вечеру немного запинается.

— На язык или на походку? — уточнил Казначей.

— Когда как, — отвечала жена, — раз на раз не приходится...

Несколько крольчих, жен Допущенных к Столу, самолюбиво прислушивались к беседе Казначей с женой Поэта. Как только она ушла, первая же из этих женщин потребовала банку чернил, сказав, что муж ее засел на много лет писать «Славную историю королевства кроликов». Так и пошло.

Потом включились вдовы во главе с Первой Вдовой королевства писать воспоминания о своих покойных мужьях, и они в самом деле собирались вечерами посидеть, почернитьничать, как говорили они, вспоминая прошлые дни.

Рядовые кролики, прослышав о свойствах сока бузины, вытащили откуда-то давно забытый, но не отмененный закон, гласивший: «На образование кроликов чернил не жалеть». Закон этот был введен самим Королем, когда еще только он начинал править. Потом он как-то отвлекся, махнул на просвещение рукой, а запасы чернил продолжали пополняться. И вот теперь кролики неожиданно возжаждали просвещения.

Решив извлечь из этих запасов хотя бы политическую пользу, Король не стал возражать. Через два месяца, когда запасы чернил были почти исчерпаны, Главный Ученый, разделив количество истраченных чернил на общую численность кроликов, пришел к радостному выводу о всеобщей грамотности населения королевства.

После этого закон «Чернил не жалеть» был отменен по случаю триумфальной победы образования, а новые небольшие запасы чернил для придворных надобностей стали тщательно фильтровать, пропуская сок бузины через толстый слой папоротниковой прокладки. Рядовых кроликов отмена закона не очень смутила, и они продолжали свое теперь уже самообразование, заквашивая чернила из гроздей спелой бузины.

А между тем таинственный крольчонок появлялся то здесь, то там и всегда с какой-то рассеянной грустью просил Цветной Капусты. Однажды он даже очутился на ветке морковного дуба, росшего под окнами дворца.

— Дяденька Король, Цветной Капусты хотца, — попросил он, покачиваясь на конце ветки у самого окна королевской спальни.

Королева от возмущения упала в обморок, а Король успел поднять стражу, которая оцепила морковный дуб, предлагая крольчонку сдаться живым, а в крайнем случае мертвым. Крольчонок ничего не отвечал, но время от времени с неряшливой меткостью бросал в стражников совершенно несъедобные, однако довольно увесистые морковные желуды.

Часть стражников были тяжело ранены, зато остальные пришли в ярость и, уже осыпаемые ядрами морковных желудей, штурмом овладели этой неожиданной цитаделью, как впоследствии писали королевские историки.

Стражники облазили все ветки, но крольчонка нигде не оказалось. Тогда они, решив, что он замаскировался в листе дуба, стали поочередно трясти все ветки, растягивая под каждой из них сетку из пампасской травы.

Еще несколько стражников были ранены своими же трясунами, и наконец некое легкое тело свалилось в сетку и запуталось в ней.

Но, увы, Король, вышедший посмотреть на возмутителя королевства, был еще более удручен. Мало того что, пока он выходил из дворца и приближался к морковному дубу, мимо него пронесли около тридцати тяжело раненных стражников, но, когда он подошел к сетке и ее осторожно распутали, в ней оказалась белка.

— Ничего, мы доберемся до его кроличьей шкуры, — сказал Начальник Королевской Охраны и велел осторожно вместе с сеткой внести белку в помещение для допросов провинившихся кроликов.

— Еще один такой штурм — и я останусь без армии, — сказал Король, горестно и безразлично оглядывая место сражения.

Дело в том, что в королевстве кроликов Охрана Короля была равнозначна Охране королевства и, естественно, считалась армией. Армия была вооружена бамбуковыми пиками, бамбуковыми палками и бамбуковыми трубками, выстреливающими кактусовой иглой. Убойная сила стреляющей трубки была равна среднему попу-

гаю, но не годилась ни против шкуры туземцев, ни тем более против шкуры удавов.

В сущности говоря, армия предназначалась против мелких грызунов, оспаривавших кроличья угодья или норы, а также, и даже главным образом, против бунтующих кроликов.

Приказав отпилить ветку моркового дуба, нависавшую над королевскими окнами, чтобы такие случаи не повторялись, Король ушел во дворец дожидаться результатов допроса.

А между тем допросить белку так и не удалось по причине ее упорного молчания. Заставить заговорить ее было невозможно, потому что тело белки, вернее, уши были никак не приспособлены к единственному известному в те времена в королевстве методу пыток. Он состоял в том, что уши кролика связывали крепкой веревкой. Второй конец этой веревки перекидывали через балку под потолком, кролика слегка подтягивали и, вручив ему второй конец веревки, отпускали. Большой узел на том месте веревки, где она перекидывалась через балку (все предусмотрели, хитрецы!), не давал ей выскользнуть в сторону завязанных ушей кролика. В конце концов висящему кролику, чтобы освободиться от мучительной боли вытягивающихся ушей, приходилось изо всех сил подтягивать себя, чтобы взобраться на балку.

Если ценой таких мучений кролик, взобравшийся на балку, признавал свою вину, его отпускали, оштрафовав согласно обвинению. Если не признавал, его спускали вниз и повторяли пытку.

У крольчонка, замаскированного под белку, оказались такие маленькие уши, что никак невозможно было прикрепить к ним веревку. Пока думали и гадали, что с ним делать, неожиданно из джунглей пришла новость: крольчонок на воле и уже у нескольких ответственных кроликов просил Цветную Капусту.

Пристыженному Начальнику Охраны пришлось отпустить белку. Впрочем, кроликам-снайперам был дан тайный приказ: если белка, оказавшаяся на воле, не вскочит на первое попавшееся на пути дерево, а пробежит мимо, — пристрелить ее как при попытке к бегству. К счастью для себя, белка вскочила на первое же попавшееся ей дерево.

А между тем непослушание кроликов усиливалось с каждым днем. Утренний прогноз воздействия гипноза, объявляемый Глашатаем на Королевской Лужайке, встречался откровенным улюлюканьем.

Скандалная история чуть не вызвала разрыва дружеских отношений между кроликами и обезьянами. Дело в том, что один из сыновей Задумавшегося (кстати, всего их было четверо, и все они были порядочными забияками) избил молодую мартышку, поймав ее у водопоя. Он ее избил на том основании, что она когда-то, якобы зная, что отца его предадут, никому ничего не сказала. Мать этой мартышки требовала наказания для распоясавшегося кролика, который от ее дочери требует, как она говорила, того, что он должен был бы потребовать от своих же кроликов. Была пущена в ход самая тонкая дипломатия, чтобы замять скандал, потому что затрагивались интересы слишком высокопоставленных особ.

А злоумышленный крольчонок то там, то здесь продолжал появляться. Королевская Охрана сбилась с ног, ища его во всех уголках королевства. Ведь каждое новое появление крольчонка с его издевательской просьбой делало несколько смехотворной грандиозную программу по выведению Цветной Капусты.

Приметы крольчонка, нарочно написанные на капустном листе, чтобы привлекать внимание кроликов, были развешаны на многих деревьях джунглей. Впрочем, развешаны они были достаточно высоко, чтобы кролики могли прочесть королевский указ, а съесть его не могли.

Тем не менее злоумышленный крольчонок каждый раз бесследно исчезал.

— Это заговор, — говорил Начальник Королевской Охраны, — заговор, уходящий своими корнями к некоторым из Допущенных к Столу.

Однажды был схвачен пьяный кролик, чей путь от Королевской Лужайки до норы был выслежен, а бессвязный, но подозрительный бормот выслушан и записан.

— ...А он мне, — говорил этот пьянчуга, — «Я вам Цветную Капусту, Цветную Капусту...» А я ему: «А что мне твоя Цветная Капуста? В гробу я ее видал, твою Цветную Капусту! Я, например, выпил свою бузиновку, закусил

морковкой, которую сам же откопал у туземцев. А кто видел твою Цветную Капусту?» А он мне опять свое: «Я вам Цветную Капусту, я вам все, а вы, неблагодарные...» А я ему: «Ты нам всё? Нет, ты нам ничего, и мы тебе — ничего». А он опять: «Я вам Цветную Капусту, я вам всё...»

Кролик этот был схвачен и отправлен к Начальнику Охраны. По многим признакам он казался похожим на того кролика, который во время знаменитой прогулки Короля со злобным бормотанием пересек тропу и скрылся в пампасской траве. С вечера от него трудно было чего-нибудь добиться, а утром его вызвали для допроса к самому Начальнику Охраны.

Начальник Королевской Охраны сидел у себя в кабине и, готовясь к допросу, чинил перья, поглядывая на пьяницу, бормотавшего вчера подозрительные слова.

Вернее, он поглядывал не столько на него, сколько на его уши. За долгие годы работы он привык оценивать подследственных кроликов по форме ушей. Некоторые уши, узкие у основания, довольно резко (для опытного глаза, конечно) расширялись, что Начальнику Охраны доставляло настоящее эстетическое наслаждение. Такие уши во время подвешивания — хоть бантиком завязывай — никогда не выскальзывали из петли.

Именно такие уши были у этого заговорщика. В том, что он заговорщик, Начальник Охраны был уже уверен. Сами уши служили, правда, косвенным, но обстоятельным доказательством его вины.

Преступный пьяница, явно ничего не подозревая о соблазнительной форме своих ушей, сам не сводил глаз с не менее соблазнительной чернильницы, только что на его глазах наполненной секретарем свежими чернилами из сока черной бузины.

— Значит, будем играть в молчанку? — наконец сказал Начальник и слегка придвинул к себе чернильницу. Преступный кролик, стоявший возле стола, невольно сделал движение вслед за чернильницей.

— Дяденька начальник, Цветной Капусты хотца, — вдруг раздался знакомый голос.

Начальник Охраны вздрогнул и, подняв голову, увидел крольчонка, который сидел на подоконнике с грустным видом, словно прислушиваясь к чему-то, так и не



прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся.

Начальник Охраны перевел взгляд на пьяницу, чтобы уловить связь между появлением крольчонка и им. Но пьяница явно был поглощен зрелищем чернильницы, заполненной чернилами, и, кажется, вообще ничего не слышал.

— Глянь на окно, — сказал Начальник негромко и кивнул пьянчуге. Он решил, что неожиданность появления преступного крольчонка смутит его, если они связаны.

— Сын? — спросил пьянчуга, косясь на окно и, видимо, совершенно не в силах оторваться от чернильницы.

Нет, он явно его не знает, подумал Начальник Охраны.

— Я бы такого сына... — пробормотал он и, замолкнув, уставился на грустного крольчонка. Главное, окно, затянутое прозрачной слюдой, было закрыто, и откуда он взялся, никак нельзя было понять.

— А ты знаешь, с кем говоришь? — спросил Начальник Охраны, лихорадочно соображая, как отразится появление крольчонка на внутренней жизни дворца и каким образом можно связать его появление с заговором Допущенных к Столу.

— Знаю, — неожиданно подтвердил крольчонок, и на этот раз его грустный голос как бы намекал на то, что он ничего хорошего не ждет от своих знаний.

— Значит, пришел раскалываться, — радостно высказал вслух свою догадку Начальник Охраны. До этого кролик никогда ничего не говорил, кроме своей издевательской фразы.

А теперь вдруг, очутившись у него в кабинете, заговорил. Начальник Охраны почувствовал, что заваривается грандиозное дело. Он замурылкал и потер лапы от удовольствия. Мысль его заработала с необыкновенной силой.

— Как ты очутился во дворце, я знаю, — сказал Начальник, — во время штурма морковного дуба ты впрыгнул в спальню Королевы... Потому-то тебя не нашли тогда... Но как ты очутился в охранном отделении? Вот что меня интересует. Учти, добровольное признание облегчит твою участь.

— У меня пропуск, — сказал крольчонок грустно и добавил, как бы намекая на свое вечное сиротство: — На одно лицо.

— Ну да, пропуск, — согласился Начальник Охраны, тихо ликуя про себя, — но кто его выдал... Я, конечно, знаю, но лучше, если ты сам...

— Вы, — сказал крольчонок грустно и что-то протянул ему в лапе.

— Я?! — переспросил Начальник Охраны, задохнувшись от бешенства и одновременно догадываясь, что заговорщики таким коварным путем интригуют против него.

— Да, вы, — грустно повторил крольчонок и с неслышанной наглостью протянул ему какой-то затрепанный лоскуток, даже внешне не похожий на пропуск.

И эта наглость взорвала Начальника Королевской Охраны раньше времени. Он схватил со стола тяжелый кокосовый орех, давний сувенир делегации мартышек, и швырнул его в крольчонка.

Тяжелый орех пробил слюдяное окно и через несколько секунд шлепнулся во внутреннем дворе королевского дворца. По звуку было ясно, что он лопнул и из него брызнула жидкость.

— Расколосся, — сказал крольчонок, как показалось Начальнику Охраны, с издевательским двусмыслием.

Крольчонок, больше ничего не говоря, повернулся к окну и, осторожно наклонившись, чтобы не порезаться, пригнул одной лапой свои уши, вылез на ту сторону и исчез за карнизом. Еще несколько мгновений его уши торчали за окном, и было件нятно, что он висит на карнизе, обдумывая, куда бы спрыгнуть.

Как только уши исчезли, Начальник Охраны вскочил из-за стола, влез на подоконник и, осторожно высунув голову в дыру, крикнул вниз:

— Никто не проходил?

Охранники расхаживали внизу и, находя брызги кокосового ореха, тщательно вылизывали их. Казалось, там внизу лопнул горшок с деньгами, упавший сверху, и они ищут разлетевшиеся монеты. Один из них, которому достался солидный обломок ореха, держа его над запрокинутой мордочкой (потому-то первым и заметил На-

чальника), тщательно скапывая в рот последние капли, ответил:

— Никто, Начальник!

Остальные охранники тоже подняли головы и неожиданно стали кричать:

— Спасибо, Начальник! Кинь еще!

Начальник ничего не ответил и убрал голову из пролома в окне. Тут он заметил валявшийся на подоконнике сильно увядший лист капусты с печатью королевского склада.

— Черт его знает, что делается, — сказал Начальник и, отшвырнув капустный лист, сел к столу.

— Убег? — спросил пьянчуга, оживляясь и глядя туда, куда упал капустный лист.

Начальник посмотрел на него. Они встретились глазами.

— Убег, — сам себе ответил пьянчуга, и глаза его засветились невинным блеском шантажа, — нехорошо... Тем более ежели пришел сдаваться, а вы его турнули путем швыряния казенного кокоса.

— Ладно, убирайся домой, — строго приказал Начальник. — И учти: ничего не слышал, ничего не видел.

— Я-то пойду, пойду, — сказал пьяница, не двигаясь с места и теперь уже опять уставившись на чернильницу, — но ежели кто пришел сдаваться, тем более королевский преступник... Не дозволено пужать путем швыряния казенного кокоса...

— Ладно, пей и иди. — Начальник Охраны кивнул на чернильницу.

— Ваше здоровье, Начальник, — сказал кролик и залпом опорожнил довольно вместительную чернильницу. В то же время, наклонившись, он поднял с пола капустный листик, брошенный Начальником, тряхнул его, мазанул пару раз о грудь, понюхал и, сунув в рот, стал жевать, одновременно знаками показывая, что он поднял его с пола и сунул в рот как ненужную вещь, иначе, мол, он его положил бы обязательно на стол.

Пусть глотает, к лучшему, думал Начальник, мимоходом удивляясь, как быстро рядовые кролики нагледят.

— Королевская, очищенная, — наконец выдохнул пьянчуга, — это вещь.

Быстро охмелев, он стал учить Начальника Охраны, как лучше поймать преступного крольчонка, при этом с выражением вымогательского намека продолжая держать в руке чернильницу.

Но тут Начальник Охраны взглянул на него своим знаменитым взглядом, который быстро привел в чувство пьянчугу.

— Все ясно, Начальник, — сказал пьянчуга и, поставив чернильницу на стол, пятясь, вышел из помещения.

То-то же, подумал Начальник, довольный эффектом своего взгляда. Он подумал, не связан ли крольчонок с каким-нибудь придворным заговором и, если не связан еще, не правильно ли будет связать его появление с еще не открытым заговором Допущенных к Столу. Он вызвал своего секретаря и узнал у него, не спрашивал ли его кто-нибудь с утра.

— Тут один крольчонок приходил, — ответил секретарь, — сказал, что ты его ищешь.

— Ну, а ты? — спросил Начальник.

— Ну, я ему сказал, — пояснил секретарь, — раз ты нужен Начальнику, заходи и жди. А что случилось?

— Значит, кто меня ни спросит, — мрачно сказал Начальник Охраны, — заходи и жди?!

— Так ведь он был с королевским капустным листом, — отвечал секретарь, — а ведь это устаревшая, но не отмененная форма пропуска. Но что это? Разбито окно, да и ухо у вас в крови?! Покушение!!!

— К счастью для королевства, неудачное, — сказал Начальник Охраны, — но какая ехидина! Он сказал, что я ему дал пропуск, имея в виду капустный лист, полученный по приказу Королевы. Хорошо, что были свидетели. Опасный преступник во дворце! Перекрыть все входы и особенно выходы! Налей мне свежих чернил, да не в чернильницу, а в бокал, черт подери! Думаю, что он прячется среди королевских балерин, придется их тщательно проверить!

Несмотря на перекрытые входы и особенно выходы из королевского дворца, на следующий день Король получил пренеприятнейшее известие о новой вылазке крольчонка — уже на окраине королевства.

Об этом рассказывал в своем секретном донесении Главный Казначей. Дело в том, что в связи с тревожными

временами Король распорядился в самом глухом уголке своего королевства устроить тайный склад с капустой. В случае, если королевство и в самом деле развалится, он думал вместе с женой и ближайшими сподвижниками, перекрасившись соком черной бузины, пожить там под видом богатого семейства негритянских кроликов, прибывших из далекой страны.

И вот, оказывается, еще вчера, когда Главный Казначей в сопровождении пяти рабочих кроликов вносил в склад пополнение, они заметили крольчонка, сидевшего на пирамидальной вершине капустной горы, подобно маленькому грустному Кошею, восседавшему на черепах туземцев, кстати, в отличие от капусты, абсолютно несъедобных.

Увидев кроликов, он, как обычно, попросил Цветной Капусты, что прозвучало особенно издевательски, учитывая, что он сидел на целой горе кочанов обыкновенной капусты. Это прозвучало так, как будто он убедился в полной пищевой непригодности всех запасов, на которых он сидел.

— Про меня ничего не говорил? — спросил Король, мрачно выслушав рассказ.

— Нет, — отвечал Казначей, — но интересно: когда наверх полез один из рабочих кроликов, оказалось, что на вершине вместо крольчонка лежит кочан капусты с двумя надорванными листьями, напоминающими снизу уши кролика.

— Одно ясно, — мрачно отвечал Король, — тайный склад рассекречен... А этот болван, Начальник Охраны, ищет его во дворце да еще и щупает моих балеринок. Должен сказать, друзья, еще два-три месяца — и королевство кроликов развалится в результате падения производительной силы удавов.

Но нет, не развалилось королевство кроликов, ибо именно в этот исторический день Удав-Пустынник приполз (потому-то он и исторический) к подземному дворцу Великого Питона и рассказал о своем открытии.

Великий Питон приказал собрать довольно поредевшее племя удавов. Некоторых пришлось тащить волоком, до того они ослабли от недоедания.

Один удав, залезший на инжировое дерево, росшее у входа во дворец Великого Питона, во время исполнения гимна шлепнулся с ветки и упал рядом с Царем. Царь, вынужденный прервать гимн, ждал, что тот будет делать дальше.

Смущенный позорным падением и нескромной близостью несчастного случая с местом возложения Великого Питона, он пытался уползти, беспомощно дергаясь своим непослушным телом, что производило на Царя и близлежащих удавов особенно гнетущее впечатление.

— Да лежи ты, ради Великого Дракона, — наконец сказал Царь и, уже решив не продолжать прерванного гимна, в сжатом виде рассказал всем о Пустыннике, который, если кто по молодости не знает, был в свое время наказан, а теперь вернулся с интересным предложением.

Прощенный Пустынник со скромным достоинством сообщил о своем теоретическом открытии и его экспериментальной проверке, оказавшейся вполне удачной. Удавы, мрачно слушавшие рассказ Пустынника, стали задавать вопросы.

— А может, это был полудохлый кролик, — спросил удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — может, его и давить ничего не стоило?

— Конечно, — отвечал Пустынник, — кролик был не в лучшем состоянии, но учтите, что и я в проклятой пустыне, питаюсь ящерицами и мышами, еле двигался.

— Да что ты все о себе говоришь, — шипели в ответ удавы, — посмотри, на что мы стали похожи.

— Знаю, — отвечал Пустынник с еще более заметным скромным достоинством, — для этого я и вернулся... Теперь, уняв кролика совершенно новым способом, без гипноза, я чувствую себя уверенно и спокойно.

— А когда ты его обработал? — неожиданно спросил Великий Питон.

— Сегодня, — отвечал Пустынник, — разве я не сказал?

— Тебе хорошо, — вздохнул Великий Питон, — ты позавтракал, а я до сих пор не евши...

Удавы почувствовали что-то, хотя и сами не знали что. Пожалуй, напрасно Великий Питон пожаловался,

точнее, позавидовал Пустыннику. Позавидовал — значит, признал в чем-то его превосходство. В это мгновение над удавами пронесся дух сомнения в Великом Питоне. Правда, как и у кроликов, отношения в племени были страшно расшатаны, опять же еще сегодня утром удав-охотник позволил себе дерзкую вспышку.

— Слушай, а сколько лет Великому Питону? — спросил один удав у другого в задних рядах.

— А кто его знает, — прошипел тот. — Лучше послушаем Пустынника, он дело говорит...

Вопросы продолжали сыпаться. Пустынник отвечал на них со все возрастающей четкостью и скромностью.

— А каков верхний и нижний предел удушения? — спросил один из удавов.

— Братья-удавы, — ответил Пустынник, — насчет верхнего и нижнего предела я пока ничего не могу сказать, но с золотой серединкой, с кроликом, уверенно говорю, справимся.

— Это главное, — с удовлетворением прошипели удавы.

— О прелестная и коварная золотая середина, — вздохнул удав, некогда избитый туземцами за попытку преподнести крольчихе кочан капусты.

— Не знаю, как насчет нижнего предела, — сказал Великий Питон и странным взглядом оглядел удавов, — но верхний предел мы сейчас проверим... Дави Коротышку!

Удавы вздрогнули от неожиданности. Пустынник бросился на Коротышку, но тот хотя на этот раз был и на земле, но все-таки лежал возле дерева. Он успел увернуться и забраться на кокосовую пальму.

— Души его на дереве! — кричал Великий Питон, горячась.

— Но я на деревьях душить не умею, — отвечал Пустынник.

— Будем ждать, пока он слезет? — тоскливо спросил один из удавов.

— А я никогда не слезу, — отвечал Коротышка, — здесь хватает еды.

Удавы стали стыдить Коротышку, но он, не обращая внимания на их шипение, дотянулся до грозди бананов на соседнем дереве и стал их есть, шлепая на спины удавов шкурками, отчего те нервно вздрагивали.

— Ты обезьянка, а не удав, — сказал Великий Питон и снова оглядел свое племя. — Тогда попробуем Косого... Где Косой?

— Как прикажете, — все так же скромно и четко сказал Пустынник.

— Что ж, — сказал Косой, — я слишком стар, чтобы перестраиваться... Можешь меня душить...

Пустынник свился кольцами и набросился на Косого. Они сплелись, но Косой безвольно провисал на Пустыннике, подобно тому как в наше время усталый боксер висит на противнике.

— Ты сопротивляйся, сопротивляйся! — крикнул Царь. — Нам нужен опыт в условиях джунглей.

— Какое уж тут сопротивление, — вздохнул Косой и испустил дух.

— Хоть умер с пользой для дела, — сказал Великий Питон. — Я всегда говорил, что удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен.

— Что характерно, — заметил Пустынник, отплывая от себя мертвое тело Косого, — опыт проходит более успешно, когда подопытное существо трепещет, оказывая сопротивление. Этот трепет возбуждает и приводит в действие всю мускульную систему.

— Оттащите его подальше, — сказал Великий Питон. — Мы входим в новую эру, где никогда не будет таких инвалидов, как Косой, и таких вырожденков, как Коротышка, которого мы еще стряхнем с дерева! Пустынник мною назначается первым заместителем и пожизненным преемником Великого Питона, то есть меня. Разбредайтесь по джунглям! Тренируйтесь, развивайте свою природу!

С этими словами он удалился в подземный дворец, взяв с собой для личной беседы своего преемника.

С этого дня удавы начали усиленно тренироваться под руководством Пустынника, который разработал ряд классических упражнений для развития душителных мускулов.

Так, например, две группы удавов, держась за вытянутого удава, старались друг друга перетянуть. На песчаном речном берегу было поставлено чучело кролика, где разрабатывались прыжки.



Особенным успехом пользовалось такое упражнение. Удав подбирал два молодых дерева, растущих рядом, вползал на вершину одного из них и обвязывался там хвостовой своей частью. Потом перебрасывался на вершину другого дерева и, укрепившись головной частью, стягивался и расслаблялся, стягивался и расслаблялся. Так он мог тренироваться часами, следя, чтобы вершины этих деревьев схлестывались под одинаковым углом наклона, что служило равномерному развитию всей мускульной системы.

В один прекрасный день Пустынник собрал удавов и объявил им, что Великий Питон умер, но тело его будет вечно находиться рядом с его охотничьими трофеями, поскольку удав-скульптор сделает из него мумию.

— Согласно воле Великого Питона, — сказал он в конце, не теряя скромности и в то же время усиливая четкость, — удавами будет управлять удав, то есть я. Отныне никаких дворцов... Дворец Великого Питона переименовать в Келью Пустынника.

— Можно вопрос? — прошипел один из удавов.

— Да, — кивнул Пустынник.

— Можно вас в честь ваших подвигов называть Великий Пустынник?

— Лично мне это не надо, но если вам нравится — можете, — отвечал Великий Пустынник все так же скромно и четко.

А между тем удавы продолжали тренировку, сочетая ее с опытами на живых кроликах. В первое время многие удавы работали очень неточно, но постепенно способы удушения делались все более и более совершенными. А вначале удав, прыгая на кролика, часто промахивался, шлепался рядом, после чего кролик давал стрекача, а удав с отбитым брюхом уползал в кусты.

Некоторые удавы в процессе удушения так запутывались в собственных узлах, что потом приходилось тратить много времени на их распутывание. А один удав настолько запутался в собственных узлах (правда, он душил довольно крупную обезьяну), что его так и не удалось распутать.

В тяжелом состоянии удава доставили ко дворцу, то есть к Келье Пустынника, где его осмотрели врачи и

предложили отсечь запутавшуюся часть тела, чтобы сохранить ему жизнь.

— Нерентабельно, — отверг Великий Пустынник это предложение. — Утопить в реке... У нас уже был один инвалид...

Стража отволокла неудачника к реке и утопила.

Через несколько дней Великий Пустынник прочел удавам проповедь на тему «Удушение — не самоцель». После этого был разработан ряд классических петель-удавок, и случаи запутывания удавов в собственных узлах значительно сократились.

Интересные изменения произошли в экспозиции трофеев Великого Питона. Часть из них была отдана удавам для тренировки прыжков и душителных колец. Разумеется, наиболее ценные экспонаты во главе с чучелом Туземца в Расцвете Лет были оставлены.

Вместо выбывших экспонатов коллекция была дополнена в первую очередь чучелом кролика, обработанного новым способом, и рядом старых трофеев, восстановленных по воспоминаниям Великого Пустынника. Личные трофеи Великого Пустынника заканчивались мумией Великого Питона с бдящими глазами, что создавало грозную двусмысленность, страшноватый намек на то, будто это самая блистательная его обработка. Тем более что среди удавов ходили темные слухи: мол, незадолго до смерти Великий Питон не то был лишен права голоса, не то лишился дара речи.

Однако пора возвратиться к нашим кроликам.

Первые сведения о новом поведении удавов сначала никого не беспокоили. Те кролики, которых удавам удавалось задушить, естественно, ничего не могли рассказать своим собратям, а те, возле которых тяжело и неловко шлепались удавы, ничего не могли понять.

Кролики сначала смеялись над этими случаями и даже довольно долго считали, что удавы на них кидаются с деревьев, стараясь оглушить их собственной тяжестью, раз уж гипноз не действует.

Потом до Короля дошли слухи, что недалеко от зеленого холмика, где по воскресеньям возжигался неуга-симый огонь в память о Задумавшемся, удавы воздвигли памятник Любимому кролику, которому они еже-

дневно поклоняются, бросаясь на него со своими объятиями.

— Совсем спятили, — сказал Король, услышав такое.

— У них теперь вместо Великого Питона появился какой-то Пустынник, — заметил Начальник Охраны.

— Вот они и молятся, — высказал догадку Старый Мудрый Кролик.

— Молятся?! — горько усмехнулся Король. — А как ты разгадал знамение?!

Не успел Старый Мудрый Кролик придумать ответ, как в кабинет Короля вошел его секретарь и что-то шепнул на ухо.

— Введи, — сказал Король, заметно оживившись. Через мгновение в кабинет Короля, ковыляя, вошла истерзанная крольчиха.

— Рассказывай, — приказал Король.

Вот что рассказала крольчиха. Оказывается, она паслась на границе между джунглями и пампасами, когда на нее неожиданно напал удав и, обвинив ее кольцами, стал душить. Ей с большим трудом удалось вырваться из его объятий и убежать.

— Гипнотизировать не пытался? — спросил Король.

— Какой там гипноз, — отвечала крольчиха, — я такой боли в жизни не знала. Вот вывихнул мне лапу...

— А может, это была попытка изнасилования? — предположил Главный Ученый.

— Интересно! — воскликнула Королева.

— Вот бы тебе вывихнули лапу, — дерзко ответила крольчиха, — тогда бы я посмотрела, как это интересно...

— С кем говоришь?! — грозно оборвал ее Начальник Охраны.

— Тише, тише, — сказал Король, нисколько не обращая внимания на непочтительный тон крольчихи, — но ты ведь могла почувствовать, чего он хочет от тебя?

— Я почувствовала, что он хочет меня задушить, — отвечала крольчиха, и по выражению ее мордочки было видно, как она усиленно пытается включить свое тупенькое воображение.

— Ну, а для чего? — нетерпеливо спросил Король.

— А для чего, я не знаю, — ответила крольчиха.

— Ладно, милочка, ступай, — сказал Король и, хлопнув крольчиху по плечу, добавил, обращаясь к секретарю: — Распорядись, чтобы ей выдали недельное пособие как пострадавшей на государственной службе.

Когда крольчиха, поблагодарив Короля, вышла вместе с его секретарем, Король обратился к своим помощникам:

— Ну, что вы скажете на это?

— Скажу, милый, что пораспустились твои подданные, — заметила Королева.

— Надо бы подтянуть, — поддакнул ей Начальник Охраны.

Остальные промолчали.

— А по-моему, очень интересный случай, — оживился Король, — все выстраивается в один ряд... Увеличение количества без вести пропавших кроликов... Пострадавшая крольчиха... Странные упражнения удавов... Они разработали новое страшное оружие — удушье!

— Король, ты гений! — воскликнул Старый Мудрый Кролик. — Зачем тебе я, зачем тебе ученые, зачем тебе Начальник Охраны, когда ты — всё!

— Успокойся, — отвечал Король, — я только сделал необходимые обобщения. Оповестить кроликов о страшной опасности, нависшей над ними... Кто говорил: не надо развивать свою природу? Я говорил. Теперь доразвивались до того, что живым кроликам ломают кости. Размножаться с опережением — вот наше оружие против удавов!

Известие о новом страшном оружии удавов, требующем сплочения кроликов как никогда раньше, к сожалению, в самое ближайшее время самым трагическим образом подтвердилось. Кролики выбросили в реку чучело кролика, на котором тренировались удавы, но было уже поздно. Попытка подгрызать молодняк, чтобы удавы не могли тренировать душителные мускулы, тоже окончилась ничем. Удавы стали подстергать кроликов возле молодых парно растущих деревьев. Да и возможно ли перегрызть все молодые парно растущие деревья?

Деятельность Возжаждавшего среди кроликов, после того как удавы стали душить без всякого гипноза, имела все меньше и меньше успеха.

Начальник Охраны время от времени предлагал подтянуть его за уши, но Король отвергал эту крайнюю меру, считая, что, пока удавы по отношению к кроликам проявляют настоящую твердость, надо быть с кроликами помягче, иначе они совсем затоскуют.

Вообще к Королю вернулось чувство юмора, тот грубоватый юмор, который так ценил и понимал его народ.

— Кажется, кое-кто нам обещал пробежать по удаву, — говаривал Король во время кроличьей сходки, что неизменно вызывало дружеский хохот кроликов. Обычно эта шутка звучала на предложение Возжаждавшего провести те или иные реформы.

— Но вы же понимаете, что сейчас совсем другая обстановка, — отвечал Возжаждавший на эти неприятные напоминания.

— То-то же, — кивал Король, — попробуй развивать природу — и кончится тем, что удавы будут летать за кроликами. Так говорил мой отец еще в те времена, когда и в голову никому не могло прийти, что удавы откажутся от гипноза.

Кролики снова притихли и стали законопослушными. Теперь они регулярно вносили в королевский дом огородный налог, а выпивать стали не то чтобы меньше, но пили у себя в норе, а не где попало. Возжаждавший, помня изречение Учителя насчет того, что если мудрость не может творить Добро, то она по крайней мере должна удлинять путь Злу, пытался добиться от Главного Ученого со всей его канцелярией улучшения службы безопасности кроликов.

С тех пор как удавы начали бросаться на кроликов, при этом чаще всего из засады, Главный Ученый вообще перестал выходить из дворца, вернее, выходил только во время кроличьих сходов и, разумеется, не дальше Королевской Лужайки. О проведении его ученых опытов в полевых условиях не могло быть и речи.

Правда, после долгой работы, которая заключалась в расспросах случайно уцелевших кроликов, он вывел глубокомысленную формулу, согласно которой длина прыжка удава равна квадрату его собственной длины.

Но кролики, хотя и пораженные четкой красотой формулы, все-таки жаловались — под влиянием Возжаждав-

шего — на то, что эту формулу никак невозможно на практике применять. Король, отчасти признавая законность этих жалоб, старался их утешить.

— У нас в руках правильная теория, — говорил Король, — а это уже более чем кое-что.

— Теория-то, может, и правильная, — отвечали кролики, — но как же ею пользоваться, когда мы не знаем длины нападающего удава?

— Тоже верно, — соглашался Король и, найдя глазами Возжаждавшего, добавлял: — Кстати, тут кое-кто обещал пробежать по удаву... Измерил бы пять-шесть удавов, мы бы вывели хоть среднюю длину нападающего удава...

— Вы же знаете, что сейчас совсем другое время, — отвечал Возжаждавший, стыдливо опуская голову.

— Не только знаю, но и знал, — неизменно отвечал Король, что всегда приводило кроликов в состояние тихого восторга.

— «Но и знал», — повторяли кролики, разбредаясь по норам после сходки, — что-что, а кумпешка у нашего Короля светлая.

Несмотря на свои беды, а скорее даже благодаря своим бедам, кролики продолжали размножаться с опережением и, опять же благодаря своим бедам, с еще большим усердием (смертники!) продолжали воровать на туземных огородах вместе со своими единомышленниками в этом вопросе — обезьянами.

В конце концов туземцы, развивая природу своей любви к своим огородам, сумели договориться с Великим Пустынником, чтобы он отпускал удавов дежурить на огороды в качестве живых капканов. Об оплате условились просто.

— Что поймал, то и ешь от пуза, — предложили туземцы.

Удавы охотно ходили на дежурство, потому что на огородах кролики, да, кстати, и обезьяны, впадая в плодово-овощной разгул, теряли всякую осторожность.

— Если б я тогда знала, что эти мерзавцы будут кукурузу сторожить! — с элегической грустью говаривала та самая мартышка, выкусывая вшей из головы своей внучки, уже и слыхом не слыхавшей ни о Наход-

чивом кролике, ни тем более о преданном им Задумавшемся.

Кстати, однажды удав, посланный дежурить на кукурузное поле, возвратился, как было замечено некоторыми удавами, несколько смущенный.

— Что случилось? — спросили у него.

— Кажется, дал маху, — отвечал он, укладываясь в сыром овраге, недалеко от Кельи Великого Пустынника, — вместо марьшпки обработал жену хозяина.

— Ну и как она? — спросили удавы, отдыхавшие в этом овраге.

— Да так, ничего особенного, — говорил удав, — интересно, туземец Пустыннику не пожалуется?

— А кто его знает, — отвечал пожилой, но еще моложавый удав, — раз на раз не приходится... То, бывает, соблазнится наш брат на хорошую жирную туземку — и ничего. А бывает, обработаешь пигалицу — а шуму на все джунгли...

— Да эта тоже была худая и жилистая... Я ее сначала в темноте и в самом деле спутал с обезьяной, ну а потом уже думаю: и так и так отвечать...

— Правильно сделал, — заметил пожилой удав, — труп лучше не оставлять... Потому что туземцы время от времени напиваются, как кролики, и забывают все, что было. Иной проспится и никак не вспомнит — то ли подарил кому-то жену, то ли просто прогнал... Кстати, — через некоторое время добавил этот пожилой удав, любивший помогать молодым неопытным удавам, но делавший это несколько суетливо, — пока ее не переваришь, сдавай дерьмо в комнату находок. Туземцы легко успокаиваются, если на память о проглоченном у них остается какая-нибудь железная штучка...

Этот пожилой удав прямо как в воду глядел. Недели через две до мужа туземки дошли слухи, что исчезнувшую жену, оказывается, проглотил удав, стороживший его собственный огород. Особенно оскорбительно было то, что этот удав, на радость некоторым туземцам, говорил, будто спутал ее с обезьяной.

И вот он пришел с жалобой к Великому Пустыннику. Тот, прежде чем принять туземца, из уважения к старинному обычаю велел занавесить чучело Туземца в Расцвете Лет.

— Твоя удав моя жинку плотал, жинку, — начал туземец жаловаться Великому Пустыннику, особенно напирая на оскорбительное сравнение ее с обезьяной.

— Накажем, — обещал Великий Пустынник. — Кстати, войдешь в комнату находок и возьмешь, если на ней были, украшения.

— Спасибо, хозяин, — поклонился ему туземец, — моя другой жинка возьмет.

— Ну, вот и уладил, — отвечал Великий Пустынник, — я всегда стоял за дружеские связи с туземцами...

Туземец был очень доволен оказанным ему приемом и просил, несмотря на этот неприятный случай, в будущем не оставлять его поле без дежурства удава. Правда, в конце разговора возникла некоторая неловкость. Рассматривая чучело и справедливо восторгаясь искусством удава-скульптора, он сказал про мумию Великого Питона:

— Прямо как настоящий...

— А он и есть настоящий, — отвечал Пустынник, — только выпотрошен и залит смолой.

— А это тебя готовят? — кивнул глупый туземец на занавешенное чучело Туземца в Расцвете Лет.

— Скорее тебя, — ответил Пустынник непонятно, но страшноовато, и туземец поспешил уйти. Пустынник не любил разговоров о своей смерти. Он даже не любил разговоров о чужой смерти, если чужая смерть могла ему напомнить собственную.

Одним словом, после воцарения Пустынника жизнь удавов и кроликов вошла в новую, но уже более глубокую и ровную колею: кролики воровали для своего удовольствия, удавы душили для своего.

— Размножаться с опережением и ждать Цветной Капусты, — повторял Король, — вот источник нашего исторического оптимизма.

И кролики продолжали успешно размножаться, терпеливо дожидаясь Цветной Капусты.

— Ты жив, я жива, — говаривала по вечерам крольчиха своему кролику, — детки наши живы, значит, все-таки Король прав...

Кролики не понимали, что в переключке принимают участие только живые.



— Если бы жив был Учитель... — вздыхал Возжаждавший. — А что я могу один, и тем более в новых условиях?

Впрочем, согласно изречению Задумавшегося, он старался развивать в кроликах стрекачество, чтобы удлинять путь Злу.

Вдова Задумавшегося создала Добровольное общество юных любителей Цветной Капусты. По воскресеньям, когда на Зеленом холмике возжигался над символической могилой Задумавшегося неугасимый огонь, она собирала там членов своего общества и вспоминала бесконечные и многообразные высказывания своего незабвенного мужа об этом замечательном продукте будущего. Свежесть ее воспоминаний о Цветной Капусте поддерживалась твердым кочаном обыкновенной капусты из королевских запасов.

Однажды уже сильно постаревшие Король и Королева грелись на закатном солнце, стоя у окна, в которое когда-то заглядывал с ветки морковного дуба тот самый крольчонок, что просил Цветную Капусту.

— Находчивый — это тот, который был с красивыми глазами, или тот, который предал Учителя? — вдруг спросила Королева у Короля. Кстати, придворные косметички смело придавали лицу Королевы черты былой красоты, поскольку мало кто помнил, какой она была в молодости.

— Не помню... Кажется, родственники, — отвечал Король, ковыряясь в зубах орлиным пером. — Но кто мне надоел, так это вдова Задумавшегося.

Последнее замечание Короля, хотя никак не было связано с вопросом Королевы, не вызывало сомнений: очень уж она зажилась. Ее собственные дети и даже некоторые внуки к этому времени уже погибли, а она все рассказывала случаи из жизни Задумавшегося, все вспоминала новые подробности его душевных бесед о Цветной Капусте.

Но и ее тоже можно было понять: ей так было жаль расставаться с дармовой королевской капустой, что это придавало ей силы для долгожития. Одним словом, всех можно понять, если есть время и охота.

Интересно, что некоторые престарелые кролики, рассказывая молодым о прежней жизни в гипнотический период, сильно идеализировали его.

— Раньше, бывало, — говорили они, — гуляешь в джунглях, встретил Косого — проходи не останавливаясь, безопасной стороной его профиля. Или встретил Коротышку — а он на тебя и смотреть не хочет... Почему? Потому что бананами налопался, как обезьяна.

— А где они теперь? — спрашивали молодые кролики, завидуя такой вольнице.

— Косого удавы задушили, — отвечал кто-нибудь из старых кроликов, — а Коротышка вообще переродился в другое животное и взял другое имя.

— Вам повезло, — вздыхали молодые кролики.

— Раньше никто бы не поверил, — распалялись старые кролики, — чтобы туземцы использовали удавов против кроликов...

— А выпивка? Чистый сок бузины даром раздавали, — вспоминали престарелые алкоголики, — хочешь — учись писать, хочешь — пей, твое дело.

— Но вы забываете главное, — напоминал кто-нибудь, — при гипнозе, если уж тебе было суждено умереть, тебя усыпляли, ты ничего не чувствовал.

— А сейчас рядовые кролики отраву пьют, — не давал закрыть тему престарелый алкоголик, — сок бузины идет только для Допущенных...

— Одним словом, что говорить, — вздыхал один из старейших кроликов, — порядок был.

Удивительно, что и старые удавы, делясь воспоминаниями с молодыми, говорили, что раньше было лучше. При этом они тоже, как водится, многое преувеличивали.

— При гипнозе как было, — рассказывал какой-нибудь древний удав, — бывало, ползешь по джунглям, встретил кролика, глянул — приморозил! Снова встретил — снова приморозил! А сзади удавиха ползет и подбирает. А кролики какие были? Сегодняшние против тех — крысы. Ты его проглотил, и дальше никаких тебе желудочных соков не надо — на своем жиру переваривается. А сейчас ты его душишь, а он пищит, вырывается, что-то доказывает... А что тут доказывать?

— Жили же, — мечтательно вздыхали младые удавы.

— Порядок был, — заключал старый удав и после некоторых раздумий, как бы боясь кривотолков, добавлял: — При гипнозе...

— Они думают, душить легко, — часто говаривал один из старых удавов, укладываясь спать и с трудом свивая свои подагрические кольца. Хотя на вид это был далеко не тот удав, которого мы знали как удава, привыкшего все видеть в мрачном свете, на самом деле это был именно он.

\*\*\*

Вот и все, что я слышал об этой довольно-таки грустной истории взаимоотношений кроликов и удавов. Если кто-нибудь знает какие-то интересные подробности, которые я упустил, я был бы рад получить их. Лучше всего письмом, можно по телефону, а еще лучше — держать их при себе: надоело.

Когда я записывал все это, у меня возникали некоторые научные сомнения. Я, например, не знал, в самом деле удавы гипнотизируют кроликов или это так кажется со стороны.

У Брема в «Жизни животных» почему-то ничего об этом не говорится. Все мои знакомые склонялись к тому, что удавы и в самом деле гипнотизируют кроликов, хотя полностью утверждать это никто не брался.

Среди моих друзей не оказалось ни одного настоящего змееведа. Но потом я вспомнил полузабытого знакомого, который любил говорить, беря командировку в пустыню Каракумы: «Поезд к змеям...» Хотя я знал, что он по профессии геолог, но думал, что он как-то попутно и змеями занимается. Я с трудом нашел его телефон и очень долго и безуспешно напоминал ему об этом его выражении, а он почему-то все отрицал, упирая на то, что тем или иным сотрудником филиала их среднеазиатского института он мог быть недоволен, но чтобы целый коллектив — он лично такого не помнит.

Вдобавок он у меня спросил, кто я, собственно, такой и почему я этим интересуюсь, хотя я начал именно с этого. Но он сначала, видимо, слушал меня рассеянно и благодаря моему восточному имени принял меня за кого-то из своих далеких сотрудников.

— Ах, это ты, старичок, — сказал он, наконец все поняв и обрадовавшись. — А я думал, кто-то из моих анонимщиков... Нет-нет, какие там змеи — вздоха-продыха

нет... Хотя если говорить по существу, то настоящие змеи...

Так как змеи в переносном смысле меня не интересовали, я пропустил мимо ушей его стенания и при первой же возможности положил трубку.

— Так это же по телевизору показывали, — сказала одна женщина, когда я затеял разговор об удавах в дружеской компании.

— И вы видели сами? — спросил я, обнадеженный.

— Конечно, — сказала она, отвернувшись от зеркала, в которое глядела на себя с той педагогизированной строгостью, с какой все женщины смотрятся в зеркало, словно бы укоряя свой облик в том, что хотя он и хорош, но потенциально мог быть гораздо лучше.

— Ну и что? — спросил я, трепеща от любопытства.

— Ну, этого самого... — сказала она и очень выразительно поглядела на меня, — зайчика положили в клетку с удавом...

— Ну, а дальше? — спросил я.

— Я отвернулась, — сказала она и еще более выразительно поглядела на меня, — не могла же я смотреть, как этот питон глотает зайчика...

Так или иначе, она ничего не могла мне сказать по интересующему меня вопросу, и я в конце концов через другого моего знакомого, у которого оказался знакомый змеевед, узнал, как смотрит наука на эту проблему.

Этот змеевед с презрительной уверенностью сообщил, что никакого гипноза нет, что все это легенды, дошедшие до нас от первобытных дикарей (не наших ли туземцев он имел в виду?). Таким образом, слова его вполне совпали с наблюдениями Задумавшегося.

В глубине души я всегда был в этом уверен, но приятно было услышать вполне компетентное научное подтверждение взглядов Задумавшегося кролика. Тем более что открытия этого действительно замечательного мыслителя были сделаны в те далекие времена, когда не было ни крупных научных центров, ни путеводной науки, господствующей в наши времена и ясно определяющей, какие змеи полезны, а какие вредны и почему. Задумавшемуся приходилось на собственной шкуре доказывать свою правоту.

Между прочим, я заметил, что некоторые люди, услышав эту историю кроликов и удавов, мрачнеют. А некоторые начинают горячиться и доказывать, что положение кролика не так уж плохо, что у них есть немало интересных возможностей улучшить свою жизнь.

При всем своем прирожденном оптимизме я должен сказать, что в данном случае мрачающий слушатель мне нравится больше, чем тот, что горячится, может быть, стараясь через рассказчика воздействовать на кроликов.

Вот поясняющий пример. Бывает, зайдешь к знакомому, чтобы стрелкнуть у него немного денег. Как водится, начинаешь разговор издалека — о трудностях заработка и вообще в таком духе. И смотришь, что получается. Если ваш собеседник, подхватывая тему, горячится, указывая на множество путей сравнительно легких заработков, то так и знайте, что он ничего не даст.

Если же во время ваших не слишком утонченных намеков собеседник мрачнеет и при этом не указывает никаких путей сравнительно легких заработков, то знайте, что тут дела обстоят гораздо лучше. Этот может одолжить, хотя может и не одолжить. Ведь он помрачнел потому, что мысленно расстался со своими деньгами или, решив не давать их, готовится к суровому отпору. Все-таки шанс есть.

Так и в этой истории с кроликами я предпочитаю слушателя несколько помрачневшего. Мне кажется, для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь.

# Думающий о России и американец

Диалог



Вестибюль солидной московской гостиницы.

На переднем плане в креслах сидят и разговаривают Думающий о России и американец. На заднем плане спиной к нам сидит неизвестный человек и рассказывает что-то жене американца. Видно, рассказ его производит сильное впечатление на него самого и на американку. Иногда у рассказчика плечи трясутся, американка подносит к глазам платок, а порой подходит к бару в углу вестибюля и подает рассказчику успокаивающие его бокалы крепких напитков. К концу сцены рассказчик передает американке какую-то картину, получает за нее деньги и покидает гостиницу. В вестибюле снуют разные люди. Некоторые из них выпивают в баре, переговариваются со своими спутниками и далекими деловыми партнерами при помощи карманных телефонов. Внятно мы слышим только разговор американца и Думающего о России.

— Что делают в России?

— Думают о России.

— Я спрашиваю: что делают в России?

— Я отвечаю: думают о России.

— Вы меня не поняли. Я спрашиваю: что делают в России? Какими делами занимаются? Дело, дело какое-нибудь есть?

— В России думают о России. Это главное дело России.

— Ну, хорошо! Если думать о России — главное дело россиян, то какое-нибудь второстепенное дело у них есть? Какие-нибудь люди в России есть, кроме тех, которые думают о России?

— Ах, вы про остальных? Так бы и сказали. В России многие думают о России, а остальные воруют.

— Все остальные?

— Да, все остальные.

— Не может этого быть! Чтобы все, кроме Думающих о России, воровали!

— Как — не может быть? Так оно и есть. В России все это знают.

— И никто с этим не борется?

— Нет.

— Почему?

— Некому бороться.

— Как некому? Это же безумие!

— Те, кто в России думает о России, тем некогда бороться. А те, кто ворует, не могут же бороться с самими собою. Но это не значит, что в России слишком уж много воруют. Дело в том, что в России очень многие думают о России.

— Так кого же больше в России — тех, кто думает о России, или тех, кто обворовывает Россию?

— Это невозможно подсчитать.

— Почему?

— Потому что те, кто думает о России, больше ничем другим заниматься не могут. А те, кто ворует, заняты воровством, им некогда подсчитывать тех, кто ворует.

— Но те, кто ворует, могут заняться этим в свободное от воровства время.

— У них такого времени нет.

— Почему?

— Потому что те, кто ворует, в перерывах между воровством тоже думают о России. Выходит, и у них времени нет.

— Значит, те, кто ворует, в свободное от воровства время присоединяются к тем, кто думает о России?

— Конечно!

— Но для чего?!

— Во-первых, когда воры присоединяются к тем, кто думает о России, их нельзя отличить от тех, кто думает о России. А это им выгодно. А во-вторых, им любопытно думать о России. Думать о России — для них кайф. Чем больше они думают о России, тем сильнее убеждаются в необходимости воровать. Это подымает дух!

— В таком случае те, кто думает о России, во время отдыха от думанья о России могли бы подсчитать: сколько людей думают о России, а сколько людей обворовывают

Россию. Нужен же какой-то баланс. Иначе страна погибнет.

— Им тоже некогда. Те, кто думает о России, когда отдыхают от российских дум, тоже подворовывают.

— Как, и они воруют?!

— Нет, когда думают о России, не воруют! Боже упаси! Но в свободное время подворовывают. Жить же надо! К тому же, подворовывая, они сливаются с теми, кто ворует, и становятся незаметными. В России думать о России всегда было гораздо более опасно, чем воровать. Такая традиция. Вот они и маскируются так. Но главным образом они думают о России.

— Выходит, в России все думают о России?

— Я же с этого начинал.

— Но так же выходит, что в России все воруют. В том числе и те, кто думает о России?

— А что им делать? Государство же не содержит тех, кто думает о России, а им жить надо. У них жены и дети, которые с детства начинают думать о России или воровать. В последнем случае отцы еще глубже задумываются о судьбе России.

— А если бы государство содержало тех, кто думает о России, они бы, наверное, перестали подворовывать?

— Ничего бы из этого не вышло. Те, кто ворует, быстро смекнули бы, что думать о России выгодней, чем воровать, и переквалифицировались бы в Думающих о России.

— Так за этим должна была бы следить какая-то комиссия, чтобы все было честно!

— Не получается. Места раздают те, кто ворует. И они объявят своих, тех, кто ворует, Думающими о России и возьмут их на государственное довольствие.

— Хорошо. Разберемся в деталях. Я так понял, что в России те, кто внизу, подворовывают. А те, кто вверху, надворовывают, что ли?

— Полная чепуха. Сразу видно, что вы иностранец и не чувствуете самых трепетных тонкостей нашего языка и нашей психологии. Подворовывать — это человечно, скромно, даже уважительно по отношению к тому, у кого подворовывают. А по-вашему, вероятно, подворовывать — значит грубо выдергивать то, что лежит снизу.



— А что это значит?

— Подворовывают — это значит воруют с оглядкой на совесть. Воруют и плачут, воруют и плачут.

— Одновременно?!

— Именно одновременно!

— А те, что вверху, значит, не надворовывают? Тогда что они делают?

— Нет, конечно! «Надворовывают» — звучит высокомерно. «Надворовывают» — значит, презирают тех, кто подворовывает. Этого мы им не позволим. Мы люди гордые и обидчивые. «Надворовывать» — у нас даже в языке нет такого слова. Гордый язык! Наверху у нас воруют!

— Какая же разница между теми, кто ворует наверху, и теми, кто внизу?

— Огромная. Наверху сурово воруют. А внизу мягко подворовывают. Воруют и плачут.

— Одновременно?!

— Одновременно. Более того, у нас народ такой совестливый, что иногда даже начинает плакать перед тем, как начать воровать. Еще не ворует, а уже плачет. Порой это заметно и на улице. И сразу видно — бедняга подворовывать идет. Ему жалко человека, у которого он идет подворовывать. Бывает, порой встретит на улице знакомого, поплачутся друг у друга на груди и расходятся в разные места подворовывать.

Только в России человек жалеет человека, у которого ворует. Он братские чувства к нему испытывает. Он ведь хорошо знает, что украденное у близкого было в свое время близким украдено у другого. И он сразу жалеет всех троих. Как же тут не расплакаться!

Сколько у России жалельщиков! Соборный мы народ! А так как в конечном счете все подворовывают у России, включая и тех, кто ворует сверху, все жалеют Россию. Ни один народ в мире так не жалеет свою страну, как мы!

У нас даже милиционер, видя плачущего человека и понимая, что тот идет подворовывать, жалеет и его, и того, у которого он собирается подворовывать. И от жалости сам начинает плакать! Так что иногда не поймешь — милиционер плачет по своим воровским надобностям или жалея того, кто идет подворовывать.

— По-моему, вы мне голову морочите! Что-то я не видел плачущих милиционеров и рыдающих воров, хотя уже месяц в Москве! В проходах метро видел просящих деньги, иногда всхлипывающих, впрочем, фальшиво. А того, что вы говорите, я не видел.

— И не увидите никогда, потому что вы иностранец. Потому что, как сказал наш великий классик, мы в основном плачем невидимыми миру слезами.

— Ладно. Это не главное. Но из ваших слов получается, что в России воруют и те, кто ворует, и те, кто думает о России. Я не вижу между ними разницы. А вы видите?

— Да, иностранец нас никогда не поймет! Огромная, принципиальная разница! И мы на этом настаиваем! Те, кто думает о России, подворовывают в свободное от российских дум время. А у них этого времени так мало! А те, кто ворует, думают о России в свободное от воровства время. И у них этого времени тоже мало. Получается колоссальная разница! Главное — как человек проводит свое рабочее время, а не свободное.

— Удивительное дело! У нас на Западе мы привыкли уставать от работы и отдыхать за разговорами. А здесь, в России, я постоянно устаю от разговоров! Скажу честно: я и от вас устал.

— Естественно. Вы не привыкли. У вас — быт. У нас — метафизика. Вы научились делать не думая. А мы научились думать не делая.

— Ну, хорошо. Какая самая характерная черта Думающих о России?

— Самая характерная черта Думающих о России — это принципиальное нежелание заниматься практическими делами при поощрительной дозволенности давать практические советы правительству. Правительство все равно нас не слушает, но мы все равно даем ему советы.

Сужу по себе. Когда жена подходит ко мне с молотком и гвоздем и говорит: «Вбей этот гвоздь в стену!» — я прихожу в тихую ярость. Я готов вбить этот гвоздь ей в голову. В Россию вбито столько гвоздей! Мы, Думающие о России, можно сказать, зубами выдираем эти ржавые гвозди, а она мне предлагает вбить еще один гвоздь!

Недавно мы с женой были на даче. Дача эта к нам перешла по наследству от ее родителей. Вышли погулять. Ну, я, естественно, и гуляя, думаю о России. Довольно увесистая сосулька свисала с крыши, где проходила наша тропка. Ну, висит. Пусть себе висит, греется на солнце. Кому она мешает? Так жена мне говорит: «Надо попросить у соседей стремянку. Влезь на нее и сбей эту сосульку, иначе она рухнет на нашу голову». — «Это абсолютно невозможно», — говорю я ей. «Почему невозможно? — упрямо настаивает жена. — Ты сбивай себе сосульку и думай о России».

«Сбивай сосульку и думай о России!» Какой цинизм! «Сосулька никак не может рухнуть на нашу голову, — отвечаю я ей, — слушай мои доказательства, хотя ты отвлекаешь мою мысль от размышлений о России. В сутках двадцать четыре часа. Один час содержит в себе шестьдесят минут. Минута — шестьдесят секунд. Перемножь, и получится астрономическая цифра секунд. Даже если мы три раза в день пройдем под этой сосулькой, на это уйдет шесть-семь секунд, если не стоять под сосулькой, разинув рот. Практически нулевая возможность попадания сосульки в голову. Но даже и в этом случае она попадет в голову одного из нас. Значит, и без того почти нулевой шанс уменьшается вдвое. К тому же по принятому у Думающих о России обычаю, проходя под сосулькой, женщину надо пропускать вперед, чтобы удар принять на себя».

Мои мощные аргументы на жену так подействовали, что она промолчала. На обратном пути, надо же, сосулька грохнулась с крыши и упала в пяти шагах от нас. Я еще не успел пропустить ее вперед. «Вот видишь!» — злобно говорит жена.

«Что «видишь», — отвечаю я ей, — сосулька не могла упасть на нашу голову, и не упала». — «Но ведь ты останавливался прикурить от зажигалки, — ехидно вспоминает она. — Если б не эти секунды, сосулька рухнула бы на наши головы!» — «Как видишь, — говорю, — твоя попытка заставить меня бросить курить стоила бы тебе головы. Как Думающий о России я это предвидел».

Чтобы вы лучше поняли русский национальный характер, я вам расскажу одну веселую историю. Мне о ней поведала профессор-глазник.

Много лет назад она работала со знаменитым офтальмологом профессором Авербахом. Однажды к нему приводят слепого, чтобы он ему выдал справку для получения пенсии по причине полной слепоты. Профессор Авербах исключительно долго исследовал его зрение при помощи всяческих лампочек. И его коллега удивилась такому особенному вниманию к этому пациенту. Когда они на несколько минут оказались в соседнем помещении, она спросила профессора Авербаха: «Что вы так долго занимаетесь его глазами?» — «Да понимаете, — вздохнул профессор, — у меня такое ощущение, что он видит, но доказать никак не могу». — «Ну, если доказать не можете, — отвечает она ему, — пишите справку о его слепоте».

И профессор Авербах, хоть и с некоторыми сомнениями, написал ему такую справку. Слепому сунули в ладонь справку, и его увели близкие. И тут гениальное совпадение! Через три дня профессор Авербах идет в свой институт и вдруг видит, что навстречу ему шагает его пациент без палочки и без всякого сопровождения. В пяти шагах от него профессор Авербах остановился и стоит как вкопанный. А слепой смотрит на него с дружеской улыбкой и говорит: «Здравствуйте, профессор!» — «Но ведь вы меня не должны были увидеть?» — взревел профессор. «А кто вам сказал, что я вас вижу? — не растерялся пациент. — Я вас слышу. Я ведь не глухой, а слепой». — «Но ведь вы первым поздоровались со мной!» — крикнул профессор. «Но ведь вы остановились при виде меня, — продолжал слепой как ни в чем не бывало, — а у нас, у слепых, очень развит слух. Я почуял, что кто-то впереди меня остановился. И я подумал: кто же будет останавливаться перед несчастным слепым, кроме доброго профессора Авербаха, выдавшего ему справку о его слепоте». — «Да я сам слепой!» — махнул рукой профессор Авербах, и они прошли мимо друг друга.

Давайте проанализируем эту историю.

— Давайте.

— Как вы думаете, мнимый слепой, здороваясь с профессором Авербахом, издевался над ним?

— Ну, если не издевался, так насмешничал. Иначе он молча прошел бы мимо.

— Ничего подобного! Вы не понимаете специфики русской души. Она способна на величайшую хитрость, но хитрость всегда одноразовая.

Русскому человеку скучно все время хитрить. Сколько тонкости проявил этот народный умелец, чтобы обмануть профессора со всеми его приборами. И профессор, хоть и не без некоторого смущения, выдал ему нужную справку.

И вдруг он его встречает на улице. С одной стороны, он видит профессора и испытывает к нему благодарность. С другой стороны, он теряет бдительность и забывает, что он профессора не может видеть и здороваться с ним. Но он здоровается с профессором. Благодарность победила бдительность.

Когда же профессор, некоторым образом возмущенный, попытался его разоблачить, снова включилась хитрость, и он фактически победил профессора.

Кстати, это случилось возле института, где работал профессор. Вероятно, его находчивый пациент жил где-то поблизости. Вероятно, он, имея возможность наблюдать за подслеповатыми людьми, бредущими в институт, и за слепыми, которых туда вели, пришел к своему парадоксальному решению.

Но вернемся к нашей теме. Как вы считаете, этот мнимый слепой, получая пенсию по слепоте от истинно слепого государства, ворует у него или подворовывает?

— Ворует, определенно ворует!

— Опять ошибка! Именно подворовывает. Это государство воровало у него всю жизнь. И он, чтобы кое-как компенсировать это воровство, вынужден был притвориться слепым.

— Я удивляюсь, сколько умных людей в России! Почему же они никак не могут попасть в правительство?

— Надо, чтобы в России были люди, Думающие о России.

— А разве в правительстве нельзя думать о России?

— У них времени нет. Тем более они знают: зачем думать о России, когда вся Россия и так думает о России. Но говоря всерьез, вот что происходит. Ум — это тяжелый груз удвигающегося к вершинам власти. Кто решитель-

нее сбрасывает этот груз, тот быстрее подымается, глупея на ходу.

— Это все хорошо. Но как у вас дела с бизнесом? Я никак не пойму.

— У меня лично?

— Хотя бы у вас.

— Этого я вам сейчас сказать не могу.

— Почему?

— Потому что таковы условия игры. Я о своем бизнесе расскажу вам в конце нашей беседы. Я вам лучше расскажу о бизнесе моего племянника. Все прямо из жизни. Мой племянник работает на одной московской фирме. Недавно приходит ко мне. Садимся ужинать. «Как дела фирмы?» — спрашиваю. «Еще кое-как держимся на плаву». — «В чем дело?» — говорю. «Денег нет ни у кого. Купили зерно и заказали комбикорма, расплатившись с заводом частью зерна. Продали комбикорма большой свиноферме. Свиньи в отличие от людей не могут терпеть голод. Но у свинофермы денег не было, и они с нами расплатились сахаром, которым государство, в свою очередь, им заплатило за свинину. Но на сахар цена упала. Продавать его невыгодно. Что делать? Купили шпалы у начальника лагеря, где заключенные занимались лесоповалом. Расплатились сахаром. Сахар поддерживает силы заключенных. Продали шпалы железнодорожной организации, но у нее тоже денег не было, и она с нами расплатилась правом на бесплатный провоз товаров по стране. Купили рис у одной иностранной фирмы и расплатились с ней этим правом на бесплатный провоз ее собственного риса. Продали свой рис населению и немного заработали».

Конечно, казалось бы, первобытнообщинный обмен продуктами. Но скажите честно, способны ли ваши бизнесмены на такой головокружительный крутеж?

— Уверен, что не способны! Что вы за народ! Чем больше о вас думаешь, тем вы загадочней. Можно сойти с ума! И это страна, первая взлетевшая в космос!

— Я хорошо помню день, полный ликования, когда Гагарин взлетел в космос и дал кругалия над земным шаром! Именно в этот день, возможно, именно по этому поводу, один пьяный гражданин валялся на тротуаре. Он спал и

во сне помочился. Сдается мне по обилию мочи, что он сперва долго пил пиво, а потом, резко перейдя на водку, спикировал. Прихотливые трещины старого тротуара привели к тому, что струя мочи описала круг над телом пьяницы.

Я тогда же почувствовал, что круг Гагарина над земным шаром и круг над пьяницей имеют какой-то символический смысл. Но какой? Вероятно, такой: не космосом надо было заниматься, а вот этим пьяницей, спящим в петле своей мочи.

Однако ваш покорный слуга его не поднял, и никто его не поднял. И если вдуматься, может быть, по этой причине случилось все, что с нами случилось. Но по этой же причине Гагарин первым прорвался в космос!

— Да я вижу, вы философ.

— Все Думающие о России — философы. Но вот вам эпизод из жизни одного нашего истинного философа. Он объясняет некоторую нашу космичность.

Когда-то наш философ был женат. Но жена его спуталась с одним из его учеников. Узнав об этом, философ воскликнул в сердцах: «ТЬфу, сволочь! Какого собеседника ты меня лишила!»

Жена его, потрясенная столь высокой оценкой философом своего ученика, ушла к этому ученику совсем. С тех пор наш философ жил один, тайно ликуя: хороший собеседник исчез, но при этом освободил его от очень плохой собеседницы. Разница в пользу философа.

Итак, он жил один. Но как-то он заболел. И одна одинокая женщина, его знакомая, позвонила ему. Узнав, что он болен, она предложила свои услуги: приехать, приготовить еду, сходить за лекарствами, постирать. Философ подумал-подумал — и отказался. «Почему?» — удивилась женщина. «Видишь ли, — отвечал философ, — если ты приедешь и будешь ухаживать за мной, это значит, когда ты заболеешь, я тоже должен приехать и ухаживать за тобой. А это отвлекает мою мысль. Болезнь мне не страшна. Страдание только обостряет мою мысль». — «А сострадание?» — спросила одинокая женщина. «Сострадание человечеству тоже обостряет мою мысль, — признался философ и честно добавил: — А сострадать отдельному человеку я еще не пробовал».

Мы слишком космичны. Отсюда наши беды. Обрабатывать свой виноградник — не наша философия. А вот вырастить виноградник в тундре — это нам интересно.

В это время к ним вкрадчивой походкой приближается какой-то человек. Наклоняется.

— Ребята, девочек хотите? Как раз их две. Из балетной школы. Конфетки!

— А где они?

— У меня в машине.

— Они блондинки или брюнетки?

— Одна блондинка. А другая брюнетка. Сразу выберите!

— А сколько это будет стоить?

— По двести долларов с головы.

— Дороговатые у вас девочки.

— Зато двадцатилетки.

— Для балетной школы перестарки.

— Они давно окончили балетную школу. А что дорого... Опять же швейцару заплати, администратору заплати, девочкам заплати, и я хочу немного заработать. Номер для вас бесплатно.

— Но как же мы, солидные люди, в одном номере будем с двумя девочками? Он будет кувыраться с ней в постели, а я что, следить буду за ним?

— Зачем следить? Сами кувyrкайтесь. Номер двухспальный.

— Я так не могу. Это что же: на старт! внимание! марш! Кто быстрее!

— А второй номер на два часа стоит еще пятьдесят долларов. Если можете, приплатите.

— Зачем мне на два часа? Что я, черепаха, что ли? Часа вполне достаточно!

— Но они меньше чем за пятьдесят долларов не сдают номер. А вы можете там находиться хоть десять минут.

— Нет, такое не пойдет. Так как же нам быть в одном номере?

— Раз уж вы такой чистюля, идите со своей девушкой в ванную комнату, пока он со своей девушкой накувыркается. А потом они пойдут в ванную, а вы кувyrкайтесь.



— А что же нам делать, пока он будет кувыраться?

— Ждать. Или, знаете, некоторые любят под душем. Дело вкуса.

— Ну нет, я еще не дельфин!

— Ну, тогда ждите, пока они накувыркаются.

— Что же, она потом голая мимо меня пройдет в ванную? Неприлично.

— Впервые вижу такого капризного клиента! При этом, учтите, девочек можно и не угощать. На ваше усмотрение.

— Как так — не угощать? Они ведь могут обидеться.

— Нет, они не обидчивые, веселые девушки. Только после постели обязательно душ. И они уходят. Чистоплотные девушки.

— Правда, чистоплотные?

— Очень. Можете не угощать, но душ после постели обязательно.

— А до постели?

— Прикажете — примут.

— Нет-нет, я не могу. Я люблю свою жену и верен ей.

— Мы не только любим своих жен и верны им! Я к тому же еще верен его жене! А он верен моей жене!

— Как так? Я ничего не понимаю.

— Думать, думать надо. Не думать — грех.

— Но если вы верны своей жене, как же вы можете при этом быть верным жене друга? А! У вас что — семейная коммуна? Я что-то слышал про такое. Тем более вам не привыкать кувыраться друг у друга на глазах!

— Никакой коммуны. Каждый живет со своей женой, но при этом верен жене друга.

— Постойте! Постойте! Этого же не может быть! Если верен жене друга, значит, с ней живет. Как же при этом быть верным своей жене?

— Каждый из нас верен жене друга, потому что не знает ее. Я не знаю его жену, а он не знает мою. Потому — мы верны им.

— Тьфу ты, голову мне заморочили! Я думал серьезным людям девочек предложить! Пойду в бар, там люди посерьезней.

И молодой человек уходит.

— Я думаю, он здесь быстро найдет клиентов.

— Похоже... Кстати, говоря о тундре, вы напомнили мне то, что я хотел у вас спросить. О московском бизнесмене вы мне рассказали. Но как обстоят дела хотя бы с малым бизнесом в глубине России?

— Как раз за развитием малого бизнеса я полгода назад наблюдал в Краснодаре. Тоже российская глубинка.

Сидим в краснодарском аэропорту, в отсеке, выходящем на летное поле. Люди ждут объявления посадки на свой самолет. Возле урны, расположенной у выхода на летное поле, несколько человек курят.

Объявлена посадка на очередной самолет, и подъезжает автобус. Курящие делают последние затяжки, чтобы выйти из помещения и сесть в автобус. В это время откуда-то выныривает милиционер и подходит к ним: «Штраф. Здесь курить нельзя». — «А зачем урна? А где надпись, что курить нельзя?» — протестуют курящие. «Ничего не знаю. Штраф».

Дверь на летное поле распахивается, и люди проходят к автобусу. Курившим явно на этот самолет. Они волнуются, торопливо достают деньги и суют милиционеру. По двадцать тысяч. «Я вам сейчас выпишу квитанцию», — говорит милиционер с олимпийским спокойствием. «Ради бога, не надо квитанции!» — испуганно умоляют курившие. «Как хотите». — Милиционер снисходительно берет у них деньги. Курильщики хватают свои вещи и бегут к автобусу.

Снова водворяется тишина. Милиционер куда-то исчезает. Спешащие на следующий рейс топчутся у выхода. Наиболее нетерпеливые начинают курить. Объявляется посадка на следующий самолет, и подъезжает автобус. И тут вновь откуда-то выныривает милиционер и подходит к курильщикам. Сцена повторяется. «Я сейчас вам выпишу квитанции», — миролюбиво объявляет милиционер. А люди уже бегут к автобусу. «Только без квитанции», — умоляют курильщики и суют ему деньги. Милиционер снисходительно берет деньги. Курильщики хватают свои вещи и бегут к автобусу. Милиционер снова исчезает.

Так повторялось четыре раза, пока мы сами не улетели. У милиционера малый бизнес, основанный на знании людей, спешащих на самолет. Возможно, с кем-то

делится. С одной стороны — гостеприимная урна у самого выхода на летное поле, а с другой стороны — никаких знаков, что можно или нельзя курить. Как говорится: всюду жизни!

— А новые русские богачи помогают бедным?

— Я слышал, что один миллионер проявил миллионерские и подарил детскому дому тысячу долларов.

— Как вы оцениваете современное состояние России?

— Даю медицинскую справку: галопирующий распад при вялотекущем капитализме.

— Да за вами надо записывать!

— Мы в России не любим, чтобы за нами записывали. Наши Эккеры имеют привычку относить свои записи в КГБ. Да еще все так напугают в своих записях, что ни КГБ, ни вызванный автор не могут разобраться. После чего автора, а почему-то не путаника, сажали в психушку.

— Я вижу, несмотря на тяжелое положение страны, вы не теряете чувства юмора.

— Чтобы выжить в гибельных обстоятельствах, надо проявлять гибельную веселость и распространять ее по всей стране. Я всегда говорил: если нечем распилить свои цепи, плюй на них, может, проржавеют.

— Я часто задумываюсь над одним вопросом и оказываюсь в тупике. Предположим, бессовестный человек совершает бессовестный поступок. Его судят и сажают в тюрьму. Но ведь с философской точки зрения это абсурд? Раз человек бессовестный, он, совершая бессовестный поступок, не ведал, что творил. Как же его за это можно сажать в тюрьму?

— Ваше рассуждение кажется логичным только на первый взгляд. Безумная невинность! Абсолютно бессовестных людей не бывает. Самый бессовестный человек не бывает настолько бессовестным, чтобы в глубине души не знать о своей бессовестности. Поэтому суд над ним справедлив.

— Что больше в России сейчас ценится — совесть или честь?

— Для думающей России — совесть, а для ворующей России — честь.

— Почему?

— Честь — последний человек в свите совести, но он делается первым, когда совесть дает задний ход. Честь — совесть картежника. Скажем, уголовник убил уголовника за то, что тот в каком-то деле его обманул и недодал денег. На самом деле не в деньгах дело. Самая глубинная причина убийства — задетая честь.

В России сейчас бесчестные люди бесконечно судятся друг с другом, отстаивая свою сомнительную честь. И ни у одного судьи не хватает воли встать и сказать: «Суд отменяется по причине отсутствия предмета спора».

Христос все время говорит нам о совести и никогда — о чести. Меня вот что волнует. Допустим, в России после нашего смутного времени укрепится правовое государство. Будут развиваться и развиваться законы, по которым человек должен жить. Но не приводит ли бесконечное развитие законов к постепенному усыханию совести?

Человек живет преимущественным пафосом общества. Сейчас в России преимущественный пафос жизни — беззаконие. Но вот закон победил, и преимущественным пафосом жизни становится подчинение законам. Но, воцарившись в обществе как главный пафос жизни, закон не вытесняет ли совесть?

— Да, вы в чем-то правы. У нас в Америке знаете кто самые бессовестные люди? Это юристы, законники. Если попадешь к ним в лапы, они так ловко будут манипулировать законами, что оберут тебя до последнего цента. Не дай бог попасть к ним в лапы!

— Это само собой, но я говорю о более широкой вещи. Если закон становится преимущественным пафосом жизни, совесть хиреет. Но как бы ни были развиты законы, всегда были, есть и будут случаи в жизни, где человек должен действовать, согласуясь с совестью. Но как же ему действовать, согласуясь с совестью, когда она у него усохла? И усохла именно потому, что хорошо развились законы и человек привык себя ограничивать только законом?

— Да, сложный вопрос. Видимо, надо, чтобы и законы, и совесть развивались параллельно. Но та драма, о которой вы говорите, — дело далекого будущего. В России, как я понимаю, сейчас актуально закрепить демо-

кратические законы, чтобы они действовали. А то, о чем вы говорите, дело далекого будущего. Считается, что культура развивает совесть. Что вы думаете о ее роли?

— Холодно в мире, холодно! Я говорю культуре: «Согрей меня, или я напьюсь!»

— А она что отвечает?

— Она отвечает: «Ах, ты так ставишь вопрос? Будет тепло!»

Всерьез говоря, или книга будет греть человека, или человек будет греться над костром из книг. Третьего не дано!

— Тогда поговорим о литературе. Я преподаю русскую литературу в университете. Что вы думаете о русской литературе советского периода?

— Я считаю, что вся советская литература имеет два направления. Первое — это литература идеологов, их детей и внуков. Второе направление — это литература жертв идеологии, их детей и внуков. Второе направление полностью победило первое. Но были и перебежчики с обеих сторон.

— А что вы думаете о Шолохове и романе «Тихий Дон»? Я прочел горы литературы об этом, но только окончательно запутался.

— Шолохова не было, но он мог быть.

— Загадочный ответ.

— Зато не ловится.

— Но все-таки он написал «Тихий Дон» или кто-нибудь другой?

— Это сейчас в России самый острый политический вопрос. Я на него могу ответить только в присутствии своего адвоката.

— Но я даю вам слово джентльмена, что никогда нигде не буду ссылаться на вас.

— Хорошо. Я вам верю. У меня одно доказательство — психология пишущего. Это совершенно невозможно подделать. Читая «Тихий Дон», чувствуешь, что его писал отнюдь не молодой человек. Его писал очень сильный и очень усталый от жизни человек, которому не менее сорока лет. Защитникам авторства Шолохова надо было бы прибавить ему лет двадцать, тогда их позиция была бы более убедительна.

— Интересное доказательство. Но оно единственное у вас?

— Да.

— Но одного этого доказательства, мне кажется, маловато.

— А вы знаете, что обилие доказательств правдивости того или иного случая как раз может быть доказательством его лживости?

— Как это?

— Вот вам пример из жизни. Я о нем узнал от моего знакомого следователя. Очень умный человек. Произошло убийство. Ни единого свидетеля не оказалось. Мой следователь по каким-то своим соображениям заподозрил одного человека, назовем его Иванов, и арестовал его. И вдруг начали приходить письма, отдельные и коллективные, что Иванов честный человек, он ни в чем не виноват. При этом об убийстве и аресте Иванова ничего не было в газетах. Письма приходили не только из Москвы, но и из других городов. Во всех письмах говорилось, что Иванов никак не мог убить человека. И тогда следователь окончательно уверился, что именно Иванов убийца. И Иванов в конце концов сознался, что он убийца и член шайки, которая своими письмами пыталась его спасти. Следователь понял, что честного человека столько людей не защищают. Как видите, обилие доказательств, что он честный человек, привело к доказательству, что Иванов убийца.

— Оригинально, оригинально. Я об этом случае расскажу моему другу, американскому юристу. Но продолжим разговор о литературе. Я понимаю, что Пушкин — великий поэт. Я даже признаю, что он выше Байрона. Но нет ли странного преувеличения, культа Пушкина в России?

— Никакого преувеличения, уверяю вас! Мы все еще живы благодаря Пушкину. От Пушкина струится столько добра, что каждый россиянин, читавший и понимавший Пушкина, убеждается: раз Пушкин жил в России, значит, Россию ждет что-то хорошее. Иначе появление Пушкина в России было бы необъяснимо. Я очень рад, что вы Пушкина ставите выше Байрона. Я давно так считаю.

— В таком случае назовите лучшее произведение Байрона.

— Думаю — «Дон Жуан».

— Абсолютно точно. Но «Евгений Онегин» выше «Дон Жуана». Я как англосакс это утверждаю.

— Это делает честь вашему вкусу. В «Евгении Онегине» даже ошибки очаровательны.

— А разве там есть ошибки? Никогда об этом не читал и сам не замечал.

— Есть. Например, в первой главе Пушкин дважды пишет, что Онегин создавал чудные эпиграммы. «И возбуждал улыбку дам огнем нежданных эпиграмм» и так далее. Но в той же главе он пишет об Онегине — «Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить». Это противоречие. Милое противоречие. Кстати, «милый» — любимое слово Пушкина. Но ведь понимание техники того, как один поэтический размер отличается от другого, намного проще умения писать блестящие эпиграммы. Так в чем же дело? В первой главе Пушкин еще только нащупывает образ Евгения Онегина, он ему еще не совсем ясен. И Пушкин иногда невольно придает ему свои черты. Блестящие эпиграммы — это дело самого Пушкина. А Онегин как раз мог не уметь отличить ямба от хорея. Не потому что туп, а потому, что его охлажденный ум не может сосредоточиться на таких пустяках. «Огнем нежданных эпиграмм». Огонь — свойство самого Пушкина, а не Онегина. Первая глава «Евгения Онегина» еще заражает нас необыкновенной внутренней радостью самого поэта. Откуда эта радость? Впервые гений Пушкина вышел на замысел, равный его гению. И эту радость он скрыть не может и не хочет.

— В ваших рассуждениях много оригинального, хотя писанием эпиграмм в те времена увлекались многие люди. Почему бы вам не попросить какое-нибудь издательство опубликовать ваши мысли?

— Просить и ждать хуже всего. Для меня просить настолько хуже, чем ждать, что я готов столько ждать, чтобы просить стало поздно. Не дождутся моей просьбы. В России можно только что-нибудь выклянчить или выгрызть. А это недостойно для Думающего о России.

— Ну, хорошо. От Пушкина как раз уместно перейти к теме любви. Что вы думаете об этом загадочном чувстве, которое Пушкин неустанно воспевал?

— Да, все тексты Пушкина, впрочем, как и Льва Толстого, плавают в спермическом бульоне. Для меня самое загадочное в любви — это то, что непонятно, отчего она возникает и почему она вдруг исчезает.

Во времена студенчества я безумно был влюблен в одну девушку из нашего института. Наконец она разделила мое чувство. Родители ее были в заграничной командировке, она одна жила в трехкомнатной квартире. Нам никто не мешал любить! Мы ходили, клейкие от медового месяца. Она жила на втором этаже. Однажды после театра приходим к ее дому, и вдруг она обнаруживает, что забыла на столе ключ от входа в подъезд. Что делать? Будить соседей неудобно. Ночь пропадает! Но я не дал ей пропасть! Цепляясь за карниз и за всякие выступы кирпичного дома, я докарабкался до ее окна, пролез через форточку в квартиру, взял ключ со стола, спустился и открыл входную дверь. Еще через месяц опять возвращаемся вечером домой, и она опять забыла ключ от входной двери. Я решил повторить свой небольшой подвиг. Но что за черт! Я никак не могу доползти до второго этажа. Руки срываются и срываются, когда я пытаюсь ухватиться за мокрые выступы в стене. Пришлось будить соседей, и они нам открыли дверь. Ключи от английского замка ее квартиры она никогда не забывала. А я все никак не пойму: почему месяц назад я вдохновенно докарабкался до ее окна, а сейчас не смог? И только потом я понял, в чем дело. Оказывается, я ее разлюбил. Когда я второй раз попытался долезть до ее окна, мускулы мне отказали. Они уже знали, что я не люблю, а я еще не знал. Вот, оказывается, как бывает! Мускулы уже знали, что не люблю, а разум не знал.

— Чем же закончился ваш роман?

— Она вышла замуж за другого студента, моего однокурсника. Я имел глупость рассказать ему о ее рассеянности и о том, как я через форточку влез в ее квартиру и достал ключ.

Этот студент, над которым мы всегда посмеивались, оказался весьма непрост. Во время экзаменационной



сессии он от волнения почти непрерывно ел. И чем хуже сдавал сессию, тем больше ел. К концу сессии он обычно сильно округлялся. «Ну что, килограммов на пять сдал сессию?» — шутливо спрашивали мы у него. Смеясь над глупцом, всегда помни: в шашки он играет лучше тебя.

И вот этот простак всех перехитрил. Однажды во время лекции он попросил мою подружку показать ему ключ от входной двери. Она показала ему, ничего не подозревая. А у него к этому времени был готов хорошо обмятый хлебный мякиш. Он мгновенно отпечатал ключ на этом мякише и вернул ей. Учитывая его аппетит и бедность, он пошел на некоторую жертву. Этот хлебный мякиш он отдал какому-то слесарю, и тот ему изготовил новенький ключ. И этот ключ он аккуратно носил в кармане.

Однажды он провожал ее домой и, когда они дошли до дверей ее дома, он вытащил этот ключ из кармана и, к ее немому изумлению, открыл входную дверь. «Откуда у тебя этот ключ?» — спросила она. «Ты же мне показывала свой ключ, вот я и сделал такой же!»

Потрясенная его талантом, она вышла за него замуж. Больше она не заботилась о ключе от входных дверей, он его всегда держал в кармане. Но тут из-за границы приехали ее родители. Произошел скандал. Они выгнали этого бедного студента. И он, уходя от них, забрал с собой второй ключ как единственную свою вещь в квартире.

Родители ее, с некоторым опозданием узнав об этом и боясь, что он будет приходить к их дочери в их отсутствие, и стараясь в дальнейшем сохранять невинность дочки, затребовали ключ обратно. Но он заломил за него такую цену, что родители было решили вообще сменить замок от входной двери. Однако после зрелых размышлений, поняв, сколько ключей им придется заказать для остальных жильцов, впали в некоторую протрацию. Но мысль сохранять в дальнейшем невинность дочки в конце концов победила, и они выкупили этот ключ.

Кстати, была веселая студенческая попойка по поводу возвращения ключа, куда и меня этот студент пригласил. При этом он делал вид, что все предвидел заранее и заказал этот ключ, якобы зная, что родители его выгонят, но будут вынуждены выкупить ключ по назначенной им цене.

— А что, может быть, так оно и было. Он, вероятно, стал новым русским?

— К сожалению, я его потерял из виду. Возможно, он сейчас стал банкиром, сменил фамилию, сделал пластическую операцию, чтобы я, соединившись с ее родителями, не подал на него в суд за нанесение мне морального ущерба и последующего шантажа родителей при помощи ключа. У нас это сейчас модный бизнес. Один богатый человек подает на другого богатого человека в суд за нанесение ему морального ущерба. Как только он выигрывает этот суд, проигравшая сторона немедленно подает на него в суд за нанесение ей морального ущерба путем вызова в суд и тем более оскорбительного выигрыша дела.

— И суд принимает такие дела?

— Еще бы! Единственная тонкость заключается в том, что помещение суда и сам судья должны быть другими.

— Почему?

— Не может же один и тот же судья брать взятки с обеих сторон по одному и тому же поводу. Судья тоже дает зарабатывать своим коллегам.

— Но как же вы можете подать на него в суд, когда сами принимали участие в студенческой попойке? Он же найдет свидетелей!

— Очень просто. Я скажу на суде, что тогда мне было всего двадцать лет и я по незрелости не понимал, что мне нанесен моральный ущерб. Не понимал и не понимаю! Но я это вам говорю.

— История с вашей девушкой забавна. Но такое и в Америке бывает. Не можете ли вы что-нибудь рассказать о более глубинном характере русской женщины.

— Кому как не мне, Думающему о России, знать глубинные тайны русской женщины. Вот история одной из них.

Все это началось в конце двадцатых годов. Она была из хорошей интеллигентной семьи, которая относилась к советской власти примерно как к победившей чуме.

И вдруг их единственная дочь-красавица влюбляется в лихого большевика. Влюбилась — и все! Родители всеми силами пытались удержать ее от замужества, но она

вырвалась и порвала навсегда с родителями, чтобы выйти за него замуж. Он был, видимо, обстоятельный мужик, хотя и малообразованный, но с бешеной энергией и хорошими организаторскими способностями. Он сделал карьеру, стал директором завода.

Однако этот лихой большевик оказался еще более лихим выпивохой и сердцеедом. Всю жизнь она боролась с его любовницами. Одних драла за косы, других, войдя в союз с их мужьями, общими усилиями выволакивала из-под своего богатыря. Иногда он уходил от нее, и тогда она обращалась в партком с неизменной просьбой: «Верните мне моего мужа». И партком всегда возвращал его, и он на некоторое время затихал. Потом начиналось все сначала. А у них уже было двое детей. Но она его так любила, что все прощала. Однажды она сидела на заводе в его кабинете, и туда вдруг влетела не заметившая ее молодая смазливая секретарша: «Лёник, ты что же...» — обратилась она к ее мужу. «Какой он тебе Лёник!» — закричала жена и швырнула в секретаршу графин с водой. Но та увернулась, видимо, с привычной ловкостью. Скандал кое-как удалось уладить.

И вдруг он тяжело заболел. В больнице она сама ухаживала за ним, оставив детей соседям. Однажды, будучи без сознания, в бреду он пробормотал: «Аннушка, любимая, единственная, спаси меня!»

И это ее потрясло. Ее звали Анна. И она наконец почувствовала себя победительницей всех его любовниц! Значит, в глубине души он любил только ее и в бреду обращался к ней! И она ему все окончательно простила: мол, баловство! Радостная, счастливая, окрыленная, она не спала ночами, она выходила его, поставила на ноги, и он снова стал ездить на свой завод.

А через некоторое время она узнает, что его последнюю любовницу тоже зовут Анна. И она поняла, к кому он обращался! И тут она не выдержала! Сама прогнала его из дому, оставшись с двумя детьми. Она все ему прощала наяву, но измену в бреду не могла простить.

И кстати, сам он после этого покатился вниз. Она все-таки держала его в каких-то рамках. А тут его пьянки-гулянки наконец надоели парткому, ему припомнили и жалобы жены и перевели его в рядовые инженеры.

После этого, то ли раскаиваясь, то ли потому, что его вторая Аннушка мгновенно покинула его, когда он потерял пост директора, он стал приходить к своей бывшей жене и, грохаясь на колени, умолял ее простить его и начать новую жизнь. Но нет, сколько он ни просил, она не могла ему простить ту измену в бреду!

Он окончательно рухнул, спился, а она поставила своих детей на ноги, день и ночь, тайно от фининспекторов обшивая своих знакомых и их друзей. С какой радостью ее любимые родители теперь, когда она прогнала его, приняли бы ее в свои объятия. Но, увы, о том, что случилось, она могла рассказать им только на их могилах!

— Да, вот это история. Значит, все прощала, но бред его не могла простить. А что, если он в бреду и в самом деле звал именно ее, жену?

— Нет, конечно. Тут нашла коса на камень! Там есть еще много подробностей. Эта вторая Аннушка во время гулянок заставляла его становиться на четвереньки и лихо ездил на лихом большевике!

— Однако, я вижу, нравы у вас довольно свободные. А та ваша девушка, студентка, была феминисткой?

— Да что вы! Она и слова такого не слыхала! Феминизм — это половой сальеризм. Кстати, год назад я в Москве познакомился с одним американским социологом. Большой чудак! У нас с ним был бизнес.

— Какой бизнес?

— Я вам напоминаю, что о своем бизнесе я вам расскажу в конце нашей беседы. Так вот. Идем мы с ним по улице. Он так же, как вы, хорошо говорил по-русски.

— А кстати, вы знаете английский?

— Я знаю английский настолько, что англичане в моем присутствии не могут меня обмануть. Но и я их не могу обмануть на английском языке. Высшее знание языка — это умение правдоподобно обманывать на этом языке.

Так вот, значит, идем мы с ним по тротуару одного из московских переулков. Впереди нас какая-то пара пожилых людей бродяжьего вида. Они ругаются. Через некоторое время мужчина, видимо, исчерпав словесные аргументы, начинает лупить женщину. Я подбегаю к ним, а мой американец, пытаясь удержать меня, кричит: «Не вмешивайтесь! Это некультурно!»

Ничего себе «некультурно», когда мужик бьет бабу, хотя она и пытается отбиваться. Я подскочил, схватил его за руки и крепко держу: «Подлец! Как можно бить женщину?!»

Он вырывается, кроет меня матом. Я продолжаю его крепко держать. И вдруг несколько увесистых ударов обрушиваются на мой затылок. Это женщина стала лупить меня, приговаривая: «Муж с женой спорят! Третий лишний!»

Я его отпустил, и они, перестав драться, пошли дальше. Оба полупьяные, я это чувствую по запаху. Но он оценил, что она за него вступилась.

«Вот видишь, — говорит мой американец, — я тебя предупреждал. Я сразу понял, что она феминистка». — «Какая она феминистка, — говорю, — это просто пьяные бродяги». — «Феминистка, феминистка, — утверждает он, — настоящие феминистки и бродяжничеством занимаются. У них принцип: ничто мужское нам не чуждо». — «Да какая она феминистка, — пытаюсь я достучаться до здравого смысла, — у них у обоих похмельное раздражение. Вот они и подрались. У мужчины, который, вероятно, больше выпил, было большее похмельное раздражение. Он и пустил первым в ход кулаки». — «Феминистка, — настаивает он, — я феминисток за километр узнаю. Она как феминистка и в выпивке старалась не отставать от мужа». — «Да при чем тут феминизм, — кричу я уже, — они просто пьяницы!» — «Россия — родина феминизма, — объясняет он мне, — я по этому поводу и приехал сюда. Роюсь в архивах. Хочу написать большую работу об этом». — «Какая там еще Россия — родина феминизма, — отвечаю я ему, — у нас своих проблем по горло хватает». — «Россия — родина феминизма, — повторяет он, — и вы можете этим гордиться! Екатерина Великая была феминисткой, знаменитая Керн была феминисткой, жена Чернышевского была феминисткой, даже возлюбленная Ленина Инесса Арманд была феминисткой». — «У вас получается, что ни шлюха, то феминистка», — говорю. «Ничего подобного, — отвечает он, — принципиальная разница. Вольные отношения с мужчинами у них следствие феминизма, а не феминизм — следствие вольных отношений. Совсем другая причин-

но-следственная связь! Да вы знаете, что Февральская революция, в сущности, была феминистической революцией?! А Октябрьская революция была контрреволюцией мужского шовинизма! Это мое открытие, и я его никому не отдам. Готовлю большую работу».

Я с ума схожу. «Да почему Февральская революция была феминистической?!» — кричу. «Правительство Керенского и сам Керенский были феминистами, — продолжает он, — тут много тонкостей, еще не известных вам. Но вы же знаете, что от речей Керенского дамы приходили в неистовство. Иногда даже падали в обморок от восторга. Вы же знаете, что только женский батальон пытался защитить Зимний дворец. Неужели это случайно? Подумайте сами — законное правительство защищает только женский батальон! И даже легенда, что Керенский бежал из Зимнего дворца в женской одежде, подтверждает мою мысль. Но Россия была слишком патриархальной страной. И мужской шовинизм победил. Однако феминистические настроения были еще настолько сильны, что Ленин вынужден был бросить лозунг: «Кухарку научим управлять государством!» — «Да что вы говорите, — пытаюсь я его переубедить, — Ленин хотел сказать, что простой, безграмотный человек может управлять государством. Что и случилось!» — «Нет, — отвечает он, — Ленину надо было утихомирить феминисток. Иначе бы он сказал: «И повара научим управлять государством!» Первым Ленина раскусила Инесса Арманд. Она поняла, что Ленин говорит одно, а делает совсем другое. На этом основан их трагический разрыв и впоследствии загадочная смерть Инессы Арманд».

Забавный чудак. Мы весь вечер спорили, иногда взбадриваясь выпивкой. Я его проводил до его, кстати, скромной гостиницы, когда уже было далеко за полночь. Дверь в гостинице была заперта. И он вдруг с такой яростью руками и ногами стал барабанить в дверь, что я понял: несмотря на увлечение феминизмом, в нем еще слишком сильно мужское начало. Я даже испугался, что получится политический скандал и я первый как Думающий о России от этого пострадаю. Но ничего. Обошлось. Сонный швейцар открыл дверь и пустил его.

— Да, у нас в Америке феминизм иногда принимает безобразные формы. Но Америка всегда была слишком мужской страной. Кстати, вы бывали в Америке?

— Да, я был в Америке.

— Что вас больше всего удивило в Америке?

— Америка меня больше всего удивила еще до того, как моя нога ступила на ее землю. В одном европейском аэропорту жду самолета в Америку. Рядом со мной большая группа американских старушек. Они возвращаются домой. Одна из них неустанно что-то рассказывает, а остальные хохочут. При этом одна из старушек особенно громко хохочет, выхохатываясь из общего хохота. Потом она, не переставая хохотать, садится рядом со мной на скамейку. В брюках. На вид крепкая восьмидесятилетняя старушка. Закуривает и, лихо поставив одну ногу на скамейку, продолжает прислушиваться к рассказу, перехохатывая остальных. Поза со вздетой на скамейку ногой — вульгарна. Но какой жизненной силой веет от нее! Старушка-хохотушка! Закроешь глаза — расшалившиеся студентки! Откроешь — вздрогнешь! Скажите, это старушки так хохочут, потому что за ними могучая страна, или страна могуча, потому что там старушки могут так хохотать?

— Боюсь, что эти старушки-хохотушки загубят Америку. От нечего делать они во все вмешиваются. Смешливость не столько признак чувства юмора, сколько признак здоровья. А что в самой Америке вас больше всего удивило?

— Больше всего в Америке меня удивило то, что американцы с такой жадностью пожирают лед, как будто они мстят всем айсбергам за гибель «Титаника»!

— Да, мы, американцы, любим лед. Для нас лед даже средство гигиены, как для старушки Европы кипяток. А чем еще вас удивила Америка?

— Чуть не забыл самое главное. В Америке я встретил человека, в прошлом Думавшего о России, а теперь превратившегося в Думающего об Америке. Любопытная метаморфоза.

В Нью-Йорке я несколько дней жил у своих друзей. К ним в гости пришел известный в прошлом русский диссидент, неоднократно выступавший у нас с протестами

по поводу нарушения властями собственных законов. Его посадили. Но он и в тюрьме продолжал отстаивать права заключенных, которые нарушались. За это он был неоднократно бит стражниками и неоднократно зашвыривался в карцер. И, наконец, его выслали из страны.

Он вошел в квартиру с овчаркой. Среднего роста, яростно-веселый крепыш. Прекрасно говорит по-английски.

Когда-то в России, находясь в какой-то провинциальной тюрьме, он ухитрился дозвониться в Москву своим друзьям. У нас заключенным не разрешают пользоваться телефоном. Потрясенные друзья решили, что он бежал из тюрьмы и этим звонком выдаст место своего пребывания. Но он звонил из тюрьмы. Как он это сделал, было непонятно и по российским условиям абсолютно фантастично. Может быть, думаю я, во время допроса следователь вышел из кабинета, а он воспользовался его телефоном. Не знаю. Сам он не стал объяснять, как именно он оказался у телефона, только мимоходом сообщил, что нужно было знать код, при помощи которого соединяют с Москвой, и подделать голос под голос начальника тюрьмы, чтобы телефонистка ни о чем не догадалась и соединила его с Москвой. Так оно и получилось. После этого звонка в тюрьме произошел великий переполох, некоторых работников выгнали, а его самого заслали в один из самых суровых сибирских лагерей.

«Зачем тебе овчарка?» — спросил я у него. «В Нью-Йорке, — отвечал он весело, — овчарка незаменимый друг. Недавно прохожу по одной глухой улице. Смотрю — на спинке скамьи, стоящей перед сквером, сидит негр и пьет пиво из банки. Выпил пиво и бросил банку прямо на тротуар, хотя урна рядом. А я терпеть не могу, когда нарушается порядок». — «А ну, подыми банку и положи ее в урну», — говорю ему. А он презрительно скалится и ничего не отвечает. Несколько раз повторяю ему, а он продолжает презрительно скалиться. «Джим, возьми его!» — крикнул я и отпустил собаку. Она прыгнула на него, но он с необыкновенной ловкостью перевернулся и упал на плотные кусты сквера по ту сторону ограды.

Собака тык-мык, не знает, как взять негра. (Почему она прямо не последовала за негром, он не стал объяс-



нять. Возможно, следя за порядками в Америке, он приучил собаку к тому, что ограду перелезать нельзя.) Собака сначала заматалась, но потом побежала вдоль ограды, нашла вход в сквер и выбежала на негра. Но покамест она добежала до него, он вновь взгромоздился на спинку скамьи. Собака выбежала из сквера, долетела до негра и прыгнула. Но он опять успел перевернуться и рухнуть на кусты сквера. Собака опять побежала к выходу. И так несколько раз.

«Что вы делаете! — вдруг закричала какая-то сердобольная американка, оказавшаяся рядом. — Вы травите негра собакой! Я позвоню в полицию!» Я показал ей на банку и объяснил, в чем дело. «Безобразие, — кричит она, — я сейчас позвоню в полицию!» — «А я сейчас спрошу у Джима, как он к этому относится», — отвечаю я. Я посмотрел на Джима, после чего Джим внимательно посмотрел на женщину. Женщина испугалась и пошла дальше.

Собака снова взялась за негра. На этот раз, пока она бежала в сквер, негр выскочил на улицу, поднял банку из-под пива и зашвырнул ее в урну. Скорбно уселся на спинку скамьи. В глазах тысячетлетняя тоска. Но порядок был восстановлен, и я против него больше ничего не имел.

Я надел на собаку поводок и пошел дальше. На другой день прохожу по той же улице и вижу — несколько негров стоят за стеклянной дверью кафе. Среди них мой. Показывает на меня и что-то говорит своим друзьям, таким же пьянчужкам. Однако пока я не прошел с собакой, они не осмелились открыть дверь кафе. Был бы я без своего верного Джима, неизбежно предстояла бы драка. Может быть, пырнули бы ножом. А так не осмелились.

Так Думающий о России превратился в Думающего об Америке и наводящего в ней порядок при помощи овчарки. Америка — практичная страна. А нам, Думающим о России, как-то и в голову не приходит заводить овчарок.

— Пожалуй, ваш знакомый слишком активно наводит порядок в Америке. А что вам больше всего понравилось в Америке?

— Я заметил, что, если где-нибудь в метро или в магазине случайно останавливаешь взгляд на американце,

он в ответ тебе дружелюбно улыбается. А у нас, если на тебе кто-то случайно останавливает взгляд, ты внутренне сжимаешься в ожидании хамства. Какая уж тут улыбка. Дьявольская разница. Общее впечатление от Америки — неряшливое благополучие. У нас — нервная нищета.

— Оторвемся от политики. Лучше скажите, что думают Думающие о России о природе женственности? Или они об этом не думают?

— Думающие о России думают обо всем, что связано с будущим России. А правильное понимание природы женственности имеет отношение к будущему России.

Основа женской поэтичности — робость. Женщина должна преувеличенно бояться за судьбу своих близких, должна преувеличенно бояться темноты, грозы, крыс, тараканов, плохих снов, тревожных предчувствий. Трепет робости — основа ее поэтичности. Татьяна, Лиза, где вы? Это возбуждает в мужчине влечение к ней, мужество и чувство ответственности. Разве вы не замечали — у мужей смелых женщин всегда растерянные лица. Нарушен баланс природы, хотя сами они могут этого не понимать до конца своих дней. Они растеряны и от этого делаются робкими, а их смелые жены от этого делаются еще смелей и нахальней, от чего их мужья окончательно теряются. Беда стране, где слишком много смелых женщин. Робкая женщина может быть героична, как ласточка, защищающая своего птенца!

Наш знаменитый поэт сказал о русской женщине: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» Робкая женщина как раз вбежит в горящую избу, спасая своего ребенка. А смелая женщина, бросив своего ребенка, побежит коня на скаку останавливать. А какого черта его останавливать! Кто тебя просил лезть под коня! Конь — мужское дело!

— Хорошо, что вас не слышат наши феминистки. Они бы вас разорвали! Как вы думаете, секс связан с душевной расположенностью партнеров друг к другу? Я этот вопрос никак не могу решить. Иногда кажется — связан, иногда — нет.

— Секс вообще никак не связан с душой. Я вам буду отвечать притчей. Вот что рассказывал один мытарь. У

него была добрая, верная, набожная жена. Но она была некрасива. У этого неустомимого мытаря была также любовница. Очень красивая, но со стервозным характером. Когда мытарь спал с женой, он воображал на ее месте свою красивую любовницу, и это придавало ему дополнительную пылкость.

Когда же он спал со своей стервозной красавицей, он пытался представить, что у нее добрая, боголюбивая душа его жены. Но, к его удивлению, он этого никак представить не мог, и на его пылкости это никак не отражалось. Обо всем этом поведал мне сам мытарь. Из его опыта следует, что чувственное воображение влияет на секс, а нравственное воображение никак не влияет. Душа на секс не влияет. Точно так же наш ум не влияет на наш образ мыслей.

— Почему это?

— Ум только выполняет задание души. Я, например, считаю, что душа человека намного выше ума. Этим самым я унижаю ум, но все доказательства преимущества души логицирую через ум. Ум не обижается на свое унижение, он честно выполняет мой заказ. Но точно так же все человеконенавистнические идеи логицирует ум. Ум — что-то вроде самогонного аппарата. В его змеевике охлаждаются и превращаются в жидкость виноградный алкоголь или алкоголь, добытый из любого дерьма.

Ум — всего лишь машина логициции того, что вибрирует и закипает в нашей душе. Точно так же секс — машина логициции нашего чувственного стремления. Вмешательство души только мешает сексу. Секс даже требует отупения. Как гениально сказал наш Тютчев, «угрюмый и тусклый огонь сладострастья». Тут особенно точное, особенно яркое слово — тусклый.

Помню, студентом на комсомольских собраниях, забившись где-нибудь в угол, я слушал отупляющие речи и, отупев от них, нередко чувственно просыпался: ложный сигнал отупения. И обратите внимание — человек в момент наибольшего напряжения сексуальных сил может разрыдаться, но не может расхототаться. Серьезное дело! К этому я могу добавить только то, что неаппетитная добродетель не допускается к состязанию добродетелей,

поскольку не ясен источник ее добродетельности. И на этом мы закрываем тему.

— Однако Думающие о России, я вижу, думают не только о России!

— Попутно прихватываем.

— Вот о чем мы еще не говорили — о религии. Один мой друг так объяснял свой атеизм. «Как-то неприятно думать, — говорил он, — что кто-то, хоть и с неба, за тобой следит, следит, следит. Утомительно».

— Остроумно. Но не хватает губительной веселости. Мне тоже один мой знакомый говорил: «Вот я крестился, а с похмелья все так же тяжело. Зачем же я крестился?» То, что вера плодотворней неверия, это сейчас ясно всякому мыслящему человеку. Но чувство Бога, соприкосновение с Его духом — большая редкость. Я его недавно испытал. В тот день я беспрерывно думал о России. И весь вечер, до того как лечь, думал о России. И мне стало совершенно ясно, что не думать — грех. Большинство человеческих грехов происходит оттого, что человек не думает и не понимает, что не думать — грех.

И я невольно сказал себе перед тем, как лечь спать, сказал с не поддающейся сомнению искренностью: «Господи, благодарю Тебя за этот день!»

И было мне хорошо, а когда я сказал себе это, стало мне еще лучше. И я понял в тот вечер, что услышан Им и одобрен Им. Во всяком случае, за этот день. Вера — неистребимая потребность человека в высшей благодарности и в высшей жалобе. Неистребимость этой потребности в веках и тысячелетиях доказывает естественность веры в Бога.

Кроме того, есть и чисто житейские преимущества веры.

— Вот о них я и хотел бы услышать. Мы, американцы, пламенные поклонники прямой выгоды. Ничто так не убеждает, как выгода.

— Расчетливые люди плохо считают, но это выясняется на том свете. Вот житейское преимущество веры.

Верящие в Христа, Магомета, Будду стараются быть достойными учениками. Им и в голову не приходит сравняться с Учителем или тем более превзойти Его. А неверующий человек всегда создает себе кумира, с которым

надеется сравняться, а если повезет, и превзойти его. И это развивает два разных человеческих качества. Недостижимость Учителя — источник сдержанности и восхищения всем недостижимым для верующего человека. Вечная мечта сравняться с кумиром или превзойти его развивает в человеке наглость.

— Что такое гордость?

— Гнев, скованный презрением.

— Что такое скромность?

— Очень терпеливая гордость.

— Что такое зависть?

— Ложное чувство, что другой украл нашу судьбу, и одновременно неприятная догадка о неправильности нашей жизни.

— Безвыходное положение?

— Это когда человек пьет от застенчивости, а лечится от пьяного буйства.

— Что такое антисемитизм?

— Вот вам метафизика антисемитизма. Евреи старше нас и якобы могли нас спасти, пока мы были маленькими, но не спасли и при этом имеют наглость выглядеть не старше нас.

— Может быть, вы знаете, что такое шутовство?

— Тайная целомудренность истины.

— Кто пользуется наибольшим авторитетом?

— Наибольшим авторитетом пользуется тот, кто не пользуется своим авторитетом.

— Тогда скажите, что такое христианское терпение?

— С христианским терпением я недавно оскандалил. Я ночевал на даче. Перед тем как заснуть, как всегда, думал о России. Но какой-то упорный комар мне и заснуть не давал, и думать о России мешал. Он то зудел надо мной, то садился на меня. Как я ни пытался его прихлопнуть — не удавалось. И вдруг я увидел картину своей борьбы с комаром в истинном свете. Человек, царь природы, могучий психологический аппарат, заставляет свое тело находиться в ложной неподвижности, чтобы перехитрить комара. Какой позор! И я решил: пусть комар сядет на меня, напьется крови, я потерплю, а он, напившись, улетит. Я замер. Он позудел-позудел надо мной, а потом сел на мое тело. Угомонился. Воткнул в ме-

ня свой хоботок и начал пить кровь. Потерпи, говорю я себе. Но что-то ему вкус моей крови, видимо, не очень понравился, и он добровольно слетел с меня. Неужто, думаю, так быстро напился? Слышу, опять зудит, капризно выбирая место, где бы ему сесть. Я опять замер. Думаю, теперь-то он напьется. Сел, немного поерзал и снова вонзил в меня свой хоботок. Терпи, говорю я себе, теперь-то он напьется. Отвалил, но почему-то не улетает. Снова зудит надо мной. Долго выбирал место. Сел, лапками сучит. Успокоился. Снова вонзил в меня свой хоботок. Пьет. Неужто комар знает о нашей крови больше нас, думаю. Может, и в самом деле кровь в разных местах нашего тела имеет разный вкус? А он все выбирает. После пятого раза я не выдержал! Забыв про христианское терпение, я навалился на него и раздавил, как взбесившаяся бочка — своего дегустатора! «Да будет то же самое с паразитами России», — подумал я и, постепенно успокоившись, уснул. Как сказал один человек, тоже Думающий о России, — убивая комара, мы проливаем собственную кровь.

— После комара самое время поговорить о паразитах России. Как все это могло случиться в России? В стране Пушкина, Толстого и Достоевского?

— Наш знаменитый философ Бердяев как-то сказал: в русском человеке есть что-то бабье. Я бы сказал — бабья доверчивость последнему впечатлению.

Знаменитое изречение Ницше: «Падающего толкни». Предположим, это становится государственным законом. Сколько непадающих толкали бы. «Он же не падал, почему ты его толкнул?» — «А мне показалось, что он падает».

Марксизм — в сущности, нищезанятие, только без его поэзии. В роли сверхчеловека — диктатор. Его главный лозунг: «Буржуазное общество падает — толкни его».

И толкали, как могли. В результате развалились сами, при этом без всякого внешнего толчка. Это лишний раз напоминает нам о том, что каждый человек в отдельности и каждое общество должны быть озабочены собственной устойчивостью. Сосредоточившись на мысли о чужой неустойчивости, мы поневоле забываем о собственной устойчивости.

Но как они победили? Кроме насилия, есть один психологический эффект, который использовали большевики. Человек, разрушающий свой собственный дом, по меньшей мере, кажется безумцем. Человека, разрушающего все дома на улице, мы склонны воспринимать как проектировщика новой, более благоустроенной улицы. Человеческий мозг отказывается признавать тотальное безумие и ищет ему рациональное оправдание. Такой особенностью человеческого сознания всегда пользовались творцы всех великих переворотов. У наших предков в свое время не хватило духу признать безумие безумием, хотя Думающие о России и тогда предупреждали, что все это кончится катастрофой.

— Но сегодня что делать? Все сходятся на том, что вы стоите перед пропастью.

— Думающие о России разработали несколько вариантов выхода из катастрофы. Я лично обдумал самый тяжёлый случай: как вести себя, падая в пропасть.

Мы сейчас с вами разыграем этот случай. Представьте, что мы с вами летим в пропасть.

— А я при чем? Я американец.

— Но мы же пока теоретически разыгрываем этот вариант. Значит, мы с вами летим в пропасть, имея возможность разговаривать друг с другом. Спросите что-нибудь у меня.

— Что я должен спрашивать?

— Включайтесь в этот пока теоретический эксперимент. Выше голову, мы летим в пропасть и разговариваем. Спросите что-нибудь у меня, а я буду отвечать, как здесь. Все время спрашивайте у меня что-нибудь!

— Что-то я не пойму. Мы еще летим или уже там, на дне?

— Еще летим. На дне не поговоришь.

— Значит, нам конец там, на дне?

— Не обязательно. Мы можем ногами пробить дно и полететь дальше.

— А разве можно ногами пробить дно?

— Можно. Еще Пушкин сказал: вышиб дно и вышел вон. Дно наше. А раз у нас все прогнило, значит, и дно прогнило. Пробьем ногами дно и полетим дальше. Только ноги надо держать параллельно. Не забывайте!

— И будем лететь до следующего дна?

— Да, до следующего. Следующее дно тоже наше. Значит, оно прогнило. Пробьем его ногами и полетим дальше.

— А по-моему, в русском языке нет множественного числа от слова «дно». Мы обречены остаться на первом дне.

— Ошибаетесь! В русском языке все есть. Множественное число от слова «дно» — «донья». Все предусмотрено. Да здравствует великий и могучий русский язык!

— Странное слово — «донья», я его никогда не слышал.

— Но вы никогда и не летели на дно. Еще не такое услышите!

— Вы считаете, что мы пробьем ногами и второе дно?

— Уверен. Если у нас все прогнило, значит, и все донья прогнили. Пробьем ногами. Только нам на время полета придется стать сыроедами. Склоны пропасти довольно плодородны. Попадаются черника, ежевика, грибы, кизил. Только не хлопайте глазами. На лету цап рукой — и в рот! Теперь я понимаю, почему у нас в стране многие сыроедством стали заниматься. Предвидели! Ох и хитер наш народ!

— Выходит, хорошо, что у вас все прогнило. Это сохранит нам жизнь.

— Да, выходит. Если уж гнить, то до конца!

— Как хорошо, что есть донья! Да здравствуют донья! Но ведь и доньям когда-нибудь придет конец?

— Есть шанс, что мы когда-нибудь плюхнемся в рай. Представляете — радость-то какая! Здравствуй, мамочка! Здравствуй, папочка! А вот и я!

— А если плюхнемся в ад?

— Еще лучше! Я все обдумал, я об этом мечтал всю жизнь. Там мы встретим всех вождей революции. Я им крикну: «Учение Маркса всесильно, потому что оно суеверно!»

Я так мечтал встретиться с ними! Увидев Сталина, я скажу: «А с вами, товарищ Сталин, я хотел бы продолжить дискуссию о языкознании!» Но он скорее всего мне ответит: «Тэбэ не по рангу».

Тут из своего адского кабинета выскочит уже навеки бодрый Ленин. Он воскликнет: «Ходоки из России? А вы,



товарищ, из Коминтерна? Превосходно. Там у вас кухарки управляют государством, как я предсказывал? Очень хорошо!

А мы опять в эмиграции. Архидикая страна! Далековато им до Швейцарии! Азиатчина! Какие-то странные аборигены. Никакой агитации не поддаются. При этом утверждают, что именно для нас как для родственного племени создали почти кремлевские условия. Ничего себе кремлевские условия — чай и то пахнет серой. Кругом горячие реки! В них купаются какие-то ревматики и день и ночь кричат, по-видимому, от болезненного удовольствия. Я их вождям говорю: «Горячие реки! Надо тепловые электростанции ставить. Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всего ада!»

Как только начинаю их вождям говорить об этом, они делают вид, что не понимают языка. Я уж с ними и по-русски, и по-французски, и по-немецки! Они на все отвечают: «Моя твоя не понимай! Бесы и черти — братья навек!» Чушь какая-то! На днях прямо вывели меня из себя, и я закричал: «Папуасы проклятые! Я вам не Миклухо-Маклай! Я Ленин! Я прикажу Феликсу Эдмундовичу вас расстрелять!»

Нервишки пошаливают. Это, конечно, можно истолковать как шовинизм. Получается, что русские выше папуасов. А мы, большевики, всегда утверждали, что все народы равны. Особенно перед расстрелом! Придется извиниться перед товарищами. Извиниться и расстрелять! Диалектика!

А тут еще Коба продолжает свои интриги. Он считает, что по моему тайному указанию гроб с его телом вынесли из Мавзолея. Бред какой-то! И это при том, что мой труп без моего разрешения поместили в Мавзолей. Архиглупость! Вообще Коба относится к своему трупу с недопустимым для большевика пиететом. Помесь идеализма с язычеством. Не стыдно, Коба? Я могу этот вопрос поставить перед ЦК».

«Труп трупу рознь, — угрюмо надувшись, ответит Сталин. — У меня труп генералиссимуса». — «И вот этого интригана, — воскликнет Ленин, — местные аборигены считают главным теоретиком партии! И это затрудняет мою работу! Невежество немислимое!»

И тут я им врежу всю правду. Об этом я мечтал всю жизнь. Я крикну: «Вот вы все здесь вожди революции. Скажите, есть ли во всей вашей истории хотя бы один благородный поступок?»

И тут они сначала загалдят со всех сторон, заспорят, а потом придут к единомыслию и станут кричать: «Голодный обморок Цюрупы! Голодный обморок Цюрупы!»

— Кто такой Цюрупа? Я что-то не слышал о нем.

— Был такой деятель, он заведовал всеми продуктами Советской республики и действительно однажды упал в голодном обмороке. «А где же сам Цюрупа? — спрошу я. — Что-то я его не вижу». — «А его направили в рай, — вмешается Калинин, поглаживая бородку, — к нему приводят делегации ангелов и показывают на него: вот большевик, который заведовал всеми продуктами страны, а сам упал в голодный обморок. Святой Цюрупа! И ангелы плачут от умиления, глядя на Цюрупу. А мы, между прочим, уже налаживаем связи с Цюрупой. С его помощью мы переберемся в рай и взорвем его изнутри». — «Знаю я этот ваш голодный обморок Цюрупы, — вмешается тут вечно завистливый Сталин, — я его попросил выдать из складов ЦК дюжину бутылок кахетинского. Гостей ждал. А он мне отказал. Тогда я на него так посмотрел, что он в обморок упал. Вот вам и голодный обморок Цюрупы». — «Коба опять клеветает, — вмешается Ленин, — голодный обморок Цюрупы подтвержден всеми кремлевскими врачами. А то, что в раю его признали, — тоже неплохо. Иногда признание врагов служит лучшим доказательством нашей правоты. А кстати, среди сегодняшних ваших вождей бывают голодные обмороки?» — «Среди вождей — не слышал, — отвечу я, — но среди шахтеров и учителей случаются». — «Подвиг заразителен! — воскликнет Ленин. — Народ подхватил голодный обморок Цюрупы! Я всегда стоял за монументальную пропаганду!»

— Боже, какой кошмар! Но, может, мы пролетим мимо ада?

— Все может быть! Летим себе, пробивая донья! Наговоримся всласть и разрешим все неразрешенные русские вопросы. Видно, их надо было разрешать на лету. А мы пытались на своих кухнях под чай или под водочку их

разрешить. Не получилось. А ведь недаром какой-то мыслитель сказал: движение — все. Цель — ничто.

— Но что толку разрешать ваши вопросы, когда вы ничего не можете передать наверх, своим.

— Зачем наверх? Наши все будут внизу.

— Все?

— Все, кто долетит.

— Долетит до чего?

— Вот этого я не знаю. Главное — долетит.

— Так вы считаете, что не все долетят?

— Конечно, не все долетят. Но те из нас, кто долетит, поделятся своими мыслями с согражданами.

— Так вы считаете, что мы все-таки долетим?

— Все так считают.

— И те, кто не долетит, тоже так считают?

— Конечно.

— Мне жалко их. Но ведь у нас шансов больше?

— Конечно. У меня опыт прыжков с парашютом. Я увлекался парашютным спортом. Но потом все парашюты у нас отобрали и засекретили. Уже тогда можно было догадаться, что дело плохо, но я не догадался. Доверчивый.

— Так ведь мы летим без парашютов?

— Но у меня большой опыт приземления. Делайте, как я. Кстати, ноги у вас опять ножницами. Держите их параллельно! Привыкайте!

— Тогда начнем обсуждать: кто во всем этом виноват и где выход?

— Сейчас поздно обсуждать, мы приближаемся ко дну. Пробьем его ногами и начнем обсуждать.

— А если не пробьем?

— Тогда тем более было бы глупо сейчас это обсуждать.

— Как вы думаете, начальство перед падением прихватило с собой парашюты?

— Не думаю, а уверен! Недаром они сперва засекретили парашюты, а потом разворовали. Но как раз из-за этого их ожидают полные кранты.

— Почему?

— Мягкая посадка. Они никак не смогут пробить ногами дно. Так и останутся на первом дне — ни вверх, ни вниз. С голоду перемрут.

— Но, может, им будут гуманитарную помощь спускать на парашютах?

— Не смешите людей! Никто же не будет знать, где они. Они сами во всем виноваты. Оторвавшись от народа, они решили, что дно окончательно. А народная мудрость гласит, что нет дна, но есть донья.

— А что дает эта мудрость?

— Все! Народ уверен, что ничего дном не кончается, потому что есть донья, а не дно. И вся жизнь продолжается между доньями. Народ, падая, живет, потому что верит в донья. И потому народ — бессмертен. А начальство не верит в донья и потому, падая, гибнет.

— Да здравствуют донья! Да здравствуют донья! Все-таки странное слово. В нем есть что-то испанское.

— А разве вы не слышали о всемирной отзывчивости русской души? Революция, инквизиция, гражданская война. У нас с испанцами много общего.

— А где Франко?

— Долетим, будет и Франко.

— Как вы думаете, он уже летит?

— Летит. Даже с опережением.

— А что, если он с парашютом летит?

— Не такой он дурак. Когда будем пролетать первое дно, мы мельком увидим начальство всех мастей. Одни будут кричать: «Остановитесь, мы уже в коммунизме!» Другие будут кричать: «Остановитесь, у нас полная демократия!» А мы пролетим и крикнем: «Привет от Цюрупы! Да здравствуют донья!»

Пусть они там сами выясняют отношения друг с другом. А мы пролетим мимо них и ногами пробьем дно! Только ради этого стоило лететь! Мы приближаемся к первому дну. Ноги параллельно! Глубже дышите!

— Привет от Цюрупы! Да здравствуют донья!

— Привет от Цюрупы! Да здравствуют донья!

Будем надеяться, что мы пробили первое дно. Те из нас, кто долетит, узнают наконец, в чем спасение России...

В это время к ним подходит какой-то парень.

— Купите полное собрание сочинений Ленина и Сталина?

— Боже мой, последние национальные богатства уплывают! И сколько они стоят?

— Пятьдесят долларов — собрание сочинений Ленина и столько же — Сталина.

— А где они у вас?

— В машине.

— Прямо как балетные девочки! Но как же у вас получается: полное собрание сочинений Ленина — кажется, пятьдесят пять томов. А Сталина — всего десять томов. А цена одна.

— А когда начали запрещать Сталина? Еще при Хрущеве! А Ленина фактически никогда не запрещали, хотя и не переиздавали. Поэтому собрание сочинений Сталина — редкость. Его начали раскупать еще при первых запретах.

— А где вы их достаете?

— У внуков и правнуков старых большевиков.

— Ну и как покупают?

— Неплохо покупают. Марксистские кружки и иностранцы.

— Что, опять марксистские кружки?! Я этого не вынесу! А на таможне не отбирают сочинения Ленина и Сталина?

— Даю гарантию! Не отбирают! Есть тайный приказ правительства поощрять вывоз марксистской литературы из России. Особенно в Америку.

— А что это дает?

— Наивняк. Они думают, что марксистская литература мешает реформам. Они думают, что и коммунисты покинут страну вслед за марксистской литературой. А коммунистам нужна власть, а не сочинения Ленина и Сталина. Сам я демократ... Я вижу, что вы иностранец. Берите собрание сочинений Сталина — всего пятьдесят долларов.

— Нет, вы знаете, я этой литературой мало интересуюсь.

— Даю в придачу к собранию сочинений Сталина бесплатно два тома Ленина с письмами к Инессе Арманд. Берите, не пожалеете!

— Нет, спасибо, обойдусь как-нибудь без писем к Инессе Арманд.

— Боже, что я слышу! Ленина бесплатно в придачу к Сталину! Ленин перевернется в гробу, если, конечно, то, что в гробу, это он! Впрочем, это месть истории. В последние годы жизни Ленина он уже был в придачу к Сталину. А если купить собрание сочинений Ленина, можно в придачу бесплатно получить два тома Сталина?

— Нет. Сталин — дефицит. Его еще при Хрущеве стали запрещать, поэтому почти все раскупили. Редкость. Так вы купите что-нибудь, или мы будем время терять?

— Нет, молодой человек, таких книг мы ни при какой погоде не читаем.

— Ну, ладно. Я здесь похожу. Если передумаете, дайте знать.

Мы уже и так все передумали. И молодой человек уходит.

— Однако, я вижу, личных машин в Москве стало гораздо больше. В прошлый свой приезд я этого не заметил...

— Да, личных машин стало больше... Боже, как грустна наша Россия! Марксистские кружки! Это меня убивает, даже если он врет!

— Кстати, что вы думаете о Ленине как о мыслителе?

— Ленин — мировой рекордсмен короткой мысли. Если вы увидите документальное кино с его участием, то вы заметите, как он бесконечно жестикулирует. Все люди, у которых короткие мысли, пытаются удлинить их при помощи жестикуляций. Они думают, что мысль при помощи вытянутой руки удлиняется. У Ленина была жесткая душа, а монета мысли лучше всего отпечатывается на мягкой душе.

— Но ему никак нельзя отказать в последовательности.

— Последовательное безумие и есть самое подлинное безумие.

— Интересно, был он суеверен хоть в чем-нибудь?

— Не думаю. Суеверие — следствие неуверенности во внутренней правоте. Суеверие бывает свойственно очень простым и очень сложным людям. Пушкин был суеверен, но человек с гипертрофированной уверенностью в своей внутренней правоте не бывает суеверным. Ленин

не мог сказать: «Понедельник — тяжелый день. Нельзя начинать революцию в понедельник».

— Но кого же из деятелей русской истории вы считаете самым великим?

— Видимо, все-таки Петра Первого. Он обладал могучей волей, обширными планами и в самом деле был работником на троне. Но, как пишет наш замечательный историк Василий Осипович Ключевский, Петр защитил Россию от ее врагов, но при этом он так ее разорил, как не могли бы ее разорить все враги, вместе взятые. В России никто никогда не считался с жертвами, и сейчас не считаются.

— Есть среди новых политиков России харизматическая личность?

— Харизматической личности не видел, но харизматических много.

— Вы прямо как Собакевич Гоголя.

— Из всех героев Гоголя, к сожалению, Собакевич больше всего прав. В самом деле — кругом разбойники.

— Ну, хорошо. Еще до чего-нибудь додумались Думающие о России? Только коротко и ясно.

— Есть еще два варианта. Первый. Божий гнев потрясет Россию, а затем явится мощная личность и скажет: «Братья, надейтесь! Мы вместе с Россией распрямимся!» — И тут же громовым голосом: — А вы, сволочи, по местам!»

И сволочи расползутся по местам, и свет надежды заструится над Россией.

— А второй вариант? Только так же коротко и ясно.

— Думающие о России додумались до великой планетарной мысли, которая повернет ход мировых событий.

— В чем она заключается?

— Если коротко, она заключается в том, что еврейское время должно оплодотворить русское пространство.

— Ну, это слишком коротко. Как это понять?

— Оказывается, мы и евреи — это два духовно родственных народа. Только эти два народа в течение многих веков говорили о своей особой исторической миссии на земле.

Получилось так, что евреи захватили время. Официально пять тысяч лет, а сколько у них в заглавнике, никто

не знает. Может, еще десять тысяч лет. Но, увлекшись захватом времени, евреи потеряли пространство. А мы, русские, увлекшись захватом пространства, выпали из времени. Величайшая задача самой природы — соединить еврейское время с русским пространством.

Что такое Израиль? Это наша русская лаборатория, хочет он того или нет. Через десяток лет русский язык станет вторым государственным языком Израйля.

— Допустим. Что это меняет?

— Это создает между русскими и евреями новый закон всемирного тяготения. Значит, в руках у евреев время. У нас в руках пространство. А что такое время? Кстати, американское научное открытие: время — деньги. Время тянется к пространству, или пространство тоскует по времени. Это безразлично. Но это факт, хотя и метафизический. В результате соединения времени с пространством инвестиции, инвестиции, инвестиции посыплются на Россию, строго и равномерно оплодотворяя ее пространство.

— Интересно у вас получается. Еврейское время тянется к русскому пространству, а сами евреи бегут из России. Надо думать, прихватив свое время.

— Никакого противоречия! Истинная любовь как раз проявляется только на расстоянии. Полюса времени и пространства принимают законченный вид и уже неостановимо тянутся друг к другу.

— А если они не захотят оплодотворять деньгами ваше пространство?

— Как — не захотят? Заставим! Вернее, закон природы заставит. Это не зависит от личной воли евреев или русских. Время ищет свое пространство, пространство ищет свое время, и они в конце концов соединятся. Израильская лаборатория работает на нас, сама этого не ведая. У них процветают киббуцы. Но это же хорошо отредактированный наш колхоз! И это не случайно.

Выпав из времени, мы запутались, мы не знали, где, когда и как надо было начинать. Поэтому у нас колхозы провалились. Но вот вам доказательство действия мировых законов независимо от воли человека. Почему при огромных внешних связях с Америкой евреи не развивали фермерское хозяйство? Тайная любовь. Тяга времени



к пространству. Скоро, скоро в историческом смысле в России начнется изумительная жизнь.

— Допустим, я поверил в эту безумную, хотя и оригинальную идею. Но куда же денутся ваши бесчисленные воруны? Если верить вам, они кишмя кишат в России.

— О, тут своя хитрость! Каждый, кто живет в России, знает, чувствует на своей шкуре, как буквально с каждым днем воруют все больше и больше, все быстрее и быстрее!

— Что ж тут хорошего?

— Это результат могучего сближения времени с пространством. Чем больше крадут, тем неизбежней момент, когда воровать будет нечего и воруны самоистребятся, как крысы после кораблекрушения, выплывшие на голую скалу. Гениально!

— И до этого додумались Думающие о России?

— И до этого, и до многого другого, что пока из политических соображений нельзя раскрывать.

— А вам не кажется, что Думающие о России однажды окажутся в сумасшедшем доме?

— Новая сталинщина? Тоже возможно. Но что для истории пятьдесят или сто лет? Миг! Никто и ничто не может остановить тысячелетнюю тягу друг к другу времени и пространства. Тут планетарные законы!

— Я знаю, что вы из Думающих о России. Но какая-нибудь гражданская профессия у вас есть? Где вы работаете?

— Россия — так красиво звучит, что работать неохота. Шучу. Я физик по профессии, но нашу лабораторию уже три года как закрыли: денег нет.

— А сейчас это ваше рабочее время или свободное?

— Свободное. Потому-то я и оказался в вестибюле вашей гостиницы.

— Но согласно вашей теории, что делают Думающие о России в свободное от думанья время?

— Как джентльмен джентльмену могу признаться. Мой друг художник мне сказал: «Займи этого господина, а я постараюсь продать его жене лжестаринную икону». Судя по тому, что он уже удалился, операция завершена.

— Мэри, ты что-нибудь купила?

— Да, милый. Пока ты шлифовал свой русский язык с этим человеком, я приобрела чудесную икону шестнадцатого века! И всего за двести долларов. Продавец иконы оказался отпрыском потомственных священнослужителей. Он сам чудом уцелел во время сталинских чисток, хотя был еще совсем ребенком. Душераздирающая история. Я тебе потом расскажу. Она сама стоит не менее двухсот долларов.

— Считай, что ты за нее уже заплатила.

— Он сперва запросил пятьсот долларов. Но я ему сказала, что я жена не богатого бизнесмена, а всего лишь профессора-русиста. «Ах, русиста, — приятно удивился он, — тогда другое дело! Даю вам икону почти даром за поддержку нашей культуры». Видишь, как я тебя удачно приплела. И все правда! Но какой он патриот! Я только боюсь, пропустят ли в таможне такую ценную вещь. Не связаться ли с нашим посольством, чтобы они помогли?

— Поздравляю тебя с удачной покупкой! Уверен, что помощь посольства не понадобится... Но, мой друг, вы за ваши соображения о России, сделав из них лекцию в Америке, могли бы заработать гораздо больше двухсот долларов.

— Как джентльмен джентльмену могу признаться, что я заработал сто долларов. Мой друг художник, чтобы внедриться в шестнадцатый век, тоже потрудился на сто долларов. Для нас, Думающих о России, это немалые деньги.

— Клянусь Мэри, вы мне нравитесь! Но неужели вы не записали на магнитофон свою фантазию? Неужели вы каждый раз так импровизируете?

— Конечно. Если бы я записал на магнитофон свои соображения, а потом повторял их, как попугай, это было бы воровством. Что касается моей лекции в Америке, то это исключено. К лекции надо заранее готовиться, а я могу только импровизировать. Можете сами воспользоваться моими соображениями для своей лекции, только не ссылайтесь на меня.

— Почему?

— Потому что неизвестно, кто в России будет у власти, когда вы будете читать свою лекцию.

— Выходит, и я заработаю на вашей лекции. Выходит, я подворовываю с вашего согласия.

— Выходит.

— Из вашего рассказа мне показалось, что в России подворовывают меланхолично. Но на вас это не похоже.

— У нас подворовывают довольно бодро, но при этом плачут невидимыми миру слезами.

— Я приглашаю вас в этот бар выпить со мной виски. Разумеется, за мой счет.

— Охотно принимаю ваше приглашение. Но было бы в высшей степени странно, если бы вы пригласили меня в бар выпить за мой счет.

— Удивительное дело! Оказывается, у вас в России проблемы со льдом.

— Это недоразумение. Среди природных богатств России снег и лед занимают первое место.

— А вот послушайте меня. Это забавно. Мы с женой были на юге России. Зашли в ресторан. Мы заказали водку, закуски, минеральную воду, а я еще попросил официанта принести нам лед, не без основания догадываясь, что сам он этого не сделает. Он как-то странно на меня посмотрел и неуверенно удалился. Его так долго не было, как будто он этот лед добывал на горных вершинах. А потом приходит и приносит нам пузырек с йодом. «Лед! Лед! А не йод!» — кричу ему.

Он был совершенно ошарашен, а потом спрашивает у меня: «Зачем вам лед?» Я говорю ему уже раздраженно: «Мы, американцы, обедаем со льдом». — «Но у нас, — говорит он, — лед электрический, его кушать нельзя». — «Что еще за электрический лед?» — спрашиваю. «Из холодильника», — отвечает он сокрушенно.

Тут я расхохотался. «А вы думаете, мы лед привозим со Шпицбергена? Мы тоже достаем лед из холодильника».

Он все еще удручен чем-то. «А йод пока оставить или взять?» — говорит он. «Если у нас не предстоит драка, — говорю ему, — можете забрать».

Как бы неуверенный, что драка не предстоит, он забирает йод и удаляется. Вскоре принес тарелку с каким-то ноздреватым льдом и перечницу с собой прихватил. «Спасибо, — говорю, — но зачем перечница?»

И тут он не выдержал. «Но ведь лед пэресный, пэресный!» — вспылил он и оскорбленно удалился, однако перечницу оставил. Тогда я сказал жене: «Это страна дураков!» Но теперь глубоко извиняюсь и беру свои слова обратно.

— О невежестве официантов я вам могу сейчас же прочесть лекцию, и притом совершенно бескорыстно. Мой бизнес завершен.

— Нет, знаете ли, достаточно. Пить будем с одним условием: молча.

— Виски стоят такого условия. Идет!

— Мэри, мы пошли в бар. Присоединяйся к нам.

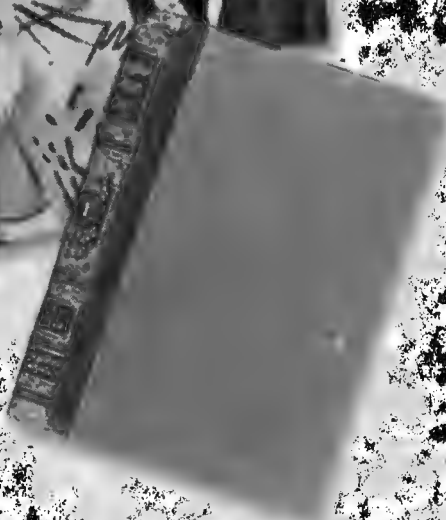
— Нет, я здесь еще посижу и погляжу на людей.

— Если тебе предложат что-нибудь вроде вазы времен государства Урарту, воздержись от покупки.

— Хорошо, милый. Я сама знаю, что два раза подряд так повезти не может. Не такая я дурочка.



# Стихи и эпиграммы





## Художники

На морду льва похожая айва,  
Какая хмурая и царственная морда!  
Впервые в жизни я подумал гордо:  
Чего-то стоит наша голова!

Мы обнажаем жизни аромат.  
Все связано — и ничего отдельно,  
И творческая радость не бесцельна,  
Когда за нами люди говорят:

«Мы связаны. Природа такова.  
На свете любопытного до черта!  
На морду льва похожая айва,  
Какая мудрая и царственная морда!»

## Кофейня

Нет, не ради славословий  
Экзотических причуд  
Нам в кофейне черный кофе  
В белых чашечках несут.

Сколько раз в житейской буре  
Обездоленный мой дух  
Обретал клочок лазури  
После чашки или двух!

Веселящие напитки,  
Этот вашим не чета,  
Мне от вас одни убытки  
Да похмелья чернота.

Плянуть в будущее смело  
Спьяну всякий норовит,  
Здесь, друзья, другое дело:  
Ясность мысли веселит.

От всемирного дурмана  
Напузырится душа...  
Черный кофе — без обмана,  
Ясность мысли хороша.

Принимаю очевидный  
Мир без радужных одежд,  
Пью из чашки яйцевидной  
Долю скорби и надежд.

Пью и славлю кофевара,  
В ясной памяти пою  
Аравийского отвара  
Неподкупную струю.

Спросит смерть у изголовья:  
— Есть желания — проси! —  
Я отвечу: — Ясный кофе  
Напоследок принеси.

## Гранат

Гранат — некоронованный король,  
Хотя на нем зубчатая корона.  
Сладчайшую испытываю боль,  
Когда ему распахиваю лоно.

Гигантское в руках веретено,  
Что солнечную нить в себя вкрутило.  
Зерно к зерну, граненое зерно  
В ячейку каждую природа вколотила.

Теперь никак не оторвать мне глаз,  
Полураскрытая передо мной пещера,  
Где каждый мне принадлежит алмаз,  
Но мера жажды — стоимости мера.



Ты прикатился к нам из жарких стран.  
Ты рос, гранат, на дереве ислама,  
Но, пробужденный, ты прожег Коран,  
Однажды вспыхнувши под пальцами Хайяма.

Скажи, гранат, где истина, где ложь?  
Я проклял золотую середину!  
Но ты заступник мой, и ты ведешь  
Светящуюся лампой Аладдина.

Ворвись, гранат! Развороши нам жизни!  
Мы стали слишком въедливы и скупы,  
Чтоб яростною свежестью зажглись  
Непоправимо стынувшие губы!

Чтоб мы, глотая эту чистоту,  
Учились, терпкую обсасывая мякоть,  
Выкладывать себя начистоту,  
Начистоту смеяться или плакать.

Чтоб этот красный кубок под конец  
Испить до дна и ощутить такое,  
Что в нас вложили тысячи сердец,  
Но вложены они в одно большое.

Тяжелый плод ладонями зажат.  
Тягучей влагой губы освежаю.  
Я выжимаю медленно гранат,  
Как будто тяжесть штанги выжимаю.

Так вот где тайна мощной красоты!  
В тебе, гранат, земля соединила  
Взрывную силу сжатой кислоты  
И сладости томящуюся силу.

## В зоопарке

В зоопарке узнал я, не в школе:  
Умирают фламинго в неволе.

У директора вечно волынка:  
Нарушается план по фламинго.

Умирают без шума, без жалоб...  
Что ей, птице, на ножке стояла б...

В теплоте электрической грелки  
Подаются лягушки в тарелке.

А по стенам от края до края —  
Виды все африканского рая.

Виды разные и пампасы,  
Травы красные, как лампасы.

Над фламинго кричат попугаи.  
Колорит создавать помогая.

Жизнь прекрасна. Одна лишь заминка:  
Умирают в неволе фламинго.

## Завоеватели

Крепость древняя у мыса,  
Где над пляжем взнесены  
Три библейских кипариса  
Над обломками стены.

Расчлененная химера  
Отработанных времен  
Благодушного Гомера  
И воинственных племен.

Шли галеры и фелюги,  
С гор стекали на конях  
В жарких латах, в пыльной व्यюге,  
В сыромятных кожухах.

Греки, римляне и турки,  
Генуэзцы, степняки,  
Шкуры, бороды и бурки,  
Арбы, торбы, бурдюки.

Стенобитные машины  
Свиrepели, как быки,  
И свиrepые мужчины  
Глаз тарасили белки.

Ощетинивали копыа,  
Волокли среди огня  
Идиотское подобье  
Деревянного коня.

Очищали, причащали,  
Покорив и покарав,  
Тех, кто стены защищали,  
В те же стены вмуrowав.

И орлы, не колыхаясь,  
Крыльев сдерживали взмах,  
Равнодушно озираясь  
На вздетых головах.

А внизу воитель гордый  
Ставил крепость на ремонт,  
Ибо варварские орды  
Омрачали горизонт.

Стенобитные машины  
Вновь ревели, как быки,  
И свиrepые мужчины  
Глаз тарасили белки.

Печенеги, греки, турки,  
Скотоложцы, звонари,  
Параноики, придурки,  
Хамы, кесари, цари:

— Протаранить! Прикарманить!  
Чтобы новый Тамерлан  
Мог христьян омусульманить,  
Охристьянить мусульман.

И опять орлы, жирея,  
На воздетых головах  
Озирались, бронзовея  
В государственных гербах.

Возмутителей — на пику!  
Совратителей — на кол!  
Но и нового владыку  
Смоет новый произвол.

Да и этот испарится,  
Не избыв своей вины.  
Три библейских кипариса  
Над обломками стены.

Плащ забвения зеленый  
Наползающих плющей,  
И гнездятся скорпионы  
В теплой сырости камней.

## Огонь, вода и медные трубы

Огонь, вода и медные трубы —  
Три символа старых романтики грубой.  
И, грозными латами латки прикрыв,  
Наш юный прапрадед летел на призыв,  
Бывало, вылазил сухим из воды  
И ряску, чихая, сдирал с бороды.

Потом, сквозь огонь прогоняя коня,  
Он успевал прикурить от огня.  
А медные трубы, где водится черт,  
Герой проползал, не снимая ботфорт.  
Он мельницу в щепки крушил ветровую,  
Чтоб гений придумал потом паровую.  
И если не точно работала шпага,  
Ему говорили:  
Не суйся, салага! —  
Поступок, бывало, попахивал жестом.  
Но нравился малый тогдашним невестам.  
Огонь, вода и медные трубы —  
Три символа старых романтики грубой.  
Сегодня герой на такую задачу  
Плядит, как жокей на цыганскую клячу.  
Он вырос, конечно, другие успехи  
Ему заменяют коня и доспехи.  
Он ради какой-то мифической чести  
Не станет мечтать о физической мести.  
И то, что мрачно решалось клинком,  
Довольно удачно решает профком.  
Но как же — шептали романтиков губы —  
Огонь, вода и медные трубы?  
Наивностью предков растроган до слез,  
Герой мой с бригадой выходит на плес.  
Он воду в железные трубы вгоняет,  
Он этой водою огонь заклиняет.  
Не страшен романтики сумрачный бред  
Тому, кто заполнил сто тысяч анкет.

## Камчатские грязевые ванны

Солнца азиатский диск,  
Сопки-караваны.  
Стой, машина! Смех и визг,  
Грязевые ванны.

Пар горячий из болот  
В небеса шибает.

Баба бабе спину трет,  
Грязью грязь сшибает.

Лечат бабы ишиас,  
Прогревают кости.  
И начальству лишний раз  
Промывают кости.

Я товарищу кричу:  
— Надо искупаться!  
В грязь горячую хочу  
Брюхом закопаться!

А товарищ — грустный вид,  
Даже просто мрачный:  
— Слишком грязно, — говорит,  
Морщит нос коньячный.

Ну а я ему в ответ:  
— С Гегелем согласно,  
Если грязь — грязнее нет,  
Значит, грязь прекрасна.

Бабы слушают: — Залазы!  
Девки защекочут!  
— Али князь?  
— Из грязи князы!  
— То-то в грязь не хочет!

Говорю ему: — Смурной,  
Это ж камчадалки...  
А они ему: — Родной,  
Можно без мочалки.

Я не знаю, почему  
В этой малокуче,  
В этом адовом дыму  
Дышится мне лучше.

Только тело погрузи  
В бархатную мягкость...  
Лучше грязь в самой грязи,  
Чем на суше слякоть!

Чад, горячечный туман  
Изгоняет хвори,  
Да к тому же балаган,  
Цирк и санаторий.

Помогает эта мазь,  
Даже если нервный.  
Вулканическая грязь,  
Да и запах серный.

Принимай земной мазут,  
Жаркий, жирный, плотный.  
После бомбой не убьют  
Сероводородной!

А убьют — в аду опять,  
Там, у черта в лапах,  
Будет проще обонять  
Этот серный запах.

Вон вулкан давно погас,  
Дышит на пределе!  
Так, дымится напоказ,  
Ну, а грязь при деле.

Так, дымится напоказ —  
Мол, большая дума,  
А внутри давно погас,  
Грязь течет из трюма.

Я не знаю, почему  
В этой малокуче,  
В этом адовом дыму  
Дышится мне лучше!

Вот внезапно поднялась  
В тине или в глине,  
Замурованная в грязь,  
Дымная богиня.

Слышу, тихо говорит:  
— В океане мой-то...  
(Камчадалский колорит) —  
Скучно мне цевой-то...

И откинута плечо  
Гордо и прекрасно,  
И опять мне горячо  
И небезопасно.

Друг мой, столько передряг  
Треплет, как мочало,  
А поплещешься вот так —  
Вроде полегчало.

## Библейская басня

Христос предвидел, что предаст Иуда,  
Но почему ж не сотворил он Чуда?  
Уча добру, он допустил злодейство.  
Чем объяснить печальное бездейство?  
Но вот, допустим, сотворил он Чудо.  
Донос порвал рыдающий Иуда.  
А что же дальше? То-то, что же дальше?  
Вот где начало либеральной фальши.  
Ведь Чудо — это все-таки мгновенье,  
Когда ж божественное схлынет опьяненье,  
Он мир пройдет от края и до края,  
За предательство проценты собирая.  
Христос предвидел все это заранее  
И палачам отдался на закланье.  
Он понимал, как затаен и смутен  
Двойник, не совершивший грех Иудин.



И он решил: «Не сотворится Чудо.  
Добро — добром. Иудой — Иуда».  
Вот почему он допустил злодейство,  
Он так хотел спасти от фарисейства  
Наш мир, еще доверчивый и юный...

Но Рим уже сколачивал трибуны.

Жалоба сатирика  
по поводу банки меда,  
лопнувшей над рукописью

Возясь с дурацкой ножкою комода,  
На рукопись я скинул банку меда.  
Мед и сатира. Это ли не смелость?  
Но не шутить, а плакать захотелось.  
Расхрустываю клейкие листочки,  
На пальцы муравьями липнут строчки.  
Избыток меда — что дерьма достаток.  
Как унизительны потоки этих паток!  
(Недоскребешь — так вылижешь остаток.)  
Что псы на свадьбе!  
Нечисть и герои,  
Достойные, быть может, новой Трои,  
Заклинились, замазались, елозя!  
И скрип, и чмок! Как бы в грязи полозья.  
Все склеилось: девица и блудница,  
Яичница, маца, пельмени, пицца...  
А помнится... Что помнится? Бывало,  
Компания на бочках пировала.  
Ах, молодость! Особенно под утро  
Дурак яснее, отливая перламутром.  
Цап индюка! И как баян вращаю!  
И в гогот закисающую бражку!  
Я струны меж рогами козлотура  
Приструнивал, хоть и дрожала шкура,  
Вися между рогов на этой лире,  
Без сетки предавался я сатире.

Сам козлотур заслушался сначала.  
 Он думал, музыка с небес стекала.  
 Радар рогов бездонный этот купол  
 С тупою методичностью ощупал.  
 Потом все ниже, ниже, ниже, ниже...  
 (Я хвастаюсь: влиянье сладкой жижи.)  
 Засек... Счесал... И ну под зад рогами!  
 Как комбикорм, доносы шли тюками!  
 Смеялся: — Выжил! Горная порода! —  
 Вдруг шмяк — и доконала банка меда.  
 Противомедья! Яду, Яго, яду!  
 Но можно и коньяк. Уйдем досаду.  
 (Он тоже яд по нынешнему взгляду.)  
 В безветрие что драться с ветряками?  
 Костер возжечь не можно светляками.  
 Швыряю горсть орехов на страницу.  
 Мой труд в меду, сладея, превратится  
 В халву-хвалу, точнее, в козинаки,  
 Хрустящие, как новые гознаки.  
 О господи, зачем стихи и проза?  
 Я побежден. Да здравствует глюкоза!  
 Но иногда...

## Любитель книг

Любитель книг украл книгу у любителя книг.  
 А ведь в каждой книге любителя книг,  
 В том числе и в украденной книге,  
 Говорилось: не укради.  
 Любитель книг, укравший книгу  
 у любителя книг,  
 Разумеется, об этом знал.  
 Он в сотнях своих книг,  
 В том числе и в книгах, не украденных  
 у любителей книг,  
 Знакомился с этой истиной.  
 И авторы этих замечательных книг  
 Умели каждый раз этой истине придать новый,  
 свежий оттенок,

Чтобы истина не приедалась.  
И никто, как любитель книг,  
Тот, что украл книгу у любителя книг,  
Не умел ценить тонкость и новизну оттенков,  
Которыми владели мастера книг.  
Однако, цenia тонкость и новизну оттенков  
В изложении этой истины,  
Он как-то забывал о самой истине,  
Гласящей простое и великое: — Не укради! —  
Что касается меня во всей этой истории,  
То я хочу сказать, что интеллигенции  
Не собираюсь выдавать индульгенции.

## Баллада о юморе и змее

В прекрасном, сумрачном краю  
Я юмору учил змею.

Оскалит зубки змейка —  
Не улыбнись посмей-ка!

Но вот змеиный юмор:  
Я всхохотнул и умер.

Сказали ангелы в раю:  
— Ты юмору учил змею,

Забыв завет известный:  
Вовеки несовместны  
Змея и юмор...

— Но люди — те же змеи! —  
Вскричал я. — Даже злее!

...И вдруг зажегся странный свет,  
Передо мной сквозь бездну лет

В дубовой низкой зале  
Свифт с Гоголем стояли.

Я сжал от боли пальцы:  
— Великие страдальцы,

Всех лилипутов злоба  
Вас довела до гроба.

— Учи! — кивнули оба.

И растворились в дымке,  
Как на поблекшем снимке.

Я пробудился. Среди книг,  
Упав лицом на черновик,

Я спал за письменным столом  
Не в силах совладать со злом.

Звенел за стенкой щебет дочки,  
Но властно призывали строчки:

В прекрасном, сумрачном краю  
Я юмору учил змею...

## Определение поэзии

Поэт, как медведь у ручья,  
Над жизнью склонился сутуло  
Миг! Лапой ударил с плеча,  
На лапе форель трепетнула!

Тот трепет всегда и везде  
Лови и неси сквозь столетья,  
Уже не в бегущей воде,  
Еще не в зубах у медведя!

## СХОДСТВО

Сей человек откуда?  
Познать — не труд.  
Похожий на верблюда  
Пьет как верблюд.

Похожий на оленя  
Летать горазд.  
Похожий на тюленя  
Лежит как пласт.

Что толку бедолагу  
Жалеть до слез?  
Похожий на конягу  
И тянет воз.

В броню, как черепаха,  
Одет иной.  
Переверни — от страха  
Замрет герой.

А тот стучит, как дятел,  
В кругу родни.  
Держу пари, что спятил  
От стукотни.

Качается головка,  
Цветут глаза.  
Не говори: — Плутовка.  
Скажи: — Пурза!

Похожий на совенка  
Возлюбит мрак.  
Похожий на ребенка —  
Мудрец, чудака.

Похожий на барана —  
Баран и есть!  
Похожий на тирана  
Барана съест.

И в ярости пророка  
Жив носорог.  
Когда, коротконого,  
Мчит без дорог.

Я думаю — живущий  
Несет с собой  
Из жизни предыдущей  
Жест видовой.

Остаточного скотства,  
Увы, черты,  
Но также благородства  
И чистоты.

Забавно это чудо —  
И смех и грех.  
И страшен лишь Иуда:  
Похож на всех.

## Душа и ум

Когда течение наших дум  
Душа на истину нацелит,  
Тогда велик и малый ум,  
Он только медленнее мелет.

Душа есть голова ума,  
А ум — его живая ветка.  
Но ум порой, сходя с ума,  
— Я сам! — кричит, как малолетка.

Своей гордынею объят,  
Грозит: — Я мир перелопачу! —

И, как безумный автомат,  
Он ставит сам себе задачу.

И постепенно некий крен  
Уже довлеет над умами,  
Уже с трибун или со стен  
Толпа толпе долбит: — Мы сами!

И разрушительный разбег  
Однажды мир передраконит.  
...Вдруг отрезвевший человек,  
Схватившись за голову, стонет.

Сбирая камни, путь тяжел,  
Но ум, смирившийся погромщик,  
Работает, как честный вол,  
Душа — надолго ли? — погонщик.

## Орлы в зоопарке

Орлы, что помнят свои битвы поименно,  
Дряхлеют за вольерами и спят,  
Как наспех зачехленные знамена  
Разбитой армии владельцев небосклона,  
Небрежно брошенные в склад.

Вдруг вымах крыл! Так, что шатнулась верба  
За прутьями. Что вспомнилось, орел?  
Плеснув, в бассейне вынырнула нерпа,  
Но зоопарк не понесет ущерба:  
Кругом железо, да и сам тяжел.

Другой срывается на гром аэропорта.  
Все перепуталось в опальной голове.  
Он, крылья волоча, шагает гордо,  
Приказа ждет, а может быть, рапорта,  
На босу ногу в дачных галифе.

## Ода всемирным дуракам

Я кризиса предвижу признак  
И говорю: — В конце концов  
Земле грозит кровавый призрак  
Переизбытка дураков.

Как некогда зерно и кофе,  
Не топят дурака, не жгут,  
Выращивают на здоровье  
И для потомства берегут.

Нам демонстрируют экраны  
Его бесценный дубликат,  
И в слаборазвитые страны  
Везут как полуфабрикат.

Крупнокалиберной породы  
Равняются — к плечу плечо,  
А есть на мелкие расходы,  
Из местных кадров дурачье.

Их много, что в Стамбуле турков,  
Не сосчитать наверняка.  
А сколько кормится придурков  
В тени большого дурака!

Мы умного встречаем редко,  
Не встретим — тоже не беда.  
Мыслитель ищет, как насадка  
Не слишком явного гнезда.

Зато дурак себя не прячет,  
Его мы носим на руках.  
Дурак всех умных одурачит,  
И умный ходит в дураках.

Дурак — он разный. Он лиричен,  
Он бьет себя публично в грудь.



Почти всегда патриотичен,  
Но перехлестывает чуть.

Дурак отечественный, прочный,  
Не поддается на испуг.  
А есть еще дурак побочный,  
Прямолинейный, как бамбук.

Хвать дурака! А ну, милейший,  
Дурил? Дурил. Держи ответ.  
Вдруг волны глупости новейшей  
Накрыли, смыли — наших нет.

Бессильна магия заклятья,  
Но красной тряпкой, как быков,  
Великолепное занятие —  
Дразнить всемирных дураков!

\*\*\*

Мысль действие мертвит.  
Так Гамлет произнес.  
Страны мертвящий вид —  
Под мерный стук колес.

Где свежесть сельских вод?  
Где ивовая грусть?  
Где девок хоровод?  
И прочее, что Русь?

Виною сатаны  
Или вина виной —  
Последний пульс страны  
Пульсирует в пивной.

Здесь мухи, муча глаз,  
Должно быть, на века  
Гирляндами зараз  
Свисают с потолка.

Здесь редкий выкрик: — Па! —  
Прервет отца, — не пей!  
Целую ясность лба  
Белесых малышей.

Так обесчадил край.  
Так обесчудел век.  
И хлеба каравай  
Черствей, чем человек.

Мысль действие мертвит.  
Так Гамлет произнес.  
Страны мертвящий вид  
Под мерный стук колес.

И видит Бог, увы,  
Нет сил сказать: — Крепись!  
Мы в действии мертвы.  
Так где же наша мысль?

## Минута ярости

Чтоб силу времени придать,  
Перезавел часы опять,  
И снова лопнула пружина.  
Опять бежать к часовщику,  
Как на поклон к временщику?!  
Взорвись, замедленная мина!  
И с этим хватъ часы об стол.  
Я время с треском расколол,  
Детали к черту разлетелись!  
Быть может, мы уже в конце  
И каменеет на лице  
Доисторическая челюсть.

## Гневная реплика Бога

Когда возносятся моления,  
Стараясь небо пропороть:  
— Прости, Господь, грехопаденье,  
Чины, гордыню, зелье, плоть...  
Теряет вдруг долготерпенье  
И так отвечает Господь:  
— Вы надоели мне, как мухи!  
От мытарей спасенья нет!  
Ну, ладно бы еще старухи,  
Но вам-то что во цвете лет?!  
Я дал вам все, чем сам владею.  
Душа — энергия небес.  
Так действуйте в согласье с нею  
Со мною вместе или без!  
Не ждите дармовых чудес.  
Я чудесами не владею!  
У нас по этой части бес.  
Душа — энергия небес.  
Тупицам развивать идею  
Отказываюсь наотрез!

\*\*\*

Хорошая боль головная  
С утра и графинчик на стол.  
Закуска почти никакая,  
Холодный и свежий рассол.

Ты выпил одну и другую  
Задумчиво, может быть, три,  
Гармония, боль атакуя,  
Затеплится тихо внутри.

И нежность нисходит такая,  
Всемирный уют и покой.  
Хорошая боль головная  
Избавит тебя от дурной!

\*\*\*

Натруженные ветви ломки.  
Однажды раздается хруст.  
Вот жизнь твоя, ее обломки  
Подняли ежевичный куст.

Присядь же на обломок жизни  
И напиши еще хоть раз  
Для неулыбчивой отчизны  
Юмористический рассказ.

## На ночь

И, отходя ко сну в тиши,  
Вздохнуть и прочитать, расслабься,  
Всех помыслов дневных души  
Непредсказуемую запись.

И молвить, счастье затая,  
Оценивая день свой в целом:  
— Сегодня, слава богу, я  
Особых глупостей не сделал.

## Пост на вокзале

Давайте жить как на вокзале,  
Когда все главное сказали.  
Еще шампанского бутылку,  
Юнца легонько по затылку:

— Живи, браток, своим умишком  
И людям доверяй не слишком.  
А впрочем, горький опыт наш  
Другим не взять на карандаш.

Давайте жить как на вокзале.  
Или не все еще сказали?  
Не чистоплотен человек.  
В нем как бы комплексы калек.  
Он вечно чем-то обнесен,  
Завидуют чуть не с пелен,  
Должно быть, губы близнеца  
Губам соседнего сосца.  
В грядущем населенья плотность  
Усугубит нечистоплотность.

Давайте жить как на вокзале,  
И если все уже сказали,  
Мы повторим не без улыбки:  
— У жизни вид какой-то липкий.  
Воспоминанья лучших лет  
Как горстка слипшихся конфет.  
Мужчина глуп. Вульгарна баба.  
Жизнь духа выражена слабо.

И отвращения апогей —  
Инакомыслящий лакей.

Давайте жить как на вокзале,  
Когда все главное сказали.  
Гол как сокол! Легко в дорогу!  
Уже перепоручен Богу  
Вперед отправленный багаж,  
Свободный от потерь и краж!

## Памяти Высоцкого

Куда, бля, делась русска нация?  
Не вижу русского в лицо.  
Есть и одесская акация,  
Есть и кавказское винцо.

Куда, бля, делась русска нация?!  
Кричу и как бы не кричу.  
А если это провокация?  
Поставим Господу свечу.

Есть и милиция, и рация,  
И свора бешеных собак.  
Куда, бля, делась русска нация?  
Не отыскать ее никак.

Стою, поэт, на Красной площади.  
А площади, по сути, нет.  
Как русских. Как в деревне лошади.  
Один остался я. Поэт.

Эй, небеса, кидайте чалочку,  
Родимых нет в родном краю!  
Вся нация лежит вповалочку.  
Я, выпимши, один стою.

## Эпиграммы и шутки

### Источник звука

Мы слышим громкий лай его,  
Не замечая самого.  
Новейшей физики черта:  
Есть лающая пустота.

### Экономия

Перерасходовала яд!  
Кусать гадюке не велят.  
И безработная гадюка  
Шипит в тоске: — Какая мука  
Яд экономить, как бензин,  
Когда кругом толпа разинь!

### Прямота

Наш друг, он, как султан Гамид,  
Своим друзьям в глаза хамит.  
А за глаза друзьям хвала,  
Как бы заочная халва.  
Коль не хамить нельзя, ханыга,  
Уж лучше за глаза хами-ка!

### Маятник

То губы чмокают в тиши,  
То вдруг скелеты — костью о кость!

Раскачка изменной души:  
Сентиментальность и жестокость!

## Хам

Слышу ли поступь победную хама? Да, слышу.  
Если и сам не услышу, хам не услышать не даст.

## Говорун

Весь ум на кончик языка  
Загнал и корчит знатока.  
Чтобы с его умом покончить,  
Мы отхватили этот кончик!

## Гремучка

Мадам — гремучая змея.  
Об этом знала лишь семья.

А на людях бывала дивной,  
Включив глушитель портативный.

## Злопыхатель

Напоминает он весьма  
Везувий злобного дерьма.  
Пока я думал так, робея,  
Погиб, как некогда Помпея!

## Сверхчеловек

А кто такой сверхчеловек,  
Создатель новой Мекки?  
Он просто недочеловек  
Верхом на человеке.



## В мастерской художника

Гостелюбивый наш мастер гостя встречает  
любезно.  
Любит, однако, его он в уходящий момент.  
— Мысли в полотнах больших, — мастер сказал  
нам, — большие.  
Кстати, и гостю спереть эти полотна трудней.

## Рассеянный

Выдавил свежую пасту на щетку зубную.  
Щетку ко рту поднеся, вспомнил, что нету зубов.

## В защиту лакея

На что надеялся лакей,  
Когда свой нож всадил мне в глотку!  
Я прохрипел ему: — О'кей!  
Лакею поднесите водку! —  
Я сам хотел себе свернуть  
Вот эту дорогую шею.  
Но я, как барин, не умею,  
А он — лакей. Он понял суть.  
И хоть де-юре он — злодей,  
Но действовал как мой лакей!

## Гад

Небо гада  
Небогато.  
Лишь созвездье Скорпиона  
Светит гаду с небосклона  
Благосклонно.

## Желудь

— Как живете? — спросит молодь.  
Я скажу: — Живу как желудь,  
Между дубом и свиньей,  
Хрюкающей подо мной.  
— Ты ведь дуб! — скажу я дубу.  
Он ответит: — Это грубо! —  
И страхнет меня свинье.  
Хорошо живется мне!

## Торгаш

Он отказался от идей  
Скотоподобных торгашей.  
Но дело в том, что за отказ  
Дерет он втридорога с нас.

## Совесть

Те, кто совестью торгует,  
Тем торгуют, чего нет,  
И, о совести толкуя,  
Натолкуют сто монет.  
Веселей торгуйте, братцы,  
Ведь нельзя проторговаться,  
Тем торгуя, чего нет!

Главы из романа  
«Сандро  
из Чегема»





# Маленький гигант большого секса

## (О, Марат)



Лучшим идиллическим временем

наших взаимоотношений с Маратом я считаю тот ранний период, когда он работал фотографом на прибрежном бульваре напротив театра. Там красовался небольшой стенд с образцами его продукции, а сам он сидел на парапете, ограждающем берег, или похаживал поблизости, издали окидывая орлиным взором или тем, что должно было означать орлиный взор, встречающих женщин или женщин, остановившихся у стенда, чтобы поглазеть на его работы.

Нередко он кидал орлиный взор и вслед удаляющимся женщинам, и я всегда удивлялся их телепатической тупости, потому что не почувствовать его взгляда и не обернуться мне казалось невозможным, настолько этот взгляд был выразительным.

В те времена я ему нравился как хороший слушатель его любовных приключений. Этим приключениям не было ни конца ни края, а моему терпению слушателя не было границ.

Многие к его рассказам относились иронически, я же проявлял только внимание и удивление, и этого было достаточно, чтобы он мне доверял свои многочисленные сердечные тайны.

Впрочем, будем точны, свои сердечные тайны он доверял всем, но не все соглашались способствовать условиям их свободного излияния. Я же этим условиям способствовал, думаю, больше других.

Марат был человеком маленького роста, крепкого сложения, с густыми сросшимися бровями, которыми он владел, как лошадь своим хвостом. То есть он их то грозно сдвигал, то удивленно приподымал обе или саркастически одну из них, что, по-видимому, производило на женщин

немалое впечатление в совокупности с остальными чертами лица, среди которых надо отметить — разумеется, сделать это надо достаточно деликатно — довольно крупный с горбинкой нос. Кроме всего, общее выражение романтической энергии, свойственное его лицу, способствовало в моих глазах правдоподобию его рассказов.

Иногда, чаще всего возвращаясь с рыбалки, я проходил мимо его владений и, если он в это время не был занят клиентами, я останавливался, мы садились на скамейку или на парапет, и он мне рассказывал очередную историю.

Рассказывая, он не спускал глаз с женщин, проходивших по бульвару, одновременно прихватывая и тех, что проходили по прибрежной улице. Иногда, чтобы лучше разглядеть последних, ему приходилось нагибать голову или слегка оттопыриваться в сторону, чтобы найти проем в зарослях олеандра, сквозь которые он смотрел на улицу.

Если, когда я проходил, он был занят клиентами, то, глядя в мою сторону, он вопросительно приподымал голову, что означало: нет ли у меня времени подождать, пока он отщелкает этих людей?

Иногда, увидев меня и будучи занят клиентами, он иронически отмахивался рукой: дескать, новых впечатлений масса, но сейчас не время и не место о них говорить.

Сами рассказы его сопровождались схематическим изображением некоторых деталей любовной близости. Этот показ многообразных позиций любви меня нередко смущал, тем более что он отводил мне роль манекена партнерши. Я чаще всего отстранялся от этих его попыток, стараясь ввести его рассказ в русло чистой словесности, в которой он и так достигал немалой выразительности.

В его рассказах поражало даже само многообразие мест свиданий: парки, ночные пляжи, окрестные рощи, каюты теплоходов, фотолаборатории, номера турецкой бани, далеко в море в камере машины, глубоко в земле в лабиринте сталактитовых пещер и, наконец, высоко над землей в кабине портального крана, где у него было несколько головокружительных встреч с крановщицей.

Рассказы об успешных свиданиях всегда кончались одной и той же сакраментальной фразой:

— Ну что тебе сказать... Она была так довольна, так довольна...

Иногда, подчеркивая, что ему удалось ускользнуть от угроз насильственной женитьбы, он так оканчивал свой рассказ:

— Ну что тебе сказать... Паспорт остался чистым...

Иногда он ошарашивал меня неожиданным вопросом. Так, однажды он у меня спросил:

— Ты когда-нибудь пил гранатовый сок из груди любимой?

— Что-что?! — опешил я.

— Гранатовый сок из груди любимой, — повторил он и для наглядности, слегка откинувшись, выпятил собственную грудь, словно пытаясь напомнить мне общепринятую позу поения возлюбленного гранатовым соком.

— Нет, конечно, — отвечал я ему, голосом показывая, что не только не знаком с таким способом удовлетворения жажды, но и сомневаюсь в самой его технологической возможности. Поняв это без слов, он без слов объяснил мне, как это делается.

— Очень просто, — сказал он и, продолжая топырить грудь, свел возле нее свои ладони, словно закрыл створки плотины. — Кто не пил гранатовый сок из груди любимой, — назидательно заметил он, — тот не знает, что такое настоящий кайф... Это даже лучше, чем тянуть коньяк из пупка любимой...

— Перестань трепаться, — сказал я ему на это, — много ли туда вместится коньяка?

— Дело не в количестве... пьяница, — перебил он меня, — дело в кайфе...

Иногда он приносил в редакцию «Красных субтропиков», где я работал, свои снимки. Они изображали живописные уголки нашего края, эстрадных певиц или сцены гастрольных спектаклей.

Порой, когда я рассматривал его фотографию живописного уголка нашего края, он показывал на какую-нибудь точку на этом снимке и говорил: — Вот здесь мы сначала с ней сидели... А потом спустились вот сюда, в

рощицу... Ну что тебе сказать... Она была так довольна, так довольна...

Снимки, которые он приносил, как правило, сопровождались более или менее расширенными подписями, которые тоже, как правило, приходилось начисто переписывать. Но я это делал ради его рассказов и наших дружеских отношений. Вернее, как только я начинал поварчивать, он вытаскивал одну из своих бесконечных историй, и я поневоле превращался в слушателя.

Подписи к снимкам, которые он давал мне, были не только неумелы, но и поражали своей чудовищной неряшливостью. Иногда они были начаты карандашом, во всяком случае, кусочком грифеля, а закончены чернилами. Иногда наоборот. Почерк был такой, что казалось, он составляет эти подписи в машине, мчащейся со скоростью сто километров в час.

Снимки, надо сказать, были выполнены всегда на самом высоком уровне, и если многие из них не проходили в газету, то только потому, что, снимая служительниц театральных подмостков, он довольно часто находил такой ракурс, словно отщелкивал их, предварительно спрыгнув в оркестровую яму.

Кстати, насчет снимков. Однажды Марат после поездки в Москву кроме рассказов о своих победах над доверчивыми москвичками привез оригинальное фото. В вагоне метро он случайно наткнулся и тут же заснял такую картину: с одной стороны вагона сидят пассажиры и все до одного читают книги и журналы, а с другой стороны, напротив них, все пассажиры дремлют или спят.

Это был действительно редкий снимок и выполнен очень четко, даже чувствовался подземный ветер метро. Во всяком случае, было видно, как одна девушка, читающая книгу (конечно, она оказалась на переднем плане), очень милым жестом, не глядя, рукой приглаживает растрепанные волосы.

В редакции снимок всем очень понравился, и его уже хотели давать в номер, как вдруг на летучке один из наших сотрудников сказал, что снимок могут неправильно понять. Его могут понять так, как будто у нас в стране половина людей спит, а вторая бодрствует и учится. Несмотря на абсурдность такого истолкования этой юмористи-



ческой сценки, наш редактор Автандил Автандилович решил фотоснимок попридержать.

— Да, — сказал он, поглядывая на него, — получается, что половина населения у нас неграмотна, а другая половина грамотна, что не соответствует положению вещей... но момент схвачен интересный...

Марат несколько раз спрашивал насчет своего снимка, но ему каждый раз обещали, что он будет использован в свое время, но время это никак не приходило. Кстати, Автандил Автандилович повесил эту забавную фотографию у себя в кабинете.

В конце концов однажды на летучке один из наших сотрудников предложил разрезать снимок на две части и напечатать их рядом с такой подписью: «У нас в метро и у них». Идея эта Автандилу Автандиловичу очень понравилась, и он уже благосклонно кивнул головой, но тут выступил все тот же скептик, который, кстати, в отличие от нас, был в Париже. Он сказал, что конструкция вагонов парижского метро сильно отличается от нашей и нас могут уличить в обмане. И хотя кто-то пытался спасти положение, сказав, что метро есть не только в Париже, но и в других капиталистических странах, Автандил Автандилович согласился с замечанием скептика, и публикация снимка была опять отложена на неопределенное время.

Уже по судьбе этого снимка можно было догадаться, что рок заносит над Маратом свою неумолимую руку, но тогда никто так далеко не смотрел, да и сам Марат был мало озабочен судьбой своего фото.

Однажды вечером, когда мы с Маратом прогуливались по набережной, кстати, он всегда был модно одет, он издал кивнул мне на одну из старушек, торговавшую недалеко от порта семечками.

— Внимательно взглядишь в нее, — сказал он.

Когда мы поравнялись, я посмотрел на старушку и ничего особенного в ней не заметил. Правда, лицо ее мне показалось довольно благообразным.

— Ну как? — спросил Марат.

— Старушенция как старушенция, — говорю.

— Пятнадцать лет назад, — сказал он, — она еще была дамой в соку. Из-за нее один таксист другого пырнул

ножом. А у меня, тогда еще зеленого юнца, был с ней роман. Да, она работала официанткой в ресторане аэровокзала. После каждого свидания я находил у себя в кармане сотнягу, старыми, конечно. И вот однажды прихожу в ресторан, и она мне говорит: «Сегодня у нас последнее свидание». — «Почему?» — говорю. «Выхожу замуж за летуна», — говорит. «А как же я?» — говорю. «Ну, ты еще молоденький, — говорит, — у тебя будет много таких... Давай я тебе принесу бифштекс, а то на шашлык сегодня идет несвежее мясо...» — «Ладно, принеси», — говорю, а сам горю от обиды.

Съел я этот бифштекс и ушел. У нас было излюбленное местечко в старом парке. Я пришел в этот парк, нашел заросли крапивы, осторожно вырвал один стебель, обернул его газетой, чтобы не жегся, и сунул его в кусты самшита возле места нашего свидания.

Прибегает запыхавшись. Миловались, целовались, прощались, а потом я как достал этот стебель крапивы да как стал лупцевать ее поперек голого зада: «Вот тебе твой летун! Вот тебе твой летун!»

— Но ведь ты не собирался на ней жениться? — перебил я его.

— Нет, конечно... Но молодой был, горячий...

Я хотел у него спросить, нащупал ли он в тот вечер у себя в кармане сотнягу и если нащупал, то как с нею распорядился. Но все-таки не спросил. Да и что спрашивать. Марат он такой и есть, и надо его или отвергать, или принимать таким, какой он есть.

Мы дошли до конца набережной и пошли обратно. Когда мы проходили мимо этой старушенции, я украдкой посмотрел на Марата, а потом на нее.

Марат, проходя мимо нее, как-то важно приосанился, подобрался, как бы сурово предупреждая ее попытку восстановить знакомство. Старушенция на нас даже не посмотрела.

Странное чувство испытал я, глядя на нее и вспоминая рассказ Марата. Резались шоферы такси, бежала, запыхавшись, на свидание к юному любовнику, была бита крапивой, а вот теперь такая мирная старушка, продает семечки. Куда делся ее летун, бог его знает. Да, странное чувство я тогда испытал, словно заглянул в же-

стокий и бездонный колодец жизни и увидел на дне его свое собственное постаревшее лицо. Марат шел рядом со мной как ни в чем не бывало.

— Ты бессмертен, Марат, — сказал я ему.

— Не надо мне мозги лечить, — ответил Марат. И, властно озираясь, добавил: — Лучше пойдем по кофе выпьем.

Точно так же однажды на базаре он издала кивнул мне на одну дородную матрону, которая стояла за прилавком, грудью прикасаясь к целому стогу зелени: петрушки, кинзы, укропа, циммата, тархуна, зеленого лука.

— Забавное приключение было у меня с ней лет десять назад, — сказал он, когда мы прошли ряд, где она торговала. — ...Возвращался я с охоты и проходил через деревню Атара-армянская. И тут меня застигла гроза такая, что за три шага ничего не видно. Я вбежал в первый попавшийся двор и вхожу на веранду дома. Дождь пополам с градом лупит такой, что хоть кричи — ничего не услышишь. Все-таки слышу, какой-то стон доносится из дому.

Дай, думаю, посмотрю, что там такое, и открываю дверь. Смотрю, лежит женщина в постели и зубами стучит. Говорю, так, мол, и так, с охоты возвращался, застала гроза, разрешите переждать.

Стонет, ничего не отвечает, а только черными глазами смотрит на меня. Только глазища и торчат из-под одеяла. Да еще слышу — зубами стучит.

— Что с вами? — говорю, и как-то странно мне делается: град стучит о крышу, женщина лежит под одеялом, а кругом никого.

— Лихорадка, — говорит, — возьми с той постели одеяло и накрой меня...

Приказывает прямо... Я беру с другой постели одеяло и набрасываю на нее. А она лежит, глазищами сверкает и, слышу, продолжает стучать зубами. А мне так странно — кругом гроза, а здесь одна женщина в доме лежит под одеялом и зыркает своими глазищами.

«Ну как, — говорю, — согрелась?» — «Нет, — говорит и стучит зубами, — в другой комнате на кровати одеяло, принеси и накрой меня...»

Я уже сам начинаю дрожать. Вхожу в другую комнату, стягиваю одеяло с постели, беру и накрываю ее.

А она все глазами зыркает и продолжает стучать зубами. А мне так странно — чужое село, чужой дом и женщина одна в доме лежит под одеялом, глазища так и зыркают, а кругом гроза и ни живой души. Думаю, может, ведьма какая. А сам дрожу, не знаю отчего, волнуясь.

«Ну как, — говорю, — согрелись?» — «Нет, — отвечает мне резко и стучит зубами, — в той комнате на вешалке пальто висит, принеси и укрой меня...»

Вхожу в другую комнату. В самом деле, на вешалке висит пальто. Снимаю его дрожащими руками, несу и накрываю ее. А кругом гроза, крыша трещит, а в доме женщина стучит зубами и зыркает из-под одеяла.

«Ну как, — говорю, а у самого голос осекается, — согрелись наконец?» — «Нет, — говорит, — принеси еще чего-нибудь».

А сама глазищами так и зыркает из-под всего, что я набросал на нее. А кругом гроза, крыша гремит, а в доме я и эта женщина. Страшно.

«Хозяйка, — говорю, а у самого голос вибрирует, — больше вроде нечего нести...» — «Ну тогда, — грозно так произносит, — сам ложись сверху!»

А у самой глазища так и зыркают, а зубы так стучат, что сквозь грозу слышно. Не женщина, а ведьма. Другой на моем месте от мандража растерялся бы. Но я, хоть и мандражу, вперед иду. На всякий случай прислоняю ружье к изголовью кровати и, была не была, ныряю в постель. Одним словом, что говорить, солдат свое дело знает. Через полчаса она откидывает все, что на нее навалено: «Жа-а-арка... Принеси мне из кухни воды...»

Я иду в кухню, нахожу воду и, черпанув кружкой, приношу. Пьет. Смотрю, опять своими глазищами на меня уставилась и хоть зубами не стучит, а все равно начинаю волноваться.

«Хозяюшка, напилась?» — спрашиваю у нее. «Нет, — говорит и дает мне кружку, — там на кухне в кувшине айран — принеси мне!»

Ну нет, думаю, надо рвать когти, пока мужики меня не застучали в этом доме. Беру кружку, потихоньку прихватываю ружье и как будто на кухню, а сам даю драпака. Слава богу, гроза кончилась, градины на земле так и сверкают, а я радуюсь жизни и иду.

Вот как иногда бывает. Лежит под одеялом, зыркает глазами, а зубы так и стучат. Попробуй пойми, чего ей надо. Я-то быстро ее раскусил, но другой на моем месте чикался бы, укрывая ее чем попало или подавая напитки, а тут бы подоспевшие мужики прихлопнули его на месте. Шутка ли — кругом чужое село, град стучит о крышу, а тут женщина зыркает из-под одеяла, а у самой зуб на зуб не попадает...

\*\*\*

Пока рок не занес над человеком свою карающую руку, человек может выйти невредимым из самых опасных приключений.

Вот несколько случаев из жизни Марата, подтверждающих эту древнюю аксиому. Первый случай произошел по воле самого Марата.

После окончания школы Марат поехал в Москву с твердой уверенностью, что он поступит в Институт кинематографии на операторский факультет. Он уже тогда увлекался фотографированием, а для поступления на этот факультет надо было представить образцы своих снимков.

Марат был уверен, что его примут хотя бы для того, чтобы его снимки остались в институте. Настолько он был уверен в успехе своих фотографий. Но, увы, он не прошел по конкурсу, и ему с оскорбительным равнодушием вернули снимки вместе с документами.

Что было делать? Набранных баллов хватало для поступления в какой-то совершенно не интересовавший Марата, кажется, Мясо-молочный, институт. По инерции Марат туда поступил, но сильно страдал не только от профиля института, но и от самого его названия. Девушки улыбались, когда он называл свой институт, и легко прерывали очередной сеанс романтического гипноза, которым он обволакивал их сознание.

Через два года учебы в этом институте ему пришла в голову простая и гениальная мысль. Марат решил обратиться к товарищу Берии как к земляку (Берия в самом деле был наш земляк) и попросить перевести его из Мясо-молочного института в Институт кинематографии. Марат правильно рассчитал, что у Берии на это хватит сил и авторитета.

Как человек действия, Марат не стал долго мусолить свою мечту. Он был уверен в успехе своего мероприятия, если, конечно, ему удастся увидеться с Берией. Встречу с всемогущим министром он приурочил к очередному сбору земляков в ресторане «Арагви». Чтобы не выглядеть в глазах Берии полным эгоистом, он решил не только попросить перевести его в Институт кинематографии, но и пригласить его на дружеский ужин земляков.

Марату не раз показывали на особняк Берии возле Садового кольца. Туда он и ринулся. Ему повезло. Еще за полквартала он заметил, что Лаврентий Павлович прогуливается возле своего особняка, а два полковника с обеих сторон тротуара ограждают маршрут его прогулок.

Марат бесстрашно устремился к месту прогулки Берии.

— Вам что? — спросил полковник, останавливая Марата, когда тот подошел к охраняемому тротуару.

— У меня просьба к товарищу Берии, — сказал Марат и сам себя поправил: — Вернее, две просьбы как к земляку...

— Какие просьбы? — спросил полковник. Марат видел, что Берия приближается к ним, но ждать было неудобно.

— Я земляк Лаврентия Павловича, — сказал Марат, — учусь в Мясо-молочном институте и хотел бы попросить, чтобы меня перевели в Институт кинематографии.

Кстати, снимки, которые он представлял в институт, лежали у него в кармане наготове. А вдруг товарищ Берия заинтересуется...

— Товарищ Берия такими пустяками не занимается, — отвечал полковник холодно, но не враждебно.

К этому времени к ним подошел Лаврентий Павлович.

— В чем дело? — спросил он.

Теперь Марату стало неудобно за свою первую просьбу, и он, не повторяя ее, приступил ко второй.

— Лаврентий Павлович, — сказал Марат, — мы, ваши земляки, закавказские студенты, хотим вас пригласить на дружеский ужин в «Арагви», который состоится завтра в восемь часов вечера.

Лаврентий Павлович и полковник переглянулись.

— Хорошо, — сказал Лаврентий Павлович, — я приеду, если охрана мне разрешит.

Окрыленный встречей и простотой обращения, Марат ушел в общежитие. Он решил, что завтра во время встречи в «Арагви» он найдет минутку и попросит Берию относительно перевода в Институт кинематографии.

К сожалению, охрана не разрешила Берию приехать на следующий день в ресторан «Арагви», и Марату пришлось, оставив Мясо-молочный институт, уехать к себе в Мухус.

Второй раз обращаться к Берию со своей просьбой он не решился, тем более что все, кому он рассказывал об этой встрече, говорили, что он должен благодарить бога, что встреча эта так благополучно для него кончилась.

...Марат уже работал на прибрежном бульваре, когда в один прекрасный осенний день заметил очаровательную молодую женщину, прогуливающуюся по набережной.

Марат был поражен, что никто из местных пижонов ее еще не подцепил или не пытается подцепить. Выбрав удобное мгновение, когда молодая женщина приблизилась к стенду, он, издали показав на него рукой, пригласил ее фотографироваться.

Она улыбнулась и, к его великому удивлению, подошла. Марат попросил попозировать ему и сделал с нее несколько снимков. Судя по всему, он произвел на нее впечатление, и она сказала, что придет за снимками, но чтобы он, если увидит ее с другими людьми, не обращал на нее внимания и не пытался с ней заговорить.

В следующие два дня Марат видел ее в обществе, как он говорил, двух высоких голубоглазых блондинов и честно никак не показывал, что он знаком с этой женщиной. Потом она неожиданно пришла сама, и Марат вручил ей снимки, которые ей очень понравились.

Он сделал с нее еще несколько снимков и стал просить ее попозировать ему на пляже. Она сказала, что это совершенно невозможно, потому что здесь у нее высокий покровитель и он ничего не должен знать об этих даже невинных встречах.

Марат сказал, что не боится высокого покровителя, лишь бы он, Марат, ей понравился. Она сказала, что Марат очень храбрый человек, но она не хочет им рисковать.

— Мадам, — сказал Марат, стараясь чаще показывать ей свой энергичный профиль, — в любви я Наполеон!

— О! — сказала очаровательная незнакомка и многозначительно улыбнулась.

Через несколько дней Марат уговорил ее покататься с ним на лодке. Она с большим трудом согласилась, но сказала, чтобы он один садился в лодку на причале, а потом в условленном месте подошел к берегу и забрал ее. Марат так и сделал.

Далеко в море она ожила и под нежно-могучим натиском Марата позволила ему гораздо больше, чем он ожидал. Но главное было впереди. Она сказала, что высокий покровитель вскоре должен уехать в Сочи, и тогда у Марата будет с ней достаточно долгое свидание. Она дала ему адрес, взяв с него слово, что он без ее знака не попытается с ней встретиться. Она сказала, что покровитель редко ее посещает, но окружил ее шпионами, которые ничего не должны знать об их встречах.

Марат, сам человек романтический, считал ее слова некоторым преувеличением. Он верил в существование высокого покровителя и думал, что это один из местных подпольных миллионеров. Марат знал, что это достаточно опасные люди, и, при всех преувеличениях, считал, что осторожность здесь не излишня.

Наконец наступил долгожданный день. Освободившись на несколько минут от своих высоких голубоглазых блондинов, молодая женщина подбежала к месту работы Марата и шепнула ему, чтобы он приходил к ней домой в десять часов вечера.

Весь день Марат не находил себе места. Ему казалось, что все городские часы остановились, чтобы он корчился в адских муках. Он сходил в ботанический сад и через знакомого агронома, работавшего там, достал великолепный букет из красных, пурпурных, желтых и белых роз, которые он отнес домой и поставил в ведро с водой.

На одной из старинных улиц в верхней части города в тот вечер Марат нашел особнячок, где жила эта женщина. Просунув руку сквозь железные прутья калитки, он открыл засов, вошел в маленький дворик и поднялся по лестнице, перила которой тонули в зарослях глициний. Еще одно усилие, и он с открытой веранды стучит в дверь.

Ему отворяет дверь его очаровательная незнакомка, и он вручает ей букет, в который она сейчас же окунает



свою хорошенькую головку. Марат видит за ее спиной со вкусом накрытый стол с ужином на двоих, он чувствует необычайной силы любовный порыв и начинает обнимать и целовать свою таинственную незнакомку.

Она едва его уговорила взять себя в руки, напомнив, что впереди у них целая ночь. Марат кое-как успокоился, букет был разделен на две части, одна из них украшала стол для ужина, а другая была поставлена в другой комнате возле кровати, достаточно просторной для самых изысканных любовных фантазий.

Дружеский ужин с «Хванчкарой» был в разгаре, когда вдруг лицо его прекрасной незнакомки побледнело, и она проговорила:

— Тише! Кажется, машина остановилась...

Тут они оба услышали скрип железной калитки.

— В ту комнату, и не выходи оттуда, — шепнула ему хозяйка и решительно вытолкнула его в спальню. Марат слышал, как кто-то постучал в дверь.

— Кто там? — спросила молодая хозяйка.

Ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа.

— Передайте ему, что я больна, — сказала молодая женщина.

Опять ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа. Ему страшно было интересно — что это за люди. Он подозревал, что в дверь стучится человек одного из подпольных миллионеров, но от кого именно — он не знал.

— Нет, доктора не надо, — отвечала хозяйка и, как бы слегка стесняясь, добавила, — это обыкновенная болезнь, которая бывает у каждой женщины.

Марат больше не слушал. Он увидел дверь в другую комнату и, открыв ее, вошел туда. Оттуда он увидел еще одну дверь, открыл ее и вышел в конец веранды, которая имела здесь еще одну лестницу, ведущую в зеленый дворик.

Марат спустился вниз и стал под верандой, пол которой сейчас нависал над ним. Вдруг он услышал мужские шаги, топающие по веранде. Шаги остановились. Потом снова пошли. Снова остановились. Марат догадался, что человек останавливается, чтобы заглянуть в окна спальни, которая была освещена. Марат с волнением подумал, что его легко могли обнаружить, останься он в спальне, куда его толкнула молодая хозяйка.

Любопытство так и жгло Марата, и он под верандой обогнул дом и выглянул из-за зарослей глицинии, буйно разросшейся возле главного входа.

Марат увидел легковую машину «ЗИС» и в жидковатом свете уличного фонаря разглядел энергичный, гораздо более энергичный, чем у него, профиль человека в пенсне, сидящего на переднем сиденье машины. Не узнать его Марат не мог, даже если бы не виделся с ним два года тому назад.

В это время над головой Марата раздалися шаги человека, разговаривавшего с хозяйкой. Он спустился по лестнице, открыл калитку и, не забыв ее запереть на задвижку, подошел к машине, на миг заслонив Берию, стал, по-видимому, что-то ему рассказывать. Через минуту он сел в машину, и она тихо скользнула мимо дома.

Через заднюю лестницу, едва живой от сковавшего его страха, Марат поднялся в дом. Вся эта история ему очень сильно не понравилась. Когда он вошел в комнату, где они ужинали с прекрасной незнакомкой, та бросилась ему на грудь, и, давась от беззвучного хохота, пыталась что-то ему сказать, но Марат не понимал причины ее смеха и не разделял ее веселого настроения.

— Когда он пошел вдоль веранды, — наконец сказала она, — я решила, что все пропало... А потом захожу в ту комнату — тебя нет. Захожу в другую — тебя нет... Я уже решила, что он испепелил тебя своим взглядом, а тут являешься ты с кислой физиономией.

Но Марат был слишком напуган случившимся. Соперничать с местными подпольными миллионерами он еще кое-как мог себе позволить, но соперничать с самим Берией — это было страшно. Попытка продолжить ужин ни к чему не привела, но, что еще хуже, попытка приступить к любовным утехам кончилась еще более плачевно. Какая-то вялая меланхолия омертвила тело Марата. Профиль первого чекиста страны так и стоял перед его глазами.

Он пытался вернуть себе то настроение, с каким целовал ее в лодке, но у него ничего не получалось. Энергичный профиль человека в пенсне так и всплывал перед его глазами. Прекрасная незнакомка приготовила турецкий кофе, говоря, что обязательно приведет его в норму, но

Марат, и выпив две чашки кофе, никак не приходил в себя. Блуждающая рассеянная улыбка не сходила с его лица, и его вялые искусственные порывы ни к чему не приводили.

— А еще говорил, что в любви Наполеон, — наконец упрекнула его прекрасная незнакомка.

— Мадам, — тихо ответил ей Марат, улыбаясь блуждающей улыбкой, — у всякого Наполеона есть свой Ватерлоу...

Поздно ночью, покинув дом любовницы Берии (бывшей незнакомки), Марат не стал выходить в калитку, а перелез через забор в самом глухом уголке сада и оказался на другой улице.

Марат сильно надвинул кепи на глаза и завернул на улицу, с которой он входил в калитку. Не глядя по сторонам, он прошел мимо ее дома в сторону центра города. Насколько мог заметить его косящий взгляд, на той стороне улицы стоял какой-то подозрительный человек, смахивающий на ее дневных провожатых. «Хорошо, что я не вышел из калитки», — подумал Марат, благодаря бога за собственную осторожность.

Через два дня незнакомка снова прогуливалась по набережной со своими высокими голубоглазыми блондинами. Потом она гуляла одна и, проходя мимо места работы Марата, бросила в его сторону взгляд, но, как сказал поэт, они не узнали друг друга.

Этот случай, по словам Марата, еще долго мешал ему в любви. В самые решительные часы чувственного восторга перед его глазами всплывал профиль человека в пенсне, и Марат впадал в вялую меланхолию, хотя иногда почему-то не впадал.

Он заметил такую закономерность. Чем более комфортабельным было место свидания, тем сильнее мешало ему видение страшного профиля человека в пенсне. И наоборот, чем проще, грубее и неудобнее для любви была окружающая обстановка, тем свободней и независимей от профиля он чувствовал себя.

У меня брезжит смутная догадка, что его головокружительные свидания с крановщицей ночью в кабине портального крана, или дневные свидания в глубине сталактитовой пещеры, или другие не менее рискованные

встречи с возлюбленными — не объясняются ли они, может быть, неосознанной попыткой вытеснить видение проклятого профиля? Сам Марат мне этого никогда не говорил, и я не пытался у него об этом спрашивать. Правда, у меня есть косвенное подтверждение этой догадки. И что особенно ценно — сам Марат подтвердил ее. Он сказал, что видение зловещего профиля почти совсем перестало его посещать после его романа со знаменитой укротительницей удавов, приезжавшей к нам вместе с цирком шапито.

Это произошло через два года после его неудачного и вместе с тем счастливого (остался жив) свидания с любовницей Берии.

Роман этот, выражаясь современным языком, возник на фрейдистской почве, хотя мы можем воспользоваться и древнерусской поговоркой, ничуть не уступающей Фрейду, а именно: клин клином вышибают.

Я думаю, сам того не подозревая, Марат потянулся к укротительнице, чтобы зримым видом живого удава вытеснить из сознания профиль метафизического удава. Так мне кажется, хотя сам Марат этого мне никогда не говорил.

Он сказал, что, когда увидел, как юную полуголую женщину под знаменитую в то время мелодию Дюка Эллингтона «Караван» опоясывает своими смертельными нитками удав, он почувствовал к ней неостановимое влечение.

Со свойственной ему энергией и прямоотой он решил покорить эту женщину. На следующий день он пришел в цирк с букетом роз, которые, по-видимому, для него старательно выращивали работники ботанического сада. После окончания номера, когда весь цвет мухусчан рукоплескал отважной женщине, он выскочил на арену и, храбро пройдя мимо корзины, куда был водворен удав, подошел к укротительнице и вручил ей букет.

В тот же вечер, провожая ее в гостиницу, он втаскивал в машину и вытаскивал из нее тяжелый чемодан с удавом. По словам Марата, прекрасная Зейнаб, так звали укротительницу, быстро ответила любовью на его любовь. Потом уже, после близости, она сама ему объяснила, что мужчины, увлекавшиеся ею и знавшие о ее рабо-

те, все-таки не выдерживали и давали задний ход, узнав, что она живет с удавом в одном гостиничном номере. Обычно удав располагался в углу комнаты, где была поставлена на пол и круглосуточно горела настольная лампа с сильной лампочкой. Это давало удаву дополнительное тепло, хотя в номере, по словам Марата, и без того всегда было душновато.

Иногда Зейнаб покрывала своего удава большой персидской шалью, и если он приподымал под нею голову, то становился похожим на злобную старуху из восточных сказок.

Во время любовной близости Марат, по его словам, старался смотреть в сторону удава, который, лежа возле настольной лампы, приподняв голову, тоже нередко смотрел в его сторону.

В первое время Марат из естественной бдительности следил за Султаном (так звали удава), не зная, как тот будет реагировать на его, Марата, отношения с хозяйкой.

И только потом он заметил, что, когда он глядит на удава, видение профиля страшного палача не возникает. Это открытие всегда так радовало Марата, что он каждый раз находил в себе силы для дополнительных любовных неистовств.

Марат был рад восстановлению своих былых сил, рад был славе, которая распространялась среди мухусчан, и дни его были счастливы. Во всяком случае, в первое время.

Но постепенно жизнь его осложнилась. Дней через десять Марат почувствовал, что удав его ненавидит. Если Марат проходил слишком близко от места, где возлегал Султан, он слышал злобное шипение. Даже когда Марат подымал чемодан с удавом, он изнутри слышал злобное шипение, показывающее, что Султан чувствует, кто держит чемодан. Несколько раз удав, шипя, дергался головой в его сторону, словно хотел его укусить.

Напрасно бедняжка Зейнаб пыталась их примирить. Они ненавидели друг друга и даже ревновали ее друг к другу. Марат, разумеется, не называл этого слова (надо полагать, что удав тоже), но, когда Марат видел, что утро начинается с того, что Зейнаб протирает вымоченным в

теплой воде полотенцем длинное тело удава, он чувствовал глухое раздражение.

Заходя в номер, где находился удав, по словам Марата, никогда нельзя было знать, где его застанешь. То он обвивал торшер и, положив голову возле лампы, дремал, то он забирался на вешалку, и стоило щелкнуть выключателем, как можно было увидеть возле своей головы его брезгливо вытянутую морду. То он забирался на диван, то на их кровать, что было особенно противно, иногда он оказывался в шкафу с бельем, иногда обвивался вокруг трюмо и, свесив голову, неподвижно следил за изображением своего двойника. Иногда он залезал в ванну, иногда — в раковину умывальника, и тогда, разумеется, Марату подойти и вымыть руки было невозможно.

Каждые два-три дня Зейнаб мыла удава в теплой ванне. Однажды она попросила Марата наполнить ванну водой, и Марат, по его словам, случайно напустил туда слишком горячую воду. Когда Зейнаб вывалила своего удава в ванну, тот одним прыжком взвился и выпрыгнул из нее.

Именно после этого удав, по наблюдениям Марата, его возненавидел, хотя как он узнал, что ванну наполнял именно Марат, до сих пор для него остается тайной. Чувствуя, что удав его ненавидит, Марат на всякий случай принес из дома кинжал, подарок его знаменитых чегемских родственников. Он повесил его над диваном, якобы для украшения номера. Другая, гораздо более скромная, мера по собственной защите заключалась в том, что Марат, ложась спать с Зейнаб, теперь всегда устраивался у стенки.

Кстати, я как-то спросил у Марата, чем Зейнаб кормила своего удава и если кроликами, то где она их брала.

— Насчет кроликов не знаю, — отвечал Марат, — но пару раз, когда я заходил днем, она выметала из комнаты какие-то перья... Так что скорее всего она его кормила живыми курицами.

В первое время мухусчане, радуясь успехам Марата, спрашивали у него:

— Марат, это правда, что ты живешь с укротительницей удава?

— А что тут такого, — отвечал Марат, — конечно, правда.

— Как только ты не боишься, Марат?! — восторженно удивлялись мухусчане.

— А чего бояться, — пожимал плечами Марат, — он в своем углу спит, мы в своем.

Но так длилось недолго и долго длиться не могло, ибо черная зависть сгущается за спиной незаурядного человека и пытается оболгать его. Вскоре среди мухусчан поползли слухи, что возлюбленная Марата изменяет ему со своим удавом. Говорили, ссылаясь на достоверные источники, что бывший муж Зейнаб, который и научил ее работать с удавом, был задушен последним на почве ревности.

Другие договаривались до того, что, в сущности, Зейнаб по-настоящему живет с удавом, а Марата держит при себе просто так, для блезира.

Слухи дошли до Марата, Марат был поражен глупостью и бессмысленностью этих слухов. Он только разводил руками и презрительно подымал брови. Он надеялся, что люди сами поймут нелепость этих слухов и сами от них отмахнутся. Но слухи упорно держались.

— Кому-то это интересно было, — говаривал Марат с многозначительным намеком, кивая головой куда-то вверх и в сторону.

У Марата появился, выражаясь псевдонаучным языком, оправдательный комплекс. Теперь, встречаясь с ребятами на набережной и в кофейнях, он заводил разговор о своей жизни с Зейнаб, обращая внимание слушателей на роскошь и многообразие их любовных утех и одновременно мимоходом сообщая о жалком прозябании удава в углу комнаты под настольной лампой.

— Да-а? — говаривали некоторые, выслушав его рассказ с недоверчивой миной. — А нам рассказывали совсем по-другому.

Негодяи! Кому ж лучше Марата было знать, кто с кем живет! Но таков закон черни: людям хочется, чтобы другие люди, способные возвыситься над общим уровнем, обязательно для равновесия имели бы унижающие их пороки.

В конце концов Марат почувствовал, что он часто испытывает порывы злости не только к удаву, но и к ни в чем не повинной Зейнаб.

Что касается удава, то его Марат возненавидел вдвойне. Однажды в кофейне до его слуха случайно долетел обрывок разговора об этом фантастическом любовном треугольнике, в котором якобы очутился Марат. Причем на этот раз рассказчик сплетни роль Марата свел до позорного минимума.

— Кто-то же должен был ей таскать чемодан с удавом, а тут Марат и подвернулся, — заключил рассказчик свой гнусный рассказ.

В тот день Марат крепко выпил и пришел в гостиницу. Зейнаб в номере не оказалось, но у него был свой ключ, и он вошел. Увидев Марата, да еще без Зейнаб, удав злобно зашипел в его сторону. Марат этого больше не мог вынести.

— Кто на кого должен шипеть! — воскликнул Марат и, сняв туфлю, запустил ею в удава. Туфля попала прямо в середину огромного лоснящегося мотка. Удав дернулся головой в сторону Марата и зашипел еще злобней. Тогда Марат снял вторую туфлю и кинул ее в эту мерзкую лоснящуюся кучу. Удав еще более решительно дернулся головой и зашипел.

Марат сел на диван и, облокотившись рукой о стол, горестно задумался над своей нелегкой судьбой. То, что было предметом его гордости, становилось предметом его позора. Просидев так некоторое время, он опустил голову на стол и заснул.

Проснулся он от какой-то невероятной тяжести, которая давила ему на грудь. Он открыл глаза и с ужасом убедился, что удав обвился вокруг него и душит его. Марат попытался одной рукой (другая была прижата к туловищу) сдернуть с себя чудовищные витки удава, но сделать это было невозможно. Он почувствовал рукой, как дышат и переливаются внутри удава его невероятные мышцы.

Чувствуя, что еще мгновение — и он потеряет сознание от сдавливающей силы удава, Марат вспомнил о своем кинжале и попытался до него дотянуться. Но дотянуться оказалось невозможно, надо было для этого встать на диван. К счастью, правая рука Марата была свободной. Марат с трудом перевалился на диван и, став на колени, уже теряя силы, выпрямился, но все равно не смог дотянуться до кинжала.



Марат собрал всю свою волю. Удав, как бы пульсируя своими мышцами, то страшно сдавливал его, то чуть-чуть отпускал, и Марат, пользуясь этими мгновениями, успевал вдохнуть воздух. Все-таки ему удалось встать трясущимися ногами на зыбкую поверхность дивана и достать свободной рукой до кинжала. Проклятье! Новое препятствие встало на его пути: кинжал никак не выходил из ножен. Необходима была вторая рука. Тогда Марат несколько раз изо всех сил тряхнул кинжал, держа его за рукоятку, и наконец ножны со свистом соскочили и обнажили лезвие. Собрав последние силы, Марат сунул кинжал в звонко треснувшее, напряженное, тело удава. Мгновенно объятия чудовища ослабели, а Марат резал и кромсал уже дрябло провисшие, опадающие кольца.

Бедняга Зейнаб, придя с базара, застала картину ужасного конца ее Султана. Она молча опустилась на колени и, поглаживая мертвое, искромсанное тело удава, проплакала до самого вечера.

Она плакала, повторяя:

— Бедный Султан, где мой кусок хлеба? Бедный Султан, где мой кусок хлеба?

По словам Марата, он чуть с ума не сошел от этих ее однообразных причитаний. Марат надел свои туфли, погасил ненужную настольную лампу, которая все еще светила в опустевшем углу, и стал утешать Зейнаб.

Он отдал ей весь запас своих денег, примерно на полгода скромной жизни, пока она освоится с новым удавом, если будет продолжать заниматься этим делом позже. Марат окончательно утешил ее, смастерив из оставшихся кусков шкуры удава несколько прелестных сумочек. Не помню, говорил ли я, что у Марата были золотые руки. Кроме всего этого, Марат помог бедняжке Зейнаб оформить фиктивную справку о том, что удав умер от простуды.

Интересно, что подлые завистники Марата сам этот его античный подвиг попытались объяснить в духе своей старой сплетни о связи Зейнаб с удавом.

Они говорили, что Марат, якобы неожиданно придя в номер, застал Зейнаб, возлежающей на диване в объятиях удава. Увидев такое, Марат якобы вскочил на диван и, выхватив свой кинжал из ножен, стал полосовать разнеженного, совершенно неподготовленного к борьбе удава.

\*\*\*

Одно время, длилось это года два, Марат перестал работать на прибрежном бульваре, а устроился в научно-исследовательский институт, где получил фотолабораторию и даже был засекречен. Я уж не знаю, что он там за снимки делал, кажется, что-то связанное с плазмой или с чем-то еще, не менее загадочным.

Но факт остается фактом — его оттуда выперли. Вернее, он сам все сделал, чтобы его оттуда выперли. Судя по его словам, он там соблазнил одну женщину, которой показывал серию фотографий, переснятых из одного заграничного журнала.

Эти снимки, изображающие голых женщин, он выдал за плоды собственноручного труда. То есть он ей довольно прозрачно намекнул, что все эти женщины сами ему позировали и она, если захочет, найдет среди них достойное место. По его словам, это ее сломило. Хотя многие мужчины в наш век стали болтливей женщин, женщины в целом все еще остаются достаточно болтливыми существами. Одним словом, эта женщина проболталась какой-то из своих подруг о коллекции Марата, та проболталась еще кому-то, и через некоторое время кто-то донес начальству, что Марат, вместо того чтобы фотографировать, скажем, внутриатомные процессы, черт знает чем занимается у себя в фотолаборатории.

Внезапная профсоюзная ревизия обнаружила эти снимки, и разразился грандиозный скандал. Перед самым общеинститутским собранием, где решался его персональный вопрос, Марат зашел ко мне в редакцию и показал журнал:

— Вот смотри...

— Ну конечно, — сказал я ему, перелистывая журнал, — ты им его покажи, и дело с концом.

— В том-то и дело, что не могу, — отвечал он.

— Почему?

— Какими глазами после этого я на нее посмотрю?

— Она сама виновата, — говорю, — нечего было твои секреты выбалтывать.

— Нет, — отвечал он, подумав, — черт с ними, пусть выгоняют...

И он действительно ни слова не сказал про журнал, он только утверждал, что снимки были сделаны не в институтской лаборатории. В конце концов дело было передано в суд, но он и тут не признался, что фотографии были пересняты из иностранного журнала, хотя над ним висело довольно грозное обвинение.

Институт добивался от суда признания фотографий порнографическими, и в этом случае Марат мог получить срок. Но суд не признал их таковыми, хотя усомнился в их художественной ценности, на которую напирал Марат.

По словам Марата, пачка его фотографий, покамест ходила по рукам, начиная от институтского профкома и кончая судом, сильно уменьшилась. Он был уверен, что все, вплоть до народных заседателей, поживились за счет его снимков.

Я думаю, что во всей этой истории рыцарские соображения, по которым Марат не открывал источник своей фотоколлекции, сильно преувеличены. Эти соображения безусловно имели место, но они сильно преувеличены. Я думаю, во всей этой истории он сознательно шел на скандал, чтобы еще больше раздуть свою славу.

Правда, тут еще один момент имел место. А именно — этот злосчастный журнал был привезен из заграничной командировки одним из сотрудников института, и Марат, по его словам, отчасти боясь, что кто-нибудь узнает, каким образом ему в руки попал этот журнал, скрывал происхождение знаменитых фотографий. Все это, видимо, так, но все-таки главным было соображение престижа покорителя сердец.

Тем более что именно в это время среди мухусчан кто-то стал распространять зловерные слухи о том, что знаменитый роман Марата с лилипуткой Люсей Кинжаловой — плод его болезненной фантазии.

Тут я должен решительно вступить за Марата. Я сам неоднократно видел его в обществе Люси Кинжаловой. Он прогуливался с ней по набережной, бывал в ресторанах, а однажды причалил к лодочной пристани, и в лодке была Люся.

Грозно сомкнув брови и подняв Люсю на руки, он с видом Стеньки Разина, кидающего в Волгу персидскую

княжну, взмахнул своей драгоценной ношей, при этом у драгоценной ноши юбка отваялась от ног, обнажив лягастые бедра перекормленного ребенка. Затем он благополучно ссадил ее на пристань и улыбкой подчеркнул шутливость своего жеста, абсурдность самого предположения, что вот так ни с того ни с сего он может бросить за борт ни в чем не повинную женщину.

Единственным козырем в руках людей, отрицавших роман Марата с Люсей, было правильное наблюдение, что Марат перестал с ней встречаться задолго до того, как ансамбль лилипутов, в который входила Люся, уехал в другой город.

Что верно, то верно. Тем не менее роман был, он был коротким, но бурным. Впервые Марат с нею познакомился в ресторане. Около дюжины лилипутов сидели за двумя сдвинутыми столиками и ужинали, попивая вино и болтая ногами.

Марат послал им две бутылки вина, издали выпил за их здоровье, лилипуты выпили за его здоровье, а потом, посоветовавшись между собой, прислали ему через официантку бутылку вина. Марат снова издали выпил за их здоровье, они тоже издали выпили за его здоровье, после чего Марат, подозвав свою официантку, послал им еще две бутылки вина и несколько плиток шоколада, по числу женщин.

Тут лилипуты, склонившись к столу, долго совещались и наконец, подозвав официантку, через нее пригласили Марата к своему столу. Они решили, что так он им дешевле обойдется, но здорово просчитались. Марат подсел к ним и за разговором дал знать, что кроме своей прямой профессии он еще числится внештатным корреспондентом местной газеты «Красные субтропики» и ряда других столичных газет. (Ряд других газет, вероятно, до сих пор не подозревает о существовании своего внештатного корреспондента в Мухусе.)

Именно во время этого застолья Марат обратил внимание на Люсю Кинжалову, совершенно не подозревая, что рядом с ней сидит ее жених. Возможно, что он вообще не подозревал, что лилипуты могут иметь своих женихов и невест. Во всяком случае, он стал оказывать Люсе знаки внимания, и она охотно, и даже чересчур охот-

но, стала принимать их, не считаясь со своим женихом, который, оказывается, в это время сильно страдал.

Узнав, что Марат имеет отношение к прессе, лилипуты пришли в сильное возбуждение и, посоветовавшись между собой, пожаловались ему на своего администратора, который, оказывается, очень плохо с ними обращался. Оказывается, администратор, чтобы сэкономить командировочные деньги, холостых лилипутов загонял по пять человек в одиночный номер. Он заставлял их укладываться поперек кровати, что было и неудобно, и унижительно, тем более что женатые лилипуты получали полноценные номера. Администратор таким образом экономил командировочные деньги, доставал фиктивные гостиничные счета, а разницу в деньгах клал к себе в карман.

Марат был в высшей степени возмущен таким бесчеловечным обращением с лилипутами, и они в тот же вечер пригласили его в гостиницу, чтобы он сам во всем убедился на месте.

В гостинице Марат предложил, не осложняя вопрос участием прессы, просто-напросто набить морду администратору. К счастью для администратора, а может, и для Марата (я имею в виду последствия), того не оказалось в номере.

Марат зашел вместе с лилипутами в один из номеров, и они еще долго там застольничали и разговаривали о жизни. Многие лилипуты сильно опьянели, и Марат их разносил по номерам, а Люся, вопреки страданиям жениха, показывала, кого куда нести.

В конце концов Марат собственноручно уложил пятерку лилипутов в их номер и со всей очевидностью убедился в обоснованности их жалоб. Кстати, оказывается, в эту пятерку входил и жених Люси Кинжаловой, о чем Марат не знал.

А между тем жених не стал лежать в постели, как предполагала Люся, но, откинув одеяло, слез с нее и попытался повеситься на перилах гостиничного балкона. К счастью, его вовремя заметили и, задыхающегося, вытащили из петли.

Но к этому времени, по словам Марата, Люся Кинжалова по уши в него втрескалась. По словам Марата, можно было понять, что у них, у лилипутов, инкубационный

период влюбленности вообще гораздо короче. Марат обещал сделать с нее несколько снимков, и она на следующий день подошла к месту его работы на бульваре.

Так они стали встречаться, и жених смирился с Маратом. Опять же, рассказывая об этом, Марат придал своим словам такой оттенок, что у лилипутов период любовных страданий тоже укороченный.

Не успел Марат насладиться новизной необычного любовного приключения, как из деревни Чегем к нему в дом приехала делегация родственников и выразила резкий протест по поводу якобы будущей женитьбы Марата на карлице, как они говорили.

Отец Марата, погибший во время войны, был по происхождению русским, но мать его была абхазкой и родом из Чегема. Родственники Марата по материнской линии, оказывается, все время держали его в поле своего зренья, и, как только поведение его, как им казалось, начинало порочить их славный род, они каким-то образом оказывались рядом и с неслыханным упрямством заставляли его следовать представлениям о приличии, выработанным их славным древним родом.

Они прямо объявили ему, что, если он сам не прекратит встречи с этой карлицей, они, выражаясь их языком, силой выволокут ее из-под него. Особенность абхазского языка состоит в том, что это действие, выраженное порусски четырьмя словами, по-абхазски передается одним словом и потому выразительность его в переводе несколько тускнеет.

Одним словом, они дали ему знать, что никогда не согласятся на то, чтобы он ввел в дом своей матери карлицу неизвестного племени. Кстати, они обещали ему полноценную абхазскую невесту, если он связался с карлицей из соображений собственного маленького роста. Марат был маленького роста, но, разумеется, не настолько, чтобы такого рода соображения приходили ему в голову.

— Бедный Марат, — изредка говорили они, подчеркивая, что вырос он без отца. Но чаще всего эти слова имели совершенно противоположный смысл.

— Бедный Марат, — говорили они, имея в виду, что он и не подозревает, какие беды обрушатся на его голову, если он будет упорствовать в своих заблуждениях.

Когда родственники вмешались в его роман с Люсей, Марат сначала пытался им объяснить, что он не собирается ее вводить в дом. Тогда тем более, отвечали они ему, незачем позорить их род, появляясь с карлицей в людных местах.

Марат попытался послать их к черту, но из этого ничего не вышло. Родственники уехали в деревню, прикрепив к месту работы Марата двух дубиноподобных молодых людей, которые дежурили там. Глядя на этих верзил, поочередно патрулирующих на приморской улице, Марат не на шутку разнервничался.

Конечно, с Люсей Кинжаловой он продолжал встречаться, но это было сопряжено с немалыми трудностями, и нервы Марата стали пошаливать. Надо знать упрямство его чегемских родственников, а с другой стороны, самолюбивость Марата. Марат терялся в догадках, стараясь узнать степень полномочий этих двух деревенских верзил. То ли они должны просто препятствовать их встречам, то ли, увидев Марата с Люсей, они должны молча сунуть ее в мешок, увезти куда-нибудь в горы и выпустить ее там, как кошку, от которой хотят избавиться.

Именно находясь в состоянии этих мрачных раздумий, он во время одного из вечерних застолий с лилипутами задал, в сущности, невинный, но показавшийся всем бестактным вопрос.

— Слушайте, — спросил Марат, — а лилипуты голосуют?

Многие до сих пор не могут понять, с чего вдруг Марату пришла в голову эта мысль. Лично я думаю, что он в раздумьях о собственном бесправном положении, вызванном исключительной патриархальностью его деревенских родственников, случайно, не подумав о последствиях, перескочил на окружающих его лилипутов.

Лилипуты сильно обиделись на его вопрос и стали громко удивляться невежеству Марата, потому что, по их словам, всякий нормальный человек знает, что лилипуты такие же полноценные граждане страны, как и все остальные.

— Ты лучше посмотри на свой нос, — оказывается, сказала ему Люся.

— А что мой нос? — тревожно спросил Марат.

— Очень он у тебя большой, — отвечала Люся, — вот ты его и съешь, куда тебя не просят.

— С точки зрения лилипутской, нос у меня, может, и большой, — отвечал Марат, сдерживая гнев, — но с точки зрения интеллигентных женщин Москвы и Ленинграда, у меня, к твоему сведению, римский нос.

Надо сказать, что Марат был весьма нетерпим ко всякого рода критике по отношению к его внешности. Сам он мог подшутить и над своим носом, и над своим небольшим ростом. Так, относительно женщины, не в меру привязавшейся к нему, он говорил: «Она решила, что я высокий голубоглазый блондин...» Такого рода шуточки и намеки он вполне допускал, но только когда они исходили от него самого.

Одним словом, застолье начинало сильно портиться, и лилипуты, учитывая, что всех угощал Марат, стали его уговаривать, чтобы он не обижался на Люсю. В конце концов сама Люся Кинжалова признала грубость своего замечания и в доказательство полной сдачи своих позиций поцеловала Марата в нос. И хотя лилипутам удалось спасти застолье, раздражение Марата не проходило, и он, время от времени вспоминая замечание Люси, бормотал: «Ха, мой нос, видите ли, слишком большой...»

После этого вечера отношения Марата с Люсей, может быть, не сразу, но достаточно быстро охладели. Во всяком случае, дубиноподобные верзилы, командированные из деревни, через неделю сняли патруль и уехали к себе в Чегем.

Между прочим, через год снова явилась в Мухус делегация чегемских родственников, исполненная мягкой, но неотразимой настойчивости. Дело в том, что Марат в это время завел себе парик, чтобы прикрыть сравнительно небольшую лысину на голове. Он давно и болезненно переживал начало своего облысения, и тем не менее парик в условиях Мухуса достаточно смелое нововведение. Но Марат всегда отличался смелостью и независимостью взглядов.

Парик так удачно сидел на голове Марата, что люди, не очень близко его знавшие, даже не понимали, что на голове Марата собственный несколько истощенный волосняной покров прикрыт париком. Тем не менее могу по-



клясться, что парик этот украшал его голову не более двадцати — двадцати пяти дней.

Чегемские родственники предложили ему не позорить их перед другими (по-видимому, злорадствующими) родами своей волосяной шапкой, а скромно пользоваться своими волосами. Они указали ему, что лысина не позорит мужчину, что она позорит только женщину. Великий Ленин, напомнили они ему, никогда не стыдился своей огромной лысины. Неужто, по-твоему, вразумляли они его, если б дело обстояло иначе, для него не могли бы найти подходящей волосяной шапки?

Несколько дней Марат боролся за независимость покрова своей головы, потом не выдержал и сдался, не дожидаясь, пока его родственники выставят дежурить какого-нибудь верзилу с граблями в руках, чтобы тот стаскивал с него парик.

Сейчас я передам слово Марату, чтобы он сам рассказал один довольно забавный случай из своей жизни. Случай этот, кроме того, что сам по себе забавен, как я надеюсь, интересен еще тем, что в нем довольно явно чувствуется вмешательство роковых сил в жизнь Марата, и только слепота наша, прегруженность в суету повседневности не дала нам вовремя разглядеть их.

— Ну и в историюку я недавно влип, доложу тебе, — начал он в тот раз, отщелкав своих клиентов и садясь рядом со мной на прибрежном парапете. Я возвращался с рыбалки, и он, прежде чем продолжать, иронически оглядел мой кулан с небогатым уловом. Потом продолжал: — Отдыхал тут один мой приятель, кэп из Мурманска. Он каждый год здесь отдыхает. Приезжает на месяц, бабули, денег, значит, куры не клюют, ну я ему помогаю развлекаться и сам про себя не забываю. Одним словом, хороший парень, я тебя с ним познакомлю, когда он снова приедет.

Вот он мне однажды говорит:

— Слушай, — говорит, — поехали за город в один хороший дом. Пасху будем справлять. Там должно быть несколько очаровательных женщин. Я буду со своей приятельницей, а ты пускайся в открытое море приключений.

— Ладно, — говорю, — попытка не пытка, дома дети не плачут.

— В крайнем случае, — говорит, — будет хороший стол с поросенком, да и сама хозяйка — дай бог женщины.

Берем мы в гастрономе торт, несколько коньяков, ловим такси и подъезжаем к ботаническому. Я достаю там хороший букет розочек, и едем. В Синопе он останавливает такси и входит в дом, где жила его приятельница. Я, значит, сижу в такси и жду. Смотрю: вошел один — выходят четверо. Он со своей приятельницей и еще какой-то мужчина с женщиной. Я как только ее увидел, сразу стойку делаю: красуля — ни пером описать, ни языком рассказать.

Ну, думаю, конечно, она с этим хахалем, разве такая красулечка нам когда-нибудь перепадет! Только я это подумал, смотрю, мужчина куда-то умотал, а эти втроем идут к нашей машине! Я от радости чуть головой крышу не вышиб! Открываю дверцу, пропускаю красулечку, а она мне во весь рот улыбается. Я сажусь, рядом со мной кэп, а приятельницу его вперед усаживаем. Чувствую, в воздухе пахнет жареным. Я этот запах всегда за версту слышу и никогда не теряюсь.

Анекдоты сами из меня сыплются один за другим. Красулечка от хохота закатывается, приятельница кэпа тоже мне в рот смотрит. Одним словом — фурор. Я окончательно смелею и потихоньку, вроде случайно забывшись, кладу руку на коленку красулечки. Она потихоньку убирает мою руку — значит, все в порядке, клеится. Потому что не сердится, а просто так, для приличия убирает.

Ну, я пуляю еще несколько анекдотов, она умирает от смеха, я снова незаметно кладу руку на ее коленку, она снова незаметно убирает. Значит, клеится, потому что не сердится, а, наоборот, продолжает смеяться.

Между прочим, случайно оглядываюсь, у меня в машине такая привычка, и вижу: одна и та же «Волга» за нами идет.

— Слушайте, — говорю, — нас кто-то преследует...

Тут красулечка оборачивается и еще больше смеется. Приятельница кэпа тоже смеется, и сам кэп хохочет.

— В чем дело? — говорю.

— Это же ее муж, — отвечает кэп, — разве ты не видел его?

— Какой муж, — говорю, — откуда муж?

И тут кэп мне все объясняет. Оказывается, человек, которого я принял за ее хахалю, на самом деле ее муж был. Оказывается, он не отвалил, как я думал, а пошел к своей машине, которая немного в стороне стояла. Оказывается, красулячка просто выразила желание ехать со мной в одной машине, потому что подружка ее, приятельница кэпа, успела ей рассказать про мою веселость.

Но тут-то я как раз и потерял свою веселость. Видно, когда я узнал про мужа, моя физия так скисла, что красулячка еще больше стала смеяться и пальчиком на меня показывать. Я в самом деле здорово приуныл, потому что мысленно уже привык к ней, а теперь приходится перестраиваться.

Тут красулячка сама потрогала меня за коленку бархатной лапкой и подмигнула: мол, не унывай, все еще впереди. Во всяком случае, я ее так понял. Ну, у меня, вроде, отлегло. Ладно, думаю, хоть я и не любитель разбивать там всякие чужие жизни, но, если красулячка сама хочет, тогда почему же, тогда можно и поухаживать.

Подъезжаем к особнячку, а он у самого моря стоит. Кэп расплачивается с таксистом, вытаскивает из машины коньяки и торт, и мы подходим к калитке. Муж красулячки тоже выходит из своей машины. Кэп нас знакомит. Я выбираю минутку, пока звонят в калитку, отвожу его в сторону и прошу:

— Объясни ситуацию.

— Муж тебе не помеха, — отвечает кэп, — но тут есть одна тонкость... потом сам поймешь.

Он немножко замаял разговор, потому что из-за калитки раздался голос хозяйки. Мы входим во двор, меня знакомят с хозяйкой. Я смотрю на нее: меня пот прошибает — хоть стой, хоть падай. Такая яростная блондинка, в черном спортивном костюме и в резиновых сапогах. Одним словом, что тебе сказать? Под шерстью спортивного костюма чувствуется женщина с большой буквы, которая живет сама и другим жить дает.

Минут на десять она меня так оглушила, что я совсем забыл про красулячку. При этом хозяйка с удовольствием нюхает мои розы и говорит: мол, ваши снимки, ваши снимки, я их видела в Салоне в прошлом году. В самом

деле в прошлогодней выставке я принимал участие, и у меня там несколько потрясных снимков было.

Входим в дом. Ну дом, я тебе скажу, — закачаешься. Ковры и книги, книги и ковры. Никак не могу понять, за чем одной женщине столько книг. Правда, она раньше была замужем за профессором, но потом они разошлись. Да что профессор — она сама научный работник. Но я об этом тогда не думал. Я думал — посмотрим, что еще за кадры будут! Главное, всей шкурой чувствую — в воздухе пахнет жареным, я этот запах за километр узнаю.

Входим в залу. Стол стоит такой, что трогать ничего не хочется — красота. Бутылки с экспортной водярой как алмазы сверкают. Нам даже стало стыдно за наши жалкие приношения. Нет, розочки мои стол здорово украсили, но коньяки и торт хозяйка как сунула куда-то там в угол комнаты, так они там до утра и простояли.

Но главное не это. В зале еще две женщины и один мужчина. Обе женщины — одна другой лучше, обе мировой стандарт и обе в моем вкусе. Одна фиксатая, другая грустненькая. Ну ничего, думаю, за таким столом долго не погрустишь, сестричка!

А между прочим, как только я увидел мужчину, я сразу вспомнил слова кэпа насчет тонкости. Вот она, эта тонкость, думаю, вот ее настоящий хахаль. А он в это время любезничает с мужем красулечки. Ах ты, сукин сын, думаю, сам с мужем любезничаешь, а сам с красулечкой шашни заводишь.

Ну, думаю, там видно будет, кто кого. В застолье, сам знаешь, я любому сто очей вперед дам. В крайнем случае, думаю, с красулечкой не получится, так здесь еще три прекрасные женщины, не считая приятельницы кэпа.

Покамест мы болтаем о том о сем, хозяйка успела переодеться и вся такая смачная снова приходит к столу, и мы рассаживаемся.

Начали выбирать тамаду. Ну кэп, конечно, назвал меня. Я для приличия сначала поломался, а потом беру стол в свои руки. Я веду стол, слежу, чтобы все выпивали, и пытаюсь идти на сближение с кем-нибудь из дамочек. Но вижу — что-то все время осечку дает. Удары мимо проходят. Нет, на острооты мои отвечают дружным смехом,

чокаются со мной, стараясь друг друга опередить, веселятся, но дальше — ни-ни.

Правда, за той, что грустная сидела, я не пытался приударять, думаю — пусть немножко растеплится, но остальные, чувствую, культурно так, без хамства, дают от ворот поворот.

Между прочим, помогая хозяйке, я несколько раз выходил с ней на кухню, а потом мы раз даже в подвал спустились, там у нее грибы в банках стояли. В этом самом подвальчике, думаю, была не была, брякаюсь на пол и, обхватив ее ноги, говорю:

— Мадам, уже падают листья...

— Знаю, — говорит она так ласково, — мы еще увидимся... Но сегодня я хозяйка и прошу вас поухаживать за кем-нибудь из моих подруг...

При этом она так легко-легко пальцами провела по моей голове, что я чуть с ума не сошел от радости. Но что делать — приходится подчиняться.

— Я ваш раб, — говорю, — мадам... Будет сделано, как вы говорите...

Отряхиваю, значит, брюки, и мы снова поднимаемся наверх. Ну, раз она так говорит, от хозяйки я отваливаю и снова пытаюсь выйти на связь с одной из ее подруг. Но вижу, ничего не получается. Время идет, красулю оставил этому серому волку, а он почему-то только с ее мужем ля-ля-ля, ля-ля-ля, а на нее ноль внимания. Что же это такое, думаю. Где слыхано, чтобы Марат в застолье один оказался. Дом полон женщин, а ухаживать не за кем. Ну, выбрал я удобный момент и отзываю кэпа.

— Что такое, — говорю, — никак не могу выйти на связь.

— Да, — соглашается кэп, — тут большая тонкость есть.

— Что за тонкость, — говорю, — этот тип — хахаль красулечки?

— В том-то и дело, — говорит, — что нет...

— Так в чем дело, — говорю, — значит, мужа любит?

— Да нет, — говорит, — совсем не в этом дело.

— Тогда в чем?

— Видишь, как этот мужик любезничает с мужем этой красули?

— Ну?

— Так вот, — говорит, — у них любовь.

— Как, — не верю я своим ушам, — в прямом смысле?

— Да, — говорит, — в самом прямом.

Я сначала удивился, а потом обрадовался. Я забыл сказать, что одна из этих дамочек, а именно фиксатая, была женой второго мужчины. Но я сам не сразу узнал об этом, до того они в разные стороны глядели.

— Если так, — говорю, — выходит, что жена этого типа и красуля свободны?

— В том-то и дело, — говорит, — что не совсем...

— Как, — говорю, — они верны своим мужьям, зная про такое?

— Да не в этом дело, — говорит, — они сами влюблены. Тут у меня голова пошла кругом.

— Да в кого, — говорю, — они влюблены, в тебя, что ли?

— Нет, — говорит, — гораздо хуже.

— Так в кого же?!

— Они, — говорит, — только, ради бога, не выдавай меня, влюблены в хозяйку дома.

Я с ума схожу.

— Как так, — говорю, — в прямом смысле?

— В самом прямом, — отвечает.

— Ну а хозяйка, — говорю, — что?

— В том-то и трагедия, что хозяйка их не любит.

— Какая же это трагедия, — говорю, — молодец! Настоящая баба!

— Нет, — говорит, — трагедия, потому что они в нее влюблены, а она их не любит.

Я с ума схожу. Но что делать? Сажусь на свое место, потому что тамада должен стол вести. Но куда вести? И главное — кого вести? Ничего не понимаю. Ну, налил я себе полбокала водяры, чтобы очухаться немного от этой симфонии. Немножко прихожу в себя и соображаю. Значит, думаю, так: что мы имеем на сегодняшний день? Красуля отпадает, эта женщина отпадает, остаются грустящая мадам и хозяйка дома.

Но хозяйка не позволила за собой ухаживать, а, наоборот, предложила ухаживать за одной из своих подруг. Но две подруги из трех отпадают по независимой от ме-

ня причине, значит, остается грустящая мадам. Не так много, но и не так мало, если умело взяться... Я постепенно перекантовываюсь на нее, а когда начинаются танцы-шманцы, приглашаю ее. Хорошая женщина, но почему-то грустит все время. Во время танца слегка ее так прижимаю, чтобы она меня хоть немного почувствовала, но вижу, чувствовать меня не хочет. Как только начинаю зажимать, твердеет, как доска.

— Отчего вы такая грустная, мадам? — говорю.

— Ах, — говорит, — не спрашивайте! У меня такое горе было, такое горе...

— Какое горе, мадам, — говорю я ей, — помогать в горе — это моя вторая профессия.

— Нет, — говорит, — никто не может мне помочь... У меня любимый муж умер...

— Когда, — говорю, — это несчастье вас постигло?

— В прошлом году, — говорит.

— Мадам, — говорю, — в наше время приятно видеть женщину, которая так убивается по своему покойному мужу. Таких женщин, во всяком случае, в ближайшем окружении, нет... Но вы еще молоды, еще красивы, не надо замыкаться в горе... Чуть-чуть расслабьтесь, и вам легче будет...

— Если б вы знали, — говорит, — какой это был человек!

И, оживляясь, начинает рассказывать про своего мужа. Оказывается, он был самый справедливый прокурор, самый честный человек и самый хороший семьянин.

Наверно, так оно и было. Но зачем мне все это рассказывать? У меня совсем другие мысли в голове. Я сам мужчина, слава богу, с достоинствами, и у меня свое самолюбие есть. Нет, думаю, надо попробовать снова перекантоваться на хозяйку, здесь номер не проходит. А между прочим, как только она заговорила про своего мужа, лицо ее оживилось, глазки заиграли, так что даже со стороны все заметили.

— Ваш друг — просто чудо, — говорит хозяйка кэпу и как-то странно смотрит на меня, — наконец ему удалось развлечь мою милую соседку...

Эта женщина, оказывается, жила рядом с нашей хозяйкой. И хозяйка, танцая с кэпом, заметила, что моя

партнерша здорово оживилась. Но то, что она оживилась, вспоминая своего умершего мужа, этого она не знала.

А я думаю: чего это она на меня так странно посмотрела? Может, клеится? Снова садимся, снова беру в руки застолье. Кушаем, пьем, шутим, и вижу, хозяйка на меня как-то странно поглядывает и, когда я начинаю шутить, первая смеется. А прокурорша опять погрузилась. Видно, некому рассказывать про своего прокурора. Ну, думаю, на меня тоже больше не рассчитывай.

Снова танцы-шманцы. Я беру хозяйку. Муж красули берет фиксатую, этот тип берет красулю, хотя видно, что им обоим до смерти хочется танцевать друг с другом.

Я, значит, танцую с хозяйкой, а она льнет ко мне, ну как тебе сказать, — просто обтекает меня как теплый душ. Все, думаю, отступать дальше некуда, стою на-смерть, как Мамаев курган.

— Ну как вам понравилась моя соседка? — спрашивает меня хозяйка.

— Да что ж, — говорю, — женщина хорошая, но все время про мужа рассказывает. Конечно, верность памяти мужа хорошее дело — но тогда зачем приходить развлекаться в компанию?

— Это я ее уговорила, — отвечает хозяйка и снова прижимается ко мне, а я уже от страсти полумертвый, вроде того прокурора.

— Я ваш раб, — шепчу хозяйке, — вот моя жизнь, делайте со мной что хотите.

— Если б я могла выбирать, — говорит она и смотрит мне в глаза, — я никого, кроме вас, не выбрала бы...

— Но почему? — взревел я шепотом. — Вы свободная женщина, а если кто проходу вам не дает, предоставьте это мне, и он забудет не только ваш прекрасный облик, но и собственное имя.

— Ах, — говорит она, — если б дело было в нем!

— Тогда в ком? — спрашиваю.

— Дело во мне, — вздыхает она, — я, к несчастью, влюблена...

— В кого, мадам, — говорю я, — назовите этого счастливица...

— Я вам, — говорит, — назову, потому что вы мне нравитесь, но вы мне помогите...



Ты же знаешь — я рыцарь, то есть человек, способный делать хорошее, даже когда это ему невыгодно.

— Все, что в моих силах, — говорю.

— Я влюблена в прокуроршу, — шепчет она мне и глазами показывает на нее.

Я закачался, как боксер после хорошего крюка. Господи, думаю, есть здесь хоть одна натуралка?!

— Как, и вы тоже, мадам? — спрашиваю, еле-еле ворочая языком.

— Уже два месяца, — говорит, — я по ней сохну. С тех пор, как она выбралась жить сюда.

Ага, кумекаю я про себя, она влюбилась в прокуроршу, а этим дала отставку.

— А что прокурорша? — спрашиваю.

— Она невинная, — говорит, — она ничего не понимает... Все про своего прокурора рассказывает.

— Так чем же я вам могу помочь, мадам? — спрашиваю.

— Говорите ей обо мне что-нибудь хорошее. Я еще вам тоже когда-нибудь пригожусь...

— Постараюсь, — говорю, — но вы сами понимаете, как мне трудно уступить вас, да еще ей.

Снова садимся к столу, и я снова обязан его вести как тамада. Но куда вести, кого вести — все чокнутые. Одна прокурорша еще кое-как держится, и ту я вынужден уступить хозяйке. Но ты же знаешь меня, раз я дал слово — железно держу его. Подымаю тост. Даже не знаю, откуда слова берутся. Тост, конечно, за хозяйку, за ее гостеприимный дом, за ее сердце, сказал я, вобравшее в себя ум всех этих книг и нежность всех этих ковров. Без дураков, здорово сказал, хотя про себя думаю: на хрен мне все эти книги и эти ковры, раз мое дело горит.

Снова заводят радиолу, и я опять танцую с прокуроршей. Осторожно выясняю, что она думает про хозяйку дома.

— Это такая чудная женщина, — говорит, — с тех пор как я переехала сюда, она окружила меня таким вниманием... Она так смягчает мне горе по моему покойному мужу...

— Мадам, — говорю я ей, — вам повезло... Эта женщина — единственный человек, который может вам заменить вашего покойного прокурора.

— Да, — говорит, — я ей бесконечно благодарна за ее заботу обо мне, потому что потерять такого мужа, которого потеряла я, — это потерять все... Вы даже не представляете, до чего он был честным... Директор гастронома, против которого он вел дело, однажды приносит ему чемоданчик денег. Но он, конечно, отказался. Тогда директор гастронома показывает на свой чемоданчик и говорит: «С этим чемоданчиком я найду себе подходящего прокурора, вот ты себе попробуй найди такого щедрого обвиняемого». И что же, через некоторое время дело передали другому прокурору, а директору гастронома дали другой гастроном, еще лучший. А я в это время сдаю курортникам одну из двух наших комнат, чтобы свести концы с концами. Видали вы такого дурака? Так вот таким был мой покойный муж...

Я понял, что прошибить эту прокуроршу невозможно. Одним словом, вечер этот кончился для меня как пустой номер, кисловодский воздух. Прокурорша ушла к себе домой, а все остальные остались ночевать у хозяйки. Как они там разместились, ничего не знаю и знать не хочу. Хозяйка принесла мне спальный мешок и говорит:

— Если это вас может утешить, я люблю в нем спать.

Что делать? Разделся, залез в этот спальный мешок, понюхал его с горя, но он почему-то козлятиной пахнул, и я, высунув из него голову, уснул.

На следующее утро мы гуляли по берегу с ружьем. В доме нашлось и ружье. Я думаю, в этом доме все можно было найти, кроме нормальной бабы. Между прочим, кэп подстрелил утку, которая упала в море. Я тут, недолго думая, раздеваюсь и в одних трусах — в море. Ну ты сам знаешь, в раздетом виде я смотрюсь как бог, со своей грудной клеткой и бицепсами. Женщины с ума сходят, вода ледяная, а я плыву за уткой, беру ее для смеха в зубы и возвращаюсь на берег.

— Если б не моя любовь, — шепчет мне хозяйка, подавая мохнатое полотенце.

Покамест я плыл, она успела добежать до дому и принести полотенце. Что говорить, женщина была мировая, и я ей понравился. Недавно встречаю ее в Мухусе.

— Ну как, — говорю, — сумела увлечь прокуроршу?

— Нет, — вздохнула она, — не удалось... Я с горя замуж вышла...

Другой мужик, зная, что я с этой прокуроршей никогда не встречусь, обязательно сказал бы: конечно, удалось... мы с ней так время провели. А эта честно ответила, но мне с ней не повезло. Сначала мы с ней слишком рано встретились — она была влюблена в прокуроршу, а потом слишком поздно — она с горя высокочила замуж.

А про кэпа, который туда меня привел, что я могу сказать? Во-первых, никакой он не кэп, я узнал это от одного человека с их пароходства. Никакой он не кэп, а старпом. Подумаешь, два раза ходил на Кубу. А я тебе так скажу: если ты с товарищем идешь в дом, ты ему сначала ситуацию расскажи, а он сам потом решит, ходить ему в этот дом или нет. А я ему еще, как бобик, утку из воды тащил. Такому кэпу не то что корабль — шлюпку нельзя доверить: утробит. Как пить дать утробит.

\*\*\*

Осенью того же года по Мухусу пробежал слух, что Марат женился. Я его давно не видел, потому что после ухода из научно-исследовательского института он стал работать не на бульваре, там его место занял другой человек, а на краю города возле базара.

Учитывая все его рассказы, я жаждал увидеть женщину, которую он сам добровольно ввел в дом и при этом не вызвал никаких нареканий со стороны чегемских родственников.

Однажды вечером, когда я сидел на скамейке прибрежного бульвара, передо мной возник Марат со своей женой. Кажется, они сошли с прогулочного катера.

— Прошу любить и жаловать — мой маленький оруженосец! — сказал Марат и представил свою жену.

Я опешил, но, ничем не выдавая своих чувств, протянул ей руку и представился. Это была приземистая тумбочка с головой совенка. Покамест Марат плел свой романтический, а в сущности, милый вздор относительно того, что несокрушимая твердыня, то есть его холостяцкие убеждения, пала перед неотразимыми чарами этого неземного существа, я украдкой рассматривал ее. Да, это

была тумба с головой совенка, и я жалел, что чегемские родственники на этот раз проморгали Марата.

Я заметил, что, пока Марат все это выбалтывал, воодушевленный собственным красноречием, эта тумба с головой совенка наливалась ненавистью к Марату. Это была знакомая мещанская ненависть ко всякого рода чудачествам, отклонениям от нормы, преувеличениям.

Конечно, сказать, что я это заметил и принял к сведению, было бы неточно. Я в самом деле это заметил, но тогда подумал, что, может быть, это мне показалось. И только последующие события подтвердили, что я не ошибался.

— А как твои чегемские родственники? — спросил я тогда у Марата, имея в виду его женитьбу.

— Я у них никогда ни о чем не спрашивал и спрашивать не собираюсь, — самолюбиво ответил Марат.

Помнится, в конце этой встречи Марат сказал, что не успеет его возлюбленная разрешиться законным наследником, как к ее ногам будет брошена медвежья шкура, истинно мужской подарок молодой жене.

Марат давно увлекался охотой и мечтал убить медведя или воспитать медвежонка. Почему-то у него две эти мечты легко уживались, но ни одна из них пока не могла осуществиться.

Однажды он и меня увлек своим охотничьим азартом. Он сказал, что знает способ и место раздобыть медвежью шкуру. Он присобачил к стволам наших ружей электрические фонарики, чтобы, если во время ночной засады появится медведь, мы могли бы сначала ослепить его светом наших фонариков, а потом убить.

Мы приехали в одну горную дереvuшку, где у него оказался знакомый крестьянин, кажется, один из представителей его славного рода по материнской линии. И вот, поужинав у этого крестьянина и немного попив чачи, мы отправились на кукурузное поле, которое, по словам хозяина, время от времени посещал медведь.

Никаких признаков, что наши с медведем посещения кукурузного поля совпадут, не было, и я преспокойно вместе с Маратом отправился ночью подстерегать медведя. Мы дошли до края поля, упирающегося в лес, и Марат, притронувшись пальцем к губам, указал мне на не-

обходимость полного молчания, а сам стал, низко нагнувшись, искать медвежьи следы.

После долгих поисков он, опять же прикрыв пальцем рот и указав мне этим, чтоб я от волнения не издал какого-нибудь восклицания, показал мне на нечто, что должно было означать наличие этих следов. Несколько раз присветив фонариком кусок вспаханного грунта, он показывал мне на что-то, что я обязан был принять за медвежьи следы. И хотя я ничего не видел, кроме куска вспаханного поля, я не мог ему возразить, потому что при малейшей моей попытке издать звук, он страшно озираясь и прикладывая палец к губам.

Наконец он знаками показал мне, что один из нас, а именно он, залезет на дерево, а другой из нас, а именно я, должен дожидаться медведя внизу. Мне это распределение ролей сильно не понравилось, но я не стал возражать, потому что мне все-таки казалось слишком невероятным, что медведь придет именно в эту ночь.

Марат залез на молодой бук, я сел у его подножия, прислонившись спиной к стволу. Сначала все было тихо, но потом наверху раздался какой-то шум и треск ветвей. Я уже не знал, что и подумать, и шепотом спросил у него, не напала ли на него рысь.

Он мне объяснил, что сова пыталась спикировать на его белую шапочку, но теперь все будет хорошо, потому что он снял шапку и спрятал ее в карман. Теперь-то я понимаю, что это было чудовищным предзнаменованием его женитьбы, но тогда об этом никто и помыслить не мог.

Снова установилась космическая тишина ночи, которую время от времени нарушал плач шакалов и лай далеких деревенских собак. Я сидел, прислонившись к стволу, прислушиваясь к тревожным шорохам леса, и все думал, как он со мной несправедливо поступил, оставив меня внизу, а сам взобравшись на дерево. Я, конечно, почти не верил в возможность появления медведя, но он ведь был в этом уверен и распорядился моей жизнью как менее полноценной.

Почему-то всегда бывает обидно, когда твоей жизнью распоряжаются как менее полноценной. Тут я вспомнил, что у меня хранится фляга с коньяком. Мы ее привезли из города, чтобы во время ночного бдения бороться при помо-

щи этой бодрящей жидкости с прохладой и дремотой. Я снял флягу с ремня и сделал несколько хороших глотков.

Коньяк прогнал дремоту, и я с новой силой почувствовал, до чего некрасиво поступил со мной Марат, укрывшись в кроне молодого бука и оставив меня внизу один на один с голодным медведем. Ведь засаду мы устроили с таким расчетом, чтобы перехватить медведя, когда он захочет влезть на кукурузное поле. Если бы засада была устроена в таком месте, где медведь, уже нажравшись кукурузы, более благодушно настроенный покидает кукурузное поле, было бы гораздо спокойней. Но на это уже поздно было рассчитывать.

Я несколько раз вскидывал ружье и зажигал фонарь, чтобы на всякий случай прорепетировать последовательность предстоящей операции. Я почему-то боялся, что, услышав подозрительный шум, я сначала спущу курок, а потом включу фонарик.

Несколько раз бодро вскидывая ружье и включая фонарик, я старался привыкать к этой последовательности, как вдруг вспомнил, что курок моего ружья стоит на предохранителе и если я впопыхах забуду об этом, то, сколько бы я ни нажимал спусковой крючок, выстрела не произойдет. Я отчетливо представил себе такую картину: медведь, слегка ослепленный светом моего фонаря, некоторое время крутит головой, а потом, встав на дыбы, идет на меня, а я как дурак жму на спусковой крючок и не могу понять, почему мое ружье не стреляет.

Сначала спустить предохранитель, потом зажечь фонарь, а потом уже нажимать курок, зубрил я про себя эту как будто бы простую последовательность действий, но в условиях этой дикой ночи можно было все перепутать.

Кстати, свет от фонарика оказался настолько слабым, что он не то что медведя, а и летучую мышь навряд ли мог ослепить. Стараясь быть готовым в любое мгновение зажечь фонарь, то есть спустить предохранитель, я для бодрости и ясности головы несколько раз прикладывался к фляжке.

Я около десяти раз проделал все эти операции, разумеется кроме выстрела, и, довольный собой, уже оставил было винтовку, как вдруг почувствовал, что забыл, в каком положении должна находиться пластинка предохра-

нителя, когда она предохраняет ружье от случайного выстрела. Я никак не мог припомнить, в каком положении она предохраняет от выстрела, эта проклятая пластинка: когда она сдвинута вниз или когда оттянута наверх.

Сначала я старался припомнить, как было до того, как я стал тренироваться. Но я ничего не мог припомнить. Тогда я решил логически или даже филологически дойти до истины. Говорят, рассуждал я про себя, спустить курок. Не означает ли это, что и предохранитель надо спустить, то есть сдвинуть пластинку вперед? Но с другой стороны, не означает ли спустить курок — это оттянуть мешающий курку предохранитель и, значит, сдвинуть пластинку на себя?

Я чувствовал, что мне не хватает какого-то одного шага, одного усилия ума, чтобы решить эту кошмарную логическую задачу, и я несколько раз, чтобы прояснить свой мозг, прикладывался к фляжке и вдруг обнаружил, что она пуста.

Я решил больше не заниматься этой растреклятой логической задачей, осторожно отставил от себя ружье на такое расстояние, что я ни ногой, ни рукой не смогу его задеть, даже если усну под сенью молодого бука.

Обезопасив себя таким образом, я несколько успокоился. Я решил, что, если медведь и в самом деле появится, я все сделаю, как отрепетировал, и если не послышится выстрел, надо сдвинуть пластинку предохранителя в другое положение.

Тут я вспомнил про коньяк, и мне стало стыдно, что я один, без Марата, выпил весь коньяк. Но потом, после зрелых раздумий, я решил, что я правильно сделал. Делиться коньяком с человеком, который собирает всю ночь провести на дереве, прежде всего опасно для его собственной жизни.

Именно это я ему сказал, когда он рано утром спустился с дерева и попросил сделать пару глотков. Марат на меня сильно обиделся и, не говоря ни слова, ушел под сень грецкого ореха искать орехи. Через некоторое время, вскинув голову на дерево, он закричал: «Белка!» — и выстрелил.

Белка висела несколько мгновений на кончике качающейся ветки. Марат промазал. Я вскинул ружье, зачем-

то включил фонарь, хотя было совсем светло, и выстрелил. Тут я только вспомнил про предохранитель — значит, все-таки мое ружье не стояло на предохранителе. «Ай да молодец!» — подумал я про себя.

Шумя листьями, белка полетела с дерева. Я подбежал и поднял ее легкое, теплое еще тело. Марат даже не взглянул в мою сторону. Нагнувшись, он искал под деревом грецкие орехи, уже начинавшие вылущиваться из кожуры и падать с дерева.

Вот какое охотничье приключение было у нас с Маратом, если не считать встречи с геологами на обратном пути. Мы остановились на несколько часов в их лагере, и Марат попытался ухаживать за пожилой геологиней, которая сначала никак не могла понять, чего от нее хочет Марат, а потом, поняв, выгнала его из своей палатки, куда он забрался во время всеобщего послеобеденного сна. Позже Марат свой неуспех у геологини объяснял тем, что был в плохой форме после бессонной ночи и действовал чересчур прямолинейно.

Но я отвлекся. Марат женился и решил бросить медвежью шкуру к ногам молодой жены в качестве награды за рождение славного наследника рода.

Чтобы действовать наверняка, он начал с того, что поехал на Урал покупать чистокровную сибирскую лайку. Он привез эту лайку и носился с ней, как хороший отец с первенцем. Жена его с первых же дней возненавидела это благородное животное. Насколько я знаю, лайка ей отвечала тем же.

Сведения о его семейной жизни этого периода очень скудны. Одно ясно, что в его доме не было большого благополучия. Тем не менее его жена родила дочку, и они так или иначе продолжали жить вместе.

Несколько позже, когда Марат неожиданно стал писать стихи и песни, у него появилось довольно известное в местных кругах стихотворение «Я ждал наследника». Стихотворение это можно рассматривать как грустный упрек в адрес судьбы, который, кстати говоря, легко переадресовать и его жене.

Дочку свою он, конечно, любил, и я несколько раз видел его на бульваре, прогуливающего ее, всю разодетую в полупрозрачный нейлон, и каждый раз эта сцена (гордо



возвышающийся Марат и маленькая толстенная девочка с телом, розовеющим сквозь нейлон) пародийно напоминала лучшие времена Марата, когда он по набережной прогуливался с Люсей Кинжаловой.

Кстати, сколько я ему ни говорил бросить эти пустые занятия, я имею в виду стихи, или, в крайнем случае, хотя бы бегло познакомиться с историей поэзии, или, в самом крайнем случае, хотя бы прочитать самых известных современных поэтов, Марат отмахивался от моих советов и продолжал писать с упорством, генетический код которого, безусловно, заложен в нем материнской линией.

И вот что всего удивительней для человека, который ни разу в жизни не раскрыл ни одного стихотворного сборника, — он добился немалых успехов. Он стал печататься в нашей местной газете, а две его песни вышли и на всесоюзную арену — их несколько раз передавали по радио. Никак не умаляя заслуг Марата, я все-таки должен отметить, что успех его песен — безусловное следствие очень низкого профессионального уровня этого жанра.

Тут я приступаю к самому щекотливому месту своего рассказа. Видно, писание стихов после приобретения сибирской лайки окончательно добило его жену. Во всяком случае, целомудрие ее пошатнулось. Во время одного из охотничьих походов Марата жена его изменила ему с монтером, приходившим починять электричество. Может, она это сделала, пользуясь отсутствием лайки, может, она и ненавидела лайку как потенциального свидетеля ее вероломных замыслов. Теперь это трудно установить.

Оказывается, этот пьяница монтер сам же первый и рассказал о своей победе над женой Марата. Между прочим, несмотря на то, что рассказывал он это в среде таких же полулюмпенов-пьяниц, они упрекнули его за то, что он посмел обесчестить нашего Марата.

— Да она сама первая, — говорят, оправдывался электрик, — да она мне даже стремянку не дала сложить...

Почему-то именно это последнее обстоятельство больше всего поразило воображение мухусчан.

— Даже стремянку не дала сложить, — говорили они как о бесстыжем признаке окончательной порчи нравов.

Получалось, что стремянка, во всяком случае, в развернутом виде, как бы приравнивается к живому существу, и грехопадение в присутствии раздвинутой стремянки превращается в акт особого цинизма.

Между прочим, она продолжала встречаться с этим электриком уже вне связи с починкой электричества, и, само собой разумеется, без всякой стремянки.

Примерно через полгода она ушла от Марата к этому монтеру, чем несколько сгладила свой грех, но никак не сгладила боль и обиду Марата. Лично мне он показывал тот самый кинжал, которым он когда-то искромсал удава, а теперь собирался зарезать ее и его. Мне стоило многих слов заставить его отказаться от этой страшной и, главное, никчемной мести. Разумеется, я был не один из тех, которые уговаривали его не делать этого, хотя бы ради его собственной матери и его собственного ребенка.

Так как Марат достаточно широко извещал о своем намерении, я ждал, что чегемские родственники не замедлят явиться и каким-то образом укротят его гневную мечту, но они почему-то притихли и в город не приезжали. Можно догадываться, что по их таинственному кодексу морали в намерении Марата не было ничего плохого. Точно так же они не препятствовали Марату, когда он сблизился с укротительницей удава. Не только в убийстве удава, но и в самой связи с укротительницей они, по видимому, ничего плохого не видели, кроме молодечества, или, выражаясь их языком, проявления мужчинства.

После ухода жены нервы у Марата стали сильно пошаливать. Всякие ночные звуки не давали ему спать и выводили из себя. Собственный будильник он на ночь заворачивал в одеяло и уносил в ванную. Жужжание мухи или писк комара превращали ночь в адское испытание.

А тут еще как назло была весна, и в пруду недалеко от дома Марата всю ночь квакали лягушки. Они настолько ему мешали жить, что он каждый день стал охотиться на них с мелкокалиберной винтовкой, решив известить всех лягушек этого пруда.

С неделю он стрелял лягушек, но потом этот, можно сказать, сизифов труд был прерван делегацией чегемских родственников, которые подошли прямо к пруду, и

старейший из них вежливо, но твердо взял из рук Марата его мелкокалиберку.

Настоящий мужчина, было сказано при этом Марату, охотится на оленя, на волка, на медведя и на другую дичь. В крайнем случае, если из-под него кто-то выволакивает жену (выражаясь их языком), он может стрелять в этого человека, но никак не в лягушек, что позорно для их рода и просто так, по-человечески смешотворно.

Больше Марат этого не мог выдержать. Он собрал свои пожитки и, покинув наш край, уехал работать в Сибирь, на родину своей лайки. Я сознательно (чегемские старцы!) не даю более точного адреса.

Что касается его бывшей жены, то она благополучно живет со своим монтером, насколько благополучно можно жить с человеком, который в пьяном виде поколачивает ее, не без основания утверждая, что она в свое время изменяла мужу. Во всяком случае, можно отдать голову на отсечение, что он ее не называет своим маленьким оруженосцем.

— Меня Марат содержал как куколку, — жалуется она соседкам после очередных побоев своего монтера.

— Ах, тебя, эфиопка, Марат содержал как куколку, — рассуждают между собой возмущенные мухусчанки, — а чем ты его отблагодарила? Тем, что отдалась монтеру, да же не дав ему сложить стремянку?!

Перед самым своим отъездом из Мухуса Марат показал мне ответ на письмо, которое он отправлял в Москву на всесоюзный конкурс фотографий, который проводил ТАСС. С ним посылал свой знаменитый снимок, сделанный когда-то в московском метро. Его кровоточащему самолюбию сейчас, как никогда, нужно было признание.

Я прочел ответ конкурсной комиссии. В нем говорилось, что присланный снимок очень интересен, но он не подходит по условиям конкурса, потому что их интересуют оригинальные фотоснимки, а не фотомонтаж, хотя и остроумно задуманный.

Они ему не поверили. Что я мог сказать Марату? Что рок никогда не останавливается на полпути, а всегда до конца доводит свой безжалостный замысел?!

И все-таки я верю, что Марат еще возродится во всем своем блеске. Но сейчас я хочу спросить у богов Олимпа

во главе с громовержцем Зевсом, я хочу спросить у хитроумного Одиссея, у бесстрашного Ахиллеса, у шлемоблещущего Гектора, у всех у них, умудренных опытом естественной борьбы за обладание нежной, лепокудрой Еленой. Пусть они мне ответят: как? как? как? эта приземистая тумба с головой совенка могла сломать нашего великого друга, чьи неисчислимые победы совершались почти на наших глазах? Или тайна сия нераскрытой пребудет в веках, и нам ничего не остается, как суеверно воскликнуть:

— Прочь, богомерзкая тварь! Изыди, сатана!





# Пирьы Вальтасара

Повесть

**Х**орошей жизнью зажил дядя Сандро

после того, как Нестор Аполлонович Лакоба взял его в город, сделал комендантом Цика и определил в знаменитый абхазский ансамбль песни и пляски под руководством Платона Панцулаи. Там он быстро выдвинулся и стал одним из самых лучших танцоров, способным соперничать с самим Патой Патараей!

Тридцать рублей в месяц как комендант Цика и столько же как участник ансамбля — неплохие деньги по тем временам, прямо-таки хорошие деньги, черт подери!

Как комендант Цика, дядя Сандро следил за работой технического персонала, получал время от времени на почте слуховые аппараты из Германии для Нестора Аполлоновича да еще распоряжался гаражом, в том числе и личным «Бьюиком» Лакобы, который он называл «Бик» для простоты заграничного произношения.

Разумеется, личный «Бьюик» Лакобы находился в его распоряжении, когда тот уезжал в Москву или еще куда-нибудь на совещание.

В такие времена, бывало, наркомы и другие ответственные лица просили у дяди Сандро этот самый «Бьюик», для того чтобы съездить в деревню на похороны родственника, отпраздновать рождение, или свадьбу, или, в крайнем случае, собственный приезд.

Прикатить в родную деревню на личной машине Лакобы, которую все знали, было вдвойне приятно, то есть политически приятно и приятно просто так. Все понимали, что раз человек приехал на машине Нестора Аполлоновича, значит, он идет вверх, может, даже Нестор Аполлонович его приблизил к себе и знай похлопывает его по плечу или даже, дружески облапив, вталкивает в свою

машину: мол, поезжай, подлец, куда тебе надо, да только не блуй на сиденье на обратном пути.

Были, конечно, и неприятности. Так, один не такой уж ответственный, но все же руководящий товарищ поехал на этом «Бьюике» в свою деревню. Там он (уже за столом) на чей-то вопрос насчет «Бьюика» с коварной уклончивостью ответил, что, хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали.

Не успел он выйти из-за этого пиршественного стола, а точнее сказать, досиделся он за ним до того, что из соседней деревни приехали трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы. Они осторожно, чтобы не беспокоить остальных, вытащили его из-за стола и во дворе измолотили как следует.

Вдобавок ко всему они его привязали к багажнику «Бьюика», чтобы в таком виде провезти его по всей деревне. Правда, провезти не удалось, потому что сами управлять машиной они не могли, а шофер сбежал в кукурузник.

В сущности говоря, иного и не следовало ожидать. Своими вздорными разговорами он оскорбил не только самого Нестора Лакобу, но и весь его род. А оскорбление рода редко в те времена оставалось безнаказанным.

После этого случая приличные люди долго удивлялись, как этот товарищ осмелился столь открыто заниматься святотатством, и при этом лживым святотатством!

Сам он говорил, что на него нашло затмение на почве выпивки, а хозяин дома, в котором он сидел, клялся всеми предками, что из-за стола никто не вставал, так что ему до сих пор непонятно, кто побежал доносить в соседнее село.

К счастью, вся эта история не дошла до ушей Нестора Аполлоновича, а то бы всем этим племянникам или однофамильцам, да и самому дяде Сандро, а уж заодно и пострадавшему святотатцу по второму заходу крепко бы досталось.

Дяде Сандро, конечно, кое-что перепало за эти небольшие вольности с «Бьюиком». Не то чтобы какие-нибудь грубые услуги, нет, но нужно устроить родственника

в хорошую больницу, быстро получить нужную справку, пересмотреть дело близкого человека, который, думая, что все еще продолжаются николаевские времена, крадет чужих лошадей да еще на суде, вместо того чтобы отпираться, рассказывает все, как было, горделиво оглядывая публику...

Много хорошего сделал дядя Сандро в те золотые времена для своих близких, да не все отплатили добром за добро, многие впоследствии оказались неблагодарными.

Бывало, дядя Сандро выйдет на балкон Цика, посмотрит вниз вдоль улицы, а там в самом конце море виднеется, а если в порту стоит пароход, то с балкона можно разглядеть его трубы и мачты. Дяде Сандро бывало весело смотреть в сторону порта, приятно было думать, что можно сесть на пароход и уплыть в Батум или в Одессу. И хотя дядя Сандро никуда не собирался уплывать, потому что от добра добра не ищут, все же ему было приятно думать, что можно сесть на пароход и куда-нибудь уплыть.

А если, стоя на балконе, смотреть в противоположную сторону, то там, кроме гор и лесов, ничего не видно, так что и смотреть туда, можно сказать, нечего.

Только изредка, когда подкатывала тоска по родным местам, дядя Сандро смотрел на горы и украдкой вздыхал. Он вздыхал украдкой, потому что считал неприличным громко вздыхать, находясь на почетной работе при власти. Потому что, если человек вздыхает, находясь при власти, получается, что находиться при власти ему не нравится, что было бы неблагодарно и глупо. Нет, нравилось дяде Сандро находиться при власти, и он, естественно, хотел как можно дольше находиться при ней.

До чего же приятно было дяде Сандро в ясный день стоять на балконе Цика и просто глядеть вниз на проходящее население, среди которого было немало знакомых людей и красивых женщин.

Те, что раньше знали дядю Сандро и продолжали его любить, подымали головы и здоровались с ним, приветливым взглядом показывая, что радуются его возвышению. Те, что раньше знали дядю Сандро, но теперь завидовали, проходили, делая вид, что не замечают его. Но дядя Сандро на них не обижался: пусть себе идут, всем не угодишь своим возвышением.

А те, что раньше его не знали, а теперь видели на балконе Цика, думали, что он ответственный работник, который вышел на балкон подышать. Дядя Сандро вежливым кивком отвечал на их приветствия — не для того, чтобы содействовать невольному обману, а просто потому, что умел прощать людям маленькие человеческие слабости.

Иногда знакомые люди останавливались под балконом и знаками спрашивали: мол, как там Лакоба? Дядя Сандро сжимал кулак и, слегка потрясая им, показывал, что Нестор Аполлонович крепко держится. В ответ знакомые радостно кивали и шагали дальше с некоторой дополнительной бодростью.

Иногда эти знакомые, зная, что Лакоба куда-то уехал, знаками спрашивали: мол, куда? В ответ дядя Сандро рукой показывал на восток, что означало — в Тбилиси, или более значительным жестом на север, что означало — в Москву.

Иногда они спрашивали, опять же чаще всего знаками: мол, не приехал еще Лакоба? В таких случаях дядя Сандро утвердительно кивал или отрицательно мотал головой. В обоих случаях знакомые удовлетворенно кивали и, радуясь, что мимоходом приобщились к делам государственным, шли дальше.

Цокая каблуками, проходили мухусские модницы, и дядя Сандро, встречаясь с ними глазами, подкручивал ус, намекая на веселые помыслы. Многие свои хитроумные романы он начинал с этого балкона, хотя со сцены театра или клубной эстрады, где, бывало, выступал ансамбль, тоже нередко завязывались знакомства.

Некоторые женщины посмеивались над его заигрываниями с балкона. Дядя Сандро на них не обижался, просто он к ним быстро охладевал: «Ах, я вам не нравлюсь, так и вы мне не нравитесь...»

Гораздо больше ему нравились те женщины, что краснели, встречаясь с ним глазами, и, опустив голову, быстро проходили мимо. Дядя Сандро считал, что стыд — это самое нарядное платье из всех, которые украшают женщину. (Иногда он говорил, что стыд — это самое дразнящее платье, но, в сущности, это одно и то же.)

Порой, стоя на балконе Цика, дядя Сандро видел своего бывшего кунака Колю Зархиди. Он всегда с ним сер-



дечно здоровался, показывая, что нисколько не зазнался, что узнает и по-прежнему любит старых друзей. По глазам Коли он видел, что тот не испытывает к нему ни злобы, ни зависти за то, что дядя Сандро хозяйствует в отобранном у него особняке или стоит себе на балконе, как в мирные времена.

— Ты попробуй на лошади туда подымись, — кивал ему Коля, напоминая о его давнем подвиге.

— Что ты, Коля, — отвечал ему дядя Сандро с улыбкой, — сейчас это нельзя, сейчас совсем другое время.

— Э-э, — говорил Коля и, словно услышав печальное подтверждение правильности своего образа жизни, шел дальше, в кофейню.

Дядя Сандро смотрел ему вслед, немного жалея его и немного завидуя, потому что сидеть в кофейне за рюмкой коньяка и турецким кофе было приятно и при советской власти, может быть, даже еще приятней, чем раньше.

Абхазский ансамбль песни и пляски уже гремел по всему Закавказью, а позже прогремел в Москве и даже, говорят, выступал в Лондоне, хотя неизвестно, прогремел он там или нет.

В описываемые времена он уже набирал скорость своей славы, которую в первую очередь ему создали Платон Панцулая, Пата Патараея и дядя Сандро. В дни революционных праздников после торжественной части ансамбль выступал на сцене областного театра. Кроме того, он выступал на партконференциях, на слетах передовиков промышленности и сельского хозяйства, не ленился выезжать в районы республики, а также обслуживал крупнейшие санатории и дома отдыха закавказского побережья.

После выступления на более или менее значительном мероприятии участников ансамбля приглашали на банкет, где они продолжали петь и плясать в доступной близости к банкетному столу и руководящим товарищам.

Дядя Сандро, как я уже говорил, шел почти наравне с лучшим танцором ансамбля Патой Патараеи. Во всяком случае, он был единственным человеком ансамбля, который усвоил знаменитый номер Паты Патараи: разгон за сценой, падение на колени и скольжение — скольжение через всю сцену, раскинув руки в парящем жесте.

Так вот, это знаменитое па он так хорошо усвоил, что многие говорили, что не могут отличить одного исполнителя от другого.

Однажды один участник ансамбля, танцор и запева-ла по имени Махаз, сказал, что если нахлобучить башлык на лицо исполнителя этого номера, то и вовсе не поймешь, кто скользит через всю сцену — знаменитый Пата Патарая или новая звезда Сандро Чегемский.

Возможно, Махаз, как земляк дяди Сандро по району, хотел ему слегка польстить, потому что отличить все-таки можно было, особенно опытному глазу танцора, но главное не это. Главное то, что своими случайными словами он заронил в голову дяди Сандро идею великого усовершенствования и без того достаточно сложного номера.

На следующий же день дядя Сандро приступил к тайным тренировкам. Пользуясь своим служебным положением, он их проводил в конференц-зале Цика при закрытых дверях, чтобы уборщица не подсматривала.

Кстати, это был именно тот зал, где когда-то дядя Сандро скакал на своем незабвенном рябом скакуне, чем спас своего друга и заставил разориться эндурского скотопромышленника.

Около трех месяцев тренировался дядя Сандро, и вот наступил день, когда он решился показать свой номер. Сам он считал, что номер недостаточно отшлифован, но обстоятельства вынудили его рискнуть и бросить на сцену свой тайный козырь.

Накануне лучшая часть ансамбля в составе двадцати человек уехала в Гагры. Ансамбль должен был выступить в одном из крупных санаториев, где в эти дни проводилось совещание секретарей райкомов Западной Грузии. Совещание, по слухам, проводил сам Сталин, отдыхавший в это время в Гаграх.

По-видимому, мысль собрать секретарей райкомов возникла у него здесь, во время отдыха. Но почему он созвал совещание секретарей райкомов только Западной Грузии, дядя Сандро так и не понял.

По-видимому, секретари райкомов Восточной Грузии в чем-то провинились, а может, он им хотел дать почувствовать, что они еще не доросли до этого высокого сове-

щания, чтобы в будущем работали лучше, соперничая с секретарями райкомов Западной Грузии.

Так думал дядя Сандро, напрягая свой любознательный ум, хотя это, собственно говоря, не входило в его обязанности коменданта Цика или тем более участника ансамбля.

И вот лучшая часть ансамбля выехала, а дядя Сандро остался. Дело в том, что у дяди Сандро в это время тяжело болела дочь. Все об этом знали. Перед самым отъездом группы дядя Сандро попросил Панцулаю оставить его ввиду болезни дочери. Он был уверен, что Панцулая всполошится, будет<sup>†</sup> упрасивать его поехать вместе с группой, и тогда, поломавшись, он даст свое грустное согласие.

Так было бы прилично по отношению к родственникам: мол, не сам кинулся плясать, а был вынужден, и, кроме того, участники ансамбля еще раз почувствовали бы, что без Сандро танцевать можно, да танец будет не тот.

И вдруг руководитель ансамбля сразу дает согласие, и дяде Сандро ничего не остается, как повернуться и уйти. В тот же день управляющий Циком делает ему оскорбительное замечание.

— По-моему, у нас крадут дрова, — сказал он, указывая на огромный штабель дров, распиленный и сложенный во дворе Цика еще в начале лета.

— Садятся, — небрежно ответил ему дядя Сандро, чувствуя скуку из-за своего артистического одиночества.

— Я что-то не слышал, чтобы дрова садились, — сказал управляющий с намеком, как показалось дяде Сандро.

— А ты не слышал, что вокруг Чегема леса сгорели? — вкрадчиво спросил дядя Сандро.

Это был знаменитый чегемский сарказм, к которому далеко не всякий мог приспособиться.

— При чем тут Чегем и его леса? — спросил управляющий.

— Вот я и вожу в горы циковские дрова, — ответил дядя Сандро и отошел от управляющего. Тот только развел руками.

Эшеры уже проехали, думал дядя Сандро, подымаясь по лестнице особняка, наверное, сейчас приближаются к Афону. Сквозняк, тронувший его лицо прохладой, пока-

зался ему дуновением опалы. Видно, управляющий что-то знает, видно, Лакоба от меня отступился, думал дядя Сандро, сопоставляя оскорбительный тон управляющего с еще более оскорбительной легкостью, с какой Платон Панцулая согласился на его просьбу.

Особенно было обидно, что на банкете, как предполагали, будет сам товарищ Сталин. Правда, точно никто не знал. Да это и не полагалось точно знать, даже было как-то сладостней, что точно никто ничего не знал.

На следующий день дядя Сандро сидел у постели своей дочки, тупо глядя, как жена его время от времени меняет на ее головке мокрое полотенце.

Девочка заболела воспалением легких. Ее лечил один из лучших врачей города. Он уже сомневался в благоприятном исходе, хотя и надеялся, как он говорил, на ее крепкую чегемскую природу.

Четверо чегемцев, дальних родственников дяди Сандро, тут же сидели в комнате, осторожно положив руки на стол. В последние годы они стали все чаще и чаще выезжать в город и, надо сказать, слегка поднадоели дяде Сандро.

Чегемцы проходили ускоренный курс исторического развития. Делали они это с некоторой патриархальной неуклюжестью. С одной стороны, у себя дома в полном согласии с ходом истории и решениями вышестоящих органов (в сущности, сам ход истории тогда был предопределен решениями вышестоящих органов) они строили социализм, то есть вели колхозное хозяйство. С другой стороны, выезжая в город торговать, они впервые приобщились к товарно-денежным капиталистическим отношениям.

Такая двойная нагрузка не могла пройти бесследно. Некоторые из них, удивленные, что за такие простые продукты, как сыр, кукуруза, фасоль, можно получать деньги, впадали в обратную крайность и, заламывая невероятные цены, по нескольку дней замкнуто простаивали возле своих некупленных продуктов. Иногда, уязвленные пренебрежением покупателей, чегемцы увозили назад свои продукты, говоря: ничего, сами съедем. Впрочем, таких гордецов оставалось все меньше и меньше — деспотия рынка делала свое дело.

К одному никак не могли привыкнуть чегемцы — это к тому, что в городских домах нет очажного огня. Без живого огня дом казался чегемцу нежилым, вроде канцелярии. Беседовать в таком доме было трудно, потому что непонятно было, куда при этом смотреть. Чегемец привык, разговаривая, смотреть на огонь, или, по крайней мере, если приходилось смотреть на собеседника, огонь можно было чувствовать растопыренными пальцами рук.

Вот почему четверо чегемцев молчали, осторожно положив руки на стол, чем вызывали у дяди Сандро дополнительное раздражение.

Сегодня, думал дядя Сандро, наши, может быть, будут танцевать перед самым Сталиным, а я должен сидеть здесь и слушать молчание чегемцев. Оказывается, на базаре им предложили остаться в Доме колхозника, но они с возмущением отвергли этот совет, ссылаясь на то, что здесь в городе живет дядя Сандро и он может обидеться как родственник. Нельзя сказать, что такая верность родственным узам взволновала дядю Сандро. Пожалуй, он ничуть не обиделся бы.

— Слава богу, наш Сандро выбился в присматривающие, — сказал один из чегемцев, с трудом преодолевая отсутствие в доме живого огня.

— Железные колени сейчас властями ценятся как никогда, — после продолжительного раздумья объяснил второй чегемец причину успеха дяди Сандро.

— Князь Татырхан, помнится, тоже ценил хороших танцоров, — провел историческую параллель третий чегемец.

— Все же не настолько, — после долгого молчания добавил четвертый чегемец. Он долго думал, потому что хотел сказать что-нибудь свое, но, не найдя ничего своего, решил подправить сказанное другим.

Скупко переговаривались чегемцы. Жена, сидя возле больной девочки, обмахивала ее опахалом. Муха жужжала и билась о стекло. Дядя Сандро терпел.

И вдруг распахнулась дверь, а в ней — управляющий. Дядя Сандро вскочил, чувствуя, что остановившийся мотор времени снова заработал. Что-то случилось, иначе управляющий не пришел бы сюда.

Управляющий поздоровался со всеми, подошел к постели больной девочки и сказал несколько слов сочувствия, прежде чем приступить к делу. Дядя Сандро рассеянно выслушал его слова, нетерпеливо ожидая, что тот скажет о причине своего визита.

— Что легко пришло, то легко уходит, — ответил дядя Сандро на его сочувственные слова, не вполне уместно употребляя эту турецкую поговорку.

— Не хотел тебя беспокоить, — сказал управляющий и, вздохнув, вынул из кармана бумажку. — Тебе телеграмма.

— От кого?! — выхватил Сандро свернутый бланк.

— От Лакобы, — сказал управляющий с уважительным удивлением.

«Приезжай если можешь Нестор», — прочел дядя Сандро расплывающиеся от счастья буквы.

— «Если можешь»?! — воскликнул дядя Сандро и сочно поцеловал телеграмму. — Да есть ли что-нибудь, чего бы я не сделал для нашего Нестора! Где «Бик»? — уже властно обратился он к управляющему.

— На улице ждет, — ответил управляющий. — Не забудь захватить паспорт, там с этим сейчас очень строго.

— Знаю, — кивнул дядя Сандро и бросил жене: — Приготовь черкеску.

Минут через двадцать, уже стоя в дверях с артистическим чемоданом в руке, дядя Сандро обернулся к остающимся и сказал с пророческой уверенностью:

— Клянусь Нестором, девочка выздоровеет!

— Откуда знаешь? — оживились чегемцы. Жена ничего не сказала, а только, продолжая обмахивать ребенка, презрительно посмотрела на мужа.

— Чувствую, — сказал дядя Сандро и закрыл за собой дверь.

— Именем Нестора не всякому разрешают клясться, — услышал дядя Сандро из-за дверей.

— Таких в Абхазии раз-два и обчелся, — уточнил другой земляк дяди Сандро, но этого, припустив к машине, он уже не слышал.

Кстати, забегая вперед, можно сказать, что пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующую

щее утро девочка впервые за время болезни попросила есть.

...Через три часа бешеной гонки «Бьюик» остановился в Старых Гаграх перед воротами санатория на одной из тихих и зеленых улочек.

Вечерело. Дядя Сандро нервничал, чувствуя, что может опоздать. Он забежал в помещение проходной, подошел к освещенному окошечку, за которым сидела женщина.

— Пропуск, — сказал он, протягивая паспорт в длинный туннель оконной ниши.

Женщина посмотрела в паспорт, сверила его с каким-то списком, потом несколько раз придирчиво взглянула на дядю Сандро, стараясь выявить в его облике чуждые черты.

Каждый раз, когда она взглядывала, дядя Сандро замирал, не давая чуждым чертам проявиться и стараясь сохранить на лице выражение непринужденного сходства с собой.

Женщина выписала пропуск. Дядя Сандро все больше и больше волновался, чувствуя, что за этой строгой проверкой скрывается тревожный праздник встречи с вождем.

С пропуском и паспортом в одной руке, с чемоданом — в другой он быстро перешел пустой дворик санатория и остановился у входа, где его встретил дежурный милиционер. Тот почему-то долго и недоверчиво смотрел на его пропуск, сверяя его с паспортом.

— Абхазский ансамбль, — намекнул дядя Сандро на мирный характер своего визита.

Тот на это ничего не сказал, но, продолжая держать в руке паспорт, перевел взгляд на чемодан.

Дядя Сандро в ответ ему радостно закивал, показывая полное понимание ответственности момента. Он быстро раскрыл чемодан и, поставив у ног, стал вынимать из него черкеску, азиатские сапоги, галифе, кавказский пояс с кинжалом. Дядя Сандро, вынимая каждую вещь, честно встряхивал ее, давая возможность выскочить любому злоумышленному предмету, который мог бы там оказаться.

Когда дело дошло до пояса с кинжалом, дядя Сандро, улыбаясь, слегка выдвинул его из ножен, как бы отдален-

но намекая на полную его непригодность в царевбийственном смысле, даже если бы такая безумная идея и возникла бы в какой-нибудь безумной голове.

Милиционер внимательно проследил за его жестом и коротко кивнул, как бы признавая сам факт непригодности и отсекая всякую возможность рассуждений по этому поводу.

Дядя Сандро заложил все вещи в чемодан, закрыл его и уже протянул было руку за паспортом и пропуском, но милиционер опять остановил его.

— Вы Сандро Чегемба? — спросил он.

— Да, — сказал дядя Сандро и вдруг догадался: — Но для афиши я прохожу как Сандро Чегемский!

— Афиши меня не интересуют, — сказал милиционер и, не предлагая дяде Сандро пройти, снял со стены новенький телефон и стал куда-то звонить.

Дядя Сандро пришел в отчаяние. Он вспомнил о телеграмме как о последнем спасительном документе, и стал рыться в карманах.

— «Бик», Цик, Лакоба, — словами-символами заговорил он от волнения, безуспешно роясь в карманах.

И вдруг дядя Сандро заметил, что сверху по широкой лестнице, устланной ковром, спускается участник ансамбля Махаз. Дядя Сандро почувствовал, что сама судьба посылает ему земляка по району. Он отчаянно зажестиковался, подзывая его, хотя тот и так спускался к ним, слегка обгоняя отвешивающиеся полы черкески.

— Его спросите, — сказал дядя Сандро, когда Махаз, топыря грудь и невольно раздуваясь, остановил себя возле них. Милиционер, не обращая внимания на Махаза, продолжал слушать трубку. Шея Махаза стала наливаясь кровью.

Между тем, если бы дядя Сандро прислушался к телефонному разговору, ему не пришлось бы так волноваться, а земляку по району не пришлось бы утруждать грудные силы, необходимые для предстоящего пения.

Дело в том, что дежурная в проходной по ошибке вместо Чегемба сначала на пропуске написала Чегенба, а потом исправила букву. Вот это исправление буквы, по-видимому неположенное в таких местах, и вызвало подозрение милиционера. Сейчас по телефону, уточняя это



недоразумение, он убедился, что исправила букву она сама, а не кто-нибудь со стороны.

Хотя телефон был новенький, может быть, только сегодня поставленный, было плохо слышно, и милиционеру приходилось то и дело переспрашивать.

— Участник ансамбля известный Сандро Чегемский, — заявил Махаз, выставив вперед перетопыренную грудь, когда милиционер положил трубку.

— Знаю, — просто сказал милиционер, — проходите.

Дядя Сандро и Махаз подымались по лестнице, устланной красным ковром. Оказывается, руководитель ансамбля уже несколько раз посылал Махаза встречать его.

Дядя Сандро теперь не испытывал к милиционеру никакой враждебности. Наоборот, он чувствовал, что в этой строгости прохождения в санаторий — залог грандиозности предстоящей встречи. Дядя Сандро, пожалуй, согласился бы и на новые препятствия, только бы знать, что в конце концов он их одолеет.

— Он будет? — спросил дядя Сандро тихо, когда они поднялись на третий этаж и пошли по коридору.

— Почему будет, когда есть, — сказал Махаз уверенно. Он уже чувствовал себя здесь как дома. Махаз открыл одну из дверей в коридоре и остановился, пропуская вперед дядю Сандро. Дядя Сандро услышал родной закулисный гул и, очень возбужденный, вошел в большую светлую комнату.

Участники ансамбля, уже переодетые, разминаясь, похаживали по комнате. Некоторые, сидя на мягких стульях, отдыхали, вытянув длинные расслабленные ноги.

— Сандро приехал! — раздалось несколько радостных голосов.

Дядя Сандро, обнимаясь и целуясь с товарищами, показывал им найденную телеграмму Лакобы.

— Управляющий принес, — говорил он, размахивая телеграммой.

— Быстро переодевайся! — крикнул Панцулая. Дядя Сандро отошел в угол, где на стульях были развешаны вещи участников ансамбля, и стал переодеваться, прислушиваясь к последним наставлениям руководителя хора.

— Главное, — говорил он, — когда пригласят, не набрасывайтесь на закуски и вино. Ведите себя скромно, но

девочку строить тоже не надо. Если кто-нибудь из вождей предлагает тебе выпить — выпей и отойди к товарищам. Не стой рядом с вождем, тем более жуя, как будто ты с ним Зимний дворец штурмовал.

Танцоры, слушая Панцулаю, похаживали по комнате, переминались, перетягивали пояса. Некоторые становились на носки и вдруг, приподняв ногу, затянутую в мягкий, как перчатка, азиатский сапог — скок, скок, скок! — делали несколько прыжков на одной ноге, одновременно прислушиваясь к ровному, успокаивающему голосу руководителя.

Пата Патарая несколько раз разгонялся, готовясь к своему знаменитому номеру, но не падал на колени, а просто скользил, чтобы как следует почувствовать пол. Проскользив, он останавливался, осторожно поворачивался и, прикладывая пятку одной ноги к носку другой, измерял пройденный путь.

Дядя Сандро занялся тем же самым. Теперь он мог соразмерить силу разгона с расстоянием скольжения с точностью до длины своей ступни. Правда, Пата Патарая это делал с точностью до ширины ладони, но у дяди Сандро был в запасе секретный номер, и это сейчас опаляло его душу тревожным ликованием: получится ли?

— Помните, что сцены никакой не будет, — говорил Панцулая, в своей белой черкеске похаживая среди питомцев, — танцевать будете прямо на полу, пол там такой же. Главное, не волнуйтесь! Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше...

Но вот открылась дверь, и в ней показался пожилой человек в чесучовом кителе. Это был директор санатория. Он грозно и вместе с тем как бы испуганно за возможный провал кивнул Панцулае.

— За мной по одному, — тихо сказал Панцулая и мягко выскользнул за дверь вслед за чесучовым кителем.

За руководителем двинулся Пата Патарая, за Патой — дядя Сандро, а там и остальные, рефлекторно уступая дорогу лучшим.

Бесшумными шагами дворцовых заговорщиков они прошли по коридору и стали входить в комнату, в дверях которой стоял штатский человек.

Директор санатория кивнул ему, тот кивнул в ответ и стал всех пропускать в дверь, всматриваясь в каждого и считая глазами. Комната эта оказалась совершенно пустой, и только в дальнем ее конце у окна сидели два человека в таких же штатских костюмах, как и тот, что стоял у дверей. Они курили, о чем-то уютно переговариваясь. Заметив участников ансамбля, один из них, не вставая, кивнул, дав знать, что можно проходить.

Директор открыл следующую дверь, и сразу же оттуда донесся гул застольных голосов. Не входя внутрь, он остановился возле дверей и молча отчаянным движением руки — давай! давай! давай! — как бы вмел всех в банкетный зал.

В несколько секунд участники ансамбля впорхнули в зал и выстроились в два ряда, оглушенные ярким светом, обильным столом и огромным количеством людей.

Банкет был в разгаре. Все произошло так быстро, что в зале их не сразу заметили. Сначала одинокие хлопки, а потом радостный шквал рукоплесканий приветствовал двадцать кипарисовых рыцарей, как бы выросших из-под земли во главе с Платоном Панцулаей.

Чувствовалось, что аплодирующие хорошо поели и выпили и теперь с удовольствием продолжают веселье через искусство, чтобы, может быть, потом снова возвратиться к посвежевшему веселью застолья.

Участники ансамбля, придя в себя, стали искать глазами товарища Сталина, но не сразу его обнаружили, потому что они смотрели в глубину зала, а товарищ Сталин сидел совсем близко, у самого края стола. Он сидел, слегка отвернувшись к соседу, который оказался всесоюзным старостой Калининным.

Аплодисменты продолжались, а Панцулая, склонив голову, стоял перед кипарисовым строем как мраморное изваяние благодарности. Но вот, почувствовав, что рукоплескания не иссякают и потому дальнейшее молчание ансамбля становится нескромным, он приподнял голову и, покосившись на участников ансамбля, ударил в ладони. Так всадник, приподняв камчу, прежде чем огреть скакуна, слегка оглядывается на его спину.

Участники ансамбля стали рукоплескать, прорываясь шумом своей любви к самому источнику любви сквозь

встречный шум правительственной симпатии. Неожиданно поднялся Сталин, и за ним с грохотом вскочил весь зал, стараясь догнать его до того, как он распрямится.

С минуту длилась эта бескровная борьба взаимной привязанности, как бы дружеская возня приятелей, похлопывающих друг друга по спине, дурашливая схватка влюбленных, где побежденный благодарил победителя и тут же любовно побеждал его, новой шумовой волной опрокидывая его шумовую волну.

Танцоры по привычке, продолжая рукоплескать, переговаривались, не поворачиваясь друг к другу:

— Вон товарищ Сталин!

— Где, где?

— С Калининным говорит!

— Оказывается, Ворошилов тоже маленький!

— А это кто?

— Жена Берии!

— Вообще вожди маленького роста — Сталин, Ворошилов, Берия, Лакоба...

— Интересно, почему?

— Ленин был маленький — так и пошло...

— Маленькие — они вообще более устойчивые...

— Тебе бы, Сандро, за таким столом тамадой...

— Тамада наш Нестор!

— А может, Берия?

— Нет, видишь, Нестор во главе стола сидит.

— Сталин его всегда выбирает... Он его любимчик...

Постепенно взаимные рукоплескания слились и выравнились, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарования эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, и потому он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий.

Появление этих стройных танцоров, затянутых в черные черкески, обрадовало его. В такие часы он любил

все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надоедавшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расползающимся, во что превращается всякая политическая акция, и воспринимал ее пусть как маленькое, но вещественное доказательство его правоты.

Так двадцать стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к Мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить, как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой — от демонической беспощадности до умиления этими маленькими, в сущности, радостями. Замечая, что он поражает окружающих этой неслыханной широтой, он дополнительно ценил в себе это умение ценить маленькие внеисторические радости жизни.

Так или иначе, один из ликующих делегатов его национальной политики, а именно дядя Сандро, насмотревшись на вождей, продолжая аплодировать, перевел взгляд на стол.

Стол, вернее, столы пересекали банкетный зал и в конце раздваивались на две ломящиеся плодами ветки. На прохладной белизне белых скатертей блюда выделялись с приятной четкостью.

Горбились индюшки в коричневой ореховой подливке, жареные куры с некоторой аппетитной непристойностью выставляли голые гузки. Цвели вазы с фруктами, конфетами, печеньем, пирожными. Треснувшие гранаты, как бы опаленные внутренним жаром, приоткрывали свои преступные пещеры, набитые драгоценностями.

Сверкали клумбы зелени, словно только что политые дождем. Юные ягнята, сваренные в молоке по древнему абхазскому обычаю, кротко напоминали об утраченной нежности, тогда как жареные поросята, напротив, с каким-то бесовским весельем сжимали в оскаленных зубах пунцовые редиски.

Возле каждой бутылки с вином стояли, как бдительные санитары, бутылочки с боржоми. Бутылки с вином были без этикеток, видно, из местных подвалов. Дядя

Сандро по запаху определил, что это «Изабелла» из села Лыхны.

Большая часть закусок еще оставалась нетронутой. Некоторые давно остыли — так, жареные перепелки запеклись в собственном жиру. Сталин не любил, чтобы за столом сновали официанты и другие лишние люди. Подавалось все сразу, навалом, хотя кухня продолжала бодрствовать на случай внезапных пожеланий.

За столом каждый ел что хотел и как хотел, но не дай бог сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравнивалась деспотией выпивки.

Во главе стола сидел Нестор Лакоба. Большой темный рог со светлой подпалиной лежал рядом с ним как жезл застольной власти.

Направо от него сидел Сталин, дальше — Калинин. Налево от Лакобы сидела жена его, смуглянка Сарья, рядом с ней красавица Нина, жена Берии, а дальше сидел ее муж, энергично посверкивая стеклами пенсне. За Берией сидел Ворошилов, выделяясь своей белоснежной гимнастеркой, портупеей и наганом на поясе. За Ворошиловым и Калининным по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.

Все остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии, с бровями, так и застывшими в удивленной приподнятости. Между ними кое-где были рассыпаны товарищи из охраны. Дядя Сандро их сразу узнал, потому что они, в отличие от секретарей райкомов, ничему не удивлялись и тем более не подымали бровей.

Нестор Лакоба, сидевший во главе стола, сейчас, круто обернувшись, смотрел на ансамбль и как хозяин, соблюдая приличия, аплодировал гораздо сдержанней остальных.

Когда Сталин опустил руки и сел, аплодисменты замолкли. Но не сразу, потому что те, что сидели подальше, этого не заметили. Они замолкли, как замолкает ветерок, прошелестев в листве большого дерева.

— Любимый вождь и дорогие гости, — начал Панцулая, — наш скромный абхазский ансамбль, организо-

ванный по личной инициативе Нестора Аполлоновича Лакобы...

Дядя Сандро заметил, что в это мгновение Сталин посмотрел на Лакобу и плутовато улыбнулся в усы, на что тот ответил ему застенчивым пожатием плеч.

— ...исполнит перед вами несколько абхазских песен и плясок, а также песни и пляски дружной семьи кавказских народов.

Панцулая низко наклонил голову, как бы заранее извиняясь, что ему придется сейчас повернуться спиной к высоким гостям. Не подымая головы, плавным движением, стараясь избежать хотя бы оскорбительной неожиданности предстоящей позы (раз уж, так или иначе, она необходима), одновременно скорбя лицом за то, что поворачивается спиной, он довершил свой многозначительный поворот, приподнял голову, взмахнул руками, окрыленными рукавами белой черкески, и замер на взмахе.

— О-райда, сиау-райда, эй, — как бы из глубины узкого ущелья вытянул Махаз.

И вот уже хор по взмаху окрыленных рукавов подхватывает древнюю песню. Не все вернутся с набега, без слов рассказывает она... Не всем суждено увидеть пламя родного очага... И когда поперек седла мертвый юноша въедет во двор отцовского дома, от крика матери вздрогнет конь и шевельнется мертвец.

Но не вскрикнет отец и не заплачет брат, потому что, только отомстив, мужчина получает право на слезы.

Такова воля судьбы и судьба мужчины.

Женщина зреет, чтобы родить мужчину.

Мужчина зреет, чтобы родить мужество.

Виноград зреет, чтобы родить вино.

Вино зреет, чтобы напомнить о мужестве.

А песня зреет, чтобы пляской напомнить поход.

Постепенно мелодия переходит в энергию ритма. Песня сжимается, она отбрасывает лишние одежды, как боец отбрасывает их, перед тем как приступить к схватке.

Дядя Сандро чувствует подступающее опьянение, чувствует, как песня переливается в его кровь и теперь

хочет стать пляской, выполнением клятвы, заложенной в ней.

Участники хора уже бьют в ладони, хотя все еще продолжают напевать сжатый до предела мотив. Вся энергия теперь в ритме хлопающих ладоней, но пляска должна дозреть, дойти, и поэтому ее продолжают подогрывать на маленьком огне мелодии.

— О-райда, сиуа-райда! — повторяет хор.

Тащ-тущ! Тащ-тущ! — хлопают ладони, продолжая вытягивать пляску из песни.

Кто-то из зрителей не выдерживает и тоже начинает бить в ладони, стараясь ускорить явление пляски. Весь зал вместе с товарищем Сталиным хлопает в ладони.

Тащ-тущ! Тащ-тущ! И тут вырывается Пата Патарая! Безумный бег коня, сорвавшегося с привязи, — и вдруг замер! ...Вытягивается, выструнивается на носках, показывая готовность взмыть, как стрела, врезаться во вражеские ряды, но в последний миг меняет решение и в бешеном вращении утоляет ненасытную жажду воина куда-то прорваться и во что-то врезаться.

В круг вбрасывается Сандро Чегемский! И вот уже все танцоры взвились черными вихрями черкесок, показывая древнюю готовность мужчины стать воином, а воину — врезаться, взмыть, прорваться... Но в последний миг выясняется, что приказа врезаться, взмыть, прорваться все еще нет.

«Ах так?!» — словно говорят танцоры и, грозно топнув ногой, кружатся. «Ах так? Ах все еще?» — И снова: «Ах так? Ах так? Ах так?»

Кружась, они тончают, расслаиваются и в конце концов делаются полупрозрачными, как пропеллеры. Окажется, вращаясь вокруг себя, можно утолить ненасытную жажду боя.

— О-райда-сиуа-райда! Тащ-тущ! Тащ-тущ!

Танцоры, умело и вовремя заменяя друг друга, влетают в круг, и уже кажется, что карусель танца движется сама по себе, по древнему замыслу, суть которого отчасти заключается в желании ошеломить невидимого врага (в далекие времена, когда князья приглашали друг друга на пиршества, враг был видимым), — так вот ошеломить его неистощимостью своей свирепой энергии.



С короткими перерывами для песен ансамбль танцует абхазские, грузинские, мингрельские и аджарские танцы.

И вот коронный свадебный танец. Наступает долгожданный миг. Внезапно вскрикнув, Пата Патарае разлетается и, еще в прыжке подогнув ноги, шлепается на колени и, раскинув руки, скользит и замирает у ног товарища Сталина.

Для гостей это случилось так неожиданно, что некоторые, особенно те, что сидели далеко, вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Берия вскочил раньше всех и, сверкнув стеклами пенсне, воинственно замер над столом.

Но не было злого умысла, и товарищ Сталин улыбнулся. И в тот же миг грянул шквал рукоплесканий, а Пата Патарае, словно подброшенный этим шквалом, разогнулся и влетел в круг танцующих.

Теперь была очередь за дядей Сандро. Уловив необходимое ему музыкальное мгновение, он гикнул и, выскочив из-за спин хлопающих в ладони, повторил знаменитый номер Паты Патарае, но остановился гораздо ближе, у самых ног товарища Сталина. Дядя Сандро провел глаза от хорошо начищенных сверкающих сапог вождя к его лицу и пораился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз.

Снова рукоплескания.

— Они состязаются! — крикнул Лакоба Сталину, стараясь перекричать шум и собственную глухоту. Сталин кивнул головой и улыбнулся в знак одобрения.

И снова Пата Патарае, вскрикнув как ужаленный, шмякается на колени, скользит и, раскинув руки, замирает у самых ног товарища Сталина в позе дерзновенной преданности.

— Чересчур, — покачал головой Берия.

— А по-моему, здорово! — воскликнул Калинин, всматриваясь из-за плеча товарища Сталина.

Шквал рукоплесканий, и Пата Патарае пятится в вихрь танцующих. То, что ему удалось остановиться примерно на расстоянии ладони от ног вождя, почти предreshало его победу.

Но не таков чегемец, чтобы сдаваться без боя! Сейчас должна решиться судьба лучшего танцора, и он кое-что

приберег на этот случай. Зорко всматриваясь в пространство от ноги товарища Сталина до того места, где он стоял, стараясь почувствовать миг, когда Сталин и Лакоба не будут менять позы, он движением рыцаря, прикрывающего лицо забралом, сдернул башлык на глаза, гикнул по-чегемски и ринулся в сторону товарища Сталина.

Этого даже танцоры не ожидали. Хор внезапно перестал бить в ладони, и все танцоры, за исключением одного танцевавшего с противоположного края, остановились. Бесплодно простучав несколько раз, ноги танцора испуганно притихли.

И в этой тишине, с лицом, прикрытым башлыком, с распахнутыми руками, дядя Сандро стремительно прошуршал на коленях танцевальное пространство и замер у ног товарища Сталина.

Сталин от неожиданности нахмурился. Он даже слегка взмахнул сжатой в кулаке трубкой, но сама поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность, и эта трогательная незащищенность раскинутых рук и слепота гордо закинутой головы, и в то же время тайное упрямство во всей фигуре, как бы внушающее вождю: мол, не встану, пока не благословишь, — заставили его улыбнуться.

В самом деле, положив трубку на стол и продолжая улыбаться, он с выражением маскарадного любопытства стал развязывать башлык на его голове.

И когда повязка башлыка соскользнула с лица дяди Сандро и все увидели это лицо, как бы озаренное благословением вождя, раздался ураган неслыханных рукоплесканий, а секретари райкомов Западной Грузии еще более удивленно приподняли брови, хотя казалось до этого, что и приподымать их дальше некуда.

Сталин, продолжая держать в одной руке башлык дяди Сандро, с улыбкой показывал его всем, как бы давая убедиться, что номер был проделан чисто, без всякого трюкачества. Он жестом пригласил дядю Сандро встать. Дядя Сандро встал, а Калинин в это время взял из рук Сталина башлык и стал его рассматривать. Неожиданно Ворошилов ловко перегнулся через стол и вырвал из рук Калинина башлык. Под смех окружающих он приложил его к глазам, показывая, что в самом деле сквозь башлык ничего не видно.

— Кто ты, абрек? — спросил Сталин и взглянул на дядю Сандро своими лучистыми глазами.

— Я Сандро из Чегема, — ответил дядя Сандро и опустил глаза. Взгляд вождя был слишком лучезарным. Но не только это. Какая-то беспокойная тень мелькнула в этом взгляде и тревогой отдалась в душе дяди Сандро.

— Чегем... — задумчиво повторил вождь и сунул в руку дяде Сандро башлык. Дядя Сандро отошел.

— Какая точность, — услышал он голос Калинина. Поглаживая бородку, Калинин ласково кивнул в сторону дяди Сандро.

— Солнце видно и сквозь башлык, — важно заметил Ворошилов, отрезая ухо жареного поросенка. Покамест он возился над ухом, поросенок выпустил изо рта зажатую в нем редиску, и она покатилась по столу, что очень удивило Ворошилова. Он настолько удивился, что, оставив вилку в недорезанном ухе поросенка, стал искать закатившуюся между блюдами и бутылками редиску.

Тут только дядя Сандро обратил внимание на то, что сидящие за столом уже порядочно выпили. Теперь он присмотрелся к ним своим наметанным глазом и определил, что выпито уже по двенадцать-тринадцать фужеров.

Дядя Сандро говаривал, что умеет определить по внешности застольцев, сколько они выпили с точностью до одного стакана. При этом он пояснял, что, чем больше людей за столом и чем больше они пьют, тем точнее он мог это определить. Но это еще не все. Оказывается, точность определения повышается с выпитым вином не беспредельно. После трех литров, говаривал дядя Сандро, точность определения снова падает.

...Платон Панцулая стоял перед сдвоенным кипарисовым строем своих питомцев. Сейчас они должны были спеть песню о красных партизанах «Кераз». Все шло как нельзя лучше, поэтому Панцулая не спешил, давая танцорам отдышаться.

— Тебе хорошо, — говорил дяде Сандро земляк по району, — теперь ты обеспечен на всю жизнь...

— Да брось ты, Махаз, — скромничал дядя Сандро.

— Да ты что?! — не глядя на него, распалялся Махаз. — Подкатить к самому Сталину, да еще прикрыв лицо башлыком! Да такое и немец не придумает!

Да, дядя Сандро прекрасно понимал, что этот блестящий номер не только выдвигает его на первое место в ансамбле, но и окончательно укрепляет его комендантские полномочия. Теперь-то управляющий, конечно, не посмеет лезть к нему с дурацкими расспросами насчет дров.

Когда начали петь партизанскую песню «Кераз», дядя Сандро только делал вид, что поет, слегка открывая и закрывая рот по ходу мелодии. Это была первая, маленькая, дань за его подвиг. Пока они пели, Лакоба, наклонившись к Сталину, что-то ему рассказывал, и, судя по тому, что он и Сталин несколько раз бросали взгляд в его сторону, дядя Сандро, сладко замирая, почувствовал, что говорят о нем.

А когда Нестор Аполлонович сжал кулак и взмахом руки что-то показал, дядя Сандро догадался, что он рассказывает ему о молебном дереве и жест его означает, что по дереву надо было ударить чем-нибудь, чтобы оно прозвенело: «Кум-хоз...» Во всяком случае, Сталин в этом месте рассказа откинулся и стал хохотать, за что Калинин его слегка толкнул, показывая, что он мешает ансамблю. Тогда Сталин перестал смеяться и, наклонившись к Калинин, стал ему, как догадался дядя Сандро, пересказывать эту же историю. Дойдя до места, где надо было показать, что дерево ударяли, он несколько раз рукой, сжимающей трубку, сделал энергичное движение. Тут Калинин не выдержал и, тряся бородкой, зашелся в хохоте, после чего уже Сталин пригрозил ему, показывая, что он своим хохотом мешает ансамблю.

Взяв в одну руку рог, а в другую бутылку с вином, Сталин встал и пошел к танцорам.

Нестор Аполлонович что-то шепнул жене, и она, подхватив со стола блюдо с жареной курицей, поспешила за Сталиным. Не успел Сталин подойти к танцорам, как тут же очутился директор санатория. Он попытался помочь Сталину, но тот отстранил его плечом и сам, налив полный рог вина, подал его Махазу.

Тот приложил одну руку к сердцу, другой принял рог и осторожно поднес его к губам. И пока он пил, приложившись к рогу, Сталин с удовольствием следил за ним и методично говорил ему, рубя маленькой, пухлой ладонью воздух:

— Пей, пей, пей...

Это был литровый рог. Директор, приняв у Сталина пустую бутылку, поставил ее на стол и прибежал с новой. Он взял у Сарьи блюдо с курицей, чтобы придерживать его, пока она будет разрезать курицу. То ли от смущения, то ли от того, что блюдо покачивалось в руках у директора, Сарья неловко орудовала вилкой и ножом. На смуглых щеках Сарьи проступил румянец, директор начал задыхаться.

Между тем Махаз опорожнил рог, перевернул его, чтобы показать свою добросовестность, передал дяде Сандро. Сталин, заметив, что закуска запаздывает, махнул рукой и, решительно, обеими руками взяв курицу за ножки, с наслаждением, как заметил дядя Сандро, разорвал ее на две части. Потом каждую из них разорвал еще раз. Жир стекал по его пальцам, но он на это не обращал внимания...

Дяде Сандро показалось, что левая рука вождя двигается не совсем ловко. Уж не сухорук ли, подумал дядя Сандро и, осторожно присматриваясь, решил: да, немного есть... Вот бы его свести с Колчеруким, подумал он без всякой видимой причины. Вообще дядя Сандро почувствовал, что эта небольшая инвалидность как-то снизила образ вождя. Чуть-чуть, но все-таки.

Взяв мокрой рукой куриную ножку, Сталин подал ее Махазу. Тот опять склонился, принимая ножку и пристойно надкусывая ее.

Директор попытался было налить в рог, но Сталин опять отобрал у него бутылку и, обхватив ее скользящими от жира пальцами, наполнил рог и отдал пустую бутылку директору. Тот побежал за новой.

— Пей, пей, пей, — услышал дядя Сандро над собой, как только поднял рог. Дядя Сандро пил, плавно запрокидывая рог с той артистической бесчувственностью, с какой должен пить настоящий тамада — не пьет, а переливает драгоценную жидкость из сосуда в сосуд.

— Пьешь как танцуешь, — сказал Сталин и, подавая куриную ножку, посмотрел ему в глаза своим лучезарным женским взглядом. — Где-то я тебя видел, абрек?

Рука Сталина, подававшая куриную ножку, вдруг остановилась, и в глазах у него появилось выражение гроз-

ной настороженности. Дядя Сандро почувствовал смертельную тревогу, хотя никак не мог понять, чем она вызвана. Он понимал, что Сталин ошибается, что он-то, Сандро, запомнил бы, если бы видел его где-нибудь.

Ансамбль, и без того молчавший, окаменел. Дядя Сандро услышал, как челюсти Махаза, жующие курицу, остановились. Надо было отвечать. Но нельзя было отрицать, что Сталин его видел, и в то же время еще страшнее было согласиться с тем, что он его видел, не только потому, что дядя Сандро этого не помнил, но главным образом потому, что Сталин приглашал его принять участие в каких-то неприятных воспоминаниях. Это он сразу почувствовал.

Могучий аппарат самосохранения, отработанный на многих опасностях, провернул за одну-две секунды все возможные ответы и выбросил на поверхность наиболее безопасный.

— Нас в кино снимали, — неожиданно для себя сказал дядя Сандро, — там могли видеть, товарищ Сталин.

— А-а, кино, — протянул вождь, и глаза его погасли. Он подал куриную ножку: — Держи. Заслужил.

Снова забулькало вино, переливаясь в рог.

— Пей, пей, пей, — раздалось рядом.

Дядя Сандро надкусил куриную ножку и слегка зашевелил шеей, чувствуя, что она омертвела, и по этому омертвлению шеи узнавая, какая тяжесть с него свалилась. Ну и ну, думал дядя Сандро, как это я вспомнил, что нас снимали в кино? Ай да Сандро, думал дядя Сандро, хмелея от радости и гордясь собой. Нет, чегемца не так легко укусить! Неужели мы с ним где-то встречались? Видно, с кем-то спутал. Не хотел бы я быть на месте того, с кем он меня спутал, думал дядя Сандро, радуясь, что он Сандро Чегемский, а не тот человек, с кем его спутал вождь.

Сталин уже подавал рог последнему танцору в первом ряду, когда к нему подошел Нестор Аполлонович.

— Может, пригласим их за стол? — спросил он.

— Как скажешь, дорогой Нестор, я только гость, — ответил Сталин и, приняв у Сарьи салфетку, стал медленно и значительно, как механик, закончивший работу, вытирать руки. Бросив салфетку в опустошенное блюдо, он

пошел рядом с Лакобой к столу упругой, легко несущей свои силы походкой.

Участников ансамбля рассадили за банкетным столом. Тех, что получше, — рядом с вождами, тех, что попроще, — рядом с секретарями райкомов Западной Грузии. Над банкетным столом уже подымался довольно значительный шум. Островки разнородных разговоров начинали жить самостоятельной жизнью.

Вдруг товарищ Сталин встал с поднятым фужером. Грянула тишина, и через миг воздух очистился от мусора звуков.

— Я подымаю этот бокал, — начал он тихим внушительным голосом, — за эту орденоносную республику и ее бессменного руководителя...

Он замер на долгое мгновение, словно в последний раз стараясь взвесить те высокие качества руководителя, за которые он однажды его удостоил сделать бессменным. И хотя все понимали, что он никого, кроме Лакобы, сейчас не может назвать, все-таки эта длинная пауза порождала азарт тревожного любопытства: а вдруг?

— ...моего лучшего друга Нестора Лакобу, — закончил Сталин фразу, и рука его сделала утверждающий жест, несколько укороченный тяжестью фужера.

— Лучшего, сказал, лучшего, — прошелестели секретари райкомов, мысленно взвешивая, как эти слова отразятся на тбилисском руководстве партией, а уж оттуда возможным рикошетом на каждом из них. При этом брови у каждого из них продолжали оставаться удивленно приподнятыми.

— ...В республике умеют работать и умеют веселиться...

— Да здравствует товарищ Сталин! — неожиданно вскрикнул один из секретарей райкомов и вскочил на ноги.

Сталин быстро повернулся к нему с выражением грозного презрения, после чего этот высокий и грузный человек стал медленно оседать. Словно уверившись в надежности его оползания, Сталин отвел глаза.

— Некоторые товарищи... — продолжал он медленно, и в голосе его послышались отдаленные раскаты раздра-

жения. Все поняли, что он сердится на этого секретаря райкома за его неуместное прославление Сталина.

Берия заерзал и, на мгновение сняв пенсне, бросил на него свой знаменитый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся, как от удара.

Сидевшие рядом с ним секретари райкомов как-то незаметно расступились, образовав между ним и собой просвет с идеологическим оттенком. Все секретари райкомов смотрели на него, удивленно приподняв брови, как бы силясь узнать, кто он такой и откуда он вообще взялся.

Тот продолжал, опираясь руками о стол, глядя на Берию, медленно оседать, стараясь незаметно войти в застолье и в то же время сдерживая себя на тот случай, если ему будет приказано удалиться.

— ...некоторые грамотеи там, в Москве... — продолжал Сталин после еще более длительной паузы, и в голосе его еще более отчетливо прозвучали нотки угрозы и раздражения. И сразу же всем стало ясно, что он решает про себя что-то очень важное, а про этого неловкого секретаря райкома давным-давно забыл.

Берия отвел от него взгляд, и тот словно обвалился под собственным обломанным костяком, радостно рухнул — пронесло!

— ...Бухарина... — услышал дядя Сандро шепот одного из второстепенных вождей, незнакомых ему по портретам.

— ...Бухарина, Бухарина, Бухарина... — прошелестело дальше по рядам секретарей райкомов.

В самом деле, в партийных кругах было известно, что Сталин так называет Бухарина. В дни дружбы: «Наш грамотей». Теперь: «Этот грамотей».

— ...думают, что руководить по-ленински, — продолжал Сталин, — это устраивать бесконечные дискуссии, трусливо обходя решительные меры...

Сталин опять задумался. Казалось, он с посторонним интересом прислушивался к этому шелесту и доволен им. Он любил такого рода смутные намеки. Фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями границ зараженной местности. В таких случаях каждый отшатывался с запасом,



а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шараханье.

— ...но руководить по-ленински — это значит, во-первых, не бояться решительных мер, а во-вторых, находить кадры и умело расставлять их куда надо... Небольшой пример.

Вдруг Сталин посмотрел на дядю Сандро, и тот почувствовал, как душа его плавно опустилась вниз, при этом сам он не мигая продолжал смотреть на вождя.

— ...Нестор нашел этого абрека в далеком горном селе и сделал его талант всеобщим достоянием, — продолжал Сталин. — Раньше он танцевал для узкого круга, а теперь танцует на радость всей республики и на нашу с вами радость, товарищи.

...Так выпьем за моего дорогого друга, хозяина этого стола Нестора Лакобу, — закончил товарищ Сталин и, стоя выпив бокал, добавил: — Алаверды Лаврентию...

Он прекрасно знал, что Берия и Лакоба не любят друг друга, и сейчас забавлялся, заставляя Берию первым выпить за Лакобу.

Поддев ножом, он достал из солонки шматок аджики, переложил его к себе в тарелку и, густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, отправил его в рот, хрустнув молочным хрящом.

— Не слишком дерет? — спросил Калинин, опасливо проследив, как Сталин мазал мясо аджикой.

— Нет, — сказал Сталин, мотнув головой, — думаю, что эта абхазская аджика имеет большое будущее.

Многие из тех, кто слышал слова Сталина, потянулись к аджике. Впоследствии это предсказание вождя, в отличие от многих других, в самом деле подтвердилось — аджика распространилась далеко за пределы Абхазии.

Между тем Берия произнес тост и, ничем не выдавая своих чувств, выпил за Лакобу. Лакоба, который тост вождя слушал со слуховым аппаратом, сейчас снял аппарат и слушал Берию, приставив ладонь к уху. Он тоже ничем не выдавал своих чувств, время от времени кивая головой в знак благодарности и того, что расслышал слова.

После Берии слово взял Калинин и, выпивая за Лакобу, сказал несколько слов о грамотеях, давно оторвавшихся от народа. Сталину тост его понравился, и он по-

тянулся, чтобы поцеловать его. Калинин неожиданно отстранился от поцелуя.

Сталин нахмурился. Дядя Сандро опять удивился, как быстро меняется у него настроение. Только что лучезарно сиял глазами Калинин — и вдруг потускнел, съежился. Берия оживленно сверкнул пенсне, а секретари райкомов с удивленно приподнятыми бровями уставились на Калинина.

«Значит, он с ними, а не со мной, — испуганно подумал Сталин, — как же я его проморгал?..» Он испугался не самой измены Калинина, раздавить его ничего не стоит, а того, что чутье на опасность, которому он верил, ему изменило, и это было страшно.

— А что с тобой, конопатым, целоваться, — сказал Калинин, с дерзкой улыбкой глядя на Сталина, — вот если бы ты был шестнадцатилетней девочкой (он собрал пальцы правой руки в осторожную горстку, слегка потряс ими, словно прислушиваясь к колокольцу нежной юности), тогда другое дело...

Лицо Сталина озарилось, и вздох облегчения прошелестел по залу. «Нет, не изменило чутье», — подумал Сталин.

— Ах ты, мой всесоюзный козел, — сказал он, обнимая и целуя Калинина, в сущности обнимая и целуя собственное чутье.

— Ха! Ха! Ха! Ха! — рассмеялись секретари райкомов, радуясь взаимной шутке вождей. С некоторым опозданием к ним присоединился Лакоба, которому дядя Сандро, он теперь сидел рядом с ним, пояснил недослышанную шутку. Запоздалый смех Лакобы прозвучал несколько странно, и Берия, не удержавшись, двусмысленно хохотнул, хотя его хохоток можно было принять и за отголосок еще того смеха.

Но Сталин почувствовал издевательский смысл его смеха. Этот смех ему сейчас был неприятен, и он сказал, посмотрев на Берию:

— Лаврентий, попроси жену, пусть потанцует...

— Конечно, товарищ Сталин, — сказал Берия и посмотрел на жену.

— Но я не умею, товарищ Сталин, — сказала она, краснея.

Сталин знал, что она не умеет танцевать.

— Вождь просит, — грозно шепнул Берия.

— Зачем вождь, мы все просим, — сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил: — Давайте, ребята.

На ходу хлопая в ладони и подпевая, участники ансамбля образовали полукруг, открытой стороной обращенный к основанию стола.

— Я не ломаюсь, я в самом деле не умею, — говорила жена Берии, стараясь перекричать шум рукоплесканий. Но теперь ее просили все. Подталкиваемая мужем, она, робко упираясь, шла в круг. На мгновение, когда Берия повернулся спиной к столу, дядя Сандро заметил, что его искривленные губы шепчут жене непечатные слова.

Раскинув руки, она сделала два неловких круга и остановилась, не зная, что делать дальше. Ясно было, что она и в самом деле не умеет танцевать.

— Молодец, — сказал Сталин, улыбаясь, и похлопал ей. Все похлопали жене Берии.

— Сарью, просим Сарью! — раздались голоса. Сейчас Сарья сидела между дядей Сандро и Лакобой. Сверкнув темными глазами, она посмотрела на мужа.

— Иди же, — сказал Лакоба по-абхазски. Она взглянула на Сталина. Тот ласково ей улыбнулся. Все шло, как он хотел.

Сарья вошла в круг. Смуглянка, с головой, слегка запрокинутой тяжелым узлом волос, сделала несколько плавных кругов и вдруг остановилась возле Паты Пата-раи, вызывая его на танец. Сдержанно улыбаясь, Пата проплыл рядом с ней.

Берия сидел за столом, не глядя на танцующих, тяжело опершись головой на руку. Жена его, растерянная, стояла возле участников ансамбля, видимо, не решаясь сесть на место.

— Лаврентий, — тихо сказал Сталин. Тот, выпрямившись, посмотрел на вождя. — Оказывается, Глухой не только в кадрах лучше разбирается...

Берия развел руками: мол, ничего не поделаешь — судьба. Дяде Сандро стало неприятно, он почувствовал, что здесь таится опасность для Лакобы. Ох, не на-

до бы вождю так растравлять его, подумал дядя Сандро.

В это время Сарья выскочила из круга и, обняв жену Берии, поцеловала ее в глаза. Все почувствовали в этом ее порыве тайное благородство, желание смягчить ее неудачу, обратить все в шутку. Все радостно захлопали, и женщины, обнявшись, прошли к столу.

— Потом скажешь, что они говорили, — шепнул дяде Сандро Лакоба когда раздался последний взрыв рукоплесканий и все посмотрели на Сарью, обнявшую жену Берии. Лакоба заметил, что Сталин что-то сказал Берии, и тот опять развел руками. Видимо, он почувствовал, что речь идет о нем.

Почти одновременно со словами Лакобы раздалось три пистолетных выстрела. Дядя Сандро вскочил на ноги. Ворошилов вкладывал в кобуру дымящийся пистолет. Растроганный танцем Сарьи и особенно ее благородным порывом, он не удержался от маленького салюта. Все радостно зашумели и стали смотреть на потолок, где возле люстры чернели три маленькие дырочки, соединенные между собой молнией трещины.

Штукатурка, осыпавшаяся вниз после выстрелов, покрыла белым налетом стынущую индейку. Сталин посмотрел на слегка припудренную индейку, подняв голову, посмотрел на черные дырочки в потолке, потом перевел взгляд на Ворошилова и сказал:

— Попал пальцем в небо.

Ворошилов густо покраснел и опустил голову.

— Среди нас, — сказал Сталин, — находится настоящий народный снайпер, попросим его.

Он посмотрел на Лакобу и, положив трубку на стол, начал аплодировать. Все дружно зааплодировали, присоединяясь к вождю, хотя почти никто толком не знал, в чем дело.

Лакоба понял, о чем его просят, и, склонив голову, смущенно пожал плечами.

— Может, не стоит? — сказал он, взглянув на Сталина. Тот подносил к трубке огонь.

— Стоит! Стоит! — закричали вокруг. Сталин, прикуривая, остановился и кивнул на крики: мол, глас народа, ничего не поделаешь.

Смущаясь от предстоящего удовольствия, Нестор Аполлонович стал искать глазами директора санатория, но тот уже быстрой рысцой бежал к нему.

— Позови, — кивнул Лакоба склонившемуся директору.

— Переодеть? — спросил директор, все еще склоненный.

— Зачем? — сморщился Лакоба. — Проще, проще...

Нестор Аполлонович налил себе фужер вина и знаком показал, чтобы всем налили. Все наполнили свои бокалы.

— Я хочу поднять этот бокал, — начал он своим дребезжащим голосом, — не за вождя, но за скромность вождя.

Нестор Аполлонович рассказал по этому поводу такой случай. Оказывается, в прошлом году он получил записку от товарища Сталина, в которой тот его просил выслать ему мандарины, строго наказав сопроводить посылку счетом, который вождь оплатит с первой же полочки.

Сталин задумчиво покуривал трубку, слушая рассказ Нестора. Все это правда, думал он, Глухой не льстит. И деньги выслал с полочки... Хороший урок всем этим секретарям, которые только и знают, что весь вечер задирают брови.

Ему было приятно, что все, о чем говорит Нестор, правда, но, заглядывая в себя глубже, он находил еще один источник более скрытой, но и более тонкой радости. Источник этой радости заключался в том, что и тогда, когда он писал записку, он помнил — рано или поздно она вот так вот выплывет и сыграет свою маленькую историческую роль... Так кто умеет заглядывать в будущее — он или эти грамотеи?

— ...Кажется, неужели наша республика обеднеет, если мы пошлем товарищу Сталину эти несчастные мандарины? — продолжал Нестор Лакоба.

— Не мы с тобой сажали эти мандарины, дорогой Нестор, — ткнул Сталин трубкой в его сторону, — народ сажал...

— Народ сажал, — прошелестело по рядам.

Народ сажал, повторил Сталин про себя, еще смутно нащупывая взрывчатую игру слов, заключенную в это

невинное выражение. Впоследствии, когда отшлифовалась его великолепная формула «враг народа», некоторые пытались приписать ее происхождение Великой французской революции. Может, у французов и было что-нибудь подобное, но он-то знал, что здесь, в России, он ее вынянчил и пустил в жизнь.

(Подобно поэту, для которого во внезапном сочетании слов вспыхивает контур будущего стихотворения, так и для него эти случайные слова стали зародышем будущей формулы.

Ужасно подумать, что механизм кристаллизации идеи один и тот же у палача и у поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься: то, что кажется равнодушием природы человека, может быть следствием высочайшей мудрости его нравственной природы.

Человеку дано стать палачом, так же как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами.

И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечивания людоеда. Неизвестно, куда обратилась бы эта его склонность.

Нет человечности без преодоления подлости, и нет подлости без преодоления человечности. Каждый раз выбор за нами, и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Да мы и говорим о том, что нет выбора, потому что почувствовали гнет вины за сделанный выбор. Если бы выбора и в самом деле не было, мы бы не чувствовали гнета вины...)

...Под гром рукоплесканий Лакоба выпил свой бокал. И не успел замолкнуть этот гром во славу скромности вождя, как в дверях появился повар в белом халате, а за ним директор санатория с тарелкой в руке.

Услышав рукоплескания, повар сделал попытку шарахнуться, но директор слегка подтолкнул его и отвел от двери.

Это был среднего роста пожилой полнеющий мужчина с нездоровым цветом лица, какой часто бывает у поваров, с тяжелой шапкой курчавых волос на голове.

Жестом приказав ему стоять, директор, стараясь неподвижно держать тарелку, подошел к Лакобе.

— Нестор Аполлонович, повар здесь, — сказал он, склонившись над ним и показывая содержимое тарелки. В тарелке, слегка перекатываясь, лежало с полдюжины яиц.

— Хорошо, — сказал Лакоба и хмуро посмотрел в тарелку.

Тут только дядя Сандро догадался, что Нестор Аполлонович будет стрелять по яйцам. Этого он еще не видел.

— Индюшкины яйца? — вдруг спросил Берия и, протянув руку, вытащил из тарелки яйцо.

— Куриные, Лаврентий Павлович, — подсказал директор, поближе подсовывая ему тарелку.

— Тогда почему такие большие? — спросил Берия, с любопытством рассматривая яйцо. Яйца и в самом деле были довольно крупные.

— Сам выбирал, — хихикнул директор, кивнув головой в сторону повара, стараясь обратить внимание Берии на тайный комизм этого обстоятельства. Но Берия, не обращая внимания на тайный комизм этого обстоятельства, продолжал рассматривать яйцо. Директор встревожился.

— Может, заменить, Лаврентий Павлович? — спросил он.

— Нет, я просто так говорю, — опомнился Берия и быстро положил яйцо в тарелку.

— Ревнует к Глухому, — шепнул Сталин Калинин и беззвучно рассмеялся в усы. Калинин в ответ затряс бородкой.

— В этом углу, по-моему, лучше, — сказал Лакоба, оглядывая люстру и кивая в противоположный тому. где стоял повар, угол. Так фотограф перед началом съемки старается найти лучший эффект освещения.

— Совершенно верно, — подтвердил директор.

— Волнуется? — кивнул Лакоба на повара.

— Немножко, — сказал директор, низко склонившись к уху Лакобы.

— Успокой его, — сказал Нестор Аполлонович, слегка отстраняясь от директора, поза которого слишком назойливо подчеркивала его глухоту.

Повар все еще стоял у дверей с безучастным неподпытным выражением на лице. Дядя Сандро только сейчас заметил, что он в одной руке сжимает колпак. Пальцы этой руки все время шевелились.

Директор подошел к повару, что-то шепнул ему, и они оба направились к противоположному углу. Директор важно нес впереди себя тарелку с яйцами.

Стало тихо. Смысл предстоящего теперь был всем ясен. Прохрустев накрахмаленным халатом, повар оставился в углу, повернувшись лицом к залу.

— Если б ты только знала, как я ненавижу это, — шепнула Сарья, поворачиваясь к Нине. Та ничего не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела в угол. Сарья больше ни разу не посмотрела туда, куда смотрели все.

Повар стоял, плотно прислонившись к стене. Директор ему непрерывно что-то говорил, а повар кивал головой. Лицо его приняло мучнистый цвет. Директор выбрал из тарелки яйцо, и повар, теперь не шевеля головой, а только скосив на него белые, как бы отдельно от лица плавающие глаза, следил за его движениями. Директор стал ставить ему на голову яйцо, но то ли сам волновался, то ли яйцо попало неустойчивое — оно никак не хотело становиться на попа.

Нестор Аполлонович нахмурился. Вдруг повар, продолжая неподвижно стоять, приподнял руку, нащупал яйцо, прищурился своими белыми, отдельно плавающими глазами, поймал точку равновесия и плавно опустил руку.

Яйцо стояло на голове. Теперь он, вытянувшись, замер в углу, и, если б не выражение глаз, он был бы похож на призывника, которому меряют рост.

Директор быстро посмотрел вокруг, не находя, куда поставить тарелку с яйцами, и вдруг, словно испугавшись, что стрельба начнется до того, как он отойдет от повара, сунул ему в руку тарелку и быстро отошел к дверям.

Лакоба вытащил из кобуры пистолет и, осторожно опустив дуло, взвел курок. Он оглянулся на Сталина и Калининна, стараясь стоять так, чтоб им все было видно. Дяде Сандро пришлось сойти с места. Он встал за стулом



Сарья, ухватившись руками за спинку. Дядя Сандро очень волновался.

Лакоба вытащил руку с приподнятым пистолетом и стал медленно опускать кисть. Рука оставалась неподвижной, и вдруг дядя Сандро заметил, как бледное лицо Лакобы превращается в кусок камня.

Повар внезапно побелел, и в тишине стало отчетливо слышно, как яйца позвякивают в тарелке, которую он держал в одной руке. Вдруг дядя Сандро заметил, как по лицу повара брызнуло что-то желтое и только потом услышал выстрел.

— Браво, Нестор! — закричал Сталин и забил в ладони. Гром рукоплесканий прозвучал как разряд облегчения. Директор подбежал к повару, выхватил у него из рук колпак, вытер щеку повара, облитую желтком, и сунул колпак в карман его халата.

Он оглянулся на Лакобу, как оглядываются на стрельбище, чтобы показать, куда попал стрелявший, или спросить, надо ли подготовить мишень к очередному выстрелу.

— Давай, — кивнул Лакоба.

Директор на этот раз быстро поставил яйцо на голову повара и, хрустнув скорлупой разбитого яйца, отошел к дверям. И снова лицо Лакобы превратилось в кусок камня, вытянутая рука окаменела, и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз.

И опять на этот раз дядя Сандро заметил сначала, как желтый фонтанчик яйца выплеснул вверх, и только потом раздался выстрел.

— Браво! — и взрывы рукоплесканий сотрясли банкетный зал. Улыбаясь бледной, счастливой улыбкой, Лакоба прятал пистолет. Повар все еще стоял в углу, медленно оживая.

— Посади его за стол, — бросил Лакоба жене по-абхазски.

Сарья схватила салфетку и подбежала к повару. Вслед за нею подбежал и директор, которому повар теперь сердито сунул тарелку с яйцами. Сарья стояла перед ним и, вытирая ему лицо салфеткой, что-то говорила. Повар с достоинством кивал. Директор, присев на корточки и по-

ставив рядом с собой тарелку с яйцами, подбирал скорлупу разбитых яиц.

Сарья стала уводить повара, но тот вдруг остановился и, сбросив халат, кинул его директору. По-видимому, случившееся на некоторое время давало ему такие права, и он явно показывал окружающим, что он не даром рискует, а имеет за это немало выгоды.

Когда директор с халатом, перекинутым через плечо, и с тарелкой в руке быстро проходил к дверям, дядя Сандро с удивлением подумал, что повар и директор могли бы заменить друг друга, потому что многое в этой жизни решает случай.

Сарья посадила повара между последним из второстепенных вождей, незнакомых дяде Сандро по портретам, и первым из секретарей райкомов.

Сарья налила повару фужер коньяка, придвинула тарелку, плеснула в нее ореховой подливки и положила кусок индюшатины. Повар сразу же выпил и сейчас, оглядывая стол, важно кивал на какие-то слова, которые ему говорила Сарья.

Бедная Сарья, думал дядя Сандро, она сейчас пытается замолить грех за эту стрельбу, которую она так не любила и которая, кстати, однажды закончилась неприятностью.

Дело происходило в одной абхазской деревне. После большого застолья началась стрельба по мишени. Может, именно потому, что стреляли по мишени и Лакоба был не очень внимателен или еще по какой-нибудь причине, но он ранил деревенского парня, который то и дело бегал смотреть на мишень. Рана оказалась неопасная, и парня тут же на «Бьюике» Лакобы отправили в районную больницу.

Лакоба обратно ехал вместе с другими членами правительства на второй машине. И вот тут-то, на обратном пути, один из членов правительства сильно повздорил с Лакобой и даже ссадил его с машины посреди дороги.

— Мне надоели твои партизанские радости, — говорят, сказал он ему тогда. Трудно сейчас установить, почему Лакоба согласился выйти из машины. Может, он сам был так подавлен случившимся, что не нашел возможным сопротивляться такой оскорбительной мере. Я

думаю, скорее всего, человек, который его ругал, был старше его по возрасту. И если тот ему сказал что-нибудь вроде того, что или ты сейчас выйдешь из машины, или я выйду, то Лакоба, как истый абхазец, этого допустить не мог.

...Когда Нестор Аполлонович спрятал пистолет и повернулся к столу, Сталин стоял на ногах, раскрыв объятия. Нестор Аполлонович, смущенно улыбаясь, подошел к нему. Сталин обнял его и поцеловал в лоб.

— Мой Вилгелм Телл, — сказал он и, неожиданно что-то вспомнив, обернулся к Ворошилову: — А ты кто такой?

— Я Ворошилов, — сказал Ворошилов довольно твердо.

— Я спрашиваю: кто из вас ворошиловский стрелок? — спросил Сталин, и дядя Сандро опять почувствовал неловкость. Ох, не надо бы, подумал он, растревлять Ворошилова против нашего Лакобы.

— Конечно, он лучше стреляет, — сказал Ворошилов примирительно.

— Тогда почему ты выпячиваешься, как ворошиловский стрелок? — спросил Сталин и сел, предвкушая удовольствие долгого казуистического издевательства.

Секретари райкомов, с трудом подымая отяжелевшие брови, начинали удивленно прислушиваться. Лакоба потихоньку отошел и сел на место.

— Ну, хватит, Иосиф, — сказал Ворошилов, покрываясь пунцовыми пятнами и глядя на Сталина умоляющими глазами.

— «Хватит, Иосиф», — сказал Сталин, укоризненно глядя на Ворошилова, — говорят оппортунисты всего мира. Ты тоже начинаешь?

Ворошилов, опустив голову, краснел и надувался.

— Скажи, чтоб начали его любимую, — шепнул Нестор жене.

Сарья тихо встала и прошла к середине стола, где сидел Махаз. Лакоба знал, что это один из способов остановить внезапные и мрачные капризы вождя.

Махаз затянул старинную грузинскую застольную «Гапринди шаво мерцхало» («Лети, черная ласточка»). В это время Ворошилов, подняв голову, попытался что-то сказать Сталину. Но тот вдруг поднял руки в умоляющем

жесте: мол, оставьте меня в покое, дайте послушать песню.

Сталин сидел, тяжело опершись головой на одну руку и сжимая в другой потухшую трубку.

Нет, ни власть, ни кровь врага, ни вино никогда не давали ему такого наслаждения. Всерастворяющей нежностью, мужеством всепокорности, которого он в жизни никогда не испытывал, песня эта, как всегда, освобождала его душу от гнета вечной настороженности. Но не так освобождала, как освобождал азарт страсти и борьбы, потому что, как только азарт страсти кончался гибелью врага, начиналось похмелье, и тогда победа источала трупный яд побежденных.

Нет, песня по-другому освобождала его душу. Она окрашивала всю его жизнь в какой-то фантастический цвет судьбы, в котором его личные дела превращались в дело Судьбы, где нет ни палачей, ни жертв, но есть движение Судьбы, История и траурная необходимость занимать в этой процессии свое место. И что с того, что ему предназначено занимать в этой процессии самое страшное и потому самое величественное место.

Лети, черная ласточка, лети...

Но вот постепенно эта траурная процессия Судьбы уходит куда-то, становится далеким фоном сказочной картины...

Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в давилню. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.

На деревенской улице у плетня остановился всадник, которого он впервые видит, но почему-то признает в нем гостя из Кахетии. Всадник пьет воду из кружки, которую протягивает ему через плетень местный крестьянин. У самого плетня колодец, потому-то и остановился здесь этот всадник.

Проезжая мимо всадника и односельчанина, он сердечно кивает им, мимолетно улыбается всаднику, кото-

рый, вглядываясь в него, за скромным обликом виноградаря правильно угадывает его великую сущность. Именно этой догадке и улыбается он мимоходом, показывая всаднику, что он сам не придает большого значения своей великой сущности.

Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.

— Слушай, кто этот человек? — говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.

— Это тот самый Джугашвили, — радостно говорит хозяин.

— Неужели тот самый? — удивляется гость из Кахетии. — Я думаю, вроде похож, но не может быть...

— Да, — подтверждает хозяин, — тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина.

— Интересно, почему не захотел? — удивляется гость из Кахетии.

—хлопот, говорит, много, — объясняет хозяин, — и крови, говорит, много придется пролить.

— Хо-хо-хо, — прицокивает гость из Кахетии, — я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.

— А зачем ему Россия, — поясняет хозяин, — у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети...

— Что за человек! — продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому, — от целой страны отказался...

— Да, отказался, — подтверждает хозяин, — потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина...

— Дай бог ему здоровья! — восклицает всадник, — но откуда он знает, что будет с крестьянами?

— Такой человек, все предвидит, — говорит хозяин.

— Дай бог ему здоровья, — цокает гость из Кахетии... — Дай бог...

Иосиф Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, едет себе на арбе, мурлычет песенку о черной ласточке.

Солнце пригревает лицо, поскрипывает арба, он с тихой улыбкой дослушивает наивный, но, в сущности, правдивый рассказ односельчанина.

И вот он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо, приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжает... Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами?

Куры, пьяные от виноградных отжимок, ходят по двору, прислушиваясь к своему странному состоянию, крестьянин, дожидаясь его, почтительно кланяется, мать, услышав скрип арбы, выглядывает из кухни и улыбается сыну. Добрая, старая мать с морщинистым лицом. Хоть в старости почет и достаток пришли наконец... Добрая... Будь ты проклята!!!

Тут, как всегда, видение обрывалось. Он никогда не мог провести его дальше, всегда спотыкался на этом месте, потому что кровь давней обиды ударяла в голову. Нет ей прощения даже за то, что она каждый раз портила этот сон наяву, этот милый вариант судьбы, который сладко было себе позволить во хмелю, слушая любимую песню. Нет ей прощения, нет. Как он помертвел однажды, как помертвел, когда, играя с мальчиками на зеленой лужайке, вдруг услышал (срыть лужайку!), как двое взрослых мужчин, похабно похохатывая, стали говорить о ней!

Они сидели в десяти шагах от него, в тени алычи (срыть алычу, чтоб она высохла), и говорили о ней. А потом один из них вдруг остановился и, кивнув в его сторону, сказал другому, чтобы потише говорил, потому что, кажется, ее мальчик тут крутится.

Они заговорили тише, а он, раздавленный унижением, должен был продолжать игру, чтобы товарищи его ничего не заметили и ни о чем не догадались. Как он ненавидел их тогда, как мечтал отомстить, особенно почему-то этому, второму, который сказал, чтобы первый говорил потише. Нет ей прощения за самую ее позорную нищету и за все остальное...

Лети, черная ласточка, лети...

Он поднял голову и, оглядывая теперь поющих секретарей райкомов, постепенно успокоился. С каждым накатом мелодии песни смывала с их лиц эти жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все отчетливей, все самостоятельней проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов.

Лети, черная ласточка, лети...

Они думают, власть — это мед, размышлял Сталин. Нет, власть — это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить.

Вот я уже полюбил Глухого, и я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть — это когда нельзя никого любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но, раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину.

Да, да, я это знаю. И меня любили, и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если б можно было любить и не доверять одновременно! Но это невозможно.

Но если приходится убивать тех, кого любишь, сама справедливость требует расправляться с теми, кого не любишь, — с врагами дела.

Да, Дела, подумал он. Конечно, Дела. Все делается ради Дела, думал он, удивленно вслушиваясь в полый, пустой звук этой мысли. Это от песни, подумал он. Вообще, надо бы запретить эту песню, она опасна, потому что я ее слишком люблю. Пупость, подумал он, она была бы опасна, если бы другие ее могли так же глубоко чувствовать, как я... Но так ее никто не может чувствовать...

Продолжая слушать песню, он налил себе фужер вина и молча, ни на кого не глядя, выпил. Поставив фужер, он взял со стола давно потухшую трубку и несколько раз бе-

зуспешно попытался затянуться. Заметив, что трубка потухла, он уже нарочно тянул, словно продолжая оставаться в глубокой задумчивости. Спички лежали рядом, но он ждал — кто-нибудь догадается или нет подать ему огня.

Вот так, будешь умирать — стакан воды не подадут, подумал он, жалея себя, но тут Калинин зажег спичку и поднес ее к трубке. Оставаясь в глубокой задумчивости, он ждал, пока пламя спички доберется до пальцев Калинина, и только тогда потянулся к огню и, прикуривая, наблюдал, как легкое пламя касается дрожащих пальцев Калинина. Ничего, думал он, не одному мне мучиться.

Он с удовольствием затянулся и откинулся на стуле. Взгляд его упал на Ворошилова. Тот все еще сидел за столом, опустив голову и насупившись, с выражением обиженного ребенка. И вдруг острая жалость к нему пронзила Сталина. Он тоже загубил душу, подумал Сталин.

— Клим, — сказал он глухим от волнения голосом, — где Царицын, где мы, Клим?

— За что обидел, Иосиф? — поднял голову Ворошилов и посмотрел на Сталина горьким преданным взглядом.

— Прости, Клим, если обидел, — сказал Сталин, раскаяваясь и любясь своим раскаянием, — но они нас с тобой еще хуже обижают...

— Ничего, Иосиф! — воскликнул Ворошилов, потрясенный тем, что вождь не только понимает его обиды, но и ставит их рядом со своими. — Ты им еще покажешь, где раки зимуют...

— Думаю, что покажу, — сказал Сталин скромно и пыхнул трубкой. Песня кончилась, и рой смутных, не твердых мыслей схлынул из его отрезвевшей головы.

Да разве на него можно обижаться, думал Ворошилов, веселя и незаметно оглядывая вождей, чтобы убедиться в том, что они слышали, как его только что возвысил Сталин. И как он точно понимает, думал Ворошилов восторженно, что мои враги в руководстве армией — это продолжение враждебной Сталину линии в руководстве государственным аппаратом.

— Товарищ Сталин, что делать с этим Цулукидзе? — спросил Берия, внимательно прислушивавшийся к сло-



вам Сталина. Он давно хотел спросить об этом и решил, что сейчас самое подходящее время.

Дело в том, что этот старый большевик, еще ленинской гвардии, хотя давно уже был отстранен от всяких практических дел, продолжал язвить и ворчать по всякому поводу. В свое время это он бросил подхваченную грузинскими коммунистами реплику, что Берия с маузером в руке рвется к партийному руководству Закавказья. («А что, сволочи, с Эрфуртской программой я должен был рваться к руководству? Разве вы с ней в говне не очутились?»)

Другого человека за такие слова (теперь, когда уже прорвался к руководству) он давно бы подвесил за язык, но этого тронуть опасался. Не было полной ясности в этом вопросе. Многих старых большевиков Сталин сам уничтожал, но некоторых почему-то придерживал и награждал орденами.

— А что он сделал? — спросил Сталин и в упор посмотрел на Берия.

— Болтает лишнее, выжил из ума, — сказал Берия, стараясь догадаться, что думает Сталин по этому поводу, раньше чем он выскажется.

— Лаврентий, — сказал Сталин, мрачняя, потому что он не находил сейчас нужного решения, — я приехал использовать законный отпуск, почему ты мне задаешь такие вопросы?

— Нет, товарищ Сталин, я просто посоветоваться хотел, — быстро ответил Берия, стараясь обогнать помрачение Сталина, голосом показывая, что извиняется и сам не придает большого значения вопросу. Хорошо, что не ликвидировал, с радостным испугом мелькнуло у него в голове.

— ...Болтунов Ленин тоже ненавидел, — сказал Сталин задумчиво.

— Может, выгнать из партии к чертовой матери? — спросил Берия, оживляясь. Ему показалось, что Сталин все-таки не прочь как-то наказать этого сукиного сына.

— Из партии не можем, — сказал Сталин и вразумляюще добавил: — Не мы принимали — Ленин принимал...

— А что делать? — спросил Берия, окончательно сбитый с толку.

— У него, по-моему, был брат, — сказал Сталин. — Интересно, где он сейчас?

— Жив, товарищ Сталин, — сказал Берия, покрываясь холодным потом, — работает в Батуме директором лимонадного завода.

Сталин задумался. Берия покрылся холодным потом, потому что раньше не знал о существовании брата Цулукидзе и только в прошлом году, собирая материал против видного в прошлом большевика, узнал о его брате. Материалы о брате, запрошенные из Батума, ничего полезного в себе не заключали — он даже ни разу не проворовался на своем лимонадном заводе. Но то, что он знал о его существовании, знал, что он делает и как он живет, сейчас работало на него. Сталин это любил.

— Как работает? — спросил Сталин строго.

— Хорошо, — сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода — простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя.

— Пусть этот болтун, — ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна, — всю жизнь жалеет, что загубил брата.

— Гениально! — воскликнул Берия.

— У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи, — объяснил Сталин ход своей мысли, — пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания.

Почувствовав, что Сталин своими словами отделил себя от Кавказа, некоторые секретари райкома стали смотреть на него с грустным упреком, словно спрашивая: «За что осиротил?»

— Век живи — век учись, — сказал Берия и развел руками.

— Но только не за счет моего отпуска, Лаврентий, — строго пошутил Сталин, чем обрадовал Лакобу. Он считал нетактичным, что Берия здесь, за пиршественным столом в Абхазии, выклянчивал у Сталина санкцию на расправу со своими врагами. Вечно этот Берия лезет вперед, и сам же я виноват, что познакомил его со Сталиным, думал Лакоба. Сейчас самое время поднять тост за старшего брата, за великий русский народ. Недаром Ста-

лин сказал: мол, у вас на Кавказе... Значит, он уже чувствует себя русским...

Он знаками показал на тот конец стола, чтобы всем разлили.

— Я хочу поднять этот тост, — сказал он, вставая со своего места, бледный, упрямо не поддающийся хмелю на исходе ночи, — за нашего старшего брата...

Пиршественная ночь набирала второе дыхание. Снова пили, ели, плясали, и уже даже у дяди Сандро, величайшего тамады всех времен и народов, покруживалась голова. Увидеть за одну ночь столько грозного и прекрасного даже для него было многовато.

Лакоба приспустил поводья тамады, чувствуя, что вождю строгий порядок кавказского застолья начинает надоедать.

— Прекрасную Сарью просим, просим! — кричал Калинин, хлопая в ладони и любовно склоняя бородатую голову.

— «Мравалджамие»... «Мравалджамие»! — просили на том конце стола и затягивали ее.

— «Многие лета»! — кричали другие и затягивали абхазскую застольную.

— Теперь ты на коне, — кричал с того конца стола Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро, — благодать снизошла на тебя, благодать!

— У меня волос курчавый, как папоротник, — рассказывал повар одному из секретарей райкома, давая ему пощупать свои волосы, — яичко, как в гнездышке, лежит.

— Все же риск, — сказал секретарь, утрюмо щупая волосы повара.

— У людей жёны, — бормотал Берия, тяжело опустив голову на руки.

— Но, Лаврик, пойми... Мне было стыдно, и он совсем не рассердился.

— Дома поговорим...

— Но, Лаврик...

— Я для тебя больше не Лаврик...

— Но, Лаврик...

— У людей жёны...

— Какой же риск, мил-человек, — у меня один волос на три пальца возвышается, — радостно разувая по-

вар недоверчиво косящегося на его голову секретаря райкома.

— А в голову не попадал?

— Конечно, нет, — радуясь его наивности, говорил повар, — риску тут мало — страху много.

— Все же риск, человек выпивший, — утрюмо придерживался своей версии секретарь райкома.

— Говорит — «у вас на Кавказе», — качал головой другой секретарь, — а что мы ему сделали?

— Шота, прошу как брата: не обижайся на вождя, — утешал его товарищ.

— Я за него жизнь готов отдать, но у меня душа болит, — отвечал тот, бросая осиротевший взгляд на тот конец стола.

— Шота, прошу как брата: не обижайся на вождя...

— Везунчик! Везунчик! — кричал захмелевший Махаз, встретившись глазами с дядей Сандро. — Теперь вся Абхазия у тебя в кармане!

Дядя Сандро укоризненно качал головой, намекая на непристойность таких криков, тем более направленных в самую гущу правительства. Но Махаз не понимал его знаков.

— Не притворяйся, что не в кармане! — кричал он. — Не притворяйся, везунчик!

— Что это он все кричит? — Даже Лакоба обратил внимание на Махаза.

— Глупости, — сказал дядя Сандро и подумал: «Хорошо, хоть по-абхазски кричит, а не по-русски».

— Это что! — пытался повар развлечь утрюмистого секретаря. — Я еще во времена принца Ольденбургского здесь, в Гаграх, учеником повара начинал. Принц, как Петр, с палкой ходил. Обед для рабочих сами пробовали. Случалось, поваров палкой бивали, но всегда за дело.

— Все же риск, — утрюмо качал головой секретарь. Он чувствовал себя перебравшим, и мысль его застряла на стрельбе по яйцам.

— Это что! — пытался отвлечь его повар удивительными воспоминаниями. — Сюда приезжали государь император...

— Зачем выдумываешь? — неохотно отвлекся секретарь.

— Крестом клянусь, на крейсере! Сам крейсер остановился на рейде... Государь на катере причалили, а государыня не пожелали причалить, чем обидели принца, — рассказывал повар.

— Придворные интриги, — утрюмо перебил его секретарь.

...Рано утром, когда по велению Лакобы директор санатория раздвинул тяжелые занавески и нежно-розовый августовский рассвет заглянул в банкетный зал, он (нежно-розовый рассвет) увидел многих секретарей райкомов спящими за столами — кто откинувшись на стуле, а кто прямо лицом на столе.

Одному из них, спавшему откинувшись на стуле, друзья сунули в рот редиску, что могло вызвать у нежно-розового рассвета только недоумение, потому что поросят, держащих в оскаленных зубах по редисинке, на столе не оставалось, и шутливая аналогия была понятна лишь посвященным.

Участники ансамбля один за другим подходили к Сталину. Сталин сгребал со стола конфеты, печенье, куски мяса, жареных кур, хачапури и другую снедь. Приподняв полу черкески или подставив башлыки, они принимали подарки и, поблагодарив, отходили от вождя.

— Марш, — говорил Сталин, накидав очередному танцору гостинцев. Он старался всем раздавать поровну, приглядывался к кускам мяса, к жареным курам, и если в чем-то одном недодавал, то старался побольше наложить другого. Так деревенский патриарх, Старший в Доме, после большого пиршества раздает гостям дорожные и соседские пай.

— Все равно все на Сталина спишут, — шутил вождь, накладывая снедь в растопыренные полы черкески, — все равно скажут — Сталин все скушал...

Некоторые участники ансамбля, раз такое дело, перемигнувшись, прихватывали с собой бутылки с вином.

\*\*\*

На трех переполненных легковых машинах ансамбль возвращался в Мухус. Когда садились в машины, произошло любопытное замешательство. Рядом с шофером первой машины сел, конечно, руководитель ансамбля Пла-

тон Панцулая. Рядом с шофером второй машины должен был сесть, как обычно, Пата Патарая. Он уже занес было голову в открытую дверцу, но потом вытащил ее оттуда и предложил сесть дяде Сандро, случайно (будем думать) оказавшемуся рядом.

Дядя Сандро стал отказываться, но после вежливых пререканий ему все-таки пришлось уступить настояниям Паты Патараи и сесть рядом с шофером во вторую машину.

Было решено доехать до реки Гумиста, выбрать там место живописней и устроить завтрак на траве. Ехали весело, с песнями. Нередко по дороге попадались ребята, и тогда им из машины бросали конфеты и печенье. Дети кидались собирать божий дар.

— Знали бы, с какого стола, — устало улыбались танцоры.

За Эшерами, там, где дорога проходила между зарослями папоротников, ежевики и дикого ореха, внезапно машинам преградило путь небольшое стадо коз. Машины притормозили, а козы, тряся бородами и пофыркивая, переходили дорогу. Пастушка не было видно, но голос его доносился из зарослей, откуда он выгонял отставшую козу.

— Хейт! Хейт! — кричал мальчишеский голос, волнуя дядю Сандро какой-то странной тревогой. Время от времени мальчик кидал камни, и они, хрястнув по густому сплетению, глухо, с промежутками падали на землю. И когда камень мальчика попал в невидимую козу, дяде Сандро показалось, что он за миг до этого угадал, что именно этот камень в нее попадет. И когда коза, крикнув, выбежала из-за кустов и вслед за ней появился подросток и, увидев легковые машины, смущенно замер, дядя Сандро, холодея от волнения, все припомнил.

Да-да, почти так это и было тогда. Мальчик перегонял коз в котловину Сабиды. И тогда вот так же одна коза застряла в кустах, и он так же кидал камни и кричал. Вот так же, как сейчас, когда он попал в нее камнем, она крикнула и выскочила из кустов, и следом за ней выскочил мальчик и замер от неожиданности.

В нескольких шагах от него по тропе проходил человек и гнал перед собой навьюченных лошадей. Услышав

треск кустов, человек дернулся и посмотрел на голубоглазого отрока с такой злостью, с какой на него никогда никто не смотрел.

В первое мгновение мальчику показалось, что ярость человека вызвана неожиданностью встречи, но и успев разглядеть, что перед ним только мальчик и козы, человек еще раз бросил на него взгляд, словно какую-то долю секунды раздумывал, что с ним делать: убить или оставить. Так и не решив, он пошел дальше и только дернул плечом, закидывая карабин, сползавший с покатого плеча.

Человек шел с необыкновенной быстротой, и мальчику почувствовалось, что он оставил его в живых, чтобы не терять скорость. В руках у человека не было ни палки, ни камчи, и мальчику показалось странным, что лошади без всякого понукания движутся с такой быстротой.

Через несколько секунд тропа вошла в рощу, и человек вместе со своими лошадьми исчез. Но в самое последнее мгновение, еще шаг — и скроется за кустом, он опять вскинул карабин, сползавший с покатого плеча, и, оглянувшись, поймал мальчика глазами. Мальчику почувдился отчетливый шепот в самое ухо:

— Скажешь — вернусь и убью...

Стадо уже было далеко внизу, и мальчик побежал по зеленому откосу, подгоняя козу. Он знал, что роща, в которую вошел человек со своими лошадьми, скоро кончится и тропа их выведет на открытый склон по ту сторону котловины Сабида.

Когда он добежал до стада и посмотрел вверх, то увидел, как там, на зеленом склоне, одна за другой стали появляться навьюченные лошади. Восемь лошадей и человек, отчетливые на зеленом фоне травянистого склона, быстро прошли открытое пространство и исчезли в лесу. Даже сейчас, на расстоянии примерно километра, было заметно, что лошади и человек идут очень быстро. И тут мальчик догадался, что этому человеку и не надо никакой палки или камчи, что он из тех, кого лошади и без всякого понукания боятся.

Перед тем как исчезнуть в лесу, человек снова оглянулся и, тряхнув покатым плечом, поправил сползающий карабин. Хотя лица его теперь нельзя было разгля-

деть, мальчик был уверен, что он оглянулся очень сердито.

Через день до Чегема дошли слухи, что какие-то люди ограбили пароход, шедший из Поты в Одессу. Грабители действовали точно и безжалостно. Мало того что их возле Кенгурска ждал человек с заранее купленными лошадьми — они сумели склонить к участию в грабеже четырех матросов. Ночью они связали и заперли в капитанской каюте самого капитана, рулевого и нескольких матросов. Спустили шлюпки, на которые погрузили награбленное, и отплыли к берегу.

К вечеру следующего дня трупы четырех матросов нашли в болоте возле местечка Тамыш. Через день нашли еще два трупа, до полной неузнаваемости изъеденных шакалами. Было решено, что грабители поссорились между собой и двое оставшихся в живых увезли груз неизвестно куда или даже погибли в болотах. И все-таки еще через несколько дней, уже совсем недалеко от Чегема, нашли труп еще одного человека, убитого выстрелом в спину и сброшенного с обрывистой атарской дороги чуть ли не на головы жителям села Наа, упрямо расположившегося под этими обрывистыми склонами. Труп сохранился, и в нем признали человека, месяц назад покушавшего лошадей в селе Джгерды.

Чегемцы довольно спокойно отнеслись ко всей этой истории, потому что дела долинные — это чужие дела, тем более дела пароходные. И только мальчик с ужасом догадывался, что он видел того человека в котловине Сабида.

Дней через десять после той встречи к их дому подъехал всадник в абхазской бурке, но в казенной фуражке, издали показывающей, что он, как нужный человек, содержится властями.

Всадник, не спешиваясь, остановился возле плетня, поджидая, пока к нему подойдет отец мальчика. Потом, вытащив ногу из стремени и поставив ее на плетень, всадник разговаривал с отцом мальчика. Отгоняя собак, мальчик вертелся возле плетня, прислушиваясь к тому, что говорили взрослые.

— Не видел кто из ваших, — спросил всадник у отца, — чтобы кто-нибудь с навьюченными лошадьми проходил по верхнечегемской дороге?



— Про дело слышал, — ответил отец, — а человека не видел.

«Да не по верхней, а по нижней!» — чуть не крикнул мальчик, да вовремя прикусил язык.

Человек, продолжая разговаривать, нашел ногой стремя и поехал дальше.

— Кто это, па? — спросил мальчик у отца.

— Старшина, — ответил отец и молча вошел в дом. И только глубокой осенью, когда они с отцом, нагрузив ослика мешками с каштанами, подымались из котловины Сабиды, а потом присели отдохнуть на той самой нижне-чегемской тропе, чуть ли не на том же месте, он не удержался и все рассказал отцу.

— Так вот почему ты перестал сюда коз гонять? — усмехнулся отец.

— Вот и неправда! — вспыхнул мальчик: отец попал в самую точку.

— Что ж ты молчал до сих пор? — спросил отец.

— Ты бы только видел, как он посмотрел, — сознался мальчик. — Я все думаю, как бы он не вернулся...

— Теперь его сюда на веревке не затащишь, — сказал отец, вставая и погоняя ослика хворостинкой, — но если бы ты сразу сказал, его еще можно было поймать.

— Откуда ты знаешь, па? — спросил мальчик, стараясь не отставать от отца. С тех пор как он встретился с этим человеком, он не любил эти места, не доверял им.

— Человек с навьюченными лошадьми дальше одного дня пути никуда не уйдет, — сказал отец и взмахнул хворостинкой — ослик то и дело норовил остановиться, подъем был крутой.

— А ты знаешь, как он быстро шел! — сказал мальчик.

— Но никак не быстрее своих лошадей, — возразил отец и, подумав, добавил: — Да он и убил этого последнего, потому что знал — один переход остался.

— Почему, па? — спросил мальчик, все еще стараясь не отстать от отца.

— Вернее, потому и оставил его в живых, — продолжал отец размышлять вслух, — чтобы тот помог ему навьючить лошадей для последнего перехода, а потом уже прихлопнул.

— Откуда ты знаешь это все? — спросил мальчик, уже не стараясь догнать отца, потому что они вышли на взгорье, откуда был виден их дом.

— Знаю я их гяурские обычаи, — сказал отец, — им лишь бы не работать; да я о них и думать не хочу.

— Я тоже не хочу, — сказал мальчик, — но почему-то все время вспоминаю про того.

— Это пройдет, — сказал отец.

И в самом деле это прошло и с годами настолько далеко отодвинулось, что дядя Сандро, иногда вспоминая, сомневался — случилось ли все это на самом деле или же ему, мальчишке, все это привиделось уже после того, как пошли разговоры об ограблении возле Кенгурска парохода.

Но тогда, после знаменитого на всю его жизнь банкета, который произошел в одну из августовских ночей 1935 года или годом раньше, но никак не позже, все это увиделось ему с необыкновенной ясностью, и он, суеверно удивляясь его грозной памяти, благодарил Бога за свою находчивость.

Об этой пиршественной ночи дядя Сандро неоднократно рассказывал друзьям, а после двадцатого съезда — и просто знакомым, добавляя к рассказу свои отроческие не то видения, не то воспоминания.

— Как сейчас вижу, — говаривал дядя Сандро, — все соскальзывает с плеча его карабин, а он все его зашвыривает на ходу, все подтягивает не глядя. Очень уж у То-го покатое плечо было...

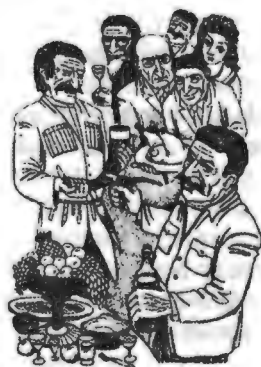
При этом дядя Сандро глядел на собеседника своими большими глазами с мистическим оттенком. По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае, не нижнечегемским, путем.

И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду.

Впрочем, эта некоторая двойственность его взгляда заключала в себе дозу демонической иронии, как бы от-

ражающей неясность и колебания земных судей в его оценке.

Сам факт, что он умер своей смертью, если, конечно, он умер своей смертью, меня лично наталкивает на религиозную мысль, что Бог затребовал папку с его делами к себе, чтобы самому судить его высшим судом и Самому казнить его высшей казнью.





## Я сидел с дядей Сандро

в обществе нескольких мухусчан в кабинете летнего ресторана «Нарты». По нынешним временам мы неплохо пообедали, слегка выпили и ждали кофе по-турецки, чтобы довершить обед.

Компания собралась неожиданная, люди разные, а именно в таком обществе и услышишь что-нибудь забавное.

— Что вы, писатели, — слегка ерничая, обратился ко мне один из наших застольцев, — фантазируете всякие там выдуманные истории! Надо описывать жизненные случаи, то, что было на самом деле. Этому вас учат, учат, да никак не научат. Вот я вам сейчас расскажу то, что было лично со мной.

Когда Шеварднадзе завинтил гайки и перестал из Грузии пропускать частные мандарины в Россию, чего только не придумывали люди, чтобы их провезти. Говорят, в Кенгурске нашлись дельцы, которые наняли подводную лодку, и она сделала несколько рейсов из Кенгурска до Туапсе.

Конечно, это не современная подводная лодка, современную кто им даст, но дряхлую, довоенную им удалось зафрахтовать. Но они недолго продержались. Как говорят, жадность фраера сгубила.

В один из рейсов кенгурские дельцы перегрузили подводную лодку, и она села на мель. Бедный капитан, говорят, предупреждал.

— Ребята, — упрашивал он, — не надо перегружать лодку, она у меня старенькая.

Но они его не послушались, потому что капитан в долю вошел и через это потерял контроль над загрузкой. И вот лодка села на мель, вынуждена была выбросить сигнал бедствия, и через это все они вынырнули в Сибири. Гово-

рят, был закрытый суд ввиду капиталистического окружения и китайского ехидства. Но сам я там не был, от людей слышал. Возможно, преувеличивают. У нас вечно все преувеличивают. Так что на подводной лодке не знаю как было, но на катерах точно провозили мандарины, об этом даже в газетах писали. Может, какой-то перегруженный катер затонул, а люди решили, что это была подводная лодка.

Но это слухи. Теперь я расскажу то, что видел своими глазами, то, что было лично со мной. А ты можешь об этом написать, только фамилий не указывай, тем более что я их все равно не назову.

Наше АТК командировало меня на Пицунду, где я грузил гравий и отвозил его на границу между Абхазией и Краснодарским краем. Там укрепляли опоры железнодорожного моста, и нужен был гравий. Вот я и отвозил его туда с Пицунды. Я переезжал через пограничную речку Псоу, заворачивал к железнодорожному мосту, опрокидывал там кузов и возвращался на Пицунду.

Работаю уже дней десять. Все идет нормально. И вот однажды ко мне подходит один местный грузин и говорит:

— Слушай, кацо, перевези мне через границу мандарины — получишь тысячу.

— А если поймают? — говорю.

— Да кто тебя будет проверять, — отвечает этот тип, — гравий пока еще никто не проверяет.

— А если проверят? — говорю.

— Слушай, — отвечает он, — если б совсем никакого риска не было, я бы тебе тысячу рублей не давал. Я за риск плачу.

И вот я крепко задумался. С одной стороны, я неплохо зарабатываю. В месяц триста имею чистыми. С другой стороны, за полтора часа — тысяча рублей. На улице не валяются. С одной стороны, поймают — с работы снимут. С другой стороны, за полтора часа — тысяча рублей. Мне три с лишним месяца надо вкалывать, чтобы заработать такие деньги. Я, конечно, калымил — а кто не калымит! Попутно кому дровишки, кому стройматериалы, но мандарины — нет. Мандарины теперь валюта. И вот я до того задумался, что даже вспотел. А этот тип ждет.

— Ну как? — говорит.

— Я еще подумаю, — говорю, — приходи завтра.

— Ладно, — говорит, — в это же время приду.

И вот я работаю и целый день думаю, как перехитрить милицейский пост. Как раз между Пицундой и рекой Псоу, где граница Абхазии, был пост. И там один старший лейтенант всем заправлял. Русак. Но местный парень, здесь родился, здесь вырос. Такой аферист, как рентген всех насквозь видит: что в машине, что под машиной и у какого водителя какие связи. И между прочим, язык как бритва. Его хохмы и в Гагре, и в Гудаутском районе все повторяют. Одному гагринскому парню, который в ресторанах среди своих дерзкие речи говорил, а среди чужих был большой мандражист, он дал кличку Кролик-людоед. До сих пор так его называют.

Вот такой автоинспектор там работал. Но при этом хлебосольный парень. Во время дежурства сам же тебя обчистит, а после дежурства твои же деньги с тобой пропьет. Такой хлебосольный, остроумный аферист.

Когда я уезжал в командировку, наши ребята предупредили меня, чтобы я обязательно посмотрел, как он патронит машину какого-нибудь спекуля. Он из этого такой театр устраивает, говорили они, что Аркадия Райкина не захочешь после него смотреть.

И я несколько раз останавливался возле его поста, вроде напиться воды, там колонка была. Но как-то не совпадало. А потом наконец совпало. Я напился, стою и курю, а он совсем рядом.

И вот проезжают «Жигули». Он подымает руку и останавливает машину. На переднем сиденье — муж и жена, а на заднем, как потом выяснилось, — теща. Все трое армяне.

...Интересно, между прочим: когда у нас на Кавказе о каком-то человеке что-то рассказывают, обязательно называют национальность. Один армянин, говорят, один грузин, один абхаз, один мингрел. Я сам такой. Конечно, все люди делают одно и то же, но каждый делает немножко по-своему, согласно своей национальности. И потому мы называем нацию, чтобы картина была ясней.

И вот, значит, этот хохмач автоинспектор останавливает машину и подходит к ней. Я в пяти шагах и все слышу.

— Это кто у тебя сзади сидит? — спрашивает он у водителя.

— Это теща, — отвечает водитель, — хочу город Сочи показать теще.

— Она что у тебя, американка? — спрашивает хохмач.

— Зачем американка? — удивляется водитель. — Моя теща армянка.

Ну, думаю, начинается театр, и подхожу ближе.

— Нет, — говорит хохмач, снова посмотрев на тещу, — она чистокровная американка.

— Слушай, — немного нервничает водитель, — вы что думаете, мы репатрианты? Мы местные, гульрипшские, армяне, и теща у меня местная армянка.

— Тогда почему она так высоко колени задирает? — говорит этот хохмач. — Это даже неприлично, чтобы армянская старуха так высоко колени задирала.

Я заглядываю в машину. В самом деле, старуха сидит странно. Колени почти у подбородка. Неужели, думаю, такая длинная старуха? Тем более армянка. Армянки такими длинными не бывают.

— Слушай, — уже сердится водитель, — моя машина, моя теща, как хотим, так и сидим. Если нарушения не сделали — отпусти.

А хохмач его даже не слушает. Все на старушку смотрит.

— Бабушка, — говорит он ей и показывает руками, — колени ниже, ниже.

Старуха молчит, не смотрит, колени не убирает, но голову приподняла, чтобы голова была подальше от колен.

— Бабушка, — умоляет ее хохмач, — ниже колени опустите. Вы же армянка, а не американка!

Старуха молчит. На него даже не смотрит.

— Она что у тебя, глухая? — спрашивает хохмач у водителя. Уже издевается, но тот еще не понимает, вернее, понимает в свою пользу.

— Да, — говорит, — она глухонемая и по-русски тоже не знает.

— Глухонемая теща, — говорит хохмач, — это подарок судьбы. Но я так прикидываю на глазок, что она вообще не теща.

— Что вы, издеваетесь? — наконец психанул водитель. — То моя теща американка. То она совсем не теща! Тогда кто она?

— Кощей бессмертный, — говорит хохмач, — который сидит на золоте, и мы это сейчас проверим.

С этими словами он поворачивается и заходит к себе в будку. Водитель размяк. Про Кощея, он, конечно, не понял, но про золото понял. Тут и я допетрил, в чем дело, а до этого не мог понять, зачем он разыграл эту комедию. Так и есть, хохмач выходит из будки с ломиком.

Подходит и показывает рукой, чтобы все очистили машину. Водитель и его жена выходят, а теща продолжает сидеть на заднем сиденье. Делает вид, что не слышит, и колени у нее торчат возле самого подбородка. Но я уже понимаю, что она дефективная американка.

Хохмач несколько раз ей кричит, но она даже не смотрит на него. Тогда он сам открыл дверцу и только потянул ее за руку, как она не выдержала и закричала. Ругается, но уже сама выходит из машины.

— Оказывается, я второй Христос, — говорит хохмач, — только дотронулся до глухонемой, как она заговорила.

С этими словами он поддевает ломиком фальшивое дно этой машины и выворачивает его. А я никак не могу сдерживать смех, хоть и жалко этого водителя. Он, наверное, целый месяц трудился, пока не сделал это второе дно. А хохмач уже вытаскивает из-под фальшивого дна мешки с мандаринами. Складывает на тротуаре и при этом продолжает издеваться.

— В следующий раз, — говорит, — если будешь провозить подпольные мандарины, подруби топором ноги своей теще, чтобы она не сидела как американская миллионерша.

Бедный водитель молчит, а теща ругается. Теща ругает автоинспектора, а он, не обращая на нее внимания, подначивает зятя.

— Прямо, — говорит, — не знаю, как с тобой быть. Если бы Франко был жив, тогда другое дело. Мы бы устроили тебя провозить в Испанию под фальшивым дном марксистскую литературу. Но Франко умер, и я теперь не знаю, где тебя использовать для пролетарского дела.

Я корчусь, потому что сдерживаю смех, теща ругается, а водитель, бедный, молчит, оборотку дать не может, не знает, что дальше будет.



Наконец хохмач вынул все мешки и дает команду садиться в машину. И они садятся, и теща теперь замолчала, и колени у нее уже больше не торчат как у американки. Сидит как приличная советская старуха.

Только водитель включил мотор и уже хотел ехать, как этот хохмач снова его остановил.

— Выключи мотор! — громко кричит он ему. Водитель выключает. Хохмач подходит спереди и открывает капот.

— А, — говорит, — я так и думал! Звук у мотора не тот. Через этот звук я и остановил твою машину, а потом загляделся на колени твоей тещи и все на свете забыл.

И тут он вытаскивает из-под капота два мешка с мандаринами, вытянутых как змеи. Как только бедный хозяин уложил их между цилиндрами, не знаю.

— Слушай, — продолжает издеваться этот хохмач, перекладывая мешки на тротуар, — неужели ты не понимаешь, что, пока мандарины в капоте довезешь до России, они сварятся? Ты думаешь, в России едят вареные мандарины? Нет! В России едят вареную картошку, а мандарины едят в сыром виде. Иногда даже со шкуркой. Витамины уважают. А теперь езжай и показывай Сочи своей теще.

Хозяин мандаринов, конечно, не собирался ехать в Сочи, он собирался ехать во глубину сибирских руд, как нас учили в школе, чтобы там мандарины продать. Теперь ему надо сворачивать назад и ехать домой. Но он из самолюбия, армяне же упрямые, решил ехать дальше, как будто у него так и было запланировано: сначала теще показать Сочи, а потом попутно продать в Свердловске мандарины.

И вот этого хохмача, который, как рентген, все насквозь видит, мне надо перехитрить. Конечно, и деньги хочу заработать, но и перехитрить этого афериста интерес имею.

И вот я целый день еду с гравием туда и обратно и думаю, как его перехитрить. Наконец придумал. Узнал номер телефона этого милицейского поста. На следующий день опять приходит тот грузин.

— Ну как, — говорит, — решил?

— Да, — говорю, — вот сейчас отвезу гравий, а следующим рейсом подъеду к твоему дому и заберу мандарины.

— Почему следующим, кацо? — удивляется он. — Давай сразу!

— Это, — говорю, — тайна моей фирмы. Жди.

И вот, значит, я еду, загруженный гравием. Доехал до Гагры, остановился возле телефонной будки и набрал номер поста.

— Слушаю вас, — говорит хохмач на том конце провода.

И я таким противным голосом стукача-пенсионера говорю, что сейчас мимо его поста проедет грузовик с таким-то номером, в гравий которого зарыты ящики с мандаринами. И сразу кладу трубку.

Доезжаю до поста. Вижу, он уже стоит и так небрежно подымает руку. Торможу.

Он подходит к кабине, ставит сапог на подножку и, качая головой, смотрит на меня.

— Быстро же тебя, — говорит, — испортили наши спекули. По моим расчетам, ты еще целую неделю должен был продержаться. Вечно я переоцениваю людей и через это сам же страдаю.

— В чем дело? — говорю. — Я вас не понимаю.

— Давай-давай выгружай ящики, — говорит. — До чего же испортились современные люди. Значит, теперь не только машины с гравием, но и машины с цементом придется проверять. Значит, я должен дышать в респираторную маску? А кто за вредность будет платить? Не жалеете вы нашего брата, нет, не жалеете!

— В чем дело? — говорю. — Я вас совсем даже не понимаю.

— Хватит, — говорит, — мозги мне пудрить! У меня, учти, везде своя разведка. Выгружай ящики, а то сейчас акт составлю, тогда хуже будет.

— О чем вы говорите? — продолжаю я удивляться. — Какие ящики? Я ничего не понимаю.

Тут он, показывая, что злится, убирает сапог с подножки.

— Слушай, — говорит, — если будешь играть в несознанку, я заставлю тебя опрокинуть кузов, и ты будешь отвечать за порчу конфискованного товара.

Я про себя смеюсь, но внешне крепко держу себя в руках.

— Вы что-то спутали, — говорю, — у меня никаких ящиков не было и нет!

И тут он окончательно рассифонился и, вытянув руку вперед, приказывает:

— Отъезжай туда и выгружай гравий на тротуар!

Я отъезжаю метров на двадцать, разворачиваюсь, даю задний ход, въезжаю на тротуар, включаю гидравлику, кузов подымается, и гравий грохается на тротуар. Пыль, и сквозь пыль — он. Лицо вытянулось. Никогда я его таким не видел.

Минуты две рот не мог раскрыть.

— Оказывается, меня разыграли, — говорит он наконец. — То-то же мне голос показался фальшивым. Ну ничего. Я этого человека из-под земли вытащу.

— А что мне теперь делать с гравием? — говорю. — Кто мне его будет загружать?

— Езжай, — говорит, — это не твоя забота.

Я выехал, развернулся и чешу назад. Пока я выезжал и разворачивался, он так и стоял на месте. Видно, старался угадать, кто его разыграл.

И вот я приезжаю на Пицунду, экскаваторщик загружает мне кузов, и я на обратном пути останавливаюсь возле дома этого человека. Десять больших ящиков с мандаринами мы зарываем в гравий, и я уезжаю. Мы договорились встретиться за рекой Псоу.

Проезжаю мимо поста. Хохмач стоит на своем месте. Нарочно притормаживаю, показываю: мол, не хочешь ли проверить мой гравий. Он махнул рукой и даже отвернулся от меня. Наверное, все еще думал, кто посмел его разыграть.

Одним словом, все получилось чин чинарем. Мы встретились с этим типом за рекой Псоу, он заплатил мне деньги и взял свои ящики. А я повернул к железной дороге и скинул там гравий.

Дней через десять моя командировка кончилась. И вот я, последний раз проезжая мимо этого поста, остановился. Настроение имею рассказать хохмачу, как я его употребил. Если начнет на пушку брать — свидетелей нет, скажу, пошутил, а на самом деле ничего не было.

— Чего стал? — говорит он мне.

— Нашел, — спрашиваю, — человека, что разыграл тебя?

— Пока не засек, — говорит, — но он от меня никуда не уйдет.

Тут я не выдерживаю и подымаю хохот.

— Он от тебя сейчас навсегда уедет! — говорю.

— Как так? — спрашивает он, и лицо у него балдеет, как в тот раз, когда увидел, что в гравии нет ящиков.

Я ему открыл свой марафет. И вдруг вижу — не обиделся, оборотку не дает. Он даже сверкнул глазами на меня и протянул руку в кабину.

— Молодец, — говорит, — дай руку! Ты первый шофера, который меня перехитрил. Но дело не в этом. Ты чу-жак. Приехал — уехал. Я думал — это наши ребята меня разыграли. Езжай! Только дай слово, что до Гудауты включительно никому ничего не расскажешь! А дальше — кому хочешь рассказывай!

Я даю слово и еду дальше. Душа у меня кейфует: и день-ги заработал, и этого знаменитого хохмача перехитрил... За Гудаутой есть ресторанчик. И я решил спокойно там пообедать и посидеть с нашими ребятами, если их там встречу. Захожу — а там целая орава сидит. Среди них двое моих друзей.

Ребята предлагают выпить, но я на колесах никогда не пью и отказываюсь. Мне не терпится рассказать про этот случай. И как раз в это время в ресторан заходит местный автоинспектор и подсаживается к нам. Я думаю — все равно расскажу, еще смешнее будет. Я рассказываю, ребята умирают от хохота и подначивают местного автоинспектора. Он тоже смеется. Сам абхаз, между прочим.

А когда я кончаю, он лично подымает тост за мою находчивость и предлагает всем выпить. Все пьют за меня, и мне, конечно, приятно. И тогда он мне предлагает двумя-тремя стаканами отблагодарить друзей за тост, поднятый в мою честь. Я отказываюсь, но он не отстает, говорит, что ответственность целиком и полностью берет на себя как автоинспектор. Но я тоже слабину не показываю.

— Спасибо, — говорю, — дорогой! Но я, во-первых, на колесах вообще никогда не пью. А во-вторых, у меня дорога и дальше тоже есть автоинспектора.

Я еще немного посидел с ними, а потом попрощался и вышел. Вдруг этот автоинспектор догоняет меня возле мо-

ей машины. Я что-то почувствовал, но еще не понял что к чему.

— Слушай, — говорит, — покажи мне свои права.

— Зачем? — удивляюсь я.

— Надо, — говорит, — потом скажу.

Я за собой никакой вины не чувствую и спокойно даю ему свои права. Он вынимает оттуда талон и вдруг делает прокол. Я балдею.

— За что?! — говорю.

— Здесь, — говорит, — стоянка запрещена, а ты целых два часа здесь простоял. — А сам смеется.

— Тогда оштрафовал бы, — говорю, — если ты такой честняга. Прокол зачем сделал?!

— Да, — говорит, продолжая смеяться, — здесь стоянка запрещена, и к тому же ты в своем рассказе кое-что утаил.

— Что я утаил, — говорю, — и какое это имеет отношение к проколу?

— Ты утаил, — говорит он, — что дал слово до Гудауты включительно никому об этом не рассказывать.

И в самом деле я об этом не говорил — не потому, что хотел скрыть, а просто забыл, это для моего рассказа не имело значения. Но откуда он узнал об этом? И тут я допетрил.

— Он что, звонил? — говорю.

— А ты думаешь, — смеется он, — кроме тебя, никто не может пользоваться телефоном?

— Но откуда он узнал, — говорю, — что я остановлюсь в этом ресторане?

— Он все знает, — продолжает этот автоинспектор. — Ты думал, что его сделал, но он в конце концов тебе отомстил.

Теперь что я ему скажу? Власть! Я уже сел в машину, думая, лучше бы он мой проклятый язык проколол, чем талон. Он, уже вижу, возвращается к ресторану, чтобы там рассказать, как они меня сделали.

И тут я вспомнил, что я не допустил нарушения слова.

— Стой, — говорю, — что-то хочу сказать!

— Что? — поворачивается он.

— Я же, — говорю, — рассказал об этом уже здесь, за городом. Если ты такой честный, почему ты мне прокол сделал?

— Город растет, — отвечает он, — и ресторан теперь считается в черте города. Включительно!

— Но я же не знал! — кричу.

— Надо было знать, — отвечает он и входит в ресторан.

Вот такая жизненная история со мной случилась, когда я три года назад находился в командировке на Пичунде.

Мы посмеялись рассказу этого лихача, и он, с кротким терпением выждав, пока мы отсмеемся, спросил у меня:

— Вот про этот случай, который был лично со мной, ты можешь написать?

— Попробую, — говорю, — не знаю, что получится.

В нашей компании был один старый рыбак. Среди таких рыбаков встречаются весьма затейливые законотолкователи. Когда рыба не клюет, они со всех сторон обдумывают вопросы государственного устройства и правопорядка. А так как рыба с годами на Черном море клюет все хуже и хуже, они в толковании этих вопросов достигают гигантских глубин.

— Никакая цензура не пропустит, — важно заметил он. Однако, помолчав, обнадежил: — Но если в конце прибавить, что всех нарушителей арестовали, могут пропустить.

— И меня? — спросил лихач.

— И тебя, — безжалостно кивнул законотолкователь.

— А меня за что?! — воскликнул рассказчик. Все расмеялись искренности его удивления, но тут вся эта история продвинулась еще на один виток.

— Когда это с тобой случилось? — спросил у шофера самый молчаливый участник нашей компании.

— Три года тому назад, — сказал шофер.

— Я там недавно проезжал, — заметил молчун, — твой гравий до сих пор лежит возле милицейского поста.

Предположения по поводу столь длительной консервации скромного памятника стратегической победы нашего лихача были прерваны появлением официантки с дымящимися чашечками кофе на подносе.

\*\*\*

Пока шофер рассказывал свою историю, я следил за дядей Сандро. Он поглядывал на шофера, можно сказать,

с гётеанской, олимпийской доброжелательностью, поощрительными кивками подчеркивая наиболее сладостные детали. Казалось, выражение лица его говорило: да, расстут у нас хорошие рассказчики, возможно, и не без нашего влияния.

Реплики застольцев были выслушаны им тоже достаточно поощрительно. После этого он взял со стола чашечку кофе.

— Раз уж заговорили о дорожных делах, — начал он, отхлебывая кофе, — я тоже кое-что расскажу. Если кто-то из вас уже слышал эту историю — ничего, еще раз послушает. Хороший рассказ — как песня, его много раз можно слушать.

Три года тому назад в один мартовский вечер мне надо было срочно поехать в село Анхара. Дело там у меня было с одним человеком. Такое дело, которое никак нельзя отложить до утра. Я спускаюсь к дому моего соседа Тенгиза и оттуда звоню моему племяннику Кемалу. У него машина.

Так, мол, и так, говорю, надо срочно ехать в село Анхара. Кемал, как обычно, минут десять мыкал в трубку, а потом говорит:

— Не обижайся, дядя, но я сегодня не могу ехать.

— Чего это ты не можешь ехать?

Опять засопел. Вообще, чтобы с нашим Кемалом дело иметь, надо с буйволиными нервами родиться. Но выхода нет, машина нужна.

— Мы, летчики, — наконец переходит он к словам, — верим в предчувствие... Да и погода плохая... Завтра поедем...

Завтра! Завтра уже поздно будет для моего дела.

— Твое предчувствие, — говорю, — это твоя лень, с которой я борюсь уже шестьдесят лет. И какой ты летчик, если ты уже тридцать лет не летаешь, а сидишь в диспетчерской? И какой ты племянник, если в год раз не можешь повезти меня на своей машине?

Одним словом, заставил его приехать. Погода в самом деле плохая. Идет мокрый снег, но на земле не держится, тает. Сажусь, едем. Только выехали за город, он вдруг говорит:

— Предчувствие меня не обмануло.

Так говорит, как будто уже что-то случилось. Но дорога нормальная, и мы едем нормально. Я смотрю на него, а он, как обычно, молчит, вперед смотрит. И на голове его эта замусоленная беретка, которую я ненавижу. Сколько раз я ему объяснял, что беретка кавказскому мужчине вообще не идет. Беретка идет латышам. Эстонцам тоже идет. Нет, он за рулем всегда в беретке. И главное, никак не снашивается. Уже лет пятнадцать, как только сядет в машину, беретку надевает. Выходит — беретку в карман.

— Что означает твое предчувствие? — спрашиваю у него.

Минут пять молчит.

— Забыл, — говорит, — свою корреспондентскую книжку.

У него в самом деле есть такая книжка, как будто он внештатный корреспондент журнала «Советская милиция». Есть такой журнал в Москве. У него там товарищ работает, и тот подарил ему такую книжку. Если выпивший едет за рулем и милиция его останавливает, он им эту книжку сует, и они только честь отдают.

— Книжка твоя нам не нужна, — говорю, — я не собираюсь с тобой выпивать. Поговорю с человеком — и назад.

— Погода, — морщится он, — и к тому же село абхазских эндурцев надо проезжать.

— Погода, — говорю, — нам не мешает, мы не верхом едем. А эндурцев оставь мне. Я с ними уже восемьдесят лет имею дело. И дома у меня жена-эндурка, как больной зуб во рту, но, как видишь, я до сих пор жив.

Недоволен моими словами. Молчит и только на скорость нажимает.

— Спокойней, — говорю, — ты не в самолете... Все-таки мокрый снег идет.

Едем дальше. Уже доехали до Орехового Ключа, а он вдруг говорит:

— Ты как жена моя Галя...

И больше ничего не добавляет. Вот так что-нибудь скажет — и на полпути остановится.

— Чем это я похож на твою жену? — говорю.

— Она тоже, — говорит, — как только сядет в машину, учит меня ездить...



Ладно. Едем дальше. Все спокойно. За несколько километров от эндурского села, которое мы должны были проехать, он вдруг останавливает машину и кивает в окно:

— Посмотри!

Я смотрю — какой-то «Москвич» уткнулся в кювет, и только зад торчит. Кемал открывает дверцу и подходит к машине. Обошел, возвращается.

— Ну что там, — говорю, — люди не пострадали?

— Людей нет, — говорит, — но машину сильно покалечило.

— Главное — люди, — говорю. — Едем своей дорогой.

И вот мы уже проезжаем это эндурское село, и он снова останавливает машину. Кивает. Смотрю — на этот раз «Жигули» валяются в кювете. Он опять вышел и посмотрел, но людей не оказалось.

— Видно, — говорит, — здесь большая пирушка была, и все перепились.

— Конечно, — говорю, — они сахар и всякую дрянь к вину добавляют, а потом с ума сходят.

— Наши не лучше, — говорит Кемал. — Хорошее вино сейчас редко где выпьешь.

Это правда. Люди сами испортились и вино портят сахаром и всякой отравой.

Проехали мы еще немного, и тут нас обгоняет таксист. Он уже ушел вперед метров на двадцать, и вдруг из-за поворота выскакивает трактор «Беларусь» и идет прямо на такси. Я уже думал — ударит, но таксист оказался настоящим джигитом. Увильнул из-под трактора и проехал.

Тут тракторист заметил нас и бросил этого таксиста. Идет как танк. Я думал — Кемал увернется, как этот таксист, а он затормозил и стал. Трактор нас так ударил, что мы отлетели назад метров на десять. Здорово трянуло. Но мы живы, а с Кемала даже его проклятая беретка не слетела. Трактор — мимо, и я услышал пение. Поет, сукин сын!

Выходим из машины. Смотрим: спереди — как это называется? — бампер весь согнулся и правое крыло вдавилось в колесо. Кемал завел мотор, но колесо не крутится. Крыло его держит.

— Почему, — говорю, — ты не увильнул, как тот таксист?

— Откуда я знал, что он сумасшедший! — говорит.

— Он пьяный, а не сумасшедший, — говорю.

Вывезаем из машины, пробуем разогнуть крыло, но ничего не получается. И тут я вспомнил то, что случилось на этой же дороге больше сорока лет назад.

В тысяча девятьсот тридцать первом году мы на лошадях ехали домой из Кенгурска, где были на оплакивании одного человека. Нас, чегемцев, было человек десять, и женщины с нами были. И вот тогда мы увидели в селе Тамыш первый трактор. Он пахал поле, а на дороге стояли человек пятьдесят местных крестьян и смотрели, как он пашет. С нами был охотник Тендел. И Тендел, когда увидел папущий трактор, от удивления закричал:

— Какое же чрево было у чудища, из которого вывалилось это чудище!

И тогда все засмеялись простоте нашего Тендела. Он уже машины видел, но не мог поверить, что трактор — это тоже машина. Потому что с детства привык к одной мысли — пашут на живых! И он от неожиданности решил, что трактор — это такое животное, которое водится в России, и теперь его перегнали к нам. И тогда мы, посмеявшись над словами Тендела, поехали дальше и вступили в это село, где сейчас нашу машину ударил трактор.

В то время там русские рабочие расширяли дорогу. И вот что случилось. Я почему-то немного отстал. На дороге валялась доска. Лошадь моя задней ногой наступила на конец доски, и от этого другой конец доски приподнялся и шлепнулся в лужу, возле которой на корточках сидел рабочий. И эта доска все лицо его обрызгала грязью.

— Эй, чернозадый... твою мать! — крикнул рабочий. — Не видишь, куда лошадь идет!

«Чернозадый» я еще стерпел бы, хотя это неправда, в нашем роду все светлые. Но «мать», конечно, я не мог стерпеть! Тогда не мог! Сейчас все терпим!

Я повернул лошадь, подъехал к этому рабочему и от души ударил его камчой по спине. Он завыл, и тут со всех сторон подбежали ко мне рабочие, кто с лопатой, кто с киркой. Хотели избить. Но я кручусь на своей лошади, не даю себя ударить, а сам лупцую камчой налево и направо, так что ключья рубашек летят, и при этом приговариваю:

— Если ваша власть, зачем не сидите в Кремле?! Зачем здесь дорогу строите?!

Сам не знаю, что кричу, и только камча моя свистит в воздухе. Конечно, они меня через две-три минуты достали бы, но тут наши заметили, что случилось, прискакали и разняли нас.

Все бы кончилось мирно, если б не этот эндурский десятник, который рабочими командовал. Он имел зуб на моего отца. Дело в том, что его отец жил в Кенгурске и торговал в магазине. В 1927 году он прокушал десять тысяч казенных денег и ушел от государства в лес.

И вот однажды он пришел в наш дом как абрек. По нашим обычаям, как вы знаете, абрека положено принять, накормить и, если надо, спрятать. Но какой же он абрек? Абрек — это мужчина, убивший кого-то за оскорбление или отомстивший за близкого родственника. Мой отец вообще не любил абреков, а тут напоролся на этого жулика. И отец его прогнал из дому.

— Если каждый торгаш будет уходить в абреки, — крикнул отец, — на вас чегемских лесов не напасешься!

Мой отец был резкий, прямой. И он, конечно, опозорил этого человека. И сын его затаил обиду и сейчас через четыре года решил мне отомстить.

— Езжай, езжай, — крикнул он мне вслед, — это тебе даром не пройдет!

Я тогда ему не поверил. Но, оказывается, этот десятник уговорил рабочих пожаловаться на меня в суд. И они пожаловались. И вот в Чегем приезжает один мой друг из Кенгурска. Он об этом узнал и решил меня предупредить.

— Дело плохо, — говорит, — но у нас в Кенгурске есть хороший адвокат-еврей. Он тебя выручит.

Этот мой друг «еврей» не мог сказать — «еврей» говорил.

— Нагрузи, — говорит — ослика орехами, копченым мясом, сыром и поговори с ним.

Приезжаю к этому адвокату, разгружаю мешки и рассказываю про дело.

— Постараюсь найти выход, — говорит адвокат, — но это трудно, потому что Сталин любит рабочих, а крестьян ненавидит.

— А что ему сделали крестьяне? — удивляюсь я.

— Это ты у него спроси, — говорит. — Приезжай через неделю, а я за это время все выясню. Еще два мешка орехов прихвати. Хорошие у вас орехи, сочные.

— Помоги, — говорю, — а за орехами дело не станет.

Через неделю приезжаю.

— Танцуй, — говорит адвокат, — я все уладил! Я поговорил с этими рабочими и сразу понял, кто они такие. Они выдавали себя за жителей Курска. Но я по их выговору сразу понял, что эти курские соловьи на самом деле кубанские казаки, сбежавшие от раскулачивания. Эндурского десятника они могли обмануть, но не меня, керченского еврея. Мы обо всем договорились, и они уже взяли свою жалобу назад.

Я от души поблагодарил его.

— Езжай, — говорит, — а в случае чего всегда обращай ко мне. Чуть что — тряхни грецкий орех и приезжай!

И вот я еду домой, а сам про себя думаю: что за время, в котором стоим! Раньше казаки камчами били рабочих. А теперь казаки превратились в рабочих, и я, как казак, побил их камчой.

Вот так мы это дело тогда уладили, и теперь я возвращаюсь к машине, которую почти на этом же месте через сорок с лишним лет ударил пьяный тракторист. А сейчас вы сами подумайте, какое время прошло между тем первым трактором, который Тендел принял за российского буйвола, и этим трактористом, который своим трактором машины гробит. И при этом поет!

И вот, значит, ночь. Идет мокрый снег, а мы стоим на дороге и никак не можем оторвать крыло от колеса. Недалеко от этого места мы заметили огонек и решили пойти туда и попросить у хозяина лом.

Входим во двор. Навстречу с лаем собачонка, а потом и сам хозяин. Хозяин выпивший и нас в дом тащит, чтобы по стаканчику угостить. Еле отцепились. Но вот наконец он достал лом, зажег фонарь и пошел с нами к машине.

Втроем кое-как выправили крыло, сели в машину и поехали дальше. На обратном пути решили заехать в милицию и вместе с ней поймать этого бешеного тракториста. Километрах в десяти от этого села был маленький городок, и там, конечно, можно было найти милицию.

И вот мы с Кемалом приезжаем в село Анхара к этому человеку, с которым у меня было одно неотложное дельце. Я Кемала оставляю на кухне, а сам с хозяином подни-

маюсь в дом, и там мы о своем деле как следует поговорили. Вам об этом не обязательно знать.

Спускаемся в кухню, и я вижу — мой Кемал сидит возле горящего очага и на вертеле жарит копченое мясо. Видно, давно жарит, потому что в кухне запах и с мяса жир капает на угли.

— Ты что делаешь? — говорю.

— Детство вспомнил, — отвечает Кемал, — люблю жарить мясо на вертеле. Хозяйка уговорила остаться. Поужинаем, выпьем, переночуем, а завтра поедем.

— Нет, — говорю, — никак нельзя. Ты забыл, что мы должны поймать этого негодяя, который с песней наехал на твою машину?

— Останемся, — мямлит Кемал, продолжая крутить вертел, — завтра найдем тракториста... Я чувствую — сегодня еще что-нибудь может случиться...

— Все, что могло случиться, уже случилось, — говорю. — Вставай, едем!

Хозяин тоже уговаривает остаться, но я твердо держусь, и Кемал неохотно встает, отдает вертел с шипящим мясом хозяйке, натягивает на голову свою беретку, а сам глаз не сводит с дымящегося мяса.

— Ну тогда, — говорит хозяйка, — я вам дам это мясо на дорогу. Вы его пожарили, вы его и съедите!

— Спасибо, не откажемся, — говорит Кемал.

От нашего Кемала с ума можно сойти! Он считает, что, раз он живет на зарплату, все его обязаны обслуживать. Хозяйка сдергивает мясо с вертела в целлофановый мешочек, туда же кладет аджику и туда же кидает несколько головок лука. Хороший лук. Как яблоко, такой лук.

Этот мешочек, наполненный мясом и луком, Кемал аккуратно так укладывает за спинкой заднего сиденья, как будто был в гостях у родственников, а не у людей, которых в первый раз видит.

Едем назад. Снег перестал. Дорогу хорошо видно. Вдруг — впереди стоит «Волга», а рядом какой-то человек машет рукой, чтобы мы притормозили.

— Я буду с ним говорить, ты молчи, — предупреждаю Кемала.

Чтобы с эндурцем говорить, хорошая политика нужна. А Кемал этого не понимает. Или молчит, или вываливает

все как есть. Поравнялись. Вижу — машина наполнена людьми. Тот, что стоял возле машины, подходит к нам. За спиной охотничье ружье, а что в голове — понять трудно.

— Трактор «Беларусь» не встречали? — спрашивает.

— Нет, — говорю, — а что случилось?

Он долго смотрит и ничего не отвечает.

— Что-нибудь случилось? — говорю.

— Ничего, — говорит, — трактор «Беларусь» ищем.

Он к своей машине, а мы едем дальше.

— Почему не сказал? — спрашивает Кемал.

— Подальше от них, — говорю, — может, они ищут ненужных свидетелей.

Едем. Километров через пять — снова встречная машина, и она останавливается возле нас.

— Трактор «Беларусь» не попадался? — кричит из окна водитель.

— Нет, — отвечаю, и едем дальше.

— По-моему, — говорит Кемал, — это облава на трактор «Беларусь».

Точно! Кемал иногда правильно соображает. Конечно, они ищут этого тракториста, чтобы отомстить ему. Опрокинутые люди собрали своих родственников и теперь ищут этого дурака, а про свои машины забыли.

Едем. У самого выезда на трассу вдруг мне показалось, что я услышал тарахтенье трактора.

— Быстрей, — говорю, — он где-то близко.

— Откуда взял? — спрашивает Кемал, но скорость не прибавляет.

— Мотор слышал, — говорю, — быстрей!

— Нет, — говорит, — я ничего не слышал.

От этого Кемала с ума можно сойти! Как он мог слышать, когда глухой, как мельник. Он, конечно, не совсем глухой, но глуховатый. Вечно уши прочищает, как будто от этого лучше будет слышать.

Минут через пять выезжаем на трассу, но здесь уже ни мотора не слышно, ни трактора не видно. И как раз возле трассы на этом месте с одной стороны улицы магазин, с другой стороны — тракторный гараж, а рядом — сторожка, и свет горит.

Я подхожу к воротам гаража. Они заперты, но главное — свежих следов нет, сюда он заехать не мог. Поды-

маемся в сторожку. Там железная печка горит, стол, а за столом два человека играют в карты. Ясно, что один из них — сторож гаража, а другой — сторож магазина.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Вы сторож магазина, — рукой на одного, — а вы сторож гаража, — рукой на другого.

— Правильно! — говорят они и вскакивают от удивления. А я правильно угадал, потому что сторож магазина должен был сидеть напротив окна, чтобы время от времени следить за магазином. Я их решил сразу оглушить, чтобы они от растерянности в дальнейшем правду говорили.

— У вас не хватает трактора «Беларусь», — говорю сторожу гаража.

Но этот подлец, оказывается, успел взять себя в руки.

— Нет, — говорит, — у меня все трактора на месте и ключ от гаража в кармане.

Не поддается. Тогда я ему все рассказываю, как было, но он все равно не поддается. Говорит — это был чужой трактор. Врет, конечно, больше здесь никаких гаражей нет.

Я поворачиваюсь уходить, а Кемал как сел у печки, так и сидит. Не двигается. Как будто я должен мстить за его машину.

— Чего расселся, — говорю, — поехали в милицию!

Кряхтит, встает, вынимает из кармана беретку. Выходим. А у меня все еще сидит в голове шум этого тракторного мотора. Если я его в самом деле слышал, он далеко не мог уехать. Тогда где он? В этом месте рядом с улицей была большая поляна. Посреди поляны росли какие-то кусты. Кемал уже сел в машину.

— Подожди меня, — говорю, а сам иду через поляну. Только зашел в кусты — в трех шагах от меня трактор «Беларусь». Я на него смотрю, и он вроде на меня смотрит. Я молчу, он молчит. Темно. Человека не видно.

— Он здесь! — кричу и бегу к машине. А в это время трактор затарахтел, развернулся и давай удирать через поляну. Кемал включает мотор, и мы за трактором. Он уже проехал поляну, залез в кювет, я думал, он там застрянет, но нет, вывалился на проселочную дорогу. Мы за ним, но дорога такая плохая, что догнали только минут через пят-

надцать. Сигналим, сигналим — не останавливается. А дорога все хуже и хуже. Наконец Кемал тормозит.

— Что, — говорю, — страшной «мессершмитта»?

— Да нет, — морщится Кемал, — жалко машину гробить... Он без милиции все равно не остановится.

Выезжаем на трассу и едем в милицию. Входим. Вижу, за барьером дежурный лейтенант. Грузин. Рядом его помощник. Мингрелец. А в углу сидит молоденькая женщина — пойманная проститутка. Я по-грузински рассказываю лейтенанту все, что с нами случилось. А Кемал в это время что делает? Облокотился о барьер и разговаривает с этой женщиной, как будто на бульваре с курортницей знакомится.

— Я знаю этого хулигана, — говорит лейтенант, — у него бездетный дядя. Местный агроном. Он его всегда выручает. Но на этот раз — или я, или он.

Лейтенант дает приказ своему помощнику ехать на поиски этого тракториста. Я окликаю Кемала, а он на меня не смотрит. Продолжая разговаривать с этой женщиной, достает из кармана беретку.

Едем. Работник милиции на своей машине, мы на своей.

— Как тебе не стыдно, — говорю, — на глазах своего дяди, на глазах у милиции разговаривать с районной проституткой?

— Она не проститутка, — нахально отвечает Кемал, — просто неопытная женщина попала в плохую компанию. Я хочу ей помочь на работу устроиться в нашу столовую.

И это он мне говорит! Как будто я его не знаю! Ладно, думаю, дома поговорим.

И вот мы часа два крутимся по проселочным дорогам, но нигде его нет. Тракторный след мы потеряли, когда он с дороги свернул на чайную плантацию. Мы уже решили выехать на трассу, как вдруг впереди нас прямо из оврага выползает трактор и летит. Мы за ним. Этот милиционер оказался храбрым парнем. Обогнал трактор, остановил машину и выскочил из нее с пистолетом в руке. И тут трактор остановился.

Подходим и видим — в тракторе сидят двое. Здоровый парень лет тридцати с вытупленными бычьими глазами, а рядом десятилетний мальчик.



— А ну вылезай! — приказывает милиционер. Но тот вцепился в руль и сидит. Тогда милиционер вместе с Кемалом с трудом выволакивают его из трактора. Как только вытащили — обмяк. Стоит и качается, как осенний кабан, опьяневший от виноградных выжимок.

Милиционер вытащил из кабины литровую бутылку чачи, уже наполовину пустую,

Что оказалось? Оказалось, что этот тракторист решил подхалтурить и вспахал приусадебный участок одной вдовушке. За это она его накормила, напоила и еще домой дала литр чачи. А он взял ее мальчика покатасть на тракторе. Уже в тракторе еще пол-литра чачи выпил и совсем взбесился.

Теперь нам надо ехать в милицию — а Кемал что делает? Ни один человек в мире не угадает, что Кемал будет делать через минуту. Он берет у этого милиционера бутылку, вынимает из кармана платок, обливает его чачей, ставит бутылку на землю и, повернувшись к фарам своей машины, начинает чистить свой пиджак. Милиционер ждет, преступник ждет, я жду, а он спокойно чистит свой пиджак, хотя если уж в мире что-нибудь нуждается в чистке, так это его беретка. У меня душа к горлу подошла.

— Что ты делаешь? — говорю. — Другого места не нашел?

Спокойно продолжает чистить. А милиционер волнуется и правильно делает, потому что те, что ищут тракториста, могут наткнуться на нас, и тогда неизвестно, что будет.

— Да я тут, — мямлит Кемал, — пока этого кабана вытаскивали из кабины, мазутом обмазался.

Наконец почистил пиджак, но, главное, послушайте, что дальше делает. Вообще, если с Кемалом связался, — или умирай от стыда, или умирай от смеха. Закрывает бутылку пробкой и несет в свою машину. Что ему в руки ни попадет, все тащит в свою машину. Слава богу, тут милиционер опомнился.

— Извините, — говорит, — но бутылка с чачей проходит как вещественное доказательство.

А Кемалу что? Не получилось сегодня — завтра получится. Я думаю, если сунуть ему в руки динамит, завернутый в газету, он его тоже потащит в свою машину. Он счи-

тает, что, раз он живет на зарплату, все его должны обслуживать.

Наконец садимся в машину и приезжаем в милицию. Там составили акт, и по этому акту тракторист должен был уплатить Кемалу тысячу рублей. Тракторист без слов подписал акт. А что ему? Платить все равно будет дядя.

— Сколько машин опрокинул? — спросил лейтенант.

— Четыре, — говорит тракторист.

— Признайся, если больше, — говорит лейтенант, — а то потом хуже будет.

— Клянусь дядей, четыре, — говорит тракторист.

— Другие убежали, — добавляет мальчик.

— Дорого твоему дяде обойдется это хулиганство, — говорит лейтенант, — но на этот раз ты сядешь в тюрьму... Или я уйду с работы...

Лейтенант задержал тракториста, а своему помощнику приказал отвезти мальчика домой и по дороге проверить все опрокинутые машины. Мы тоже поехали.

— По-моему, — говорю Кемалу, — ремонт тебе в тысячу рублей не обойдется.

— Ничего, — говорит Кемал, — у них денег куры не клюют... Лейтенант понял, что я на зарплату живу.

Только доезжаем до Орехового Ключа, и вдруг у поста останавливает милиционер. Подходит. Кемал открывает окно:

— В чем дело?

— Права, — говорит милиционер, пригибаясь к окну.

— А что я нарушил? — спрашивает Кемал.

— Пьяный сидишь за рулем, вот что нарушил.

Кемал начинает хохотать.

— Смейся, смейся, — говорит милиционер.

— Я уже целую неделю в рот рюмки не брал, — говорит Кемал.

— Повезу на экспертизу — хуже будет, — говорит милиционер.

Ну, думаю, поздно едем — значит, едем с пирушки, решил на нас деньги заработать. Но он не знает, что из Кемала деньги на тракторе «Беларусь» не вытянешь.

— Пожалуйста, поехали, — говорит Кемал и открывает заднюю дверцу. Милиционер уже просунулся, и тут я у него спрашиваю:

— Откуда ты взял, что он пьяный?

— От него водкой воняет, — говорит милиционер, — даже с дороги слышно.

И тут я понял, в чем дело.

— Стой, — говорю, — это не он, это его пиджак.

— При чем пиджак? — удивляется милиционер. Тут я ему рассказываю, как Кемал чистил свой пиджак, а он не очень верит и на закуску, которая за сиденьем лежит, одним глазом смотрит.

— Снимай пиджак, дай понюхать, — говорю Кемалу. Кемал хохочет и от смеха не может снять пиджак, а милиционер ждет. Кемал сунул ему пиджак. Милиционер понюхал его один раз, понюхал его второй раз и молча закрыл дверцу машины. Недоволен, что мы не попались.

Кемал надевает пиджак, и мы едем. Снова повалил снег, и впереди почти ничего не видно. А Кемал едет посреди шоссе. Я боюсь, что он столкнется со встречной машиной.

— Почему посередине дороги едешь, — говорю, — держись правой стороны.

— Покрышки, — бубнит Кемал и километра через два добавляет: — По краям шоссе колдобины...

— Чего ты покрышки экономишь, — кричу ему, — когда такой снег идет! Столкнемся со встречной!

Надулся, но все же перешел на правую сторону. И только мы проехали метров двести, как вдруг из-за эвкалипта, стоявшего возле дороги, вываливается пьяный эндурец и падает почти прямо под колеса. Кемал нажимает на тормоза, мы выскакиваем, думаю — все, убили человека. Нет, шевелится. Весь рукав разодран до самого плеча. Он ударился о то крыло машины, которое раньше ударил трактор. Кемал все-таки молодец. Недаром летчиком был. Успел тормознуть.

Мы подняли пьяного, но он ничего сказать не может, мычит хуже Кемала. Я его растряс как следует, и он немножко пришел в себя.

— Ребята, — говорит, — довезите домой... Деньги дам сколько хотите...

— Деньги не надо, — говорю, — но где ты живешь?

— От шоссе, — говорит, — первый поворот направо, и сразу мой дом.

Сажаем его в машину и едем. Он спит. Кемал свернул на повороте, и едем по проселочной дороге. Снег идет, почти ничего не видно. Наконец увидели первый дом. Толкаю нашего пассажира.

— Нет, — говорит, — мой дом дальше будет. Теперь я его все время толкаю, чтобы он не пропустил свой дом.

— Вот мой дом, — говорит он наконец и начинает рыться в кармане пиджака. А то, что рукав разорван до самого плеча, не видит. Мы, конечно, не дали ему заплатить и высадили его.

Разворачиваемся и снова выезжаем на трассу. А Кемал опять выехал на середину шоссе. Но я теперь ничего не говорю. Боюсь — опять пьяный под колеса попадет.

— Что такое? — удивляюсь я. — Никогда не видел столько пьяных эндурцев.

— Наверное, у них сегодня какой-то праздник, — говорит Кемал.

— Нет, — говорю, — у них сегодня никаких праздников.

— У них, — спорит Кемал, — есть такие праздники, о которых ни один человек не знает.

Он меня учит эндурским праздникам, когда я пятьдесят лет живу с эндуркой!

— Слушай, — говорю, — нет у них сегодня никаких праздников. Просто распустились люди. Палку Большеусого забыли!

Кемал ничего не отвечает, и я уже думал, что он согласился со мной.

— У них, — вдруг повторяет он, — есть такие праздники, о которых ни один посторонний человек не знает.

— Какой, — говорю, — у них может быть праздник? Назови!

Молчит, молчит, а потом опять за свое.

— Может, праздник освобождения от турецких янычар, — говорит, — может, еще что...

Спрашивается, где турецкие янычары, а где наши эндурцы? Я с ума схожу, а он спокойно сидит за рулем, и только беретка торчит над ухом.

— Оставь янычар в покое, — говорю, — лучше следи за дорогой!

А он все едет посередине шоссе, и мы уже близко от города. И тут я вспомнил, что у въезда в Мухус открытый

люк на шоссе и знак не успели выставить, чтобы шоферы опасность видели. Я это заметил, когда мы еще туда ехали. Хотел напомнить ему, но, думаю, сейчас опять начнет сравнивать со своей женой Галей или забудет к тому времени, когда подъедем. Решил — перед самым городом скажу. И тут я допустил ошибку. Забыл. И уже в пяти метрах вспомнил.

— Кемал! — кричу.

Он успел остановиться перед самым люком, но тут сзади нас ударяет машина, которая шла следом. Опять эн-дурцы?! Нет! Оказывается, за нами цугом шли три машины из Еревана.

Мы выходим. Водители ереванских машин тоже выходят. Теперь Кемалу заднее крыло помяли и фонарь разбили. Заднее крыло тоже правое. Машину Кемала, как паралич, с одной стороны бьют.

Ругаемся. Они говорят, что мы слишком резко затормозили, а мы говорим, что они дистанцию не соблюдали. И это видно по следу от тормозов ереванской машины. Кемал требует деньги на ремонт, но этот водитель говорит, что мы виноваты. А как докажешь, что мы правы, когда нас двое, а у них три машины, наполненные ереванцами?

И тут, на наше счастье, подходит милицейский патруль. Два человека. Оказались абхазцы. Один пошустрей, а другой тихий. Патрули все честно рассудили и сказали ереванскому водителю, что он должен заплатить за ремонт, иначе акт составят.

— Сколько? — наконец соглашается водитель.

— Сто пятьдесят рублей, — говорит Кемал. Я вижу, он совсем во вкус вошел. Ясно, что на сто пятьдесят рублей его машину не испортили. Но Кемал такой. Раз он на зарплату живет, значит, его все должны обслуживать. А то, что он хорошую военную пенсию получает, не говорит.

Ереванский водитель начинает торговаться, говорит, что у него дальняя дорога в Россию, а денег мало. Какой же дурак поверит, что он в Россию едет без денег!

— Тут починки всего на пятьдесят рублей, — по-абхазски подсказывает милиционер. Тот, что был пошустрей, подсказывает.

— Что ты их деньги жалеешь, — по-абхазски ему отвечает Кемал, — у них полные багажники денег.

Наконец сторговались за сто рублей. Ереванский водитель злится, но деньги отдает. И видно, захотел к чему-нибудь придраться, потому что спереди подошел к нашей машине и увидел погнутое крыло.

— Вот видите, — кричит он милиционерам, — он ездить не умеет! Он уже с кем-то столкнулся.

Тот, что был пошустрей, подошел к нашей машине, карманным фонариком осветил крыло и что-то там долго завозился. Потом дает знак ереванским машинам, чтобы они проезжали, а нам дает знак, чтобы мы стояли. Ереванские машины уехали, а этот подошел к своему товарищу и начал с ним шептаться. Потом подходит к нам.

— Что у вас случилось в дороге? — спрашивает. Кемал начинает мямлить про трактор, но я чувствую, что милиционер ни одному слову не верит.

— Не трактор, — говорит, — вас ударил, а вы сбили человека. Сознайтесь, где это было. Если живой — окажем помощь. Если мертвый — суд разберется, кто виноват.

Тогда я добавляю, что трактор в самом деле был, но был и пьяный эндурец, который вывалился из-за эвкалипта прямо под колеса. Но, слава богу, он жив и мы его благополучно довезли до дому.

— Поехали, — говорит тот, что был пошустрей, своему товарищу, — мы должны убедиться, что он жив-здоров.

Теперь что делать? Они садятся, Кемал разворачивает машину, и вдруг тот, что был пошустрей, кричит:

— Стой!

— В чем дело? — спрашиваю.

— Да вы, оказывается, совсем пьяные, — удивляется он, — как это я сразу не заметил... Давайте я сяду за руль...

И тут я догадался, в чем дело. От пиджака Кемала вся машина чачей провоняла. Мы привыкли, а милиционер, конечно, заметил. Я ему объяснил, в чем дело, но тот, что был пошустрей, не поленился — привстав, понюхал пиджак Кемала и тогда успокоился. А Кемал хохочет.

— Нюхайте мой пиджак и закусывайте, — говорит, — закуска у вас за спиной. Едем.

— Ты помнишь, где поворот? — спрашиваю у Кемала.

— Вроде бы, — мычит Кемал.

Опять повалил снег, и почти ничего не видно. Доезжаем до поворота и въезжаем на сельскую улицу. Света в до-

мах нет, и черт его знает, где дом этого эндурца. Думаю, пропали на всю ночь, если его сейчас не найдем.

— Слушай, — спрашиваю у милиционера, — как ты догадался, что мы сбили человека?

— Извините, — говорит, — я уважаю ваш возраст, но это пока оперативная тайна. Закроем дело — скажу.

Ладно, думаю, лишь бы мы нашли этот дом.

— Кажется, здесь, — наконец говорит Кемал и останавливает машину.

Вылезаем и в темноте подходим к изгороди. Рядом калитка.

— Эй, хозяин! — кричу несколько раз. Лает собачонка, а людей не видно. Но вот в доме зажегся свет, и женский голос с крыльца:

— Кто там?

— Милиция, — говорю, — подойди сюда!

Женщина вошла в дом и выходит с керосиновым фонарем в руке. Подходит. Пальто накинуто прямо на голову и из-под него глазами то на нас, то на милиционеров.

— Хозяин дома? — спрашивает тот, что пошустрей.

— Спит, — говорит женщина.

— Больше мужчин нет в доме?

— Дети есть, — говорит женщина и все время глазами из-под пальто то на милицию, то на нас. — А что случилось?

— Подыми мужа, — приказывает милиционер. Женщина не двигается. Стараются понять, зачем ее мужа вызывают: может, подрался с кем-то? Но я все же не уверен, что мы нашли тот дом. Если не туда попали, придется всю ночь искать этого дурака.

— А что он сделал? — спрашивает женщина и продолжает стоять.

Тут Кемал не выдержал.

— Слушайте, — говорит, — милиция думает, что мы его переехали. Пусть посмотрит, что он живой.

Не верит. Думает — хитрим. Все же ставит фонарь на землю и идет за мужем. Подходят. Хоть сейчас он был в плаще, я его сразу узнал.

Все же мой Кемал молодец! Недаром он говорил, что во время войны по слепым полетам был первым в полку. А после войны он однажды несколько раз так низко пролетел

над чегемской табачной плантацией, где люди работали, что мотыгой можно было его достать. Молодой был, играл!

— Вы знаете этих людей? — спрашивает милиционер.

Тот подымает к моему лицу фонарь — смотрит. Подымает к лицу Кемала — смотрит. Опускает фонарь и говорит:

— Первый раз вижу!

Тут Кемал начинает хохотать. Дуралей, нашел время для смеха! Я спокойным голосом объясняю этому человеку, как он стоял под эвкалиптом, как упал под машину и как мы его привезли. Он слушает, делая вид, что трезвый, хотя, правда, немножко протрезвел. Как только я кончил, он заговорил, заблеял, как козел на скале, не останавливается.

— Даю показания, — говорит, — ничего не совпадает! Я сегодня был в гостях в доме моей двоюродной сестры. Хлеб-соль принял! Мы съели хрустящий поросенок! Мы съели жирный индюшка! Мы выпили! Хорошо выпили! Крепко выпили, честно скажу! А потом муж моей двоюродной сестры посадил меня на свои «Жигули» и культурно привез домой. А под эвкалиптом я вообще не мог стоять, потому что ненавижу эвкалипт. Запах не переношу. Если даже мертвого меня вот так поставят к эвкалипту, я и мертвый оттолкнусь от него, до того ненавижу!

Вот такие глупости говорит и многие другие. Кемал хочет, а милиционеры не знают, кому верить.

— Вот ты оттолкнулся, — говорю, — и попал под нашу машину.

— Извините, папаша, — говорит, — я пить пью, но падать не падаю. Такой характер имею!

Я уже хотел предложить милиционерам сделать внезапный обыск в доме этого человека, чтобы найти пиджак с разорванным рукавом как доказательство, но тут жена его нас выручила.

Все это время она из-под своего пальто смотрела то на нас с Кемалом, то на милиционеров, то на своего мужа и старалась сообразить, не собираемся ли мы сделать ему что-нибудь плохое. В конце концов сообразила и взорвалась как бомба.

— Пьяница! Пьяница! — закричала она на своего мужа. — Если все было так хорошо, костюм-пиджак кто порвал?! Костюм-пиджак где порвал, пьяница?!

— Какой костюм-пиджак? — растерялся он.



— Новый костюм-пиджак, пьяница! — крикнула она. — Лучше бы тебя эта машина совсем убила!

— Принеси пиджак, — приказал милиционер. Женщина уходит, продолжая ругать мужа, и приносит пиджак. Тот, что был пошустрей, берет пиджак, просит женщину приподнять фонарь и, достав из кармана маленький кусок материи, сравнивает его с пиджаком. Теперь я понял, почему он так долго возился у крыла нашей машины.

— Все в порядке, — говорит милиционер и кидает пиджак хозяину. — Пьянство тебя рано или поздно загубит!

Тот поймал пиджак, смотрит на рукав и не знает, что сказать. Только мы к машине — он к нам.

— Ради моей жизни, — говорит, — ви расход имели! Ради моей жизни ви приехали сюда! Неужели в моем доме по стаканчику не выпите!

— Поздно! Поздно! — прикрикнул на него милиционер, и мы уехали.

На обратном пути мы уже по-дружески разговариваем с милиционерами, мажем мясо аджикой и луком хрустим. В селе Анхара, как яблоки, такой лук. Хорошо идет, потому что все мы проголодались за эту ночь.

Кемал, конечно, тоже своего не упустил, хотя и сидел за рулем.

— Эх, — говорит он, — как бы нам сейчас та бутылка с чачей пригодилась.

Узнав все подробности наших приключений, тот, что был пошустрей, сказал своему напарнику:

— Этих бедолаг мы должны развезти по домам... А то с ними еще что-нибудь может случиться...

Они довезли меня до дому, а потом поехали провожать Кемала. Вот так закончилась эта ночь.

Через два месяца Кемал получил деньги от дяди этого тракториста, а самого хулигана посадили. Значит, лейтенант стойким оказался. Сумел сломать этого богатого агронома.

А теперь я вот что вам скажу, мои друзья. Пока мы здесь сидим и пьем кофе, есть такие люди в Абхазии вроде этого агронома, которые тюкуют деньги как табак. Мы сидим и пьем кофе, гоняем воздух разговорами, а они в это время деньги тюкуют. Ты хоть пей кофе, хоть умирай, а они деньги тюкуют. Тюкуют и тюкуют!

На этом дядя Сандро закончил свой рассказ и, оглядев застольцев, несколько раз молча кивнул головой, как бы подтверждая свою мысль кивками: да, да, именно тюкуют!

Слушая дядю Сандро, я все время чувствовал тайный, дополнительный комизм всей этой истории, потому что о ней мне уже рассказывал Кемал. По словам Кемала, у дяди Сандро в селе Анхара никакого дельца не оказалось. Просто ему стало скучно в мокрый мартовский вечер, и он решил проведать своего старого друга, которого знал еще со времен битвы на Кодоре.

Но то ли старый друг себя вскоре исчерпал, то ли желая как можно быстрее расправиться с этим бешеным трактористом, он заторопился, и они поехали, даже не поужинав.

Само собой разумеется, что в изложении Кемала во всей этой истории смешным выглядел дядя Сандро со своими таинственными намеками на дельца и беспрерывными нелепыми указаниями на правила безопасной езды.

— Я их иногда путаю, — добавил Кемал после паузы, которую в разговоре с другим человеком вполне можно было воспринять как переход к новой теме, — то ли жена моя сидит рядом в машине, то ли дядя Сандро...



## Краткая антология предисловий

**ИВАНОВА Наталья Борисовна** — критик, литературовед, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», член Российской академии словесности (Москва), автор книг: «Проза Юрия Трифонова», М., 1984; «Смех против страха, или Фазиль Искандер», М., 1990; «Борис Пастернак. Участь и предназначение», С.-Пб., 2000.

**РАССАДИН Станислав Борисович** — критик, литературовед, член русского ПЕН-клуба, член Российской академии словесности (Москва), автор книг: «Драматург Пушкин», М., 1977; «Фовизин», М., 1980; «Гений и злодейство, или Дело Сухова-Кобылина», М., 1989; «Русские, или Из дворян в интеллигенты», М., 1995; «Очень простой Мандельштам», М., 1994; «Булат Окуджава», М., 1999, и др.

## Начало (Вместо автобиографии)

«Дерево детства», М., «Советский писатель», 1970.

## Рассказы

### Приключения Чика

#### Чик чит обычай

Журнал «Знамя», №4, 1996

#### Чик идет на оплакивание

«Детство Чика», М., «Книжный сад», 1994

### Петух

«Юность», 1962, № 10

### Тринадцатый подвиг Геракла

«Сельская молодежь», 1964, № 40

### Запретный плод

«Неделя», 1963 г. (10-16 ноября)

Путь из варяг в греки

«Сельская молодежь», 1971, № 10

Козы и Шекспир

«Знамя», 2001, № 1

Антип уехал в Казантип

«Знамя», 1999, № 1

Жил старик со своею старушкой

«Новый мир», 1996, № 11

Ленин на «Амре»

Журнал «Знамя», 1992, № 2

## Повести

Созвездие Козлотура

«Новый мир», 1966, № 8

Кролики и удавы

«Континент», 1980

Думающий о России и американец

«Знамя», 1997, № 9

## Стихи и эпиграммы

Стихи, эпиграммы и миниатюры печатаются  
по книге «Стихи», М., «Московский рабочий», 1993

## Главы из романа «Сандро из Чегема»

Маленький гигант большого секса (О, Марат!)

Альманах «Метрополь», 1979

Пиры Валтасара

«Сандро из Чегема», Ардис (США), 1978

Дороги

«Сандро из Чегема», в 3-х томах,  
М., «Московский рабочий», 1989

**Самое яркое событие  
в литературной жизни  
России 2001 года!**

**антология сатиры и юмора  
россии XX века  
в 50 томах**

**Вышли в свет  
тринадцать томов серии**

- т.1 АРКАДИЙ АРКАНОВ**
- т.2 ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ**
- т.3 «САТИРИКОН»  
И САТИРИКОНЦЫ**
- т.4 ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ**
- т.5 ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ**
- т.6 ГРИГОРИЙ ГОРИН**
- т.7 ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ**
- т.8 ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ**
- т.9 ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ**
- т.10 МИХАИЛ БУЛГАКОВ**
- т.11 «КЛУБ 12 СТУЛЬЕВ»**
- т.12 ТЭФФИ**
- т.13 ВЛАДИМИР ВИШНЕВСКИЙ**
- т.14 ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР**

**В ближайшее время увидят свет книги  
Антологии**

**ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ  
ФЕЛИКС КРИВИН  
ИГОРЬ ГУБЕРМАН**

Литературно-художественное издание

**Искандер Фазиль Абдулович**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА**

**Том четырнадцатый**

Автор серийного оформления  
*Евгений Поликашин*

Редактор-корректор *Е. Остроумова*

Корректор *С. Жилова*

Компьютерная верстка *А. Филиппов*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор  
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.05.2001.  
Формат 84×108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,96+1,68 вкл.  
Тираж 8000 экз. Заказ 397.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»  
Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.

125190, Москва, Ленинградский проспект,  
д. 80, корп. 16, подъезд 3.

**Интернет/Home page — [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)**  
Электронная почта (E-mail) — [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

**Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»**  
101000, Москва, а/я 333. E-mail: [bookclub@eksmo.ru](mailto:bookclub@eksmo.ru)

**Оптовая торговля:**  
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2  
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16  
E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**Мелкооптовая торговля:**  
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1  
Тел./факс: (095) 932-74-71

ISBN 5-04-007934-6



9 785040 079346 >

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»  
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



иногда и как мы ругались

м?

...зато не мне само,  
серьезно ругались.  
...иногда, - она и я  
...никогда в жизни не

...всего без меня, -  
...иногда с ней на

...это было! Вы  
...иногда вы в  
...иногда!

Рухну! Отъ этого сильного  
и сироты!

— Рухну! в таком сло

— Ну не плавай же рухну

окинула, ома, — с

— Если я одна ночью и бьюсь  
со скупой горюхью, — и  
падал, не

— Это шотландцы в рт

сначала ома, — но вы с

мелкучно дмму.

— Я сверну?

— Да вы сверну! Нормо

запомни с темой в

последний раз рухну

с деревом!



о слова и как мы рождаем  
нам?

и, что же мне само,  
деревянные руки.  
и, что же, — о чем я  
но много в жизни не

много тех людей,  
онто сущим на

орито воле: все  
всего в в  
и с себя!

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Фазиль Искандер

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Тот, кто приходит вовремя,  
всегда приходит слишком  
рано.

Я хотел бы знать, где кончается  
артистизм и начинается  
шарлатанство.

Люди часто путают взволнованную  
глупость с бурлящим  
умом.

*Фазиль Искандер*

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века